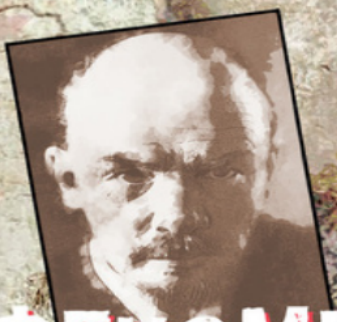
Бенедикт
САРНОВ



ФЕНОМЕН СОЛЖЕНИЦЫНА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Литература о Солженицыне огромна. Это горы книг, статей, научных трудов, диссертаций, восторженных и полемических откликов. Казалось бы, какой простор для самых разнообразных взглядов, трактовок, эстетических, философских и политических интерпретаций роли и места писателя в литературной и общественно-политической жизни страны и мира. На самом деле, однако, особого разнообразия тут не наблюдается. Вся эта литература аккуратно делится на две противостоящие друг другу категории. Одна – это апологетика (если речь о творчестве «великого писателя земли русской» – коленопреклонение и восторг, если о его биографии – нимб пророка и гения, не жизнеописание, а – житие). И – другая, противоположная: разоблачения, глумления, памфлеты, а то и пасквили.

Книга Бенедикта Сарнова «Феномен Солженицына» – едва ли не единственная, автор которой поставил перед собой задачу дать серьезный и по возможности объективный анализ как художественной, так и мировоззренческой эволюции (лучше сказать – трансформации) писателя.

Но можно ли сохранить объективность, выясняя свои отношения с человеком, сыгравшим огромную – и совсем не простую – роль в твоей жизни?

- Бенедикт Сарнов
- Огонь с неба

- Первые недоумения

- Энергия заблуждения

- Энергия заблуждения (2)

Апостол точного расчёта

- Апостол точного расчёта (2)

- Обыкновенный фашизм

- Последняя ступень

Бенедикт Сарнов
Феномен Солженицына

Огонь с неба

Никогда не забуду чувства, с которым впервые читал захватанную, обтрепанную по краям, перепечатанную через один интервал (и на обороте тоже) рукопись повести, которая позже увидала свет под названием «Один день Ивана Денисовича». (В том, машинописном варианте она называлась «Щ 854», и было не совсем даже понятно, – заглавие это произведения, которое мне предстояло прочесть, или шифр, обозначающий имя автора, пожелавшего остаться неизвестным).

Когда рукопись эта появилась в редакции «Нового мира», Твардовский, прежде чем начать трудную и, как тогда казалось, почти наверняка обреченную на неуспех борьбу за неё, дал её прочесть некоторым ближайшим своим друзьям: помимо всего прочего, хотел заручиться их поддержкой. В числе первых её читателей (если не считать сотрудников редакции) был Самуил Яковлевич Маршак.

Рассказывая мне о ней, он, между прочим, сказал:

– Я всегда говорил Александру Трифоновичу: надо терпеливо, умело, старательно раскладывать костер. А огонь упадет с неба...

Солженицын, что теперь ни говори, был тогда для нас именно вот этим самым упавшим с неба огнем.

Конечно, этот огонь упал не в пустыню. Не будь тогда у нас «Нового мира» Твардовского, повесть Солженицына, быть может, ещё не один год пролежала бы в столе у автора. Не случайно именно в «Новый мир» Солженицын рискнул отдать своего «Щ 854». Твардовский хорошо умел раскладывать свой костер.

Версия появления повести в редакции (лучше сказать – легенда) была такая: рукопись будущим её редактором Асей Берзер была извлечена из самотека и передана – в обход редколлегии – прямо в руки Твардовскому.

Но я – уже тогда – знал, что принес её в «Новый мир» Лев Зиновьевич (для меня – Лёва) Копелев.

Рассказавший мне об этом Володя Лакшин про Лёву и его роль в этом деле говорил с какой-то снисходительно-неодобрительной гримасой: принес, не сказал ни единого доброго слова, просто кинул Асе на стол: вот, мол, прочти при случае сочинение одного моего приятеля. То ли побаивался хвалить, то ли ему и в самом деле повесть не шибко нравилась и отдать её в журнал он согласился просто по дружбе с Александром Исаевичем, с которым вместе отбывал срок на «шарашке».

И сам Лев, и Ася рассказывали об этом иначе.

Рукопись Асе передала жена Лёвы, Рая. Они между собой

решили, что так будет лучше. К Копелеву в «Новом мире» и вообще-то относились неважно, а тут ещё – накануне – он повздорил с Твардовским: тот отказался заступаться за «Тарусские страницы», тираж которых собирались пустить под нож, ругал Паустовского, и Лев чего-то там ему наговорил по этому поводу, что отнюдь не улучшило их и без того плохих отношений.

Мой друг Лёва Левицкий, работавший тогда в отделе прозы «Нового мира», в эту легендарную версию внес некоторые уточнения. Ему запомнилось, что Ася передала рукопись не самому Твардовскому, как это мне представилось из её рассказов, а, согласно существовавшей в журнале строгой субординации, тогдашнему заму Александра Трифоновича Кондратовичу. Тот распорядился придать повести нормальный машинописный вид и вручил её Твардовскому. Вместе, кстати, с другой повестью на ту же запретную тему – «Софьей Петровной» Лидии Корнеевны Чуковской. В дальнейшем Александр Трифонович не раз противопоставлял эти две вещи, решительно отдавая предпочтение повести А. Рязанского. (Так сперва в рукописи именовался автор «Одного дня...»).

Далее кратко передаю рассказ Аси, как он мне запомнился.

Рукопись «А. Рязанского» Александр Трифонович прочел в тот же вечер. Читать начал поздно, уже лёжа в постели. Но, прочитав первые страницы, понял (лучше сказать, почувствовал), что читать такую вещь лёжа нельзя. Встал, оделся, сел к столу. Дочитав до конца, вернулся к началу. Стал читать снова: не мог оторваться...

Все это я сейчас пересказываю так, как оно запомнилось мне ТОГДА. Позже всплыли некоторые, тогда неизвестные мне, уточнения и подробности.

Для начала приведу подробный рассказ самого Александра Исаевича:

...

Это так получилось (только не в тот год мне было рассказано). Долгохранимая и затаённая моя рукопись пролежала на столе у А. Берзер целую неделю неприкрытая, даже не в папке, доступная любому стукачу или похитителю, – Анну Самойловну не предупредили,

оставляя, о свойствах этой вещи. Как-то А. С. начала расчищать стол, прочла несколько фраз – видит: и держать так нельзя и читать надо не тут. Взяла домой, прочла вечером. Поразилась. Проверила впечатление у подруги – Калерии Озеровой, редактора критического отдела. Сошлось. Хорошо зная обстановку «Нового мира», А. С. определила, что любой из членов редакционной коллегии, в ладу со своим пониманием благополучия журнала, непременно эту рукопись перехватит, зажмёт, заглотнёт, не даст ей дойти до Твардовского. Значит, надо было исхитриться перебросить рукопись через всех них, перешвырнуть через топь осторожности и трусости, – и в первые руки угодить – Твардовскому…

Она дождалась случая, правда, в присутствии Кондратовича, наедине не удалось, и сказала Главному, что есть две особых рукописи, требующих непременно его прочтения: «Софья Петровна» Лидии Чуковской и ещё такая: «лагерь глазами мужика, очень народная вещь». Опять-таки, в шести словах нельзя было попасть точнее в сердце Твардовского! Он сразу сказал – эту давайте. Но опомнился и подскочил Кондратович: «Уж дайте до завтра, сперва я прочту!» Не мог он упустить послужить защитным фильтром для Главного!

Взял Кондратович, и с первых же строк понял, что безымянный (подписана фамилия не была, тем я как бы замедлял враждебный ход событий) тёмный автор лагерного рассказа даже расстановки основных

членов предложения толком не знает, да и слова-то пишет какие-то дикие. Пришлось ему карандашом исчеркать первую, вторую, пятую, восьмую страницу, возвращая подлежащие, сказуемые да и атрибуты на свои места. Но рассказ оказался весь до конца неграмотный, и Кондратович с какой-то страницы работу эту бросил. Какое у него к утру сформировалось мнение – неизвестно, а думаю, что легко могло оно повернуться и в ту, и в другую сторону. Твардовский же, мнения его не спрося, взял читать сам.

Узнав потом жизнь редакции, я убедился, что не видать бы Ивану Денисовичу света, если б А. Берзер не пробилась к Твардовскому и не зацепила его замечанием, что это – глазами мужика. Не пустили б моего Денисовича три охранителя Главного – Дементьев, Закс и Кондратович.

Не скажу, что такой точный план, но верная догадка-предчувствие у меня в том и была: к этому мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховой мужик Никита Хрущёв. Так и сбылось...

(А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни. М. 1996. Стр. 24–26)

Вот откуда, наверно, взялась версия Лакшина, что Копелев будто бы, принеся рукопись в редакцию, не сказал о ней ни единого доброго слова, просто кинул Асе на стол: вот, мол, прочти при случае... И даже не счел нужным предупредить её «о свойствах этой вещи».

Полностью доверять этому свидетельству Александра Исаевича, конечно, нельзя. Во-первых, потому что никакое это не

свидетельство: ведь А. И. пересказывает тут не то, что знал и видел сам, а то, что ЕМУ РАССКАЗАЛИ. Притом – не сразу, даже и «не в тот год» было это ему рассказано.

А во-вторых, – и это, пожалуй, самое тут важное, – потому что этот его рассказ осложнён и сильно окрашен ярко выраженным неприязненным его отношением ко всем персонажам этого его повествования. И не столько даже к Кондратовичу и Заксу, сколько к главному, как ему представляется, виновнику того, что повесть его повисла на волоске и волосок этот чуть было сразу не оборвался – к ближайшему тогда его другу Льву Копелеву.

В то время, когда он писал своего «Теленка» (я имею в виду последний, сильно переработанный и дополненный вариант этих его «очерков литературной жизни»), они с Копелевым уже не просто рассорились, а вдрызг разругались.

Но и в пору самой искренней и нежной их дружбы отношения у них были непростые.

Уже тогда Солженицына угнетало и сильно задевало, что Копелев не в восторге от его писаний. Это было ему особенно обидно, потому что Лев был одним из первых, едва ли даже не единственным, кому он решался их читать. И ещё, конечно, потому, что только на его поддержку мог он рассчитывать в осуществлении главной тогдашней своей цели.

Цель эта состояла в том, чтобы отправить все к тому времени им написанное и уже давно отснятое им на пленку – за границу, на Запад.

...

> *...Со Львом Копелевым, – пишет он, – развитие было такое: из нашей зэческой компании он раньше и ближе всего стоял к столичным литературным кругам, к иностранцам... Приехавший в Москву в 1956 г. я в туристах иностранных и в возможности прорваться к посольству разуверился быстро. Но на Льва была надежда огромная, я ему читал, читал написанное в лагерях, в ссылке и с надеждой смотрел: что согласится отправить? Но – не хвалил он моих вещей.*

(А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. Новый мир, 1991, № 12. Стр. 38)

Вообще-то нельзя сказать, что эти его вещи Льву так-таки уж совсем не нравились. Кое-что нравилось. Но даже и те, что нравились, он не хвалил, а в лучшем случае – похваливал.

Вот, например, что он записал в своём дневнике на другой день после первого приезда «Сани» в Москву. (Только он и Д. М. Панин встречали его на вокзале):

...

С. приехал к нам на дачу. Сумка рукописей... Читает стихи – тоска заключённого о далекой любимой. Искренние, трогательные, но все же книжные... очень интересные пьесы: «Пир победителей» – мы в Восточной Пруссии... «Республика труда». Лагерный быт... «Декабристы» – дискуссии в тюремной камере... Я всего до конца и не услышал, заснул где-то после половины.

(Р. Д. Орлова, Л. З. Копелев. Мы жили в Москве, 1956–1980. М. 1988. Стр. 74–75)

А вот – ещё одна запись из того же дневника: 17 января 1958 г.

На этот раз не Солженицын приезжал из Рязани в Москву, а Лев – по случаю – побывал в Рязани:

...

Поездка с бригадой Госэстрады... На вокзале встречал С. Все ещё худой и словно бледнее. Долгополое пальто, как шинель. Решили: буду ночевать у него... Ночью, утром, днем читал «Шарашку». Митя твердил взахлеб: «Гениально, лучше Толстого, все точно, как было, и гениальная

художественность». Митя, как всегда, фантастически преувеличивает. О «Шарашке» – добротная, хорошая проза, но все наши споры опять, как в «Декабристах», преображены на свой лад. Мой «протагонист» глупее, равнодушнее, а «сам» и «Митя», и «синтетические» персонажи – их единомышленники – умнее, благороднее. Страницы про волю, про красивую жизнь сановников – карикатура на Симонова, посредственная, а то и плохая беллетристика, скорее боборыкинская. Когда говорю об этом, Наташа злится больше, чем он.

(Н. А. Решетовская. Хронограф. Архив Н. А. Решетовской)

Из того же дневника. Запись того же дня – 17 января 1958 года:

...

До этого, ещё раньше, я читал рукопись, именно рукопись, не перепечатанную на машинке «Не стоит село без праведника»... Рукопись была иллюстрирована снимками, которые он делал сам: Матрена, её шурин, изба и др. Мне показалось хорошим «физиологическим очерком» в традициях народников, Глеба Успенского.

2 ноября 1959 года Копелев опять приехал в Рязань. И тут стал одним из первых (в сущности, первым, если не считать Наталью Алексеевну) читателей только что законченной Солженицыным (он закончил её 11 октября) повести «Щ 854».

И вот как вспоминает об этом Н. А. Решетовская:

...

Перед Октябрьскими праздниками в Рязань приехал Копелев прочесть лекцию о Шиллере. Ночевал у нас. Прежде он хвалил Санины пьесы. А тут, перелистав рукопись «Ивана Денисовича», отмахнулся от неё, небрежно бросив: «Это типичная производственная повесть в духе социалистического реализма. Да ещё перегружена ненужными деталями». Саня очень расстроился от подобного приговора.

(Н. А. Решетовская. Хронограф. Архив Н. А. Решетовской)

Позже, когда они уже совсем рассорились, Александр Исаевич все это бывшему другу припомнил. И уже прямо обвинил его в том, что он не только не способствовал тому, чтобы «Щ 854» дошёл до Твардовского, но чуть ли даже этому не препятствовал.

Копелев ответил на эти обвинения подробно, и этот его ответ многое в этой запутанной истории проясняет:

...

История «хождения рукописи» «Щ 854» изложена тобой, теперь уже в личном письме, столь удаленно от истины, что я прежде всего удивился, хотя за последние годы должен был бы перестать удивляться тому, как своеобразно ты «живёшь не по лжи»...

Ты привез нам рукопись в мае 1961 года. Я начал читать при тебе же. И сразу сказал, что это мне нравится гораздо больше, чем «Шарашка». Позднее говорил, что могу повторить слова Ленина о Маяковском: «не знаю, как насчет поэзии, но политически своевременно».

Потом прочла Рая, и мы вместе с тобой составили список тех, кому ты разрешил показывать рукопись, не выпуская её из нашей квартиры и не называя имени автора: Всеволод Иванов, Вячеслав Иванов, Лидия Чуковская, Владимир Тендряков, Иван Рожанский, Лев Осповат... Не все из них тогда прочитали, но летом прибавились ещё читатели. Когда мы вернулись в ноябре 1961 года с Кавказа после XXII съезда, в твой первый приход к нам (5-го или 6-го ноября) мы обсуждали, как теперь быть с рукописью. Мы вдвоем долго уговаривали тебя, что наступило время показать рукопись Твардовскому.

Никто из нас тогда не рассчитывал на публикацию. Но после того, как рукопись побывает в редакции «Нового мира», ты уже не будешь отвечать за её распространение.

И как именно передавать, мы с тобой обсуждали очень подробно. Решили, что передаст Рая через Асю Б., а не я через Марьямова, так как Твардовский и некоторые другие члены редколлегии ко мне плохо относятся.

В тот день, когда я пришел к Твардовскому говорить о «Тарусских страницах», А. Б. сказала мне, что вручит ему рукопись в ближайшие часы, и просила назвать какое-либо имя автора. И я надписал сверху «А. Рязанский».

С Твардовским у меня произошло резкое объяснение: он отказался вмешаться, чтобы предотвратить грозившее уничтожение большей части тиража «Тарусских страниц», ругал Паустовского, поэтому я уже

не стал говорить о «Щ 854».

В то утро, когда он позвонил мне: «Оказывается, это вы принесли рукопись. Почему же вы ничего не сказали про неё?» – я ему так и ответил: «У нас с вами получился такой неприятный разговор, что я не хотел испортить судьбу этой рукописи». Он возразил: «Ну, тут никакие разговоры не могли бы ничего испортить. Эта вещь, как «Записки из Мертвого дома». Кто автор?» и т. д.

Рая отнесла А. Б. единственный имевшийся у нас экземпляр, сказала ей, что это произведение о лагере, настойчиво просила передать лично Твардовскому, минуя всех членов редколлегии…

В апреле 1964 года у нас с тобой возникла весьма сердитая размолвка по поводу нового варианта «Круга». Я высказал тебе некоторые критические суждения. Ты возразил сердитым письмом, в котором впервые заодно упрекнул меня за недооценку «Ивана Денисовича».

А теперь, 10 лет спустя, в последнем письме ты пишешь уже, что якобы я «забраковал его – то есть «И. Д.» вместе с «Кругом» как соцреализм». Но неужели ты забыл, что для меня в те годы понятие «соцреализм» было весьма одобрительным? В 1960 году вышла моя первая книга «Сердце всегда слева», где я с искренней глупой уверенностью излагал свою теорию соцреализма. И в этом я не был ни одинок, ни оригинален. В. Днепров и Г. Лукач хвалили «Ивана Денисовича» именно как образец социалистического реализма. А Генрих Белль в 1968 году писал о

тебе с любовью и как о художнике-обновителе социалистического реализма.

(«Синтаксис», № 37, Париж, 2001. Стр. 89–92)

Насчет тогдашнего «глупо уверенного» его отношения к соцреализму Лев, наверно, не врет и даже не преувеличивает. Но даже из этих его объяснений ясно видно, что никакого художественного открытия в «Иване Денисовиче» он не разглядел. Видно даже, что «Щ 854» тогда не шибко ему понравился. Об этом внятно говорит его собственная реплика, – перифраз знаменитой ленинской: «Не знаю, как насчет поэзии, но с точки зрения политики это замечательно». Сказано это было Лениным о Маяковском, которого как поэта он ставил совсем не высоко и не скрывал этого.

Но что бы там ни было, каковы бы ни были в тот момент отношения Льва с Твардовским, передавая «Щ 854» Асе, уж её-то – ни он, ни Рая, – «о свойствах этой вещи» не предупредить не могли.

Удивляться тому, что А. И. был несправедлив к бывшему другу и даже взвел на него напраслину, особенно не приходится. Он ведь и о Твардовском в своём «Телёнке» пишет в прокурорском тоне. Обвиняет его в том, что не спешил, слишком затянул процесс передачи рукописи в высшие инстанции, упустил момент и чуть даже не погубил все дело:

…

Я не торопил Твардовского и в тот год не находил ничего неправильного в его медлительности. Да и с чем было эту медлительность сравнивать, какой единицей измерять? Разве в нашей литературе до того был подобный случай?..

Но миновали годы, мы знаем, что Твардовский напечатал рассказ с задержкой в 11 месяцев, и теперь легко его обвинить, что он не торопился, что он недопустимо тянул. Когда мой рассказ только-только пришёл в редакцию, Никита

ещё рвал и метал против Сталина, он искал, каким ещё камнем бросить... Да если б сразу тогда, в инерции XXII съезда, напечатать «Ивана Денисовича», то ещё бы легче далось противосталинское улюлюканье вокруг него и, думаю, Никита в запальчивости охотно бы закатал в «Правду» и мои главы «Одна ночь Сталина» из «Круга первого». Такая правдинская публикация с тиражиком в 5 миллионов мне очень ясно, почти зрительно рисовалась, я её видел как въявь...

Как не сказать теперь, что упустил Твардовский золотую пору, упустил приливную волну, которая перекинула бы наш бочонок куда-куда дальше за гряду сталинистских скал и только там бы раскрыла содержимое. Напечатай мы тогда, в 2–3 месяца после съезда, ещё и главы о Сталине – насколько бы непоправимей мы его обнажили, насколько бы затруднили позднейшую подрумянку. Литература могла ускорить историю. Но не ускорила.

Виктор Некрасов, нервничая, говорил мне в июле 1962:

– Я не понимаю, зачем такие сложные обходные пути? Он собирает какие-то отзывы, потом будет составлять письмо. Ведь ему же доступна трубка того телефона. Ну сними трубку и позвони прямо Никите! Боится...

Можно понять, что он и рассказу боялся повредить слишком прямым и неподготовленным обращением к Хрущёву. Но думаю, что больше здесь была привычная неторопливость того

номенклатурного круга, в котором так долго он обращался: они лениво живут и не привыкли спешить ковать ускользающую историю – потому ли, что никуда она не уйдёт? потому ли, что не ими, собственно, куётся?.. Он долго подгонял к повести предисловие (а собственно, его могло и не быть: зачем ещё оправдываться?). Так вёл он многомесячную неторопливую подготовку, ещё не определив, как же продвигаться выше. Просто отдать в набор и послать в цензуру казалось ему губительно...

(А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни. М. 1996. Стр. 34–36)

Не закружилась бы у Александра Исаевича голова от обрушившейся на него мировой славы, не так уж трудно было бы ему сообразить, что не будь Твардовский тем, кем он был, и не поведи себя так, как повел, – не было бы и никакого Солженицына.

О том, как бы дело повернулось, если бы Твардовский просто отдал «Ивана Денисовича» в набор и послал в цензуру, он отчасти даже и догадывался, о чем свидетельствует такая, им же самим рассказанная подробность:

...

«Новый мир» изящно пошутил над цензурой: безо всякого объяснения послал им на визу первую вёрстку «Ивана Денисовича». А цензура в глуши своих застенков ничего и не знала о решении ЦК, ведь оно прошло келейно, как всё у нас. Получив повесть, цензура обалдела от этой «идеологической диверсии» и грозно позвонила в журнал: «Кто прислал эту рукопись?» – «Да мы тут», –

невинно ответила зав. редакцией Н. П. Бианки. – «Но кто персонально одобрил?» – «Да всем нам понравилось», – щебетала Бианки. Угрозили что-то, положили трубку. Через полчаса позвонили весело: «Пришлите ещё пару экземпляров» (им тоже почитать хотелось). Хрущёв – Хрущёвым, а виза цензуры всё равно должна была на каждом листе стоять.

(Там же. Стр. 44)

Не будь высочайшего соизволения (указания), цензура тотчас бы отправила подозрительную рукопись в Отдел культуры ЦК – главному душителю Поликарпову. А дальнейшее развитие событий в этом случае совсем уже легко представить.

Не увидел бы тогда свет «Иван Денисович» на страницах «Нового мира» (а при таком раскладе он бы света никогда не увидел), безвестный учитель математики из Рязани ни при какой погоде не решился бы бодаться с ядерной державой. И не было бы ни Нобелевской премии, ни громкого выдворения из страны... Но история, как мы знаем, не терпит сослагательного наклонения. Не надо только забывать, кто и какую сыграл в ней роль.

Роль, которую сыграл Твардовский в явлении на свет писателя Солженицына, недооценить легко, а переоценить трудно. И тут надобно ещё учесть, какую цену заплатил он за ту роль, какую в этой драме довелось ему сыграть.

Проведя бессонную ночь над рукописью «Щ 854», он сразу же твердо решил, что сделает всё – возможное и невозможное, – чтобы повесть была напечатана.

Друзья и соратники Александра Трифоновича по журналу его в этом намерении поддержали. Но ближайший из них, правая его рука – Александр Григорьевич Дементьев, – человек бесконечно Твардовскому и журналу преданный, но битый, а потому осторожный, – все-таки не преминул с глазу на глаз сказать ему:

– Учти, Саша! Даже если нам удастся эту вещь пробить и она будет напечатана, они нам этого никогда не простят. Журнал на этом мы потеряем.

Твардовский не спорил. Понимал, что тёзка говорит дело.

– А ты ведь понимаешь, Саша, – продолжал Александр Григорьевич, – что такое наш журнал. Не только для нас с тобой. Для всей России...

– Понимаю, – сказал Твардовский. – Но на что мне журнал,

если я не смогу напечатать **это** ?

Умный человек был Дементьев: как в воду глядел. «Ивана Денисовича» Твардовскому не простили.

* * *

Выступая на обсуждении «Ракового корпуса» и говоря о том, чем было для нас явление Солженицына, я сравнил «Один день Ивана Денисовича» с горьковской пьесой «На дне». Солженицын, мол, как Горький со своими босяками, поднял целый пласт жизненного материала, к которому художественная литература до него не прикасалась.

Это сравнение лишь в очень слабой степени выражало то, что я хотел сказать. Тогда же мелькнуло у меня другое: я вспомнил Гуинплэна Виктора Гюго, который, выступая в парламенте, сказал:

– Господа! Я принес вам новую весть: существует род человеческий!

Это был голос из бездны, о существовании которой парламентарии, к которым он обращался, не подозревали.

Вот такую же громовую весть – хотел я сказать – объявил своим согражданам и Солженицын. Но – не сказал. Сравнение русского писателя с героем французского романа показалось мне слишком выспренним, даже безвкусным, и я заменил Гуинплэна горьковскими босяками.

Мысль моя, в общем-то, была верна. Появление солженицынской повести на страницах «Нового мира» прежде всего было, конечно, огромным общественным событием, по значению своему сравнимым, может быть, только с закрытым докладом Хрущёва на XX съезде.

Но меня – меня лично – «Иван Денисович» покорил не только этим.

В то время я прочел уже довольно много ходивших в самиздате лагерных рукописей. Читал и замечательную книгу Юлия Марголина «Путешествие в страну Зэ-Ка»: вышедшая аж в 1952 году в Нью-Йорке, она каким-то чудом до меня дошла.

Поэтому ли, по другой ли какой причине, но тем, что он поднял новый, никем до него не тронутый пласт жизни, Солженицын меня не поразил. А поразил меня его «Иван Денисович» как событие литературное, художественное.

Хорошо помню тогдашний свой разговор о Солженицыне с моим другом Максом Бременером.

– Ты действительно думаешь, – спросил меня Макс, – что он

великий писатель?

– Может быть, и не великий, – ответил я. – Но он весь оттуда, из той, великой русской литературы.

Именно в этом было тут для меня все дело.

* * *

Однажды мы с женой оказались в Коктебеле вместе с Вениамином Александровичем Кавериным. Познакомились, общались, разговаривали. Вениамин Александрович в общении с нами был так прост, естественен и откровенен, что жена моя в одном таком разговоре ляпнула, что всех современных писателей делит на две категории. Одних считает русскими, а других – советскими.

От этой легкомысленной реплики молодой и, в сущности, совсем ему незнакомой женщины он легко мог отмахнуться, просто пропустить её мимо ушей. Но Вениамин Александрович отнесся к ней неожиданно серьезно. Помедлив, он сказал:

– Это очень жестоко. Но это правда.

Понял, стало быть, что, приняв такое деление, и сам попадает в разряд «советских». До «русских» недотягивает.

Эта бестактная реплика моей жены, в общем, довольно точно отражала и мое представление о том, «кто есть кто» в русской литературе XX века.

Называться русскими писателями (то есть продолжателями той литературы, которая завершилась именами Чехова, Горького, Бунина) могли – Зощенко, Платонов, Бабель, Булгаков.

А Фадеев, Федин, Катаев и многие другие, в том числе искренне – с детства – мною любимые (например, Гайдар, Макаренко да и тот же Каверин) были – советские.

К литературе Гоголя, Толстого, Достоевского они имели примерно такое же отношение (так, во всяком случае, мне это представлялось), как какой-нибудь современный новогреческий Янис Рицис (хороший, кстати, поэт) – к литературе Эсхила, Софокла и Еврипида.

В 1968 году вышла небольшая моя книжечка о Маршаке.

Это был не совсем мой выбор. Вернее, из того, что мне было предложено издательством, Маршак был мне ближе других. Но будь моя воля, я тогда охотнее написал бы (в ту же серию) книжку о Заболоцком. Однако и о Маршаке писал искренне и не без удовольствия. Но в конце счел нужным как-то обозначить его место в тогдашней моей шкале ценностей.

Повод для этого представился: то была реплика Льва Кассиля

на похоронах Самуила Яковлевича.

– Впервые, – сказал он, – после смерти Алексея Николаевича Толстого наша литература понесла столь тяжкую утрату.

По официальной тогдашней табели о рангах, наверно, так оно и было. Но, как уже было сказано, у меня была своя табель о рангах, и я попытался более или менее внятно её продемонстрировать.

Процитировав патетическую реплику Льва Абрамовича, я написал:

…

Ему даже в голову не пришло, что после смерти Алексея Николаевича Толстого наша литература потеряла Платонова и Заболоцкого, Зощенко и Пастернака.

Прочитав этот весьма нахальный по тем временам пассаж, мой редактор, ревностно исполнявший свои редакторские (в сущности, цензорские) функции, но изображавший при этом человека одних со мною взглядов, лишь транслирующего мне волю высокого начальства, сказал:

– Ты же не маленький, понимаешь, конечно, что это у тебя не пройдет.

И предложил – для баланса – вставить в этот мой список Фадеева, благо его смерть тоже укладывалась в те хронологические рамки.

Я категорически отказался.

– Но почему? – искренне недоумевал он. – Хороший ведь писатель!

Я соглашался: да, хороший. Но видишь ли, в чем дело: это моя книга. Вот когда ты напишешь свою книгу, на обложке которой будет стоять твое имя, ты составишь свой список самых крупных наших писателей. И вписывай туда, в этот свой список, хоть Фадеева, хоть Павленко, хоть Вирту. А я не хочу. Не хочу – и всё!

В более подробные объяснения (насчет того, кто русский, а кто советский) я не вдавался.

Словесные эти перепалки продолжались довольно долго. В процессе прохождения книги по инстанциям редактор, делая вид, что искренне желает мне добра, постоянно возвращался к этому сюжету: «Говорю тебе, вставь Фадеева!» Но я не сдавался.

Наконец пришла вторая вёрстка (так называемая сверка). Книга вот-вот уже должна быть подписана в печать. И тут – телефонный звонок моего редактора.

– Поздравляю. Ты допрыгался. Цензор категорически отказывается подписывать твою книгу. И все из за этого твоего дурацкого списка. Говорил я тебе, что такая четвёрка ни за что не пройдёт.

– Хорошо, – сказал я. – Оставь только двоих. Все равно кого – хочешь Зощенко с Платоновым, хочешь Заболоцкого с Пастернаком. Или Пастернака с Платоновым. Я согласен на любой вариант.

– Ишь ты, какой умный! Нет, брат, так не выйдет! Давай двух этих и двух других.

– Каких других? – валял я ваньку.

– Говорил я тебе: вставь Фадеева!

В общем, после долгих пререканий мне все-таки пришлось уступить. Был составлен новый список – другая «четвёрка», в которой рядом с Пастернаком и Зощенко (их мне удалось отстоять) появились два новых имени: Пришвин и Асеев. И хоть от Фадеева, на котором он продолжал упорно настаивать, я отбился, на душе у меня было гадостно. Пришлось все-таки покривить душой. Не с Пришвиным, нет. Пришвин, к которому я был довольно холоден, что ни говори, был русский писатель. А вот Асеев, многие стихи которого я по старой памяти любил, – уж точно советский. И это, конечно, нарушало цельность нарисованной мною картины.

* * *

Да, конечно, и среди современников моих были писатели, принадлежавшие к той, великой русской литературе, продолжавшие её: Зощенко, Платонов, Бабель, Булгаков... Наконец, неведомый нам автор «Тихого Дона».

Но это были писатели другой генерации. Все они приняли эстафету – из рук в руки, и не метафорически, а буквально, – от Горького, который обменивался рукопожатиями с Толстым и Чеховым. Преемственная связь между ними и их великими предшественниками не была оборвана.

А тут – неведомо откуда – вдруг явился (упал с неба) – никому не известный, зрелый, вполне сложившийся и безусловно русский (в том смысле, что не советский) писатель.

Повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича» – в этом у меня сразу не возникло никаких сомнений – была

явлением той, настоящей русской литературы. И это была не стилизация, не подражание, не попытка воскресить, реанимировать её (как, скажем, у Юрия Казакова или Беллы Ахмадулиной). Это было прямое – через голову советской – её продолжение.

Повесть была написана живым народным языком – тем самым, какой я постоянно слышал вокруг, но которого и духу не было в книгах, которые я читал:

...

Один, помоложе, бывший Герой Советского Союза, взлез на столб и протирал термометр.

Снизу советовали:

– Ты только в сторону дыши, а то поднимется.

– Фуимется! – поднимется!.. не влияет.

– Хорошо положили, а? За полдня. Без подъёмника, без фуёмника...

– Шесть их, девушек в купе закрытом ехало, ленинградские студентки с практики. На столике у них маслице да фуяслице...

И ни малейшего следа ещё не было в ней того вымученного, искусственного, мертворожденного «языкового расширения», каким Александр Исаевич стал потчевать нас позже.

* * *

И время, и пространство повествования в «Иване Денисовиче» жестко ограничены. Время – одним днем. Пространство – лагерной зоной. Но читая тогда эту маленькую повесть и рассказывая о ней ещё не прочитавшим её друзьям, я не раз вспоминал знаменитую формулу Белинского: «Энциклопедия русской жизни». И не осмеливаясь выговорить это вслух, наедине с собой, подумывал даже, что к солженицынскому «Ивану Денисовичу» она может быть отнесена даже с большим основанием, чем к пушкинскому «Евгению Онегину», о котором

это сказал великий критик. Ведь в ней, в этой маленькой повести, не переступая пределы лагпункта, в котором отбывает свой срок Иван Денисович, автор умудрился так много сказать нам нового, о чем мы тогда знать не знали и думать не думали и о чем до него никто не осмеливался не то что сказать вслух, но даже и помыслить.

Взять хоть вот эти раздумья героя повести над недавно дошедшим до него письмом от жены. Только на два таких письма в год имел он право, и это было одно из этих двух, последнее:

...

Да и они два раза в год напишут – жизни их не поймёшь. Председатель колхоза-де новый – так он каждый год новый, их больше года не держат. Колхоз укрупнили – так его и ране укрупняли, а потом мельчили опять. Ну, ещё кто нормы трудодней не выполняет – огороды поджали до пятнадцати соток, а кому и под самый дом обрезали. Ещё, писала когда-то баба, был закон за норму ту судить и, кто не выполнит, – в тюрьму сажать, но как-то тот закон не вступил.

Чему Шухову никак не внять, это пишет жена, с войны с самой ни одна живая душа в колхоз не добавилась: парни все и девки все, кто как ухитрится, но уходят повально или в город на завод, или на торфоразработки. Мужиков с войны половина вовсе не вернулась, а какие вернулись – колхоза не признают: живут дома, работают на стороне. Мужиков в колхозе: бригадир Захар Васильич да плотник Тихон восьмидесяти четырёх лет, женился недавно, и дети уже есть. Тянут же колхоз те бабы, каких ещё с тридцатого года загнали, а как они свалятся – и колхоз сдохнет.

Вот этого-то Шухову и не понять никак: живут дома, а работают на стороне. Видел Шухов жизнь единоличную, видел колхозную, но чтобы мужики в своей же деревне не работали – этого он не может принять. Вроде отхожий промысел, что ли? А с сенокосом же как?

Отхожие промыслы, жена ответила, бросили давно. Ни по-плотницки не ходят, чем сторона их была славна, ни корзины лозовые не вяжут, никому это теперь не нужно. А промысел есть-таки один новый, весёлый – это ковры красить. Привёз кто-то с войны трафаретки, и с тех пор пошло, пошло, и всё больше таких мастаков красиле´й набирается: нигде не состоят, нигде не работают, месяц один помогают колхозу, как раз в сенокос да в уборку, а за то на одиннадцать месяцев колхоз ему справку даёт, что колхозник такой-то отпущен по своим делам и недоимок за ним нет. И ездят они по всей стране и даже в самолётах летают, потому что время своё берегут, а деньги гребут тысячами многими, и везде ковры малюют: пятьдесят рублей ковёр на любой простыне старой, какую дадут, какую не жалко, – а рисовать тот ковёр будто бы час один, не боле. И очень жена надежду таит, что вернётся Иван, и тоже в колхоз ни ногой, и тоже таким красилём станет. И они тогда подымутся из нищеты, в какой она бьётся, детей в техникум отдадут и заместо старой избы гнилой новую поставят. Все красили´ себе дома новые ставят, близ железной дороги стали дома теперь не пять тысяч, как раньше, а

двадцать пять.

Хоть сидеть Шухову ещё немало, зиму-лето да зиму-лето, а всё ж разбередили его эти ковры. Как раз для него работа, если будет лишение прав или ссылка. Просил он тогда жену описать – как же он будет красилём, если отроду рисовать не умел? И что это за ковры такие дивные, что на них? Отвечала жена, что рисовать их только дурак не сможет: наложи трафаретку и мажь кистью сквозь дырочки. А ковры есть трех сортов: один ковёр «Тройка» – в упряжи красивой тройка везёт офицера гусарского, второй ковёр – «Олень», а третий – под персидский. И никаких больше рисунков нет, но и за эти по всей стране люди спасибо говорят и из рук хватают. Потому что настоящий ковер не пятьдесят рублей, а тысячи стоит.

Хоть бы глазом одним посмотреть Шухову на те ковры...

По лагерям да по тюрьмам отвык Иван Денисович раскладывать, что завтра, что через год да чем семью кормить. Обо всем за него начальство думает – оно будто и легче. А как на волю вступишь?..

Из рассказов вольных шоферов и экскаваторщиков видит Шухов, что прямую дорогу людям загородили, но люди не теряются: в обход идут и тем живы.

(Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. Раковый корпус. Рассказы. М. 1990. Стр. 378–379)

Сам по себе этот способ существования Шухова не удивляет. Ведь именно так живут и пристраиваются – все, кто может, – тут,

в лагере. Удивляет его только, что и там, на воле, люди тоже живут и выживают тем же хитрым способом. Стало быть, и там тоже нормальной жизни нет: прямую дорогу загородили, приходится идти в обход.

Вот и выходит, что лагерь, в котором отбывает свой срок Иван Денисович, – да и вся эта давно сложившаяся и упрочившаяся система сталинских лагерей, – не какой-то там болезненный нарост, не раковая опухоль на здоровом теле страны, а сколок, модель всего советского мироустройства.

* * *

На Западе о существовании советских концентрационных лагерей было известно давно. Но тема эта там долго оставалась дискуссионной.

С 24 января по 22 марта 1949 года в Париже слушалось на весь мир прогремевшее «Дело Кравченко», знаменитого советского невозвращенца 40-х годов, издавшего книгу «Я выбрал свободу», в которой правда о сталинских лагерях во весь голос была сказана чуть ли не впервые.

Прокоммунистический еженедельник «Леттр Франсэз» обвинил Кравченко в клевете. Кравченко тотчас же привлёк эту французскую газету к суду. Газета вызвала на процесс около сорока свидетелей, среди которых были люди весьма почтенные: Жолио-Кюри, Хьюлетт Джонсон, Веркор, д\'Астье де ля Вижери.

Со стороны Кравченко свидетелями выступили чудом уцелевшие и оказавшиеся на Западе узники сталинских лагерей.

Когда я читал стенограмму этого процесса (в далеко не полном виде она дошла до меня, конечно, лишь целую эпоху спустя), едва ли не самое сильное впечатление произвели на меня свидетельские показания Хьюлетта Джонсона (настоятеля Кентерберийского собора).

Он рассказал, что был в Советском Союзе несколько раз. Два раза встречался со Сталиным, который произвел на него впечатление доброго и обаятельного человека. В одну из своих поездок по стране, когда он летел на самолете в какую-то советскую глубинку, он – сам, лично, – обнаружил какую-то неполадку в моторе (по первому своему, светскому образованию он был инженер) и сообщил об этом экипажу. Пришлось совершить вынужденную посадку.

Они сели в каком-то захолустном колхозе, где их приняли с чисто русским гостеприимством. Пока лётчики с местными умельцами чинили самолет, колхозники пригласили иностранных

гостей на импровизированный вечер самодеятельности, на котором колхозные девочки-пионерки прелестно танцевали и пели английские песни на английском языке. Все это, разумеется, никак не могло быть подстроено, поскольку это была совершенно не запланированная вынужденная посадка, а неисправность в моторе первым заметил он сам.

То, что наши умельцы (не те, что помогали ремонтировать самолёт, а те, что придумали и реализовали всю эту грандиозную липу) сумели запудрить мозги и навесить лапшу на уши наивному настоятелю Кентерберийского собора, меня не удивило. И не такие простые задачи им приходилось решать.

Более всего в той стенограмме меня удивило другое: реакция на все эти россказни высоколобых западных интеллектуалов, среди которых даже не все были «левыми».

Особенно запомнилась мне такая сцена.

Кто-то из вызванных к даче показаний свидетелей рассказывает о том, какая невыносимая теснота и духота была в тюремной камере, в которой он оказался.

Адвокат задает ему вопрос: каковы были размеры той камеры? Свидетель отвечает, что площадь камеры составляла примерно сорок – сорок пять квадратных метров. «И сколько же в ней помещалось арестантов?», – просит уточнить адвокат. Свидетель отвечает, что человек полтораста. Может быть, даже двести. Адвокат разводит руками: абсурдность этих показаний представляется ему очевидной. И так же реагирует на них зал: недоверчивыми улыбками, смешками. Не может, ну никак не может западный человек вообразить, чтобы в камеру размером в сорок или даже пятьдесят квадратных метров можно было запихнуть полтораста, а тем более двести арестантов. И свидетель сбивчиво пытается им втолковать, что лежали они там все вповалку на полу, так тесно прижавшись друг к другу, что когда кто-нибудь из них пытался повернуться на другой бок, чтобы эта отчаянная его попытка удалась, повернуться должны были все двести. Вообразить себе такое западный человек не в состоянии, и в ответ на это невнятное и явно вздорное объяснение в зале раздается смех…

Первым сокрушительным ударом по неверию западного интеллигента в существование сталинской тюремно-лагерной системы, – а тем самым и по всему мировому коммунистическому движению, – был доклад Хрущёва на XX съезде.

Вторым таким ударом, не менее, а может быть, даже и более сокрушительным, стало появление на страницах «Нового мира» повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Это значение своего «Ивана Денисовича» Александр Исаевич понимал хорошо. Но место, которое он отводил этой маленькой повести в сравнении с другими своими вещами, в то время уже написанными, а тем более с теми, которые он ещё собирался написать, представлялось ему не больно значительным.

Решившись наконец выйти из подполья и отдать что-нибудь свое в легальный советский журнал, он выбрал именно эту вещь, как самую безобидную, самую «проходную». Она была первой из всего им написанного, которую, как ему это тогда представлялось, можно было если не опубликовать, так хоть **не прятать** :

...

Я не знал – для чего, у меня не было никакого замысла, просто взял «Щ 854» и перепечатал облегчённо, опуская наиболее резкие места и суждения и длинный рассказ кавторанга Цезарю о том, как дурили американцев в Севастополе 1945 года нашим подставным благополучием. Сделал зачем-то – и положил. Но положил уже открыто, не пряча. Это было очень радостное освобождённое состояние! – не ломать голову, куда прятать новозаконченную вещь, а держать её просто в столе – счастье, плохо ценимое писателями. Ведь никогда ни на ночь я не ложился, не проверив, всё ли спрятано и как вести себя, если ночью постучат.

(А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. М. 1996. Стр. 19)

Что же касается самой повести, её художественных, литературных достоинств, то она совсем не представлялась ему такой уж большой его художественной удачей.

Он даже и повестью её не считал. Считал рассказом. А назвать повестью разрешил, идя навстречу пожеланиям редакции. И даже не очень охотно:

...

Предложили мне для весу назвать рассказ повестью, – ну, ин пусть будет повесть...

(Там же. Стр. 28)

Так был уверен, что никакая это не повесть, а именно рассказ, что счел даже нужным сделать к этой реплике такое примечание:

...

Зря я уступил. У нас смываются границы между жанрами и происходит обесценение форм. «Иван Денисович» – конечно рассказ, хотя и большой, нагруженный. Мельче рассказа я бы выделял новеллу – лёгкую в построении, чёткую в сюжете и мысли. Повесть – это то, что чаще всего у нас гонятся называть романом: где несколько сюжетных линий и даже почти обязательна протяжённость во времени. А роман (мерзкое слово! нельзя ли иначе?) отличается от повести не столько объёмом, и не столько протяжённостью во времени (ему даже пристала сжатость и динамичность), сколько – захватом множества судеб, горизонтом огляда и вертикалью мысли.

(Там же)

На появление в том же «Новом мире» двух других своих рассказов («Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка») отреагировал такой репликой:

...

Там – тема, а здесь – чистая литература. Теперь пусть судят!

Ни за что не поверил бы он тогда, – да и потом тоже (потом – тем более!), – что «Иван Денисович» останется его **художественной вершиной** , – самым гармоничным, самым совершенным из всех его творений, всех навороченных им за всю его долгую жизнь многотомных «узлов», «глыб» и «колёс».

* * *

Неподалеку от нас, близ метро «Сокол», в Чапаевском переулке жила очаровательная молодая женщина Вероника Туркина с мужем Юрой Штейном и двумя маленькими тогда дочками. Вероника была родственницей Солженицына – двоюродной сестрой его первой жены Натальи Решетовской.

Но дело было не в родстве.

Вероника была предана Александру Исаевичу всей душой, и он тоже искренне любил её. А влюбленность её мужа Юры в «Саню», как они по-родственному его называли, его преданность этому своему свойственнику принимала порой такие гипертрофированные и даже пародийные формы, что впоследствии этот самый Юра Штейн стал одним из прототипов Лео Зильберовича – комического персонажа романа Войновича «Москва 2042».

Но во времена, о которых я рассказываю, до этого было ещё далеко. И тогда слепая преданность Юры Солженицыну вовсе не казалась нам заслуживающей осмеяния.

Их дом в то время был для Александра Исаевича его главным, а может быть, даже и единственным московским пристанищем.

Приезжая из Рязани в Москву, «Саня», как с легкой руки Вероникиного семейства мы тоже стали (между собой, конечно) называть Александра Исаевича, неизменно останавливался у Штейнов и – более того – через них осуществлял многие свои тогдашние начинания. О том, какие это были начинания, станет ясно в дальнейшем, пока же скажу только, что А. И. в то время, о котором я рассказываю, уже вышел на тропу войны с советской властью, и даже самые невинные из этих его мероприятий были совсем не безопасны для тех, кто брался ему помогать. Но ни Веронику, ни Юру это нимало не заботило. Юру мы меж собой называли «связным» (он постоянно мотался между Чапаевским и нашим «Аэропортом», выполняя разнообразные поручения «Сани»), и эту добровольно им на себя взятую роль «связного» он исполнял так бурно и шумно, что ни о каком соблюдении хоть самых минимальных правил конспирации не могло быть даже и речи.

К тому времени, когда «связной» Юра уже наладил с нами прочную и постоянную связь, мое – сперва заочное, а потом и очное – знакомство с Александром Исаевичем уже состоялось. А начало этого знакомства, наверно, можно датировать январем, самое позднее – февралем 1967 года. Во всяком случае, на подаренном мне Александром Исаевичем отдельном – «совписовском» – издании «Одного дня Ивана Денисовича» значится:

...

Бену Сарнову
С искренним расположением
20. 3. 67.

Стало быть, в это время я уже был для него не «Бенедиктом Михайловичем», а – «Беном».

Это, впрочем, ничего не значит: книжка ведь не была вручена мне автором лично, а передана через Веронику или Юру. От них он и перенял это домашнее, приятельское, почти дружеское сокращение моего имени. Так что, приводя здесь эту его дарственную надпись, на короткость, а тем более близость наших отношений я отнюдь не намекаю.

Никакой короткости и не было. Но отношения – были.

В то время скопилась у меня довольно толстая пачка адресованных мне коротеньких записочек Александра Исаевича. Пытаясь сейчас разыскать из них хоть некоторые, я обнаружил, что сохранились только две. Остальные куда-то канули.

Надо было бы, наверно, к этим его записочкам отнестись с большим почтением. И так бы, наверно, я к ним и отнесся, если бы их у меня было всего несколько. Но поскольку было их много, и были они довольно однообразны, даже, я бы сказал, однотипны, а главное, – потому что были они для меня тогда не каким-то там чрезвычайным событием, а частью повседневного тогдашнего моего быта, – мне и в голову не пришло, что не мешало бы сложить их все в отдельную папку с надписью «Хранить вечно». Я ведь тогда не знал – даже и думать не думал! – что буду писать мемуары.

Впрочем, для мемуаров мне хватит и тех, что сохранились.

Может быть, хватит даже и одной, самой короткой.

Это – узкая бумажная полоска, на которой – под копирку – (мне достался явно не первый, в лучшем случае второй экземпляр) напечатано:

...

В редакцию «Литературной газеты»

Копия – журнал «Новый мир»

Я знаю, что Ваша газета не напечатает единой моей строки, не придав ей исказительного или порочного смысла. Но у меня нет другого выхода ответить многочисленным поздравителям иначе, как посредством Вас:

«Читателей и писателей, приславших поздравления и пожелания к моему 50-летию, я с волнением благодарю. Я обещаю им никогда не изменить истине. Моя единственная мечта – оказаться достойным надежд читающей России».

Солженицын.

Рязань, 12 декабря 1968 г.

А слева, в самом углу этой машинописной полоски – от руки – было вписано:

...

Бенедикту Сарнову
с благодарностью
и большим расположением
А. Солженицын.
18. 12. 68.

Много лет спустя я узнал, что в редакции «Нового мира» были большие колебания и даже страхи: посылать поздравление? Не посылать?

О том, чтобы не поздравить, конечно, не могло быть и речи. Но не лучше ли сделать это как-нибудь неофициально?

9/XII – 68 г.

...

Звонил А. Т. Обещал быть в среду. Говорил с ним о юбилее Солженицына. Он уже много думал об этом и согласен, что надо все сделать умно, чтобы не навлечь ничего против Солженицына и журнала. Сам он пошлёт телеграмму. Я сказал, что есть мнение послать письмо и, может быть, не почтой, а с оказией, скажем с Вероникой. Ясно (я этого по телефону не сказал), что сейчас все будет учитываться и перлюстрироваться особо. Боюсь, что благожелатели и шушера всякая, в том числе и провокационная, может устроить Солженицыну неприятности в Рязани. Ему бы догадаться не быть в этот день и накануне его в Рязани, а где-нибудь в Москве, Переделкине. Любая студенческая делегация, может быть, сопровождается и провокаторами...

(Алексей Кондратович. Новомирский дневник.1967–1970. М. 1991. Стр. 330)

Но Твардовскому все эти страхи были не по душе. Понимая, что поздравительная телеграмма, отправленная открыто, начальством будет воспринята как некая нежелательная демонстрация и может навлечь на журнал очередные неприятности, он и думать не думал ни о каких обходных маневрах.

...

11/XII –68 г.

Идет поток приветствий Солженицыну по случаю его 50-летия.

– Академик Понтрягин, – сказал А. Т., – не задумывался долго.

«Великого русского писателя сердечно поздравляет академик Понтрягин». И все. Много не думал и не оглядывался по сторонам.

Присутствовавший при этом Ф. Абрамов наивно спросил:

– А в «Литературной газете» ничего нет?

– Ишь чего захотел! В газете! Как бы чего-нибудь наоборот не было.

А. Т. радуется, что телеграмм все больше и больше. Меня же удивляет: откуда люди знают, что сегодня его юбилей? Откуда? Нигде не писалось. Кто-то сказал, что о нем есть справка в двухтомном энциклопедическом словаре. Я достал его. Справка есть, но в ней всего лишь «родился в 1918 г. ». Пишут отовсюду. Трогательная телеграмма, подписанная десятками студентов биофака. Им ведь может влететь. От новосибирских, ленинградских студентов. Множество совершенно неизвестных почитателей.

Все это складывается в большой конверт. Надо будет как-то передать.

Мы переслали Солженицыну все поздравления. Но как потом рассказывал А. Т., большое количество писем и телеграмм, посланных людьми по наивности на адрес Союза писателей, были зажаты твердой рукой. Солженицын жаловался, что и почта многое задержала: ну в этом-то можно не сомневаться.

(Там же)

Но на следующий день тот же Кондратович записывает:

...

12/XII – 68 г.

Ужасно огорчило письмо Солженицына, которое показал А. Т. Выясняется, что он до юбилея (иначе А. Т. не получил бы письмо сегодня, на второй день после 50-летия) разослал под копирку это письмо. У А. Т. тоже письмо из-под копирки, без подписи. Мог бы и подписать! А смысл письма в «Л. г. » сводится к тому, что, конечно, вы, «Л. г. », не опубликуете мое нижеследующее послание, однако я его вам предлагаю. А послание такое: он благодарит всех почтивших его юбилей и готов отдать себя «служению читающей России».

А. Т. и все мы удивлены и обескуражены. Ефим Яковлевич правильно сказал, что самое плохое – это оказаться или показаться смешным. А Солженицын, умный человек, выглядит во всем этом смешным. Разослать до юбилея? Значит, быть уверенным, что последует поток поздравлений? А если его не будет? В каком глупом положении он мог оказаться. А. Т. так и сказал: «Откуда такая торопливость? Нетерпение? Может быть, оттого, что я вот такой, отделаюсь сразу от юбилея – и примусь за дело?» Но это лучший вариант. Худший – окружение, дамское, молитвенное, коленопреклоненное. «Ах, как это противно» (А. Т.). У меня это тоже не идет из головы. Даже гениальному человеку нельзя себя приобщать к истории. История сама приобщит.

(Там же. Стр. 331–332)

Но, несмотря на все эти опасения, недоумения и осуждающие ухмылки соратников, которые, если верить Кондратовичу, он

выслушивал сочувственно и даже как бы с ними соглашаясь, Александр Трифонович, конечно, все-таки послал Исаичу поздравительную телеграмму.

И тем более горькой была его обида, когда в ответ он получил такую же полосочку папиросной бумаги, какую получил я, и с таким же машинописным текстом – под копирку – тоже не первый, а второй экземпляр:

Для кого другого, но для Твардовского А. И., казалось, мог бы сделать исключение. Нет, не сделал.

* * *

Такая же, только ещё более узкая бумажная полоска «с благодарностью и большим расположением» была передана мне от Александра Исаевича, когда я поздравил его с получением – вернее, с присуждением ему – Нобелевской премии.

Как и первую, и все остальные – сугубо деловые – доставил мне её «связной» Юра.

Но к тому времени я давно уже и сам стал «связным».

То и дело Юра притаскивал мне целую пачку различных солженицынских писем и записок (иногда с довольно длинными приложениями), адресованных членам Союза писателей, проживающим в нашем микрорайоне. А я уж – соответственно – должен был передать их по назначению.

Что я и делал.

Для наглядности приведу одно и такое письмо (второе из тех двух, что у меня сохранились). Не полностью, конечно, а только самое его начало и конец.

Начиналось оно так:

...

Члену Союза Писателей СССР
Сарнову Б. М.

Скоро год, как я послал свое безотзывное письмо съезду писателей. С тех пор ещё дважды я писал Секретариату СП, трижды был там сам. Ничего не изменилось...

А вот – как заканчивалось:

...

Происшедшее вынуждает меня ознакомить нашу литературную общественность с содержанием прилагающихся писем и высказываний – чтобы стала ясна позиция и ответственность Секретариата СП СССР.

Прилагаемое изложение заседания Секретариата 22.9.67., записанное лично мною, разумеется, не полно, но совершенно достоверно и может служить достаточной информацией до опубликования полной стенограммы.

16.4.68. Солженицын.

Приложения:

1. Мое письмо всем (сорока двум) секретарям СП от 12.9.67.

2.Изложения заседания в Секретариате 22.9.67.

3. Письмо К. Воронкова 25.11.67.

4. Мое письмо в Секретариат 1.12.67.

Я не привожу это письмо полностью, потому что оно, как и все прочие письма Александра Исаевича, отражающие его «бодание с дубом», разумеется, опубликовано. Все они в совокупности составляют целый (шестой) том изданного «Посевом» собрания его сочинений. Я уже и тогда понимал, что

не такой он человек, чтобы не сохранить всю эту свою переписку – для истории. Потому, наверно, и не счел нужным хранить все его письма и записки.

Как и предыдущее, это письмо было напечатано на машинке – под копирку. И мне опять достался второй – если не третий – экземпляр. Рукой Александра Исаевича было вписано только: «Сарнову Б. М.», его подпись и дата.

Примерно таковы же были и все другие его – подобные – письма.

Но иной раз попадались среди них и личные. Ну, не совсем личные, конечно, – но не такие стандартные.

Особенно запомнилась мне пачка бумажных полосочек, адресованных тем, кто поздравил его с присуждением Нобелевской премии.

Читать записки, адресованные не мне, а тем, кому я должен был их передать, я, понятное дело, не стал. Но мне сразу бросилось в глаза, что полоски эти – разного размера. Кому – совсем узенькие, в две-три строки. А кому (например, Солоухину) чуть ли не на полстраницы.

Помню, жена спросила меня:

– Что он тебе написал?

– Я получил «Знак почета», – ответил я, имея в виду, что кое-кому (тому же Солоухину, например) по той солженицынской субординации достался орден Ленина, а может быть, даже и высокое звание «Героя Социалистического Труда».

Так же и Слуцкий. До Солоухина он, конечно, недотянул, но, судя по размеру предназначавшейся ему бумажной полоски, он удостоился ордена «Красного знамени».

А вот мне, стало быть, – «Знак почета». («С благодарностью и большим расположением»). Что ж, хорошо ещё, что не медаль «За боевые заслуги». («За боевые услуги», как называли её фронтовики).

Запомнился мне ещё один эпизод, определивший мое – уже тогда – слегка ироническое отношение к Александру Исаевичу.

Позвонил мне незнакомый человек. Представился. Он – художник. Написал портрет Солженицына. Хотел бы подарить его Александру Исаевичу, но не знает, как это сделать. Не могу ли я каким-то образом ему в этом поспособствовать.

Я сказал, что могу.

Художник принес портрет и показал его мне.

На большом листе ватмана – то ли углем, то ли тушью – крупным планом было запечатлено лицо Александра Исаевича. Лоб его – как шрам – пересекала колючая проволока.

Портрет, хотя и лежал на нем некоторый отпечаток эстетики

соцреализма, мне, в общем, скорее понравился, и я – через Юру или Веронику – переправил его «Сане».

Ответ пришел скоро.

Адресован он был, разумеется, не мне, а прямо и непосредственно художнику. Но текст этого ответа я помню дословно, поскольку художник, прочитав его, поделился со мной своим недоумением, которое я не мог не разделить.

Александр Исаевич писал, что за портрет благодарит, но с концепцией его решительно не согласен. «По-моему, – объяснял он свое несогласие, – не она – меня, а я – её».

Имелась в виду, разумеется, колючая проволока.

Между тем мужественное, волевое, гораздо более мужественное и волевое, чем в жизни, лицо Солженицына, изображенное художником, не оставляло ни малейших сомнений в том, что именно «он – её, а не она – его».

Такая очевидная слепота нашего кумира, явно порожденная его упоением собой и своей мессианской ролью, довольно сильно обескуражила тогда не только бедного художника, хотевшего «как лучше», но и меня тоже.

Выражение «нашего кумира» я тут употребил, конечно, не без иронии. Но это – самоирония. Ирония, направленная на себя.

Кумиром в полном смысле этого слова он и тогда для меня, конечно, не был. Но несомненным лидером, вождем, безусловно, был.

Каждое его обращение к нам мы принимали как руководство к действию. Не потому, конечно, что слепо подчинялись его воле, а потому, что всё, что он делал и побуждал делать нас, представлялось нам не просто правильным, а – необходимым. Мы удивлялись, что сами не додумались до этих простых решений, и были счастливы, что нашелся наконец человек, который всё решает за нас.

Из всех этих его обращений с особым энтузиазмом было встречено нами его «Письмо IV съезду писателей СССР». Оно было адресовано:

...

В Президиум съезда и делегатам
Членам ССП
Редакциям литературных газет и журналов.

Как обстояло дело с членами Президиума съезда,

делегациями и редакциями литературных газет и журналов, я не знаю. Но до нас это его «Письмо» дошло тем же путем, что все предыдущие и последующие. «Связной» Юра принёс мне около десятка машинописных копий, на каждой из которых рукой Исаича было написано: «Члену Союза писателей СССР такому-то». Может быть, были у него ещё и другие «связные», кроме Юры, – не знаю. Но тот десяток копий, который попал ко мне и моим друзьям, сразу превратил нас в «инициативную группу», мгновенно сообразившую, как нам всем надлежит действовать, и тотчас же принявшуюся за осуществление этой программы.

Вдвоем с моим другом Борей Балтером мы сочинили свой текст обращения к съезду. Показали его ближайшим друзьям – Фазилю, Володе Войновичу, Володе Корнилову, Лёве Левицкому, Васе Аксёнову, Эмке Манделю (Коржавину), Булату. Все они, кроме Эмки и Булата, жили в том же доме, что и мы с Борей. Был там в этой нашей компании даже один ленинградец – близкий друг Лёвы Левицкого Толя Соснин, оказавшийся в тот день в Москве и принявший в этом нашем предприятии самое деятельное участие.

Собрались мы в просторной балтеровской квартире и вслух зачитали друзьям наш текст, в котором выплеснули всё, что у нас к тому времени накипело и по поводу цензуры, и по поводу общего положения дел в литературе, и по поводу так называемого партийного руководства литературой и искусством.

Накипело не только у нас с Борей, и весьма запальчивая эта наша прокламация почти всеми нашими друзьями была бурно одобрена.

Но, слегка отрезвев, мы подумали, что текст её так резок, что кроме нас – семерых или восьмерых – никто её не подпишет.

После долгих и довольно бурных дебатов мы с Борей перебазировались на квартиру Лёвы Левицкого, обстановка которой больше располагала к спокойному обсуждению: Лёва жил один, и его квартира не была таким «проходным двором», как квартира Балтера.

Спор, однако, продолжился и там. Боря упрямо настаивал на самом резком варианте, который внятно сказал бы начальству, что от цензуры задыхается большинство писательской братии, а не два-три строптивца. Я готов был поступиться кое-какими резкими формулировками. А Лёва – так же горячо, как Боря свой, отстаивал свой вариант, – доказывал нам, что письмо должно быть предельно взвешенным, умеренным по тону и – совсем коротким.

В результате у нас – теперь уже троих – родился такой текст:

Письмо А. И. Солженицына ставит перед съездом писателей и перед каждым из нас вопросы чрезвычайной важности. Мы считаем, что невозможно делать вид, будто этого письма нет, и просто отмолчаться. Позиция умолчания неизбежно нанесла бы серьезный ущерб авторитету нашей литературы и достоинству нашего общества.

Только открытое обсуждение письма, обеспеченное широкой гласностью, может явиться гарантией здорового будущего нашей литературы, призванной быть совестью народа.

Сообщить свою точку зрения съезду мы считаем своим гражданским долгом.

Этот новый наш текст не был ни лживым, ни даже фальшивым. Но толика лукавства и даже некоторой демагогии в нем все-таки была.

Ни о каком «достоинстве нашего общества» мы, конечно, не думали. (Какое уж тут достоинство!) И ни в какое «здоровое будущее нашей» (то есть – советской) литературы давно уже не верили. Ясно понимали, что литература, «призванная быть совестью народа», ни с каким партийным руководством и ни с какими решениями никаких съездов и никаких секретариатов несовместима. И в первом – забракованном нами – тексте ничего подобного не было. То был – просто вопль: «Перестаньте нас душить!»

Но нам – повторяю – надо было собрать под нашим обращением как можно больше подписей: ведь именно для этого обратился к нам Александр Исаевич. И тут уж надо было тщательно соблюдать все, давно уже обрыдшие нам, «правила игры». Чтобы не отпугнуть всех мысливших более ортодоксально, чем мы, – или тех, кто думает так же, как мы, но не захочет закидывать свой «чепчик» слишком далеко «за мельницу».

Сочинив этот – более лояльный – текст, мы решили прежде всего добыть подписи от двух-трех корифеев, принадлежащих к

уже почти вымершей плеяде «основоположников советской литературы». Рассчитывать в этом случае мы могли только на двоих: Паустовского и Каверина.

К Паустовскому поехал Боря Балтер, и Константин Георгиевич без звука поставил под нашей декларацией свою подпись.

К Каверину мы поехали втроем: сейчас уже не помню, кто ещё был в составе той «делегации». Помню только, что Вениамин Александрович, сразу подписав наш текст, выразил сожаление, что среди делегатов съезда наверняка не найдется ни одного, кто посмел бы хоть слово сказать о солженицынском письме со съездовской трибуны.

– Ну, а вы, например? – робко заикнулся я. – Ведь не посмеют же они не дать вам слова, если вы попросите?

Он только засмеялся в ответ и махнул рукой: мол, ещё как посмеют!

Забегая слегка вперед, не могу не рассказать о том, какую службу сослужили нам имена Паустовского и Каверина не только при сборе остальных подписей, но и потом, когда письмо уже было отослано по адресу, и прозвучало по всем «вражеским» радиоголосам, и началось очередное разбирательство с «подписантами».

В этот раз, правда, особых разбирательств вроде не было. Настоящие кары на подписантов обрушились позже и совсем по другим поводам. Но у людей служилых неприятности вполне могли быть.

О себе, например, уже, так сказать, постфактум, я узнал такое.

В то время я был членом редколлегии одной из студий Мосфильма. И вот однажды директор нашей студии («объединения», как это тогда называлось) Юра Солдатенко вдруг мне говорит:

– У меня на днях был о тебе разговор с Баскаковым.

Баскаков тогда был первым замом министра кинематографии (точнее – Председателя Госкино СССР), и наш директор Юра все новости и сплетни государственного значения приносил нам обычно, ссылаясь на очередную, последнюю свою встречу именно с ним.

Однажды, например, на заседании нашей редколлегии он вдруг сказал:

– Внимание, товарищи! Я вчера был у Баскакова, и Владимир Евтихианович просил меня передать вам следующее. Скажите, говорит, вашим членам редколлегии, чтобы свои антисоветские взгляды они держали при себе. Их взгляды – это их личное дело.

А зарплату мы им платим за то, чтобы они защищали интересы советской власти. Так прямо им и передайте!

Ну и ну, подумал я. Сильно, однако, как любил, бывало, говорить мой отец, «жидивьска вера полегчила». Вот уже, оказывается, даже антисоветские взгляды нам дозволено иметь. При условии, правда, что мы не станем руководствоваться ими, оценивая проходящие через нас фильмы и сценарии.

И вот, значит, у этого самого Баскакова был с нашим Юрой разговор обо мне.

– Что за разговор? – спросил я.

– «Вот! – начал он орать. – Ваша редколлегия! Что у вас за редколлегия!» – а я ему говорю: «А что? – говорю, – редколлегия у нас очень хорошая! Авторитетные, высококвалифицированные люди». – «Да, – говорит, – квалифицированные... А Сарнов?» – я говорю: «А что Сарнов?» – «Да ведь он же подписал это наглое письмо в защиту Солженицына!» – «А-а», – говорю. Ты же знаешь, я тоже хитрый еврей. (Никаким евреем наш Юра Солдатенко, конечно, не был, но он любил именно так аттестовать свои деловые качества). – «А-а, – говорю. – Вы про это. Ну, на эту тему я с Сарновым разговаривал. Он мне всё объяснил... Понимаете, говорит, это письмо подписали мои учителя – Паустовский и Каверин. И после них мне уже было неудобно его не подписать».

Как сказано у Гоголя, – «подивился Тарас бойкой жидовской натуре!». Вот так и я – подивился изворотливому «еврейскому» уму нашего Юры Солдатенко (ничего подобного, как вы понимаете, я ему не говорил, да и вообще никакого разговора о моем «подписантстве» у меня с ним не было).

– Ну и что? – спросил я у него. – Что на это ответил тебе Баскаков?

– «А-а, – сказал. – Ну, это я как раз понять могу».

Сейчас, когда я вспомнил этот давний разговор и записал его, мне вдруг пришло в голову, что наш директор Юра Солдатенко, сам того не подозревая, защитил меня совершенно так же, как Пушкин ответил царю в том знаменитом их разговоре.

На вопрос Николая Павловича, с кем был бы он 14 декабря, ответил:

– Все мои друзья были в заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них.

И Николай Павлович, вероятно, реагировал на это его признание примерно так же, как на солдатенковское объяснение моего поступка – Баскаков.

Я, как вы понимаете, бесконечно далёк от того, чтобы сравнивать себя с Пушкиным, а зампреда Госкино с императором и самодержцем всероссийским. Но сходство коллизий, что ни

говори, – красноречиво. И как ни ничтожна и даже пародийна моя коллизия в сравнении с пушкинской, очевидное сходство это говорит о многом.

А вот – другая история на сходную тему: мне рассказал её Юра Карякин.

Примерно тогда же, в конце 60-х, его исключили из партии. В основном за то, что в каком-то своём публичном выступлении он сказал о Сталине: «Черного кобеля не отмоешь добела». Ссылаясь на постановление XX съезда о культе личности и его последствиях, Юра стал «качать права» и добился рассмотрения своего дела в самой высокой партийной инстанции – Комитете партийного контроля при ЦК КПСС. В конце концов в партии его оставили, он отделался строгим выговором. («Получил строгача – ну и ладушки», как пел в знаменитой своей песне Галич). Но разбирательство было суровое. Обвиняемому шили и другие его политические грехи, в частности – «Связь с Солженицыным». На это обвинение Юра ответил коротко, сказав, что Солженицын его друг. Но упыри не унимались, требовали, чтобы он подробно объяснил, как могло случиться, что он, коммунист, не разглядел в Солженицыне врага нашего строя. И тут вдруг – для Юры совершенно неожиданно – в дело вмешался сам глава этой «кабалы святош» – Арвид Янович Пельше.

– Но ведь он же сказал: Солженицын его друг, – осадил он соратников, и этой короткой репликой окончательно закрыл тему: упыри отстали.

Вот какие понимающие, душевно тонкие люди попадались тогда даже среди самых высоких партийных функционеров. Впрочем, этого их понимания и душевной тонкости хватало лишь до того момента, пока с ещё более высокого верха им не спускали распоряжения разобраться с обнаглевшими интеллигентами покруче, со всей большевистской непримиримостью.

* * *

Вернёмся, однако, к нашему сюжету.

Заручившись подписями двух «основоположников», мы стали думать, к кому бы ещё обратиться. Вперед надо было пустить тех, кого наше высокое начальство хоть отчасти может считать «своими». С кем, во всяком случае, не так-то просто будет им не посчитаться. Так в нашем списке появились ещё два «паровозика»: Володя Тендряков и Гриша Бакланов. Дальше уж мы решили, что теперь можем наконец расписаться и сами. «Мы» – это Войнович, Корнилов, Балтер, Фазиль, Вася Аксёнов, Юра Трифонов, Эмка,

Лазарь Лазарев, Юра Давыдов, Ася Берзер, Инна Борисова.

Но и после этого мы не отважились пустить дело на самотёк: стали думать о том, чтобы в списке нашем были и писатели другого, старшего поколения. Среди них тоже были у нас «свои»: Александр Константинович Гладков, Арсений Александрович Тарковский, Шера Шаров, Сергей Александрович Ермолинский, Николай Давыдович Оттен, Л. Пинский. В этих мы не сомневались. Но были и другие, в ком мы не были так уверены: Аникст, Смирнов-Черкезов. Их подписями мы особенно гордились.

В общем, была у нас своя тактика и даже стратегия.

Стратегия, помимо всего прочего, состояла ещё и в том, чтобы список наш был по возможности широк. Чтобы он не состоял из имен писателей, так сказать, одного направления. То есть, чтобы, пусть даже при явном преобладании «наших», были там ещё и «не наши».

Эта задача тоже была выполнена – за счет подписей Солоухина, Бориса Можаева и даже таких бесконечно чужих и далеких нам фигур, как Бог знает в кого превратившийся мой старый институтский однокашник Володя Бушин и совсем уже непонятно как попавший в компанию «подписантов» Ю. Стрехнин. (Позже я узнал о его роли в «процессе исключения» из СП Саши Галича. Четверо из семи участников тайного голосования были тогда против его исключения. Но Стрехнин, который был там у них за главного, заставил переголосовать и в неумеренном своём стремлении выслужиться перед начальством добился, что во второй раз решение было принято уже единогласно.)

Соображениями «широты» нашего списка особенно был озабочен примкнувший к нам Володя Амлинский. Он был из молодых. Но – мальчик, что называется, карьерный. Кажется, уже тогда входил в какие-то управленческие структуры. Одним из многочисленных секретарей Московского отделения СП он стал, наверно, позже. Но членом правления наверняка был уже тогда.

Вот этот Володя Амлинский мне и говорит:

– Давай зайдем к Штейну!

– К какому Штейну? – удивился я. Подумал: к Юрке, что ли? Но заходить к Юрке (нашему «связному») нам никакой необходимости не было, поскольку он то и дело возникал в нашей компании, возбужденно выкрикивая какие-то бессмысленные лозунги: «Собирай народ!», или ещё что-нибудь в этом же роде.

– К Александру Петровичу, – объяснил Амлинский.

Александр Петрович Штейн был преуспевающий, давно и хорошо вписанный в систему, сервильный драматург, автор довольно знаменитой в сталинские времена поганенькой пьесы

«Суд чести». Стратегическую ценность этого предложения Амлинского я, конечно, оценил: заручиться подписью такого человека было бы совсем недурно. Но дело это было, на мой взгляд, совершенно дохлое.

– Да ни за что он не подпишет, – сказал я.

– А вот подпишет! – настаивал Амлинский.

И мы пошли.

Александр Петрович предстал перед нами в каком-то неописуемом пурпурном халате, провёл в свой кабинет, усадил в ампирные кресла, а сам уселся за письменный стол, за которым не стыдно было бы сидеть Людовику Четырнадцатому.

Прочитав имена писателей, которые уже поставили под нашим воззванием свои подписи, он сказал:

– Нет, этого письма я подписать не могу. У вас ведь тут нет ни одного коммуниста!

– Как! – возмутился я. – А Балтер!

Наверняка были уже тогда в нашем списке и другие – единичные в поле зрения – имена членов правящей партии. Вот хоть тот же Боря Слуцкий. Или – в ту пору ещё не исключенный из железных рядов – Гриша Свирский. Но мне почему-то в тот момент вспомнился только Балтер.

– Балтер? – недоверчиво хмыкнул знаменитый драматург. И, ни слова больше не сказав, подвинул к нам по полированной поверхности своего антикварного стола наш бедный список.

В общем, ушли мы с Амлинским от Александра Петровича Штейна несолоно хлебавши. А в памяти моей от того визита осталась только эта его фраза о коммунистах в сочетании с барским пурпурным халатом и столом Людовика Четырнадцатого.

Кстати, о коммунистах.

Шли мы в те дни втроем – я, Эмка Мандель и Володя Корнилов – по нашей Аэропортовской и наткнулись на Сашу Межирова. Импульсивный Корнилов тут же, с ходу, предложил ему поставить на нашей бумаге и свою подпись.

Опыт к тому моменту у нас был уже большой. Некоторые сразу – без разговоров – оставляли на нашем воззвании своей автограф. Другие делали это явно труся, но не умея отказать. Были и осторожно увиливающие, говорящие, что в «коллективке» принимать участие не хотят, но напишут от себя, личное, персональное послание на эту тему. Лучше всех поступил Александр Яшин. Вдоволь хлебнувший за свои «Рычаги» и «Вологодскую свадьбу», он честно сказал Тендрякову и Бакланову, предложившим ему подписать наше письмо:

– Нет, ребята! Не обижайтесь. Вы ещё не знаете силу этой

системы.

И рассказал анекдот.

В квартире потёк кран на кухне. Пришёл слесарь, починил. Но тут потёк кран в ванной. Починил и этот. Тогда снова потёк кухонный кран.

– Нет, так ничего у нас не выйдет, – сказал слесарь. – Всю систему надо менять.

Но реакция Саши Межирова была не похожа на всё, с чем нам приходилось сталкиваться.

– Я, – сказал он, по обыкновению слегка заикаясь, – в п-п-пионерской организации не состою.

– Знаем, знаем, – не полез за ответом в карман Эмка. – Ты состоишь в другой.

А Корнилов не отказал себе в удовольствии крикнуть вслед удаляющемуся от нас поэту:

– Коммунисты, вперед!

Так что Александр Петрович Штейн как в воду глядел: с коммунистами (то есть с членами партии) у нас и в самом деле был некоторый напряг.

И тем не менее, дело двигалось. Список наш рос не по дням, а по часам, и число подписавших его уже перевалило на седьмой десяток.

Мы были одержимы стремлением довести его до сотни: нам почему-то казалось, что тут и магия чисел имеет значение. Но некоторым из нас было уже невтерпеж.

Особенно нетерпелив был Володя Корнилов. И не только потому, что боялся опоздать. Он вообще не руководствовался никакими рациональными соображениями и доводами. Просто таков был его характер.

Однажды он рассказал мне, что когда служил в армии, их, салаг, – в противогазах – загнали в какой-то сарайчик, где они должны были провести какое-то – положенное по условиям задания – время.

Корнилов дожидаться истечения заданного срока не стал, в первую же минуту сорвал с себя противогаз, вышиб запертую дверь сарайчика и вырвался на свежий воздух.

Так же он действовал и в других жизненных ситуациях.

Вот и сейчас, не дожидаясь, пока мы закончим свои тактические и стратегические игры, он уговорил двух друзей – Войновича и Феликса Светова – отправить в Президиум съезда телеграмму.

Телеграмма была такая:

...

Москва
Воровского 52
Четвертому съезду советских писателей.
Поддерживаем письмо Александра Солженицына. Настаиваем на обсуждении письма съездом.
Члены Ордена Ленина Союза Писателей СССР
Владимир Войнович
Владимир Корнилов
Феликс Светов

Ироническое, – я бы даже сказал издевательское – «члены ордена Ленина» (как раз в это самое время Союз писателей был удостоен этой высокой правительственной награды) наверняка придумал Войнович.

Как бы то ни было, телеграмма была отправлена. А вскоре, доведя число «подписантов» до восьмидесяти, отправили наше послание съезду и мы тоже.

* * *

Всё рассказанное выше относится ко времени моего заочного знакомства с Александром Исаевичем.

Очное состоялось чуть позже и вызвано было обстоятельствами, можно сказать, экстраординарными.

Впрочем, формально мы с ним и до этого были уже знакомы: познакомились на обсуждении «Ракового корпуса», где я к нему подошёл, назвался и поблагодарил за подаренную мне книгу, а он в ответ произнес несколько вежливых фраз, из которых мне запомнилась только одна, смысл которой состоял в том, что в натуре я оказался гораздо более молодым, чем это представлялось ему издали.

Было ещё несколько мимолетных встреч, о которых упоминать не стоит.

А вот о той, с упоминания о которой я начал эту главку, пожалуй, стоит рассказать подробно.

* * *

Мы сидели с Войновичем на ветхом, продавленном его диване и играли в шахматы. Раздался телефонный звонок. Звонила, как я и думал, моя жена. Но, вопреки моим ожиданиям, она не стала требовать, чтобы мы немедленно пресекли наше шахматное безумие, потому что дома полно дел, с которыми она не может справиться без меня, – а каким-то, совсем не свойственным ей в подобных случаях, я бы даже сказал, кокетливым тоном произнесла:

– А у нас Юра!

Положение на доске было для меня крайне неблагоприятное, и, целиком погруженный в свою шахматную мысль, я даже не сразу понял, о каком Юре она говорит. Да и потом, когда трубку взял Юра, я тоже не сразу сообразил, что это – наш «связной», и у него ко мне, судя по всему, какое-то важное дело. Положение мое (я имею в виду шахматное) стало тем временем уже совсем угрожающим, и потому я слушал его вполуха.

Юра сказал, что у него ничего срочного, спешности никакой. Но вообще он хотел бы меня повидать.

– Когда освободишься, зайди к Лёве, – закончил он. – Договорились? Ну и отлично. Мы тебя ждем.

Увлечённый шахматами, я даже не обратил внимания на это «мы», хотя потом, задним числом, вспомнил, что произнесено оно было как-то особенно многозначительно. С некоторым, я бы сказал, нажимом.

А на квартире у Лёвы Копелева, куда я должен был заглянуть, когда освобожусь, тем временем происходило следующее. (Об этом мне потом рассказал главный виновник всего этого переполоха – Эмка).

Александр Исаевич ходил по комнате, время от времени взглядывая на часы, и это несколько нервное его ожидание невольно заражало всех при том присутствующих. А присутствовали там, если не считать хозяина квартиры, – «связной» Юра и Эмка.

Эмка сказал:

– Александр Исаич! Да вы не волнуйтесь, сядьте. Я этих людей знаю: пока они партию не кончат, он не придёт.

Александр Исаевич пробурчал что-то неодобрительное по нашему адресу и продолжал мерить шагами паркет Лёвиного кабинета.

Но тут надо наконец рассказать о том, по какой причине я вдруг так срочно ему понадобился.

В книге А. Солженицына «Бодался телёнок с дубом» об этом сказано так:

...необъяснимым путем вырвался в «Ди Цайт» 5 декабря отрывок из «Прусских ночей» и обещалась вскоре вся поэма! Это удалось остановить... Но тут слух пришел, что и в Москве поэму уже читают. Я кинулся со следствием по Москве, разъяснилось: некие добродеи из членов СП, считавшие опасным меня защищать, для меня после исключения считали уже не опасным ничто – и решили... распространять «Прусские ночи».

«Некие добродеи из членов СП» – это, наверно, отчасти и про меня. Но даже если не про меня, всё равно я должен решительно заявить, что никаких таких «добродеев», которые что-то такое «считали» и, посчитав, что-то такое «решили», на самом деле не было.

А вот утечка действительно произошла.

Случилось это так.

Пришла однажды ко мне наша давняя приятельница и соседка Мима Гребнева и говорит:

– Хочешь поэму Солженицына почитать?

Еще бы! Конечно, я хотел.

Читать при ней, наспех, мне не хотелось, и я уговорил её оставить мне рукопись на один день.

Мима от солженицынской поэмы была в восторге. Именно этот восторг и побудил её, нарушив все правила конспирации, показать поэму мне и даже оставить её у меня на целые сутки. Я же, прочитав её, по правде сказать, особого восторга не испытал: стихи, как мне показалось, – не его, Солженицына, стихия. Хотя были там и яркие, талантливые строчки. Некоторые даже навсегда впечатались в мою память. Например, вот эти:

Жданов с платным аппаратом,
Шагинян, Сурков, Горбатов,
Главный фокусник – Илья...
Мог таким бы стать и я.

Прочел я эту поэму и совсем было уже собрался отнести её в соседний подъезд Миме, но помешал Мандель. Он появился, как всегда, без предупреждения, без телефонного звонка. То есть

телефонный звонок был: он позвонил снизу, из подъезда, и сказал, что едет ко мне из своего Беляева. Не прошло и минуты, как раздался звонок в дверь нашей квартиры, и Эмка, очень довольный тем, как он меня (снова, уже не в первый раз) разыграл, радостно возгласил с порога:

– Мимо тещиного дома я без шуток не хожу...

Эта шутка у него была постоянной. Как постоянной была и фраза, которой он объяснял обычно свою манеру приходить к кому-нибудь из друзей, живущих в нашем доме, с самого утра и сидеть чуть ли не до вечера. Если друг, которого он осчастливил своим визитом, пытался дать ему понять, что хотел бы хоть час-другой посидеть за письменным столом, – нельзя же целый день провести в праздной болтовне, надо ведь и работать, – Эмка отвечал:

– Понимаешь, солнышко! Тот день, когда я еду в поликлинику, он у меня уже все равно пропал...

Вот и в этот раз, поняв, что день уже все равно пропал, я решил отложить свой визит к Миме до вечера. А потом, подумав, что не дать Эмке поэму Исаича, которого он боготворил, было бы просто подло, сказал:

– Хочешь поэму Солженицына прочесть?

Конечно, он хотел.

Ну, а дальше события развивались стремительно. Прочитав поэму, Эмка, вопреки всем моим ожиданиям, задерживаться у меня не стал, а сразу куда-то заторопился. И, как это всегда бывает с людьми, отмеченными перстом Божьим, выйдя от меня и пройдя буквально несколько шагов, наткнулся на Солженицына.

– Александр Исаич! – радостно заорал он. – А я только что вашу поэму читал!

– Что?.. Как?.. Где?

– У Сарнова...

Вот так и вышло, что Александр Исаевич пожелал немедля со мной встретиться.

Надо сказать, что эта – на сей раз не такая мимолетная, как все предыдущие – встреча с ним произвела на меня совершенно оглушительное впечатление. И отнюдь не только потому, что на меня действовал гипноз его имени. Этот человек мог произвести (и наверняка производил) такое впечатление задолго до того, как имя его стало живой легендой.

Он тогда только начал отпускать бороду. Борода была ещё не толстовская, даже не «достоевская», а – короткая, шкиперская. И во всем его облике виделось что-то офицерское, спортивное, – чёткое, ловкое, быстрое. Он был обворожительно любезен, как мне показалось, даже чуть-чуть играл, наслаждаясь своей

подчёркнутой куртуазностью. Но за этой безукоризненной любезностью чувствовался холодок хорошо ощутимого расстояние между ним и мною. Дистанция эта сохранялась на протяжении всей нашей встречи и ни на миг не была нарушена.

Начал он с извинения, что вот, мол, вынужден был побеспокоить, оторвать меня от моих занятий.

В этом его извинении не ощущалось и тени иронии, но я сразу же подумал, что кто-то (тот же Эмка) наверняка уже доложил ему, от каких таких важных занятий он вынужден был меня оторвать.

Поняв, в чем дело, я сразу же выразил готовность свести его с «добродеями», от которых получил поэму. Оставив Юру и Эмку у Лёвы, мы с ним вдвоём отправились ко мне (моя квартира была в двух шагах от Лёвиной). Дома была только жена. Она лежала в моем кабинете под пледом и что-то читала. Увидав со мною рядом – живьем – легендарного человека, она – от растерянности – даже не встала.

Я сказал:

– Александр Исаевич, это моя жена – Слава.

– Слава? Что за странное имя? – удивился он.

– Самое обыкновенное православное имя, – с каким-то, слегка удивившим меня полемическим задором ответила она. И для убедительности добавила:

– Есть в святцах

– Так-таки уж прямо и в святцах, – несколько иронически отреагировал Александр Исаевич.

Откуда у моей жены явилась эта уверенность, что её имя – самое обычное, православное, и даже есть в святцах, – я знал.

На самом деле ни в каких святцах ничего похожего нет и в помине, а происхождение её странного имени с православием уж тем более не имеет ничего общего.

В жизни нам с ней иногда (хотя и не так уж часто) встречались женщины, носившие имя «Слава». Но в одном случае это была «Станислава», в другом – «Бронислава». А она была – просто «Слава». Слава Петровна. И это в самом деле было странное имя: Александр Исаевич был прав.

Странность же объяснялась просто.

Отец моей жены – Петр Иванович – был человек, мягко говоря, неординарный. Попросту говоря, – шальной. Будущая моя жена только ещё должна была – со дня на день – явиться на свет, а он уже растрезвонил всем своим друзьям-приятелям, что у него родился сын, которого назвали Слава. И когда вместо сына родилась дочь, деваться ему было уже некуда: вот так она и стала – и осталась – Славой.

Некоторая необычность этого её имени не то чтобы сильно её тяготила, но все-таки досаждала, вынуждая время от времени отвечать на этот, порядком уже поднадоевший ей вопрос: «Слава? Что за странное имя?» Был даже такой случай: в разгар космополитизма какая-то соседка поинтересовалась у моей тёщи: «С чего бы это, интересно знать, вы дали своей дочери еврейское имя?»

На подозрения соседей в её тайном еврействе моей жене было наплевать. Но не объяснять же каждому подробно про оригинала-отца.

А у нас в Литинституте, где я учился, была преподавательница марксизма-ленинизма – Слава Владимировна Щирина. Тоже – не Святослава и не Бронислава, а просто – Слава. И однажды я у неё спросил, откуда у неё такое имя. И она ответила: «Самое обыкновенное православное имя, есть в святцах», – о чем я тут же сообщил своей жене.

На самом деле Слава Владимировна Щирина, – как это позже выяснилось, – была еврейка, о чем я тогда не подозревал. Я и сейчас-то не всегда могу отличить еврея от нееврея или еврейку от нееврейки (если, конечно, еврей – не Михаил Аркадьевич Светлов, а еврейка – не Алла Гербер), а уж в те, юные мои годы, и вовсе не обладал этим нехитрым умением.

В общем, мы с женой поверили тогда Славе Владимировне, что имя Слава – самое обыкновенное православное, и что оно есть в святцах. Я, правда, с тех пор давным-давно уже про это забыл, но у жены в голове эта фраза, как видно, застряла крепко. И вот в ответ на вопрос Александра Исаевича она из неё вдруг и выскочила.

Но выскочила она из неё не случайно, потому что весь этот быстрый, короткий диалог, конечно же, имел весьма определенный подтекст.

– Слава? Что за странное имя? – спросил он.

«Еврейка, наверно?» – услышала она в этом его вопросе. И быстро отреагировала:

– Самое обыкновенное православное имя, есть в святцах.

Подтекст же, легко различимый в самом тоне её ответа, был такой: «А вот и нет! Ошиблись, Александр Исаевич!»

Тогда я, признаться, был сильно зол на жену, поскольку эта её выходка казалась мне ни в малой степени им не спровоцированной. Тогда – в отличие от жены – я был уверен, что никакого намека на её национальную принадлежность, а уж тем более с антисемитским привкусом, в вопросе Александра Исаевича не было.

Сейчас, увы, я думаю иначе.

Но – не будем забегать вперед. Всему свое время.

Покинув Славу, которая так и осталась лежать под своим пледом, мы с Александром Исаевичем ушли в другую комнату, и я стал названивать Миме.

Но дозвониться никак не удавалось: у Гребнёвых никто не брал трубку.

Я успокоил Александра Исаевича, сказав, что ждать нам наверняка придется недолго. Так оно и вышло. Но эти недолгие минуты ожидания для меня оказались довольно томительными. Все, что мог сообщить ему на интересующую его тему, я уже сказал. А вести с ним праздные, ни к чему не обязывающие, пустые разговоры мне, естественно, не хотелось.

О чем-то все-таки говорили... Не прекращая разговора, он несколько раз вынимал блокнот и что-то записывал, не забывая всякий раз извиниться предо мною. Я сказал, что и у Толстого читал, и по себе знаю, что мысль надо схватывать в тот самый миг, когда она к тебе пришла, иначе она потеряет свою силу, будет сформулирована уже гораздо менее точно, – вяло, расплывчато. Он объяснил мне, что дело совсем не в том. Вынимал блокнот и делал свои записи он вовсе не потому, что его осенила какая-то мысль и он боялся, что если тотчас же её не записать, она ослабеет. Обыкновенно у человека, сказал он, уходит восемь часов на сон, восемь часов на работу (кажется, он выразился как-то иначе, назвав эти восемь часов активным временем, что-то в этом роде). Остается, таким образом, ещё восемь часов, которые, как правило, уходят неизвестно на что. Так вот, сказал он, я не могу позволить себе такую роскошь, я стараюсь, чтобы у меня все время, остающееся мне от сна, все эти шестнадцать часов, были активными.

Разговаривая, я все время названивал Гребнёвым. Но слышал только долгие гудки. Александр Исаевич нервничал. И тогда вдруг меня осенило, что наверняка всё можно выяснить у Бахновых. Жили они с Гребнёвыми рядом – квартира к квартире. И не было на свете более близких друзей. Никаких секретов друг от друга у них, конечно, быть не могло.

Позвонив Бахновым и услыхав голос Нели, жены Владика, я, ничего не объясняя, спросил, можно ли к ним сейчас заглянуть на минутку. Да, конечно, – сказала Неля.

И мы пошли.

Когда она открыла нам дверь и узнала моего спутника, у неё подкосились ноги. Но, сохраняя – хоть и с трудом – самообладание, она провела нас в крошечный кабинет Владика. Первое, что сразу бросилось нам там в глаза, был большой, – как мне тогда показалось, огромный – фотопортрет Солженицына,

глядящий на нас из застекленного стеллажа с книгами. Александр Исаевич цепким своим взором эту деталь интерьера, конечно, сразу углядел. По моим понятиям она должна была если не умилить, так хоть немного смягчить его. Но, как я теперь понимаю, она только усилила его неприязнь к «добродеям из членов СП», у которых достало смелости только на то, чтобы выставить у себя дома на всеобщее обозрение его портрет, но оказалось слишком её мало, чтобы опрометью кинуться защищать его.

Кстати, в том же «Теленке», спустя лишь несколько страниц после упоминания об этих презренных «добродеях», Александр Исаевич так объясняет, почему он сам не выступил в защиту Владимира Максимова, а до него – Синявского и Даниэля, а потом – и других преследуемых властями диссидентов:

…

> *А я не защищал и его, как остальных, всё по тому же: разрешив себе заниматься историей революции и на том отпустив себе прочие долги. И по сегодня не стыжусь таких периодов смолкания: у художника нет другого выхода, если он не хочет искипеться в протекающем и исчезающем сегодня.*

Простая мысль, что такое же разрешение имеет право дать себе и какой-нибудь другой художник, ему в голову не приходила. Да он, конечно, и не мог представить себе, что среди этих самых «добродеев из членов СП» отыщется хоть один истинный художник. С какой стати вдруг может он там среди них оказаться?

Вспомнил это я – так, к слову. На самом деле в этом его убеждении я его ничуть не виню. Признаю, что у него были основания так про нас думать.

Вернусь, однако, к своему сюжету.

Так и не опомнившимся от внезапного появления «бога из машины» Неле и Владику он задал несколько коротких, быстрых вопросов, самим темпом своим и лаконичностью исключающих слишком многословные и не слишком вразумительные ответы. Но на первых порах никаких ответов не последовало: Неля ни за что не хотела сказать, откуда к ней с Мимой попал текст поэмы.

Потом выяснилось, что для этого у неё были особые причины.

А цепочка была такая.

Тетрадь с рукописным текстом поэмы и с солженицынской правкой хранилась у жены Копелева – Раи. Рая отдала её своей сестре. Та – подруге. Подруга – Миме, а Мима, естественно, Неле (у них, как уже было сказано, никаких секретов друг от друга не было). Текст поэмы Неля перепечатала в двух экземплярах, а тетрадку с авторской правкой Солженицына они сожгли.

Подруга Мимы, передавшая ей тетрадку, была в это время тяжело больна, лежала в психбольнице. Поэтому Неля и не могла её назвать: молчала, как партизан на допросе.

Я шепнул ей:

– Неля, надо сказать.

И тут она сдалась: сказала почти всё, что знала. Однако первое звено цепочки все-таки не назвала, опасаясь, что Копелеву за его беспечность от Исаича крепко достанется.

Но Солженицыну-то важно было именно это первое звено! Ему ведь надо было понять, откуда шла утечка – не из ГБ ли?

– Ладно, я скажу, – посмотрела она прямо в глаза Исаичу. – Но если вы дадите мне слово, что не станете его попрекать.

– Даю, – быстро сказал он. (Как потом выяснилось, этого своего слова он не сдержал).

Узнав, что утечка была не провокацией ГБ, а всего лишь плодом беспечности его друзей, Исаич сразу успокоился. Сказал, что Нелину машинописную копию поэмы он изымает. Узнав, что есть ещё и другая копия – в Уфе, у Нелиной мамы, – он разрешил пока там ей и оставаться. При условии, конечно, чтобы никаких других копий снимать с неё не смели. После ещё нескольких таких же коротких, чётких распоряжений он встал и откланялся.

Неля спросила: не напишет ли он что-нибудь им на обороте своей фотографии. Он отреагировал мгновенно:

– С удовольствием.

И надписал:

…

Нелли Александровне
и Владлену Ефимовичу
Бахновым
при взнезапном, но приятном
знакомстве.
А. Солженицын

И прощаясь, с уже знакомой мне и потому ничуть меня не удивившей куртуазностью, поцеловал Неле руку.

Выйдя вместе с ним из подъезда, я спросил, почему он так встревожился, узнав, что произошла утечка. «Прусские ночи», конечно, крамольнее и «Ракового корпуса», и «Круга». Но он и без того так далеко уже зашел в своём противостоянии с властью, что ещё одна утечка вряд ли что-нибудь изменит.

Тут я, конечно, был не прав. Распространение «Прусских ночей» в тот момент было крайне для него опасно. Но растолковывать мне это, да и вообще откровенничать со мною он не стал. А почему поднял тревогу, объяснил так:

– У меня железный порядок. Если я решил какую-нибудь вещь пустить, я нажимаю кнопку. А без моей команды никаких неподконтрольных утечек быть не должно. И вы не могли ни одной рукописи моей прочесть, если не я сам её пустил.

– Как сказать, – возразил я. – Вот, например, я слышал такое словосочетание: «Архипелаг ГУЛАГ».

Он внимательно поглядел на меня:

– А вы встречали хоть одного человека, который говорил бы вам, что он эту книгу читал?

– Нет, – признался я. – Не встречал.

– Вот то-то.

Кажется, я ещё о чем-то спросил его. Он, – всё так же любезно, – удовлетворил моё любопытство, и, ещё раз извинившись, что вынужден был обеспокоить, попрощался. И тут вдруг в поле моего зрения попали его глаза. Не могу сказать, **что** я увидел в этих глазах. Знаю только, что в этот момент я с непререкаемой ясностью понял, всей кожей почувствовал, что, одарив меня прощальной улыбкой, он в ту же секунду забыл о моем существовании.

* * *

В Союзе писателей (в Московском отделении) обсуждали первую часть «Ракового корпуса». (Вторая ещё не была написана). Когда автору кто-то дипломатично указал на это обстоятельство, опасливо заметив, что, может быть, стоило бы подождать с обсуждением, пока вещь не будет доведена до конца, он – не менее дипломатично, но без ложной скромности ответил, что в русской литературе разные случаи бывали. Бывало, например, и такое, что вторая часть какой-нибудь повести так и осталась недописанной или даже была уничтожена (сожжена) автором.

Как бы то ни было, обсуждение состоялось. Было оно весьма

выразительным, но пересказывать всё, что там было, я не стану, тем более что краткий стенографический отчёт этого обсуждения опубликован в том же шестом томе собрания сочинений А. И. Солженицына, изданного «Посевом». Расскажу только о том, что в стенограмму не попало.

Не попал, например, скандальный эпизод, связанный с моим выступлением. А его запечатлеть стоит. Что я и сделаю, заранее испросив прощения у читателя за вынужденную нескромность.

Сознавая всю важность предстоящего мероприятия, я свою речь написал, хотя выступать «по бумажке» никогда не любил. Но тут всё-таки был случай особый, и я решил поступиться принципами. Человек, однако, предполагает... В общем, из этих моих благих намерений ничего не вышло.

Случилось так, что как раз передо мною выступала Зоя Кедрина, связь которой с нашими славными органами ни для кого не была тайной, поскольку незадолго до того её выпустили в роли «общественного обвинителя» на процессе Синявского и Даниэля. С той ролью она более или менее справилась, поскольку там на её стороне были все силовые ведомства могущественной ядерной державы. Здесь же обстановка была другая. Здесь ей можно было и возразить.

Короче говоря, когда председательствующий Георгий Берёзко выкликнул мое имя, я сразу свернул свою заранее заготовленную речь в трубочку и спрятал её в боковой карман. А сказал примерно следующее:

– Мой учитель Виктор Борисович Шкловский написал однажды, что Булгарин вовсе не травил Пушкина. Он просто давал ему руководящие указания. С той поры прошло много лет. Отменили крепостное право. Разразились две или даже три революции. И вот сегодня, как ни в чем не бывало, Кедрина даёт руководящие указания Солженицыну...

Кедрина при этих словах встала и, шурша юбками, с гордо поднятой головой покинула зал.

Берёзко, который и до этого-то уже сидел на своём председательском месте в мокрых штанах, тут совсем потерял голову.

– Как вы смеете! – тонким фальцетом завизжал он. – Как у вас язык повернулся своего товарища, писателя, сравнить с агентом Третьего отделения!

Отнюдь не стремясь найти удачный ответ, скорее от чистой растерянности, я сказал:

– Своего товарища я сравнил с Пушкиным.

Понятное дело, скандальность происшествия я этой репликой не уменьшил.

С грехом пополам выговорив всё – или почти всё, – что было написано в лежавшей у меня в кармане бумажке, я протолкался через битком набитый зал и боковой дверью вышел на лестницу, куда в таких случаях направлялись обычно только заядлые курильщики. Там стоял Виктор Николаевич Ильин – бывший генерал-лейтенант КГБ (если только генералы этого ведомства бывают бывшими), а ныне – оргсекретарь Московского отделения Союза писателей РСФСР.

Укоризненно покивав мне, он сказал:

– Не ожидал... Не ожидал от вас...

Не помню дословно, что я ответил, но, видимо, что-то очень похожее на традиционный плаксивый ответ нерадивого пятиклассника, вызванного на ковёр директором школы: «А что я сделал?..»

– Ну как же, – пояснил Виктор Николаевич. – Вы ведь знаете, как к нам сейчас относятся... На Московское отделение каких только собак не вешают... Думаете, так просто было добиться согласия на это обсуждение?.. И всё так хорошо шло, спокойно, корректно... И вдруг – бац! Вылезаете вы и сравниваете своего товарища, коллегу, с агентом Третьего отделения...

По-настоящему даже не оценив всю пикантность этой реплики (важный чин этого самого Третьего отделения сравнение с агентом его ведомства воспринимает как оскорбление), скорее всё от той же растерянности я возразил:

– Позвольте, Виктор Николаевич! Это ведь не я, это Берёзко сказал про Третье отделение. А я имел в виду совсем другое. Я просто хотел сказать: кто она такая, Кедрина, чтобы поучать Солженицына? Она в сравнении с ним – как Булгарин в сравнении с Пушкиным. Ничтожная литературная вошь имеет наглость, как ни в чем не бывало, с полным сознанием своего права учить Солженицына, как надо ему писать свои книги.

– Вы в самом деле только это имели в виду? – быстро спросил Ильин.

– Ну да, конечно! – с чистым сердцем подтвердил я.

– Так, может, вы объясните это собранию?

– Ну, нет, – сказал я. – Раз уж вы все поняли меня так, пусть оно так и остается.

Виктор Николаевич был человек неглупый, настаивать он не стал.

Когда мы с ним вернулись в зал, спектакль приближался к финалу. Берёзко уже даже произносил какие-то обтекаемые заключительные слова. Но тут из зала послышались выкрики:

– Резолюция!..

– Надо принять решение!..

– Какое ещё решение?

– А вот такое: собрание московских писателей считает, что повесть Солженицына непременно должна быть опубликована...

– Но у нас нет таких полномочий! – задёргался до смерти перепугавшийся Берёзко. – Это не наша прерогатива...

– Значит, мы должны обратиться с таким требованием...

– К кому обратиться?.. Куда мы можем обратиться?.. – беспомощно вопрошал несчастный Берёзко.

И тут на подиум (никакого подиума там, понятное дело, не было, но именно это слово почему-то кажется мне тут наиболее подходящим) вышла Белла Ахмадулина. Её юное лицо, возбужденное одушевлявшим её прекрасным порывом и немного алкоголем, было прелестно. Божественным своим голосом она произнесла:

– Если нам не к кому обратиться, давайте обратимся... – по-балетному пластичным, но в то же время каким-то очень естественным движением воздев свои тонкие изящные руки к потолку, она пропела: – к Бо-огу!

Случайно я взглянул в этот момент на Солженицына. Он смотрел на Беллу с каким-то отстраненным любопытством – острым, цепким, изучающим взглядом. Как на какое-нибудь редкое, экзотическое животное.

Впрочем, я думаю, он на всех нас тогда смотрел так же.

* * *

Неделю спустя я встретил на улице Слуцкого. Остановились, поговорили.

– Вчера, – сказал он, – я был у Беляева.

Альберт Беляев был тогда замзавотделом культуры ЦК КПСС.

– И в разговоре, – продолжал Борис, – между прочим, было упомянуто ваше имя.

Я выразил насмешливое изумление по поводу того, что мое скромное имя известно в столь высоких сферах.

Борис в ответ тоже усмехнулся и не без удовольствия процитировал своего высокопоставленного собеседника.

– Обсуждение «Ракового корпуса», – будто бы сказал тот, – прошло хорошо. Если не считать наглого выступления Сарнова.

Выслушав это сообщение, я не удивился. Но тогда у меня не возникло и тени сомнения насчет того, чем был вызван этот сердитый начальственный отклик: ну, конечно же, моим «бестактным» выпадом против Кедриной!

Но сейчас, прочитав сокращенную станограмму обсуждения

«Ракового корпуса» (она, как уже было сказано, напечатана в шестом томе собрания сочинений Солженицына, изданного «Посевом»), понял, что дело было не только в Кедриной. И может быть, даже совсем не в Кедриной. Наверняка мое выступление показалось цековскому аппаратчику наглым не только по форме. Наглость заключалась в самом его содержании – и именно в той части моей речи, которая была написана заранее.

Помню, мне тогда очень понравилась шутка Гриши Бакланова.

– Меня, – сказал он, – приучила армия к тому, что когда начальство советуется, это вовсе не означает, что оно действительно хочет выслушать совет. Мне кажется, что некоторые ораторы сегодня злоупотребили своим правом давать советы рядовому Солженицыну.

Как видно, шутка эта понравилась не только мне: в стенограмме после этих слов следует ремарка: «смех».

Но сейчас, внимательно прочитав подряд все выступления, я вдруг увидел, что в этой Гришиной шутке отразилось нечто большее, чем я услышал в ней тогда.

Обсуждение это – и начальством, и большинством выступавших (конечно, если судить по их выступлениям) – воспринималось как чисто творческое мероприятие: коллеги, товарищи по перу обсуждают новое произведение своего собрата, делятся впечатлениями, указывают ему на то, что у него получилось лучше, что хуже. В заключение мероприятия он благодарит товарищей за помощь, какие-то замечания принимает, с какими-то не соглашается, но обещает подумать и их тоже учесть в дальнейшей работе над рукописью.

По форме оно так всё и было. И выступления, и заключительное слово, в котором А. И. дипломатично заметил, что для него – в особенности сейчас, когда он пишет книгу за книгой, а их не печатают, – «такое обсуждение единственная возможность услышать профессиональное мнение, услышать критику».

Но на самом деле цель Александра Исаевича, когда он настаивал на этом обсуждении, состояла, конечно же, совсем не в том, чтобы услышать о своей рукописи суждения профессионалов. Главная цель этого обсуждения заключалась для него в том, чтобы легализовать крамольную повесть, ходившую в «самиздате», ну и, конечно, использовать давление общественности, чтобы – чем чёрт не шутит? – всё-таки её напечатать.

Но вот даже и он вынужден был – из тактических соображений – делать вид, что превыше всего его волнуют чисто

творческие проблемы. Так что уж говорить о принявших участие в этом обсуждении законопослушных советских писателях, – а тем более об отвечавших за это мероприятие литературных функционерах (В. Н. Ильин, Георгий Берёзко).

Конечно, это была игра. Но игра, с условиями которой – в той или иной мере – приходилось считаться всем.

А я, сочиняя свое будущее выступление, эти «условия игры» проигнорировал. Не потому, что был такой смелый, а просто... Не знаю даже, как сказать... В общем, продемонстрировал некоторую безответственность...

И не случайно поэтому мое выступление – только оно одно! – несколько раз прерывалось негодующим гулом и протестующими выкриками с мест.

Вот, например, говоря о том, что надо бы нам все-таки понимать разницу между настоящими писателями и теми, кого на эту должность назначило начальство, я вспомнил Первый писательский съезд, куда Булгаков получил только лишь гостевой билет, а в президиуме которого сидели разные псевдописатели и даже антиписатели. Рядом с Горьким и Алексеем Толстым, – сказал я, – там сидели Анна Караваева, Кирпотин, Чумандрин...

И тут из зала раздались выкрики: «Чумандрин хороший писатель!», «Чумандрин убит на фронте!», «Не надо нам нового табеля о рангах!».

Выкрики эти отмечены в стенограмме. А из того, что в стенограмме не отмечено, мне сейчас вспомнилось, что в тот же день, вечером, мой друг Гриша Бакланов в телефонном разговоре с моей женой, упоминая об этом, сказал: «Мне было стыдно за Бильку!» («Билька» – мое домашнее имя.) В тот же день другой мой друг – Лёва Левицкий, свойственник Чумандрина (он был женат на его дочери) – заверил меня, что никаких претензий по этому поводу он ко мне не имеет.

Продолжая свою речь, я снова вернулся к Булгакову. Сказал, что сейчас начало романа этого писателя, удостоившегося тогда лишь гостевого билета, журнал «Москва» печатает в одиннадцатом номере нынешнего года, а окончание его собирается опубликовать не в двенадцатом, как следовало ожидать, а в первом номере будущего года. То есть надеется благодаря этому роману поднять подписку. И тут с мест опять раздались какие-то возмущенные выкрики. (В стенограмме отмечено: «Снова крики, неразборчивые».)

Закончил я тем, что роману Булгакова «Мастер и Маргарита» наверняка суждена долгая жизнь (тут снова были возражающие возгласы с мест), но как бы то ни было, двадцать пять лет из этой его долгой жизни у этого романа украли. Так вот, не случилось

бы того же и с «Раковым корпусом» Солженицына.

Вспомнил я ещё письмо Замятина Сталину, начинавшееся словами: «К вам обращается человек, приговоренный к высшей мере наказания...» Это была метафора: Замятин имел в виду, что книги его не печатаются. Прямо так и написал, что невозможность прорваться своими книгами к читателю – это и есть для настоящего писателя – **высшая мера наказания** .

Это мое высказывание почему-то особенно возмутило взявшего слово почти сразу после меня Елизара Мальцева.

Елизар считался человеком, как тогда говорили, прогрессивным. Во всяком случае, к литературному начальству он не принадлежал и особым законопослушанием тоже не отличался. Но начал он с довольно резкой отповеди мне. Сказал, что он тоже читал письмо Замятина Сталину, но к чему было его тут вспоминать, он не понял.

Дальше цитирую по стенограмме:

...

Я не собираюсь учить Сарнова. Меня не удивишь острыми выступлениями, я и сам выступаю остро. Но мне кажется, что человек, выходящий на эту ответственную трибуну, должен выбирать слова... А Сарнов проявил здесь лихость, безответственность, а это не может сейчас нам помочь. О самом произведении Солженицына он не сказал ни слова, но зачем-то начал сравнивать советских писателей с работниками Третьего отделения...

Это, конечно, неправда, что о самом произведении Солженицына я будто бы не сказал ни слова, но – что верно, то верно! – в школьном, «семинарском» обсуждении конкретных его достоинств и недостатков участия действительно не принял. И, кстати сказать, в выступлении Кедриной меня как раз больше всего возмутил именно вот этот «семинарский» тон.

Вениамин Александрович Каверин в последней своей мемуарной книге об этом её выступлении вспоминает так:

...

За Славиным выступила З. Кедрина, и многие, в том числе я, с подчеркнутым шумом покинули зал – сказалась дурная репутация, все были убеждены в отрицательном мнении... И ошиблись. Кедрина признала даже, что «вещь очень интересная», и выразила полную уверенность в том, что «она будет напечатана».

(В. Каверин. Эпилог. М. 1989, стр 388–389)

Прочитав сейчас (в стенограмме) текст выступления Кедриной, я увидал, что ничего такого уж особенно противного она и в самом деле не сказала. Но меня возмутил сам тон её выступления – то, что о книге Солженицына она говорила так, как говорила бы, выступая на семинаре в Литературном институте о рукописи какого-нибудь молодого литератора, сочинившего нечто заслуживающее поощрения, но над чем ещё надо работать.

Что же касается выступления Елизара Мальцева, то процитировал я его здесь, разумеется, не для того, чтобы сейчас, – полвека спустя, – ему возражать или с ним спорить, а лишь с одной-единственной целью: восстановить атмосферу того обсуждения, где у всех его участников – от генерал-лейтенанта КГБ Виктора Николаевича Ильина до «прогрессивного» Елизара Мальцева – была одна общая забота: только бы не рассердить «товарища Волка»!

Впрочем, некоторые из тогдашних «прогрессистов» ставили перед собой и более серьезную задачу. Они хотели уговорить «товарища Волка», внушить ему некие – не то чтобы гуманные, а просто здравые идеи, объяснить, что «теленок», который тогда ещё только-только начинал «бодаться с дубом», в сущности, не представляет для «дуба» никакой опасности. Больше того! Из этих его неопасных боданий «дуб» может даже извлечь для себя немалую выгоду.

Этой идеей было пронизано выступление Юрия Карякина.

Начал он так:

...

В своем завещании Ленин высказал страстную и трагическую надежду, что придут люди,

необходимые нам, со следующими качествами: они ни слова не скажут против совести; не побоятся вслух сказать о любых ошибках; не побоятся борьбы. Мы забываем эти слова, хотя часто цитируем завещание. А Солженицын отвечает этим статьям.

Говорил или не говорил Ленин это в своём завещании, а если даже и говорил, что имел при этом в виду, было тут совершенно неважно. Важно было только само имя Ленина. Это был пароль, знак, знаменитая формула киплинговского Маугли: «Мы с тобой одной крови...»

Но это было только начало, так сказать, зачин.

А дальше последовало вот что:

...

Всем очевидно, что «Раковый корпус» должен выйти в свет. Я хочу привести политические аргументы в защиту этой мысли. Именно политические, а не политиканские. Мне пришлось собрать едва ли не все зарубежные отзывы о книге «Один день Ивана Денисовича». Эта книга единодушно была осуждена на страницах троцкистской, китайской, албанской, корейской печати. С теми людьми, которые и сейчас её осуждают, я расхожусь не по вопросу о том, надо ли применять политические критерии к произведениям искусства. Нельзя не применять. Подавляющее большинство положительных отзывов о повести «Один день...» дали руководители крупнейших компартий, самые выдающиеся марксисты современности. Публикацией этой повести мы приобрели бы огромное количество

союзников...

В перерыве ко мне подошел мой приятель и сосед по дому Илья Давыдович Константиновский. Человек легко возбуждавшийся и по более ничтожным поводам, – сейчас он просто кипел. И как тут же выяснилось, довела его возбуждение до столь высокого градуса именно речь Карякина.

Но тут, чтобы природа этой его реакции была совсем уже понятна, надо сказать несколько слов про Илью Давыдовича.

Человек он был занятный, с причудливой биографией и весьма неординарным характером. Но об этом, может быть, как-нибудь в другой раз. А сейчас важно сказать о нем только одно: он был создателем оригинальной теории, объясняющей самую суть нашей уникальной советской системы, не имеющей, как он уверял, никаких аналогов в мировой истории.

Отбросив все известные определения этой её уникальности («Новый класс», «Номенклатура» и проч.), он дал ей своё название: ГЛИСТОКРАТИЯ.

– Слово удачное, меткое, – согласился я при первом нашем с ним разговоре на эту тему. – Но в чем же тут уникальность? Да, глисты, гельминты – это паразиты. И наши номенклатурщики безусловно таковыми являются. Но ведь до них были и другие паразитические классы... Ведь и рабовладелец, и феодал, и какой-нибудь там азиатский сатрап, они ведь тоже...

– Ах, вы ничего не понимаете! – сразу начал горячиться автор «Теории глистократии». – Ну, хорошо! Возьмем рабовладельческий строй – самый отвратительный, самый бесчеловечный. На рынке рабов может возникнуть ситуация, при которой рабы будут так дешевы, что рабовладельцу выгоднее будет купить новых, чем более или менее сносно кормить тех, которые работают, положим, на его виноградниках. Черт с ними, думает он, пусть дохнут. Куплю других. Казалось бы, что может быть ужаснее?

– Почему «казалось бы»? Это действительно ужасно, – говорил я.

– Да, ужасно... Но можете ли вы представить себе ситуацию, при которой тому же рабовладельцу было бы при этом совершенно все равно, соберет ли он к осени свой урожай или не соберет?

– Нет, – подумав, сказал я. – Такого я себе представить не могу.

– А чтобы помещику было наплевать, взойдет ли то, что его мужики посеяли, или померзнет к чертовой матери? Такое вы можете себе представить?

– Нет, – сказал я. – Тоже не могу.

– Вот! А нашему председателю колхоза позвонят из райкома и прикажут сеять, даже если точно будет известно, что сеять рано, что весь будущий урожай померзнет на корню. Прикажут, потому что им сверху такой план спустили. Или прикажут сажать кукурузу, которая в его широтах никогда не росла и расти не будет. И он, как миленький, будет её сажать. Потому что его благополучие не зависит от того, соберет или не соберет он урожай. Оно целиком и полностью зависит только от того, что в райкоме поставят галочку: план по посевной выполнен. Вот это и есть глистократия, – заключил он свою маленькую лекцию.

Возвращались мы с ним к этом теме неоднократно. Собственно, любой наш разговор, любая тема, которую мы затрагивали в наших беседах, в конце концов неизбежно приводила нас к его «теории глистократии».

Вот и сейчас, отыскав меня, чтобы излить свои мысли о карякинской речи, он с ходу начал:

– Карякин хочет убедить ИХ, что деятельность Солженицына ИМ не опасна и даже выгодна. Но разве можно убедить глисту, что она жизненно заинтересована в том, чтобы организм, на котором она паразитирует, был жив? Что если он погибнет, с ним вместе погибнет и она тоже? Глиста не в состоянии этого понять! Она знает только одно: сосать, сосать и сосать!

Дальнейшее развитие событий показало, что автор «теории глистократии» глядел в корень.

Меня речь Карякина возбудила не так сильно, как Константиновского. А удивила – и того меньше: все эти Юрины тактические идеи мне были давно и хорошо известны. В самом начале нашего знакомства, прочитав рукопись моей книги о Гайдаре, он предложил мне – чтобы протащить её в печать – все родные наши советские реалии заменить на китайские.

Но одна фраза в той карякинской речи на обсуждении «Ракового корпуса» поразила даже и меня.

Он сказал, что больше всех других появившихся в нашей печати статей о повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» ему понравилась статья Дымшица. И что, будь на то его воля, он бы именно ею заменил предисловие к «Ивану Денисовичу», написанное А. Т. Твардовским.

Тоже, конечно, дань тактике.

Не знаю, было ли это такой же данью тактике, или, может быть, данью дружбе, но Александр Исаевич в своей заключительной речи из всех выступавших выделил именно Карякина.

Спустя несколько дней я, правда, узнал, что и моей речью он

был тоже доволен.

Лёва Левицкий, работавший тогда в «Новом мире», рассказал мне, что у них в редакции меня за мое выступление многие осудили. Ему, мол (то есть – мне), лишь бы себя показать, а об общем нашем деле он и не думал.

И присутствовавший при этом разговоре Александр Исаевич будто бы отозвался на это так:

– Но то, о чем он сказал, сказать было надо. И сказал это только он. Никто, кроме него.

Узнав об этой его реплике, я был польщен. Что мне Беляев, что мне и мнение «новомирцев», если сам Исаич меня одобрил.

Ну, а что до того, что он на всех нас смотрел отстраненно, словно бы издали и даже чуть-чуть свысока, то я искренне считал, что он имеет право так на нас смотреть. Ведь он упал к нам с неба.

* * *

Как уже было сказано, о том, что почти все солженицынские записочки у меня пропали, я не особенно печалюсь. А вот о том, что не сохранилась одна из них – жалею. Уж её-то в любом случае надо было сохранить.

Это было приглашение на предполагавшееся вручение ему Нобелевской премии.

От других записочек (тех, что потерялись) эта отличалась даже внешним видом. К короткому тексту приглашения прилагался адрес (улица Горького, дом 12, Козицкий переулок, дом два, квартира 169), а к адресу – ещё и план, особый подробный чертежик, объясняющий, как эту квартиру отыскать.

Чертежик этот был там совсем не лишним. Без него в лабиринте запутанных московских дворов и переулков добраться до неё и в самом деле было бы не просто.

Приступая к этому рассказу, я был уверен, что это, так ясно запомнившееся мне приглашение с чертежиком-планом, было адресовано мне. А написав первые строки, вдруг усомнился. И решил себя проверить, заглянув в «Теленка», в котором, как мне помнилось, всем этим событиям посвящалась специальная глава – «Нобелиана»:

…

Подготовка этой церемонии,

кроме бытовых трудностей – прилично принять в рядовой квартире 60 гостей и всё именитых, либо западных корреспондентов, – подготовка была сложна, непривычна и во всех отношениях. Сперва: определить список гостей – так, чтобы не пригласить никого сомнительного (по своему общественному поведению) и не пропустить никого достойного (по своему художественному или научному весу), – и вместе с тем, чтобы гости были реальные, кто не струсит, а придёт. Затем надо было таить пригласительные билеты – до дня, когда Гиров объявил дату церемонии, и теперь этих гостей объехать или обослать приглашениями – кроме формальных ещё и мотивировочными письмами, которые побудили бы человека предпочесть общественный акт неизбежному будущему утеснению от начальства. Число согласившихся писателей, режиссёров и артистов удивило меня: какая ж ещё сохранялась в людях доля бесстрашия, желания разогнуться или стыда быть вечным рабом! А неприятности могли быть для всех самые серьёзные...

В подготовку церемонии входил и выбор воскресного дня, чтобы никого не задержали на работе, и дневного часа – чтобы госбезопасность, милиция, дружинники не могли бы в темноте скрыто преградить путь: днём такие действия доступны фотографированию...

В виде юмора я посылал приглашение министру культуры Фурцевой и двум советским корреспондентам – газет, которые до

сих пор не нападали на меня: «Сельской жизни» и «Труда».

(А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни. М. 1996. Стр. 301)

В таком избранном обществе я никак не мог оказаться.

Вот если бы приглашенных было двести пятьдесят, как в том списке писателей, которым он разослал свое обращение к съезду, – тогда другое дело. А попасть в список, в котором было всего-навсего шестьдесят фамилий? Нет, такого быть не могло.

Значит, то приглашение я видел у кого-то из своих друзей или знакомых.

Может быть, у Виталия Гинзбурга? (В свое время он тоже станет нобелиатом).

Или у Евгения Львовича Фейнберга? (Это он познакомил и свел А. И. с А. Д. Сахаровым).

Хоть убей, – не помню!

Помню только, что, увидав тот адрес и тот поясняющий чертежик, я вздрогнул.

Почему, – объясню чуть позже. Сперва надо объяснить, почему церемония торжественного вручения регалий, полагающихся лауреату Нобелевской премии, должна была происходить в «рядовой квартире», и ЧТО это была за квартира.

Вышло так, что из-за этой премии, вернее, из-за способа её вручения Александру Исаевичу в то время пришлось бодаться уже не только с Софьей Власьевной (так во всех тогдашних наших разговорах мы ласково именовали нашу родную, трижды проклятую Советскую власть), но и с Нобелевским комитетом, у которого с процедурой вручения этой премии возникли неожиданные – и немалые – трудности и заботы.

Поначалу А. И. объявил, что ко дню вручения премии непременно сам, лично прибудет в Стокольм, чтобы, как Бунин, получить все, что ему полагается, из рук короля и произнести при этом, – чтобы на весь мир громом прозвучала она – традиционную Нобелевскую лекцию.

Он – не Пастернак, трусливо прятаться, вилять, тем более отказываться от премии не станет, что бы ни случилось и какие бы ни возникли на этом пути у него препятствия.

...

...Премия – свалилась, как снегом весёлым на голову...

Пришла – прорвалась телефонными звонками на дачу Ростроповича. Век мне туда не звонили – вдруг несколько звонков в несколько минут...

То был норвежец Пер Эгил Хегге, отлично говорящий по-русски, редкость среди западных корреспондентов в Москве. Вот он добыл где-то номер телефона и задавал вопросы: принимаю ли я премию? поеду ли в Стокгольм?

Я задумался, потом ходил за карандашом с бумагой, он мог представить, что я – в смятеньи. А у меня замыслено было: неделю никак не отзываться и посмотреть – как наши залают, с какого конца начнут. Но звонок корреспондента срывал мой план. Промолчать, отклониться – уже будто сползать на гибельную дорожку. И при старом замысле: всё не как Пастернак, всё наоборот, оставалось уверенно объявить: да! Принимаю! да, непременно поеду, поскольку это будет зависеть от меня! (У нас же и наручники накинуть недолго.) И еще добавить: моё здоровье – превосходно и не помешает такой поездке! (Ведь все неугодные у нас болеют, потому не едут.)

В ту минуту я нисколько не сомневался, что поеду.

(Там же. Стр. 277–278)

Говоря о наручниках, которые «у нас накинуть недолго», А. И. имел в виду не только и даже не столько арест, сколько другие полицейские меры. Например, самый простой и наиболее вероятный вариант: что в Стокгольм его просто-напросто не пустят.

Но у Софьи Власьевны были на этот случай другие планы.

ИЗ ЗАПИСКИ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ

СССР И ПРОКУРАТУРЫ СССР

№ 3181-А 20 ноября 1970 г.

Сов. секретно ОСОБАЯ ПАПКА

ЦК КПСС

Анализируя материалы в отношении Солженицына, а также его произведения, нельзя не прийти к выводу, что мы имеем дело с политическим противником Советского государственного и общественного строя...

...Солженицын ведет себя вызывающе, не считается с мнением партийной общественности, охотно играет под диктовку Запада роль «лидера» антисоветских элементов и пытается подстрекать открытые антиобщественные действия против нашего государства. Всем своим поведением и деятельностью он создает общественное мнение против руководящей роли Коммунистической партии Советского Союза, стремясь одновременно придать им политический характер, рассчитанный на обман общественного мнения... Особенно это проявилось в связи с присуждением ему Нобелевской премии. Заявляя открыто о том, что он принимает премию и готов выехать для её получения в Швецию, тем не менее Солженицын не предпринимает реальных шагов для оформления документов на право получения визы. Складывается мнение, что он инспирирует очередной скандал вокруг своего

имени.

В таких условиях правомерно поставить вопрос, в каком случае будет меньше вреда от деятельности Солженицына: если он останется в стране или же будет выдворен за пределы нашего государства?

Проживание Солженицына в стране после вручения ему Нобелевской премии укрепит его позиции, позволит ему активнее пропагандировать свои взгляды...

Выдворение Солженицына из Советского Союза лишит его этой позиции – позиции внутреннего эмигранта и всех преимуществ, связанных с этим...

Солженицын в глазах советских людей перестанет быть фигурой двусмысленной, так как отношение к нему Советского государства будет высказано прямо и открыто. Это сыграет свою положительную роль в правильном формировании мирового общественного мнения в отношении Солженицына.

Взвесив все эти обстоятельства, считали бы целесообразным решить вопрос о выдворении Солженицына из пределов Советского государства.

Представляется три возможных варианта:

– при выезде Солженицына в Швецию за получением Нобелевской премии аннулировать визу и запретить ему возвращаться в Советский Союз;

– не препятствовать возможному решению Солженицына к самостоятельному выезду за границу;

– издать Указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении Солженицына гражданства СССР и

принудительном выдворении его за пределы Союза ССР...

Просим рассмотреть.

АНДРОПОВ

РУДЕНКО

(Кремлевский самосуд. Секретные документы Политбюро о писателе А. Солженицыне. М. 1994. Стр. 132–134)

Такое решение и было принято. Если Солженицын обратится в соответствующие инстанции с просьбой о предоставлении ему выездной визы (с чем он пока не спешил), визу ему выдать. А назад – не пускать.

На этот случай был даже уже заготовлен соответствующий Указ. Точнее – проект Указа.

...

Проект

УКАЗ

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О лишении советского гражданства

и выдворении

из пределов СССР Солженицына А. И.

На основании статьи 7 «Закона о гражданстве Союза Советских Социалистических Республик» от 19 августа 1938 года Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. За несовместимые с высоким званием гражданина СССР попытки опорочить Советское общество, за направленность литературной деятельности, ставшей орудием самых реакционных антикоммунистических сил в их борьбе против принципов социализма и социалистической культуры,

лишить Солженицына Александра Исаевича, 1918 года рождения, уроженца гор. Кисловодска, гражданства СССР.
2. Выдворить Солженицына А. И. из пределов Советского Союза.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорный
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе
Москва, Кремль (Там же. Стр. 135)

Все эти их «Особые папки» были раскрыты и «Сов. секретные» документы обнародованы много лет спустя. Но просчитать такой вариант развития событий было нетрудно. И Александр Исаевич, легко его просчитав, в Стокгольм решил не ехать.

Любить Россию он вполне мог и издали, и грозящая ему невозможность вернуться из Стокгольма домой страшила его совсем по другой причине.

Причина эта была – та же, что в свое время у Пастернака.

Для Бориса Леонидовича грозящее ему лишение гражданства, помимо всего прочего, стало бы и личной катастрофой. Ведь за границу его бы «выдворили», навеки разлучив с Ольгой Ивинской, с которой он не был связан никакими официальными узами, – только любовью.

Точно такая же, – и даже более острая – ситуация сложилась и у Александра Исаевича. Его брак с Натальей Алексеевной Решетовской был в то время уже порушен. Но они ещё не были разведены, и уезжать ему пришлось бы с ней. А в новом, незарегистрированном браке (регистрации которой государство препятствовало всеми имеющимися в его распоряжении административными средствами) у него уже был ребенок, – так что поездка в Стокгольм означала бы для него разрыв не только с любимой женщиной, но и с его новой семьей.

Оказавшись в той же ситуации, в какой в свое время оказался Пастернак, А. И. устыдился, что прежде осуждал его.

Но, в отличие от Бориса Леонидовича, не только от премии, но и от официальной церемонии её вручения отказываться он не собирался. И потребовал, чтобы церемония эта состоялась в Москве, в Шведском посольстве.

Посол иностранного государства от Софьи Власьевны вроде не зависел, и такой вариант представлялся вполне реальным.

И в самом деле: что могло ему помешать?
Но Софья Власьевна и тут не дремала.

...

ЗАПИСКА МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
2235/ГС
3 декабря 1970 г.
Секретно
ЦК КПСС

В соответствии с постановлением № П184/592 от 27 ноября 1970 года совпосол в Швеции сделал шведскому министру иностранных дел Нильссону заявление в связи с присуждением Солженицыну Нобелевской премии (спец. № 742 из Стокгольма).

В ответ на это Нильссон заявил совпослу, что вмешательство правительства Швеции в дела, связанные с присуждением Нобелевской премии, исключено. Тем не менее известно, что Солженицын встречался в Москве со шведским послом Яррингом.

В своем письме от 27 ноября с. г. в Шведскую академию и Нобелевский фонд Солженицын сообщил, что он хотел бы получить Нобелевский диплом и медаль в Москве.

Не исключено, что будут предприниматься попытки использовать посольство Швеции в Москве для передачи Солженицыну диплома и медали. МИД считал бы целесообразным дополнительно к ранее предпринятым шагам сделать послу Швеции соответствующее предупреждение.

Проект постановления прилагается.

Прошу рассмотреть.

В. Кузнецов

(Кремлевский самосуд. Секретные документы Политбюро о писателе А. Солженицыне. М. 1994. Стр. 141)

«Соответствующее предупреждение» послу Швеции в СССР было сделано. Но помимо этого официального представления (оно шло по линии МИДа) для надежности было решено провести с послом – дополнительно – ещё и конфиденциальную устную беседу.

...

Секретно

ТЕКСТ УСТНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ПОСЛУ ШВЕЦИИ В СССР

Решение Шведской академии о присуждении Солженицыну Нобелевской премии вызвало возмущение как в советских литературных кругах, так и в самых широких кругах советской общественности.

Кампания, развернутая определенными кругами в Швеции в связи с этим решением Шведской академии, направлена на то, чтобы нанести ущерб советско-шведским отношениям, что не отвечает интересам как Советского Союза, так и Швеции.

В беседе 1 декабря с. г. с совпослом министр иностранных дел Швеции Т. Нильссон заявил, что вмешательство шведского правительства в дела, связанные с присуждением Нобелевской премии, исключено.

Советская сторона поэтому ожидает, что шведское посольство в Москве будет придерживаться высказанной министром Нильссоном

линии и воздержится от какого-либо участия в мероприятиях, связанных с вручением Нобелевской премии Солженицыну.
(Там же. Стр. 143)

Посол этого давления не выдержал. Но игнорировать просьбу (в сущности, даже не просьбу, а требование) Солженицына тоже не мог. И предложил ему – на выбор – два компромиссных варианта.

Первый: отправить ему премиальные знаки по почте. И – второй: вручить лауреату их лично, но, так сказать, келейно, в неофициальной обстановке своего кабинета.

Солженицын оба эти предложения отклонил, высказавшись о них с присущей ему резкостью и определенностью:

...

Мой ответ: неужели Нобелевская премия – воровская добыча, что её надо передавать с глазу на глаз в закрытой комнате?
(А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни. М. 1996. Стр. 301)

Вот так и возник его собственный, встречный план: устроить церемонию вручения на дому.

Когда Хрущёв разрешил печатать «Один день Ивана Денисовича», объявив, что повесть эта написана «с партийных позиций», Александра Исаевича тотчас, без всяких рекомендаций и заявлений сделали членом Союза писателей. И тут же предложили ему московскую квартиру. Но он от этого предложения тогда отказался, решив, что спокойнее ему будет жить «в тихости», у себя в Рязани. Потом, когда началась его конфронтация с властью, он горько об этом сожалел. Теперь квартира в Москве была нужна ему позарез, – хотя бы потому, что только тут, в Москве, мог он встречаться с иностранными корреспондентами, без постоянного общения с которыми ему бы не выжить.

Но к тому времени, когда он стал нобелиатом, московская квартира у него уже была.

Это была квартира его новой семьи. Новая его жена Наталья

Дмитриевна и тёща – Екатерина Фердинандовна незадолго до того выменяли две свои квартиры, размещавшиеся в разных районах Москвы, на одну большую, – вот эту самую, где он намечал провести церемонию вручения премии. Здесь, правда, его не прописывали, поскольку его новый брак ещё не был зарегистрирован. Долго не прописывали ещё и потом, когда препятствовать регистрации брака уже не могли. А пока его новую жену в официальной своей переписке они именовали «сожительницей».

...

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КГБ СССР Ю. В. АНДРОПОВА

В ЦК КПСС

Для приема гостей, приглашаемых на вручение, сожительница Солженицына Светлова и её родственники закупают в большом количестве посуду и продукты питания. В связи с тем, что день вручения 9 апреля приурочен к первому дню религиозного праздника Пасхи, приём одновременно будет носить характер религиозного торжества, для чего готовятся соответствующие реквизиты – пасхальные куличи, крашеные яйца и т. д. Солженицын, находясь на даче Ростроповича, разучивает наизусть текст подготовленной им ранее так называемой традиционной лекции лауреата Нобелевской премии. Предполагается, что на указанном сборище Солженицын даст интервью приглашённым туда иностранным корреспондентам. (Там же. Стр. 651)

За квартирой Светловых было установлено постоянное наблюдение. Вовсю работала «наружка». Начальнику ЖЭКа позвонил сам Гришин, бывший в то время секретарем

Московского горкома партии и членом Политбюро, и распорядился оказать содействие «нашим товарищам», которые будут наблюдать за квартирой гражданки Светловой, переехавшей недавно в этот дом по обменному ордеру. Содействие, разумеется, было оказано: офицерам госбезопасности, которым было поручено наблюдение, выделили комнату техника-смотрителя и там была установлена аппаратура для «подслушки».

Особой необходимости во всех этих мерах не было. Из своих планов Солженицын никакого секрета не делал. Приглашения на церемонию были разосланы не только тем, кто воспринял присуждение «нобелевки» Солженицыну, как их общий праздник, но и к тем, кто предлагал применить к нему самые жесткие меры. В числе этих последних была даже Е. А. Фурцева – тогдашний министр культуры СССР. В адресованном ей приглашении А. И. писал:

…

> *Если и не тотчас, то через какие-нибудь 10–15 лет тот факт, что в Москве не нашлось помещения для вручения Нобелевской премии русскому писателю, будет восприниматься в истории нашей культуры как национальный позор.*
>
> *(Там же)*

Было ли и это приглашение снабжено специальным чертежиком-планом, чтобы госпожа министр не заблудилась в московских дворах, – не ведаю. Но почти уверен, что было. А. И., конечно, не сомневался, что госпожа министр на эту церемонию не явится. Но – порядок есть порядок.

Что же касается других приглашенных, то большинству из них без такого чертежика нужную квартиру было бы не найти.

Обозначенный в приглашении адрес (улица Горького, 12, Козицкий переулок, 2) тут мало чем мог им помочь. С грехом пополам ещё можно было догадаться, что дом этот – угловой и входить в него надо не с улицы Горького, а с Козицкого переулка. Но этого было явно недостаточно.

Дом этот был не просто угловой. Он был – огромный.

Тринадцатью своими корпусами он выходил на четыре улицы. Главный, фасадный корпус – тот, где была знаменитая

булочная Филиппова, – на Тверскую (тогда она называлась улицей Горького). Другой достопримечательностью этого корпуса была разместившаяся в нем маленькая гостиница «Люкс», в которой тогда жили коминтерновцы – и наши, и иностранные. В двух таких коминтерновских семьях подрастали две девочки, мои сверстницы, с которыми жизнь свела меня годы спустя, когда и я, и эти мои сверстницы были уже взрослыми. Одну из них звали Лиза, другую – Люся. Лиза была дочкой генерального секретаря ЦК австрийской компартии Копленига. (В пору нашего уже взрослого знакомства она, как я потом узнал, участвовала в переправке на Запад солженицынского «Архипелага»). А с Люсей я познакомился, когда она уже была женой Андрея Дмитриевича Сахарова и, разговорившись, мы выяснили, что до войны учились в одной школе. Правда, в разных классах. (Она была старше.)

Другими своими корпусами наш дом выходил на Большую Дмитровку и в Козицкий и Глинищевский переулки. (Этот последний именовался тогда улицей Немировича-Данченко).

До революции все эти корпуса были, как это тогда называлось, *доходными домами,* принадлежавшими семейству знаменитых московских богачей Бахрушиных. Те дореволюционные времена были от нас тогда так же далеки, как какие-нибудь Пунические войны. И мы понятия не имели, почему дома наши в быту именовались «Бахрушинкой». (Как не догадывались, почему магазин, официально называвшийся «Гастрономом № 1», зовется Елисеевским, а булочная на Тверской, куда мы бегали за хлебом, – Филипповской.) Но к названию этому привыкли, как к своему, родному. И ничуть не удивлялись, когда наш классный руководитель Сергей Степанович, распекая какого-нибудь проштрафившегося мальчишку с нашего двора, громогласно раскатывал свое хриплое басовое «р»:

– Бахр-рушинский хулиган, печальное сокр-ровище.

По инерции я написал «с нашего двора». А надо бы – «с наших дворов», потому что дворов в нашей Бахрушинке было несколько. Со стороны одного только Козицкого – три каменных колодца. И в какой из них надо повернуть, чтобы попасть в солженицынскую квартиру, без чертежика-плана было бы не разобраться.

А я, разумеется, знал, что поворачивать надо в мой, средний. Туда, где была моя родная 163-я квартира, в которой не только прошло все мое довоенное детство, но с которой была прочно связана и вся моя последующая, взрослая жизнь.

Мои родители въехали в неё в 1924 году. (Не в квартиру, конечно, а в комнату: квартира была коммунальная, в каждой из шести её комнат жила семья). Я родился три года спустя – в 1927-

м. В 1951-м в ту же комнату привел свою молодую жену. И там же в 1955-м родился наш сын.

В 1960-м в этой же квартире умер мой отец. А мама жила в ней до глубокой старости. В 1970-м, когда соседняя, 169-я квартира стала солженицынской, маме было уже далеко за восемьдесят, и не было дня, чтобы я не постарался заскочить к ней хоть на минутку. А когда она заболевала, приходилось мне – иногда подолгу – и жить там, ночуя на кушетке, которая была так для меня коротка, что приходилось подставлять к ногам даже не один, а два стула.

Кстати, мама рассказала мне, что однажды – в их районной поликлинике, сидя в очереди к врачу – она разговорилась и познакомилась с очень милой пожилой дамой, которая оказалась тёщей Александра Исаевича.

Все это я рассказываю к тому, что у меня в то время были все основания считать Солженицына своим соседом, и случись мне оказаться в числе приглашенных, я бы эту солженицынскую квартиру нашел, хоть днем, хоть ночью, что называется, с закрытыми глазами.

Но побывать в ней тогда не пришлось не только мне, но и всем, кому приглашения с тем разъясняющим чертежиком были разосланы.

Торжественная церемония вручения нобелевских грамот была назначена на 9 апреля. А накануне, 4-го, стало известно, что секретарю Нобелевского фонда Карлу Гирову во въездной визе отказано. И всем гостям были разосланы уведомления, что церемония не состоится.

А мне в той солженицынской квартире побывать однажды все-таки пришлось. Но – уже в другое время и совсем по другому поводу.

* * *

Мы сидели вчетвером – Володя Войнович, Володя Корнилов, его жена Лара и я. И, как почти каждый вечер тогда (в этот раз это было у Корнилова), то ли играли в шахматы, то ли пили чай, а может быть, и что-то покрепче чая – «за успех нашего безнадежного дела».

Раздался резкий звонок в дверь, и в корниловскую квартиру ворвалась моя жена.

– Вот! – начала она прямо с порога. – Вы тут сидите! А только что по радио передали: арестован Солженицын!

– Арестован или задержан? – спросил я. Будучи по природе

оптимистом («не верит тело»), я ещё надеялся, что Александра Исаевича только пугают.

Но жена даже не поняла тонкого юридического смысла моего вопроса, по обыкновению решив, что я сморозил какую-то очередную глупость.

А друзьям, даже если они меня и поняли, было уже не до этих юридических тонкостей.

Наскоро одевшись, мы втроем выскочили на улицу и ринулись к метро.

Мы позвонили в дверь и нам сразу открыли. Первым, кого я увидал в прихожей, был Юлик Даниэль.

– Ну, что? – глупо спросил я.

– А то, что Александр Исаевич арестован! – отрубил он, и в резкости этого его ответа было что-то похожее на интонации моей жены, когда она ворвалась к нам с этим своим – «Вот, вы тут сидите!..».

И я опять вылез с тем же моим уточняющим вопросом:

– Арестован или задержан?

И так же раздраженно (мол: «А у вас ещё были какие-то сомнения?») Юлик отрезал:

– Арестован!

В «Теленке» А. И. рассказывает, как мучилась тем же вопросом Наталья Дмитриевна:

...

А может, и не арест? ещё, может, и вернется? Сказали – «через час вернется». Уже прошло три. Арестован, конечно...

И – спустя несколько страниц:

...

Жене позвонили: «ваш муж задержан» в 9.15...

Такое сопоставление не исключает, что мои первые тюремные часы и когда меня вызывал Маляров – ещё не до последней точки была у них высылка решена... Ещё

оставляли они себе шанс, что я дрогну...

Полукультурный голос в трубке предложил моей жене справки наводить по телефону завтра утром у следователя Балашова, того самого, к которому меня якобы вызывали. Вот и всё, арестован. Повесила трубку...

По ответу Юлика выходит, что мы появились, когда «эта проклятая неизвестность» уже кончилась. Хотя – не исключено, что его ответ отражал только его личную убежденность в том, что дело плохо, – что если уж они решились на «привод», никаких надежд на то, что А. И. всего лишь «задержан», уже быть не может.

В коридоре, где мы топтались, кроме Юлика и нас, был ещё один человек, как будто не принадлежащий к членам семьи: высокий, массивный, с крупно вылепленным, несколько даже тяжеловатым лицом. Как оказалось, это был Игорь Шафаревич. Нас познакомили, и мы обменялись рукопожатиями.

Вот какие были времена.

Был там ещё и Сахаров. Но он, когда мы вошли, уже прощался. Отчасти поэтому, а отчасти потому, что эта – первая моя встреча с ним – была напрочь вытеснена другими, гораздо лучше мне запомнившимися, я начисто забыл реплику, которую он кинул, уходя. (Ее мне напомнил Лёва Левицкий, который все эти годы вел дневник и – с моих слов – записал её).

Когда кто-то спросил Андрея Дмитриевича, что же теперь, после того как Солженицына взяли, надо делать, он ответил:

– Пока что ничего. Надо ждать, какой будет их следующий ход.

Дальнейшее развитие событий подтвердило, что он был прав.

После ухода Сахарова пробыли мы в солженицынской квартире недолго. Нам коротко рассказали, как все произошло. Сейчас я уже не могу отделить то, что услышал тогда, от того, что потом прочел в «Теленке». Из услышанного запомнились некоторые особенно тронувшие меня подробности: взял с собой свой «тюремный мешочек», где едва ли не самой важной для него вещью были самодельные «наглазники», специально изготовленные им на тот случай, если придется засыпать в камере при невыключенной на всю ночь электрической лампочке. А ночным сном он дорожил, помимо всего прочего, ещё и потому, что, как оказалось, уже тогда начались у него нелады с

давлением.

Выслушав все это и повздыхав, мы ушли. Выйдя из подъезда, с детства знакомым мне проходным двором выскочили на Тверскую и плюхнулись в первую попавшуюся машину с шашечками. Фокус с проходным двором, однако, не помог: как только наше такси стронулось с места, за нами следом тотчас же двинулась другая машина с тремя или четырьмя легко узнаваемыми гавриками.

В двух кварталах от нашего метро сидящий рядом с водителем Войнович быстро с ним расплатился и остановил машину. Мы выскочили и «огородами, огородами», – то есть переулками и дворами, – слегка петляя, чтобы сбить со следа возможных преследователей, вернулись в корниловскую квартиру, из которой вышли тому назад каких-нибудь полтора часа, – а казалось, что целую вечность.

Весь этот войновичевский маневр был чистейшей воды озорством: никакого практического смысла в этом «убегании от преследователей», конечно, не было. Но нам это внушило некоторое чувство довольства собой и на какое-то – увы, очень короткое – время слегка улучшило наше настроение.

Разошлись мы поздно, и ночью я (наверно, не один я) долго не мог уснуть. Тревога за Александра Исаевича (что-то теперь с ним будет?) слилась воедино с тревогой за Войновича и Корнилова, которые в то время уже вступили на путь «диссидентства», – за всех нас. Я чувствовал, что арест «Исаича» – это начало какого-то поворота в общей нашей судьбе. Каким-то образом он (сам факт его существования, его неуязвимости) защищал, охранял «от них» всех нас. И теперь, без него, мы словно стали стократ беззащитнее: если уж они решились взять ЕГО, так с нами со всеми и вовсе не станут чикаться.

С той ясностью, с какой выражаю сейчас, я этого тогда, наверно, не сознавал. Но что-то подобное безусловно чувствовал. Хотя чувство это было где-то на периферии моего сознания (может быть, даже и подсознания). Главная же тревога была за него: на что они все-таки решатся? Что с ним сделают? Неужели посмеют, после всего, что он уже пережил однажды – в ТЕ ВРЕМЕНА, – заставить пережить его это ещё раз, снова?

Наутро, когда указ о «выдворении» был объявлен, у меня прямо камень с души свалился.

Среди появившихся в тот же день в печати лакейских откликов на это событие наших литературных корифеев слегка выделялся (а может быть, мне это показалось?) отклик Валентина Катаева.

Начинался он как-то так: «С чувством огромного

удовлетворения я узнал...»

Прочитав это, я подумал, что наверняка Валентин Петрович этим казенным способом выразил то, что чувствовал на самом деле. Мне даже сейчас мерещится, что там было сказано: «С чувством огромного облегчения...» А поскольку «чувство огромного облегчения» было тем самым чувством, которое испытал и я, узнав, что А. И. уже в Германии, у Бёлля, – мне показалось, что Валентин Петрович почувствовал (и хотел выразить) именно это.

А может быть – кто знает! – так оно на самом деле и было?

Первые недоумения

Четверть века спустя после явления «Ивана Денисовича», в новые, уже «перестроечные» времена я впервые пересек границу «большой зоны». Первой настоящей моей «заграницей» (страны соцлагеря – не в счет) стала Западная Германия.

Город Кельн. Мы стоим с местной дамой (русского происхождения) на каком-то мосту, и я спрашиваю у нее:

– Как называется эта река?

Она спокойно отвечает:

– Эта река называется Рейн.

А вот другая местная дама – на этот раз не русская, а настоящая немка, но прекрасно (она славистка) говорящая по-русски, везет меня на роскошной иномарке вдоль этого самого Рейна.

– А это, – говорит она, – замок нашего графа.

Оглядев очередную средневековую достопримечательность, я спрашиваю:

– А что там сейчас?

Она пожимает плечами:

– Там живет граф.

С такими вот знаниями и представлениями о заграничной жизни я путешествовал по Германии, самостоятельно переезжая из города в город. Добавьте к этому, что по-немецки я знал только несколько слов: «Гитлер капут», «хенде хох», «цурюк» и застрявшее в моем мозгу из школьного учебника – «Анна унд Марта баден».

Этот богатый словарный запас, как вы понимаете, в моем путешествии пригодиться мне никак не мог. Поэтому на перроне каждого нового города меня встречал какой-нибудь русскоязычный немец, державший в руке, чтобы я легко мог его опознать, журнал «Москва».

Весь этот план моего путешествия – от начала и до конца – разработал всю дорогу издали опекавший меня незабвенный Вольфганг Казак.

В городе Майнце я ночевал у профессора-слависта, который лет тридцать тому назад «выбрал свободу», – сел в Восточном Берлине в метро и уехал в Западный.

Вечером мы с ним хорошо посидели: пили пиво, разговаривали. А заполночь, провожая меня в отведенную мне спальню, профессор спросил, не хочу ли я взять у него почитать что-нибудь на ночь.

Я сказал, что да, конечно, с удовольствием, дома я каждый

день привык засыпать с книгой, иначе, пожалуй, и не усну. Но воспользоваться его любезным предложением смогу только в том случае, если у него найдется для меня какая-нибудь русская книга. Он сказал:

– Да вот, пожалуйста, только что мне прислали новый том Солженицына – «Март семнадцатого». Хотите?

Я, конечно, хотел.

Надо сказать, что к солженицынским «узлам» я в то время относился уже без всякого интереса. Читать его историческую тягомотину и без того было скучно, а тут ещё это его «языковое расширение»... Но раскрыть самую свежую солженицынскую новинку, которая до Москвы когда ещё дойдет... Да ещё «Март семнадцатого»... О семнадцатом годе я готов был читать всё!

В общем, лег я в мягкую и свежую немецкую постель с томом Солженицына в руках, предвкушая какое-никакое, а все-таки удовольствие.

Раскрыл. Начал читать. И сразу погрузился в сложные отношения государя императора с государыней императрицей. Государь тяжело переживал случившуюся накануне размолвку с женой. А размолвка вышла из-за того, что он, по мнению государыни, недостаточно сурово наказал убийц нежно любимого и глубоко ею почитаемого «старца» (Распутина).

Гнев государыни поначалу был неукротим. Но в последние дни этот её гнев уже слегка поутих, и – **государь облегчился** .

Так прямо было и написано: «Государь облегчился». В том смысле, что у него стало легче на душе.

Я, конечно, не сомневался, что Александр Исаевич прекрасно знал, в каком значении нынче употребляется этот глагол. Но ему было на это наплевать. Верный владевшей им фанатической идее «языкового расширения», он решил вернуть ему его первоначальный, исконный, прямой смысл.

Понимая всё это, я тем не менее не мог удержаться от улыбки, закрыл книгу и отложил её в сторону. Решил, что авось удастся как-нибудь заснуть и без нее. И – заснул, чему немало способствовала мягкая немецкая постель, накопившаяся за день усталость, а может быть даже и выпитое перед сном пиво.

Всё это, напоминаю, было спустя четверть века после появления «Ивана Денисовича». И к тому времени поводов к тому, чтобы разочароваться в Солженицыне – и в писательских, и в человеческих его качествах – у меня скопилось уже довольно много.

Но первое недоумение случилось совсем скоро.

В октябре 1965 года, когда Александра Исаевича у нас уже не печатали, в «Литературной газете» вдруг появилась его статья.

Называлась она так: «НЕ ОБЫЧАЙ ДЁГТЕМ ЩИ БЕЛИТЬ, НА ТО СМЕТАНА».

Уже само это название показалось безвкусным: искусственным, натужным, по правде говоря, даже каким-то дурацким.

Начиналась она вполне нормально – хотя, может быть, излишне резкой, но, в общем, довольно убедительной полемикой с появившейся накануне в той же «Литературной газете» статьей академика В. В. Виноградова:

...

Статья академика Виноградова («Литературная газета» от 19 октября с. г.) рождает досадное ощущение: и тоном своим, и неудовлетворительным подбором примеров, и – в противоречие с содержанием – собственным дурным русским языком.

Тон её высокомерен – без надобности и без оснований. Несправедливо истолкованы побуждения старейшего писателя К. И. Чуковского, отдавшего лучшие движения своего таланта прослеживанию жизни нашего языка и поддержке всего живого в нём, будь оно седое или только что рождённое. Тот же обидный тон взят автором и по отношению к Ф. Гладкову, С. Ожегову, Ф. Кузнецову.

Подбор примеров поспешен, поверхностен, лишён стройности. Одни примеры слишком наглядны, слишком школьны для статьи, наметившей себе глубокую и дальнюю цель, другие – несправедливы: Шукшин упрекается за воспроизведение живого диалога, Кетлинская – за употребление прекрасных русских слов «распадок» и «проран», И. Гофф – за изящное

обыгрывание ошибки с иностранным неразговорным словом. Главное же: примеры эти все беспорядочно сгружены и не помогают нам усвоить положительную мысль автора – да и есть ли она в статье? – какие же главные пороки и как предлагает он нам преодолеть их в письменной русской речи?

Напротив, своей авторской речью он подаёт нам худой образец. Он не ищет выразительных, ёмких слов и мало озабочен их гибким русским согласованием. Говорить о великом предмете нам бы стараться на уровне этого предмета. Если же «Заметки о стилистике» начинены такими выражениями, как «общесоциальные и эстетико-художественные перспективы», «структурно-стилистические точки зрения», «массовые коммуникации в современной мировой культуре», «в силу значительной интеграции», а для внезапностей устной речи не подыскано лучшего слова, чем «пилюли», – то такие «Заметки» угнетают наше чувство языка, затемняют предмет вместо того чтобы его разъяснить, горчат там, где надо сдобрить.

(Александр Солженицын. Собрание сочинений. Том десятый. Вермонт. Париж. 1983. Стр. 467–468)

Это всё – про *дёготь* , которым академик Виноградов (и как вскоре выяснится, не он один) не только сам портит, но и других призывает портить наши русские «щи».

А вот какой, втолковывал он, должна стать годная для заправки этих «щей» *сметана* :

...

Кто скажет убывь (действие по глаголу), нагромоздка? Обязательно: «убывание», «нагромождение». Кто напишет для сохрану? Нам подай «для сохранения». И приноровка нам не свычна, то ли дело «приноравливание»! И перетаск мебели нам не так надёжен, как «перетаскивание».

Образование существительных склейкой по два, по три вместе («речестрой» Югова, «Литературная газета» от 28 октября с. г.) – тоже ведь не наше. Со взгляду кажется: речестрой! ах, как по-русски! Ан – по-немецки...

И избыток отвлечённых существительных – это тоже не наше, надо искать, как содержать их во фразе поменьше.

Оставалась втуне и чисто русская свобода образования наречий, в которых таится главный задаток краткости нашего языка. Таких, как вперевёрт, вприпорох (о снеге, песке), понять дотонка (во всей тонкости), скакать одвуконь (то есть на одной лошади верхом, а другую ведя для смены рядом).

Мало использовалось преображение глаголов приставками, почти от каждого застыло лишь несколько главных форм, и нас теперь поражает такое простое сочетание, как: он остегнулся (нам понятнее: он застегнулся, попадая петлями на несоответствующие пуговицы). Мы усвоили, что можно на-клонить, от-клонить, при-клонить, но нас почему-то удивляет рас-клонить (ветви); приняв «уклониться», мы чураемся уклонить (кого, что)...

...Мы усвоили «отшатнуться»,

несколько дичимся формы «отшатнуть», а как хорошо употребить: вышатнуть (кол из земли), пришатнуть (столб к стене).

У нас затвержено «недоумевать», но мы зря бы ощетинились против доумевать (доходить упорным размышлением).

Как коротко: узвать (кого с собой); призевался мне этот телевизор; перемкнуть (сменить замок или перенести его с одной накладки на другую); мой предместник (кто раньше занимал моё место); ветер слистнул бумагу со стола (вместо: порывом ветра бумагу приподняло и снесло со стола); перевильнуть (в споре со стороны на сторону).

Употреби – и, пожалуй, зашумят, что словотворчество, что выдумывают какие-то новые слова. А ведь это только бережный подбор богатства, рассыпанного совсем рядом, совсем под ногами.

(Там же. Стр. 469–471)

Над всеми этими его предложениями можно было бы разве что посмеяться. И даже и не посмеяться, а только лишь усмехнуться, что, кстати сказать, мы (я и два моих соавтора по пародийному цеху) тогда тотчас и сделали:

…

Давно целился я на Марьину Рощу, да как-то всё дороги не ложились. И то сказать: в Британской энциклопедии про неё ни словом, да и в летописи не в каждой сыщешь, – хотя по пятому веку место это русскому духу и русскому уху гульче звучало, чем по

двадцатому Лужники.

Но ленивы и нелюбопытны мы искони. Сидим у «телика», в коем лица перекаженные мреют как бы попьяну, толчемся в человечьей заверти, а нет чтобы присесть на пеньке, без помех подумать: кто она, Марья эта, от кого есть пошла Марьина Роща.

Иные бабы поопрятнее и позаботнее её были. Не статью брала, не розумом даже, – святостью. По пятому веку была она поправеднее, нежели тезка её, Марья Магдалина по первому или сверх того – Марфа Посадница по шестнадцатому. От святости и занемогла.

Охватистую калиту рыжиков – рыжизны редкостной – собрала, изготовила да и поела всласть. Ан сласть-то горечью обернулась. Неделю Марья животом маялась, обеззубела, обезволосела, – однако же пургену, зелья басурманского, принять не схотела.

Давно это было. До´кости растворилась Марья под асфальтом столичным, да и рощу ту извели, а всё хорошо бы историю Марьину насвежо издать в поучение детям нашим.

Негоже нам, русским, корнями своими небречь.

Негоже дегтем щи белить. На то сметана.

(Л. Лазарев, С. Рассадин, Б. Сарнов. Липовые аллеи. Литературные пародии. М. 2007. Стр. 54–55)

Эта наша пародия была, по правде сказать, довольно слабенькая. Солженицынские «убывь», «перетаск», «припорох» мы не то что не сумели перепародировать, но даже не поднялись до

того уровня комизма, какой эти его слова-уродцы несли *сами по себе* .

Но вспомнил я тут её не затем, чтобы похвастаться этой нашей давней пародийной удачей (на самом деле – неудачей), а только лишь для того, чтобы продемонстрировать, с каким добродушным юмором была воспринята нами эта, как тогда можно было предполагать, безобидная и даже милая причуда великого человека.

Так бы оно, наверно, и было, если бы не главная, центральная идея той солженицынской статьи. Именно она более всего меня изумила:

...

Наша письменная речь ещё с петровских времён то от насильственной властной ломки, то под перьями образованного сословия, думавшего по-французски, то от резвости переводчика, то от торопливости пишущих, знающих цену мысли и времени, но не слову, пострадала: и в своём словарном запасе, и в грамматическом строе, и, самое главное, в складе.

Словарный запас неуклонно тощал; ленились выискивать и привлекать достойные русские слова, или стыдились их «грубости», или корили их за неспособность выразить современную высокую тонкую мысль (а неспособность-то была в нетерпеливых авторах). Взамен уроненного наталкивали без удержу иностранных слов, иногда очень хороших (кто кинет камень в «энергию», «нерв», «процесс», «проблему»?), часто совсем никчемных...

Грамматический строй сохранял стойко то, что роднит наш язык с европейскими, но пренебрегал многими исконными своими

преимуществами...

Но больше всего блекла наша письменная речь от потери подлинно русского склада («свойства языка для сочетания слов», по Далю), то есть способа управления слов словами, их стыковки, их расположения в обороте, интонационных переходов между ними. Эту третью беду трудно сколько-нибудь изъяснить в тесной газетной статье, но читатель безошибочно ощутит её вкус, сопоставив фразы из какого-нибудь современного литературного документа (хотя бы из статьи академика Виноградова) с той особенной живостью, которая аукает нам почти из каждой русской пословицы, – аукает, намекает, как можно фразы строить, а мы не слышим:

И на мах, да в горсти...

Репьём осеешься, не жито и взойдёт.

В девках сижено – плакано: замуж хожено – выто.

Здравствуй женившись, да не с кем спать!..

Если возьмёт верх подлинно русский склад, то и многие иностранные слова обживутся в нём, как свои, и будут запросто держаться, очень легко. И наоборот, предупреждал Даль, «в не русском обороте речи у слова нашего не только отымаются руки и ноги, а отымается язык: он коснеет и немеет».

Так что самый придирчивый отбор русских слов – это ещё далеко не русская речь. Много важней русский склад – русское построение фразы.

Однако замечательно – и

обнадёживает нас! – то, что все указанные пороки, сильно поразив письменную речь, гораздо меньше отразились на устной (тем меньше, чем меньше были говорящие воспитаны на дурной письменной). Это даёт нам ещё не оскудевший источник напоить, освежить, воскресить наши строки. (Да только и склад, и грамматическая свобода устной речи тоже годны не всякие, здесь-то и нужен вкус да вкус!)

Оговоримся, что словарный запас устной речи, хотя и переполняется множеством терминов науки и техники и преходящим жаргоном, он тоже скудеет; приметим за собой, что мы выражаемся малым числом всё повторяющихся слов. Так в убыстрённый век разговорный словарный запас общества становится (не считая терминов) клином, сужающимся во времени. Это тревожно. Нам бы суметь обернуть клин, перекинуть узкую часть назад, а вперёд он пусть расширяется...

Я так понимаю, что, быть может, настали решающие десятилетия, когда ещё в наших силах исправить беду...

(Александр Солженицын. Собрание сочинений. Том десятый. Вермонт. Париж. 1983. Стр. 468–472)

Получается, что с петровских времен развитие русского языка пошло НЕ ТУДА, КУДА ЕМУ НАДО БЫЛО ИДТИ.

То есть устная русская речь, быть может, ещё и сохраняла свои живые краски, а вот письменная...

Но ведь именно на этом самом письменном – ущербном – языке, развитие которого после Петра пошло куда-то не туда, была создана ВСЯ ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА! И Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь, и Толстой, и Тургенев, и Достоевский, и

Чехов!

– Ну, что скажете? – помню, спросил я про эту солженицынскую статью у заглянувшего в тот день к нам на огонек Бориса Заходера.

– А что тут скажешь? – развел он руками...

Но прежде чем привести этот хорошо мне запомнившийся его ответ полностью, хочу сказать несколько слов о том, что за человек был Боря Заходер, почему именно его реакция на изумившую меня солженицынскую статью была мне особенно интересна.

Помню, пришел он к нам в тот день, когда открылся Двадцать Третий съезд КПСС. Это был первый партийный съезд после снятия Хрущёва, и некоторые наивные люди, на что-то ещё надеявшиеся, с интересом ждали новых важных государственных решений. (Поговаривали о каких-то экономических реформах, предлагаемых тогдашним премьером Косыгиным).

Боря заявился к нам чуть ли не прямо с поезда: только что приехал из Ялты.

– Ну, что слыхать? – спросил он после того, как мы обменялись первыми приветствиями. – Что там у них на съезде?.. Я, правда, на вокзале – по радио – услышал одну фразу. Даже полфразы. И всё понял. Так что ничего нового вы мне, наверно, уже не сообщите.

– И какая же, Боря, это была фраза? – с интересом спросил я, не представляя себе, как по одной случайно услышанной даже не фразе, а полуфразе ему удалось сразу понять, чего нам всем надо ждать от этого их съезда.

– А фраза была такая, – сказал Борис. И с видимым удовольствием процитировал: – «Мы будем и впредь».

Надо сказать, что в полной мере всю глубину этого его высказывания я оценил не сразу. Принял – как остроту. Умную, меткую, точную, но – не более того: чего, мол, от них ждать, будут и впредь делать то, что делали раньше, что делали всегда.

Но в этом отсечении второй половины фразы, в полном отсутствии интереса у услышавшего её Бориса к тому, что последует за первой её половиной, – интереса к тому, **что именно** будут они **делать и впредь** , на самом деле заключался смысл гораздо более глубокий, чем даже уже тогда очевидное для меня предвидение, что ни из косыгинских, ни из каких других намечавшихся ими реформ ничего путного у них не выйдет.

Полностью эта ритуальная фраза, наверно, звучала как-нибудь так: «Мы будем и впредь крепить нерушимую дружбу народов нашей страны». Или: «Мы будем и впредь отстаивать дело мира во всем мире».

Оборвав её на половине и – мало того! – поставив точку там, где должно было бы стоять многоточие, Борис превратил эту полуфразу в законченную формулу, которая обрела совершенно новый смысл – не только иронический, но даже жутковатый.

Формула «Мы будем и впредь» – с точкой на конце – означала не только то, что они будут и впредь продолжать гонку вооружений, раздувать пламя холодной войны, поддерживать все бандитские режимы, какие только есть на нашей планете, пестовать и обучать террористов, разрушать экономику страны и издеваться над собственным народом. Ритуальная фраза эта – именно вот в таком, усечённом виде – адекватно выразила самую суть уникальной нашей советской системы. Уникальность, состоящую не столько даже в том, что это была **система без обратной связи** , сколько в том, что единственным исключением из этого правила, единственным доступным ей проявлением этой самой обратной связи было как бы изначально встроенное в неё устройство, автоматически отбрасывающее любое начинание, несущее в себе угрозу какого бы то ни было – пусть даже не очень значительного – изменения, исправления, улучшения этой самой системы.

А вот совсем другой припомнившийся мне случай.

Зашла как-то у нас с ним речь о едва ли не самой популярной в те времена песне – «Я люблю тебя, жизнь».

Я, как всегда, многословно и, наверно, не слишком вразумительно пытался выразить свое отношение к её тексту. Борис слушал меня, слушал, не соглашался, но вроде и не возражал. И вдруг сказал:

– Я люблю тебя, жизнь, хоть и знаю, что это наивно.

И в этом ироническом перифразе песенной строки («Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно») было и всё, что я так долго и безуспешно пытался выразить, и ещё многое другое: мудрый скепсис человека, знающего истинную цену телячьему оптимизму, грустная уверенность, что рано или поздно жизнь преподнесет каждому неизбежную дозу разнообразных горьких сюрпризов, и даже более того: сознание той невеселой истины, что жизнь, какой бы светлой и радостной она ни была, в самой основе своей – **трагична** .

Я так подробно остановился на этих вдруг припомнившихся мне эпизодах, потому что в них, как мне кажется, замечательно выразилась всегда восхищавшая меня способность Бориса не только проникать своим мощным ироническим умом в самую суть сложных вещей и явлений, но и выражать свое понимание этой сути с совершенно поразительной простотой, легкостью, свободой и каким-то особым, только ему одному свойственным

изяществом.

Вот и сейчас тоже, – задав ему свой вопрос о только что прочитанной солженицынской статье, я ждал, что он ответит на него как-нибудь вот так же: коротко и – убийственно.

И дождался.

– Ну что тут скажешь? – задумавшись, начал он.

И вдруг, оборвав себя, смеясь, процитировал из письма Белинского Гоголю:

– Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов! Что Вы делаете!

К таким обобщениям я был тогда ещё не готов. Да и Борис сказал это, как говорится, в тоне юмора. То есть – в шутку.

Но чем дальше, тем чаще я вспоминал эту заходеровскую шутку, находя в ней всё большую и большую долю правды.

* * *

Во всех тогдашних наших спорах о Солженицыне, – а споры эти теперь вспыхивали все чаще и чаще, – я неизменно его защищал.

Защищал, например, когда «новомирцы» жаловались, что он готов их предать, отдав какой-то очередной свой опус в другой журнал или, не посоветовавшись с ними, в театр «Современник». Тут я прямо на стенку лез: да почему, собственно, он должен считаться с «Новым миром», да хоть бы и с самим Твардовским! Что он – подписал с ними контракт на вечные времена?! Да и не обязан он – упавший к нам с неба – делать разницу между мелкими нашими групповыми разногласиями – «Новым миром» и, скажем, «Молодой гвардией». Оттуда, с того неба, с которого он к нам упал, эта разница не больно видна. Да и, по правде говоря, не так уж и существенна.

Разногласия «Нового мира» с черносотенной «Молодой гвардией» и таким же черносотенным софроновским «Огоньком» или сталинистским кочетовским «Октябрем» были, конечно, совсем не мелкими. Но Солженицыну (да, по правде говоря, в то время уже и мне тоже) довольно было уже одного того, что все они были – *советские* . А он в то время, что ни день, то дальше и дальше закидывал свой чепчик за нашу советскую мельницу.

Взять хотя бы вот это, одно из самых громких его тогдашних обращений к соотечественникам – знаменитый его призыв к нам ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ:

На Западе люди знают забастовки, демонстрации протеста, – но мы слишком забиты, нам это страшно: как это вдруг – отказаться от работы, как это вдруг – выйти на улицу?

Все же другие роковые пути, за последний век отпробованные в горькой русской истории, – тем более не для нас, и вправду – не надо! Теперь, когда все топоры своего дорубились, когда всё посеянное взошло, – видно нам, как заблудились, как зачадились те молодые, самонадеянные, кто думали террором, кровавым восстанием и гражданской войной сделать страну справедливой и счастливой...

Так круг – замкнулся? И выхода – действительно нет? И остаётся нам только бездейственно ждать: вдруг случится что-нибудь само?

Но никогда оно от нас не отлипнет само, если все мы все дни будем его признавать, прославлять и упрочнять, если не оттолкнёмся хотя б от самой его чувствительной точки.

От – лжи...

...Не каждый день, не на каждое плечо кладёт насилие свою тяжёлую лапу: оно требует от нас только покорности лжи, ежедневного участия во лжи – и в этом вся верноподданность.

И здесь-то лежит пренебрегаемый нами, самый простой, самый доступный ключ к нашему освобождению: личное неучастие во лжи. Пусть ложь всё покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упрёмся: пусть

владеет не через меня...

Не призываемся, не созрели мы идти на площади и громогласить правду, высказывать вслух, что думаем, – не надо, это страшно. Но хоть откажемся говорить то, чего не думаем!..

(Александр Солженицын. Публицистика. Том первый. Статьи и речи. Ярославль. 1995. Стр. 188–189)

Ограничься он этой общей декларацией, и все его единомышленники тотчас бы и легко с ним согласились. Да, да, конечно! Откажемся!..

Но это была только преамбула. А далее у него следовала ясная и четкая, очень конкретная ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ:

...

Наш путь: ни в чём не поддерживать лжи сознательно. Осознав, где граница лжи (для каждого она ещё по-разному видна), – отступиться от этой гангренной границы!..

Итак, через робость нашу пусть каждый выберет: остаётся ли он сознательным слугою лжи (о, разумеется, не по склонности, но для прокормления семьи, для воспитания детей в духе лжи!), или пришла ему пора отряхнуться честным человеком, достойным уважения и детей своих и современников. И с этого дня он:

– впредь не напишет, не подпишет, не напечатает никаким способом ни единой фразы, искривляющей, по его мнению, правду;

– такой фразы ни в частной беседе, ни многолюдно не выскажет

ни от себя, ни по шпаргалке, ни в роли агитатора, учителя, воспитателя, ни по театральной роли;

– живописно, скульптурно, фотографически, технически, музыкально не изобразит, не сопроводит, не протранслирует ни одной ложной мысли, ни одного искажения истины, которое различает;

– не приведёт ни устно, ни письменно ни одной «руководящей» цитаты из угождения, для страховки, для успеха своей работы, если цитируемой мысли не разделяет полностью или она не относится точно сюда;

– не даст принудить себя идти на демонстрацию или митинг, если это против его желания и воли; не возьмёт в руки, не подымет транспаранта, лозунга, которого не разделяет полностью;

– не поднимет голосующей руки за предложение, которому не сочувствует искренне; не проголосует ни явно, ни тайно за лицо, которое считает недостойным или сомнительным;

– не даст загнать себя на собрание, где ожидается принудительное, искажённое обсуждение вопроса;

– тотчас покинет заседание, собрание, лекцию, спектакль, киносеанс, как только услышит от оратора ложь, идеологический вздор или беззастенчивую пропаганду;

– не подпишется и не купит в рознице такую газету или журнал, где информация искажается, первосущные факты скрываются.

Мы перечислили, разумеется, не

все возможные и необходимые уклонения ото лжи. Но тот, кто станет очищаться, – взором очищенным легко различит и другие случаи.

Да, на первых порах выйдет не равно. Кому-то на время лишиться работы. Молодым, желающим жить по правде, это очень осложнит их молодую жизнь при начале: ведь и отвечаемые уроки набиты ложью, надо выбирать...

Это будет нелёгкий путь? – но самый лёгкий из возможных. Нелёгкий выбор для тела, – но единственный для души...

Тем легче и тем короче окажется всем нам этот путь, чем дружнее, чем гуще мы на него вступим! Будут нас тысячи – и не управятся ни с кем ничего поделать. Станут нас десятки тысяч – и мы не узнаем нашей страны!

Если ж мы струсим, то довольно жаловаться, что кто-то нам не даёт дышать – это мы сами себе не даём!

(Там же. Стр. 189–191)

Тут уже и самые ярые его единомышленники, самые восторженные его почитатели – и те зачесали в затылках.

И то сказать, не такая уж это малость пожилому кормильцу семьи остаться без работы, а молодому – быть выброшенному из института: нельзя ведь учиться в советском вузе и не ходить на лекции и не сдавать зачеты и экзамены по основам марксизма-ленинизма.

Даже обожавшая Солженицына Лидия Корнеевна Чуковская, когда зашел тогда у нас с ней разговор на эту тему, и та выразила сомнение в правильности этого его призыва.

– Ну, хорошо, – сказала она. – Допустим, откажутся – не все, но хоть лучшие из лучших – сдавать эти зачеты. Их исключат из институтов. И кто тогда в нашей несчастной стране будет, спустя годы, учить детей в школах? И кто будет лечить – тех же детей, и стариков, да и просто больных, заболевших, скажем, воспалением

легких?

Но я и тут защищал его. Говорил, что пророк – он на то и пророк, чтобы призывать к несбыточному, невозможному. Сколько лет прошло со времен библейских десяти заповедей. А люди, как ни в чем не бывало, продолжают убивать друг друга, и мужчины по-прежнему желают жен своих ближних. Никакие заповеди не отвратили их от этого. Так что же, зря, значит, Моисей принес нам с Синая эти свои скрижали?

Хоть и не так страстно и не так уверенно продолжал я его защищать и в спорах, с новой силой вспыхнувших по поводу пущенного им в Самиздат его «Письма вождям Советского Союза».

На самом деле это его «Письмо» меня тоже тогда оттолкнуло.

Оттолкнуло уже самое его начало, в котором он давал понять нашим «вождям», что сохраняет некоторую надежду на успех своего обращения к ним, потому что, как бы там ни было, а ведь все-таки они с ним «одной крови»:

...

Не обнадежен я, что вы захотите благожелательно вникнуть в соображения, не запрошенные вами по службе, хотя и довольно редкого соотечественника, который не стоит на подчиненной вам лестнице, не может быть вами ни уволен с поста, ни понижен... Не обнадежен, но пытаюсь сказать тут кратко главное: что я считаю спасением и добром для нашего народа, к которому по рождению принадлежите все вы – и я.

Это не оговорка. Я желаю добра всем народам, и чем ближе к нам живут, чем в большей зависимости от нас – тем более горячо. Но преимущественно озабочен я судьбой именно русского и украинского народов, по пословице – где уродился, там и пригодился, а глубже – из-за несравненных страданий, перенесенных нами.

И это письмо я пишу в предположении , что такой же преимущественной заботе подчинены и вы, что вы не чужды своему происхождению, отцам, дедам, прадедам и родным просторам, что вы – не безнациональны.

(Там же. Стр. 149)

Точно так же, помню, поразило меня в «Теленке», что когда возникло у него намерение написать письмо в правительство, попытаться найти с ними если не общий язык, так хоть компромисс, сомнений насчет того, к кому именно из «них» стоит обратиться, у него не было:

...

А – кому послать, колебания не было: Суслову! И вот почему. Когда в декабре 1962 года на кремлевской встрече Твардовский представлял меня Хрущёву, – никого из политбюро близко не было, никто не подошел. Но когда в следующий перерыв Твардовский водил меня по фойе и знакомил с писателями, кинематографистами, художниками по своему выбору, – в кинозале подошел к нам высокий, худощавый, с весьма неглупым удлиненным лицом – и уверенно протянул мне руку, очень энергично стал её трясти и говорить что-то о своём крайнем удовольствии от «Ивана Денисовича», и тряс, будто теперь ближе и приятеля у меня не будет. Все другие себя называли, а этот не назвал, а Твардовский мне укоризненно вполголоса: «Михаил Андреевич...» Я плечами: «Какой Михаил Андреич?..» Твардовский с двойной укоризной: «Да Су-услов!!» Ведь мы должны на сетчатке и на

сердце постоянно носить две дюжины их портретов! – но меня зрительная память частенько подводит – вот я и не узнал. Но вот загадка: отчего так горячо он меня приветствовал? Ведь при этом и близко не было Хрущёва, никто из политбюро его не видел – значит, не подхалимство. Для чего же? Выражение искренних чувств? Законсервированный в политбюро свободолюбец?..

Это у мертвяка Суслова «весьма неглупое лицо»... Это Суслов – «законсервированный в политбюро свободолюбец»...

Ну, ладно, на всякого мудреца довольно простоты. Ну, купился Александр Исаевич на сусловские похвалы его «Ивану Денисовичу», на радостное трясение Михаилом Андреевичем его руки... Может быть, и в «Письме вождям», когда он выражал надежду, что те, к кому он обращается, «не безнациональны», вспомнилось ему неглупое лицо и пылкое рукопожатие М. А. Суслова.

Но та программа действий, та модель спасения отечества, те, тогда ещё не шибко развернутые, но уже достаточно ясно выраженные идеи насчет того, «как нам обустроить Россию», изложенные в этом его обращении к вождям, отвратили меня даже ещё больше, чем выраженная в его начале надежда на их «небезнациональность»:

...

...Высшее богатство народов сейчас составляет земля. Земля как простор для расселения. Земля как объём биосферы. Земля как покров глубинных ресурсов. Земля как почва для плодородия. И хотя о плодородии тоже прогнозы мрачные: земельные пространства в среднем по планете и рост плодородия будут исчерпаны к 2000 году, а если удастся с/х производство удвоить (не колхозам, конечно, не нам), – то к 2030 году всё равно плодородие исчерпается, – это

в среднем по планете. Однако есть четыре счастливые страны, обильно богатые неосвоенною землёй ещё и сегодня. Это – Россия (я не оговариваюсь, именно – РСФСР), Австралия, Канада и Бразилия. И в том – русская надежда на выигрыш времени и выигрыш спасения: на наших широченных северо-восточных земельных просторах, по нашей же неповоротливости четырёх веков ещё не обезображенных нашими ошибками, мы можем заново строить не безумную пожирающую цивилизацию «прогресса», нет, – безболезненно ставить сразу стабильную экономику и соответственно её требованиям и принципам селить там впервые людей. Эти пространства дают нам надежду не погубить Россию в кризисе западной цивилизации…

Полвека мы занимались: мировой революцией; расширением нашего влияния на Восточную Европу; на другие материки; преобразованием сельского хозяйства по идеологическим принципам; уничтожением помещных классов; искоренением христианской религии и нравственности; эффектной бесполезной космической гонкой; само собой – вооружением, себя и других, кто просит оружия; чем угодно, кроме развития и благовозделания главного богатства нашей страны – Северо-Востока. Но не предстоит нашему народу жить ни в Космосе, ни в Юго-Восточной Азии, ни в Латинской Америке, а Сибирь и Север – наша надежда и отстойник наш…

Итак, наш выход один: чем быстрей, тем спасительнее – перенести центр государственного

внимания и центр национальной деятельности (центр расселения, центр поисков молодёжи) с далёких континентов, и даже из Европы, и даже с юга нашей страны – на её Северо-Восток.

(Александр Солженицын. Публицистика. В трех томах. Том первый. Статьи и речи. Ярославль. 1995. Стр. 163–167)

Тут сам собою возникал, прямо напрашивался простой вопрос. А ну как молодежь не захочет добром ехать осваивать этот отстойник? Силой, что ли, будем её туда отправлять? Так это мы, вроде, уже проходили...

Всё это в нашем (увы, довольно узком) кругу, конечно, обсуждалось. И образ недавнего нашего кумира не то чтобы потускнел, но изменился, обретя черты не только комические, но и, по правде сказать, отталкивающие.

Говорили мы об этом между собой только в наших кухнях: о том, чтобы выступить с критикой солженицынских идей публично, разумеется, не могло быть и речи – ведь это значило бы присоединиться к государственной, кагэбэшной травле главного борца с ненавистной нам советской властью.

Один из нас, однако, на это все-таки решился.

В 1974 году (вон как давно это было!) Давид Самойлов написал и вскоре опубликовал поэму «Струфиан. Недостоверная повесть», герой которой – Федор Кузьмин (он же – Федор Кузьмич, тот самый старец, легенда о котором так волновала Льва Николаевича Толстого) – являлся перед читателем в роли автора некоего тайного сочинения, которое, как только будет оно завершено, он намеревался повергнуть к стопам самого Государя Императора:

Кузьмин писал. А что писал
И для чего – никто не знал.
А он, под вечный хруст прибоя,
Склонясь над стопкою бумаг,
Который год писал: «Благое
Намеренье об исправленье
Империи Российской». Так
Именовалось сочиненье...
. . . . . .
. . . . . .
Поскольку не был сей трактат

Вручен (читайте нашу повесть),
Мы суть его изложим, то есть
Представим несколько цитат.
«На нас, как ядовитый чад,
Европа насылает ересь.
И на Руси не станет через
Сто лет следа от наших чад.
Не будет девы с коромыслом,
Не будет молодца с сохой.
Восторжествует дух сухой,
Несовместимый с русским смыслом,
И эта духа сухота
Убьет все промыслы, ремёсла;
Во всей России не найдется
Ни колеса, ни хомута.
Дабы России не остаться
Без колеса и хомута,
Необходимо наше царство
В глухие увести места –
В Сибирь, на Север, на Восток,
Оставив за Москвой заслоны,
Как некогда увел пророк
Народ в предел незаселенный».
«Необходимы также меры
Для возвращенья старой веры.
В никонианстве есть порок,
И суть его – замах вселенский.
Руси сибирской, деревенской
Пойти сие не может впрок».
В провинции любых времен
Есть свой уездный Сен-Симон.
Кузьмин был этого закала.
И потому он излагал
С таким упорством идеал
Российского провинциала.

Не могло быть ни малейших сомнений насчет того, куда было направлено жало этой художественной сатиры. Конечно же, это была пародия – откровенная и довольно злая – на Солженицына, на его «Письмо вождям Советского Союза».

Злая ирония этого самойловского «Струфиана» Солженицына больно задела. И, спустя годы, эту тогдашнюю свою обиду он Самойлову припомнил:

...Всю жизнь, в жажде покоя, остерегался Самойлов печатать стихи с общественным звучанием. Но однажды все-таки не уберегся, заманчиво – стезя общественного поэта, и не опасно: ударить по «Письму вождям» Солженицына: «Дабы России не остаться/Без колеса и хомута,/Необходимо наше царство/В глухие увести места – /В Сибирь, на Север, на Восток...» Ну, и собрал сколько-то благожелательных хихиканий среди московских образованцев...

(А. Солженицын. Давид Самойлов. Из «Литературной коллекции». «Новый мир». 2003, № 6. Стр. 175)

Опубликовал Солженицын этот свой очерк о Самойлове в 2003-м. А написан он был, как о том сообщает нам в его тексте сам автор, в начале 1995-го. Вот, стало быть, как долго (целых тридцать лет!) лелеял Александр Исаевич эту свою обиду. Но самое примечательное в этом «сведении счётов» с уже умершим к тому времени поэтом не злопамятность, не свежесть этой его давней обиды, а упрямое его нежелание видеть и знать правду о том предмете, о котором он взялся писать.

Чтобы показать, как далека от реальности злая реплика Солженицына насчет того, что Самойлов будто бы всю жизнь, «в жажде покоя» уклонялся от сочинения стихов «с общественным звучанием», приведу только одно давнее самойловское стихотворение:

Если вычеркнуть войну,
Что останется? Не густо.
Небогатое искусство
Бередить свою вину.
Что ещё? Самообман,
Позже ставший формой страха.
Мудрость, что своя рубаха
Ближе к телу. И туман.
Нет, не вычеркнуть войну,
Ведь она для поколенья —

Что-то вроде искупленья
За себя и за страну.
Правота её начал,
Быт жестокий и спартанский,
Как бы доблестью гражданской
Нас невольно отмечал.
Если спросят нас юнцы,
Как мы жили, чем мы жили,
Мы помалкиваем или
Кажем раны и рубцы.
Словно может нас спасти
От стыда и от досады
Правота одной десятой,
Низость прочих девяти.
Ведь из наших сорока
Было лишь четыре года,
Где нежданная свобода
Нам, как смерть, была сладка.

Стихотворение это было написано в октябре 1961-го.

Никто из сверстников Самойлова, поэтов военного, фронтового поколения (ни Наровчатов, ни Межиров, ни Луконин, – ни даже Слуцкий!) никакого стыда «за себя и за страну» тогда не чувствовали. А если и чувствовали, в стихах это не выражали. Самойлов был едва ли не единственным (кроме разве одного Коржавина), кто посмел сказать об этом вслух.

Как же мог Солженицын, прочитавший всего Самойлова насквозь и посвятивший ему специальный очерк, этого не заметить? Неужели только неостывшая личная обида ему в этом помешала?

Думаю, что были для этого ещё и другие причины, и со временем я о них, наверно, ещё скажу.

Но это всё – более поздние мои мысли.

А тогда, в 1974-м, я обо всем этом, конечно, не думал.

Нацеленная в Солженицына ирония самойловского «Струфиана» была мне, конечно, близка. Не просто близка! Это были, как писал иногда на докладах своих министров Николай Второй, «мои мысли». Мои, но выраженные с таким блеском, на который я сам, конечно, не был способен.

Но ясно сознавая, что все эти его идеи «спасения Руси» мне не только чужды, но и прямо враждебны, я все-таки не позволял себе думать о Солженицыне совсем уж худо. Что бы там ни было, он все-таки ещё оставался для меня главным символом сопротивления ненавистному мне сталинско-брежневскому режиму.

Помню, однажды, когда мы в какой-то компании обсуждали это самое солженицынское «Письмо вождям», один из самых резких его критиков, с которым я был, в общем, согласен, заключил свою речь такой фразой:

– Короче говоря, если бы у нас сейчас были свободные выборы, за Солженицына я бы голосовать не стал.

На что я тут же отреагировал:

– Ну да, ты бы голосовал за Брежнева.

* * *

Споры о Солженицыне в нашем кругу не утихли и после его «выдворения». Пожалуй, стали даже более ожесточенными. В одном случае, слух о котором уже тогда до меня докатился (тесен, тесен был тогда этот наш маленький круг), дело даже дошло чуть ли не до скандала.

Настоящего скандала не вышло, потому что «скандалист», заваривший всю эту кашу (Д. Самойлов), был хозяином дома, а мишенью, на которую была направлена его словесная атака, – стала главная и самая почетная его гостья, Лидия Корнеевна Чуковская. Оскорбить Лидию Корнеевну Давид, разумеется, не хотел, – слишком глубоко он её любил, ценил и уважал, но в то же время не мог не понимать, что каждое слово той его антисолженицынской инвективы не могло не восприниматься ею как личное оскорбление.

Сам он в своих «Подённых записках» суть инцидента излагает коротко:

…

Новый год у нас. Крамовы, Игорь Виноградов с женой, Л. К.

Сперва хорошо. Потом я напился. Инцидент с Ал<ександром> Ис<аевичем.

Более подробно рассказывает о случившемся вдова поэта:

…

На встрече Нового, 1975 года, вызвавшей бурную и гневную реакцию

Л. К., спора как такового, в сущности, не было. Солировал в основном Д. С., повторяясь и распаляя себя до резких выражений, особенно неуместных в присутствии Л. К., зная её повышенное, а то и восторженное отношение к Солженицыну.

Л. К. перестала встречать Новый год с 1938 года, с тех пор как арестовали, а затем убили её мужа. И много раз настаивала, что так оно и будет до конца её дней. А тут мы её уговорили нарушить самозапрет и приехать к нам, и она не сразу, но согласилась.

Какая она была нарядная, оживленная, милая, ласковая, с какой изящной простотой держалась и принимала почтительное уважение окружающих. Праздничное очарование Л. К. и общая благорастворенная атмосфера дали первый толчок к тому, что произошло дальше. Д. С. тоже размягчился, но на свой лад, не отвлекаясь от себя: это с какой же стати хорошая, и очень хорошая, Л. К. дарит вниманием всех подряд, а не его одного, когда ему оно – нужнее. И перенаправил воздушные потоки «в сторону Дезика». «То, что тайно живет в подсознанье», непосредственность соединительного чувства вырвалась наружу, не успев облечься в подобающие одежды.

(«Все тот же спор». Неопубликованное письмо Лидии Чуковской Давиду Самойлову. Публикация и подготовка текста Е. Ц. Чуковской. Вступительная статья Г. И. Самойловой–Медведевой. «Новый мир», 2006, № 6)

Что именно вырвалось в тот момент у Давида «из подсознания наружу», из этого объяснения не поймешь. Но кое-что можно понять из той его части, в которой подробно излагается вся предыстория интересующего нас сюжета:

...

Без этого имени в те годы редко обходилось любое интеллигентское толковище. По какому бы поводу ни собрались, солженицынская тема возникала неизменно, порождая большой накал страстей. Не могли миновать её и Л. К. с Д. С. при своих регулярных встречах. Краткие дневниковые записи Д. С. доносят живое дыхание давно умолкнувших речей:

«Были с Галей у Лидии Корнеевны. Читал ей половину письма Солж<ениц>ну.

Она огорчена, но не может не оценить правоты. Просит лишь подчеркнуть, что я не сомневаюсь в его чувстве чести».

«Приезжала Л. К. Разговоры о Солженицыне. Несмотря на её обожание – рассказ о характере жестком, рациональном. Вилы за шкафом.

С такой властью такой только и может тягаться».

«Приезжала Л. К. Долгий разговор о Солженицыне. «У него характер немецкий».

При всем восхищении этот характер ей чужд».

«Дописал «Струфиана» и читал его несколько раз – Храмову, вечером – Л. К.

Первая её мысль – не печатать.

Потом объективность поборола любовь к А. И.».

(Там же)

Но о том, ЧТО ИМЕННО наговорил ей Давид за тем новогодним столом, и тут – ни полслова.

Кое-что, однако, можно понять из сохранившегося в архиве Л. К. Чуковской обращенного к ней письма Давида от 19 января 1975 года:

…

Дорогая Лидия Корнеевна!

Простите, что я так огорчил Вас, что испортил Вам вечер, в который искренне хотел Вас развлечь. Мне очень стыдно некоторых слов, которые были произнесены в запале. Я, конечно, не совсем так думаю.

Жаль мне ещё и Ваших глаз, потраченных на письмо мне, и Вашего времени.

Но уж раз так получилось, мне бы хотелось ответить Вам по существу. Надо только собраться с мыслями, потому что вопрос не простой. Друзей моих до конца месяца не будет в городе, поэтому, если Вы не возражаете, я им покажу Ваше письмо вместе с моим ответом. Надеюсь, он будет уже готов и, конечно, сперва прочитан Вами.

Ужасно думать, что тот разговор встанет стеной между нами. Но, видимо, договорить его следует…

Не сердитесь на меня…

Любящий Вас.

(Давид Самойлов – Лидия Чуковская. Переписка. 1971–1990. М. 2004. Стр. 31)

К упоминанию о полученном им письме Л. К., на которое он собирается ответить, в цитируемой книге было сделано такое

примечание:

...

Когда Л. К. была в гостях у Д. Самойлова, между ними возник спор об А. И. Солженицыне. Вернувшись домой, Лидия Корнеевна мысленно продолжила этот спор и послала Самойлову большое письмо. Это письмо не сохранилось.

(Там же. Стр. 32)

На самом деле письмо это сохранилось. Не сохранился оригинал. Но спустя какое-то время после выхода в свет этой «Переписки», составительница книги Елена Цезаревна Чуковская нашла в архиве Лидии Корнеевны черновик этого её большого письма, судя по всему, мало чем отличающийся от оригинала.

Именно этот черновик и был опубликован в «Новом мире». И из этой публикации мы наконец узнали, ЧТО же там на самом деле произошло.

...

Л. ЧУКОВСКАЯ – Д. САМОЙЛОВУ

15.1.75

Дорогой Давид Самойлович.

Сидя на председательском месте за своим добрым новогодним столом, Вы сказали (цитирую дословно), что А. И. Солженицын:

человек плохой

Пауза

да, самый лучший человек России – человек плохой

Пауза

пло-хой че-ло-век

Пауза

неблагодарность как принцип жизни

Пауза

жил в доме и не разговаривал с хозяйкой дома

Пауза

супермен

Пауза

плебей и хам

Каждый волен говорить и думать о чем угодно, о ком угодно что угодно. В том числе и Вы о Солженицыне. В особенности сейчас, когда он благополучен, превознесен, богат и наконец в безопасности. Теперь уж и выбранить его не грех. Но в Вашей брани одна фраза имеет опорой сведения, исходящие будто бы от меня, а этого я допустить не могу. Неправда, злая неправда.

А<лександр> И<саевич> С<олженицын> лет восемь периодически живал в двух домах – в Переделкине и в городе, – которых я могу считаться хозяйкой. Значит, это у нас на даче и у нас в городе он расположился, как плебей и хам, и это со мною, хозяйкой дома, будто бы не разговаривал?

Вы меня в ту минуту точно по голове стукнули, я потерялась и не ответила, как следовало. А за столом сидели люди, у которых сведений о домашней жизни А. И. С. нет и быть не может. Один из них очень благородно сказал, что ведь и Лев Николаевич и Федор Михайлович тоже были, кто их там знает, хорошие ли люди? Выходило так, будто где-то кем-то уже установлено: А. И. С. человек плохой, неблагодарный, неблагородный, но окажем ему снисхождение: он имеет заслуги.

Обсуждать, плох ли, хорош А. И. С., я не стану. Меня своим появлением в мире и присутствием в

моей жизни он одарил несравненно... Хорош ли, плох – молчу. Для меня хорош. Да и не берусь я писать сочинение на тему: «А. И. С. как человек»; я недостаточно глубоко и близко знала его. Но обязана Вам, судье, представить свои показания: «А. И. С. как жилец».

(«Новый мир», 2006, № 6)

«Плохой человек», «плебей и хам»... Вот, значит, какие ужасные слова были произнесены за тем новогодним столом. Вот до какого градуса поднялось в кругу недавних единомышленников отрицание недавнего их общего кумира.

Давид на это большое послание Лидии Корнеевны (к тексту его я ещё не раз буду возвращаться) ответил процитированным выше коротким письмом, в котором выразил сожаление, что огорчил её и испортил ей вечер. А разговор «по существу» отложил на потом («...мне бы хотелось ответить Вам по существу. Надо только собраться с мыслями, потому что вопрос не простой»).

Этот его ответ, который он обещал вместе с её письмом показать друзьям, – а потом, разумеется, и ей, – до нас не дошел. Во всяком случае, в составленном Еленой Цезаревной томе их переписки этого обещанного им ответа я не обнаружил. Но от спора «по существу» он не уклонился, о чем мы можем судить по другому, более раннему его письму на ту же тему:

...

Д. С. САМОЙЛОВ – Л. К. ЧУКОВСКОЙ

Дорогая Лидия Корнеевна!

Последний наш раздраженный разговор породил во мне многие тяжелые сомнения не только по существу спора (спора по существу быть не может, ибо Вы принимаете всё без всякого сомнения, ибо Вам достаточно подвига , в котором и есть высший смысл), а именно постановкой вопроса.

Можно ли накладывать табу на

проблему столь жгучую, как проповедь А. И.? Ведь эта проповедь, учитывая его авторитет, одно из важнейших «намерений об исправленьи Империи Российской». Как же избежать разговора об этом «прожекте»? И можно ли жить, не оценивая его, прежде всего с нравственной стороны?

Вы отказываете человеку, который, по-Вашему, не сделал то-то и то-то, судить план жизни, который предлагает ему, бедняге, герой. Толпа не смеет судить героя. Герой имеет право вести толпу, куда ему угодно. Так ли это? Ведь это то самое, с чем мы сталкиваемся каждый день. С отбиранием права мыслить, с превентивной уверенностью в правоте, с превышенной платой за подвиг. Подвиг, оплаченный такой ценой, не нужен и бессмыслен.

И метод тот же – наш. Кто осмеливается судить о мыслях героя, тот мещанин, «комфортник»…

Человек, однажды совершивший подвиг, приобретает не только права, но и обязанности. Жаль, если нам, сирым, приходится ему об этом напоминать.

Если герой важнее правды, я за правду. Если для утверждения героя можно пожертвовать толпой, я за толпу. Герой для нас, а не мы для героя. Иначе – героя нет. Иначе – кулачный боец, сильная личность, что угодно, но не герой, не тот, кто может быть идеалом, пророком, водителем и т. д. Нет героя без учения…

Считаю необходимым изложить все это.

Д. Самойлов

14/XII 75

Ответа Лидии Корнеевны на это письмо в составленном Еленой Цезаревной томе я тоже не обнаружил. Но легко могу себе представить, каков был бы этот её ответ, поскольку и сам в разговорах с ней не раз возвращался к этой жгучей теме и выслушивал все, – как правило, впрочем, очень мирные – её резоны.

Кое-какие из этих тогдашних наших разговоров я легко мог бы восстановить тут по памяти. Но в этом нет никакой нужды, поскольку в опубликованных недавно дневниковых записях Л. К. о Солженицыне есть прямой, непосредственный отклик на эту её размолвку с Самойловым, прямой её ответ ему уже не только на тему «А. И. С. как жилец», но и «по существу спора»:

…

> *28 января 75 г., вторник, Москва. Письмо от Самойлова, извиняющееся по форме и наступательное по содержанию. Хочет продолжать дискуссию. Продолжу, но как мне продолжить братство с ним? Третьего дня он выступал в ЦДЛ (Володя Корнилов не стал бы, даже если б позвали); зал – битком; все в восторге – ещё бы! Он читал: «Выйти из дому при ветре…» – но и антисолженицынскую поэму прочел, и «все» были в восторге. Ох уж эти все! Вешаю себе на стены портреты А. И., целых 3, в ответ.*
>
> *(Лидия Чуковская. Из дневника. Воспоминания. М. 2010. Стр. 342–343)*

Ответ более чем определенный и как будто исчерпывающий. Но за этой записью – на той же странице! – следует другая, из которой видно, что и у неё с Александром Исаевичем немало идейных разногласий:

…

24 февраля 75, понедельник, Москва…

Получила длиннейшее письмо от А. И… Просит прочесть сб. «Из-под глыб».

Я его сейчас читаю. Ох, горюшко. Талантливо, умно; есть и молодые таланты; но всё – христианство; всё – православное; и не такое, а вот этакое… Мне же это совсем чуждо, всё, что церковь, – мертво; а Христос для меня воскресает только в стихах Пастернака, Ахматовой, в живописи.

Тут же напечатана статья А. И. «Образованщина» – о нашей интеллигенции, сплошная оплеуха (со ссылкой на меня: «Кого-то пора от интеллигенции отчислить» из «Гнева народа»). Оплеуха заслуженная. Но больно получать и заслуженную оплеуху, а главное – следует ли опять, и опять, и опять зачеркивать категорию людей? (Нация; класс; сословие; интеллигенция.)

Где-то – уж не помню где – кажется, в «Раскаянии и покаянии», что Россия принесла много вреда Польше, но Россия каялась («начиная с Герцена» и пр.), а кто же каялся, кроме Герцена. Аксаков, славянофил, считал его изменником и призывал покаяться. «Вам каяться!» – отвечал Александр Иванович. Тютчев (славянофил) попрекал в стихах кн. Суворова, который отказался подписать адрес Вешателю… Ничего этого Ал. Ис. не знает, вероятно.

Где-то он пишет о мистическом единении нации… Это не для меня…
(Там же. Стр. 343–344)

Себе она все эти недоумения и несогласия разрешает. Но – *только себе* ! Готова немедленно порвать с каждым, кто осмелится произнести вслух хоть слово критики, направленной

на её кумира:

...

6 июня 75. Переделкино. Из главнейших событий – мой полуразрыв с А. Д... Я тогда только что кончила «Теленка» и жила вся в пожаре этой книги и злобных разговоров о ней с окружающими. При мне Лев ещё не осмелился её поносить, но я знала, что всем он её поносит, да и не только он. О, какой это ужас, «все»; интеллигентное стадо или неинтеллигентное! Но – стадо. Подарили стаду гения, а оно мерит его своими мерками. Пока А. И., напрягая все мускулы души и тела, создавал для них же «Архипелаг», они обсуждали его образ жизни, отношения к друзьям, навестил или не навестил в больнице первую жену, вторую жену – не соображая, что он ничей не муж, а «муж судьбы», «пред кем унизились цари», кто вот-вот исчезнет «как тень зари» – а они к нему с мелочью и ерундой. Он тоже делает иногда мелочь и ерунду, а все-таки он – это Он, а они – это Они. Толстой был так велик, что мог позволить себе писать глупости о Шекспире. Его отличие от нас то же, что было у Пушкина от людей того времени: гениальность и мужество. Он как Шаляпин у Ахматовой: «Наша слава и торжество». Но существуют бабы с их обезьяньим умом... Существуют самолюбия. Существуют и люди, которых он в самом деле несправедливо обидел... И Муж Судьбы, поворачивающий историю мира, не всегда прав «пред нашей

правдою земною».

(Там же. Стр. 346)

Этот дневник Лидии Корнеевны, наверно, – самое яркое свидетельство того амбивалентного отношения к Солженицыну, какое сложилось тогда в кругу недавних его поклонников и почитателей. В то же время он уникален, потому что в нем эта амбивалентность выявилась не только в разногласиях и спорах вчерашних единомышленников, вдруг ставших, как это часто бывало в истории, яростными идейными противниками, но и в душе и сознании *одного человека* . И именно этим он для нас особенно интересен.

...

14 декабря 75, воскресенье, Москва.

Самойлов; позвонил; я просила его прийти... Принес мне письмо – опять об А. И. Чтоб я спокойно прочла. Я будто бы запрещаю спорить. А я не запрещаю им точить лясы, я только не хочу принимать в этом праздном занятии участия. Да, с мыслями А. И. я во многом не согласна; он считает национальной чужеродностью происшедшее, а я не думаю, что дело было в чуждой национальной примеси. Все политические партии России, особенно большевики, как все вообще профессиональные революционеры, чужды культуре и рушат её, не берегут её. Октябрьская революция была торжеством Нечаевства + Марксизм; черт ли в том, что Зиновьев еврей? Жданов и Попков были русские – от этого не легче. Ну вот, но рассуждать без конца об А. И. я не хочу – я прочла одну его страницу... и за неё отдам всю их болтовню со всеми потрохами. Он – художник, и притом русский

художник, т. е. писатель, взыскующий правды.

И – тут же:

...

А. И. сказал в Стокгольме, что введение демократии приведет к межнациональной резне. Так. Но ковыряние в национальном характере и национальных винах – к чему приведет?..

И – рядом:

...

29 декабря 75 г., понед., Москва.

Люблю А. И., хоть он и напрасно раскрывает скобки еврейских фамилий: его национализм простить ему можно, но скобки ассоциируются с подготовкой дела врачей, а это простить труднее, даже нельзя. Напишу ему.

(Там же. Стр 348)

Чем дальше, тем больше А. И. дает ей поводов для такого рода недоумений. И все чаще возникает у неё желание поспорить с ним, возразить, откровенно высказать ему свое несогласие. («Напишу ему»).

Но когда такое желание, – даже по тому же самому поводу, – возникает у кого-нибудь ещё, она прямо-таки взрывается возмущением и гневом.

И так – все тридцать три года (первая запись о Солженицыне помечена 19 ноября 1962-го, последняя – 8 ноября 1995-го), на протяжении которых велся этот дневник.

Двойственность, пресловутая амбивалентность её отношения к «классику», как она его называет, то и дело прорывается даже не в разных записях, а в одной и той же:

...

16 апреля 75, среда, Москва.

Да, вот ещё боль: классик. Все больше и больше его здесь разлюбляют, даже ненавидят. Д. С. был только первой ласточкой. Сейчас центр ненависти, болезненной, его старинный «друг». Я еще не читала животное (имеется в виду «Теленок». – Б. С.) ; уверена, что книга гениальна (потому что классик – с натуры – гений) – но верю, что там есть нечто недопустимое, о чем уже все и орут. (Гений побоку, промахи – вперед.) её, видимо, ещё нельзя было печатать (как нельзя мою Ахматову: люди живы. Нельзя). Кроме того, ведь он полной правды написать не может – ибо те, кто действительно спасал и его, и его книги – хранил, фотографировал, распространял, ежедневно переписывал, – живы...

Надо, конечно, не судя прочесть. Но уже вперед болит сердце, потому что правды написать он не может, это я уже знаю... Очень меня удивило и его интервью: он сказал, что Белль перевозил рукописи на Запад. Но ведь все точки общения Белля известны – здешние – как же так?

За последние недели я одолела «Глыбы» и «Континент». Конечно, это счастье, что мысль возрождается. Я ему написала огромное письмо, после которого он внутренне, наверное, порвет со мной, – о моем неприятии религиозности и упора на национальный вопрос. Русский и есть русский, как елка и есть елка, и нечего об этом кричать. Превращение русских обратно в евреев я считаю

вредным психозом. За это он меня проклянет: он подчеркивает свое уважение именно к уезжающим «на родину» евреям.

Скорблю, что между ним и А. Д. не только спор, но тень. Говорят, он, в «животном», рассказал о колебаниях А. Д. насчет отъезда... Пересказывать частные разговоры... можно ли?

(Там же. Стр. 344–345)

Иногда эта «амбивалентность» принимает формы прямо-таки комические. Вот (это уже после возвращения Солженицына на Родину) она откликается на одно из тогдашних его публичных выступлений (видела по телевизору):

...

23 февраля 1995 г

К сожалению, Ал. Ис. о Чечне сказал совершенно мельком и не сердечно. «Большой дом» – т. е. Россия! – горит, страна погибает, и по сравнению с разрушением большого дома ужас в маленьком (т. е. в Чечне) не так важен. Он не прав. Россия, огромная Россия, уничтожает маленькую Чечню, и это позор, это напоминает позорную Финскую войну и тяжело скажется на нравственности русского народа. Грозный уже сметен с лица земли и многие села. Ельцин, Грачев, Степанков торжествуют и делают Ковалева и Юшенкова изменниками родины. Этим сильно понижается нравственный дух народа, об очищении и подъеме которого так заботятся А. И. С., Струве и пр., и пр... На каком уровне – насильников и злодеев! – вернутся оттуда наши юноши. Что будет с их

нравственностью?.. Я не знаю, бандит ли Дудаев, но вокруг него сплотился весь чеченский народ, обороняющийся от чужеземцев... И все это из-за газопровода, о котором можно было договориться без всякой войны.

Месяц спустя она вновь возвращается к этой больной теме:

...

22. IV. 95 ...

В Чечне бойня продолжается... А. И. продолжает молчать. Из современных событий занят только земством и недостатками нашей системы выборов. А что бойня в Чечне есть не возвышение, а унижение русского духа, об этом не говорит. (По телевизору он выступает раз в 2 недели).

(Там же. Стр. 414–415)

Золотые слова!

Но вот те же самые золотые слова осмелилась вымолвить Ольга Чайковская (очень тогда известная наша журналистка):

...

12 мая 95.

Выходка Ольги Георг. Чайковской против А. И. С. Она как-то звонила мне с вопросом: куда адресовать ему письмо? Хочет написать ему письмо о Чечне – так куда, и дойдет ли? Я сказала: пишите в Представительство и непременно дойдет. Потом наш разговор пошел совсем в другую сторону – о Ел. Серг. Грековой, о здоровье, о сборнике 500 русских писателей и пр. Адреса почтового на Козицком я не знала –

она утром позвонила, чтоб узнать адрес – Люше. Л. ей приветливо сообщила.

И вдруг по «Свободе» – её рассказ об ужасах в Чечне, творимых там нашими войсками и ОМОНом. И все это почему-то адресовано Солженицыну! Как будто он этого не знает, и как будто он причастен к творимым там ужасам!

Это письмо следовало адресовать Грачеву и Ерину. А при чем тут Солженицын? Она ставит ему в пример Короленко. Но, при полном уважении к Короленко, Солженицын никогда не притворялся в уважении к советской интеллигенции... Солженицын любит крестьян, верует в их красоту и силу, проповедует земство... Это его вера и его право – заниматься тем, чем ему (а не О. Г.) хочется и непременно тем, чего требует от него (сам помалкивая) аэропортовский дом... Почему, в самом деле, требовать единомыслия? Ведь не требует же А. И. С., чтобы О. Г. Чайковская писала непременно о земстве... Он занят другим делом. (Он решает свои задачи по очереди. Как сам считает нужным. Ему 76 лет – его поздно учить.)

(Там же. Стр. 417–418)

Это уже прямо безумие какое-то! Забыла она, что ли, что только что (и трех недель не прошло!) сама предъявляла Александру Исаевичу те же претензии, по поводу которых теперь негодует?

Такой вот плюрализм в одной голове. А плюрализм в одной голове, – как метко было сказано однажды, – это шизофрения...

На самом деле эти взаимоисключающие высказывания Лидии Корнеевны, этот её «плюрализм в одной голове» отнюдь не свидетельствует о раздвоении личности. Скорее напротив.

Как говорит Полоний в «Гамлете», в этом безумии есть своя

система. В данном случае – очень жесткая, предельно логичная и последовательная *система ценностей* .

Лидия Корнеевна была бескомпромиссна до нетерпимости. Это было главное, определяющее свойство её личности. Оно проявлялось и в большом, и в малом. Иосиф Бродский вспоминал, что когда они (молодежь) собирались у Анны Андреевны, обстановка была всегда самая непринужденная. Хозяйка сразу же отряжала кого-нибудь за бутылкой водки и, не жеманясь, пила вместе со всеми. Но стоило только на горизонте появиться Лидии Корнеевне, как водка тотчас исчезала со стола, на всех лицах «воцарялось партикулярное выражение, и вечер продолжался чрезвычайно приличным и интеллигентным образом».

Мне в это очень легко поверить.

Помню, однажды Лидия Корнеевна пригласила меня и моего приятеля Макса Бременера посетить её. Мы с Максом жили тогда в Переделкинском Доме творчества, так что идти нам было недалеко: дача Корнея Ивановича – прямо напротив ворот этого Дома.

Но на нашем пути к Лидии Корнеевне вдруг возникло неожиданное препятствие.

На пороге стоял Корней Иванович, одетый и снаряженный для гуляния.

– Вот молодцы, что пришли! – радостно встретил он нас. – Как раз вовремя.

Думаю, что радость его была неподдельна: он любил гулять в окружении людей, охотно слушающих его рассказы.

Я, честно говоря, уже готов был пренебречь приглашением Лидии Корнеевны, отложить наш визит к ней до другого раза. И не только потому, что не хотелось обижать старика: гулять с Корнеем Ивановичем, по правде говоря, мне было интереснее, чем слушать редакторские замечания Лидии Корнеевны о детских рассказах моего друга Макса.

Но Макс, в отличие от меня, не дрогнул.

– Собственно, мы пришли к Лидии Корнеевне... – мужественно возвестил он.

– Понимаю! – тем же радостным, ликующим, певучим своим голосом прервал его Корней Иванович. – Вы боитесь Ли-идочку! Пра-авильно. Я и сам её боюсь!.. Идите, идите к ней!

И он удалился, помахав нам на прощание рукой.

Это, конечно, была шутка. Но – и не совсем шутка.

Бескомпромиссность Лидии Корнеевны часто делала общение с ней нелегким. Вот, пожалуй, самый красноречивый пример: коротенькая запись в «Дневнике» Корнея Ивановича (30-го января 1968-го года):

...

Лида величава и полна боевого задора. Люда Стефанчук сказала за ужином, что один из рассказов Солженицына (которого она обожает) понравился ей меньше других. Лида сказала железным голосом:

– Так не говорят о великих писателях.

И выразила столько нетерпимости к отзыву Люды, что та, оставшись наедине с Кларой, заплакала.

(Корней Чуковский. Собрание сочинений. Том тринадцатый. Дневник. 1936–1969. М. 2007. Стр. 456)

ТАК НЕ ГОВОРЯТ О ВЕЛИКИХ ПИСАТЕЛЯХ!

Эта её реплика всё объясняет.

В том, что Александр Исаевич Солженицын – ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ, у неё не было ни малейших сомнений. Уверенность в том, что он – ГЕНИЙ, никогда её не покидала.

...

6 апреля 76, Москва, вторник.

В эфире – единоборство гения, Солженицына, со всем миром.

9 мая 76. Понедельник.

Сейчас я купаюсь в океане благоуханной русской речи: читаю III том «Архипелага». Перед этим все мелко. Это книга книг. «Игру эту боги затеяли». Тут, в этом жанре («научно-художественном», как говорил и писал когда-то Маршак), он несравним ни с кем и бесспорен, вне зависимости от ошибок мыслей и обобщений. (Завирается насчет XIX века.) Читаю с наслаждением как

великое совершенство. В его языке... есть нечто ахматовское, пушкинское – мощь. И какой гениальный путь – путь гениального человека, которому всё по плечу: и книга, и жизнь...

...Да, я понимаю, что классик не может не верить в Провидение, судьбу, Бога.

(Лидия Чуковская. Из дневника. Воспоминания. М. 2010. Стр. 350)

Конечно, и гений может «завираться». Даже Толстой, – гений из гениев, величайший из великих, – и тот «завирался». При случае можно и гению указать на «завиральность» некоторых его идей. Но – ни на секунду не забывая при этом, С КЕМ говоришь, КОМУ смеешь высказывать свои претензии.

И она не забывает:

...

...К интеллигенции он жесток, а главное – он не понимает её. Образованщина! И все тут...

Солженицын говорит мельком о том, что до Нобелевской его поддержала «тоненькая пленка». Я не знаю всего состава этой пленки, но те, кого я знаю, – сплошь интеллигенты...

У такой огромины, как он, и заблуждения огромны. Огромный человек, талант огромный. Для того чтобы стать гением, ему не хватает только интеллигентности!

13/XI 95, понедельник. Читаю публицистику Солженицына. Удивительная книга! Столько ума, пророчеств, и столько безумия и злости не по адресу. Написано все насквозь превосходно, дивишься языку, синтаксису, емкости слов – и привкусу безвкусицы и безумия. Ну почему, например, А. И. утверждает,

будто русский и украинский народы понесли наибольшие потери в войне против фашизма? А Белоруссия – не понесла? Ведь на неё первую накинулись гитлеровские войска. И таких «почему» очень много, хотя много и ошеломительных правд.

И настойчивые призывы к «национальному сознанию», «национальному возрождению» рядом с проклятиями – заслуженным и незаслуженным – по адресу интеллигенции. Как будто без интеллигенции возможно какое бы то ни было сознание. Интеллигенция и есть сознание... Что такое Россия и русское национальное самосознание без Державина, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Баратынского, Тютчева, Фета, без Достоевского и Чехова, Герцена, без Блока, Ахматовой, Мандельштама, Пастернака?..

«Образованщина» – «образованщиной», но интеллигенция и самого Солженицына вынесла, выпестовала, подвергая себя смертельной опасности – и самого Солженицына. Человек он благодарный и благородный – воспел своих спасителей в дополнениях к «Теленку», – но мыслитель? А что был Самиздат – разве не национальное самосознание России? – интеллигентной России – и Сахаров? при всех его политических неточностях? Я не знаю, был ли Сахаров верующим и православным (сомневаюсь!), но человеком великой нравственности был он, а не Шафаревич. И почему, в чем русский народ показал себя истинным христианином? Только в идеале, в поговорках, в любви некоторой его

части к церквам? А как же католики – итальянцы, французы, – они разве не христиане – потому что не православные?

(Там же. Стр. 421–423)

Чем дальше, – тем больше возникает у неё таких недоумений, тем чаще появляется желание возразить ему, поспорить. Но конечный вывод – хорошо нам знакомый по Ленину, по знаменитой его статье о Толстом: как художник – велик, а как мыслитель – смешон.

У неё, впрочем, эта старая ленинская формула перевернута, два составляющих её определения поменялись местами: да, как мыслитель А. И. действительно уязвим, но художник – великий.

Какой бы вздор ни нес Александр Исаевич и как бы ни была велика степень её несогласия с ним, он даже и в публицистике своей остается для неё великим художником:

...

Каждое слово – драгоценный камень...

У такой огромины, как он, и заблуждения огромны. Огромный человек, талант огромный.

Написано все насквозь превосходно, дивишься языку, синтаксису, емкости слов... (Там же)

Даже в публицистических своих статьях он оставался для неё великим писателем. А уж о художественных его произведениях и говорить нечего.

Прочитав «Ивана Денисовича», опаленная этим огнем, упавшим на нас с неба, она сразу и навсегда поверила, что в русскую литературу пришел ещё один гений. Ещё один, как некогда говорилось о Толстом, ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ.

Я тоже был опален этим огнем. Но к таким высоким определениям изначально был не готов. А вскоре, когда после «Ивана Денисовича» нам постепенно стали открываться другие рассказы, повести, романы Александра Исаевича, с каждым новым таким открытием всё больше появлялось у меня сомнений в его праве на этот высокий титул.

* * *

Положение Солженицына в официальной советской литературе изначально было довольно-таки неопределенным. Чем дальше, тем оно становилось все более и более шатким.

Длилась эта неопределенность недолго.

После «Ивана Денисовича» в легальной советской печати ему удалось опубликовать ещё только четыре рассказа: «Матренин двор» («Новый мир», 1963, № 1), «Случай на станции Кречетовка» (там же), «Для пользы дела» («Новый мир», 1963, № 7) и «Захар-Калита» («Новый мир», 1966, № 1).

Последние два особого интереса у меня не вызвали. По правде говоря, показались даже (и не мне одному) довольно бледными.

Я понимал, что дал их в журнал и согласился опубликовать Александр Исаевич не от хорошей жизни. Скорее всего, он тут даже сделал некоторую уступку Твардовскому, которому важно было показать, что Солженицын остается действующим, печатающимся советским писателем и, – мало того, – что место и положение его в советской литературе связано не только с лагерной темой. Вот он и уговорил его дать для печати «хоть что-нибудь». А если ничего такого в запасе у него нет, так даже и попробовать специально написать что-нибудь более или менее безобидное.

Рассказ «Для пользы дела» совсем безобидным не был. Он даже как будто подтверждал уже заявленную Солженицыным, не совсем обычную для официозной советской литературы гражданскую позицию автора. Но и по стилистике, да и по смыслу был вполне советским.

Что касается рассказа «Захар-Калита», так это именно он стал поводом для – хоть и не злой, но все-таки довольно ядовитой нашей пародии на Солженицына, которую я уже цитировал.

В общем, два эти рассказа слегка поколебали уже утвердившийся было статус Солженицына как *Великого Писателя Земли Русской* .

Поколебали, но – не слишком, поскольку два других его рассказа, явившиеся на свет после «Ивана Денисовича» («Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка»), этот его статус вроде как подтвердили.

Таков был общий глас.

Но у меня и на этот счет возникли – уже тогда – кое-какие сомнения.

В рассказе «Матренин двор» меня немного смутила очевидная, сразу бросающаяся в глаза его очерковость. Я бы даже

сказал – документальность. Которую автор не только не скрывал, но даже несколько демонстративно выпячивал.

...

На сто восемьдесят четвёртом километре от Москвы по ветке, что идет к Мурому и Казани, ещё с добрых полгода после того все поезда замедляли свой ход почти как бы до ощупи. Пассажиры льнули к стёклам, выходили в тамбур: чинят пути, что ли? из графика вышел?

Нет. Пройдя переезд, поезд опять набирал скорость, пассажиры усаживались.

Только машинисты знали и помнили, отчего это всё.

Да я.

(Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. М. 1990. Стр. 442)

Это – самое начало рассказа.

Даже и не начало, а только ещё *зачин* .

Но уже этим своим зачином автор сразу дает нам понять, что собирается рассказать не вымышленную, а подлинную историю. Что все, о чем пойдет речь в этом его рассказе, было на самом деле. И было именно так, как он сейчас нам об этом расскажет.

А начало рассказа – настоящее его начало, – уже не просто очерковое, а откровенно автобиографическое.

На обсуждении «Ракового корпуса» кто-то из выступающих говорил, что образ Костоглотова слишком автобиографичен. Что слишком уж коротка, почти незаметна дистанция между автором и этим его героем, отчего образ несколько теряет в своей художественной убедительности.

Солженицын не оставил эти упреки без ответа:

...

Здесь, в профессиональной аудитории нетрудно убедить вас,

что Костоглотов – не автор. Я старался всемерно от него отдалиться, – если дистанция не удалась, – буду ещё работать.

(Александр Солженицын. Собрание сочинений в шести томах. Том шестой. Frankfurt/Main, 1970. Стр. 186)

Но в «Матрёне» он даже и не думает скрывать, что герой-рассказчик этого его повествования – не кто иной, как он сам. Никакого зазора, никакой, даже самой малой дистанции нет между ним и этим его персонажем.

...

Летом 1956 года из пыльной горячей пустыни я возвращался наугад – просто в Россию. Ни в одной точке её никто меня не ждал и не звал, потому что я задержался с возвратом годиков на десять...

За год до того по сю сторону Уральского хребта я мог наняться разве таскать носилки. Даже электриком на порядочное строительство меня бы не взяли. А меня тянуло – учительствовать. Говорили мне знающие люди, что нечего и на билет тратиться, впустую проезжу.

Но что-то начинало уже страгиваться. Когда я поднялся по лестнице Владимирского облоно и спросил, где отдел кадров, то с удивлением увидел, что кадры уже не сидели здесь за черной кожаной дверью, а за остекленной перегородкой, как в аптеке. Всё же я подошёл к окошечку робко, поклонился и попросил:

– Скажите, не нужны ли вам математики где-нибудь подальше от

железной дороги? Я хочу поселиться там навсегда.

Каждую букву в моих документах перещупали, походили из комнаты в комнату и куда-то звонили. Тоже и для них редкость была – все ведь просятся в город, да покрупней. И вдруг-таки дали мне местечко – Высокое Поле. От одного названия веселела душа. Название не лгало… Высокое Поле было тем самым местом, где не обидно бы и жить и умереть. Там я долго сидел в рощице на пне и думал, что от души бы хотел не нуждаться каждый день завтракать и обедать, только бы остаться здесь и ночами слушать, как ветви шуршат по крыше – когда ниоткуда не слышно радио и всё в мире молчит.

Увы, там не пекли хлеба. Там не торговали ничем съестным. Вся деревня волокла снедь мешками из областного города.

Я вернулся в отдел кадров и взмолился перед окошечком. Сперва и разговаривать со мной не хотели. Потом всё ж походили из комнаты в комнату, позвонили, поскрипели и отпечатали мне в приказе: «Торфопродукт».

Торфопродукт? Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить такое!

(Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. М. 1990. Стр. 442–443)

И дальше – на протяжении всего этого своего короткого повествования – ни на шаг не отступает он от такой же строгой документальности:

…

На станции Торфопродукт, состарившемся временном серо-деревянном бараке, висела строгая надпись: «На поезд садиться только со стороны вокзала!» Гвоздём по доскам было доцарапано: «И без билетов». А у кассы с тем же меланхолическим остроумием было навсегда вырезано ножом: «Билетов нет». Точный смысл этих добавлений я оценил позже. В Торфопродукт легко было приехать. Но не уехать.

А и на этом месте стояли прежде и перестояли революцию дремучие, непрохожие леса. Потом их вырубили – торфоразработчики и соседний колхоз. Председатель его, Горшков, свёл под корень изрядно гектаров леса и выгодно сбыл в Одесскую область, на том свой колхоз возвысив, а себе получив Героя Социалистического Труда.

Меж торфяными низинами беспорядочно разбросался посёлок – однообразные худо штукатуренные бараки тридцатых годов и, с резьбой по фасаду, с остекленными верандами, домики пятидесятых. Но внутри этих домиков нельзя было увидеть перегородки, доходящей до потолка, так что не снять мне было комнаты с четырьмя настоящими стенами.

Над посёлком дымила фабричная труба. Туда и сюда сквозь посёлок проложена была узкоколейка, и паровозики, тоже густо-дымящие, пронзительно свистя, таскали по ней поезда с бурым торфом, торфяными плитами и брикетами.

(Там же)

Не знаю, как там оно было на самом деле, но сдается мне, что даже фамилия председателя колхоза, который свел под корень

изрядно гектаров леса и этим подвигом добыл себе звание Героя Социалистического Труда (Горшков) – не выдуманная, а настоящая, подлинная. Что же касается главной героини повествования, то её фамилию он изменил. (В жизни она была Захарова, а в рассказе стала Григорьева). Но имя – сохранил. И не только имя, но даже и отчество: Матрена Васильевна. Свое же отчество видоизменил, но – не слишком далеко уйдя от реальности: обращаясь к нему, Матрена Васильевна называет его не «Исаич», а – «Игнатич».

По всем этим своим, сразу бросающимся в глаза, жанровым признакам (да и не только по ним) этот рассказ Солженицына как нельзя лучше подходил под старое жанровое определение – *физиологический очерк* .

Термин этот возник в 40-х годах позапрошлого века. В Литературной энциклопедии о нем сказано так:

…

> *Построенный на наблюдении, точном («дагерротипном») воспроизведении фактов, он сыграл важную роль в развитии русской литературы.*
>
> *(Краткая Литературная Энциклопедия. Том седьмой. М. 1972. Стр. 951)*

Именно вот таким, построенным на наблюдении, на точном – «дагерротипном» (по-нашему, по-современному говоря – «фотографическом») воспроизведении фактов, и был, как мне тогда показалось, рассказ Солженицына «Матренин двор».

Эта естественная замена устаревшего определения («дагерротипное») на современное («фотографическое») вроде как ничего не меняла. Но в наше время – у художников, да и у литераторов тоже, – оно обрело отчетливо уничижительный оттенок. Чуть ли даже не стало *антонимом* по отношению к таким понятиям, как живопись, искусство. С такой вот презрительной интонацией и произносили:

– Ну, это фотография…

То есть – не живопись, не настоящее искусство, а нечто этим понятиям противостоящее, противоположное.

Тому, что «Матренин двор» Солженицына я почти готов был счесть фотографией именно вот в таком, пренебрежительном

смысле, немало способствовало то обстоятельство, что впервые я его прочел в рукописи (машинописи), к которой были приложены фотки. На одной еле различима была маленькая, совсем крохотная фигурка Матрены Васильевны, стоящей около сарайчика, примыкающего к довольно большому и как будто бы даже ладному дому.

В рассказе дом этот был описан так:

...

> *...с четырьмя оконцами в ряд на холодную некрасную сторону, крытый щепою, по два ската и с украшенным под теремок чердачным окошком. Дом не низкий – восемнадцать венцов. Однако изгнивала щепа, посереди от старости бревна сруба и ворота, когда-то могучие, и проредилась их обвершка.*
>
> *(Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. М. 1990. Стр. 444)*

Приложенная к рукописи фотография подтверждала документальную точность этого описания. Ясно был виден на ней и теремок, обрамлявший и украшавший чердачное окно. И восемнадцать венцов сруба, которые при желании можно было бы пересчитать, чтобы убедиться, что было их там ровно восемнадцать. Только вот хозяйку этого дома на той фотографии разглядеть было нельзя. Крохотная её фигура была там оставлена словно бы только для того, чтобы дотошный зритель мог воочию представить себе высоту её дома.

Но на другой фотке, приложенной к той же рукописи, Матрена Васильевна была взята объективом уже крупно, так что не только всю фигуру её можно было хорошо разглядеть, но и лицо, суровость которого смягчала смутная, невнятная полуулыбка.

Это была, наверно, та самая улыбка, о которой в рассказе сказано, что он долго и тщетно пытался уловить её объективом своего только что купленного фотоаппарата:

...

Увидев на себе холодный глаз объектива, Матрена принимала выражение или натянутое, или повышенно суровое.

Раз только запечатлел я, как она улыбалась чему-то, глядя в окошко на улицу.

(Там же. Стр. 447)

Эта нескрываемая и даже нарочито, демонстративно подчеркиваемая автором «фотографичность», конечно, не должна была стать поводом для разочарования в Солженицыне-художнике. А что касается такой же нескрываемой, подчеркнутой ориентации автора на «физиологический очерк», так тут и говорить нечего. Достаточно вспомнить, что к этому жанру в свое время относили «Записки охотника» Тургенева. Один из лучших рассказов этого тургеневского цикла («Хорь и Калиныч»), явившийся – ещё до того как цикл стал книгой – на страницах «Современника», именно так был воспринят, понят и оценен – и редакцией, и критикой.

И немудрено.

Вспомним начало этого тургеневского рассказа:

...

Кому случалось из Волховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня (мы говорим о восточной части

Орловской губернии) обыкновенно расположена среди распаханных полей, близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд. Кроме немногих ракит, всегда готовых к услугам, да двух-трех тощих берез, деревца на версту кругом не увидишь; изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой... Калужская деревня, напротив, большею частью окружена лесом; избы стоят вольней и прямей, крыты тесом; ворота плотно запираются, плетень на задворке не разметан и не вывалился наружу, не зовет в гости всякую прохожую свинью... В Орловской губернии последние леса и площадя исчезнут лет через пять, а болот и в помине нет; в Калужской, напротив, засеки тянутся на сотни, болота на десятки верст...

(И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Том третий. М. 1979. Стр. 7)

Воспользовавшись местным, диалектным словечком («площадя»), Тургенев делает к нему специальное примечание, сноску:

...

«Площадями» называются в Орловской губерниии большие сплошные массы кустов; орловское наречие отличается вообще множеством своебытных, иногда весьма метких, иногда довольно безобразных слов и оборотов.

(Там же)

В беллетристике такие примечания не приняты, и сноской этой Тургенев тоже как бы указывает нам на этнографический, то есть скорее даже научный, нежели художественный характер этого своего очерка.

Все это, однако, не помешало – ни современникам, ни потомкам – числить тургеневского «Хоря и Калиныча» в ряду самых выдающихся шедевров классической русской художественной прозы.

Что же в таком случае помешало мне отнести и солженицынский «Матренин двор» к тому же разряду?

Написан он был мастерски:

...

Председатель новый, недавний, присланный из города, первым делом обрезал всем инвалидам огороды. Пятнадцать соток песочка оставил Матрёне, а десять соток так и пустовало за забором. Впрочем, и за пятнадцать соток потягивал колхоз Матрёну. Когда рук не хватало, когда отнекивались бабы уж очень упорно, жена председателя приходила к Матрёне. Она была тоже женщина городская, решительная, коротким серым полупальто и грозным взглядом как бы военная.

Она входила в избу и, не здороваясь, строго смотрела на Матрёну. Матрёна мешалась.

– Та-ак, – раздельно говорила жена председателя. – Товарищ Григорьева! Надо будет помочь колхозу! Надо будет завтра ехать навоз вывозить!

Лицо Матрёны складывалось в извиняющую полуулыбку – как будто ей было совестно за жену председателя, что та не могла ей заплатить за работу.

– Ну что ж, – тянула она. – Я больна, конечно. И к делу вашему теперь не присоединёна. – И тут же спешно исправлялась: – Ко́му часу приходить-то?

– И вилы свои бери! –

наставляла председательша и уходила, шурша твёрдой юбкой.

– Во как! – пеняла Матрёна вслед. – И вилы свои бери! Ни лопат, ни вил в колхозе нету. А я без мужика живу, кто мне насадит?..

И размышляла потом весь вечер:

– Да что говорить, Игнатич! Ни к столбу, ни к перилу эта работа. Станешь, об лопату опершись, и ждёшь, скоро ли с фабрики гудок на двенадцать. Да ещё заведутся бабы, счёты сводят, кто вышел, кто не вышел. Когда, бывалоча, по себе работали, так никакого звуку не было, только ой-ой-ойиньки, вот обед подкатил, вот вечер подступил.

Всё же поутру она уходила со своими вилами.

(Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. М. 1990. Стр. 449–450)

Одна только эта короткая фраза – не фраза даже, полуфраза: «...как будто ей было совестно за жену председателя, что та не могла ей заплатить за работу» – рисует Матрену ярче и говорит о ней больше, чем могли бы сказать любые многословные авторские описания и размышления.

Но и не только Матрёна, характер которой автор и раньше и потом исследует подробно, но и эта на миг мелькнувшая и ни разу уже больше не появившаяся на страницах рассказа *председательша,* вылепленная одной описательной фразой («коротким серым полупальто и грозным взглядом как бы военная») и двумя вложенными автором в её уста репликами, стоит перед нами, как живая.

Или – вот такая «фотография», с явным уклоном в этнографию, как будто даже ещё более отчетливым, чем у Тургенева:

...

Деревенские приходили постоять-посмотреть. Женщины

приводили и маленьких детей взглянуть на мёртвую. И если начинался плач, все женщины, хотя бы зашли они в избу из пустого любопытства, – все обязательно подплакивали от двери и от стен, как бы аккомпанировали хором. А мужчины стояли молча навытяжку, сняв шапки.

Самый же плач доставалось вести родственницам. В плаче заметил я холодно продуманный, искони заведенный порядок. Те, кто подале, подходили к гробу ненадолго и у самого гроба причитали негромко. Те, кто считал себя покойнице роднее, начинали плач ещё с порога, а достигнув гроба, наклонялись голосить над самым лицом усопшей. Мелодия была самодеятельная у каждой плакальщицы. И свои собственные излагались мысли и чувства.

Тут узнал я, что плач над покойной не просто есть плач, а своего рода политика. Слетелись три сестры Матрёны, захватили избу, козу и печь, заперли сундук её на замок, из подкладки пальто выпотрошили двести похоронных рублей, приходящим всем втолковывали, что они одни были Матрёне близкие. И над гробом плакали так:

– Ах, нянькя-нянькя! Ах, лёлька-лёлька! И ты ж наша единственная! И жила бы ты тихо-мирно! И мы бы тебя всегда приласкали! А погубила тебя твоя горница! А доконала тебя, заклятая! И зачем ты её ломала? И зачем ты нас не послушала?

Так плачи сестёр были обвинительные плачи против мужниной родни: не надо было

понуждать Матрёну горницу ломать. (А подспудный смысл был: горницу-ту вы взять-взяли, избы же самой мы вам не дадим!)

Мужнина родня – Матрёнины золовки, сестры Ефима и Фаддея, и ещё племянницы разные приходили и плакали так:

– Ах, тётанька-тётанька! И как же ты себя не берегла! И, наверно, теперь они на нас обиделись! И родимая ж ты наша, и вина вся твоя! И горница тут ни при чём. И зачем же пошла ты туда, где смерть тебя стерегла? И никто тебя туда не звал! И как ты умерла – не думала! И что же ты нас не слушалась?..

(И изо всех этих причитаний выпирал ответ: в смерти её мы не виноваты, а насчёт избы ещё поговорим!)

(Там же. Стр. 463)

Нет, это не фотография. Это – живопись. Тонкая, искусная, психологически точная и проницательная.

Стало быть, не «дагерротипность», не «фотографичность» новой для меня солженицынской прозы вызвала мою холодность к этому его «физиологическому очерку», а что-то другое. И я точно знал – что именно.

Главной причиной моего неприятия этого солженицынского рассказа был его финал:

…

Избу Матрёны до весны забили, и я переселился к одной из её золовок, неподалеку. Эта золовка потом по разным поводам вспоминала что-нибудь о Матрёне и как-то с новой стороны осветила мне умершую…

Все отзывы её о Матрёне были неодобрительны: и нечистоплотная

она была; и за обзаводом не гналась; и не бережная; и даже поросёнка не держала, выкармливать почему-то не любила; и, глупая, помогала чужим людям бесплатно...

И даже о сердечности и простоте Матрёны, которые золовка за ней признавала, она говорила с презрительным сожалением.

И только тут – из этих неодобрительных отзывов золовки – выплыл передо мною образ Матрёны, какой я не понимал её, даже живя с нею бок о бок.

В самом деле! – ведь поросёнок-то в каждой избе! А у неё не было. Что может быть легче – выкармливать жадного поросёнка, ничего в мире не признающего, кроме еды! Трижды в день варить ему, жить для него – и потом зарезать и иметь сало. А она не имела...

Не гналась за обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни.

Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев.

Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая шесть детей, но не нрав свой общительный, чужая сестрам, золовкам, смешная, по-глупому работающая на других бесплатно, – она не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы...

Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша.

(Там же. Стр. 467)

Финал этот прямо-таки поразил меня.

Прежде всего – своим смыслом, никак, ну никак из им самим вылепленного образа не вытекающим.

Неодобрительные отзывы золовки о покойнице, конечно, могли его раздражить, вызвать резкое несогласие и желание их оспорить. Но обоснованность по крайней мере некоторых из этих её осуждений и упреков нельзя было не признать:

…

Кроме Матрёны и меня, жили в избе ещё: кошка, мыши и тараканы.

Кошка была немолода, а главное – колченога. Она из жалости была Матрёной подобрана и прижилась. Хотя она и ходила на четырёх ногах, но сильно прихрамывала: одну ногу она берегла, больная была нога. Когда кошка прыгала с печи на пол, звук касания её о пол не был кошачемягок, как у всех, а – сильный одновременный удар трёх ног: туп! – такой сильный удар, что я не сразу привык, вздрагивал. Это она три ноги подставляла разом, чтоб уберечь четвертую.

Но не потому были мыши в избе, что колченогая кошка с ними не справлялась: она как молния за ними прыгала в угол и выносила в зубах. А недоступны были мыши для кошки из-за того, что кто-то когда-то, ещё по хорошей жизни, оклеил Матрёнину избу рифлёными зеленоватыми обоями, да не просто в слой, а в пять слоев. Друг с другом обои склеились хорошо, от стены же во многих местах отстали – и получилась как бы внутренняя шкура на избе. Между брёвнами избы и обойной шкурой мыши и проделали себе ходы и нагло шуршали, бегая по ним даже и под потолком. Кошка сердито смотрела вслед их

шуршанию, а достать не могла.

Иногда ела кошка и тараканов, но от них ей становилось нехорошо. Единственное, что тараканы уважали, это черту перегородки, отделявшей устье русской печки и кухоньку от чистой избы. В чистую избу они не переползали. Зато в кухоньке по ночам кишели, и, если поздно вечером, зайдя испить воды, я зажигал там лампочку, – пол весь, и скамья большая, и даже стена были чуть не сплошь бурыми и шевелились…

По ночам, когда Матрёна уже спала, а я занимался за столом, – редкое быстрое шуршание мышей под обоями покрывалось слитным, единым, непрерывным, как далёкий шум океана, шорохом тараканов за перегородкой. Но я свыкся с ним, ибо в нём не было ничего злого, в нём не было лжи. Шуршанье их – была их жизнь…

Я со всем свыкся, что было в избе Матрёны.

(Там же. Стр. 445–446)

Не только в своих взаимоотношениях с тараканами, но и в еде, которую готовила ему Матрёна, жилец её был так же неприхотлив и небрезглив:

…

Матрёна вставала в четыре-пять утра… Топила русскую печь, ходила доить козу (все животы её были – одна эта грязно-белая криворогая коза), по воду ходила и варила в трёх чугунках: один чугунок – мне, один – себе, один – козе. Козе она выбирала из подполья самую мелкую картошку, себе – мелкую, а

мне – с куриное яйцо. Крупной же картошки огород её песчаный, с довоенных лет не удобренный и всегда засаживаемый картошкой, картошкой и картошкой, – крупной не давал... Услышав за перегородкой сдержанный шумок, я всякий раз размеренно говорил:

– Доброе утро, Матрёна Васильевна!

И всегда одни и те же доброжелательные слова раздавались мне из-за перегородки...

– М-м-мм... также и вам!

И немного погодя:

– А завтрак вам приспе-ел.

Что на завтрак, она не объявляла, да это и догадаться было легко: картовь необлупленная, или суп картонный (так выговаривали все в деревне), или каша ячневая (другой крупы в тот год нельзя было купить в Торфопродукте, да и ячневую-то с бою – как самой дешёвой ею откармливали свиней и мешками брали). Не всегда это было посолено, как надо, часто пригорало, а после еды оставляло налет на нёбе, дёснах и вызывало изжогу.

Но не Матрёны в том была вина: не было в Торфопродукте и масла, маргарин нарасхват, а свободно только жир комбинированный...

Я покорно съедал все наваренное мне, терпеливо откладывал в сторону, если попадалось что неурядное: волос ли, торфа кусочек, тараканья ножка. У меня не хватало духу упрекнуть Матрёну. В конце концов она сама же меня предупреждала: «Не умемши, не варёмши – как утрафишь?»

(Там же. Стр. 446–447)

В том, что завтраки, которая готовила своему жильцу Матрёна Васильевна, были так убоги, она, конечно, не виновата. Неоткуда было ей взять ни масла, ни маргарина, ни другой крупы, кроме ячневой. А вот в том, что огород её с довоенных лет неудобренный, засаживался только лишь картошкой, была не чья-нибудь, а только лишь её вина. Так же, как и в том, что эта самая картошка у неё неизменно урождалась только мелкая. У соседей-то небось была крупная. Да и не только картошка, наверно, произрастала на их огородах, но и огурчики, и капустка. Почему же у неё одной из года в год только картошка, картошка, картошка?

И почему приготовленная ею еда была то недосолена, то пригорала, оставляя на деснах у едока налеты и вызывая изжогу? И почему постоянно попадались в этой нехитрой её стряпне то кусочки торфа, то волос, то тараканья ножка? Неужели всё это потому, что была она *праведница* ?

По Солженицыну получается именно так. И высказано это у него с той же категоричностью и прямотой, с какой уже – не им – было выражено однажды:

...

> *В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё.*
>
> *(Лк. 10: 38. 39. 40. 41)*

Матрёна, – прямо дает нам понять автор «Матрёнина двора», – подобно евангельской Марии, «избрала благую часть, которая не отнимется от нее». Потому-то – «не умемши, не

варёмши», – и не может потрафить своему жильцу. Потому и огородом своим занимается спустя рукава. Потому и поросенка не выкармливает:

...

> *...Поросёнок-то в каждой избе! А у неё не было. Что может быть легче – выкармливать жадного поросёнка, ничего в мире не признающего, кроме еды! Трижды в день варить ему, жить для него – и потом зарезать и иметь сало. А она не имела...*

Перечисляя те черты и свойства Матрёниного характера, на которых строится его утверждение, что она и есть тот праведник, без которого не стоит ни село, ни город, ни вся земля наша, Солженицын, увлёкшись, даже слегка заговаривается:

...

> *Не гналась за обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни...*
>
> *Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев...*
>
> *По-глупому работающая на других бесплатно, – она не скопила имущества к смерти.*

Где уж ей, в её убогой и страшной жизни, было гнаться за нарядами, да ещё такими, которые призваны украшать злодеев. Но по-глупому бесплатно на других действительно работала. Что было, то было. Только ведь брала она свои вилы и послушно шла копнить сено по приказу «как бы военной» председательши не потому, что была она *праведница* , а потому, что по самой своей природе она – *раба* .

Но не только смыслом своим, который я не мог принять, с которым не мог согласиться, отвратил меня финал этого солженицынского рассказа.

Больше, чем смыслом, он оттолкнул меня тем, что этот чуждый мне и неприемлемый для меня смысл автором рассказа мне **навязывался** . К живой ткани рассказа он был пришит, что называется, белыми нитками, и потому рассказ вышел, как любили говорить в таких случаях герои Зощенко, «маловысокохудожественный».

Так, во всяком случае, мне тогда казалось.

Ну и, конечно, ещё и потому я остался холоден к этому солженицынскому рассказу, что героиня его, – что скрывать! – была не близка мне.

Я мог – вчуже – сочувствовать ей, но не в силах был ей **сопереживать** .

Иное дело – «Случай на станции Кречетовка».

* * *

Герой этого солженицынского рассказа молоденький лейтенант Вася Зотов был не просто близок мне. Мы были с ним одного рода-племени, одной, как принято было у нас тогда говорить, группы крови.

Наверно, каждый человек может отнести к себе ставшие крылатыми слова, брошенные в мир Антуаном де Сент-Экзюпери: «Я родом из страны моего детства...».

С героем солженицынского рассказа Васей Зотовым я был в кровном родстве, потому что мы с ним были родом из одной и той же страны.

Страна эта называлась не Россия, и даже не Советский Союз.

Назвать её, вероятно, можно было бы по-разному, но у меня для неё было свое название, которое – в то самое время, когда я впервые прочел этот солженицынский рассказ, – стало заглавием небольшой книжки, которую я тогда писал (уже почти дописал).

Книжка называлась «Страна Гайдара».

Напечатать её в полном виде я не смог. Но в сильно сокращенном и даже несколько обглоданном варианте мне все-таки удалось включить её в мою книгу «Рифмуется с правдой», вышедшую в 1967 году в московском издательстве «Советский писатель».

Героями её, – помимо главного её героя Аркадия Гайдара, – стали молодые поэты, – и те, что погибли – кто на Финской, а кто на главной, большой нашей войне, – и те, что выжили, уцелели, – стихи которых только-только начали тогда пробиваться в печать. И едва ли не в каждом из них возникал образ той удивительной, теперь уже не существующей (а может быть, никогда и не

существовавшей?) страны, из которой каждый из них был родом:

Мы были новою страной.
Еще не признанной, но сущей.
Гражданской сказочной войной
Она прорвалась в мир грядущий...
(Н. Коржавин)

С чего начиналось, чем бредило детство?
Какие мы сны получили в наследство?
Летели тачанки, и кони храпели,
И гордые песни казнимые пели,
Хоть было обидно стоять, умирая,
У самого входа, в преддверии рая.
Еще бы немного напора такого –
И снято проклятие с рода людского.
Последняя буря, последняя свалка –
И в ней ни врага и ни друга не жалко.
(Он же)

Девятнадцатый год рожденья –
двадцать два в сорок первом году –
принимаю без возраженья,
как планиду и как звезду.
Выхожу двадцатидвухлетний
и совсем некрасивый собой,
в свой решительный, и последний,
и предсказанный песней бой.
Потому что так пелось с детства.
Потому что некуда деться...
(Борис Слуцкий)

И, захлебнувшись «Интернационалом»,
Я упаду на высохшие травы...
(Павел Коган)

Мир яблоком, созревшим на оконце,

Казался нам... На выпуклых боках
– Где Родина – там красный цвет от солнца,
А остальное – зелено пока...
(Николай Майоров)
Только советская нация будет,
И только советской расы люди!
(Михаил Кульчицкий)
Но если все ж когда-нибудь
Мне уберечься не удастся,
Какое б новое сраженье
Ни пошатнуло шар земной,
Я все равно паду на той,
На той единственной Гражданской,
И комиссары в пыльных шлемах
Склонятся молча надо мной.
(Булат Окуджава)

Коржавин, Слуцкий, Павел Коган, Майоров, Кульчицкий, Булат...

Все они стали героями той моей маленькой книжки. А в последней её главе – в эпилоге – к ним неожиданно добавился ещё один: Александр Солженицын.

Казалось бы, тут мне надо поправиться: все-таки не сам Солженицын, а его герой. Но позже выяснилось, что и сам автор тоже мог бы стать одним из её героев, только я об этом тогда ещё не знал.

Но в том, что герой солженицынского рассказа «Случай на станции Кречетовка» Василий Зотов тоже был родом из «Страны Гайдара», у меня не было и не могло быть ни малейших сомнений.

По складу души, по мироощущению ничем, – ну просто ничем! – не отличается он от гайдаровских мальчиков – Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Николая Майорова. И чувствует он совсем, как они. И мысли у него те же. И даже облекает он эти свои мысли почти в те же самые слова:

Недавно, по дороге сюда, Зотов прожил два дня в командирском резерве. Там был самодеятельный вечер, и один худощавый бледнолицый лейтенант с распадающимися волосами прочёл свои стихи, никем не проверенные, откровенные. Вася сразу даже не думал, что запомнил, а потом всплыли в нём оттуда строчки. И теперь, шёл ли он по Кочетовке, ехал ли поездом в главную комендатуру Мичуринска или телегой в прикреплённый сельсовет, где ему поручено было вести военное обучение пацанов и инвалидов, – Зотов повторял и перебирал эти слова, как свои:

Наши сёла в огне и в дыму города...

И сверлит и сверлит в исступленьи

Мысль одна: да когда же? когда же?! Когда
Остановим мы их наступленье?!

И еще так, кажется, было:

Если Ленина дело падёт в эти дни — Для чего мне останется жить?

Тоже и Зотов совсем не хотел уцелеть с тех пор, как началась война. Его маленькая жизнь значила лишь – сколько он сможет помочь Революции. Но как ни просился он на первую линию огня – присох в линейной комендатуре.

Уцелеть для себя – не имело смысла. Уцелеть для жены, для будущего ребёнка – и то было не непременно. Но если бы немцы дошли до Байкала, а Зотов чудом бы ещё

был жив, – он знал, что ушёл бы пешком через Кяхту в Китай, или в Индию, или за океан – но для того только ушёл бы, чтобы там влиться в какие-то окрепшие части и вернуться с оружием в СССР и в Европу.

Так он стоял в сумерках под лив, хлёст, толчки ветра за окнами и, сжавшись, повторял стихи того лейтенанта.

(Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. Раковый корпус. Рассказы. М. 1990. Стр. 487–488)

«Его маленькая жизнь значила лишь – сколько он сможет помочь Революции». Заметьте – не Родине в смертельно опасный для неё час, а – Революции. И мысли Зотова о том, что если бы немцы дошли до Байкала, а он чудом был ещё жив, то ушёл бы пешком через Кяхту в Китай или в Индию, чтобы потом – с оружием в руках – вернуться в СССР и в Европу, – они, эти его мысли, прямо перекликаются с ныне знаменитыми, а тогда ещё мало кому известными строчками Павла Когана:

Но мы ещё дойдем до Ганга,
Но мы ещё умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя!

Да и сам он, этот «бледнолицый лейтенант с распадающимися волосами», стихи которого, «никем не проверенные, откровенные», как-то уж очень похож на Павла Когана. Если это и не сам Павел, так уж точно – его двойник.

Но это – только начало. Главное впереди. Чем пристальнее вглядываемся мы в фигуру Васи Зотова, чем полнее душа его распахивается перед нами, тем яснее, тем несомненнее для нас становится, что прожил он свою короткую жизнь совсем не в той стране, в какой жил, например, другой персонаж того же рассказа – Игорь Дементьевич Тверитинов.

Если судить по именам, отчествам и фамилиям, оба они – русские. Но в сущности перед нами – «дети разных народов», жители не то что разных стран, а прямо-таки обитатели двух разных, бесконечно далеких миров.

Семейную фотографию, которую показывает ему Игорь Дементьевич, Вася разглядывает так, словно это фотография –

хотел сказать иностранца, – нет, не иностранца даже, а жителя давным-давно затонувшей какой-нибудь Атлантиды:

...

...Своё невольное расположение к этому воспитанному человеку с такой достойной головой Зотову всё же хотелось подтвердить хоть каким-нибудь материальным доказательством.

– Ну что-нибудь! Что-нибудь бумажное у вас в карманах осталось?

– Ну только разве... фотокарточки. Семьи.

– Покажите! – не потребовал, а попросил лейтенант.

У Тверитинова слегка поднялись брови. Он ещё улыбнулся той растерянной или не могущей выразить себя улыбкой и из того же кармана гимнастёрки (другой у него не застёгивался, не было пуговицы) вынул плоский свёрток плотной оранжевой бумаги. Он развернул его на коленях, достал две карточки девять на двенадцать...

На одной из карточек в солнечный день в маленьком саду и, наверно, ранней весной, потому что листочки ещё были крохотные, а глубина деревьев сквозистая, снята была девочка лет четырнадцати в полосатеньком сереньком платьице с перехватом. Из открытого ворота возвышалась длинная худая шейка, и лицо было вытянутое, тонкое – на снимке хоть и неподвижное, а как бы вздрогнувшее. Во всём снимке было что-то недозревшее, недосказанное, и получился он не весёлый, а щемящий...

На втором снимке женщина и мальчик сидели на диване и рассматривали большую книжку с картинками во весь лист. Мать тоже была худощавая, тонкая, наверно высокая, а семилетний мальчик с плотным лицом и умным-преумным выражением смотрел не в книжку, а на мать, объяснявшую ему что-то. Глаза у него были такие же крупные, как у отца.

И вообще все они в семье были какие-то отборные. Самому Зотову никогда не приходилось бывать в таких семьях, но мелкие засечки памяти то в Третьяковской галерее, то в театре, то при чтении незаметно сложились в понятие, что такие семьи есть.

(Там же. Стр. 514–515)

Людям, прожившим жизнь в одной стране, какая-нибудь важная, тем более роковая дата говорит одно и то же. И только жителю страны с совсем иной исторической судьбой такая дата ничего не скажет. Вот, скажем, год 1939-й: для поляка или француза – это национальная катастрофа, а для нас – пакт с Гитлером, суливший надежду, что в ближайшем будущем большая война нам не грозит.

Для нас роковыми были другие даты: 1937-й, 1941-й...

Вот об одной из них ненароком и зашла речь у Васи Зотова с Игорем Дементьевичем Тверитиновым:

...

– Спрашивать ни у кого нельзя, за шпиона посчитают. К тому же я так одет... Да и вообще у нас вопросы задавать опасно.

– В военное время, конечно.

– Да оно и до войны уже было.

– Ну, не замечал!

– Было, – чуть сощурился Тверитинов. – После тридцать

седьмого...

– А что тридцать седьмой? – удивился Зотов. – А что было в тридцать седьмом? Испанская война?

(Там же. Стр. 510)

Тверитинов дипломатично молчит. Но, спустя некоторое время, Зотов сам возвращается к теме «тридцать седьмого года». Оживленно рассказывая, как пытался обмануть военкомат и, несмотря на плохое здоровье, все-таки попасть на фронт, он мимоходом роняет:

– У меня опыт ещё с тридцать седьмого...

Тверитинов на эту реплику опять реагирует по-своему:

– А что вы упомянули о тридцать седьмом?

Но Зотов и тут не понимает, казалось бы, каждому его соотечественнику хорошо знакомый страшный подтекст этого простого вопроса:

...

– Ну, вы же помните обстановку тех лет! – горячо рассказывал Вася. – Идёт испанская война! Фашисты – в Университетском городке. Интербригада! Гвадалахара, Харама, Теруэль! Разве усидишь? Мы требуем, чтобы нас учили испанскому языку, – нет, учат немецкому. Я достаю учебник, словарь, запускаю зачёты, экзамены – учу испанский. Я чувствую по всей ситуации, что мы там участвуем, да революционная совесть не позволит нам остаться в стороне! Но в газетах ничего такого нет. Как же мне туда попасть? Очевидно, что просто бежать в Одессу и садиться на корабль – это мальчишество, да и пограничники. И вот я – к начальнику четвёртой части военкомата, третьей части, второй части, первой части: пошлите меня в Испанию! Смеются: ты с ума сошёл, там никого наших

нет, что ты будешь делать?.. Вы знаете, я вижу, как вы любите курить, забирайте-ка эту пачку всю себе! Я всё равно для угощения держу. И на квартире ещё есть. Нет уж, пожалуйста, положите её в вещмешок, завяжите, тогда поверю!.. Табачок теперь – «проходное свидетельство», пригодится вам в пути... Да, и вдруг, понимаете, читаю в «Красной звезде», а я все газеты сплошь читал, цитируют французского журналиста, который, между прочим, пишет: «Германия и СССР рассматривают Испанию как опытный полигон». А я – дотошный. Выпросил в библиотеке этот номер, подождал ещё дня три, не будет ли редакционного опровержения. Его нет. Тогда иду к самому военкому и говорю: «Вот, читайте. Опровержения не последовало, значит, факт, что мы там воюем. Прошу послать меня в Испанию простым стрелком!» А военком как хлопнет по столу: «Вы – не провоцируйте меня! Кто вас подослал? Надо будет – позовём. Кругом!»

И Вася сердечно рассмеялся, вспоминая. Смеховые бороздки опять легли по его лицу. Очень непринуждённо ему стало с этим артистом и хотелось рассказать ещё о приезде испанских моряков, и как он держал к ним ответную речь по-испански...

(Там же. Стр. 517)

Эта трещина непонимания, возникшая между Васей Зотовым и его случайным знакомцем Игорем Дементьевичем Тверитиновым, в один – роковой для Тверитинова – миг превратится в пропасть.

...

– Это, считай, уже под Сталинградом.

– Под Сталинградом, – кивнул Тверитинов. Но лоб его наморщился. Он сделал рассеянное усилие и переспросил. – Позвольте... Сталинград... А как он назывался раньше?

И – всё оборвалось и охолонуло в Зотове! Возможно ли? Советский человек – не знает Сталинграда? Да не может этого быть никак! Никак! Никак! Это не помещается в голове!

Однако он сумел себя сдержать. Подобрался. Поправил очки. Сказал почти спокойно:

– Раньше он назывался Царицын.

(Значит, не окруженец. Подослан! Агент! Наверно, белоэмигрант, потому и манеры такие.)

– Ах, верно, верно, Царицын. Оборона Царицына.

(Да не офицер ли он переодетый? То-то карту спрашивал...).

Враждебное слово это – «офицер», давно исчезнувшее из русской речи, даже мысленно произнесенное, укололо Зотова, как штык.

(Там же. Стр. 519)

Случайная обмолвка эта – в том и состоит главный сюжетный узел рассказа – стоила Тверитинову жизни.

...

– Вы... я... – сказал Зотов очень мягко, с трудом поднимая глаза на Тверитинова, – ... я пока по другому делу... – Он особенно явственно

выговаривал сейчас «о». – А вы здесь присядьте, пожалуйста. Пока. Подождите.

Дико выглядела голова Тверитинова в широкой кепке вместе с тревожной тенью своей на стене и на потолке. Перехлестнувшийся шарф удавкой охватывал его шею.

– Вы меня здесь оставите? Но, Василь Васильич, я тут поезд пропущу! Уж разрешите, я пойду на перрон.

– Нет-нет... Вы останетесь здесь... – спешил к двери Зотов.

И Тверитинов понял:

– Вы – задерживаете меня?! – вскрикнул он. – Товарищ лейтенант, но за что?! Но дайте же мне догнать мой эшелон!

И тем же движением, каким он уже раз благодарил, он приложил к груди пять пальцев, развёрнутых веером. Он сделал два быстрых шага вслед лейтенанту, но сообразительный часовой выбросил винтовку штыком вперекло.

Зотову невольно пришлось оглянуться и ещё раз – последний раз в жизни – увидеть при тусклом фонаре это лицо, отчаянное лицо Лира в гробовом помещении.

– Что вы делаете! Что вы делаете! – кричал Тверитинов голосом гулким, как колокол. – Ведь этого не исправишь!!

Он взбросил руки, вылезающие из рукавов, одну с вещмешком, распух до размеров своей крылатой тёмной тени, и потолок уже давил ему на голову.

– Не беспокойтесь, не беспокойтесь, – сильно окая, уговаривал Зотов... – Надо будет только выяснить один вопросик...

И ушёл...

Проходя комнату военного диспетчера, лейтенант сказал:

– Этот состав задержите ещё.

В кабинете он сел за стол и писал.

«Оперативный пункт ТО НКВД.

Настоящим направляю вам задержанного, назвавшегося окруженцем Тверитиновым Игорем Дементьевичем, якобы отставшим в Скопине от эшелона 245413. В разговоре со мной...»

– Собирайся! – сказал он Гуськову. – Возьми бойца и отвезешь его в Мичуринск.

(Там же. Стр. 523)

Это сюжетная развязка рассказа.
А вот – его конец:

...

Прошло несколько дней, миновали и праздники.

Но не уходил из памяти Зотова этот человек с такой удивительной улыбкой и карточкой дочери в полосатеньком платьице.

Всё сделано было, кажется, так, как надо.

Так, да не так...

Хотелось убедиться, что он-таки переодетый диверсант или уж освобождён давно. Зотов позвонил в Мичуринск, в оперативный пункт.

– А вот я посылал вам первого ноября задержанного, Тверитинова. Вы не скажете – что с ним выяснилось?

– Разбираются! – твёрдо ответили в телефон...

И всю зиму служил Зотов на

той же станции, тем же помощником коменданта. И не раз тянуло его ещё позвонить, справиться, но могло показаться подозрительным.

Однажды из узловой комендатуры приехал по делам следователь. Зотов спросил его как бы невзначай:

– А вы не помните такого Тверитинова? Я как-то осенью задержал его.

– А почему вы спрашиваете? – нахмурился следователь значительно.

– Да просто так... интересно... чем кончилось?

– Разберутся и с вашим Тверикиным. У нас брака не бывает.

(Там же. Стр. 524)

Хорошо знакомая каждому, кто жил в то время, эта зловещая формула («У нас брака не бывает») не оставляет уже совсем никаких сомнений насчет того, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ СОТВОРИЛ славный и чистый душой Вася Зотов, истово верящий в непреложность лозунгов, которым надлежало следовать каждому гражданину «Страны Гайдара». И ни тени сомнения не возникло у него в правильности этих священных лозунгов. Разве только вот это:

...

Всё сделано было, кажется, так, как надо.

Так, да не так...

Да ещё самая последняя, заключающая рассказ строка:

...

Но никогда потом во всю жизнь Зотов не мог забыть этого человека...

* * *

К той небольшой, полностью тогда так и не напечатанной моей книжке о «Стране Гайдара», чтобы не оставалось совсем уже никаких сомнений насчет истинного её смысла, я выбрал такой эпиграф:

…

Я не хочу тебя обманывать, знай истину, как я её знаю; тебе эта истина пусть достанется не мучительными ошибками, не мертвящими разочарованиями, а просто по праву наследства.

(Герцен. Сыну моему Александру)

Эпиграф этот, как мне казалось, яснее ясного должен был сказать читателю, что вся эта моя книжка – не что иное, как декларация о разрыве со «Страной Гайдара», громогласное заявление о моем (не только моем, конечно) выходе из её гражданства.

О том же – с ещё большей прямотой – говорили написанные, а иногда даже и проникавшие в печать стихи героев этой моей книжки, имена которых я тут уже называл.

Иные из них говорили об этом с иронией, с добродушной и беззлобной насмешкой:

Сейчас поверят в это разве?
Лет двадцать пять тому назад,
Что политически я развит,
Мне выдал справку детский сад…
Меня и нынче брат мой дразнит,
Он этой справки не забыл…
Но политически я развит
Действительно в те годы был.
Я с глубочайшим интересом
Журнал «Прожектор» раскрывал.
Я кулака с тупым обрезом,
Улегшись на пол, рисовал.
Я, помню, не жалел под праздник
Ни черной туши, ни белил,

Весь мир на белых и на красных
Безоговорочно делил.
Задорный, тощий, низкий ростом,
Я весело маршировал,
И в каждом человеке толстом
Буржуя я подозревал…
Я знал про домны Приазовья
И что опять бастует Рим…
Да, я к друзьям пылал любовью
И был к врагам непримирим.
(Евгений Винокуров)

Но большинству из них было не до иронии и не до смеха:

Всем лозунгам я верил до конца
и молчаливо следовал за ними,
как шли в огонь во Сына, во Отца,
во голубя Святого Духа имя.
И если в прах рассыпалась скала,
и бездна разверзается, немая,
и ежели ошибочка была –
вину и на себя я принимаю.
(Борис Слуцкий)

Скала, на которой зиждились те лозунги, которым была подчинена вся его жизнь, рассыпалась в прах, обрушилась в бездну. Это он сознает и готов даже принять на себя вину за все, что, следуя этим лозунгам, они натворили.

Но совсем разорвать свою связь с этой в прах рассыпавшейся скалой все-таки не может. Да и не хочет.

Я строю на песке, а тот песок
еще недавно мне скалой казался.
Он был скалой, для всех скалой остался,
а для меня распался и потек…
Но верен я строительной программе…
Прижат к стене, вися на волоске,
я строю на плывущем под ногами,
на уходящем из-под ног песке.

(Он же)

Не только ему, всем им разрыв с этой рухнувшей в бездну «скалой» дался нелегко.

...

– Помнишь, как мы жили в детском доме? Это ужасно, ты ничего не помнишь... Один раз воспитатели хватились – в столовой нет корок от мандаринов. Оказывается, старшие не едят, оставляют младшим. (Все с большим возбуждением, с тоской.) А помнишь? В коллективе плохое настроение, трубить общее собрание! Помнишь, как ты упала, у тебя было сотрясение мозга, в день нашей годовщины. Совет решает: отставить праздник! Не может быть в одном доме горе и радость. Дежурство по тишине. Бюллетень здоровья каждые три часа. Четырнадцать дней без памяти! Первые слова: «Хочу клюкву». Сообщение по радио: «Хочет клюкву». Все друг друга поздравляют. Постановление: десять процентов заработка на подарок врачу. Встреча под оркестр. Помнишь, каждый месяц день рождения. Ляля, Лена, Леля, Лиля, Лида – все, все вместе, какая разница! Говорят, у нас нет родителей. Мы дети войны, мы дети всего народа... Вынесли знамена. Мы стоим под знаменами... Неужели этого больше никогда не будет в нашей жизни? Неужели никогда?..

(Александр Володин. Старшая сестра).

Так говорит главная героиня этой володинской пьесы Надя, обращаясь к младшей своей сестре Лиде.

И ей вторит героиня другой пьесы того же Володина:

...

– Помню, только меня в пионеры приняли, бегу один раз по коридору в детдоме, вдруг слышу, по радио «Интернационал» играют. Наверно, откуда-нибудь торжественную часть передавали. Так, верите, я остановилась, подняла салют и стою одна в темноте. И что-то чувствую... У меня и сейчас такое бывает. Редко, но бывает...

(Александр Володин. Фабричная девчонка).

Не только, значит, Булат Окуджава ностальгировал по своему гайдаровскому прошлому. Ностальгировали все. Лишь один из них – уже тогда – прямо и недвусмысленно объявил, что рвет с этим своим прошлым навсегда. Решительно и бесповоротно:

Седина в волосах. Ходишь быстро. Но дышишь неровно.

Всё в морщинах лицо – только губы прямы и тверды.

Танька! Танечка! Таня! Татьяна! Татьяна Петровна,

Неужели вот эта усталая женщина – ты?

Ну, а как же твоя комсомольская юная ярость,

Что бурлила всегда, клокотала, как пламень, в тебе! —

Презиравшая даже любовь, отрицавшая старость,

Принимавшая смерть как случайную гибель в борьбе.

О, твое комсомольство! Без мебелей всяких квартира,

Где нельзя отдыхать – можно только мечтать и гореть.

Даже смерть отнеся к проявлениям старого мира,

Что теперь неминуемо скоро должны отмереть...

...Старый мир не погиб. А погибли друзья и подруги,

Весом тел не влияя ничуть на вращенье Земли.

Только тундра – цвела, только выли колымские вьюги,

И под мат блатарей невозвратные годы ушли...

Так чего же ты хочешь?..

Но мир был жесток и запутан.

Лишь твое комсомольство светило сквозь мутную тьму.

Прежним смыслом своим, прочной памятью... Вот потому-то,

Сбросив лагерный ватник, ты снова рванулась к нему.

Ты сама заявляешь, что в жизни не все ещё гладко.

И что Сталин – подлец, но нельзя ж это прямо в печать.

Было б красное знамя... Нельзя обобщать недостатки.

Перед сонмом врагов мы не вправе от боли кричать.

Я с тобой не согласен. Я спорю. И я тебя донял.

Ты кричишь: «Ренегат!» – но я доводы сыплю опять.

Но внезапно я спор обрываю. Я сдался. Я понял —

Что борьбе отдала ты и то, что нельзя ей отдать.

Всё: возможность любви, мысль и чувство, надежду и совесть, —

Всю себя без остатка... А можно ли жить без себя?

...И на этом кончается длинная грустная повесть.

Я ее написал, ненавидя, страдая, любя.

Я ее написал, озабочен грядущей судьбою.

Потому что я прошлому отдал немалую дань.
Я ее написал, непрерывной терзаемый болью,
Нелегко от себя отрывать омертвевшую ткань.
(Н. Коржавин)

Поэма Коржавина «Танька», из которой я выбрал эти отрывки, была написана в 1957-м и ходила тогда в «Самиздате». А напечатать её типографским способом автору удалось только двадцать лет спустя, и не в СССР, а за границей, в эмигрантском издательстве «Посев», считавшемся у нас тогда самым антисоветским из всех зарубежных антисоветских изданий. А в СССР она явилась на свет и того позже – в 1992-м.

Во всех этих печатных изданиях последняя её строка была слегка переиначена. В рукописном, самиздатовском варианте было: «Нелегко от себя отрывать омертвевшую ткань». А в печати слово «нелегко» исчезло. Стало: «Мне пришлось от себя отрывать омертвевшую ткань».

Замену эту произвел не редактор, и не цензор, а сам автор.

Кто-то из его образованных друзей объяснил ему, что омертвевшая ткань, – именно потому, что она омертвевшая, от живой отрывается как раз легко, без всякой боли.

По медицине оно, наверное, так. Но к той «омертвевшей ткани», о которой говорит в своей поэме Коржавин, это соображение неприменимо. У него ведь там речь идет совсем о другой, немедицинской «омертвевшей ткани». И поэтому произведенная им замена ослабила не только поэтическую выразительность этой завершающей поэму строки, но и смазала, слегка даже пригасила резкость выраженной в ней жизненной правды.

Все это я тут вспомнил и так подробно на этом остановился по ассоциации с рассказом Солженицына «Случай на станции Кречетовка». И тут сразу надо сказать, что ассоциация эта – скорее по контрасту, нежели по сходству или по смежности.

Сходство тут, конечно, тоже велико, и к природе этого сходства нам, наверно, ещё придется вернуться. Но сейчас остановлюсь на контрасте.

Солженицын, как мы теперь уже знаем, тому прошлому, о котором говорит в своей поэме Коржавин, тоже «отдал немалую дань».

В рассказе «Случай на станции Кречетовка» это почти не ощущалось. На героя этого своего рассказа автор смотрит со

стороны, изучающим, холодно анализирующим взглядом. Но уже при первом чтении отметил я в нем один эпизод, – даже не эпизод, а деталь, подробность, ещё один небольшой, но важный для автора штрих к портрету этого его героя, – в котором мне померещилось что-то личное, едва ли даже не автобиографическое:

…

…Как-то неловко было признаться Вале и лейтенантам, его сменщикам, что было-таки у него вечернее чтение, была книга – единственная захваченная в какой-то библиотеке в суматошных путях этого года и возимая с собой в вещмешке.

Книга эта была – синий толстенький первый том «Капитала» на шершавой рыжеватой бумаге тридцатых годов.

Все студенческие пять лет мечтал он прочесть заветную эту книгу, и не раз брал её в институтской библиотеке, и пытался конспектировать, и держал по семестру, по году – но никогда не оставалось времени, заедали собрания, общественные нагрузки, экзамены. И, не кончив одной страницы конспекта, он сдавал книгу, когда шёл с июньской обходной. И даже когда проходили политэкономию, самое время было читать «Капитал» – преподаватель отговаривал: «Утонете!», советовал нажимать на учебник Лапидуса, на конспекты лекций. И, действительно, только-только успевали.

Но вот теперь, осенью сорок первого, в зареве огромной тревоги, Вася Зотов мог здесь, в дыре, найти время для «Капитала». Так он и

делал – в часы, свободные от службы, от всевобуча и заданий райкома партии. На квартире у Авдеевых, в зальце, уставленном филодендронами и алоэ, он садился за шаткий маленький столик и при керосиновой лампе (не на все дома посёлка хватало мощности дизельного движка), поглаживая грубую бумагу рукой, читал: первый раз – для охвата, второй раз – для разметки, третий раз – конспектируя и стараясь всё окончательно уложить в голове. И чем мрачней были сводки с фронта, тем упрямей нырял он в толстую синюю книгу. Вася так понимал, что, когда он освоит весь этот хотя бы первый том и будет стройным целым держать его в памяти – он станет непобедимым, неуязвимым, неотразимым в любой идейной схватке.

(Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. Раковый корпус. Рассказы. М. 1990. Стр. 498–499)

При всей отстраненности этого взгляда, при некоторой даже его ироничности показалось мне тогда, что автор этого отрывка и сам не без нежности вспоминает этот синий толстенький том, что он, может быть, даже и сам когда-то вот так же бережно, любовно оглаживал грубую, шершавую бумагу его пожелтевших страниц.

Это было всего лишь ощущение, ничем не подтвержденное. Да и чем я мог бы его подтвердить?

Но подтверждение нашлось.

Нашлось оно, спустя годы, когда случилось мне прочесть книжку воспоминаний о Солженицыне его первой жены – Натальи Алексеевны Решетовской:

...

Он говорит о том, что видит

смысл своей жизни в служении пером интересам мировой революции. Не всё ему нравится сегодня. Союз с Англией и США. Распущен Коммунистический Интернационал. Изменился гимн. В армии погоны. Во всём этом он видит отход от идеалов революции. Он советует мне покупать произведения Маркса, Энгельса, Ленина. Может статься и так, заявляет он, что после войны они исчезнут из продажи и с библиотечных полок. За всё это придется вести после войны борьбу. Он к ней готов.

(Н. Решетовская. В споре со временем)

Об отходе от идеалов революции в то время думали и говорили многие. Да и как тогда можно было об этом не думать и не говорить?

Но за предположением Солженицына, что после войны книги Маркса, Энгельса и Ленина, быть может, «исчезнут из продажи и с полок библиотек», – то есть ОКАЖУТСЯ ПОД ЗАПРЕТОМ, – таился не только этот, очевидный для всех, а куда более глубокий и страшный смысл, суть которого мало кто решился бы тогда сформулировать так прямо. Предположение это означало, что формула «отход от идеалов революции» – не более, чем деликатный эвфемизм. На самом же деле то, что происходит (уже произошло!) в нашей стране, – не что иное, как КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРЕВОРОТ.

Это убеждение сложилось у него ещё до войны, в середине 30-х, когда он – девятнадцатилетний – вместе со всей страной жадно следил за ходом больших московских судебных процессов:

В те годы красный цвет дробился радугой,
И жаром переливчатых его полос обваренный,
Я недоумевал речам Смирнова, Радека,
Стонал перед загадочным молчанием Бухарина.
Я понимал, я чувствовал, что что-то здесь не то,

Что правды ни следа
В судебных строках нет,
И я метался:
Что?
Когда?
Сломало Революции хребет?
Делил их камер немоту – и наконец
В затылок свой я принял их свинец.
(Александр Солженицын. Дороженька)

Стихи, – что говорить! – неуклюжие до крайности. (Стихи вообще – не его стихия). Но не о поэзии я веду тут речь.

Самое поразительное в этой неуклюжей, но безусловно искренней стихотворной тираде – последняя, заключающая её строка, в которой автор выражает готовность принять в свой затылок пулю, назначавшуюся Ивану Никитичу Смирнову, Николаю Ивановичу Бухарину и даже циничному болтуну Радеку. Вот, значит, как сильна и глубока была его преданность идеалам той Революции, которую совершили эти старые большевики и которой сломал хребет Сталин.

...

Ты и все почти, – писал он в одном из своих фронтовых писем жене, – думают о будущем в разрезе своей личной жизни и личного счастья. А я давно не умею мыслить иначе, как: ***что я могу сделать для ленинизма*** *, как мне строить для этого свою жизнь.*

(«Такая война не может быть вничью»: Из фронтовых писем А. Солженицына жене Наталье Решетовской. Сын отечества. 1992, № 25. 19 июня. Стр. 8–9)

А вот – из другого его фронтового письма:

...

Мы стоим на границах 1941 года. На границах войны Отечественной и войны революционной.

(Н. Решетовская. В споре со временем).

Это его «неумение мыслить иначе» как в пределах постоянно гложущей его мысли о том, **что он может сделать для ленинизма,** в то время значит для него даже больше, чем главная его любовь – литература:

…

Он даже пишет Коке (и сообщает мне об этом), что если Федин убедит его в отсутствии у него литературного таланта, он круто порвёт с литературой («вырву сердце из груди, растопчу 15 лет своей жизни»), перейдет на истфак, но свой вклад в ленинизм всё равно сделает.

(Там же)

В начале 60-х, когда он писал свой рассказ «Случай на станции Кречетовка», все это для него (как для Коржавина, когда тот в 1957-м писал свою «Таньку») была уже – **омертвевшая ткань** . Но в отличие от Коржавина, который отрывал её от себя «ненавидя, страдая, любя», «непрерывной терзаемый болью», он эту «омертвевшую ткань», – если судить по этому его рассказу, – сбросил с себя легко и безболезненно.

Суть рассказа в том, что герой его, – добрый малый, честный, чистый душой, человечный, искренне сочувствующий попавшему в беду симпатичному ему человеку и всеми силами старающийся ему помочь, кончает тем, что по глупому и совершенно вздорному поводу задерживает его и под конвоем отправляет в руки палачей, на верную гибель. И поступает он так, не подчиняясь приказу, а по собственной инициативе. И не потому, что он тупой, послушный службист, или перестраховщик, а потому, что ВСЕМ ЛОЗУНГАМ ОН ВЕРИТ ДО КОНЦА. Не нравственная глухота, не какой-нибудь там душевный изъян делает его соучастником палачей, а верность идее мировой революции, без служения которой он не мыслит своей жизни.

Все его мысли и чувства, все его реакции, вся вдруг вспыхнувшая в нем, вообще-то совсем ему не свойственная подозрительность исходят из этой его истовой веры. Из той системы представлений, в пределах которой он только и умеет мыслить и рассуждать:

...

Значит, не окруженец. Подослан! Агент! Наверно, белоэмигрант, потому и манеры такие...

Да не офицер ли он переодетый?..

То же и с коржавинской Танькой.

Она тоже становится доносчицей и соучастницей палачей только лишь потому, что ВСЕМ ЛОЗУНГАМ ВЕРИТ ДО КОНЦА, умеет жить, мыслить и чувствовать только в пределах привычных ей словесных схем и понятий. Её гипнотизируют другие слова, другие партийные лозунги. Лозунги бывали разные. Но ситуация, заставляющая хороших и чистых людей становиться соучастниками палачей, доносчиками и предателями, оставалась неизменной:

Танька, Танечка, Таня! Такое печальное дело!

Как же ты допустила, что вышла такая беда?

Ты же их не любила, ведь ты же другого хотела.

Почему ж ты молчишь? Почему ж ты молчала тогда?..

Зло во имя добра! Кто придумал нелепость такую!

Даже в страшные дни, даже в самой кровавой борьбе

Если зло поощрять, то оно на земле торжествует –

Не во имя чего-то, а просто само по себе...

Все мы смертные люди. И мы проявляемся страстью.

В нас, как сила земная, течет неуемная кровь.

Ты любовь отрицала для более

полного счастья.

А была ль в твоей жизни хотя бы однажды любовь?

Никогда. Ты всегда презирала пустые романы.

Вышла замуж. (Уступка – что сделаешь: сила земли)

За хорошего парня… И жили без всяких туманов.

Вместе книги читали, а после и дети пошли.

Над детьми ты дрожала… А впрочем – звучит как легенда –

Раз потом тебе нравился очень без всяких причин,

Вопреки очевидности, – худенький, интеллигентный

Из бухаринских мальчиков красный профессор один.

Ты за правые взгляды ругала его непрестанно.

Улыбаясь, он слушал бессвязных речей твоих жар.

А потом отвечал: «Упрощаете вещи, Татьяна!»

И глядел на тебя. Ещё больше тебя обожал.

Ты ругала его. Но звучали слова как признанья.

И с годами бы вышел, наверно, из этого толк.

Он в политизолятор попал. От тебя показаний

Самых точных и ясных партийный потребовал долг.

Дело партии свято. Тут личные чувства не к месту.

Это сущность. А чувства, как мелочь, сомни и убей.

Ты про все рассказала задумчиво, скорбно и честно.

Глядя в хмурые лица ведущих дознанье людей.

Коллизия – та же, что в солженицынском «Случае на станции Кречетовка». Но, в отличие от Солженицына, автор этого отрывка не отрицает своего кровного родства со своей героиней. Да, он теперь уже не такой, как она. Но он ни на секунду не забывает, что тоже был таким. Потому и терзается, потому и с болью отрывает от себя эту омертвевшую ткань.

Этот запутанный клубок разноречивых чувств («Я ее написал, ненавидя, страдая, любя...») яснее ясного говорит, что он и за собой признает вину за то, что случилось с его героиней, со страной, со всеми нами.

Как Слуцкий:

И ежели ошибочка была,
Вину и на себя я принимаю.

Солженицын никакой вины за собой не чувствует. Всю вину за случившееся он целиком перекладывает на своего героя, словно сам таким никогда не был.

Особенно ясно это проявилось в другом, более значительном его произведении, в одном из эпизодов которого мы опять сталкиваемся с той же коллизией, с тем же сюжетным мотивом:

...

Рубин снова стал ходить, всё так же безнадёжно отмеривая заплёванное, замусоренное пространство прокуренного коридора и так же мало подвигаясь в ночном времени.

И за образом харьковской внутрянки, которую он вспоминал всегда с гордостью, хотя эта двухнедельная одиночка висела потом над всеми его анкетами и всей его жизнью и отяготила его приговор сейчас, вступили в память воспоминания – скрываемые, палящие.

...Как-то вызвали его в парткабинет Тракторного. Лёва считал себя одним из создателей завода: он работал в редакции его многотиражки. Он бегал по цехам,

воодушевлял молодёжь, накачивал бодростью пожилых рабочих, вывешивал «молний» об успехах ударных бригад, о прорывах и разгильдяйстве.

Двадцатилетний парень в косоворотке, он вошёл в парткабинет с той открытостью, с которой случилось ему как-то войти и в кабинет секретаря ЦК Украины. И как там он просто сказал: «Здравствуй, товарищ Постышев!» – и первый протянул ему руку, так сказал и здесь сорокалетней женщине со стриженными волосами, повязанными красной косынкой:

«Здравствуй, товарищ Пахтина! Ты вызывала меня?»

«Здравствуй, товарищ Рубин, – пожала она ему руку. – Садись».

Он сел.

Ещё в кабинете был третий человек, нерабочий тип, в галстуке, костюме, жёлтых полуботинках. Он сидел в стороне, просматривал бумаги и не обращал внимания на вошедшего.

Кабинет парткома был строг, как исповедальня, выдержан в пламенных красных и деловых чёрных тонах.

Женщина стеснённо, как-то потухло, поговорила с Лёвой о заводских делах, всегда ревностно обсуждаемых ими. И вдруг, откинувшись, сказала твёрдо:

«Товарищ Рубин! Ты должен разоружиться перед партией!»

Лёва был поражён. Как? Он ли не отдаёт партии всех сил, здоровья, не отличая дня от ночи?

Нет! Этого мало.

Но что ж ещё?!

Теперь вежливо вмешался тот

тип. Он обращался на «вы» – и это резало пролетарское ухо. Он сказал, что надо честно и до конца рассказать всё, что известно Рубину об его женатом двоюродном брате: правда ли, что тот состоял прежде активным членом подпольной троцкистской организации, теперь скрывает это от партии?..

И надо было сразу что-то говорить, а они вперились в него оба...

Глазами именно этого брата учился Лёва смотреть на революцию. Именно от него он узнавал, что не всё так нарядно и беззаботно, как на первомайских демонстрациях. Да, Революция была весна – потому и грязи было много, и партия хлюпала в ней, ища скрытую твёрдую тропу...

«Я не знаю. Никогда он троцкистом не был», – отвечал язык Лёвки, но рассудок его воспринимал, что, говоря по-взрослому, без чердачной мальчишеской романтики, – запирательство было уже ненужным.

Короткие энергичные жесты секретаря парткома. Партия! Не есть ли это высшее, что мы имеем? Как можно запираться... перед Партией?! Как можно не открыться... Партии?! Партия не карает, она – наша совесть. Вспомни, что говорил Ленин...

Десять пистолетных дул, уставленных в его лицо, не запугали бы Лёвку Рубина. Ни холодным карцером, ни ссылкою на Соловки из него не вырвали бы истины. Но перед Партией?! – он не мог утаиться и солгать в этой чёрно-красной исповедальне.

Рубин открыл – когда, где

состоял брат, что делал.

И смолкла женщина-проповедник.

А вежливый гость в жёлтых полуботинках сказал:

«Значит, если я правильно вас понял...» – и прочёл с листа записанное.

«Теперь подпишитесь. Вот здесь».

Лёвка отпрянул:

«Кто вы?? Вы – не Партия!»

«Почему не партия? – обиделся гость. – Я тоже член партии. Я – следователь ГПУ».

(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 433–435)

Это ночное бдение Льва Рубина, эти мучительные, терзающие его душу воспоминания напоминают знаменитое пушкинское:

В то время для меня влачатся в тишине

Часы томительного бденья;

В бездействии ночном живей горят во мне

Змеи сердечной угрызенья;

Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,

Теснится тяжких дум избыток;

Воспоминание безмолвно предо мной

Свой длинный развивает свиток;

И с отвращением читая жизнь мою,

Я трепещу и проклинаю,

И горько жалуюсь, и горько слезы лью,

Но строк печальных не смываю.

Разница лишь в том, что Пушкин все эти саморазоблачения адресует СЕБЕ, а Солженицын отдает их своему герою.

Тут, конечно, можно сказать, что одно дело поэзия и совсем другое – проза.

Поэзия (лирика) по самой своей природе тяготеет к исповедальности, а в эпическом жанре автор всегда отдает самое

свое сокровенное кому-то из своих героев.

Но тут все дело в том, – КОМУ.

Было бы, наверно, естественнее, да и честнее, если бы эти воспоминания и саморазоблачения Солженицын отдал другому своему герою – Глебу Нержину.

Его близость автору, – даже не близость, а кровное с ним родство, – не вызывает сомнений.

На обсуждении «Ракового корпуса» Солженицына (я уже упоминал об этом) упрекали в том, что герой этой его повести Костоглотов слишком автобиографичен, слишком уж коротка, почти незаметна дистанция между этим героем повести и её автором. Солженицын отвечал, что при желании легко мог бы убедить собравшихся, что Костоглотов – не автор.

Может, оно и так.

Но если бы на том обсуждении речь шла не о «Раковом корпусе», а о романе «В круге первом», и если бы упрек этот относился не к образу Костоглотова, а к образу Нержина, отвести этот упрек было бы гораздо труднее. В сущности, это было бы даже невозможно, потому что Нержин – alter ego автора, его «второе я», – чего он, автор, даже и не старается скрыть. Можно даже сказать, что он на этом настаивает.

Но все свои революционные иллюзии, всю свою пламенную веру в конечное торжество мировой революции, ради чего, как ему казалось, только и стоило жить, он отдал Рубину. Что же касается Нержина, то предполагается, что он эти свои иллюзии, – если они у него были, – уже давно изжил. А скорее всего никаких таких иллюзий у него никогда даже и не было. Так что, если вышла «ошибочка», то вина за эту «ошибочку» лежит на Рубине. А Нержин – чист, как голубь, и ни терзаться, ни каяться ему решительно не в чем.

Дни и ночи напролет, урывая каждую лишнюю минутку от основных своих обязанностей, которыми он почти открыто пренебрегает, Нержин обдумывает и записывает какие-то тайные, – предполагается, что крамольные, – свои мысли. О том, ЧТО это были за мысли, в романе говорится глухо. Но теперь мы уже знаем, что на самом деле там, на той Марфинской Шарашке, Солженицын начал работать над давно, ещё в юности задуманным им романом «Люби Революцию». Предполагалось, что в будущем составится у него даже целый цикл романов под этим заглавием. Из чего мы можем заключить, что со своей верой в Мировую Революцию он тоже расставался не легко и не просто.

* * *

Всё это не тогдашние, а сегодняшние, – во всяком случае, более поздние – мои мысли. Полвека назад, читая рассказ Солженицына «Случай на станции Кречетовка», я ни о чем таком даже и не думал. Просто восхищался этим его рассказом. Не так безоговорочно, как «Иваном Денисовичем», но – восхищался. И, как я теперь понимаю, не зря.

В полной мере я тогда этого ещё не понимал, но почувствовал, что этим своим рассказом, самим его сюжетом Солженицын прикоснулся к чему-то очень важному, быть может, самому важному в природе сталинщины.

Много лет спустя случилось мне прочесть книгу неизвестного мне автора Романа Редлиха «Сталинщина как духовный феномен. Очерки большевизмоведения». *(Frankfurt/Main, 1971)*.

Не всё в этой книге было мне близко, но имя автора я запомнил, и когда спустя какое-то время наткнулся на подписанную этим именем журнальную статью, читал её уже с повышенным интересом.

Статья была как будто уже на другую тему, – не о Сталине и сталинщине, а о Достоевском. Но одно мимоходом брошенное в ней рассуждение автора вызвало у меня целый поток ассоциаций – и литературных, и жизненных, – главной из которых была ассоциация с давно уже не вспоминавшимся мною рассказом Солженицына «Случай на станции Кречетовка».

...

> *Верховенщина и смердяковщина, однако, пустяк по сравнению со сталинщиной. И Достоевский только предчувствовал путь, который Россия прошла не в воображении писателя, а в реальном историческом бытии... Сталинский фикционализм на службе активной несвободы, сталинская «самая демократическая в мире» конституция на службе ежовского террора ведут дальше, чем тайное общество Петра Верховенского. А расправа с соратниками Ленина страшней, чем убийство Шатова.*
>
> *(Р. Редлих. Неоконченный Достоевский // Грани. 1971)*

Прямую ассоциацию с солженицынским «Случаем на станции Кречетовка» вызвал у меня не столько общий смысл этого рассуждения, сколько вот эта последняя, заключающая его фраза.

Сразу мелькнула мысль, что о поступке героя этого рассказа, пожалуй, даже с большим основанием, чем о расправе Сталина с соратниками Ленина, можно сказать, что он *страшнее, чем убийство Шатова* .

Но натолкнула меня тогда на эту мысль ещё и другая, тоже тут же у меня возникшая и тоже прямая ассоциация, – уже не литературная, а жизненная.

...

* * *

В разгар ежовщины был арестован Лев Давидович Ландау.

Он ещё не был тогда одним из столпов отечественной физики, академиком, Героем Социалистического труда, лауреатом Нобелевской, Ленинской и нескольких Сталинских премий. Всё это ждало его впереди. А тогда, в 1938-м, ему было двадцать девять лет, и был он всего-навсего сотрудником института физических проблем АН СССР. Не рядовым, а заметным, подающим большие надежды, но все-таки всего лишь сотрудником. А директором этого института был Петр Леонидович Капица, который и до того уже не раз напрямую обращался к Сталину, заступаясь за арестованных коллег.

Во время очередной массовой чистки Ленинграда (прежнюю столицу и «колыбель революции» многократно очищали от «бывших», от «зиновьевцев» и т. п.) был арестован Владимир Александрович Фок, тогда ещё член-корреспондент АН, но имевший уже прочную мировую известность. На следующее утро (12 февраля 1937 г., в разгар небывалого террора) Капица пишет... письмо Сталину, в котором, кратко характеризуя Фока как известного ученого, приводит четыре довода, объясняющие, почему с учеными вообще так обращаться нельзя...

Это было время, когда уже недопустимо было вступаться за арестованного. Сам такой поступок делал человека подозрительной, если не преступной, личностью. Господствовал тезис: «Органы не ошибаются». Но поразительным образом это письмо подействовало немедленно. В течение трех дней! (значит, Сталин сразу прочел его) Фок был доставлен из Ленинграда

прямо в кабинет главного чекиста того времени Ежова (вообразите его реакцию на вопрос вошедшего Фока: «С кем имею честь говорить?»). Фок тут же был выпущен на свободу из страшного дома на Лубянке.

(Е. Л. Фейнберг. Эпоха и личность. Физики. М. 2003. Стр. 397–398)

За Ландау Петру Леонидовичу хлопотать было труднее, чем за Фока. И не только потому, что Лев Давидович не был тогда ни членом-корреспондентом, ни ученым с мировым именем. Тут были трудности ещё и другого рода. О главной из них речь впереди, а что касается других, не главных, но тоже существенных, то о них достаточно прямо сказано в письме, которое П. Л. Капица в тот же день, когда тот был арестован, написал и отправил Сталину.

...

28 апреля 1938, Москва

Товарищ Сталин!

Сегодня утром арестовали научного сотрудника Института Л. Д. Ландау. Несмотря на свои 29 лет, он вместе с Фоком – самые крупные физики-теоретики у нас в Союзе...

Нет сомнения, что утрата Ландау как ученого для нашего института, как для советской, так и для мировой науки не пройдет незаметно и будет сильно чувствоваться. Конечно, ученость и талантливость, как бы велики они ни были, не дают право человеку нарушать законы своей страны, и, если Ландау виноват, он должен ответить. Но я очень прошу Вас, ввиду его исключительной талантливости, дать соответствующие указания, чтобы к его делу отнеслись очень внимательно. Также, мне кажется, следует учесть характер Ландау, который, попросту говоря, скверный. Он задира и забияка, любит искать у

других ошибки и, когда находит их, в особенности у важных старцев, вроде наших академиков, то начинает непочтительно дразнить. Этим он нажил много врагов.

У нас в институте с ним было нелегко, хотя он поддавался уговорам и становился лучше. Я прощал ему его выходки ввиду его исключительной даровитости. Но при всех своих недостатках в характере мне очень трудно поверить, что Ландау был способен на что-либо нечестное.

Ландау молод, ему представляется ещё многое сделать в науке. Никто, как другой ученый, обо всем этом написать не может, поэтому я и пишу Вам.

П. Капица (Там же. Стр. 398–399)

Про Ландау пишет он осторожнее, чем про Фока. Что-то, может быть, знает, а если не знает, то догадывается.

А разница между делом Фока и делом Ландау была немалая.

У Фока никакого дела, в сущности, не было. Его «замели» в одной из массовых чисток Ленинграда. А у Ландау было свое, персональное дело, и весьма серьезное.

Когда «дело» это было обнародовано (а случилось это совсем недавно), в нем был обнаружен совершенно поразительный по тем временам документ: антисталинская листовка.

Текст её даже и сегодня потрясает своей резкой откровенностью:

...

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Товарищи!

Великое дело Октябрьской революции предано... Миллионы невинных людей брошены в тюрьмы, и никто не может знать, когда

придет его очередь…

Разве вы не видите, товарищи, что сталинская клика совершила фашистский переворот?! Социализм остался только на страницах окончательно изолгавшихся газет. В своей бешеной ненависти к настоящему социализму Сталин сравнялся с Гитлером и Муссолини. Разрушая ради сохранения своей власти страну, Сталин превращает её в легкую добычу озверелого немецкого фашизма…

Товарищи, организуйтесь! Не бойтесь палачей из НКВД. Они способны избивать только заключенных, ловить ни о чем не подозревающих невинных людей, разворовывать народное имущество и выдумывать нелепые судебные процессы о несуществующих заговорах…

Сталинский фашизм держится только на нашей неорганизованности.

Пролетариат нашей страны, сбросивший власть царя и капиталистов, сумеет сбросить фашистского диктатора и его клику.

Да здравствует 1 Мая – день борьбы за социализм!

Московский комитет Антифашистской рабочей партии.
(Там же. Стр. 391–392)

Никакой такой партии в действительности не существовало. Была крохотная группа заговорщиков-интеллигентов. (Даже и слово «группа» тут не совсем подходит: оно из лексикона следователей). Неизвестно, кто в эту «группу» входил. Неизвестно даже, кто сочинил эту листовку, во всяком случае, – не Ландау. Но к составлению и распространению её он был причастен:

…

...в апреле 1938 г., после страшного мартовского Пленума ЦК, призвавшего к ещё большему «повышению бдительности», к Дау приходит Корец и говорит, что надо выпустить антисталинскую листовку и распространить её во время первомайской демонстрации. Согласен ли Дау просмотреть приготовленный текст и дать советы? И Дау соглашается, поставив лишь одно условие: он не должен знать имен участников этого предприятия. Это условие легко понять. Дау всегда боялся боли и, видимо, опасался, что под пытками может назвать эти имена. Листовку он просмотрел. Сделал замечания, и она была передана для размножения... 28 апреля Ландау, Корец, а заодно и друг Ландау Румер были арестованы.

(Там же. Стр. 391)

В каком объеме и в какой форме обо всём этом доложили Сталину, неизвестно. Но что-то, видимо, доложили, потому что на письмо Капицы в защиту Ландау он отреагировал совсем не так, как в случае с Фоком. Можно даже сказать, что никак не отреагировал.

Капица ждал год.

Казалось, было очевидно, что дело это тухлое: вызволить Ландау из тюрьмы ему не удастся.

Но он на этом не успокоился и год спустя отправил на самый верх второе письмо, адресовав его уже не Сталину, а Молотову.

...

Товарищ Молотов!

За последнее время... мне удалось найти ряд новых явлений, которые, возможно, прояснят одну из наиболее загадочных областей современной физики. Но... мне нужна помощь

теоретика. У нас в Союзе той областью теории, которая мне нужна, владел в полном совершенстве Ландау, но беда в том, что он уже год как арестован.

Я все надеялся, что его отпустят, … не могу поверить, что Ландау государственный преступник… Правда, у Ландау очень резкий язык и, злоупотребляя им, при своём уме он нажил много врагов… Но при всем его плохом характере, с которым и мне приходилось считаться, я никогда не замечал за ним каких-либо нечестных поступков.

Конечно, говоря все это, я вмешиваюсь не в свое дело, так как это область компетенции НКВД. Но все же я думаю, что я должен отметить следующее как ненормальное.

1. Ландау год как сидит, а следствие ещё не закончено, срок для следствия ненормально длинный.

2. Мне, как директору учреждения, где он работал, ничего не известно, в чем его обвиняют.

3. Ландау дохлого здоровья, и если его зря заморят, то это будет очень стыдно для нас, советских людей.

Поэтому обращаюсь к Вам с просьбами:

1. Нельзя ли обратить особое внимание НКВД на ускорение дела Ландау.

2. Если это нельзя, то, может быть, можно использовать голову Ландау для научной работы, пока он сидит в Бутырках. Говорят, с инженерами так поступают.

П. Капица (Там же. Стр. 400–401)

На это письмо реакция последовала немедленно. Капицу пригласили на Лубянку, где его принял и имел с ним беседу заместитель наркома НКВД Меркулов. Он предложил Петру Леонидовичу лично ознакомиться с материалами дела Ландау. Но тот от этого решительно отказался. Во-первых, потому что понимал, что на Лубянке из подследственного могли выбить любые признания, – это тогда ни для кого уже не было тайной. А во-вторых, потому, что вообще не хотел втягиваться в дискуссию о виновности Ландау.

Эта его тактика оказалась правильной: Ландау выпустили. Решение, разумеется, принял Сталин. Но чтобы это не выглядело проявлением слабости, уступкой настырному ученому, выдали Капице арестанта, за которого он хлопотал, под его личную ответственность, под расписку:

...

Народному комиссару внутренних дел СССР тов. Л. П. Берия

26 апреля 1939, Москва

Прошу освободить из-под стражи арестованного профессора физики Льва Давидовича Ландау под мое личное поручительство. Ручаюсь перед НКВД в том, что Ландау не будет вести какой-либо контрреволюционной деятельности против советской власти в моем институте, и я приму все зависящие от меня меры к тому, чтобы он и вне института никакой контрреволюционной работы не вел. В случае, если я замечу со стороны Ландау какие-либо высказывания, направленные во вред советской власти, то немедленно сообщу об этом органам НКВД.

П. Капица (Там же. Стр. 402)

История по тем временам уникальная. Но не эта её уникальность заставила меня к ней обратиться.

Есть в этой удивительной истории одна подробность, которая

роднит её с сюжетом рассказа Солженицына «Случай на станции Кречетовка»:

...

> *Кто-то выдал. Подозрение участников группы пало на одного её члена К., которого я не назову, поскольку, во-первых, оно не доказано (ниже, на другом примере, я покажу, к каким ужасным последствиям могут приводить такие недостоверные подозрения). Во-вторых, этот человек, когда началась война, добровольно пошел на фронт (подозревающие думают – чтобы смертью искупить свою вину) и погиб. Основанием для подозрения служит лишь то, что именно ему знавший его с детства Корец передал текст, чтобы тот со своими друзьями (рвущимися, по словам К., к действиям) размножили её на гектографе, изготовленном ими любительски (что и было сделано, хотя качество, по словам Кореца, было плохое – большей частью брак).*
>
> *(Там же. Стр. 391)*

Ситуация вполне банальная, и я не придал бы ей никакого значения, если бы не одно обстоятельство.

Имя человека, который сообщил «органам» об отпечатанной на гектографе антисталинской листовке, автор книги, из которой я почерпнул все эти сведения (Е. Л. Фейнберг), не называет. И правильно делает. Но от меня Евгений Львович, с которым я был хорошо и даже близко знаком, это имя не утаил. Это был, как он доверительно мне сообщил, тот самый молодой поэт, образ которого в рассказе Солженицына мелькнул на мгновенье в портрете «бледнолицего лейтенанта с распадающимися волосами», стихи которого, «никем не проверенные, откровенные» («Если Ленина дело падёт в эти дни – для чего мне останется жить?»), произвели такое сильное впечатление на другого лейтенанта, главного героя рассказа – Василия Зотова.

Первая моя реакция, когда я это услышал, была: «Нет! Не может быть! Не мог! Никак не мог такой человек стать доносчиком!»

Но, подумав, я вынужден был признать, что такое допущение, при всей его чудовищности, быть может, и не совсем безосновательно.

Предположение, что в первые же дни войны он добровольцем ушел на фронт, чтобы смертью искупить свою вину, – это, конечно, полная ерунда.

Свою гибель в неизбежной грядущей войне с немецким фашизмом он – как и многие его сверстники – предрекал задолго до того, как эта война на нас обрушилась:

В те годы в праздники возили
Нас по Москве грузовики,
Где рядом с узником Бразилии
Художники изобразили
Керзона (нам тогда грозили,
Как нынче, разные враги).
На перечищенных, охрипших
Врезались в строгие века
Империализм, Антанта, рикши,
Мальчишки в старых пиджаках,
Мальчишки в довоенных валенках,
Оглохшие от грома труб,
Восторженные, злые, маленькие,
Простуженные на ветру.
Когда-нибудь в пятидесятых
Художники от мук сопреют,
Пока они изобразят их,
Погибших возле речки Шпрее...

И доносчиком в точном смысле этого слова он, конечно, быть не мог.

Но считать, что его товарищи, сочинившие антисталинскую листовку, были арестованы правильно, что их нельзя было не арестовать, и даже стать виновником (быть может, невольным) их ареста, – вполне мог.

Насчет Сталина, надо думать, у него, как и у них, тоже уже не было никаких иллюзий. (А иначе – как мог бы он оказаться в этой группе заговорщиков?) Но к исторической роли Сталина, к тому кровавому пути, по которому Сталин повел страну, относился не так, как они:

Я понимаю все. И я не спорю.
Железный век идет высоким трактом.
Я говорю: «Да здравствует история!» –
И головою падаю под трактор.

Уже одни только эти его строки в какой-то мере объясняют, почему, как это ни чудовищно, я готов поверить, что этот чистый и благородный юноша все-таки мог выдать своих товарищей, отдать их в руки палачей.

Но были и другие, ещё более жуткие, в которых он вспоминал, как яростным, ненавидящим взглядом провожал расфуфыренных жен ответственных работников – «Их путь от Горта до ТЭЖЭ», и, как о чем-то само собой разумеющемся, заключал:

...

В тридцать седьмом мы к стенке ставили мужей.

Кровавый кошмар тридцать седьмого года, стало быть, представлялся ему суровым, но справедливым возмездием, постигшим предателей-перерожденцев и, худо ли, хорошо, но спасшим Революцию от термидора.

Прав, прав был автор вспомнившихся мне «очерков большевизмоведения», сказавший, что верховенщина и смердяковщина – пустяк по сравнению со сталинщиной, а расправа с соратниками Ленина страшней, чем убийство Шатова.

Убийством Шатова Петруша Верховенский повязал кровью жалкую кучку одержимых бесовщиной своих сподвижников, «наших». А Сталин **повязал кровью половину страны.**

«Сейчас, – сказала Ахматова, когда началась волна реабилитаций, – две России посмотрят друг другу в глаза: та, что сажала – той, что сидела». И это – не преувеличение: на каждого арестованного был свой доносчик, свой следователь, свой вертухай.

Вот и простодушный герой солженицынского рассказа, у которого тридцать седьмой год вызывает ассоциацию лишь с гражданской войной в Испании, тоже оказался повязанным той большой кровью.

* * *

На самом деле в то, что Зотов и слыхом не слыхал про тридцать седьмой год, не то что трудно, а прямо-таки невозможно поверить.

Перечитаем ещё раз эту – самую уязвимую – сцену солженицынского рассказа:

...

– Спрашивать ни у кого нельзя, за шпиона посчитают... У нас вопросы задавать опасно.

– В военное время, конечно.

– Да оно и до войны уже было.

– Ну, не замечал!

– Было, – чуть сощурился Тверитинов. – После тридцать седьмого...

– А что тридцать седьмой? – удивился Зотов. – А что было в тридцать седьмом? Испанская война?

По правде говоря, и в реплику Тверитинова, с которой завязался этот диалог, не очень-то верится. Трудно представить, чтобы человек, только что вышедший из окружения, в разговоре с помощником военного коменданта стал всуе поминать ту страшную, черную дату.

Но реплика эта нужна Солженицыну, чтобы вызвать ответную реплику Зотова. А весь этот короткий диалог, – чтобы показать, в каких разных, не сообщающихся мирах жили в предвоенные годы эти два человека.

Но если реплика Тверитинова лишь слегка отдает некоторой искусственностью, подстроенностью, то ответная реплика Зотова кажется совсем уж неправдоподобной.

Могло ли такое быть, чтобы Зотов в свои девятнадцать-двадцать лет (лейтенанту в 1941 году не могло быть меньше), не замечал, что и до войны – после тридцать седьмого – «оно уже было».

Мне в тридцать седьмом было не шестнадцать лет, как Васе Зотову, а – десять. Но и я прекрасно помню, как нам велели замазывать чернилами в наших школьных учебниках портреты канувших в бездну недавних вождей, а потом – и маршалов:

Тухачевского, Блюхера, Егорова. Помню свистящим шепотком произносившееся жуткое слово «троцкист» и неизменно следующее за ним, ещё более жуткое – «расстрел». Помню как, одержимые шпиономанией, мы старательно выискивали на рисунках, украшавших заднюю страничку наших школьных тетрадок, притаившиеся там буквы, из которых должен был сложиться вредительский лозунг: «Долой Сталина!»

Может быть, все это происходило только в столице? А до той глухой провинции, где до войны жил Василий Зотов («В Москве довелось ему побывать только один раз за всю его жизнь – на экскурсии. В Иванове он, правда, бывал. Но тоже не так уж часто...»), эта волна не докатилась?

Нет, этой шпиономанией, как лесным пожаром, была тогда охвачена вся наша огромная страна.

Вот как вспоминает об этом уже не московский, каким был я, а сухумский мальчик. Ему в том роковом году было не десять, как мне, а – восемь лет:

...

...Я вдруг вспомнил про тетрадь, на обложке которой был изображен вещий Олег, прощающийся со своим конем. В школе ребята шепотом говорили, что на этой обложке прячется хорошо замаскированный вредительский лозунг...

Погружаясь в сладостную жуть, я стал исследовать рисунок на обложке тетради. Там был изображен князь Олег, скорбно обнимающий своего коня перед тем, как расстаться с ним навеки. Под рисунком в два столбика, с переносом на последнюю страницу были напечатаны стихи Пушкина «Песнь о вещем Олеге».

Через несколько минут я обнаружил букву Д, искусно замаскированную в виде стремени.

«Ну и негодяи, ну и хитрецы!» – подумал я с жуткой радостью и стал продолжать исследование. Через

некоторое время я решил, что узоры на седле Олега, изображенные в виде кружочков, могут сойти за букву О...

Я пошел дальше. Через некоторое время мое внимание привлекла подозрительно приподнятая нога Олегова коня. Она была приподнята и согнута под прямым углом. Её можно было принять за букву Г. Правда, перекладина получалась длиннее и толще самого столбика, на котором она держалась. Очень уж уродливая буква получалась. Эта уродливость буквы как-то меня расстраивала. После некоторых колебаний я решил не включать её в собрание букв. Мне даже захотелось ударить коня по ноге, чтобы он её выпрямил, а не держал полусогнутой, как будто его собираются ковать...

(Фазиль Искандер. Школьный вальс, или Энергия стыда)

В этой (автобиографической) повести Искандера рассказ ведется от первого лица, и у нас есть все основания предполагать (даже не сомневаться), что всё, о чем тут рассказывает автор, с ним было на самом деле.

Но я не могу не вспомнить тут ещё один рассказ того же автора, в котором атмосфера истерической шпиономании, охватившей в те годы страну, передана с ещё большей выразительностью и наглядностью:

...

Чика иногда отпускали на море вместе с сумасшедшим дядей...

И вот однажды они идут домой, бодрые и прохладные после купания...

И вдруг впереди на приморском пустыре, у самого выхода на улицу, Чик заметил толпу взволнованных мальчишек. Чик сразу же понял, что

там что-то случилось. Он подбежал к толпе. Внутри этой небольшой, но уже раскаленной толпы детишек стояло несколько подростков.

– Вредители! Вредители! – слышалось то и дело. Один из подростков держал в руке кусок плотной белой бумаги величиной с открытку. Все старались заглянуть в нее. Чик тоже просунулся и заглянул. На бумаге отчетливо тушью был выведен торпедообразный предмет, который часто рисуют в общественных уборных. А под ним написаны оскорбительные слова.

– Я иду с моря, а это здесь валяется, – говорил мальчик, державший в руке эту бумагу.

– Пацаны, вон вредитель! – вдруг крикнул кто-то, и все помчались вперед, и Чик вместе со всеми, подхваченный сладостной жутью странного возбуждения... Ребята уже на улице догнали толстого мужчину с неприятным лицом. Он был в шляпе и с портфелем в руке. Он озирался на кричащих пацанов с ненавистью и страхом. Громко вопя: «Вредитель! Вредитель!» – они шли за ним, то окружая его, то отшатываясь, когда он резко, как затравленный кабан, оборачивался на них. Самые смелые пытались к нему гадливо притронуться, как бы для того, чтобы убедиться, что он есть, а не приснился. Этот человек был так похож на плакаты с изображением вредителей, что Чик сразу поверил: он, он подбросил эту подлую, самодельную открытку!

Особенно подозрительны были шляпа и портфель, туго и злобно набитый не то взрывчаткой, не то отравляющими веществами. Ребята

все гуще и гуще его окружали, и ему все чаще приходилось затравленно озираться, все короче делались его передышки.

– Нельзя! – вдруг раздался громовой голос дяди Коли. Все остолбенели, а Чик обернулся на своего забытого дядю. Он со страшной решительностью приближался к толпе, явно готовый хлестнуть любого своей удочкой, которой он теперь размахивал. Ребята, смущенные его решительностью, молча расступились, давая ему дорогу. Он подошел к этому человеку и, слегка загородив его, ласково сказал:

– Иди, мамочка, иди...

– Спасибо, товарищ, – сказал человек дрогнувшим голосом. Его рыхлые щеки покрылись мучной белизной. – Я... я ничего не понимаю.

Ребята снова зашумели.

– Удушу мать! – крикнул дядя, обернувшись к толпе. Это было его любимое ругательство...

– А почему они консервы отравляют? А почему подбрасывают вот это? – загалдели ребята.

Чик почувствовал себя в сложном положении.

– Это мой дядя! Он не понимает, он сумасшедший! – стал Чик оправдывать дядю и даже притронулся к его плечу, мягко намекая, чтобы он уходил отсюда.

– Ат!! (Прочь! – на его жаргоне) – вдруг заорал он на Чика, стряхивая его руку и глядя на Чика бешеными, неузнающими глазами.

Почувствовав, что дело пахнет хорошей затрещиной, Чик отошел...

– Какие консервы? Я ничего не понимаю! Я приехал в командировку,

остановился в гостинице «Рица», в двенадцатом номере, – самим голосом пытаясь успокоить толпу, говорил человек.

– Дурачки, дурачки, – односложно успокаивал его дядя.

Вдруг он что-то вспомнил. Он бросил удочку, вытащил из кармана блокнот и красный карандаш. С блаженной улыбкой он нанес на листик несколько волнистых линий и, вырвав его из блокнота, бодро вручил растерянному человеку.

– Справка, справка, – сказал дядя и, махнув рукой, показал, что владелец этой справки теперь может беспрепятственно гулять по городу. Дядя иногда выдавал людям такие самодельные справки или деньги. Видимо, он заметил, что справки и деньги облегчают людям жизнь. И он помогал им, когда находил нужным.

Человек посмотрел на листик, ничего не понимая. Все же он торопливо положил его во внутренний карман пиджака…

– Сумасшедшие, – сказал дядя, кивнув на толпу ребят, и весело рассмеялся, призывая человека быть снисходительным к этим несмышленышам.

– Вот именно какое-то сумасшествие, – подтвердил человек и, горячо пожав дяде руку, стал быстро уходить. До конца квартала было недалеко, и Чик подумал, что если этот человек, как только завернет за угол, даст стрекача, значит, он действительно вредитель. А если просто так пойдет, значит, они ошиблись. Но теперь бежать и подглядывать за ним почему-то было неохота.

(Фазиль Искандер. Рассказы про

Чика)

С сумасшедшим дядей Чика мы уже встречались в других рассказах того же цикла, и мы знаем, что он действительно сумасшедший, – сомневаться в этом у нас нет никаких оснований. Но в описанной ситуации именно он, – только он один – реагирует на происходящее как нормальный человек. Именно он, сумасшедший, оказывается единственным нормальным в этом безумном мире истерической шпиономании.

Эта простая мысль возникает у нас, конечно, не так уж непроизвольно. Она безусловно входит в авторский замысел. Но она так органично, так естественно вытекает из самой художественной плоти рассказа, что у нас не возникает и тени сомнения в предельной достоверности не только описанной в рассказе ситуации, но и каждой её подробности и детали.

На сей раз, – в отличие от повести «Школьный вальс, или Энергия стыда» – повествование ведется от третьего лица: дело, стало быть, происходит не с автором, а с его героем, Чиком. И хотя «Рассказы о Чике» тоже явно автобиографические, автор тем самым не скрывает от нас, что есть в них, – в каждом из них, – какая-то толика художественного вымысла.

Но вымысел этот не разрушает, а, напротив, укрепляет силу заложенной в этом рассказе художественной правды.

В рассказе Солженицына происходит обратное.

Бросается в глаза искусственность, подогнанность некоторых его подробностей и деталей. В том числе и самой важной из них, без которой не было бы и самого рассказа: трудно представить себе, чтобы человек возраста Тверитинова не помнил, что Сталинград до переименования звался Царицыном.

В достоверность этой подробности не верил и восхитившийся этим рассказом Солженицына Твардовский:

…

…В этот именно месяц написалась у меня легко «Кочетовка» – прямо для журнала, первый раз в жизни. (Истинный случай 1941 года с моим приятелем Лёней Власовым, когда он комендантствовал на ст. Кочетовка, с той же подробностью, что проезжий именно забыл, из чего Сталинград переименован, – и чему

никто поверить не мог, начиная с А. Т. А по-моему, для человека старой культуры очень естественно и не помнить такой новой пришлёпки.)

(А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни. М. 1996. Стр. 47)

С точки зрения жизненной правды, *правды факта,* может, оно и так.

Иное дело – правда *художественная* .

Как было однажды замечено (не могу сейчас вспомнить, кем):

У Гоголя прочтешь: «Открылась дверь, и вошел чёрт». И веришь.

А у Павленко (или Панферова, или Бабаевского, или Бубеннова, – имя же им легион) читаешь: «Открылась дверь, и вошел секретарь райкома». И – не веришь.

Такая вот коварная вещь, эта самая художественная правда.

* * *

Уверяя нас (да и себя тоже), что «для человека старой культуры очень естественно и не помнить такой новой пришлёпки», как переименование Царицына в Сталинград, Солженицын не делал, что называется, хорошую мину при плохой игре. Можно не сомневаться, что он в это верил. Нельзя, однако, не признать, что презрительное словечко «пришлёпка» в этом контексте звучит диковато.

Когда Ахматова очутилась в Париже, кто-то из эмигрантов первой волны спросил у неё, почему она в поздних своих стихах Петербург называет Ленинградом. На этот, конечно же, не без ехидства заданный вопрос Анна Андреевна хладнокровно ответила: «Потому что он так называется».

Сталинград, конечно, – не Ленинград. Но и он переименован был очень рано, почти в то же время, что Ленинград – в 1925-м. Ну, а кроме того, столько трубили тогда об огромных заслугах Сталина во время обороны Царицына, намертво связав эти два имени!

Игнорируя это обстоятельство, не считаясь с ним, Солженицын словно бы играет в поддавки, максимально облегчая себе свою художественную задачу. Потому-то и чувствуется здесь некоторая «фальшивинка». Ну, а уж что касается простодушно

наивного неведения его героя о том, чем был для страны тридцать седьмой год, то это уже не просто «фальшивинка», а самая что ни на есть настоящая – и довольно грубая – фальшивая нота.

В покорившем нас «Одном дне Ивана Денисовича» ничего даже отдаленно напоминающего эту «игру в поддавки» не было и в помине.

Но однажды и по поводу «Ивана Денисовича» Солженицыну был высказан такой же, – и даже не такой же, а тот же самый упрек:

…

Теперь о кавторанге. Здесь есть немного «клюквы». К счастью, очень немного. В первой сцене – у вахты. «Вы не имеете права» и т. д. Тут некоторый сдвиг во времени. Кавторанг – фигура тридцать восьмого года. Вот тогда чуть не каждый так кричал. Все, так кричавшие, были расстреляны. Никакого «кондея» за такие слова не полагалось в 1938 году. В 1951 году кавторанг так кричать не мог, каким бы новичком он ни был. С 1937 года в течение четырнадцати лет на его глазах идут расстрелы, репрессии, аресты, берут его товарищей, и они исчезают навсегда. А кавторанг не дает себе труда даже об этом подумать. Он ездит по дорогам и видит повсюду караульные лагерные вышки. И не дает себе труда об этом подумать. Наконец он прошел следствие, ведь в лагерь-то попал он после следствия, а не до. И все-таки ни о чем не подумал. Он мог этого не видеть при двух условиях: или кавторанг четырнадцать лет пробыл в дальнем плавании, где-нибудь на подводной лодке, четырнадцать лет не поднимаясь на поверхность. Или

четырнадцать лет сдавал в солдаты бездумно, а когда взяли самого, стало нехорошо. Не думает кавторанг и о бендеровцах, с которыми сидеть не хочет (а со шпионами? с изменниками родины? с власовцами? с Шуховым? с бригадиром?). Ведь эти бендеровцы – такие же бендеровцы, как кавторанг шпион. Его ведь не кубок английский угробил, а просто сдали по разверстке, по следовательским контрольным спискам. Вот единственная фальшь Вашей повести. Не характер (такие есть правдолюбцы, что вечно спорят, были, есть и будут). Но типичной такая фигура могла быть только в 1937 году…

(В. Т. Шаламов – А. И. Солженицыну. Ноябрь 1962. Варлам Шаламов. Новая книга. Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственное дело. М. 2004. Стр. 646–647)

Высказав Солженицыну этот упрек и отметив при этом, что нетипичность фигуры кавторанга – «единственная фальшь», которую он заметил в его повести, Варлам Тихонович тут же обнаруживает в ней ещё одну, даже больнее его задевшую:

…

Еще одно. Мне кажется, что понять лагерь без роли блатарей в нем нельзя. Именно блатной мир, его правила, этика и эстетика вносят растление в души всех людей лагеря – и заключенных, и начальников, и зрителей. Почти вся психология рабочей каторги, внутренней её жизни определялась, в конечном счете, блатарями…

Блатарей в Вашем лагере нет!
(Там же. Стр. 648)

Чуть раньше он уже проронил:

...

Это лагерь «легкий», не совсем настоящий... В каторжном лагере, где сидит Шухов, у него есть ложка, ложка для настоящего лагеря – лишний инструмент. И суп, и каша такой консистенции, что можно выпить через борт, около санчасти ходит кот – невероятно для настоящего лагеря – кота давно бы съели.
(Там же. Стр. 642)

Но это было брошено вскользь, мимоходом.

А тут – как покатилось.

Один упрек следует за другим, и весь этот поток упреков складывается в картину тотальной, сплошной – уже не фальши, а прямой лжи:

...

Ваш лагерь без вшей! Служба охраны не отвечает за план, не выбивает его прикладами.
Кот!
Махорку меряют стаканом!
Не таскают к следователю.
Не посылают после работы за пять километров в лес за дровами.
Не бьют.
Хлеб оставляют в матрасе. В матрасе! Да ещё набитом! Да ещё и подушка есть! Работают в тепле.
Хлеб оставляют дома! Ложками едят! Где этот чудный лагерь? Хоть бы с годок там посидеть в свое время.

Сразу видно, что руки у Шухова не отморожены, когда он сует пальцы в холодную воду. Двадцать пять лет прошло, а я совать руки в ледяную воду не могу.

(Там же. Стр. 648)

Тут поражает сразу бросающееся в глаза противоречие между только что брошенным замечанием Шаламова о том, что нетипичность фигуры кавторанга для 51-го года – **единственная** фальшивинка, которую он углядел в солженицынской повести, и этим потоком уже не частных, а куда более серьезных упреков (даже не упреков – обвинений). Противоречие это прямо-таки разительно.

Но ещё более разительно противоречие между этим перечнем жизненных реалий, немыслимых, невозможных в **настоящем лагере** , – и комплиментарным (не просто комплиментарным – восторженным!) началом того же шаламовского письма:

…

Дорогой Александр Исаевич!

Я две ночи не спал – читал повесть, перечитывал, вспоминал… Повесть – как стихи – в ней все совершенно, все целесообразно. Каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконична, умна, тонка и глубока, что я думаю, что «Новый мир» с самого начала своего существования ничего столь цельного, столь сильного не печатал. И столь нужного – ибо без честного решения этих самых вопросов ни литература, ни общественная жизнь не могут идти вперед – все, что идет с недомолвками, в обход, в обман– приносило, приносит и принесет только вред.

Позвольте поздравить Вас, себя, тысячи оставшихся в живых и сотни тысяч умерших (если не миллионы),

ведь они живут тоже с этой поистине удивительной повестью.

Позвольте и поделиться мыслями своими по поводу и повести, и лагерей.

Повесть очень хороша... Я получил несколько писем (я это говорил Вам в «Новом мире»), где очень-очень эту повесть хвалили. Но только прочтя её сам, я вижу, что похвалы преуменьшены неизмеримо. Дело, очевидно, в том, что материал этот такого рода, что люди, не знающие лагеря (счастливые люди, ибо лагерь – школа отрицательная – даже часа не надо быть человеку в лагере, минуты его не видеть), не смогут оценить эту повесть во всей её глубине, тонкости, верности...

Повесть эта очень умна, очень талантлива. Это – лагерь с точки зрения лагерного «работяги» – который знает мастерство, умеет «заработать», работяги, не Цезаря Марковича и не кавторанга. Это – не «доплывающий» интеллигент, а испытанный великой пробой крестьянин, выдержавший эту пробу и рассказывающий теперь с юмором о прошлом...

Столь тонкая высокохудожественная работа мне ещё не встречалась, признаться, давно. Крестьянин, который сказывается во всем – и в интересе к «красилям», и в любознательности, и природном цепком уме, и умении выжить, наблюдательности, осторожности, осмотрительности, чуть скептическом отношении к разнообразным Цезарям Марковичам, да и всевозможной власти, которую приходится уважать, умная независимость, умное покорство

судьбе и умение приспособиться к обстоятельствам, и недоверие – все это черты народа, людей деревни...

Повесть эта для внимательного читателя – откровение в каждой фразе. Это первое, конечно, в нашей литературе произведение, обладающее и смелостью, и художественной правдой, и правдой пережитого, перечувствованного – первое слово о том, о чем все говорят, но ещё никто ничего не написал...

Произведение чрезвычайно экономно, напряжено, как пружина, как стихи.

(Там же. Стр. 642–649)

С. Я. Маршак всякий раз, когда речь заходила о том, как надлежит разговаривать – устно ли, письменно ли – с автором только что прочитанной его вещи, неизменно повторял:

– Сперва не забудьте сказать ему все хорошее, что только можете, и только уж потом приступайте к критике.

Не уверен, что В. Т. Шаламов знал об этом правиле хорошего литературного тона. А если бы даже и знал, не такой он был человек, чтобы им руководствоваться.

Ну, а уж в этом его письме ему и вовсе не до того было, чтобы думать о такте и тактике высказывания. Слишком силен был душевный порыв, вызванный в нем этой повестью, чтобы, откликаясь на неё, он мог помнить о каких-то литературных приличиях. Нет, можно не сомневаться, что все эти его восторги шли от сердца.

Но самое интересное в этом его восторженном отклике то, что восторгался он в нем не столько даже талантливостью этой потрясшей его повести, сколько исключительной её правдивостью. Правдивостью в каждой её подробности, в каждой детали:

...

В повести все достоверно...

Я не буду перечислять всех художественных подробностей,

свидетельствующих об этом, Вы их знаете сами.

Великолепно показано то смещение масштабов, которое есть у всякого старого арестанта, есть и у Шухова. Это смещение масштабов касается не только пищи (ощущение), когда глотает кружок колбасы – высшее блаженство, а и более глубоких вещей: и с Кильгасом ему было интереснее говорить, чем с женой и т. д. Это – глубоко верно. Это – одна из важнейших лагерных проблем. Поэтому для возвращения нужен «амортизатор» не менее двух-трех лет. Очень тонко и мягко о посылке, которую все-таки ждешь, хотя и написал, чтоб не посылали. Выживу – так выживу, а нет – не спасешь и посылками. Так и я писал, так и я думал перед списком посылок.

Вообще детали, подробности быта, поведение всех героев очень точны и очень новы, обжигающе новы. Стоит вспомнить только невыжатую тряпку, которую бросает Шухов за печку после мытья полов. Таких подробностей в повести – сотни – других не новых, не точных вовсе нет.

Вам удалось найти исключительно сильную форму. Дело в том, что лагерный быт, лагерный язык, лагерные мысли не мыслимы без матерщины, без ругани самым последним словом. В других случаях это может быть преувеличением, но в лагерном языке – это характерная черта быта, без которой решать этот вопрос успешно (а тем более образцово) нельзя. Вы его решили. Все эти «фуяслице», «...яди», все это уместно, точно и – необходимо...

Пересчет бесконечный – все это

верно, точно, знакомо очень хорошо. Пятерки эти запомнятся навек. Горбушки, серединки не упущены. Мера рукой пайки и затаенная надежда, что украли мало – верна, точна…

Разговор Цезаря Марковича с кавторангом и с москвичом очень уловлен хорошо. Передать разговор об Эйзенштейне – не чужеродная для Шухова мысль…

Отличен конец. Этот кружок колбасы, завершающий счастливый день. Очень хорошо печенье, которое не жадный Шухов отдает Алешке. Мы – заработаем. Он – удачлив. На!..

Художественная ткань так тонка, что различаешь латыша от эстонца. Эстонцы и Кильгас – разные люди, хоть и в одной бригаде. Очень хорошо. Мрачность Кильгаса, тянущегося больше к Русскому человеку, чем к соседям прибалтийцам, – очень верна…

Великолепно насчет лишней пищи, которую ел Шухов на воле и которая была, оказывается, вовсе не нужна. Эта мысль приходит в голову каждому арестанту. И выражено это блестяще…

Горячая баланда! Десять минут жизни заключенного за едой. Хлеб едят отдельно, чтобы продлить удовольствие еды. Это – всеобщий гипнотический закон…

Минута перед разводом – очень хороша.

Холмик сахару. У нас сахар никогда не выдавался на руки, всегда в чаю…

«Шмон» утренний и вечерний – великолепен».

Очень хорошо описана предзона и этот загон, где стоят бригады одна

за другой. У нас такая была. А на фронтоне главных ворот (во всех отделениях лагеря по особому приказу сверху) цитата на красном сатине: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!» Вот как!..

Письмо. Очень тонко, очень верно.

Насчет «красилей» – ярче картины не бывало.

Всё в повести этой верно, все правда.

(Там же. Стр. 642–652)

Из уст лагерника с таким опытом и таким стажем, как Варлам Тихонович Шаламов, все эти похвалы дорогого стоят.

Но как всё это уживается с тем его саркастическим вздохом: «Где этот чудный лагерь? Хоть бы с годок там посидеть в свое время»?

Уживается, потому что в этой картине «облегченного», «ненастоящего» лагеря нет фальши. Солженицын не «лакирует действительность», не уклоняется от страшной правды. Просто у него и у Шаламова – разный лагерный опыт. И тот лагерь, который знал Шаламов, как тут же и выясняется, тоже не обойден автором «Одного дня»:

...

Настоящий лагерь в повести тоже показан и показан очень хорошо: этот страшный лагерь – Ижма Шухова – пробивается в повести, как белый пар сквозь щели холодного барака. Это тот лагерь, где работяг на лесоповале держали днем и ночью, где Шухов потерял зубы от цинги, где блатари отнимали пищу, где были вши, голод, где по всякой причине заводили дело. Скажи, что спички на воле подорожали, и заводят дело. Где на конце добавляли срока, пока не

выдадут «весом», «сухим пайком» в семь граммов. Где было в тысячу раз страшнее, чем на каторге, где «номера не весят». На каторге, в Особлаге, который много слабее настоящего лагеря. В обслуге здесь в/н надзиратели (надзиратель на Ижме – бог, а не такое голодное создание, у которого моет пол на вахте Шухов). В Ижме... Где царят блатари и блатная мораль определяет поведение и заключенных, и начальства... Это грозное, страшное былое Вам удалось показать, и показать очень сильно, сквозь эти вспышки памяти Шухова, воспоминания об Ижме. Школа Ижмы – это и есть та школа, где и выучился Шухов, случайно оставшийся в живых. Все это в повести кричит полным голосом, для моего уха, по крайней мере.

(Там же. Стр. 642–643)

Нет, в «Иване Денисовиче» Солженицын в «поддавки» не играл. И на этой его «игре», которой был подпорчен (не испорчен, а только подпорчен!) рассказ «Случай на станции Кречетовка», наверно, не стоило бы останавливаться так надолго (ну, случился такой грех, с кем не бывает), если бы эта «игра в поддавки» не оказалась чуть ли не главным свойством его творческого метода.

Добро бы ещё, если бы это проявилось лишь годы спустя, в провальных его «узлах», которые вряд ли смогли одолеть даже самые пламенные его поклонники. Но то-то и горе, что этот изъян его художественного мышления с очевидностью выразился даже в лучших, самых значительных его художественных творениях, которыми мы зачитывались, которыми восхищались.

Я имею в виду открывшийся нам после «Ивана Денисовича» его большой роман «В круге первом», и явившуюся вслед за ним – и тоже покорившую нас тогда – его повесть «Раковый корпус».

* * *

Когда Александр Исаевич пренебрежительно сказал мне о

своём романе «В круге первом», который я тогда только что прочел: «Вы читали киндер-вариант», я, естественно, предположил, что «киндер» – это значит первоначальный, самый ранний, а потому и несовершенный вариант романа. Лишь годы спустя я узнал, что дело обстояло ровно наоборот. Самым ранним, первоначальным вариантом романа был как раз «взрослый», первый его вариант. А «киндер» – облегченный, переработанный с таким расчётом, чтобы его можно было, если и не опубликовать, так хоть открыто предлагать редакции.

...

Судьба современных русских книг: если и выныривают, то ущипанные. Так недавно было с булгаковским «Мастером» – перья потом доплывали. Так и с этим моим романом: чтобы дать ему хоть слабую жизнь, сметь показывать и отнести в редакцию, я сам его ужал и исказил, верней – разобрал и составил заново, и в таком-то виде он стал известен.

И хотя теперь уже не нагонишь и не исправишь – а вот он подлинный. Впрочем, восстанавливая, я кое-что и усовершил: ведь тогда мне было сорок, а теперь пятьдесят.

написан –1955–1958

искажён – 1964

восстановлен – 1968

(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 5)

Я многого ждал от этого нового, полного варианта «Круга». Но с особенным чувством предвкушал, как буду читать переделанные, «усовершенные» автором сталинские его главы.

Читая сравнительно недавно опубликованные дневники Л. К. Чуковской, я наткнулся в них на такую запись:

...

11 июля 1968. Внезапно явился классик...

Переделывает главы о Сталине в «Круге». (Я их и так любила)

(Лидия Чуковская. Из дневника. Воспоминания. М. 2010. Стр. 297)

Прочитав это, я вспомнил постоянные тогдашние наши (мои с Лидией Корнеевной) разговоры.

В отличие от неё, мне эти солженицынские главы о Сталине показались слабыми, – я бы даже сказал, беспомощными.

То, что Лидия Корнеевна вовсе не считала, что их стоит переделывать (любила их и такими), меня не удивляло. Она тогда (как, впрочем, и потом тоже) была в восторге от всего, написанного Солженицыным, восхищалась – буквально! – каждой его строкой.

Я тоже был покорен его большим романом – вот этим самым «киндер-вариантом». Что же касается глав о Сталине, – как и некоторых других, тоже показавшихся мне слабыми и даже провальными, – то я их ему *прощал* , утешая себя тем, что даже Л. Н. Толстой, и тот в «Войне и мире» не справился с Наполеоном. А весть о том, что Александр Исаевич решил эти главы переработать (узнал я об этом скорее всего от той же Лидии Корнеевны), дала мне повод только лишний раз восхититься общим тогдашним нашим кумиром: «Вот молодец! Сам, значит, почувствовал, что со Сталиным у него вышло не совсем ладно!»

Я не сомневался, что, читая новый, полный, «усовершенный» вариант «Круга» (когда-нибудь же я его прочту!), мне уже не придется испытывать то чувство неловкости и даже стыда, какое я испытал, читая эти главы в «киндер-варианте».

Но вышло так, что когда полный вариант «Круга» стал мне – всем нам – наконец доступен, читать я его не стал. (О том, почему так случилось, расскажу позднее).

И вот сейчас он передо мной, этот «Круг-96», в самом полном, текстологически самом выверенном и авторизованном варианте. И я, наконец, читаю эти переработанные, переписанные, «усовершенные» автором сталинские главы:

...

На оттоманке лежал человек, чьё изображение столько раз было изваяно, писано маслом, акварелью,

гуашью, сепией, рисовано углем, мелом, толчёным кирпичом, сложено из придорожной гальки, из морских ракушек, поливанной плитки, из зёрен пшеницы и соевых бобов, вырезано по кости, выращено из травы, вытканно на коврах, составлено из самолётов, заснято на киноплёнку, – как ничьё никогда за три миллиарда лет существования земной коры...

Имя этого человека склоняли газеты земного шара, бормотали тысячи дикторов на сотнях языков, выкрикивали докладчики в началах и окончаниях речей, выпевали тонкие пионерские голоса, провозглашали во здравие архиереи. Имя этого человека запекалось на обмирающих губах военнопленных, на опухших дёснах арестантов. По этому имени во множестве были переназваны города и площади, улицы и проспекты, дворцы, университеты, школы, санатории, горные хребты, морские каналы, заводы, шахты, совхозы, колхозы, линкоры, ледоколы, рыболовные баркасы, сапожные артели, детские ясли – и группа московских журналистов предлагала также переименовать Волгу и Луну.

А он был просто маленький желтоглазый старик с рыжеватыми (их изображали смоляными), уже редеющими (изображали густыми) волосами; с рытвинками оспы кое-где по серому лицу, с усохшею кожной сумочкой на шее (их не рисовали вовсе); с тёмными неровными зубами, частью уклонёнными назад, в рот, пропахший листовым табаком; с жирными влажными пальцами, оставляющими следы на бумагах и книгах.

К тому ж он чувствовал себя сегодня неважно: и устал, и переел в эти юбилейные дни, в животе была тяжесть каменная, и отрыгалось тухло...

(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 86)

Опять все та же, уже хорошо знакомая нам «игра в поддавки». И в самом откровенном, обнаженном варианте.

Начинается она – а потом и продолжается – с утомительно однообразного подчеркивания карикатурно уродливой внешности вождя и злорадного любования его старческой немощью:

...

...о чем думал он, сопя погасшей трубкой, невыразительно глядя на министра поверх своего кляплого, свисающего носа?

(Там же. Стр. 115)

...

Вот они, вот они все здесь, на полках, без переплётов, в брошюрах двадцатых годов, – захлебнувшиеся, расстрелянные, отравленные, сожжённые, попавшие в автомобильные катастрофы и кончившие с собой! Отовсюду изъятые, преданные анафеме, апокрифические – здесь они выстроились все! Каждую ночь они предлагают ему свои страницы, трясут бородёнками, ломают руки, плюют в него, хрипят, кричат ему с полок: «Мы предупреждали!», «Нужно было иначе!»... Их победитель, в мундире генералиссимуса, с низко-покатым назад лбом питекантропа, неуверенно брёл мимо полок и

пальцами скрюченными держался, хватался, перебирал по строю своих врагов...

...Заломили, почти отняться готовы были ноги. Тяжёлыми волнами било в голову, слабеющая цепь мыслей распалась – и он совсем забыл, зачем подошёл к этим полкам? о чём он только что думал?

Он опустился на близкий стул, закрыл лицо руками.

Это была собачья старость...

(Там же. Стр. 126)

Другой краской, посредством которой Солженицын, как ему это, видимо, представляется, ещё больше приближается к решению поставленной им перед собой художественной задачи, становится неистребимый кавзказский (грузинский) акцент вождя.

Акцент – любой: украинский, грузинский, немецкий, – это, вообще-то, самый легкий способ индивидуализировать речь персонажа. И пользуются им с самыми разными целями. Чаще для того, чтобы придать персонажу комические черты, высмеять или даже разоблачить его. Но нередко – и с противоположной целью: чтобы сделать изображаемую фигуру привлекательной, не лишенной некоторого своеобразного обаяния.

Именно с этой целью легкий грузинский акцент эксплуатировал, изображая вождя, знаменитый сталинский «двойник» Михаил Геловани. И Сталин не возражал. Ему, вероятно, это даже нравилось. До тех пор, пока его не сыграл, обойдясь без всякого акцента, Алексей Денисович Дикий.

Рассказывали, что Сталин не только принял, одобрил и поощрил его смелое актерское решение, но даже удостоил аудиенции.

Был накрыт маленький столик, на котором утвердилась бутылка хорошего конька и скромная закуска. Как рассказывали, совсем скромная: лимон, ещё какие-то мелочи.

Чокнулись, выпили, закусили.

Сталин сказал:

– Как вам удалось так замечательно меня сыграть? Ведь мы с вами до сегодняшнего дня ни разу не встречались.

– А я играл не вас, – будто бы ответил Алексей Денисович.

– ???

– Я играл представление народа о вожде.

И Сталину такой ответ будто бы очень понравился.

История эта «пошла в народ», разумеется, со слов Дикого, и не исключено, что, рассказывая о своей встрече с вождем, Алексей Денисович кое-что и приукрасил. А может быть, это – легенда, миф. Может быть, ничего такого вовсе даже и не было.

Но скорее всего – было. Уж очень это похоже на Сталина. На его отношение к «образу вождя»:

...

Приемный сын Сталина, Артем Сергеев, вспоминал, что вождь сердился на своего родного сына Василия, так как тот использовал его фамилию.

– Но я тоже Сталин, – говорил Василий.

– Нет, ты не Сталин, – гневно возразил его отец. – Ты не Сталин, и я не Сталин. Сталин – это советская власть! Сталин – это то, что пишут о нем в газетах и каким его изображают на портретах. Это не ты, и даже не я!

(Симон Себаг Монтефиоре. Сталин. Двор Красного монарха. М. 2005. Стр. 15)

Как бы то ни было, Дикого Сталин обласкал. За созданный им небанальный «образ вождя» не только наградил его двумя Сталинскими премиями, но даже на время заменил им своего любимца Геловани.

Это объяснить совсем уже легко.

«Мы, русские люди старшего поколения, – сказал Сталин в день победы над Японией, – сорок лет ждали этого дня». И в самой тональности этой реплики чувствуется, что ему нравилось не только сознавать себя, но и выглядеть в глазах народа не нацменом каким-нибудь, а именно вот таким «русским человеком старшего поколения».

Все это, впрочем, не помешало ему вскоре буркнуть про Дикого, что «с таким брюхом нельзя играть вождя», и вернуть на роль своего неизменного «двойника» все того же Геловани с его грузинским акцентом.

Все это я к тому, что использование и даже эксплуатация национального акцента как некой выразительной художественной краски – не только в кино и театре, но и в художественной прозе – вещь вполне законная. Весь вопрос в том, как ею, этой художественной краской, пользоваться.

Взять, скажем, знаменитую реплику Сталина об Ахматовой.

Узнав о её встрече с Исайей Берлином, вождь будто бы сказал:

– Оказывается, наша монахиня принимает у себя иностранных шпионов.

Вставляя её в художественную ткань своего повествования, писатель может воспроизвести её по-разному. Скажем, вот так, как я тут сейчас её записал. А может при этом, чтобы придать ей большую характерность, подчеркнуть в ней грузинский акцент, с которым она была произнесена. Для этого довольно в одном только её слове изменить всего лишь одну букву: вместо «монахиня» написать – «монахыня».

А можно и всю фразу записать, скажем, так:

– Аказываэтся наша манахыня прынымаэт у сэбя инастранных шьпиёнов.

Можно, конечно. Но каждый мало-мальски профессиональный литератор по этому пути не пойдет, понимая, что путь этот в самой своей основе – **антихудожественный** .

Солженицын, пренебрегая азбукой художественного вкуса и такта, без колебаний вступает именно на этот путь.

Сталин у него разговаривает так:

...

– А шьто ты придпринимайшь па линии безопасности партийных кадров?

(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 118)

...

– Слюшай, – спросил он в раздумьи, – а шьто? Дэла по террору идут? Нэ прекращаются?..

(Там же. Стр. 119)

– Харашё, харашё... Значит, ты считайшь – нэдовольные ещё есть в народе?

(Там же. Стр. 119)

…

– Ты праваславный?.. А ну, пэрэкрестысь! Умейшь?.. Маладэц!

(Там же. Стр. 125)

…

– Ёсь Сарионыч! Вы сегодня на полтретьего Абакумову назначали. Будете принимать? Нет?..

– Пасмотрым, – устало ответил Сталин и моргнул. – Нэ знаю...

(Там же. Стр. 91)

…

– Зачэм мне эти передатчики? Квартырных варов ловить?

(Там же. Стр. 48)

…

– Ладна... Ыды пока, Саша...

(Там же. Стр. 92)

Тут коробит не столько даже вопиющее дурновкусие этих речевых характеристик, сколько исходящий от них густой аромат ксенофобии. Чувствуется, что автору тут важно не просто унизить Сталина, не только ещё ниже «опустить» его, но и наглядно продемонстрировать его *нерусскость* , жирно подчеркнуть, что он, Сталин, – *нацмен, чечмек, «Гуталин»,* как его называли в народе.

К теме солженицынской ксенофобии мне ещё не раз придется обращаться. Пока же хочу отметить только одно: не Сталина я тут защищаю, а – **достоинство литературы** .

Есть предел, ниже которого художник, давая волю самым низменным своим чувствам, не должен опускаться.

* * *

Чуть ли не при первой же своей встрече с Солженицыным К. И. Чуковский сказал ему:

– Вам теперь не о чем беспокоиться. Ведь вы уже прочно заняли в русской литературе второе место после Толстого.

Александр Исаевич принял это как должное. Он и сам мерил себя этой мерой. Но, сознавая себя вторым после Толстого (а может быть, даже и не «после», а где-то с ним рядом), он не мог не думать о том, что должен быть равен Толстому и в его умении проникать в душу любого из своих героев, в самые тайные глубины его психики.

К Сталину это относилось даже в большей мере, чем к кому другому из его персонажей. Кого-кого, но уж его-то он просто обязан был показать не только извне, но и *изнутри* . Не сделав этого, просто невозможно было понять, – а тем более показать, – ЧТО ТАКОЕ СТАЛИН.

Посмотрим же, как он справляется с этой – им же самим поставленной перед собою задачей:

...

…Он перелистывал книжечку в коричневом твердом переплете. Он с удовольствием смотрел на фотографии и местами читал текст, уже почти знакомый наизусть, и опять перелистывал. Книжечка была тем удобна, что могла, не погнувшись, поместиться в кармане пальто – она могла повсюду сопровождать людей в их жизни. Страниц в ней было четверть тысячи, но редким крупным толстым шрифтом, так что и малограмотный, и старый могли без утомления её читать. На переплёте было выдавлено и позолочено: «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография».

Незамысловатые честные слова этой книги ложились на человеческое сердце покойно и неотвратимо.

Стратегический гений. Его мудрая прозорливость. Его мощная воля. Его железная воля. С 1918 года стал фактическим заместителем Ленина. (Да, да, так и было.) Полководец революции застал на фронте толчею, растерянность. Сталинские указания лежали в основе оперативного плана Фрунзе. (Верно. Верно.) Это наше счастье, что в трудные годы Отечественной войны нас вёл мудрый и испытанный Вождь – Великий Сталин. (Да, народу повезло.) Все знают сокрушительную силу сталинской логики, кристальную ясность его ума. (Без ложной скромности – всё это правда.) Его любовь к народу. Его чуткость к людям. Его нетерпимость к парадной шумихе. Его удивительную скромность. (Скромность – это очень верно.)…

Три дня назад отгремело его славное семидесятилетие…

Семидесятилетие праздновал так. 20-го вечером забили насмерть Трайчо Костова. Только когда глаза его собачьи остеклели – мог начаться настоящий праздник. 21-го в Большом театре было торжественное чествование, выступали Мао, Долорес и другие товарищи. Потом был широкий банкет. Ещё потом – узкий банкет. Пили старые вина испанских погребов, когда-то присланные за оружие. Потом отдельно с Лаврентием – кахетинское, пели грузинские песни. 22-го был большой дипломатический приём. 23-го смотрел о себе вторую серию «Сталинградской битвы» и «Незабываемый 1919-й».

Хотя и утомив, произведения

эти ему очень понравились. Теперь всё более и более правдиво вырисовывается его роль не только в Отечественной, но и в Гражданской войне. Видно, каким большим человеком он был уже тогда. И экран и сцена показывали теперь, как часто он серьёзно предупреждал и поправлял слишком опрометчивого, поверхностного Ленина...

(Там же. Стр. 86–88)

Тут не так даже важно, что Сталин в этом отрывке предстает перед нами тупым самовлюбленным болваном. Это, кстати сказать, полностью соответствует представлению Солженицына о том, каким был он в действительности и к чему, в конце концов, свелась его роль в создании нашего государства. Его точка зрения на этот счет кардинально отличается от общепринятой, о чем можно судить хотя бы по такому его высказыванию:

...

И в тюремные и в предтюремные годы я тоже считал, что Сталин придал роковое направление советской государственности. Но вот Сталин тихо умер – и уж так ли намного изменился курс корабля? Какой отпечаток собственный, личный он придал событиям, так это унылую тупость, самодурство, самовосхваление.

(Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. Том первый. М. 1989. Стр. 605)

Чтобы убедиться в том, что это совсем не так, не надо быть ни историком, ни политологом, ни экономистом. Вот уже двадцать лет, как развалился, распался Советский Союз. Это было событие поистине гигантского исторического масштаба. В сущности, это ведь был распад не Советского Союза, а четырехсотлетней Российской империи, окончательный крах которой большевики задержали на семьдесят лет.

В России утвердился новый политический строй. Сменилась

форма собственности. Да мало ли, что ещё произошло за минувшие после смерти Сталина годы. НО СТРАНА ПО-ПРЕЖНЕМУ БАРАХТАЕТСЯ В КОЛЕЕ, ПРОЛОЖЕННОЙ СТАЛИНЫМ. И одному только Богу известно, когда ещё она сумеет – и сумеет ли? – из этой колеи выкарабкаться.

Но, – повторю ещё раз, – для оценки сталинских глав солженицынского романа всё это особого значения не имеет. Тут важно другое: насколько достоверно, убедительно сумел он эту свою концепцию выразить, воплотить в живой художественный образ.

В то самое время, когда до меня дошел уже ходивший в Самиздате роман Солженицына «В круге первом», случилось мне прочесть другой роман, одним из героев которого, – можно даже сказать, главным его героем, – тоже был Сталин.

Это был роман Анатолия Рыбакова «Дети Арбата».

До публикации этого – впоследствии знаменитого – романа тогда было ещё далеко. А в Самиздат, – в отличие от Солженицына, – Анатолий Наумович его не пустил. Но он уже тогда – обдуманно, избирательно, но всё же довольно широко – давал его читать. Дал и мне.

Но слух об этом его романе докатился до меня задолго до того, как мне случилось его прочесть. Докатился в таком контексте:

– Толя-то Рыбаков совсем спятил! – сказал мне один из наших общих знакомых. – У меня, говорит, Сталин написан лучше, чем у Солженицына.

Услышав это, я, признаться, тоже подумал: да, закружилась головка у Анатолия Наумовича!

Но, прочитав рукопись, вынужден был признать: да, верно... Что правда, то правда. У него Сталин действительно написан лучше.

«Лучше», «хуже», – это, конечно, были не те слова, которые в этом случае следовало бы употребить. Не в том тут было дело, что у Рыбакова Сталин был «лучше написан», чем солженицынский, а в том, что он был не в пример достовернее, **художественно убедительнее** солженицынского:

...

Сталин встал с кресла; где-то над головой летала пчела, гудела и гудела над самым ухом. Сталин отмахнулся от неё, она отлетела,

села на стол, поползла к пепельнице, он прихлопнул её томом Ключевского.

– Подлость, – сказал по-грузински, – подлость! – снова усаживаясь в кресло и возвращаясь к мыслям о тех временах, о подлой брошюре Авеля Енукидзе.

В этой брошюре Енукидзе вздумал вдруг рассказывать о подпольной типографии, которая существовала в Баку под кличкой «Нина».

Типография подчинялась Ленину, переписка шла через Крупскую, руководили типографией Красин, Енукидзе и Кецховели. Больше ни один человек, как пишет Авель, о ней не знал, следовательно, не знал и ОН, Сталин. ЕМУ, Сталину, о ней даже не говорили.

Красина, этого инженера-электрика на службе у Ротшильдов и Манташевых, можно понять: Ленин приказал ему соблюдать максимальную конспирацию. На него ОН не в обиде: Красин давно умер. И Кецховели умер. И не эта маленькая типография решала судьбы революции. Так обстояло дело тогда.

По-другому обстоит дело сейчас. ОН не нуждается в бакинских, тифлисских, закавказских лаврах. ЕМУ нужна истинная история партии, а истинная история партии только та, которая служит интересам и авторитету её руководства.

Если ОН не знал о существовании в Баку, рядом с ним, подпольной типографии, то как можно теперь утверждать, что ОН руководил партией в России? Если ОН руководил партией, значит, он не мог

не знать о существовании типографии. Отрицать это – значит отрицать его роль как первого помощника Ленина. Неужели этого не понимает товарищ Авель Енукидзе? Не может не понимать. Зачем же выпустил брошюру, из которой явствует, что товарищ Сталин не имел никакого отношения к типографии «Нина»? Зачем это понадобилось товарищу Енукидзе?..

Эту подлую провокационную брошюру надо разнести в пух и прах. Авель, конечно, начнет отрекаться, плакаться, каяться, а кающийся человек – политически конченый человек. Существует ли он после этого физически, уже никого не интересует, кроме родных и близких. Родные и близкие переживут.

Кому поручить написать об этой брошюре? Лучше кому-нибудь из старых бакинцев. Но кто остался из старых бакинцев?

Орджоникидзе бывал в Баку, работал в Балахнинском районе на нефтяных промыслах Шамси Асадулаева – фельдшером в приемном покое, небольшом домике на окраине Романов. ОН хорошо помнит этот домик: две комнаты, в одной Серго жил, в другой вел прием. Хорошая была явочная квартира, удобная, мало ли кто ходит к фельдшеру. Проработал там Серго, наверно, с год, потом бывал в Баку наездами. Настоящий свидетель, хороший свидетель, но отговорится занятостью, к тому же друг Авеля Енукидзе, разве станет свидетельствовать против друга...

Остается Киров. До революции он в Баку не бывал, но после революции пять лет был хозяином

Азербайджана, имел доступ ко всем архивам, хорошо изучил историю бакинской партийной организации, человек грамотный, дотошный. Вот ему бы ответить на брошюрку Енукидзе, ему бы своим авторитетом опровергнуть ненужную партии версию и, наоборот, поддержать версию, укрепляющую авторитет партийного руководства. На словах он превозносит товарища Сталина – слов мало. Именно поэтому он и вызвал Кирова в Сочи, пусть поработает рядом, пусть покажет, каков он сейчас.

(Анатолий Рыбаков. Дети Арбата)

Разговор с приехавшим по его вызову в Сочи Кировым об этой злосчастной брошюрке Авеля Енукидзе Сталин заводит словно бы мимоходом, невзначай. Начинает издалека, – сперва о воспоминаниях Крупской, в которых она будто бы преувеличила роль Плеханова. Потом – о статье Поспелова в «Правде», исправившей эту политическую ошибку Надежды Константиновны. И вот, наконец, подбирается к главному:

…

Сталин усмехнулся:

– Всех потянуло на мемуары. Вот и Авель Енукидзе туда же.

Из этой же папки, снова обернувшись к журнальному столику, Сталин достал брошюру Енукидзе, показал её Кирову.

– Читал?

Киров читал брошюру Енукидзе и понимал, что´ в ней не устраивает Сталина. На минуту у него шевельнулось желание сказать, что не читал, и тем уйти от разговора. Но тогда Сталин предложит

прочитать и от разговора все равно не уйти.

– Да... Просматривал... Она мне попадалась...

Сталин уловил уклончивость ответа.

– «Попадалась», «просматривал», – повторил он. – Так вот, из этой брошюры получается, что о существовании типографии «Нина» знали только три человека: Красин, Енукидзе и Кецховели. Откуда Авелю Енукидзе это известно?

– Он был одним из руководителей типографии.

– Вот именно, «одним из»... Были ещё Красин, Кецховели. И Кецховели не скрывал от меня её деятельности. Но Красина и Кецховели нет в живых. В живых только Авель Енукидзе, однако тот факт, что он живой, ещё не дает ему права представлять историю типографии так, как ему хочется, а не так, как оно было в действительности.

– По-видимому, Енукидзе не знал о том, что вы были в курсе дела, – сказал Киров, – вероятно, он был убежден, что ленинская директива выполняется точно.

– Какая директива? – насторожился Сталин.

– Директива о том, что никто, кроме Красина, Енукидзе, Кецховели и наборщиков, не должен знать о типографии.

– Откуда ты знаешь об этой директиве?

– Это факт общеизвестный.

– Что значит «общеизвестный»? Это выдумал Енукидзе, и все поверили. Типография действительно подчинялась заграничному центру. Но

из чего следует, что я ничего не знал о ней? Зачем это понадобилось товарищу Енукидзе? Это понадобилось для того, чтобы доказать, что нынешнее руководство ЦК не является прямым наследником Ленина, что до революции Ленин опирался не на нынешних руководителей партии, а на других людей, более того, он этим людям доверял, а нынешним руководителям не доверял. На чью мельницу льет воду товарищ Енукидзе?..

– Я думаю, вы несколько сгущаете краски, – нахмурился Киров, – просто не дело Енукидзе писать такие брошюры, он не историк и не писатель. Я сомневаюсь, что он хочет дискредитировать партийное руководство. Он честный, искренний человек и любит вас.

Сталин исподлобья, в упор смотрел на Кирова, глаза его были желтые, тигриные. Все больше раздражаясь, а потому говоря с сильным акцентом, он сказал:

– Честность, искренность, любовь – это не политические категории. В политике есть только одно: политический расчёт.

Разговор становился тягостным. Со Сталиным в последнее время вообще стало трудно разговаривать, а когда он раздражался, особенно.

– Можно поправить товарища Енукидзе, – примирительно сказал Киров, – указать на его некомпетентность в вопросах истории.

– Да, – подхватил Сталин, – если бы это написал какой-нибудь историк, его мог бы поправить другой историк. Но это написал член ЦК,

один из виднейших руководителей страны. Поправить его следует на том же уровне. – Он в упор смотрел на Кирова. – Ты пять лет возглавлял бакинскую партийную организацию, твое выступление было бы наиболее авторитетным.

Киров был поражен. Такого ещё не бывало. Он, член Политбюро, должен публично засвидетельствовать, что Сталин был руководителем типографии «Нина», о существовании которой даже не знал, тут Енукидзе прав. Почему такое предложение делается ему? Проверяется лояльность? Она достаточно проверена, и если надо проверить ещё раз, то не на таком примере.

– Я никогда не занимался историей, – сказал Киров, – и не в курсе данного конкретного вопроса. Кроме того, в тот период, о котором идет речь, я не был в Баку.

– Ну что ж, – спокойно ответил Сталин, – как говорится: на нет и суда нет. Я надеюсь, что в партии найдутся товарищи, способные ответить Авелю Енукидзе.

(Там же)

Солженицынский «портрет» Сталина явно проигрывает в сравнении с этим – реалистически точным, психологически достоверным. Собственно, у Солженицына это даже и не портрет, а **карикатура** . И к тому же выдержанная в том, хорошо нам знакомом, эстетическом каноне, в каком на страницах «Правды» или «Крокодила» знаменитые советские карикатуристы (Кукрыниксы, Борис Ефимов) изображали империалистов, сионистов и всяких иных наших заклятых классовых врагов (с «кляплым, свисающим носом», «с низко-покатым назад лбом питекантропа»).

Картина получается странная, отчасти даже загадочная.

Анатолий Рыбаков в моих – да и не только моих – глазах был не более, чем беллетристом средней руки. А Солженицын...

«Великим Писателем Земли Русской», как некогда Толстого, его тогда ещё не называли. Но к этому было уже близко.

Как же могло случиться, что там, где «беллетрист средней руки» добился столь очевидного и несомненного успеха, «Великого Писателя Земли Русской» постигла такая же очевидная и несомненная неудача? Можно даже выразиться ещё резче: такой очевидный и несомненный провал?

Но может быть, это вовсе и не было провалом? Может быть, Солженицын сделал со своим Сталиным именно то, чего добивался? Решал – и решил! – именно ту художественную задачу, которую перед собой поставил?

Да, конечно, карикатура – такой же законный жанр, как портрет, и в принципе такое художественное решение тоже возможно. Но – не в романе же, где эта плакатная стилистика разрывает ткань реалистического повествования!

Кто-нибудь наверняка тут скажет, что для такой фигуры, как Сталин, можно сделать исключение даже и в романе. (Как сделал это Л. Н. Толстой со своим Наполеоном).

Но то-то и беда, что у Солженицына, – даже в самых крупных, самых художественно значимых его книгах, – такое плакатное решение стало не исключением из правила, а – **правилом** .

* * *

Ярче всего это выявилось в фигуре одного из центральных персонажей повести Солженицына «Раковый корпус» – Русанова.

О художественной неубедительности этого образа на обсуждении «Ракового корпуса» (первой его части, вторая тогда ещё не была написана) говорили все. Не только те, кто – по долгу службы – склонен был отнестись к этой солженицынской повести настороженно, но и самые пылкие её защитники.

…

Ю. Карякин:

Есть у меня одно-единственное внутреннее несогласие с автором, которое мне трудно сформулировать. Я вижу человека Солженицына, который не может простить Русанову все, что тот совершил. Камю при получении

Нобелевской премии сказал, что высшее искусство не прокурорно. Человека можно повернуть и так и этак. Великая победа художника Солженицына состояла бы в том, что, ненавидя Русанова и благословляя смерть за то, что хоть смерть – управа на русановых, – он тем не менее и в нем сумеет найти, обнаружить человечное. Если это невозможно, тогда мы остаемся с безнадежной концепцией первородного греха...

Высшая мера наказания в искусстве не совпадает с высшей человеческой мерой. В искусстве надо, чтобы злодей либо, как Иуда, повесился, либо – иди искупай... Все человеческое в Русанове пока загнано под кожу.

(Обсуждение первой части повести «Раковый корпус» на заседании секции прозы Московской писательской организации. 17 ноября 1968 года. В кн.: Александр Солженицын. Собрание сочинений. Том шестой. Frankfurt/Main, 1970. Стр. 173)

...

Е. Мальцев:

Мне тоже кажется, что Русанов излишне прямолинеен и однозначен. Даже где-то и оглуплен. Автор взял нетронутый искусством пласт, но в жизни все сложнее.

(Там же. Стр. 174)

...

Л. Кабо:

Русанов написан неровно. Я вся зашлась (простите за вульгаризм), когда он вступает в спор на тему «чем люди живы» и уверенно произносит: «идейностью и служением обществу», а в это время прокусывает самый сладкий хрящик курицы. Но кое-где в этом образе есть публицистические перехлёсты. Всё пережитое, ненависть к Русанову хватает автора за горло...

(Там же. Стр. 169)

...

З. Кедрина:

Мы согласны с Костоглотовым в его ненависти к Русанову, не найдется ни одного человека, который будет защищать Русанова... Но в Русанове все только названо... Всё дано прямолинейно.

(Там же. Стр. 167)

О Русанове, правда, всё это говорится с оговорками, с признанием, что при всей своей художественной уязвимости именно фигура Русанова во многом определяет ценность солженицынской повести, её «гражданский успех».

...

А. Борщаговский:

...Необходимо воспитывать ненависть к русановым... Воспитать ненависть необходимо во имя борьбы с живыми остатками русановщины. И здесь большой гражданский успех книги.

(Там же. Стр. 157)

Но по поводу того, как изображена в повести семейка

Русанова, – его жена Капиталина и в особенности его дочь Авиета, – ни у кого не было уже ни малейших сомнений. Все ораторы единодушно сошлись на том, что это не просто очевидная неудача автора, и даже не просто провал, а прямо-таки **катастрофа** .

Особенно фальшивым, далеко выходящим за пределы жизненного правдоподобия многим ораторам показалось (и справедливо) то обстоятельство, что о доносах Русанова знала не только его жена, но и дочь:

…

И. Винниченко:

Мне не понравился образ Капы, она однолинейна, неясно, почему она в курсе доносов мужа? Совершенно неестественно, что и дочь об этом знает и даже успокаивает отца.

(Там же. Стр. 162)

…

Н. Асанов:

Не нужно, чтобы и жена и Авиета знали о его доносах.

(Там же. Стр. 163)

На эти упреки Солженицын счел нужным ответить, не дожидаясь конца обсуждения, а тут же, по ходу дела. В стенограмме это отмечено такой короткой ремаркой:

…

Солженицын дает фактическую справку: о доносах Русанова была осведомлена только его жена; дочери они решили сказать лишь в последний момент.

(Там же. Стр. 168)

Хорошо помню, что эта его «фактическая справка» меня тогда

прямо-таки изумила.

Что это значит – «в последний момент»? Когда с того света стали возвращаться люди, которых он отправил туда своими доносами?

И разве в том было дело, КОГДА она узнала, что её отец – мерзавец, у которого руки по локоть в крови? Тут ведь важно совсем другое: КАК, УЗНАВ ОБ ЭТОМ, ОНА ЭТО ПРИНЯЛА.

* * *

В то самое время, когда в Союзе писателей обсуждался уже ходивший в Самиздате солженицынский «Раковый корпус», явился на свет другой роман, другого писателя, в котором тоже, – по слову Ахматовой, – встретились и поглядели друг другу в глаза две России: та, что сидела, и та, что сажала.

Эта тема, как и у Солженицына, была в том романе главной и, как и у Солженицына, обозначилась в нем сразу, с первых же его страниц. Но, в отличие от солженицынской повести, здесь той России, что сажала, прежде, чем встретиться с той, что сидела, предстояло поглядеть в глаза своим выросшим детям.

...

Валерий Павлович поднял глаза от газеты.

– А что случилось?

– Решительно ничего.

– Все-таки?

– Алеша сказал грубость историку и получил тройку по поведению.

Валерий Павлович отложил газету.

– Он дома?

– Да, но только...

– Позови его.

Мария Ивановна умоляюще сложила руки, но у него опасно потускнели глаза, и она торопливо пошла за сыном...

Алеша вошел, потупясь... Он был похож на мать – длинный, бледный, с

широко расставленными глазами.

– Алеша, расскажи отцу... За что ты получил тройку по поведению?

– Я писал контрольную, а Геннадий Лукич подошел и отобрал.

– Почему?

– Не знаю. Очевидно, решил, что я списываю у Женьки.

– И это все?

– Да.

– Неправда, Алеша, – возразила Мария Ивановна. – Ты сказал ему грубость.

– Не сказал, а прошептал. Я не виноват, что он расслышал. Вообще я не списывал.

– Допустим. Но все-таки... Что ты ему сказал?

Алеша не ответил...

– Говори! – бешено крикнул Валерий Павлович...

Алеша покраснел болезненно, слабо. Он смотрел в сторону, с трудом удерживая дрожащие губы.

– Если вы непременно хотите знать, я сказал, что он – сволочь.

– Что?

Алеша поднял глаза на отца, вскрикнул и побежал к двери. Мария Ивановна догнала его.

– Алеша, я очень прошу тебя... Должна же быть причина...

– Потому что он сволочь, сволочь, сволочь! Из-за него честных людей расстреливали. Он гад!..

– Ах, вот в чем дело! Тогда сядем. – Он взял стул. – И поговорим спокойно.

– Валерий, я прошу тебя... Тебе вредно волноваться.

– А я и не волнуюсь... Видишь ли в чем дело, Алеша... Ты осмелился обвинить своего преподавателя в

тяжелом преступлении. На каком основании? У тебя есть доказательства? А если это клевета? Нет, Алеша, преступление в данном случае совершил не он, а ты. И называется оно – ты ещё не знаешь этого слова – инсинуацией... Ты сегодня же извинишься перед историком...

– Разумеется, – поспешно подтвердила Мария Ивановна, взглянув на сына, который, упрямо опустив голову, направился к двери.

(В. Каверин. Двойной портрет. Роман. М. 1967. Стр. 6–8)

Время действия этого романа Каверина, как и солженицынской повести, – 1954 год. И Валерий Павлович Снегирев, – главный его герой, – как и солженицынский Русанов, чувствует, как уходит из-под его ног земля.

Его положение даже хуже, чем у Русанова. Тот только опасается возможных разоблачений, только страшится очных ставок с людьми, на которых писал доносы. А у Снегирева эти неприятности уже начались. Уже состоялась и очная ставка в редакции газеты с вернувшимся из лагеря профессором Остроградским, которому своими доносами и многолетней травлей он сломал жизнь. И уже появилась в газете разоблачающая его статья.

Но он – крупнее, сильнее Русанова. И этот удар, наверно, как-нибудь выдержал бы. Во всяком случае, сдаваться он не собирается. И еще неизвестно, кто – кого! Он – не чета своему дружку Крупенину, с которым они вместе травили Остроградского и который, кажется, уже готов признать пораженье:

...

...Лариса Александровна позвонила Снегиреву и попросила его приехать как можно скорее.

– А что случилось?

– С Василием нехорошо.

– Болен?

– Нет, но... Словом, я жду вас. Это необходимо.

Она встретила Снегирева, тщательно причесанная, прибранная, как всегда, но с припухшими глазами и опустившимся после бессонной ночи лицом.

– В том-то и дело, что не знаю и ничего не могу понять, – сказала она. – Вчера Василий пошел проститься с Женей и вернулся расстроенный, хотя как будто не очень. Ночью ему не спалось, ворочался, а под утро, когда я задремала, тихонько вышел и с тех пор...

Они разговаривали в столовой, дверь из кабинета была закрыта, но оттуда были слышны какие-то всхлипывания, вскрики.

– Я уговаривала, умоляла, ему вообще нельзя пить. Куда там! Кричит. Что произошло между ними? Женя спокоен, ушел в школу, как всегда, потом позвонил, что вернется поздно, у них какой-то вечер...

Дверь распахнулась, и Крупенин, обмякший, в туфлях на босу ногу, в ночной рубашке и пижамных штанах, которые он подтягивал неверной рукой, показался на пороге.

– А, братец кролик! Здорово!

– Здравствуй, здравствуй, – холодно сказал Снегирев.

– Ну, садись! Я, правда, тебя не звал. Но коли пришел, садись...

Он долго пьяно смотрел на Снегирева...

– Сыновей-то мы с тобой проморгали?

Он сказал другое слово, покрепче. Лариса Александровна вздрогнула и вышла.

– Науку проморгали. – Он снова назвал то же слово. – Значит, так и будем жить?

Снегирев подошел и сильно встряхнул его.

– Постыдись!

– Ну! – Крупенин замахнулся, но не стал бить, а рухнул на диван и заплакал.

Снегирев молча ждал. У него ещё утром раза два-три неприятно останавливалось сердце, пропуская удар, другой. И сейчас остановилось, пропустило.

– Знаешь, о чем меня Женька вчера спросил? Причем, заметь, совершенно спокойно: «Ты помнишь эту историю с Геннадием Лукичом, папа? Ну, с нашим историком? Мы его продолжаем бойкотировать… Ты, помнится, был на нашей стороне. Так вот я хочу тебя спросить: как ты относишься к Снегиреву, который, по-видимому, недалеко ушел от этого Геннадия Лукича?»

Валерий Павлович побледнел.

– Что, братец? Ноздри раздул? Ноздри будешь потом раздувать. Завтра тебя об этом Алешка спросит…

И тяжелой пепельницей из уральского камня он запустил в зеркало полубуфета. Стекло посыпалось. Испуганная Лариса Александровна заглянула. Снегирев махнул ей. Она закрыла дверь.

– Послушай, Василий…

Крупенин отвел его сильной толстой рукой.

– Уйди. Ты у меня сына отнял.

– Здравствуйте.

– Добрый вечер. Уйди, черная душа.

Крупенин вытер платком мокрое

лицо...

До поздней ночи Снегирев провозился с Крупениным. Он ругал его, пил с ним, снова ругал. Он уговорил его принять прохладную ванну – и ушел без сил, когда Василий Степаныч захрапел на полуслове, опустив всклокоченную голову на грудь и уютно сцепив руки на животе, выпирающем из пижамных штанов.

(Там же. Стр. 209–213)

Вот и эту проблему он как будто бы решил.
Но мысли о сыне его не оставляют.

...

– Ох, устал! Завтра расскажу, – сказал, вернувшись домой, Валерий Павлович. – Алеша спит?

– Да...

– Как его дела?..

– Все в порядке.

– А вот ты однажды сказала: «Его нельзя узнать». В каком смысле?

– Я так сказала? Не помню. Почему ты заинтересовался?

– Просто так. Как он учится?

– Хорошо. У него только по истории тройка. Ты будешь ужинать?

– Нет...

Валерий Павлович принял снотворное, переоделся, но не стал ложиться, а, почитав немного, прошел к сыну. В Алешиной комнате было прохладно, форточка открыта, лампочка уютно светилась в глубине стоявшего на ночном столике молочного, матового шара. Мальчик спал в странной, неудобной позе, которую Мария Ивановна считала

полезной – на спине, с лежащими поверх одеяла руками. Руки были длинные, узкие, и все тело мальчишески узкое, вытянувшееся под тонким одеялом. Грудь поднималась чуть заметно.

Наклонившись над постелью, Снегирев внимательно смотрел на Алешу. Так он простоял долго, сам не зная зачем и ничего, кажется, не желая. Вдруг веки у мальчика дрогнули.

– Спишь? – чуть слышно спросил Валерий Павлович.

Веки все дрожали, но теперь уже как-то иначе, чем прежде.

Валерий Павлович быстро выпрямился. Ему стало страшно, холод пробежал по спине, сердце пропустило удар, забилось быстро и опять пропустило.

Теперь он наверное знал, что Алеша не спит, но спросить его снова было уже невозможно.

(Там же. Стр. 213–215)

Свой социальный статус и даже и свое место в науке Валерий Павлович Снегирев, может быть, и сохранит. Но прежние его отношения с сыном, похоже, уже невосстановимы.

С солженицынским Русановым ничего подобного не происходит и не может произойти. У него в семье – мир и согласие. И на его отношения с дочерью никогда не ляжет никакая тень. У него с ней – полное взаимопонимание:

…

Хотя никто их, как будто, не слушал, всё же она наклонилась к отцу близко, и так стали они говорить друг для друга только.

– Да, папа, это ужасно, – сразу подступила Авиета к главному. – В Москве это даже не новость, об

этом много разговоров. Начинается чуть ли не массовый пересмотр судебных дел... Это сейчас какая-то эпидемия. Шараханье! Как будто колесо истории можно повернуть назад!.. И потом, что значит само слово «реабилитирован»? Ведь это ж не может значить, что он полностью невиновен! Что-то обязательно там есть, только небольшое.

Ах, какая ж умница! С какой горячностью правоты она говорила! Ещё не дойдя до своего дела, Павел Николаевич уже видел, что в дочери он встретит поддержку всегда...

– А кто этих дураков заставлял подписывать на себя небылицы? Пусть бы не подписывали! – гибкая мысль Аллы охватывала все стороны вопроса. – Да вообще, как можно ворошить этот ад, не подумав о людях, кто тогда работал. Ведь о них-то надо было подумать! Как и м перенести эти внезапные перемены!

– Тебе мама – рассказала?..

– Да, папочка! Рассказала. И тебя здесь ничто не должно смутить! – уверенными сильными пальцами она взяла отца за оба плеча. – Вот хочешь, я скажу тебе, как понимаю: тот, кто идёт и сигнализирует, – это передовой, сознательный человек! Он движим лучшими чувствами к своему обществу, и народ это ценит и понимает. В отдельных случаях такой человек может и ошибиться. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Обычно же он руководится своим классовым чутьём – а оно никогда не подведёт.

(Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. Раковый

корпус. Рассказы. М. 1990. Стр. 194–195)

С трудом, – с большим трудом! – но все-таки ещё можно представить, что всё это Авиета говорит из жалости к отцу, чтобы утешить его, успокоить. Вот так же, как тем же бодрым, уверенным тоном, говорит она с ним о его смертельной болезни:

…

Дочь, не спрашивая, но и нисколько не причиняя боли, раздвинула у отца воротник и ровно посередине смотрела – так смотрела, будто она врач и каждый день имела возможность сравнивать.

– Ну, и ничего ужасного! – определила она. – Увеличенная железа, и только. Мама мне такого написала, я думала здесь – ой! Вот, говоришь, стало свободнее. Значит, уколы помогают… Значит, помогают. А потом ещё меньше станет. А станет в два раза меньше – тебе она и мешать не будет, ты можешь хоть выписаться.

(Там же. Стр. 194)

На самом деле она так, конечно, не думает. Но так уж принято говорить с безнадежными раковыми больными. Так может быть, и заговорив о доносах, которые, как она узнала от матери, когда-то писал её отец, она тоже лукавит, делает хорошую мину при плохой игре?

Это предположение тотчас обнаруживает полную свою несостоятельность.

Вот Авиета переходит к другой теме, заговаривает о своих литературных делах и успехах. Уж тут-то ей точно нет никакой нужды притворяться, говорить не то, или хотя бы не совсем то, что думает:

…

– Ну, папа, я съездила – очень

удачно. Мой стихотворный сборник обещают включить в план издательства! Правда, на следующий год. Но быстрей – не бывает. Быстрей представить себе нельзя!..

Лавиной радостей засыпала его сегодня дочь. Он знал, что она повезла в Москву стихи, но от этих машинописных листиков до книги с надписью Алла Русанова казалось непроходимо далеко.

– Но как же тебе это удалось?

Довольная собой, твёрдо улыбалась Алла.

– Конечно, если пойти просто так в издательство и предложить стихи – кто там с тобой будет разговаривать? Но меня Анна Евгеньевна познакомила с М, познакомила с С*, я прочла им два-три стиха, им обоим понравилось – ну, а дальше там кому-то звонили, кому-то записку писали, всё было очень просто.*

– Это замечательно, – сиял Павел Николаевич. Он нашарил на тумбочке очки и надел их, как если бы прямо сейчас предстояло ему взглянуть на заветную книгу...

– Алла, всё-таки я боюсь: а вдруг у тебя не получится?

– Да как может не получиться? Ты наивный. Горький говорил – любой человек может стать писателем!.. И фамилия у меня красивая, не буду псевдонима брать, да – и внешние качества у меня для литературы исключительные!

Но была и ещё опасность, которой дочь в порыве могла недооценивать.

– А представь себе – критика начнёт тебя ругать? Ведь это у нас как бы общественное порицание, это

опасно!

Но с откинутыми прядями шоколадных волос бесстрашно смотрела Авиета в будущее:

– То есть очень серьезно меня ругать никогда не будут, потому что у меня не будет идейных вывихов! По художественной части – пожалуйста, пусть ругают. Но важно не пропускать повороты, какими полна жизнь. Например, говорили: «конфликтов быть не должно»! А теперь говорят: «ложная теория бесконфликтности». Причём, если б одни говорили по-старому, а другие по-новому, заметно было бы, что что-то изменилось. А так как все сразу начинают говорить по-новому, без перехода – то и незаметно, что поворот. Вот тут не зевай! Самое главное – быть тактичной и отзывчивой к дыханию времени. И не попадёшь под критику…

(Там же. Стр. 198 –199)

Стремясь нащупать и отобразить все метастазы, которыми раковая опухоль ГУЛАГа заразила самые разные области жизнедеятельности советского государственного организма, Солженицын, естественно, не мог обойти ту область, которая ближе всего его касалась: советскую литературу. Именно для этого понадобилось ему сделать свою Авиету молодой поэтессой.

Стремление высказаться и на эту тему владело им и в «Иване Денисовиче», где осуществить это было гораздо труднее: уж слишком далек от этих проблем был главный герой той его повести, глазами которого он смотрел на изображаемую в ней реальность.

Тем не менее там, в «Иване Денисовиче», он с этой задачей справился великолепно:

…

Цезарь трубку курит, у стола своего развалясь. К Шухову он

спиной, не видит.

А против него сидит Х-123, двадцатилетник, каторжанин по приговору, жилистый старик. Кашу ест.

– Нет, батенька, – мягко этак, попуская, говорит Цезарь, – объективность требует признать, что Эйзенштейн гениален. «Иоанн Грозный» – разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе!

– Кривлянье! – ложку перед ртом задержа, сердится Х-123. – Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного! И потом же гнуснейшая политическая идея – оправдание единоличной тирании. Глумление над памятью трёх поколений русской интеллигенции! – (Кашу ест ртом бесчувственным, она ему не впрок.)

– Но какую трактовку пропустили бы иначе?..

– Ах, пропустили бы? Так не говорите, что гений! Скажите, что подхалим, заказ собачий выполнял. Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов!

– Гм, гм, – откашлялся Шухов, стесняясь прервать образованный разговор. Ну и тоже стоять ему тут было ни к чему.

Цезарь оборотился, руку протянул за кашей, на Шухова и не посмотрел, будто каша сама приехала по воздуху, – и за своё.

– Но слушайте, искусство – это не что, а как.

Подхватился Х-123 и ребром ладони по столу, по столу:

– Нет уж, к чёртовой матери ваше «как», если оно добрых чувств во мне не пробудит!

Постоял Шухов, ровно сколько прилично было постоять, отдав кашу. Он ждал, не угостит ли его Цезарь покурить. Но Цезарь совсем об нём не помнил, что он тут, за спиной.

И Шухов, поворотясь, ушёл тихо.

(Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. Раковый корпус. Рассказы. М. 1990. Стр. 397–398)

Эту сцену, как и весь тот мир, что открылся нам в солженицынском «Иване Денисовиче», мы тоже видим глазами Шухова, который понять смысл этого «образованного разговора», а тем более так точно его запомнить, разумеется, не мог. И тем не менее читатель легко проглатывает эту маленькую условность. Художественную достоверность, реалистическую ткань повествования она не разрушает.

С высказываниями Авиеты на литературные темы дело обстоит, как будто, проще. Сделать этот её монолог достоверным, художественно оправданным, казалось бы, не в пример легче, чем диалог Цезаря с двадцатилетним каторжанином Х-123. Ведь не ушами Шухова мы слышим эти её литературные речи. Однако реалистическая ткань повествования тут не просто рвется, а прямо-таки распадается. Реальная картина превращается в сатирический фельетон, в памфлет:

...

Она собралась уже уходить.

Но Дёмка, который в своём углу долго мучился и хмурился, то ли от неперетихающих болей в ноге, то ли от робости вступить в разговор с блестящей девушкой и поэтессой, – теперь отважился и спросил. Спросил непрочищенным горлом, ещё откашлявшись посреди фразы:

– Скажите, пожалуйста... А как вы относитесь к требованиям искренности в литературе?

– Что, что? – живо обернулась к нему Авиета, но с дарящей полуулыбкой, потому что хриплость голоса достаточно высказывала Дёмкину робость. – И сюда эта искренность пролезла? Целую редакцию за эту искренность разогнали, а она опять тут?

Авиета посмотрела на Дёмкино непросвещённое, неразвитое лицо. Не оставалось у неё времени, но и под дурным влиянием оставлять этого пацана не следовало.

(Там же. Стр. 199–200)

На самом деле, конечно, это не Дёмке, а автору понадобилось поднять бурно обсуждавшуюся тогда тему искренности в литературе. Никак не мог он тут её обойти. Но нельзя же вдруг, ни с того, ни с сего, заставить Авиету заговорить об этом. Хотя – почему, собственно, нельзя? В пределах избранной им фельетонной, памфлетной, плакатной эстетики всё можно! Но лучше всё-таки не выходить уж так далеко за границы правдоподобия. И вот он вводит в эту сцену Дёмку с его вопросом.

Правдоподобнее сцена от этого не становится. Скорее даже наоборот: оттого, что с этим своим вопросом в разглагольствования Авиеты вдруг влез Дёмка, нарочитость, искусственность, подстроенность предоставленной ей возможности высказаться и на эту тему становится даже очевиднее.

Но главное тут – КАК отвечает она на этот Дёмкин вопрос:

…

– Слушайте, мальчик! – звонко, сильно, как с трибуны, объявила она. – Искренность никак не может быть главным критерием книги. При неверных мыслях или чуждых настроениях искренность только усиливает вредное действие произведения, искренность – вредна! Субъективная искренность может

оказаться против правдивости показа жизни – вот эту диалектику вы понимаете?

Трудно доходили мысли до Дёмки, он взморщил весь лоб.

– Не совсем, – сказал он.

– Ну хорошо, я вам объясню. – У Авиеты широко были расставлены руки, и белый зигзаг, как молния, бежал с руки на руку через грудь. – Нет ничего легче взять унылый факт как он есть и описать его. Но надо глубоко вспахать, чтобы показать те ростки будущего, которые не видны.

– Ростки…

– Что??

– Ростки сами должны прорасти, – торопился вставить Дёмка, – а если их пропахать, они не вырастут.

– Ну хорошо, мы не о сельском хозяйстве говорим. Мальчик! Говорить народу правду – это совсем не значит говорить плохое, тыкать в недостатки. Можно бесстрашно говорить о хорошем – чтоб оно стало ещё лучше! Откуда это фальшивое требование так называемой «суровой правды»? Да почему вдруг правда должна быть суровой? Почему она не должна быть сверкающей, увлекательной, оптимистической! Вся литература наша должна стать праздничной! В конце концов людей обижает, когда об их жизни пишут мрачно. Им нравится, когда о ней пишут, украшая её.

(Там же. Стр. 200)

Это уже даже не фельетон, а – **фарс** !

На обсуждении «Ракового корпуса» это слово тоже прозвучало. И именно вот в этой связи. И Александр Исаевич не

оставил его без ответа:

...

А. Солженицын.

Об Авиете: говорят, фельетон – согласен. Говорят, фарс – согласен. Говорят, я сорвался со своего метода, – согласен. Но фельетон не мой и фарс – не мой. Я применил здесь недопустимый прием, – в Авиете нет ни одного моего слова, – она говорит слова, сказанные за последние 15 лет крупнейшими нашими писателями и литературоведами. С точки зрения вечности, – не надо бы эту главу. Но ведь как долго произносились подобные слова с трибун повыше этой, перед аудиториями побольше этой. Справедливо ли забыть об этом? Да, это откровенный фарс, но не мой.

(Обсуждение первой части повести «Раковый корпус» на заседании секции прозы Московской писательской организации. 17 ноября 1968 года. В кн.: Александр Солженицын Собрание сочинений. Том шестой. Frankfurt/Main, 1970. Стр. 186)

Помню, как удивило меня тогда это его объяснение.

Удивило своей наивностью.

«Кто они, – подумал я, – эти крупнейшие наши писатели и литературоведы?»

Ермилов, на даче которого к вывешенному на заборе предупреждению: «Осторожно! Злая собака» кто-то приписал: «И беспринципная»?

Или, может быть, Перцов, о котором ходила тогда такая эпиграмма:

Не страдает верхоглядством
Виктор Осипыч Перцов.
Он грешит приспособлядством,

Или Грибачев с его злобно-яростными выступлениями против самовыражения? Так и о нем тоже – и именно по поводу вот этих самых его статей была сложена эпиграмма:

Едва успел стихи твои забыть,
А ты уже статьей меня тревожишь.
Поэтом можешь ты не быть.
Но критиком ты быть – не можешь.

Да, все они говорили с высоких трибун, что искренность в литературе вредна. И что не всякая правда нам нужна, а только та, что помогает нашему движению к коммунизму. Так ведь с высоких трибун, с которых полагалось все это нести, а не в приватной, частной беседе!

Да и с высоких трибун тоже они говорили все это не так прямо. Хитрили, изворачивались, как заклинание, повторяя знаменитые слова Шолохова: «Всё, что мы пишем, мы пишем по зову сердца. А сердца наши принадлежат партии». То есть – лицемерили! А лицемерие, как метко было сказано однажды, это та дань, которую ложь платит истине. Вот они её и платили.

При чем же тут Авиета?

Но ещё больше в том солженицынском объяснении удивила меня его готовность признать, что, рисуя Авиету, он СОРВАЛСЯ СО СВОЕГО МЕТОДА.

Удивила, потому что ни с какого «своего метода» он там не сорвался.

В том-то вся и штука, что метод, прибегая к которому он лепил эту свою Авиету, – это на самом деле и был ЕГО МЕТОД. Тот самый, пользуясь которым он создавал и других своих персонажей, куда более для него важных, чем Авиета.

* * *

От желания высказать свое отвращение к основополагающим принципам официозной советской литературы Солженицын не отказался и в самом большом – и безусловно лучшем – своём романе: «В круге первом». И тут для этой цели он выбрал гораздо более крупную мишень, чем Авиета.

На этот раз он решил рассчитаться с одним из тогдашних её корифеев, притом не мнимых, а подлинных, не только

обласканных властью, но и любимых народом:

...

...его стали печатать целыми поэмами; сотни театров страны, перенимая у столичных, ставили его пьесы; девушки списывали и учили его стихи; во время войны центральные газеты охотно предоставляли ему страницы, он испробовал силы и в очерке, и в новелле, и в критической статье; наконец вышел его роман. Он стал лауреат Сталинской премии, и ещё раз лауреат, и ещё раз лауреат.

(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 382)

Одних только этих нескольких строк уже довольно, чтобы узнать прототипа этого солженицынского Николая Галахова.

Ну конечно, Константин Симонов!

Безошибочная догадка эта тут же подтверждается и другими, такими же, и даже ещё более узнаваемыми реалиями:

...

...Знаменитый писатель при виде боевых орденов Щагова, медалей и двух нашивок ранений с размаху ударил рукой в рукопожатие:

– Майор Галахов! – улыбнулся он. – Где воевали? Ну, сядем, расскажите...

Хотели усадить тут же и Эрнста, но он сделал знак и исчез. Действительно, встреча фронтовиков не могла же произойти насухую!..

Новое опьянение добавилось к старому. Голованов свернул рассказ в свою сторону: как в этот памятный день он, новоиспеченный военный

корреспондент, за два месяца до того окончивший университет, впервые ехал на передовую и как на попутном грузовичке... проскочил под немецкими миномётами из Длугоседло в Кабат коридорчиком до того узким, что «северные» немцы жахали минами в расположение немцев «южных», и как раз в том же месте, в тот же день один наш генерал возвращался из отпуска с семьёй на фронт – и на виллисе занёсся к немцам...

Для Галахова воспоминания Щагова и Голованова были безынтересны – и потому, что он не был свидетелем той операции, не знал Длугоседло и Кабата; и потому, что он был не из мелких корреспондентов, как Голованов, а из корреспондентов стратегических. Бои представлялись ему не вокруг одного изгнившего дощаного мостика или разбитой водокачки, но в широком обхвате, в генеральско-маршальском понимании их целесообразности.

И Галахов сбил разговор:

– Да. Война-война! Мы попадаем на неё нелепыми горожанами, а возвращаемся с бронзовыми сердцами... Эрик! А у вас на участке «Песню фронтовых корреспондентов» пели?

– Ну, как же!

– Нэра! Нэра! – позвал Галахов. – Иди сюда! «Фронтовую корреспондентскую» – споём, помогай!

Динара подошла, тряхнула головой:

– Извольте, друзья! Извольте! Я и сама фронтовичка!

Радиолу выключили, и они запели втроём, недостаток музыкальности

искупая искренностью:

От Москвы до Бреста Нет на фронте места...

Стягивались слушать их. Молодёжь с любопытством глазела на знаменитость, которую не каждый день увидишь.

От ветров и водки

Хрипли наши глотки,

Но мы скажем тем, кто упрекнёт...

(Там же. Стр. 394–395)

Эту «Песню фронтовых корреспондентов» на фронте, в 43-м году, сочинил Симонов. Сочинил, как он потом рассказывал, в пути, по дороге из Краснодара в Ростов:

...

Ехали через стык двух фронтов ненаезженной, непроторенной дорогой. За два дня пути почти никого не встречали, как это часто бывает на таких стыках. Водитель боялся случайностей. И я тоже.

Чтобы переломить себя, в дороге стал сочинять «Корреспондентскую песню» и просочинял её всю дорогу – почти двое суток. «Виллис» был открытый, было холодно и сыро. Лихорадило. Сидя рядом с водителем, я закутался в бурку, и вытаскивать из-под бурки руки не хотелось, поэтому песню сочинял на память. Написав в уме строфу, начинал её твердить вслух, пока не запомню. Потом начинал сочинять следующую и, сочинив, чтобы не забыть предыдущую, повторял несколько раз подряд вслух обе. И так до конца песни. И чем дальше сочинял её, тем длинней был текст, который я каждый раз повторял (...) Как потом

под общий смех выяснилось, мой хмурый водитель, всю дорогу не проронивший ни слова и мрачно наблюдавший процесс рождения новой песни, явился в санчасть с сообщением, что с ним с Северо-Кавказского фронта ехал сюда ненормальный подполковник, который всю дорогу громко разговаривал сам с собою...

Мы посмеялись над этим и спели на мотив «Мурки» (музыки Блантера тогда ещё не было) сочиненную мной корреспондентскую песню...

(Константин Симонов. Стихотворения и поэмы. Л. 1982. Стр. 565)

У Солженицына прямо не говорится, что автор этой «Фронтовой корреспондентской» – не кто иной, как этот его персонаж «майор Галахов». Но это как бы само собой подразумевается.

Главное тут, однако, не это, а – то, как слушает эту песню другой его персонаж – НАСТОЯЩИЙ ФРОНТОВИК – Щагов. И что он при этом чувствует. И какие мысли тут приходят ему в голову:

...

Едва началась эта песня, Щагов, сохраняя всё ту же улыбку, внутренне охолодел, и ему стало стыдно перед теми, кого здесь, конечно, не было, кто глотали днепровскую волну ещё в Сорок Первом и грызли новгородскую хвойку в Сорок Втором. Этим сочинителям не дано было по-настоящему постичь тот фронт, который обратили теперь в святыню. Даже смелейшие из корреспондентов всё равно от строевиков отличались так же непереходимо, как пашущий землю граф от мужика-пахаря: они не были

уставом и приказом связаны с боевым порядком, и потому никто не возбранял им и не поставил бы в измену испуг, спасение собственной жизни, бегство с плацдарма. Отсюда зияла пропасть между психологией строевика, чьи ноги вросли в землю передовой, которому не деться никуда, а может быть, тут и погибнуть, – и корреспондента с крылышками, который через два дня поспеет на свою московскую квартиру. Да ещё: откуда у них столько водки, что даже хрипли глотки? Из пайка командарма? Солдату перед наступлением дают двести, сто пятьдесят…

Там, где мы бывали,
Нам танков не давали,
Репортёр погибнет – не беда,
И на «эмке» драной
С кобурой нагана
Первыми вступали в города!

Это «первыми вступали в города» были – два-три анекдота, когда, плохо разбираясь в топографической карте, корреспонденты по хорошей дороге (по плохой «эмка» не шла) заскакивали в «ничей» город и, как ошпаренные, вырывались оттуда назад. (Там же. Стр. 396)

А в завершение эпизода к этим размышлениям Щагова добавлены ещё и размышления другого персонажа, к которому автор так же душевно расположен, как к Щагову:

…

А Иннокентий, со свешенною головою, слушал и понимал песню ещё по-своему. Войны он не знал совсем, но знал положение наших

корреспондентов. Наш корреспондент совсем не был тем беднягою-репортёром, каким изображался в этом стихе. Он не терял работы, опоздав с сенсацией. Наш корреспондент, едва только показывал свою книжечку, уже был принимаем как важный начальник, как имеющий право давать установки. Он мог добыть сведения верные, а мог и неверные, мог сообщить их в газету вовремя или с опозданием, – карьера его зависела не от этого, а от правильного мировоззрения. Имея же правильное мировоззрение, корреспондент не имел большой нужды и лезть на такой плацдарм или в такое пекло: свою корреспонденцию он мог написать и в тылу.

С какой целью введен тут этот эпизод, какое у него «сквозное действие» и какая «сверхзадача», объяснять не надо. Не лишним, однако, будет отметить, что в «киндер-варианте» романа вся эта глава имела такое – откровенно ироническое, даже, я бы сказал, глумливое – заглавие: «ПЕРВЫМИ ВСТУПАЛИ В ГОРОДА». (А. Солженицын. В круге первом. Париж. 1969. Стр. 6)

То же «сквозное действие» и та же «сверхзадача» явственно проглядывают и во множестве других реалий, посредством которых Солженицын лепит образ своего Галахова.

Вот, например, такая подробность:

...

Галахов... задумал писать о заговоре империалистов и борьбе наших дипломатов за мир, причём

писать в этот раз не роман, а пьесу – потому что так легче было обойти многие неизвестные ему детали обстановки и одежды. Сейчас ему было как нельзя кстати проинтервьюировать свояка, вылавливая характерные подробности западной жизни, где должно было происходить всё действие пьесы, но где сам Галахов был лишь мельком, на одном из прогрессивных конгрессов.

(Там же. Стр. 379)

Это объяснение причин, по которым очередной свой художественный замысел Галахов решил облечь не в прозаическую, а в драматургическую форму, напоминает объяснение Авиеты, почему она хочет стать поэтессой, а не журналисткой.

Не слишком далеко от рассуждений Авиеты ушли и другие высказывания Галахова на литературные темы.

Высказывает он их все в том же разговоре со свояком-дипломатом, у которого хочет выведать для только что задуманной пьесы о заговоре империалистов кое-какие подробности о плохо ему знакомой заграничной жизни:

...

– Привилегия писателей – допрашивать, – кивал Иннокентий... – Вроде следователей. Всё вопросы, вопросы, о преступлениях.

– Мы ищем в человеке не преступления, а его достоинства, его светлые черты.

– Тогда ваша работа противоположна работе совести. Так ты, значит, хочешь писать книгу о дипломатах?

Галахов улыбнулся.

– Хочешь не хочешь – не решается... Но запастись заранее

материалами... Не всякого дипломата расспросишь. Спасибо, что ты – родственник.

– И твой выбор доказывает твою проницательность. Посторонний дипломат, во-первых, наврёт тебе с три короба. Ведь у нас есть что скрывать.

Они смотрели глаза в глаза.

– Я понимаю. Но... этой стороны вашей деятельности... отражать не придётся, так что она меня...

– Ага. Значит, тебя интересует главным образом быт посольств, наш рабочий день, ну там, как проходят приёмы, вручение грамот...

– Нет, глубже! И – как преломляются в душе советского дипломата...

– А-а, как преломляются... Ну, уже всё! Я понял. И до конца вечера я тебе буду рассказывать. Только... объясни и ты мне сперва...

(Там же. Стр. 380–381)

И тут, несколько неожиданно для Галахова, он переводит разговор в совсем другую плоскость:

...

– ...Посмотри, во что вылилась ваша фронтовая и военная литература. Высшие идеи: как занимать боевые позиции, как вести огонь на уничтожение, «не забудем, не простим», приказ командира есть закон для подчинённых. Но это гораздо лучше изложено в военных уставах. Да, ещё вы показываете, как трудно беднягам полководцам водить рукой по карте.

Галахов омрачился...

– Ты говоришь о моём последнем

романе?

– Да нет, Николай! Но неужели художественная литература должна повторять боевые уставы? или газеты? или лозунги? Например, Маяковский считал за честь взять газетную выдержку эпиграфом к стиху. То есть он считал за честь не подняться выше газеты! Но зачем тогда и литература? Ведь писатель – это наставник других людей, ведь так понималось всегда?

Свояки нечасто встречались, знали друг друга мало. Галахов осторожно ответил:

– То, что ты говоришь, справедливо лишь для буржуазного режима.

– Ну, конечно, конечно, – легко согласился Иннокентий. – У нас совсем другие законы... Но я не то хотел... Коля, ты поверь, мне что-то симпатично в тебе... И поэтому я сейчас в особом настроении спросить тебя... по-свойски... Ты – задумывался?.. как ты сам понимаешь своё место в русской литературе? Вот тебя можно уже издать в шести томиках. Вот тебе тридцать семь лет, Пушкина в это время уже ухлопали. Тебе не грозит такая опасность. Но всё равно от этого вопроса ты не уйдёшь – кто ты? Какими идеями ты обогатил наш измученный век?..

Переходящие складочки, как желвачки, прошли по лбу Галахова, по щеке.

– Ты... касаешься трудного места... – ответил он, глядя в скатерть. – Какой же из русских писателей не примерял к себе втайне пушкинского фрака?.. толстовской рубахи?.. – Два раза он повернул свой

карандашик плашмя по скатерти и посмотрел на Иннокентия нескрывчивыми глазами. Ему тоже захотелось сейчас высказать, чего в литераторских компаниях невозможно было. – Когда я был пацаном, в начале пятилеток, мне казалось – я умру от счастья, если увижу свою фамилию, напечатанную над стихотворением. И, казалось, это уже и будет начало бессмертия... Но вот...

Огибая и отодвигая пустые стулья, к ним шла Дотнара.

– Инк! Коля! Вы меня не прогоните? У вас не очень умный разговор?

Она совсем была здесь некстати.

(Там же. Стр. 381)

Оказавшееся тут совсем некстати появление жены Иннокентия Дотнары обрывает признания Галахова. Но, растревоженный вопросом Иннокентия, Галахов продолжает рассуждать об этом. Уже не в разговоре со свояком, так потом и не продолжившемся, а – мысленно, с самим собой:

...

Облокотясь о стол, Галахов смотрел мимо супругов в большое окно, освещенное огнями Калужской заставы. Говорить откровенно о себе при бабах было невозможно. Да и без баб вряд ли.

...Но вот... Он сам не заметил, когда, чем обременил и приземлил птицу своего бессмертия. Может быть, взмахи её только и были в тех немногих стихах, заучиваемых девушками. А его пьесы, его рассказы и его роман умерли у него на глазах ещё прежде, чем автор дожил до тридцати семи лет...

Начиная новую большую вещь, он вспыхивал, клялся себе и друзьям, что теперь никому не уступит, что теперь-то напишет настоящую книгу. С увлечением садился он за первые страницы. Но очень скоро замечал, что пишет не один – что перед ним всплыл и всё ясней маячит в воздухе образ того, для кого он пишет, чьими глазами он невольно перечитывает каждый только что написанный абзац. И этот Тот был не Читатель, брат, друг и сверстник читатель, не критик вообще, а почему-то всегда – прославленный, главный критик Ермилов.

Так и воображал себе Галахов Ермилова, с расширенным подбородком, лежащим на груди, как он прочтёт эту новую вещь и разразится против него огромной (уже бывало) статьёй на целую полосу «Литературки». Назовёт он статью: «Из какой подворотни эти веяния?» или «Еще раз о некоторых модных тенденциях на нашем испытанном пути». Начнёт он её не прямо, начнёт с каких-нибудь самых святых слов Белинского или Некрасова, с которыми только злодей может не согласиться. И тут же осторожненько вывернет эти слова, перенесёт их совсем в другом смысле – и выяснится, что Белинский или Герцен горячо засвидетельствуют, что новая книга Галахова выявляет нам его как фигуру антиобщественную, антигуманную, с шаткой философской основой.

И так абзац за абзацем, стараясь угадать контраргументы Ермилова и приноровиться к ним, Галахов быстро ослабевал выписывать углы, и книга сама

малодушно обкатывалась, ложилась податливыми кольцами. И, уже зайдя за половину, видел Галахов, что книгу ему подменили, опять она не получилась…

(Там же. Стр. 382–383)

В разговоре с Иннокентием Галахов откровенен не вполне. Ни на секунду не забывает, что и в частной, приватной беседе даже и с родственником, можно говорить не обо всем. Об этом мы можем судить по такой, достаточно прозрачной авторской ремарке:

…

Свояки нечасто встречались, знали друг друга мало. Галахов осторожно ответил:

– То, что ты говоришь, справедливо лишь для буржуазного режима.

Но в этом мысленном, внутреннем своём монологе он вроде уже перешагнул «рубеж запретной зоне». И вот, даже и тут, наедине с собой, он, в сущности, повторяет то, о чем с беспечной откровенностью лепечет Авиета.

Помните?

…

– Очень серьезно меня ругать никогда не будут, потому что у меня не будет идейных вывихов! По художественной части – пожалуйста, пусть ругают. Но важно не пропускать повороты, какими полна жизнь… Самое главное – быть тактичной и отзывчивой к дыханию времени. И не попадёшь под критику…

Разница лишь в том, что легкомысленная, беспечная Авиета наивно полагает, что уберечься от обвинений в «идейных вывихах» совсем не трудно, а многоопытный Галахов знает, что и

при самой высокой бдительности застраховаться от них нельзя:

...

Так и воображал себе Галахов Ермилова, с расширенным подбородком, лежащим на груди, как он прочтёт эту новую вещь и разразится против него огромной (уже бывало) статьёй на целую полосу...

Эта коротенькая – в скобках – ремарка («уже бывало») тут, что называется, не с ветру взята. Строго говоря, слово «бывало» тут не совсем точно. Правильнее было бы сказать, не «бывало», а – *было,* потому что печальный эпизод, на который намекает Солженицын, в безоблачной, на редкость удачливой литературной карьере Симонова был *единственным* . И Ермилов тут был совершенно ни при чем.

На Ермилова Симонову было в высокой степени наплевать. И на Ермилова, и на «Литературную газету», главным редактором которой Ермилов в то время был.

«Литературная газета» была органом Союза писателей, а Симонов – первым заместителем Генерального секретаря этого Союза, так что для Ермилова был в некотором роде даже начальством. А о самом Ермилове он однажды высказался так:

...

Ермилова я устойчиво, прочно не любил и не уважал.

(Константин Симонов. Истории тяжелая вода. М. 2005. Стр. 364)

А что касается того печального эпизода, на который намекал своей коротенькой ремаркой («уже бывало») Солженицын, то к Ермилову он никакого отношения не имел и никак не был с ним связан. Разгромная статья о повести Симонова «Дым отечества» была подписана совсем другим именем, и появилась она не в «Литературной», а совсем в другой газете, которая называлась «Культура и жизнь».

О том, что это была за газета, стоит рассказать подробнее.

Появилась она вскоре после войны, когда Сталин решил, что

пришла пора уже до упора закрутить ослабленные войной идеологические гайки. (Первый её номер вышел в 1946 году – том самом, который был ознаменован постановлениями ЦК «О журналах «Звезда» и «Ленинград», «Об опере Мурадели «Великая дружба», «О кинофильме «Большая жизнь» и многими другими, не столь знаменитыми, но такими же зловещими).

Казалось бы, особой нужды в такой газете не было: ведь на каждый такой случай у нас была «Правда». Но Сталин, как видно, решил, что у «Правды» много и всяких других забот, а нужна газета, которая постоянно отслеживала бы крамолу только в области культуры. Вот такая газета и была создана.

В отличие от «Правды», которая, как известно, с незапамятных, ещё ленинских времен была органом ЦК партии (что и определяло её руководящую роль), новая газета была обозначена как «Орган Управленния пропаганды и агитации ЦК ВКП (б)». То есть на партийной иерархической лестнице она стояла как бы на ступеньку ниже «Правды».

Так поначалу оно и было.

Но довольно скоро новая газета набрала силу, усвоила прежде принадлежавший только «Правде» тон грубых жандармских окриков, а со временем стала вступать и в пререкания с «Правдой» и даже – были и такие случаи – довольно грубо её одергивать.

«Культура и жизнь», как уже было сказано, была органом «Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП (б)», которое тогда возглавлял Г. Ф. Александров, и в литературных – писательских – кругах её сразу же стали называть «Александровским централом».

Появившаяся на её страницах статья о повести Симонова называлась скромно: «Вопреки правде жизни». Но по сути её и по тону это был самый настоящий разгром.

Ко всему этому стоит добавить, что статья, громившая симоновский «Дым отечества», была напечатана в том же номере этого «Александровского централа», в каком появилась знаменитая погромная статья о «Молодой гвардии» Фадеева. Так что удар по Симонову был нанесен сокрушительный. И не могло быть ни малейших сомнений в том, что нанес ему этот удар Сталин.

Но почему? Что именно в этой повести вызвало его гнев?

Этого Симонов тогда – да и потом – так и не понял. До конца жизни терялся в догадках, но вразумительного ответа на этот вопрос так и не нашел.

...

Историю этой статьи, очень злой и очень невразумительной, а местами просто не до конца понятной в самом элементарном смысле этого слова, впоследствии рассказал мне работавший в то время в ЦК, затем мой соратник по «Литературной газете», ныне покойный Борис Сергеевич Рюриков. Моя повесть ему нравилась, и, когда Жданов, которому повесть тоже нравилась, спросил, кто готов быть автором статьи о «Дыме отечества» в органе агитпропа – директивной по своему духу и предназначению газете «Культура и жизнь», – Рюриков вызвался написать статью, положительно оценивавшую мою повесть. И вызвался, и написал, и она уже стояла в полосе газеты, когда вдруг все перевернулось. Жданов вернулся от Сталина, статью Рюрикова сняли из номера, к Жданову был вызван другой автор, которому предстояло вместо этой написать другую статью, и он в пожарном порядке, выслушав соответствующие указания, написал в задержанный номер то самое, что я на следующий день, не веря своим глазам, прочел…

Через неделю я попросил, чтоб меня принял Жданов, и, придя к нему, прямо сказал, что, не раз перечитав статью, в которой, очевидно, меня правильно критикуют, я все-таки не могу понять многих её мест и не могу понять, почему повесть считается написанной вопреки правде жизни…

Жданов терпеливо около часа пробовал объяснить мне, что не так в моей повести… Но чем больше он мне объяснял, тем явственнее у меня возникало чувство, что он сам не

знает, как мне объяснить то, что написано в статье; что он, как и я, не понимает, ни почему моя повесть так плоха, как об этом написано, ни того, что с ней дальше делать.

(Константин Симонов. Истории тяжелая вода. М. 2005. Стр. 387–388)

Всей этой кухни Солженицын, конечно, не знал. Но он не мог не понимать, что настоящим автором каждой такой установочной погромной статьи был не кто иной, как сам Сталин. А Ермилов, под диктовку которого его Галахов якобы писал все свои романы и повести (в «киндер-варианте» он был обозначен другой фамилией: Жабов), понадобился ему только лишь для того, чтобы изобразить этого своего Галахова человеком мелким, ничтожным, – во всяком случае, несопоставимо более мелким и ничтожным, чем был реальный его прототип.

Особенно ясно можно это увидеть, сравнив то, о чем думает и чувствует, сидя за своим письменным столом нарисованный им Галахов, с теми мыслями и чувствами, какие испытывал, работая над своей повестью «Дым отечества», Симонов:

…

Самому мне она очень нравилась, пожалуй, ни до, ни после я не относился так увлеченно и так несамокритично ни к одной своей вещи. Мне искренне казалось, что я, хотя и являюсь редактором «Нового мира», вправе такую повесть напечатать на его страницах…

…Я ходил счастливый сделанным, мне казалось, что, показав высоту духа и нравственной силы людей, поднимающих из праха дотла разоренную войной, истерзанную Смоленщину, и противопоставив все это американскому самодовольству своим образом и уровнем жизни, я выполнил главный свой партийный

долг, который внутренне числил за собой после долгой зарубежной поездки и сразу же впритык после неё поездки на Смоленщину. Не «Русский вопрос», получивший к тому времени Сталинскую премию первой степени, но все-таки написанный не о нас, а об американцах, а именно «Дым отечества», написанный о нас и о нашей, полной лишений, бедной и гордой жизни в первую послевоенную пору, был для меня исполнением моего главного долга. С этим сознанием я дожил до выхода журнала...

(Там же. Стр. 386)

А вот как он пишет о том, что думал и чувствовал после своей беседы с Ждановым, который по долгу службы пытался разъяснить ему, чем именно в его повести был недоволен Сталин:

...

Я поблагодарил за беседу, ушел, так ничего нового для себя и не вынеся из неё, так и не поняв, что в ней не так и что мне с ней надо делать.

Еще какое-то время я думал над переработкой повести, над тем, что же поправить в ней, сформулировал даже на случай разных, несомненно, предстоявших объяснений на этот счет какую-то более или менее связную, во всяком случае более связную, чем в статье, цепь критических замечаний, над которыми мне предстоит думать, но на самом деле думать больше над этим не мог. Твердо для себя решив и дав себе слово по крайней мере пять лет не заглядывать в повесть, не мучиться этим, написал в

издательство, где она должна была выходить, что прошу расторгнуть со мной договор, так как печатать «Дым отечества» не буду.

(Там же. Стр. 389)

Тут стоит ещё раз вспомнить, что инспирированная Сталиным статья, разгромившая эту симоновскую повесть, появилась в том же номере «Культуры и жизни», в каком была напечатана – тоже инспирированная Сталиным и такая же разгромная статья о «Молодой гвардии» Фадеева. И что Фадеев тут же послушно сел за переработку этого своего романа. («Перерабатываю молодую гвардию в старую», не без иронии написал он об этом в письме Ю. Либединскому). А Симонов перерабатывать эту свою разгромленную повесть не стал. И даже семь лет спустя, готовя её к отдельному изданию, «не менял ни её духа и направленности, ни её сюжета».

Я бесконечно далек от того, чтобы изображать Симонова героем, не пожелавшим посчитаться с желанием Сталина. Свое послушание Симонов высказал в другой форме: написав «Русский вопрос», а вскоре – по прямому указанию Сталина – совсем уже гнусную пьесу «Чужая тень», – единственное из всех своих творений, которого потом стыдился.

Но факт остается фактом: Фадеев «Молодую гвардию» переписал, а Симонов свою повесть «Дым отечества» переписывать не стал.

И еще.

Каков бы ни был Симонов, одного у него не отнимешь: он был работник.

…

7 сентября 1963, Москва

…Вчера и сегодня продолжает диктовку романа. Пишет ещё одну главу после Алексеевского лагеря.

А когда диктовал об Алексеевском лагере, вернее, после диктовки этого куска, – оба были как мертвые.

Диктовал с такой страстью, с такой болью и горечью, иногда шепотом – о том ужасе, который

был в этом лагере под Сталинградом у немцев. У меня мороз по коже пошел, когда пошли наши врачи по вмерзшим трупам наших же к баракам, после освобождения Сталинграда.

А в бараках – трупы и полутрупы наших бойцов... Умирающие, обовшивевшие, грязные, голодные.

Когда кончил диктовать – я взглянула на него. Он черный и как бы опустошенный от всего только что пережитого.

Я машинально обхватила себя руками, отряхивая рукава.

– Вот и мне, – сказал он тихо, – хочется смахнуть с себя вшей. Как будто я покрыт ими...

И курит, курит без конца.

(Н. П. Гордон. Из дневниковых записей. Константин Симонов в воспоминаниях современников. М. 1984. Стр. 314–315)

Но Солженицын отнимает у своего Галахова даже и это:

...

Он заставлял себя работать по расписанию, он боролся с зевотой, с ленивым мозгом, с отвлекающими мыслями, с прислушиванием, что пришел, кажется, почтальон, пойти бы посмотреть газетки. Он следил, чтобы в кабинете было проветрено и восемнадцать градусов Цельсия, чтобы стол был чисто протерт – иначе он никак не мог писать.

(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 383)

О том, как увлеченно он работал над повестью «Дым отечества», Симонов рассказал в книге «Глазами человека моего

поколения», которую написал (точнее – надиктовал) незадолго до смерти. А напечатана эта его книга была и того позже. Так же, как дневники секретаря Константина Михайловича Нины Павловны Гордон. Так что, рисуя своего Галахова, знать всё это Солженицын, конечно, не мог. Но узнать, что реальный Галахов отнюдь не был таким плоским и примитивным, каким он его изобразил, мог вполне.

У художника для этого есть свои средства. И, по крайней мере, одно из них, самое испытанное, самое надежное, было Солженицыну хорошо известно.

* * *

На обсуждении «Ракового корпуса» в Союзе писателей, отвечая тем ораторам, которые упирали на то, что «искусство не прокурорно», Солженицын с этим согласился и, соглашаясь, между прочим сказал:

...

> *Есть известное положение, – когда рисуешь хорошего, покажи, где он зол. Когда рисуешь негодяя, покажи, где он добр.*
>
> *(Александр Солженицын. Собрание сочинений в шести томах. Том шестой. Frankfurt/Main, 1970. Стр. 186)*

Формулировка эта принадлежит Станиславскому, и он эту любимую свою мысль адресовал актерам, постоянно повторяя: «Когда играешь злого, ищи, где он добрый».

Ни один писатель, сколько мне помнится, так прямо это не формулировал. Но все истинные художники следовали этому правилу неуклонно.

Особенно ясно увидеть, как – конкретно – это происходило, можно на примере тех трансформаций, которые претерпели персонажи «Анны Карениной» в процессе работы Л. Н. Толстого над этим его романом.

Эпиграф к роману, как известно, гласит: «Мне отмщение, и Аз воздам».

Разгадать загадочный смысл этого эпиграфа пытались

многие. Загадочный, потому что никто из толкователей его не мог поверить, чтобы Толстой вкладывал в него тот прямой и очевидный смысл, какой, казалось бы, только и можно из него извлечь:

…

Обыкновенно «идея» романа, закрепленная этим эпиграфом, понимается так, как высказывает её, напр., биограф Толстого П. И. Бирюков: «Общая идея романа выражает мысль о непреложности высшего нравственного закона, преступление против которого неминуемо ведет к гибели, но судьей этого преступления и преступника не может быть человек»…

«Преступление против высшего нравственного закона неминуемо ведет к гибели»… Ведь это же – истина из прописей, фальшивая, как все прописные истины. Вот, напр., подруга Анны, развратная княгиня Бетси Тверская. Она живет в связи с Тушкевичем, заигрывает с Облонским, пытается заманить его к себе, чтобы отдаться ему, – и никакой из этого гибели для неё не получается. Не всегда, значит, действие «высшего нравственного закона» так уж неминуемо.

Для читателя с живою душою совершенно очевидно, что никакого преступления Анна не совершила. Вина не в ней, а в людском лицемерии, в жестокости закона, налагающего грубую свою руку на внезаконную жизнь чувства. Если бы в обществе было больше уважения к свободной человеческой душе, если бы развод не был у нас обставлен такими трудностями, то Анна не

погибла бы... Такой читатель просто пропускает эпиграф романа мимо сознания: слишком ясно, – никакого тут не может быть места для «отмщения».

(В. Вересаев. Живая жизнь. О Достоевском и Льве Толстом. М. 1922. Стр. 136–137)

Отвергнув таким образом объяснение П. М. Бирюкова, а затем и все другие известные ему объяснения тайного смысла этого эпиграфа, Вересаев предлагает своё:

...

Для Толстого живая жизнь не знает ошибок. Она благостна и велика. Ею глубоко заложена в человеке могучая, инстинктивная сила, ведущая его к благу. И горе тому, кто идет против этой силы, кто не повинуется душе своей, как бы это ни было тяжело и трудно. На него неотвратимо падает «отмщение», и он гибнет.

В браке с Карениным Анна была только матерью, а не женою. Без любви она отдавала Каренину то, что светлым и радостно-чистым может быть только при любви, без любви же превращается в грязь, ложь и позор. Живая жизнь этого не терпит. Как будто независимая от Анны сила, – она сама это чувствует, – вырывает её из уродливой её жизни и ведёт навстречу новой любви. Если бы Анна чисто и честно отдалась этой силе, перед нею раскрылась бы новая, цельная жизнь. Но Анна испугалась, – испугалась мелким страхом перед человеческим осуждением, перед потерею своего положения в свете. И

глубокое, ясное чувство загрязнилось ложью, превратилось в запретное наслаждение, стало мелким и мутным. Анна ушла только в любовь, стала духовно-бездетною «любовницею», как раньше была только матерью. И тщетно пытается она жить своею противоестественною, пустоцветною любовью. Этого живая жизнь также не может терпеть. Поруганная, разорванная надвое, она беспощадно убивает душу Анны…

Человек легкомысленно пошёл против собственного своего существа, – и великий закон, светлый в самой своей жестокости, говорит:

«Мне отмщение, и Аз воздам».

(Там же. Стр. 150–151)

Он был так увлечён этим своим толкованием, оно представлялось ему таким несомненным, таким бесспорным, что ему захотелось – при случае – узнать на этот счет мнение самого Толстого. И вот – случай представился.

Весною 1907 года он возвращался из-за границы и от Варшавы ехал в одном купе с господином, который оказался М. С. Сухотиным, зятем Толстого. Они, конечно, много говорили о Толстом. И Вересаев, разумеется, рассказал своему спутнику о своём толковании эпиграфа к «Анне Карениной».

У Сухотина, рассказывает Вересаев, загорелись глаза.

– Интересно бы, – сказал он, – рассказать Льву Николаевичу, – как бы он отнёсся к такому объяснению.

И тут Вересаев решился:

– Михаил Сергеевич! – попросил он. – Ловлю вас на слове. Очень вас прошу – расскажите и потом напишите мне. Страшно интересно узнать его мнение.

Сухотин замялся, стал говорить, что Лев Николаевич неохотно беседует о художественных своих произведениях, но в конце концов обещал поговорить и написать.

И вот – месяц спустя – Вересаев получил от него такое письмо:

…

Ясная Поляна, 23 мая 1907 г.

Многоуважаемый Викентий Викентьевич!

Не подумайте, что я забыл спросить Л. Н. по поводу эпиграфа к Анне Карениной. Я просто не находил случая его спросить, так как я Вам передавал, Л. Н. не любит говорить о своих произведениях беллетристических. Лишь на днях я выбрал удобный момент и спросил его по поводу «Мне отмщение, и аз воздам» К сожалению, из его ответа оказалось, что прав я, а не Вы. Говорю, к сожалению, так как Ваше понимание этого эпиграфа мне гораздо более нравится понимания Л. Н. и по-моему и Л. Н. Ваше объяснение более понравилось его собственного. По крайней мере, когда на его вопрос я объяснил ему причину моего желания знать, как он понимает этот эпиграф, он сказал: «Да, это остроумно, очень остроумно, но я должен повторить, что я выбрал этот эпиграф просто, как я уже объяснил, чтобы выразить ту мысль, что то дурное, что совершает человек, имеет своим последствием все то горькое, что идет не от людей, а от бога и что испытала на себе и Анна Каренина. Да, я помню, что именно это я хотел выразить».

Очень рад, что мог исполнить Ваше желание. Искренне Вас уважающий

Мих. Сухотин.

(Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. М. 1978. Стр. 293–294)

Для тех, кто близко – и даже не слишком близко – знал Льва Николаевича, не было ни малейших сомнений в том, что своим

романом он хотел осудить Анну. На этот счет имеется множество и других мемуарных свидетельств. Приведу только одно из них.

...

> *Услышав похвалу новому роману Ж. Занд, он резко объявил себя её ненавистником, прибавив, что героинь её романов, если б они существовали в действительности, следовало бы, ради назидания, привязывать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам. У него уже тогда выработался тот своеобразный взгляд на женщин и женский вопрос, который потом выразился с такою яркостью в романе «Анна Каренина».*
>
> *(Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. Л. 1928. Стр. 249–250)*

Но если это действительно так, если роман Толстого «Анна Каренина» был задуман автором как «позорная колесница», к которой он намеревался приковать свою героиню, чтобы «возить её по петербургским улицам», почему же он изобразил её такой обворожительной, такой прелестной, что перед этой её прелестью вот уже полтора столетия не может устоять ни один читатель?

Но то-то и дело, что поначалу она виделась ему совсем другой.

Заглянем в самый ранний вариант этого толстовского романа.

Вот – первое появление главной его героини.

Она уже названа тут той фамилией, которая даст заглавие окончательной редакции романа. Но зовут её тут ещё не Анна, а – Нана (Анастасия).

...

...Вронский пошелъ к хозяйке с приятными, такъ редко встречающимися в свете приемами скромности, учтивости, совершенного спокойствия и достоинства...

...Хозяйка, говоря с ним, заметила, что он нынче был не в своей тарелке. Он беспрестанно оглядывался на дверь и ронял нить разговора. Хозяйка в его лице, какъ в зеркале, увидала, что теперь вошло то лицо, которое он ждал. Это была Нана Каренина впереди своего мужа.

Действительно, они были пара: он прилизанный, белый, пухлый и весь в морщинах; она некрасивая с низким лбом, коротким, почти вздернутым носом и слишком толстая. Толстая так, что ещё немного, и она стала бы уродлива. Если бы только не огромные черные ресницы, украшавшие её серые глаза, черные огромные волоса, красившие лоб, и не стройность стана и грациозность движений, как у брата, и крошечные ручки и ножки, она была бы дурна.

(Анна Каренина. Черновые редакции и варианты. Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений. Том 20. М. 1939. Стр. 18)

А вот как говорят о ней обсуждающие её внешность мужчины:

...

– Вы знаете М-те Каренин, – сказала хозяйка, обращаясь къ молодому человеку, подходившему къ

ней. – Решите нашъ споръ – женщины, говорятъ, не знаютъ толку в женской красоте. М-те Кар [енинъ] хороша или дурна?

– Я не имелъ чести быть представленъ М-те К [арениной], но виделъ её въ театре, она положительно дурна.

– Если она будетъ нынче, то я васъ представлю, и вы скажете, что она положительно хороша.

– Это про Каренину говорятъ, что она положительно дурна? – сказалъ молодой Генералъ, вслушивавшийся въ разговоръ.

И онъ улыбнулся, какъ улыбнулся бы человекъ, услыхавший, что солнце не светитъ.

(Там же. Стр. 23)

В следующем наброске внешность будущей Анны Карениной (здесь её зовут Татьяна Сергеевна Ставрович) уже никаких споров не вызывает. Тут она уже положительно хороша. Даже – вызывающе хороша.

Но при этом – довольно-таки вульгарна:

...

Немного погодя вошли и Ставровичи, Татьяна Сергеевна въ желтомъ съ чернымъ кружевомъ платье, въ венке и обнаженная больше всехъ.

Было вместе что-то вызывающее, дерзкое въ ея одежде и быстрой походке и что-то простое и смирное въ ея красивомъ румяномъ лице съ большими черными глазами и такими же губами и такой же улыбкой, какъ у брата...

– Михаилъ Михайлович, хотите чаю?

Лицо Михаила Михайловича,

белое, бритое, пухлое и сморщенное, морщилось въ улыбку, которая была бы притворна, если бъ она не была такъ добродушна... Онъ акуратно разложилъ салфеточку и, оправивъ свой белый галстукъ и снявъ одну перчатку, сталъ всхлипывая отхлебывать...

Жена его между тем, облокотившись обнаженной рукой на бархатъ кресла и согнувшись такъ что плечо её вышло изъ платья, говорила съ дипломатомъ громко, свободно, весело о таких вещах, о которых никому бы не пришло в голову говорить в гостиной...

...Нагнув голову, она взяла в зубы ожерелье черного жемчуга и стала водить им, глядя из подлобья.

(Там же. Стр. 26–27)

При всем отличии этого наброска от первого, здесь облик героини тоже не сходится с той Анной, какую мы знаем по окончательному, каноническому варианту романа.

Но ещё больше не сходится с этим последним, каноническим вариантом бегло намеченный тут образ её мужа – Алексея Александровича.

Самые злые языки, перемывающие в этой гостиной косточки супругам Ставровичам, о нем говорят, хоть и не без иронии, как о рассеянном чудаке, не замечающем, что творится у него под носом, но с неизменной и искренней доброжелательностью:

...

– Кто то сказалъ, что народ имеетъ всегда то правительство, которое онъ заслуживает; мне кажется, и женщины всегда имеют того мужа, котораго они заслуживаютъ. Наш общий друг Михаил Михайлович Ставровичъ есть мужъ, котораго заслуживаетъ его красавица жена...

– Но госпожа Ставровичъ слишкомъ хороша, чтобъ у неё былъ муж, способный любить...

– Она дурно кончит, и мне просто жаль её...

– Но милее всего онъ. Эта тишина, кротость, эта наивность. Эта ласковость къ друзьямъ его жены...

– Эта ласковость к друзьямъ его жены, – повторила дама, – он долженъ быть очень добръ.

(Там же. Стр. 25)

Ничем, ну решительно ничем не напоминает этот Алексей Александрович ту бездушную канцелярскую машину, в образе которой предстает перед нами Алексей Александрович Каренин в окончательном, беловом варианте романа.

Что же все это значит?

Может быть, в процессе работы над романом Лев Николаевич изменил не только свое отношение к главным его героям, но и пересмотрел главную свою идею? То есть – пришел к выводу, что в рассматриваемой им драматической коллизии надо не осуждать Анну, а, напротив, оправдать её?

Нет, от первоначальной идеи задуманного им романа Толстой не отказался.

Напротив, он решил укрепить её, упрочить.

Как бы ни была прекрасна женщина, разрушившая семью, и какие бы высокие чувства ни двигали ею, – вина за случившееся лежит на ней. И каким бы отвратительным ни был муж, которому она изменила, все равно – он перед нею прав, а она перед ним неправа:

...

– Вы называете жестокостью то, что муж предоставляет жене свободу, давши ей честный кров имени только под условием соблюдения приличий. Это жестокость?

– Это хуже жестокости, это подлость, если вы уже хотите

знать! – со взрывом злобы вскрикнула Анна.

– Нет! – закричал он. – Подлость? Если вы хотите употребить это слово, то подлость – бросить мужа, сына для любовника и есть хлеб мужа!

Она нагнула голову. Она чувствовала справедливость его слов.

Читатель вряд ли может тут сочувствовать Алексею Александровичу, попрекающему жену тем, что она ест его хлеб. Все наше сочувствие отдано Анне. Но когда этот холодный, бездушный, ненавистный нам Алексей Александрович, путаясь в слогах, произносит свое знаменитое «пе-ле-страдал», не проникнуться сочувствием к нему – невозможно.

И оттого, что для Каренина, которого он полагал в этой ситуации правым, он не пожалел черной краски, а Анна, которую хотел осудить, вышла у него такой обворожительной, такой прелестной, идея, вдохновившая его на создание этого романа только выиграла в своей убедительности.

Это всё я к тому, что если бы Солженицын, рисуя своего Галахова, следовал художественному методу Толстого, разоблачительный пафос его замысла ничуть бы не пострадал, а тоже только выиграл в своей убедительности.

Власть, искажающая, уродующая душу умного и талантливого человека, предстала бы в этом случае перед нами куда более злокачественной, чем та же власть, подчиняющая своей воле тех, кто легко, без колебаний готов насиловать себя ей в угоду.

У Галахова – в самой природе этого образа, даже если отвлечься от реального его прототипа, – были все данные для того, чтобы автор (а значит, и читатель) мог отыскать в нем и какие-то привлекательные черты. Попросту говоря, рисовать его с большей симпатией.

О другом, говоря по-школьному, отрицательном солженицынском персонаже – Русанове – этого не скажешь.

Проникнуться хоть малой толикой симпатии к такому человеку, как Русанов, казалось бы, уж совсем невозможно. И от автора «Ракового корпуса» никто не вправе был этого требовать. Однако требование это на обсуждении повести, как мы помним, прозвучало. И удивительнее всего было то, что Солженицын с этим требованием как будто даже согласился:

> *Большая часть высказываний о Русанове подтверждает, что я с ним сделал что-то не то. Я не смею спорить с таким числом критиков. Но что делать конструктивно, – не знаю. Очень важна мысль Карякина, – она выходит за пределы моей книги, моего творчества, – как в произведении искусства должны соотноситься современность и вечность. Это труднейшая проблема. Как и любому писателю мне хотелось бы воспитать в себе чувство гармонии. Я пытался рисовать и Русанова с симпатией, иногда всеми силами, – ну, пожалуй, не всеми силами. (Смех.) Ведь вход Русанова в палату автобиографичен, это я сам переступаю порог ракового корпуса.*
>
> *(Александр Солженицын. Собрание сочинений в шести томах. Том шестой. Frankfurt/Main, 1970. Стр. 185 –186)*

Этот смех, которым участники обсуждения встретили слова Солженицына о том, что он старался рисовать Русанова с симпатией, более чем понятен. Очевидно ведь, что этого своего Русанова он яростно, смертельно ненавидит. Какая уж тут симпатия! Но самое интересное в его ответе на критику не это, а готовность признать, что стремление соотнести изображение современности с вечностью, к которому призывал его Карякин, выходит не только за пределы этой его книги, но и за пределы всего его творчества. То есть – за пределы его творческих возможностей.

Понять и по-настоящему оценить истинный смысл этого его признания легче всего на примере именно вот этого самого Русанова. Помимо всего прочего, ещё и потому, что в разработке этого образа он ближе всего подошел к Толстому. Можно даже сказать, что он тут прямо следовал Толстому, непосредственно от него отталкивался. Или даже ещё определеннее: что образ этого своего героя он пытался исследовать тем самым способом, каким,

исследуя сходную ситуацию и сходного персонажа, пользовался и в котором более всего преуспел Лев Николаевич Толстой.

Читатель, наверно, уже догадался, что я имею тут в виду его повесть «Смерть Ивана Ильича».

* * *

«Прошедшая история жизни Ивана Ильича, – так начинает Толстой эту свою повесть, – была самая простая и обыкновенная и самая ужасная».

Как тут же выясняется, самая ужасная она была не потому, что Иван Ильич был каким-нибудь особенным мерзавцем или злодеем, а вот именно потому, что был он человеком самым что ни на есть простым и обыкновенным, каких на свете – тысячи:

...

> *Он служил, делал карьеру и, вместе с тем, приятно и прилично веселился; изредка он ездил по поручению начальства в уезды, держал себя с достоинством и с высшими и низшими и с точностью и неподкупной честностью, которыми не мог не гордиться, исполнял возложенные на него поручения...*
>
> *В служебных делах он был, несмотря на свою молодость и склонность к легкому веселью, чрезвычайно сдержан, официален и даже строг; но в общественных он был часто игрив и остроумен и всегда добродушен...*
>
> *(Л. Н. Толстой. ПСС. Том 26. М. 1936. Стр. 70)*

При таких данных он вполне мог бы стать дипломатом, или другим каким-нибудь государственным служащим, или так и оставаться чиновником для особых поручений, каким поначалу и был. Но вышло так (и надо думать, вышло это не случайно, наверняка был тут у Толстого свой, особый умысел), что по мере своего дальнейшего продвижения по служебной лестнице стал он

судебным следователем.

И в этой новой его должности обнаружились в нем, а может быть, и постепенно выработались совсем другие качества:

...

Судебным следователем Иван Ильич был таким же comme il faut-ным, приличным, умеющим отделять служебные обязанности от частной жизни и внушающим общее уважение, каким он был чиновником особых поручений. Сама же служба следователя представляла для Ивана Ильича гораздо более интереса и привлекательности, чем прежняя. В прежней службе приятно было свободной походкой в шармеровском вицмундире пройти мимо трепещущих и ожидающих приема просителей и должностных лиц, завидующих ему, прямо в кабинет начальника и сесть с ним за чай с папиросою; но людей, прямо зависящих от его произвола, было мало. Такие люди были только исправники и раскольники, когда его посылали с поручениями; и он любил учтиво, почти по-товарищески обходиться с такими, зависящими от него, людьми, любил давать чувствовать, что вот он, могущий раздавить, дружески, просто обходится с ними. Таких людей тогда было мало. Теперь же, судебным следователем, Иван Ильич чувствовал, что все, все без исключения, самые важные, самодовольные люди – все у него в руках и что ему стоит только написать известные слова на бумаге с заголовком, и этого важного, самодовольного человека приведут к

нему в качестве обвиняемого или свидетеля, и он будет, если он не захочет посадить его, стоять перед ним и отвечать на его вопросы. Иван Ильич никогда не злоупотреблял этой своей властью, напротив, старался смягчать выражения её, но сознание этой власти и возможность смягчать её составляло для него главный интерес и привлекательность его новой службы.

(Там же. Стр. 71–72)

В должности судебного следователя Иван Ильич прослужил три года, после чего получил новое назначение, открывшее перед ним новые возможности и принесшее ему ещё большую сладость от сознания своей власти над людьми, от него зависящими:

...

Ивана Ильича ценили как хорошего служаку, и через три года сделали товарищем прокурора. Новые обязанности, важность их, возможность привлечь к суду и посадить всякого в острог, публичность речей, успех, который в этом деле имел Иван Ильич, – всё это ещё более привлекало его к службе...

После семи лет службы в одном городе Ивана Ильича перевели на место прокурора в другую губернию. Они переехали... В служебном мире сосредоточился для него весь интерес жизни. И интерес этот поглощал его. Сознание своей власти, возможности погубить всякого человека, которого он захочет погубить, важность, даже внешняя, при его входе в суд и встречах с подчиненными, успех свой перед

высшими и подчиненными и, главное, мастерство свое ведения дел, которое он чувствовал, – всё это радовало его и... наполняло его жизнь.

(Там же. Стр. 75–76)

Не будет большим преувеличением, если я скажу, что солженицынский Русанов – точный слепок этого толстовского Ивана Ильича. А что касается той сладости, какую он испытывает от сознания своей власти над людьми, то этот мотив у Солженицына разработан даже подробнее и тщательнее, чем у Толстого:

...

Род работы Русанова в течение уже многих лет, едва ли не двадцати, был – анкетное хозяйство. Должность эта в разных учреждениях называлась по-разному, но суть была всегда одна. Только неучи да несведущие посторонние люди не знают, какая это ажурная, тонкая работа. Каждый человек на жизненном пути заполняет немалое число анкет, и в каждой анкете – известное число вопросов. Ответ одного человека на один вопрос одной анкеты – это уже ниточка, навсегда протянувшаяся от человека в местный центр анкетного хозяйства... На каждого живого человека всегда можно записать что-нибудь отрицательное или подозрительное, каждый человек в чем-нибудь виноват или что-нибудь утаивает, если разобраться дотошно.

Из этого постоянного ощущения незримых ниточек естественно рождается у людей и уважение к тем лицам, кто эти ниточки

вытягивает, кто ведёт это сложнейшее анкетное хозяйство. Авторитет таких лиц.

Пользуясь ещё одним сравнением, уже музыкальным, Русанов, благодаря своему особому положению, обладал как бы набором дощечек ксилофона и мог по выбору, по желанию, по соображениям необходимости ударять по любой из дощечек. Хотя все они были равно деревянные, но голос был у каждой свой.

Были дощечки, то есть приёмы, самого нежного, осторожного действия. Например, желая какому-нибудь товарищу передать, что он им недоволен, или просто предупредить, немного поставить на место, Русанов умел особыми ладами здороваться. Когда тот человек здоровался (разумеется, первый), Павел Николаевич мог ответить деловито, но не улыбнуться; а мог, сдвинув брови (это он отрабатывал и рабочем кабинете перед зеркалом), чуть-чуть замедлить ответ – как будто он сомневался, надо ли, собственно, с этим человеком здороваться, достоин ли тот – и уж после этого поздороваться (опять же: или с полным поворотом головы, или с неполным, или вовсе не поворачивая). Такая маленькая задержка всегда имеет, однако, значительный эффект. В голове работника, который был приветствован с такой заминкой или холодком, начинались деятельные поиски тех грехов, в которых этот работник мог быть виноват. И, поселив сомнение, заминка удерживала его, может быть, от неверного поступка, на грани

которого работник уже был, но Павел Николаевич лишь с опозданием получил бы об этом сведения.

Более сильным средством было, встретив человека (или позвонив ему по телефону, или даже специально вызвав его), сказать: «Зайдите, пожалуйста, ко мне завтра в десять часов утра». «А сейчас нельзя?» – обязательно спросит человек, потому что ему хочется скорее выяснить, зачем его вызывают, и скорее исчерпать разговор. «Нет, сейчас нельзя», – мягко, но строго скажет Русанов. Он не скажет, что занят другим делом или идёт на совещание, нет, он ни за что не даст ясной простой причины, чтоб успокоить вызванного (в том-то и состоит приём), он так выговорит это «сейчас нельзя», чтобы сюда поместилось много серьёзных значений – и не все из них благоприятные. «А по какому вопросу?» – может быть, осмелится спросить или по крайней неопытности спросит работник. «Завтра и узнаете», – бархатисто обойдёт этот нетактичный вопрос Павел Николаевич. Но до десяти часов завтрашнего дня – сколько времени! сколько событий! Работнику надо ещё кончить рабочий день, ехать домой, разговаривать с семьёй, может быть, идти в кино или на родительское собрание в школу, и ещё потом спать (кто заснёт, а кто и нет), и ещё потом утром давиться завтраком – и всё время будет сверлить и грызть работника этот вопрос: «А зачем он меня вызывает?»

(Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. Раковый

корпус. Рассказы. М. 1990. Стр. 134–136)

Толстовский Иван Ильич, который, как мы помним, тоже упивался сознанием своей власти над людьми и имеющимися в его распоряжении средствами губить их, все-таки воли этим своим тайным желаниям не давал. Напротив, он даже старался по мере возможности их обуздывать:

...

Иван Ильич никогда не злоупотреблял этой своей властью, напротив, старался смягчать выражения её; но сознание этой власти и возможность смягчать её составляли для него главный интерес и привлекательность его новой службы. В самой же службе, именно в следствиях, Иван Ильич очень быстро усвоил прием отстранения от себя всех обстоятельств, не касающихся службы, облечения всякого самого сложного дела в такую форму, при которой бы дело только внешним образом отражалось на бумаге и при котором исключалось совершенно его личное воззрение и, главное, соблюдалась бы вся требуемая формальность.

(Л. Н. Толстой. ПСС. Том 26. М. 1936. Стр. 72)

О том, чтобы солженицынский Русанов хоть на миг испытал удовольствие от своей возможности **смягчить** выражение этой своей власти, а тем более воспользовался этой возможностью, не может быть даже и речи. Все силы его души направлены не на смягчение, а на **ужесточение** участи тех, чья судьба оказалась в его руках. И этой своей возможностью он пользуется с наслаждением прямо-таки садистским:

...

…В этой анкете ничего не укрыть. Это – отличная анкета. Это – лучшая из анкет.

Именно с помощью такой анкеты Русанову удалось добиться разводов нескольких женщин, мужья которых находились в заключении по 58-й статье. Уж как эти женщины заметали следы, посылали посылки не от своего имени, не из этого города или вовсе не посылали – в этой анкете слишком строго стоял частокол вопросов, и лгать дальше было нельзя. И один только был пропуск в частоколе: окончательный развод перед законом. К тому же, его процедура была облегчена: суд не спрашивал от заключённых согласия на развод и даже не извещал их о совершённом разводе. Русанову важно было, чтобы развод совершился… А анкеты эти никуда и не шли. И Сергею Сергеичу показывались только разве в виде анекдота.

Обособленное, загадочное, полупотустороннее положение Русанова в общем ходе производства давало ему и удовлетворяло его глубоким знанием истинных процессов жизни. Жизнь, которая была видна всем – производство, совещания, многотиражка, месткомовские объявления на вахте, заявления на получение, столовая, клуб, – не была настоящая, а только казалась такой непосвящённым. Истинное же направление жизни решалось без крикливости, спокойно, в тихих кабинетах между двумя-тремя понимающими друг друга людьми или телефонным ласковым звонком.

(Александр Солженицын. Не

стоит село без праведника. Раковый корпус. Рассказы. М. 1990. Стр. 136)

Тут нельзя не отметить, что удовлетворению этого палаческого сладострастия Русанова, этих его садистских наклонностей в немалой мере способствовал сам тайный, закрытый, закулисный характер его деятельности. И даже тот внешний антураж, каким он был обставлен:

...

Соответственно роду работы бывало оборудовано и рабочее место Русанова. Это всегда была уединённая комната с дверью, сперва обитой кожей и блестящими обойными гвоздями, а потом, по мере того как богатело общество, ещё и огражденная входным предохранительным ящиком, тёмным тамбуром. Этот тамбур – как будто и простое изобретение, совсем нехитрая штука: не больше метра в глубину, и лишь секунду-две мешкает посетитель, закрывая за собой первую дверь и ещё не открыв вторую. Но в эти секунды перед решающим разговором он как бы попадает в короткое заключение: нет ему света, и воздуха нет, и он чувствует всё свое ничтожество перед тем, к кому сейчас входит. И если была у него дерзость, своемудрие – то здесь, в тамбуре, он расстанется с ними.

Естественно, что и по нескольку человек сразу к Павлу Николаевичу не вваливались, а только впускались поодиночке, кто был вызван или получил по телефону разрешение прийти.

Такое оборудование рабочего места и такой порядок допуска очень

способствовали вдумчивому и регулярному выполнению обязанностей в русановском отделе. Без предохранительного тамбура Павел Николаевич бы страдал.

(Там же. Стр. 136–137)

Тут можно было бы пуститься в сравнительный анализ старого царского аппарата, не в пример более либерального и даже человечного, чем тот, что породил и сформировал Русанова. Но это слишком далеко увело бы меня от моей темы. Поэтому задержусь (пока) не на том, что отличает Русанова от толстовского Ивана Ильича, а на том, что их сближает, даже роднит.

...

Боль в боку всё томила, всё как будто усиливалась, становилась постоянной, вкус во рту становился всё страннее, ему казалось, что пахло чем-то отвратительным у него изо рта, и аппетит и силы всё слабели. Нельзя было себя обманывать: что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичом, совершалось в нем. И он один знал про это, все же окружающие не понимали или не хотели понимать и думали, что всё на свете идет по-прежнему. Это-то более всего мучило Ивана Ильича. Домашние – главное жена и дочь, которые были в самом разгаре выездов, он видел, ничего не понимали, досадовали на то, что он такой невеселый и требовательный, как будто он был виноват в этом. Хотя они и старались скрывать это, он видел, что он им помеха...

И с сознанием этим, да ещё с болью физической, да ещё с ужасом

надо было ложиться в постель и часто не спать от боли большую часть ночи. А на утро надо было опять вставать, одеваться, ехать в суд, говорить, писать, а если и не ехать, дома быть с теми же двадцатью четырьмя часами в сутках, из которых каждый был мучением. И жить так на краю погибели надо было одному, без одного человека, который бы понял и пожалел его.

(Л. Н. Толстой. ПСС. Том 26. М. 1936. Стр. 87–89)

Тут я совсем было уже собрался написать, что солженицынский Русанов в той же ситуации испытывает похожее чувство. Но перечитав те несколько строк, которые собрался процитировать для подтверждения этого своего наблюдения, вынужден был поправиться. Нет, не **похожее** чувство испытывает он в сходной ситуации, а – **то же самое** :

...

...Вся дружная образцовая семья Русановых, вся их налаженная жизнь, безупречная квартира – всё это за несколько дней отделилось от него и оказалось по ту сторону опухоли. Они живут и будут жить, как бы ни кончилось с отцом. Как бы они теперь ни волновались, ни заботились, ни плакали – опухоль задвигала его, как стена, и по эту сторону оставался он один.

(Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. Раковый корпус. Рассказы. М. 1990. Стр. 16)

Но на этом сходство (родство) этих двух персонажей тут же и кончается.

Сразу же после того как вплотную приблизилась к каждому из них смерть, обозначилось коренное, сущностное отличие их друг от друга.

* * *

Толстой говорил, что человек по-настоящему начинает думать лишь тогда, когда задумывается о смерти. Потому что если смерть конец всему, – вся жизнь человеческая не имеет ни цены, ни смысла.

Иван Ильич, до того как настигла его смертельная болезнь, об этом не думал. (Он вообще – не из думающих). Но когда смерть вплотную приблизилась к нему – задумался:

...

В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого.

Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера: Кай – человек, люди смертны, поэтому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай-человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо; он был Ваня с мама, с папа, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня? Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери?.. Разве Кай так был влюблен?..

И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, – мне это

другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно.

Так чувствовалось ему.

«Если б и мне умирать, как Каю, то я так бы и знал это, так бы и говорил мне внутренний голос; но ничего подобного не было во мне; и я и все мои друзья – мы понимали, что это совсем не так, как с Каем. А теперь вот что! – говорил он себе. – Не может быть. Не может быть, а есть. Как же это? Как понять это?»

И он не мог понять и старался отогнать эту мысль, как ложную, неправильную, болезненную, и вытеснить её другими правильными, здоровыми мыслями. Но мысль эта не только мысль, но как будто действительность, приходила опять и становилась перед ним.

(Л. Н. Толстой. ПСС. Том 26. М. 1936. Стр. 92–93)

Павлу Николаевичу Русанову такие мысли в голову не приходят. Они и не могут к нему прийти. И не только потому, что он не учил логику по Кизеветеру и слыхом не слыхал ни про какого Кая.

Они не могут прийти к нему в голову прежде всего потому, что он запрещает себе думать о смерти. И не только себе, но и другим.

Запрещает не только потому, что самая мысль О НЕЙ не в духе оптимистического мировоззрения советского человека (это для него само собой разумеется), но и **просто по-человечески** . Едва только заходит в палате об этом речь, тут же взмаливается:

…

– Я прошу вас! Я прошу вас! – уже не по гражданской обязанности, а по-человечески предостерёг Павел Николаевич. – Не будем говорить о смерти! Не будем о ней даже

вспоминать!

– И просить меня нечего! – отмахивался Костоглотов рукой-лопатой. – Если здесь о смерти не поговорить, где ж о ней поговорить? «Ах, мы будем жить вечно!»

– Так что? Что? – взывал Павел Николаевич. – Что вы предлагаете? Говорить и думать всё время о смерти! Чтоб эта калиевая соль брала верх?

– Не всё время, – немного стих Костоглотов, поняв, что попадает в противоречие. – Не всё время, но хотя бы иногда. Это полезно. А то ведь что мы всю жизнь твердим человеку? – ты член коллектива! ты член коллектива! Но это – пока он жив. А когда придёт час умирать – мы отпустим его из коллектива. Член-то он член, а умирать ему одному. А опухоль сядет на него одного, не на весь коллектив. Вот вы! – грубо совал он палец в сторону Русанова. – Ну-ка скажите, чего вы сейчас больше всего боитесь на свете? Умереть!! А о чём больше всего боитесь говорить? О смерти! Как это называется?

Павел Николаевич перестал слушать, потерял интерес спорить с ним. Он забылся, сделал неосторожное движение, и так больно отдалось ему от опухоли в шею и в голову, что померк весь интерес просвещать этих балбесов и рассеивать их бредни... В конце концов, он попал в эту клинику случайно и такие важные минуты болезни не с ними он должен был переживать. А главное и страшное было то, что опухоль ничуть не опала и ничуть не размягчилась от вчерашнего укола. И при мысли об

этом холодело в животе. Оглоеду хорошо рассуждать о смерти, когда он выздоравливает.

(Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. Раковый корпус. Рассказы. М. 1990. Стр. 100)

Толстовский Иван Ильич, придя к мысли, что **Каю было правильно умирать** , а ему, Ивану Ильичу, **умирать неправильно** , на этом не останавливается. Его мысль движется в этом направлении дальше, и вдруг принимает такой – совершенно неожиданный для него – поворот:

...

Боль поднялась опять, но он не шевелился, не звал. Он говорил себе: «Ну ещё, ну бей! Но за что? Что я сделал Тебе, за что?»

Потом он затих, перестал не только плакать, перестал дышать и весь стал внимание: как будто он прислушивался не к голосу, говорящему звуками, но к голосу души, к ходу мыслей, поднимавшемуся в нём.

– Чего тебе нужно? – было первое ясное, могущее быть выражено словами понятие, которое он услышал. – Что тебе нужно? Чего тебе нужно? – повторил он себе. – Чего? – Не страдать. Жить, – ответил он.

И опять он весь предался вниманию, такому напряженному, что даже боль не развлекала его.

– Жить? Как жить? – спросил голос души.

– Да, жить, как я жил прежде: хорошо, приятно.

– Как ты жил прежде, хорошо и приятно? – спросил голос. И он стал перебирать в воображении лучшие

минуты своей приятной жизни. Но – странное дело – все эти лучшие минуты приятной жизни казались теперь совсем не тем, чем казались они тогда. Все – кроме первых воспоминаний детства. Там, в детстве, было что-то такое действительно приятное; с чем можно бы было жить, если бы оно вернулось. Но того человека, который испытывал это приятное, уже не было: это было как бы воспоминание о каком-то другом...

«Может быть, я жил не так как должно?» – приходило ему вдруг в голову. «Но как же не так, когда я делал всё, как следует?» – говорил он себе и тотчас же отгонял от себя это единственное разрешение всей загадки жизни и смерти как что-то совершенно невозможное.

Чего ж ты хочешь теперь? Жить? Как жить? Жить, как ты живешь в суде, когда судебный пристав провозглашает: «Суд идет!..» Суд идет, идет суд, повторил он себе. Вот он суд!.. «Да я же не виноват! – вскрикнул он с злобой. – За что?» И он перестал плакать и, повернувшись лицом к стене, стал думать всё об одном и том же: зачем, за что весь этот ужас?

Но сколько он ни думал, он не нашел ответа. И когда ему приходила, как она приходила ему часто, мысль о том, что всё это происходит от того, что он жил не так, он тотчас вспоминал всю правильность своей жизни и отгонял эту странную мысль.

(Л. Н. Толстой. ПСС. Том 26. М. 1936. Стр. 106–107)

Он гонит прочь от себя эту странную мысль. Но с каждым

днем она становится всё въедливее, всё неотвязнее:

...

Как мучения всё хуже идут и хуже, так и вся жизнь шла всё хуже и хуже, думал он. Одна точка светлая там, назади, в начале жизни, а потом всё чернее и чернее и всё быстрее и быстрее. «Обратно пропорционально квадратам расстояний от смерти», – подумал Ильич. И этот образ камня, летящего вниз с увеличивающейся быстротой, запал ему в душу. Жизнь, ряд увеличивающихся страданий, летит быстрее и быстрее к концу, страшнейшему страданию. «Я лечу...» Он вздрагивал, шевелился, хотел противиться; но уже он знал, что противиться нельзя... «Противиться нельзя», – говорил он себе. – «Но хоть бы понять, зачем это? И того нельзя. Объяснить бы можно было, если бы сказать, что я жил не так, как надо. Но этого-то уже невозможно признать», – говорил он сам себе, вспоминая всю законность, правильность и приличие своей жизни.

(Там же. Стр. 108–109)

И чем ближе была к нему смерть, чем мучительнее терзавшая его боль, тем более несомненной и неопровержимой представлялась ему прямая связь этих его мучений с той неправильной жизнью, которой он жил до настигшей его смертельной болезни:

...

Доктор говорил, что страдания его физические ужасны, и это была

правда; но ужаснее его физических страданий были его нравственные страдания, и в этом было главное его мучение.

Нравственные страдания его состояли в том, что в эту ночь... ему вдруг пришло в голову: а что как и в самом деле вся моя жизнь, сознательная жизнь, была «не то»...

«А если это так, – сказал он себе, – и я ухожу из жизни с сознанием того, что погубил всё, что мне дано было, и поправить нельзя, тогда что ж?» Он лег навзничь и стал совсем по-новому перебирать всю свою жизнь. Когда он увидал утром лакея, потом жену, потом дочь, потом доктора, – каждое их движение, каждое их слово подтверждало для него ужасную истину, открывшуюся ему ночью. Он в них видел себя, всё то, чем он жил, и ясно видел, что всё это было не то, всё это был ужасный огромный обман, закрывающий и жизнь и смерть.

(Там же. Стр. 110)

Возникает эта тема и у Солженицына в его «Раковом корпусе». Но не в мыслях Русанова, как это можно было бы предположить, а в размышлениях совсем другого персонажа этой его повести, от которого, казалось, менее чем от кого другого из сопалатников Русанова можно было этого ожидать:

...День за днем вышагивал Поддуев по старому полу, качая половицами, но ничуть ему не становилось ясней, чем же надо встречать смерть. Придумать этого было – нельзя. Услышать было – не от кого. И уж меньше всего ожидал

бы он найти это в какой-нибудь книге.

Когда-то он четыре класса кончил, когда-то и строительные курсы, но собственной тяги читать у него не было: заместо газет шло радио, а книги представлялись ему совсем лишними в обиходе, да в тех диковатых дальних местах, где протаскался он жизнь за то, что там платили много, он и не густо видал книгочеев. Поддуев читал по нужде – брошюры по обмену опытом, описания подъёмных механизмов, служебные инструкции, приказы и «Краткий курс» до четвёртой главы. Тратить деньги на книги или в библиотеку за ними переться – находил он просто смешным. Когда же в дальней дороге или в ожидании ему попадалась какая – прочитывал он страниц двадцать-тридцать, но всегда бросал, ничего не найдя в ней по умному направлению жизни.

И здесь, в больнице, лежали на тумбочках и на окнах – он до них не дотрагивался. И эту синенькую с золотой росписью тоже бы не стал читать, да всучил её Костоглотов в самый пустой тошный вечер. Подложил Ефрем две подушки под спину и стал просматривать. И тут ещё он бы не стал читать, если бы это был ро€ман. Но это были рассказики маленькие, которых суть выяснялась в пяти-шести страницах, а иногда в одной. В оглавлении их было насыпано, как гравия. Стал читать Поддуев названия и повеяло на него сразу, что идёт как бы о деле. «Труд, смерть и болезнь». «Главный закон». «Источник». «Упустишь огонь – не потушишь». «Три старца». «Ходите в свете, пока есть свет».

Ефрем раскрыл какой поменьше. Прочел его. Захотелось подумать. Он подумал. Захотелось этот же рассказик ещё раз перечесть. Перечёл. Опять захотелось подумать. Опять подумал.

Так же вышло и со вторым.

(Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. Раковый корпус. Рассказы. М. 1990. Стр. 73)

Книга эта захватила Ефрема Поддуева тем, что сразу пришлась она точно впору тем мыслям, которые все эти дни одолевали его, обреченного на смерть от неизлечимой раковой опухоли. Точно впору этим его мыслям пришлось уже самое её заглавие «Чем люди живы»:

...

Целую жизнь он прожил, а такая серьёзная книга ему не попадалась.

Хотя вряд ли бы он стал её читать не на этой койке и не с этой шеей, стреляющей в голову. Рассказиками этими едва ли можно было прошибить здорового.

Ещё вчера заметил Ефрем такое название: «Чем люди живы». До того это название было вылеплено, будто сам же Ефрем его и составил. Топча больничные полы и думая, не назвав, – об этом самом он ведь и думал последние недели: чем люди живы?

(Там же. Стр. 74)

Совпадение это до того поразило Ефрема, что этот мрачный, нелюдимый человек, до того молча топтавший дорожку меж кроватей, не вступая с сопалатниками ни в какие разговоры и не откликаясь ни на какие их реплики, вдруг сам, первый к ним обратился:

…

– Вот, – объявил он громко. – Тут рассказ есть. Называется: «Чем люди живы». – И усмехнулся. – Такой вопрос, кто ответит? – чем люди живы?

Сибгатов и Ахмаджан подняли головы от шашек. Ахмаджан ответил уверенно, весело, он выздоравливал:

– Довольствием. Продуктовым и вещевым.

До армии он жил только в ауле и говорил по-узбекски. Все русские слова и понятия, всю дисциплину и всю развязность он принес из армии.

– Ну, ещё кто? – хрипло спрашивал Поддуев. Загадка книги, неожиданная для него, была-таки и для всех нелёгкая. – Кто ещё? Чем люди живы?

Старый Мурсалимов по-русски не понимал, хоть, может, ответил бы тут лучше всех. Но пришёл делать ему укол медбрат Тургун, студент, и ответил:

– Зарплатой, чем!..

– Ну, ну! – требовал Ефрем.

Дёмка отложил свою книгу и хмурился над вопросом…

– Ну, пацан! – подбодрял Ефрем.

– Так, по-моему, – медленно выговаривал Дёмка, как учителю у доски, чтоб не ошибиться, и ещё между словами додумывая. – Раньше всего – воздухом. Потом – водой. Потом – едой.

Так бы и Ефрем ответил прежде, если б его спросили. Ещё б только добавил – спиртом. Но книга совсем не в ту сторону тянула.

Он чмокнул.

– Ну, ещё кто?

Прошка решился:

– Квалификацией.

Опять-таки верно, всю жизнь так думал и Ефрем. А Сибгатов вздохнул и сказал, стесняясь:

– Родиной.

– Как это? – удивился Ефрем.

– Ну, родными местами… Чтоб жить, где родился.

– А-а-а… Ну, это не обязательно. Я с Камы молодым уехал и нипочём мне, есть она там, нет. Река и река, не всё ль равно?

– В родных местах, – тихо упорствовал Сибгатов, – и болезнь не привяжется. В родных местах всё легче.

– Ладно. Ещё кто?

(Там же. Стр. 76–77)

И тут пришел черёд по-своему ответить на этот вопрос и Русанову:

…

– А что? А что? – отозвался приободрённый Русанов. – Какой там вопрос?

Ефрем, кряхтя, повернул себя налево. У окон были койки пусты и оставался один только курортник. Он объедал куриную ножку, двумя руками держа её за концы…

Прищурился Ефрем.

– Вот так, профессор: чем люди живы?

Ничуть не затруднился Павел Николаевич, даже и от курицы почти не оторвался:

– А в этом и сомнения быть не может. Запомните. Люди живут: идейностью и общественным благом.

И выкусил самый тот сладкий

хрящик в суставе. После чего, кроме грубой кожи у лапы и висящих жилок, ничего на костях не осталось. И он положил их поверх бумажки на тумбочку.

(Там же. Стр. 77)

Эта сцена, как вы, может быть, помните, до того восхитила писательницу Любовь Кабо, что, дойдя до неё, она прямо-таки зашлась от восторга.

Особенно восторгаться, однако, тут было нечем. Потому что опять перед нами всё та же, уже хорошо нам знакомая «игра в поддавки».

Но это ещё не вся игра, а только самое её начало.

А вот – продолжение:

…

Ефрем не ответил. Ему досадно стало, что хиляк вывернулся ловко. Уж где идейность – тут заткнись.

И, раскрыв книгу, уставился опять. Сам для себя он хотел понять – как же ответить правильно.

– А про что книга? Что пишут? – спросил Сибгатов…

– Да вот… – Поддуев прочёл первые строки. – «Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартере. Ни дома своего, ни земли у него не было…»

Но читать вслух было трудно и длинно, и, подмощённый подушками, он стал перелагать Сибгатову своими словами, сам стараясь ещё раз охватить:

– В общем, сапожник запивал. Вот шёл он пьяненький и подобрал замерзающего Михаилу. Жена ругалась – куда, мол, ещё дармоеда. А Михаила стал работать без разгиба и научился шить лучше сапожника. Раз, по зиме, приезжает к ним барин,

дорогую кожу привозит и такой заказ: чтоб сапоги носились, не кривились, не поролись. А если кожу сапожник загубит – с себя отдаст. А Михаила странно как-то улыбался: там, за барином, в углу видел что-то. Не успел барин уехать, Михаила эту кожу раскроил и испортил: уже не сапоги вытяжные на ранту могли получиться, а только вроде тапочек. Сапожник за голову схватился: ты ж, мол, зарезал меня, что ты делаешь?

А Михаила говорит: припасает себе человек на год, а не знает, что не будет жив до вечера. И верно: ещё в дороге барин окочурился. И барыня дослала к сапожнику пацана: мол, сапог шить не надо, а поскорей давайте тапочки. На мёртвого.

– Ч-чёрт его знает, чушь какая! – отозвался Русанов, с шипением и возмущением выговаривая «ч». – Неужели другую пластинку завести нельзя? За километр несёт, что мораль не наша. И чем же там – люди живы?

Ефрем перестал рассказывать и перевёл набрякшие глаза на лысого. Ему то и досаждало, что лысый едва ли не угадал. В книге написано было, что живы люди не заботой о себе, а любовью к другим. Хиляк же сказал: общественным благом.

Оно как-то сходилось.

– Живы чем? – Даже и вслух это не выговаривалось. Неприлично вроде. – Мол, любовью…

– Лю-бо-вью?! Не-ет, это не наша мораль! – потешались золотые очки. – Слушай, а кто это всё написал?

– Чего? – промычал Поддуев. Угибали его куда-то от сути в

сторону.

– Ну, написал это всё – кто? Автор?.. Ну, там, вверху, на первой странице посмотри.

А что было в фамилии? Что она имела к сути – к их болезням? к их жизни или смерти? Ефрем не имел привычки читать на книгах эту верхнюю фамилию, а если читал, то забывал тут же.

Теперь он всё же отлистнул первую страницу и прочёл вслух:

– Толс-той.

– Н-не может быть! – запротестовал Русанов. – Учтите: Толстой писал только оптимистические и патриотические вещи, иначе б его не печатали. «Хлеб». «Пётр Первый». Он – трижды лауреат Сталинской премии, да будет вам известно!

– Так это – не тот Толстой! – отозвался Дёмка из угла. – Это у нас – Лев Толстой.

– Ах, не то-от? – растянул Русанов с облегчением отчасти, а отчасти кривясь. – Ах, это другой... Это который – зеркало русской революции, рисовые котлетки?.. Так сюсюкалка ваш Толстой! Он во многом, оч-чень во многом не разбирался.

(Там же. Стр. 77–78)

Тут, увлекшись своей игрой в поддавки, Александр Исаевич несколько заигрался. В официальной советской табели о рангах имя Л. Н. Толстого стояло одним из первых (если не первым) в ряду имен, составляющих славу и гордость России. («Зеркало русской революции...», «Матёрый человечище...», «Дубина народной войны поднялась...», и т. д.) И

никакой Русанов никогда не посмел бы говорить о нем в таком пренебрежительном тоне.

Но в самой своей основе отношение Русанова к «не нашей» морали и «не нашей» философии великого писателя земли русской основополагающим партийным установкам, разумеется, не противоречит. И твердо в этом увереннный Русанов и дальше упрямо продолжает гнуть свою линию.

...Речь держал Костоглотов...

– ...Мы не должны как кролики доверяться врачам. Вот пожалуйста, я читаю книгу... Патологическая анатомия, учебник для вузов. И тут говорится, что связь хода опухоли с центральной нервной деятельностью ещё очень слабо изучена. А связь удивительная! Даже прямо написано, – он нашёл строчку, – редко, но бывают случаи самопроизвольного исцеления ! Вы чувствуете, как написано? Не излечения, а исцеления ! А?

Движение прошло по палате. Как будто из распахнутой большой книги выпорхнуло осязаемой радужной бабочкой самопроизвольное исцеление, и каждый подставлял лоб и щёки, чтоб оно благодетельно коснулось его на лету.

– Самопроизвольное! – отложив книгу, тряс Костоглотов... – Это значит вот вдруг по необъяснимой причине опухоль трогается в обратном направлении! Она уменьшается, рассасывается и наконец её нет! А?

Все молчали, рты приоткрывши сказке. Чтобы опухоль, его опухоль, вот эта губительная, всю его жизнь перековеркавшая опухоль – и вдруг бы

сама изошла, истекла, иссякла, кончилась?..

Все молчали, подставляя бабочке лицо, только угрюмый Поддуев заскрипел кроватью и, безнадежно набычившись, прохрипел:

– Для этого надо, наверно... чистую совесть.

Не все даже поняли: это он – сюда, к разговору, или своё что-то.

Павел Николаевич, который на этот раз не только со вниманием, а даже отчасти с симпатией слушал соседа-Оглоеда, отмахнулся:

– При чём тут совесть? Стыдитесь, товарищ Поддуев!

Но Костоглотов принял на ходу:

– Это ты здорово рубанул, Ефрем! Здорово! Все может быть, ни хрена мы не знаем... Вот, например, после войны читал я журнал, так там интереснейшую вещь... Оказывается, у человека на переходе к голове есть какой-то кровемозговой барьер, и те вещества или там микробы, которые убивают человека, пока они не пройдут через этот барьер в мозг – человек жив. Так от чего ж это зависит?.. А зависит, оказывается, в этом барьере от соотношения солей калия и натрия... А отчего зависят натрий и калий? Вот это – самое интересное! Их соотношение зависит – от настроения человека!!. Понимаете? Значит, если человек бодр, если он духовно стоек, – в барьере перевешивает натрий, и никакая болезнь не доведёт его до смерти! Но достаточно ему упасть духом – и сразу перевесит калий, и можно заказывать гроб...

Тут и Павел Николаевич ничего не возразил. Оглоед рассуждал

вполне научно.

– Так я не удивлюсь, – развивал Костоглотов, – что лет через сто откроют, что ещё какая-нибудь цезиевая соль выделяется по нашему организму при спокойной совести и не выделяется при отягощённой. И от этой цезиевой соли зависит, будут ли клетки расти в опухоль, или опухоль рассосётся.

Ефрем хрипло вздохнул:

– Я – баб много разорил. С детьми бросал... Плакали... У меня не рассосётся.

– Да при чём тут?! – вышел из себя Павел Николаевич. – Да это же махровая поповщина, так думать! Начитались вы всякой слякоти, товарищ Поддуев, и разоружились идеологически! И будете нам тут про всякое моральное усовершенствование талдыкать...

– А что вы так прицепились к нравственному усовершенствованию? – огрызнулся Костоглотов. – Почему нравственное усовершенствование вызывает у вас такую изжогу? Кого оно может обижать? Только нравственных уродов!

– Вы... не забывайтесь! – блеснул очками и оправою Павел Николаевич и в этот момент так строго, так ровно держал голову, будто никакая опухоль не подпирала её справа под челюсть. – Есть вопросы, по которым установилось определённое мнение! И вы уже не можете рассуждать!

– А почему это не могу? – тёмными глазищами упёрся Костоглотов в Русанова...

– А если хотите высказаться, так будьте же хоть грамотны! – вылепливая каждое слово по звукам,

осадил своего оппонента Павел Николаевич. – О нравственном усовершенствовании Льва Толстого и компании раз и навсегда написал Ленин! И товарищ Сталин! И Горький!

– Простите! – напряжённо сдерживаясь и вытягивая руку навстречу, ответил Костоглотов. – Раз и навсегда никто на земле ничего сказать не может. Потому что тогда остановилась бы жизнь. И всем последующим поколениям нечего было бы говорить.

Павел Николаевич опешил. У него покраснели верхние кончики его чутких белых ушей и на щеках кое-где выступили красные круглые пятна.

(Тут не возражать, не спорить надо было по-субботнему, а надо было проверить, что это за человек, откуда он, из чьих, – и его вопиюще неверные взгляды не вредят ли занимаемой им должности.)

(Там же. Стр. 97–99)

Ничего нового про Русанова из этой его идеологической схватки с Костоглотовым мы не узнали. Как попка, повторяет он то, что ему вдолбили. Но на людях, публично такой человек, как Русанов, и не может вести себя по-другому.

Но он и наедине с собой, в самых тайных своих мыслях не может допустить, что между его опухолью и тем, как он прожил свою жизнь, может существовать какая-то связь.

А ведь в его жизни черных пятен, которые должны были бы отягощать его совесть, было куда больше, чем у Ефрема Поддуева или толстовского Ивана Ильича.

Но он о них, об этих черных пятнах, даже не вспоминает.

То есть вспоминает, конечно. Но – совсем в другой связи, никак не сопрягая эту сторону своей жизни с настигшей его смертельной болезнью.

Да и сам он об этой стороне своей жизни, может быть, даже бы и не вспомнил, если бы не напомнила ему о ней навестившая его в больнице жена.

...

...Говорили они обо всём, обо всём, не один час, но – вяло шли их языки, и разговоры эти, скрывая от другого, каждый ощущал как неделовое. Всё опущено было в Павле Николаевиче внутри, не верилось в реальность людей и событий, которые они обсуждали, и делать ничего не хотелось, и даже лучше всего сейчас было бы лечь, опухоль приложить к подушке и укрыться.

А Капитолина Матвеевна весь разговор вела через силу, потому, что ридикюль прожигало ей письмо, полученное сегодня утром из К от брата Миная. В К* Русановы жили до войны, там прошла их молодость, там они женились, и все дети родились там. Но во время войны они эвакуировались сюда, в К* не вернулись, квартиру же сумели передать брату Капы.*

Она понимала, что мужу сейчас не до таких известий, но и известие-то было такое, что им не поделишься просто с хорошей знакомой. Во всём городе у них не было ни одного человека, кому б это можно было рассказать с объяснением всего смысла. Наконец, во всём утешая мужа, и сама ж она нуждалась в поддержке! Она не могла жить дома одна с этим неразделённым известием...

– Ты знаешь, Паша... Минька пишет... Ну, может, это ещё неправда... Что появился у них в городе... Родичев... И будто бы ре-а-би-ли-тирован... Может это быть, а?

Пока она выговаривала это мерзкое длинное слово «ре-а-би-ли-

ти-рован» и смотрела на замок ридикюля, уже склоняясь достать и письмо, – она пропустила то мгновение, что Паша стал белей белья.

– Что ты?? – вскрикнула она, пугаясь больше, чем была напугана этим письмом сама. – Что ты?!

Он был откинут к спинке и женским движением стягивал на себе её шаль.

– Да ещё, может, нет! – она подхватилась сильными руками взять его за плечи, в одной руке так и держа ридикюль, будто стараясь навесить ему на плечо. – Ещё, может, нет! Минька сам его не видел. Но – люди говорят…

Бледность Павла Николаевича постепенно сходила, но он весь ослабел – в поясе, в плечах, и ослабели его руки, а голову так и выворачивала набок опухоль.

– Зачем ты мне сказала? – несчастным, очень слабым голосом произнёс он. – Неужели у меня мало горя? Неужели у меня мало горя?.. – И он дважды произвёл без слёз плачущее вздрагивание грудью и головой.

– Ну, прости меня, Пашенька! Ну, прости меня, Пасик! – Она держала его за плечи, а сама тоже трясла и трясла своей завитой львиной причёской медного цвета. – Но ведь и я теряю голову! И неужели он теперь может отнять у Миная комнату? Нет, вообще, к чему это идёт? Ты помнишь, мы уже слышали два таких случая?

– Да при чём тут комната, будь она проклята, пусть забирает, – плачущим шёпотом ответил он ей.

– Ну как проклята? А каково

сейчас Минаю стесниться?

– Да ты о муже думай! Ты думай – я как?.. А про Гузуна он не пишет?

– Про Гузуна нет... А если они все теперь начнут возвращаться – что ж это будет?

– Откуда я знаю! – придушенным голосом отвечал муж. – Какое ж они право имеют теперь их выпускать?.. Как же можно безжалостно травмировать людей?..

(Там же. Стр. 129–131)

Вот этот слух о волне реабилитаций, об этом неожиданном – как гром среди ясного неба – возвращении «с того света» людей, на появление которых уже давно никто не надеялся, и вынудил Русанова вспомнить своего давнего дружка Родичева, которого он (как мы тут же узнаём, не его одного) отправил в лагерь своим доносом.

...

Как покойник представляется нам потом долгие годы таким, каким мы последний раз видели его юношей, если даже за это время он должен был стать стариком, так и Родичев, который через восемнадцать лет должен бы был вернуться инвалидом, может быть, глухим, может быть, скрюченным, – сейчас виделся Русанову тем прежним загорелым здоровяком, с гантелями и гирей, на их общем длинном балконе в его последнее перед арестом воскресенье. Голый до пояса, он подозвал:

– Пашка! Иди сюда! На-ка, пощупай бицепсы. Да не брезгуй, жми! Понял теперь, что значит инженер новой формации? Мы не рахитики, какие-нибудь там Эдуарды Христофоровичи, мы – люди гармонические. А ты вот хиловатый

стал, засыхаешь за кожаной дверью. Иди к нам на завод, в цех устрою, а? Не хочешь?.. Ха-ха!..

Захохотал и пошёл мыться, напевая:

Мы – кузнецы, и дух наш молод.

Вот этого-то здоровяка Русанов и представил сейчас... И не мог стряхнуть с себя ложный образ.

С Родичевым они были когда-то друзья, в одной комсомольской ячейке, эту квартиру получали вместе от фабрики. Потом Родичев пошёл по линии рабфака и института, а Русанов – по линии профсоюза и по анкетному хозяйству. Сперва начали не ладить жены, потом и сами они, Родичев часто разговаривал с Русановым в оскорбительном тоне, да и вообще держался слишком безответственно, противопоставляя себя коллективу. Бок о бок с ним жить стало невыносимо и тесно. Ну, да всё сошлось, и погорячились, конечно, и дал на него Павел Николаевич такой материал: что в частном разговоре с ним Родичев одобрительно высказывался о деятельности разгромленной Промпартии и намеревался у себя на заводе сколотить группу вредителей. (Прямо так он не говорил, но по своему поведению мог говорить и мог намереваться.)...

Капа так намечала: как только Родичева арестуют, так Катьку Родичеву сейчас же выселить и захватить всю квартиру, и балкон тогда будет весь их. (Теперь смешно, что комната в четырнадцать метров в квартире без газа могла иметь такое значение. Ну да ведь и дети росли.) Операция эта с комнатой была уже вся согласована,

и пришли Катьку выселять, но она выкинула номер – заявила, что беременна. Настояли проверить – принесла справку. А по закону беременную выселять нельзя. И только к следующей зиме её выселили, а длинные месяцы пришлось терпеть и жить с ней обок – пока она носила, пока родила... В то прекрасное честное время, в тридцать седьмом – тридцать восьмом году, заметно очищалась общественная атмосфера, так легко стало дышаться! Все лгуны, клеветники, слишком смелые любители самокритики или слишком заумные интеллигентики – исчезли, заткнулись, притаились, а люди принципиальные, устойчивые, преданные, друзья Русанова и сам он ходили с достойно поднятой головой.

И вот теперь какое-то новое, мутное, нездоровое время, что этих прежних своих лучших гражданских поступков надо стыдиться? Или даже за себя бояться?
(Там же. Стр. 132–133)

Не то что раскаяния, и тени сожаления о том, что он тогда совершил, нет в этих воспоминаниях Русанова. Только одно чувство вызвали они в его душе: страх.

Да и страх этот – особого рода.

Не того боится он, что ему, может быть, придется на какой-нибудь очной ставке встретиться глазами с вернувшимся с того света Родичевым. Другое пугает, до ужаса, до холодного пота страшит его:

...

В нём так замотались, заколотились, огнем налились мысли, что всё остальное тело стало бесчувственным, как от наркоза, и он

уже не слышал глупых комнатных разговоров и, потрясываясь вместе с половицами от ходьбы Ефрема, не чувствовал этой ходьбы. И не видел он, что день разгулялся, перед заходом где-то проглянуло солнце... И полёта часов он не замечал. Он засыпал, может быть, от лекарства, и просыпался. Как-то проснулся уже при электрическом свете и опять заснул. И опять проснулся среди ночи, в темноте и тишине.

И почувствовал, что сна больше нет, отпала его благодетельная пелена. А страх – весь тут, вцепился в нижнюю середину груди и сжимал.

И разные-разные-разные мысли стали напирать и раскручиваться: в голове Русанова, в комнате и дальше, во всей просторной темноте.

Даже никакие не мысли, а просто – он боялся. Просто – боялся. Боялся, что Родичев вдруг вот завтра утром прорвётся через сестер, через санитарок, бросится сюда и начнёт его бить. Не правосудия, не суда общественности, не позора боялся Русанов, а просто, что его будут бить.

(Там же. Стр. 131)

Бесчисленные доносчики, стукачи, сексоты, без которых не могла бы работать гигантская сталинская репрессивная машина, руководствовались разными побуждениями и мотивами. Наверно, были среди них и искренне верящие в то, что своими действиями они помогают партии разоблачить вредителей, врагов народа, шпионов. Таких, я думаю, было не больно много. Другие писали и подписывали то, что от них вымогали следователи, в страхе, что если не напишут или не подпишут, их самих поглотит огненная печь ГУЛАГа. А многие давали эти клеветнические показания и под пытками. (Таких – всего труднее судить). Были среди доносчиков и провокаторы, так сказать, по призванию (темна, темна человеческая душа).

Павел Николаевич Русанов не принадлежитл ни к первым, ни

ко вторым, ни к третьим. Им, как мы узнаем из этих тайных его мыслей, неизменно двигал личный, сугубо шкурный интерес. В случае с Родичевым – желание заполучить лишнюю комнату в 14 квадратных метров и стать полновластным обладателем балкона. В другом случае жертвой его доноса мог стать человек, ненароком неосторожно задевший его самолюбие:

...

...тот же Эдуард Христофорович, инженер буржуазного воспитания, назвавший Павла при рабочих дураком (а потом сам признался, что мечтал реставрировать капитализм)...
(Там же. Стр. 133)

И такой же шкурный интерес лежит в основе всех высокоидейных высказываний Павла Николаевича, буквально каждой его реплики.

Эта пресловутая его идейность – не знак его верности своим партийным убеждениям, а инструмент его власти над окружающими, что-то вроде хлыста надсмотрщика. («Уж где идейность – там заткнись», – метко замечает по этому поводу многоопытный Ефрем Поддуев).

Даже Костоглотов, яростно отстаивающий свое право на собственную, самостоятельную, неподконтрольную мысль, и тот вынужден с этим считаться. «Вот был такой философ Декарт. Он говорил: всё подвергай сомнению», – неосторожно роняет он. Павел Николаевич, разумеется, не может оставить эту сомнительную реплику без ответа:

...

– Но это же не относится к нашей действительности! – напомнил Русанов, поднимая палец.

И неукротимый Костоглотов сразу пасует:

...

– Нет, конечно, нет... Я только хочу сказать, что мы не должны как кролики доверяться врачам.

(Там же. Стр. 97)

Вряд ли тут кому придет в голову, что во всех этих случаях Русанов отстаивает какие-то свои принципы, защищает свои взгляды и убеждения.

То-то и дело, что никаких СВОИХ принципов, взглядов и убеждений у него нет.

Разве только вот это:

...

С годами у Русанова всё определённей и неколебимей складывалось, что все наши недочёты, недоработки, недоделки, недоборы – все они проистекают от спекуляции. От мелкой спекуляции, как продажа какими-то непроверенными личностями на улицах зелёного лука и цветов, какими-то бабами на базаре молока и яиц, на станциях – ряженки, шерстяных носков и даже жареной рыбы. И от крупной спекуляции, когда с государственных складов гнали куда-то «по левой» целые грузовики. И если обе эти спекуляции вырвать с корнем – всё быстро у нас выправится и успехи будут ещё более поразительными. Не было ничего дурного, если человек укреплял своё материальное положение при помощи высокой государственной зарплаты и высокой пенсии (Павел Николаевич и сам-то мечтал о персональной.) В этом случае и автомобиль, и дача были трудовыми. Но той же самой заводской марки автомобиль и того же стандартного проекта дача приобретали совсем другое,

преступное, содержание, если были куплены за счет спекуляции. И Павел Николаевич мечтал, именно мечтал о введении публичных казней для спекулянтов. Публичные казни могли бы быстро и уже до конца оздоровить наше общество.

(Там же. Стр. 106)

В искренность этого убеждения Павла Николаевича, казалось бы, можно поверить. Особенно вот в эту его невозможность примириться с тем, что какой-нибудь спекулянт может оказаться собственником такой же дачи и такого же автомобиля, какие ему, Павлу Николаевичу, достались ПО ПРАВУ.

Но вот появляется у Павла Николаевича в палате новый сосед, сразу расположивший его к себе неиссякаемым своим жизнелюбием, а ещё того больше – дружелюбием, перед живым и искренним напором которого устоять было невозможно:

...

– Тебя как зовут? – уже был он в его проходе и сел колени к коленям.

– Павел Николаич.

– Паша! – положил ему Чалый дружескую руку на плечо. – Не слушай ты врачей! Они лечат, они и в могилу мечут. А нам надо ить – хвост морковкой!

Убеждённость и дружелюбие были в немудром лице Максима Чалого. А в клинике – суббота, и все лечения уже отложены до понедельника. А за сереющим окном лил дождь, отделяя от Русанова всех его родных и приятелей...

А у Чалого, ловкача, бутылка уже лежала тут, под подушкой. Пробку он пальцем сковырнул и по полстакана налил у самых колен. Тут же они их и сдвинули...

– Будем жить! Будем жить, Паша! – внушал Чалый, и его

смешноватое лицо налилось строгостью и даже лютостью. – Кому нравится – пусть дохнет, а мы с тобой будем жить!

С тем и выпили. Русанов за этот месяц очень ослабел, ничего не пил кроме слабенького красного – и теперь его сразу обожгло, и от минуты к минуте расходилось, расплывалось и убеждало, что нечего голову нурить, что и в раковом люди живут, и отсюда выходят.

– И сильно болят эти?.. полипы? – спрашивал он.

– Да побаливают. А я не даюсь!.. Паша! От водки хуже не может быть, пойми! Водка от всех болезней лечит. Я и на операцию спирта выпью, а как ты думал? Вон, во флаконе... Почему спирта – он всосётся сразу, воды лишней не останется. Хирург желудок разворотит – ничего не найдёт, чисто! А я – пьяный!.. Ну, да сам ты на фронте был, знаешь: как наступление – так водка...

А в стаканах опять было два по сто.

– Да нельзя больше, – мягко упирался Павел Николаевич. – Опасно.

– Чего опасно? Кто тебе вколотил, что опасно?.. Помидорчики бери! Ах, помидорчики!..

– Эх, красненькие! – рассуждал Максим. – Здесь за килограмм рубь, а в Караганду свези – тридцать. И как хватают! А возить – нельзя. А в багаж – не берут. Почему – нельзя? Вот скажи мне – почему нельзя?..

Разволновался Максим Петрович, глаза его расширились, и стоял в них напряжённый поиск – смысла! Смысла бытия.

– Придёт к начальнику станции человечишко в пиджачке старом: «Ты жить хочешь, начальник?» Тот – за телефон, думает – его убивать пришли... А человек ему на стол – три бумажки. Почему – нельзя? Как так – нельзя? Ты жить хочешь – и я жить хочу. Вели мои корзины в багаж принять! И жизнь побеждает, Паша! Едет поезд, называется «пассажирский», а весь – помидорный, на полках – корзины, под полками – корзины. Кондуктору – лапу, контролёру – лапу. От границы дороги – другие контролёры, и им лапу.

Покруживало Русанова, и растеплился он очень и был сейчас сильней своей болезни. Но что-то такое, кажется, говорил Максим, что не могло быть увязано... Увязано... Что шло вразрез...

– Это – вразрез! – упёрся Павел Николаевич. – Зачем же?.. Это – нехорошо...

– Нехорошо? – удивился Чалый. – Так малосольный бери! Так вот икорку баклажанную!.. В Караганде написано камнем по камню: «Уголь – это Хлеб». Ну, то есть для промышленности. А помидорчиков для людей – и н-нет. И не привезут деловые люди – н-не будет. Хватают по четвертной за килограмм – и спасибо говорят. Хоть в глаза помидоры эти видят – а то б не видели. И до чего ж там долдоны, в Караганде, – ты не представляешь! Набирают охранников, лбов, и вместо того, чтоб их за яблоками послать, вагонов сорок подкинуть – расставляют по всем степным дорогам – перехватывать, если кто повезёт яблоки в Караганду. Не

допускать! Так и дежурят, охломоны!..

– Это что ж – ты? Ты? – огорчился Павел Николаевич.

– Зачем я? Я, Паша, с корзинами не езжу. Я – с портфельчиком. С чемоданчиком. Майоры, подполковники в кассу стучат: командировочное кончается! А билетов – нет! Нет!!.. А я туда не стучу, я всегда уеду. Я на каждой станции знаю: за билетом где нужно к кипятильщику обратиться, где – в камеру хранения. Учти, Паша: жизнь – всегда побеждает!

– А ты вообще – кем работаешь?

– Я, Паша, – техником работаю. Хотя техникума не кончал, агентом ещё работаю. Я так работаю, чтобы всегда – с карманом. Где деньги платить перестают – я оттуда ухожу. Понял?

(Там же. Стр. 218–219)

Так выясняется, что симпатичнейший Максим Чалый принадлежит к самой ненавистной Русанову породе людей. Он – спекулянт. И отнюдь не мелкий, а крупный. Похоже даже, что очень крупный.

Но ни на секунду не возникает у Павла Николаевича мысль, что, согласно его воззрениям, этот симпатичнейший Максим заслуживает публичной казни. Или даже какого-нибудь другого, не столь сурового наказания:

...

Что-то замечал Павел Николаевич, что не так получается, не в ту сторону, кривовато даже. Но такой был хороший, весёлый, свой человек – первый за месяц. Не было духа его обидеть.

– А – хорошо ли? – допытывался он только.

– Хорошо, хорошо! – успокаивал Максим. – И телятинку бери. Сейчас компотика твоего трахнем. Паша! Один раз на свете живём – зачем жить плохо? Надо жить хорошо, Паша!

С этим не мог не согласиться Павел Николаевич, это верно: один раз на свете живем, зачем жить плохо? Только вот...

– Понимаешь, Максим, это осуждается... – мягко напоминал он...

– А кем – ты? Ты – кем работаешь? – доведывался новый друг.

Как ни в обнимку они уже толковали, а тут Павел Николаевич невольно приосанился:

– Вообще – по кадрам.

Соскромничал он. Повыше был, конечно.

– А – где?

Павел Николаевич назвал.

– Слушай! – обрадовался Максим. – Надо одного хорошего человечка устроить! Вступительный взнос – это как полагается, не беспокойся!

– Ну, что ты! Ну, как ты мог подумать! – обиделся Павел Николаевич.

– А – чего думать? – поразился Чалый, и опять тот же поиск смысла жизни, немного расплывшийся от выпитого, задрожал в его глазах. – А если кадровикам вступительных взносов не брать – так на что им и жить? На что детей воспитывать?

(Там же. Стр. 219–220)

Но даже и на это гнусное предложение не нашел в себе сил Павел Николаевич ответить достойно.

Тут, конечно, надо принять во внимание, что эту идейную

слабину он дал в некотором подпитии. (Правильно предупреждал Зощенко в одном из своих рассказов: «Не пей! С пьяных глаз ты можешь обнять классового врага!») И естественно было бы предположить, что на трезвую голову продолжать не то что дружбу, но даже приятельство с этим идейно чуждым ему человеком он, конечно, не станет.

Поначалу так рассчитывал и сам Павел Николаевич.

Но вышло – иначе.

Все больничные страдания Павла Николаевича Русанова уже позади. Его наконец выписывают. В сопровождении приехавших за ним жены и детей он покидает этот гнусный раковый корпус, надеясь, что навсегда.

...

– Паша, Паша! – окликнули сзади. Обернулись.

Шел Чалый из хирургического коридора. Он отлично бодро выглядел, даже уже не жёлтый. Лишь и было в нём от больного, что – пижама больничная да тапочки.

Павел Николаевич весело пожал ему руку и сказал:

– Вот, Капа, – герой больничного фронта, знакомься! Желудок ему отхватили, а он только улыбается.

Знакомясь с Капитолиной Матвеевной, Чалый изящно как-то состукнул пятками, а голову отклонил набок – отчасти почтительно, отчасти игриво.

– Так телефончик, Паша! Телефончик-то оставь! – теребил Чалый.

Павел Николаевич сделал вид, что в дверях замешкался, и может быть, не дослышал. Хороший был Чалый человек, но всё-таки другого круга, других представлений, и, пожалуй, не очень солидно было связываться с ним. Русанов искал, как поблагородней ему бы отказать.

Вышли на крыльцо, и Чалый сразу окинул «москвича», уже развернутого Лавриком к движению. Оценил глазами и не спросил: «твоя?», а сразу:

– Сколько тысяч прошла?

– Да ещё пятнадцати нет.

– А чего ж резина такая плохая?

– Да вот попалась такая... Делают так, работнички...

– Так тебе достать?

– А ты можешь?! Максим!

– Ёж твою ёж! Да шутя! Пиши и мой телефон, пиши! – тыкал он в грудь Русанову пальцем. – Как отсюда выпишусь – в течение недели гарантирую!

Не пришлось и причины придумывать! Вырвал Павел Николаевич из записной книжечки листик и написал Максиму служебный свой и домашний свой.

– Всё, порядочек! Будем звонить! – прощался Максим.

Майка прыгнула на переднее, а родители сели сзади.

– Будем дружить! – подбадривал их Максим на прощанье.

Хлопнули дверцы.

– Будем жить! – кричал Максим, держа руку как «рот фронт».

(Там же. Стр. 311–312)

Вот она – цена высокой принципиальности Павла Николаевича, его идейной непримиримости.

Рассказывая о том, как на обсуждении «Ракового корпуса» в Союзе писателей Солженицын сказал, что всеми силами («ну, пожалуй, не всеми силами») пытался рисовать Русанова с симпатией, и в ответ на это его признание в зале раздался смех, я, если помните, тут же отметил, что природа этого смеха была более чем понятна. Очевидно ведь, что этого своего Русанова он яростно, смертельно ненавидит. Какая уж тут симпатия!

Естественно предположить, что именно эта ненависть не позволила ему рисовать Русанова (как, кстати, и Сталина) в

соответствии с классической, оказывается, хорошо ему известной формулой: «Когда рисуешь злого, ищи, где он добрый».

На самом деле так оно, конечно, и было.

Но тут же выяснилось, что двигало им тут не только живое чувство, не только ненависть, с которой он – по темпераменту – не мог совладать. Оказывается, была у него на этот счет хорошо продуманная, сознательная установка.

...

Есть известное положение, – когда рисуешь хорошего, покажи, где он зол. Когда рисуешь негодяя, покажи, где он добр. Но ведь при этом можно потерять и негодяя.

(Александр Солженицын. Собрание сочинений в шести томах. Том шестой. Frankfurt/Main, 1970. Стр. 186)

Вот, стало быть, почему он не захотел следовать этому «известному положению».

Может быть, он был прав?

Может быть, этот совет классика, как бы ни был он хорош сам по себе, к тем негодяям, которых выпало рисовать ему, и в самом деле неприменим?

* * *

В то время, когда Солженицын пустил в Самиздат свой «Раковый корпус», в том же Самиздате ходило недавно (в 1963 году) законченное произведение другого автора, в котором тоже встретились и поглядели друг другу в глаза две России – та, что сидела, и та, что сажала:

...

Они сразу узнали друг друга, хотя нынешний Иван Григорьевич ничем не походил на университетского третьекурсника, а встретившийся ему Виталий

Антонович Пинегин в сером плаще и фетровой шляпе не был схож с молодым человеком в заношенном студенческом кителе.

Увидев лицо остолбеневшего Пинегина, Иван Григорьевич проговорил:

– Ты, видно, меня числил в мертвецах?

Пинегин развел руками.

– Да уж лет десять назад говорили, что будто бы ты того…

Он смотрел живыми и умными глазами в самую глубину взора Ивана Григорьевича.

– Ты не беспокойся, – сказал Иван Григорьевич, – я не с того света и не беглый, что ещё гаже. Я, как ты, с паспортом и с прочим.

Слова эти возмутили Пинегина.

– Встречая старого товарища, я не интересуюсь его паспортом.

Он достиг высоких степеней, но остался в душе славным малым.

О чем бы ни говорил он, о своих сыновьях, о том, «как ты здорово переменился, а я все же сразу тебя узнал», глаза его зачарованно и жадно следили за Иваном Григорьевичем.

– Да вот, в общих словах… – проговори Пинегин. – Что же тебе ещё рассказать?

«А ты бы лучше рассказал…» – и на мгновение Пинегин замер, но Иван Григорьевич, конечно, ничего такого не сказал.

– А о тебе я ведь ничего не знаю, – проговорил Пинегин. И снова ожидание, не ответит ли Иван Григорьевич: «Ты ведь сам, когда надо было, умел обо мне рассказывать, что уж мне о себе рассказывать».

Но Иван Григорьевич помолчал и

махнул рукой. И Пинегин вдруг понял: ничего Ванька не знает и знать не мог. Нервы, нервы... И надо же было именно сегодня послать машину на техосмотр. Как-то недавно он вспомнил об Иване и подумал, – вдруг кто-либо из родственников добьется его посмертной реабилитации. Перевод из мертвых душ в живые! И вот среди бела дня Иван, Ванечка. И тридцать лет отбыл, и в кармане, наверное, бумага: «За отсутствием состава преступления».

Он снова посмотрел в глаза Ивану Григорьевичу и окончательно понял, что тот ничего не знал. Ему стало стыдно за свои сердечные перебои, за холодный пот, ведь вот, вот, готов был занюнить, заголосить.

И чувство уверенности, что Иван Григорьевич не плюнет ему в лицо, не спросит с него, наполнило Пинегина светом. С какой-то не совсем ясной ему самому благодарностью он проговорил:

– Слушай, Иван, по-простому, по-рабочему, мой батька ведь кузнецом был, – может быть, тебе деньги нужны? Уж поверь, по-товарищески, от всей души.

Иван Григорьевич без упрека, с живым и печальным любопытством посмотрел в глаза Пинегину, и Пинегину на одну секунду, только на одну секунду, даже не на две, показалось: и ордена, и дачу, и власть, и силу, и красавицу жену, и удачных сыновей, изучающих ядро атома, – все, все можно отдать, лишь бы не чувствовать на себе этого взгляда.

– Что ж, будь здоров, Пинегин, – сказал Иван Григорьевич и пошел в

сторону вокзала.

(Василий Гроссман. Все течет. В кн.: Василий Гроссман. Повесть. Рассказы. Очерки. М. 1998. Стр. 287–288)

Это чувство, на миг (на одну секунду, только на одну, не на две, – подчеркивает автор) пронзившее душу негодяя, не только не смягчает и не умаляет его вины, а, напротив, обостряет, до предела обнажает, даже увеличивает меру совершенной им подлости.

В точном соответствии с заветами наших великих предшественников и учителей, рисуя «злого», Гроссман старается найти в его душе толику доброго, человеческого. Но негодяй при этом у него остается негодяем.

...

«Черт меня толкнул пешком ходить», – повторял Пинегин. Ему не хотелось думать о том темном, плохом, что спало десятилетия и вдруг проснулось. Не в плохом поступке была суть, суть была в глупой случайности, что столкнула его с погубленным им человеком. Не столкнись они на улице, спящий бы не просыпался.

Спящий проснулся, и Пинегин, сам того не заметив, все меньше думал о глупой случайности, все больше тревожился и сокрушался: «Что ж, а ведь факт, ведь именно я на Ванечку стукнул, а можно было и обойтись, и сломал человеку позвоночник, черт бы его драл. Сейчас бы встретились – и все в порядке было. Эх, собака, такая дрянь в душе поднялась... Ох ох, беда, прямо хоть не живи после такой дряни на свете.

Может быть, и вся моя жизнь одна сплошная подлость. Жить надо было совсем «по другому манеру».

И в нешуточном смятении Пинегин зашел в интуристский ресторан, где его давно знали и метр, и официанты, и швейцар.

Завидя его, два раздевальщика выбежали из-за барьера, пришептывая: «Пожалте, пожалте», – и, похрапывая как жеребцы, в нетерпении тянулись к богатым пинегинским доспехам. Глаза у них были зоркие, хорошие глаза рысистых умных русских ребят из раздевалки интуристского ресторана, умевших точно запомнить, кто был да как одет, что сказал невзначай. Но уж к Пинегину с его депутатским значком они относились всей душой, открыто, почти как к непосредственному начальнику.

Пинегин не спеша, ощущая ногами податливую и одновременно упругую мягкость ковра, прошел в ресторанный зал. Торжественный сумрак стоял в высоком и просторном зале. Пинегин медленно вдохнул спокойный, одновременно прохладный и теплый воздух, оглядел столы, покрытые крахмальными скатертями; неярко поблескивали граненые вазочки с цветами, бокалы и рюмки. Он прошел в знакомый ему уютный угол под резную листву филодендрона.

Он шел между столиками с флажками многих держав мира, и казалось, что это линкоры и крейсеры, а он флагман – адмирал, принимающий парад.

И с этим помогающим жить чувством адмиральства он сел за столик, неторопливо потянулся к оливково-синей, добротной, как лауреатский диплом, обеденной

карте и, раскрыв её, углубил взор в раздел «Холодные закуски».

Просматривая названия, напечатанные на его родном языке и на прочих главнейших языках мира, он перелистнул звенящую картонную страницу, окинул взглядом раздел «Супы», пожевал губами и скосил взор на подотделы: «Блюда из мяса... Блюда из дичи».

И в тот миг, когда он затомился между мясом и дичью, официант, разгадав его раздвоение, произнес:

– Филе, вырезка сегодня исключительные.

Пинегин долго молчал.

– Что ж, филе так филе, – сказал он.

Он сидел в полутьме и тишине с полузакрытыми глазами, и полновесная правота его жизни спорила со смятением и ужасом, воскресшими в нем, с огнем и льдом раскаяния.

Но вот тяжелый бархат, драпировавший дверь на кухне, зашевелился, и Пинегин определил по лысой голове официанта: «Мой».

Поднос плыл из полутьмы на Пинегина, и он видел розовато-пепельную лососину среди лимонных солнышек, смуглость икры, тепличную зелень огурцов, крутые бока водочного графинчика и боржомной бутылки.

Да и не был он уж таким гастрономом, и не так уж хотелось ему есть, но именно в эту минуту старый человек в ватнике вновь перестал тревожить его правоту.

(Там же. Стр. 296–298)

Двумя этими сценами Гроссман, как будто, бесповоротно решил (во всяком случае, для себя) этот проклятый вопрос: можно

ли, рисуя современных мерзавцев (мерзавцев, так сказать, нового типа), руководствоваться заветом классика: «Когда рисуешь злого, ищи, где он добрый». Или даже – шире того – исходить из принципа, который сформулировал Камю в своей нобелевской речи, что искусство по самой природе своей – **не прокурорно** .

Но он на этом не останавливается.

Проклятый вопрос этот, судя по всему, мучил и его тоже. Недаром он отдал размышлениям на эту тему, – вряд ли даже уместным в «вымышленном повествовании», – добрый десяток страниц убористого книжного текста.

Вот – итоги этих его печальных раздумий:

...

Кто виноват, кто ответит... Надо подумать, не надо спешить.

Вот они – фальшивые инженерские и литературные экспертизы, речи, разоблачающие врагов народа, вот они – задушевные разговоры и дружеские признания, переложенные в донесения и рапорты сексотов-стукачей, информаторов.

Доносы предшествовали ордеру на арест, сопутствовали следствию, отражались в приговоре. Эти мегатонны доносной лжи, казалось, определяли имена людей в списках раскулаченных, лишаемых голоса, паспорта, ссылаемых, расстреливаемых.

На одном конце цепи два человека беседовали за столом и отхлебывали чай, затем при свете лампы под уютным абажуром писалось интеллигентное признание либо на колхозном собрании по-простому говорил речь активист; а на другом конце цепи были безумные глаза, отбитые почки, расколотый пулей череп, цинготные мертвецы в лагерном бревенчато-земляном морге, отмороженные в тайге

гнойные и гангренозные пальцы на ногах. Вначале было слово… Воистину так. Как быть с погубителями-доносчиками?

Вот вернулся после двенадцатилетнего лагеря человек с трясущимися руками, с запавшими глазами мученика: Иуда-первый. И среди друзей его прошел шепоток – говорят, он в свое время плохо вел себя на допросах. Некоторые с ним перестали раскланиваться. Те, кто поумней, при встречах с ним вежливы, но в дом к себе не зовут. Те, что ещё умней, шире, глубже, и в дом к себе зовут, но в душу не пускают, закрыли её перед ним…

Он был обыкновенным человеком. Он пил чай, ел яичницу, любил беседовать с друзьями о прочитанных книгах, ходил во МХАТ, иногда проявлял доброту. Был он, правда, очень впечатлителен, нервен, не было в нем самоуверенности.

А на человека крепко нажали. На него не только кричали, его и били, и спать не давали, а кормили селедочкой и стращали смертной казнью. И все же, что ни говори, он совершил страшное дело – оклеветал невинного. Правда, тот, оклеветанный, посажен не был, а он, которого принудили клеветать, отбыл безвинно 12 лет лагерной каторги, вернулся чуть живым, сломленным, нищим, доходягой. Но ведь оклеветал!

Не будем спешить, подумаем всерьез об этом доносчике. Но вот Иуда-второй. Этот и дня не провел в заключении. Он слыл умницей и златоустом, и вот вернувшиеся из лагеря чуть живые люди рассказали, что он сексот. Он способствовал

гибели многих людей. Он годами вел задушевные разговоры со своими друзьями, а затем составлял письменные заметы и сдавал их по начальству. Из него пыткой показаний не выколачивали, он сам проявлял находчивость, незаметно подводил собеседников к опасным темам. Двое оклеветанных им не вернулись из лагеря, один был расстрелян по приговору военной коллегии. Те, что вернулись, привезли список болезней, по каждой из которых жестокий ВТЭК дает инвалидность первой группы.

А он-то нажил брюшко, славился как гастроном и знаток грузинских вин. И работал он в области изящного, был, между прочим, собирателем уникальных изданий старинной поэзии. Но не будем спешить, подумаем, прежде чем выносить приговор. Он ведь с детских лет без памяти испугался, – отец его, богатый человек, умер в 1919 году в концлагере от сыпного тифа, тетка эмигрировала с мужем генералом в Париж, старший брат воевал на стороне добровольцев. С детства в нем жил ужас. Мать до дрожи боялась милиции, управдома, старшего по квартире, делопроизводителей из горсовета. Каждый день и каждый час он и родня его чувствовали свою классовую ограниченность и классовую порочность...

Все это верно, конечно. Но ведь подлец, какой оказался подлец! И ведь, стуча, себя не забывал – сладко ел, нежился. И все же очень уж он был незащищенный, такому с нянечкой, с женушкой. Но где ему было справиться с силищей, которая

полмира согнула, всю империю вывернула наизнанку. А он со своей трепетной тонкостью был как кружевцо, чуть к нему не так прикоснешься – он весь терялся, в глазах жалобное выражение. И вот, оказалось, смертельная болотная гадючка подкатывалась кольчиком, и много муки от неё досталось людям.

И ведь губил таких же, как сам, – многодавних своих друзей, милых, скрытных, умных, робких. Он один имел к ним ключик. Он ведь все понимал – плакал, читая чеховского «Архиерея».

И все же подождем, подумаем, не подумавши, не станем казнить его.

А вот и новый товарищ – Иуда-третий. У него отрывистый голос, с хрипотцой, боцманский. Взгляд испытующий, спокойный. В нем уверенность хозяина жизни. То бросят его на идеологическую работу, то в плодоовощ. Анкетные данные его снежной белизны, сами светятся. Родня – станковые рабочие и беднейшее столбовое крестьянство.

В 1937 году человек этот с лета, с маху написал больше двухсот доносов. Многообразен его кровавый список. Комиссары времен гражданской войны, поэт-песенник, директор чугунолитейного завода, два секретаря райкома, старый беспартийный инженер, три редактора – один газетный, два издательских, заведующий закрытой столовой, преподаватель философии, зав. парткабинетом, профессор ботаники, слесарь из домоуправления, два сотрудника облземотдела... Все не перечислишь.

Все его доносы сочинены на советских людей, а не на бывших,

жертвы его – члены партии, участники гражданской войны, активисты. Он особо специализировался на партийцах фанатического склада – резво сек их смертельной бритвой по глазам.

Мало кто вернулся из двухсот – одни расстреляны, другие накрылись деревянбушлатом, погибли от дистрофии, расстреляны при лагерных чистках; вернувшиеся, душевно и физически искалеченные, кое-как дотягивают свое вольное существование.

А для него 1937 год стал порой виктории. Он ведь был не шибко грамотным, востроглазым парнюгой, все вокруг оказались сильнее его и по образованности, и по героическому прошлому. Ни очка не причиталось ему с тех, кто затеял и совершил революцию. Но с какой-то фантастической легкостью от одного его прикосновения валились десятки людей, овеянных революционной славой.

С тридцать седьмого года он пошел круто вверх. В нем-то и оказалась благодать, драгоценнейшая суть нови.

Вот с ним уж, кажется, все ясно – на костях, на страшных муках, стало быть, этот депутат и член бюро.

Но нет, нет, не следует спешить, надо разобраться, подумать, прежде чем произносить приговор. Ибо не ведал и он, что творил. Старшие наставники именем партии однажды сказали ему: «Беда! Мы окружены врагами! Они прикидываются испытанными партийцами, подпольщиками, участниками гражданской войны, но

они враги народа, резиденты разведок, провокаторы...» Партия говорила ему: «Ты молод и чист, я верю тебе, парнишка, помоги мне, иначе погибну, помоги мне одолеть эту нечисть...»

Партия кричала на него, топала на него сталинскими сапогами: «Если ты проявишь нерешительность, то поставишь себя в один ряд с выродками, и я сотру тебя в порошок! Помни, сукин сын, ту черную избу, в которой ты родился, а я веду тебя к свету; чти послушание, великий Сталин, отец твой, приказывает тебе: «Ату их»...

Да можно ли винить его, когда и не такие головы не смогли разобраться – в чем же ложь, а в чем правда, когда и чистые сердца в бессилии недоумевали, что есть добро, а что есть зло. Он ведь верил, точнее – хотел верить, точнее – не мог не верить. Чем-то это темное дело было ему неприятно, но ведь долг! Да и чем-то нравилось страшное дело ему, пьянило, затягивало. «Помни, – говорили ему наставники, – нет у тебя ни отца, ни матери, ни братьев и сестер, есть у тебя лишь партия»...

Да-да, и здесь придется подумать. Ведь страшно казнить и страшного человека...

Подумаем, не торопясь, потом уж приговор.

(Там же. Стр. 288–293)

И вот – суд. Настоящий состязательный судебный процесс, в котором участвуют ОБВИНИТЕЛЬ и ЗАЩИТНИК. И щедро, не одергивая и не прерывая, дают высказаться на этом процессе каждому из ОБВИНЯЕМЫХ – и первому иуде, и второму, и третьему, и четвертому...

Каков же, в конце концов, обещанный нам приговор?

Нет приговора.

...

Ах, не все ли равно – виноваты ли стукачи или не виноваты, пусть виноваты они, пусть не виноваты, отвратительно то, что они есть. Отвратна животная, растительная, минеральная, физико-химическая сторона человека. Вот из этой-то слизистой, обросшей шерстью, низменной стороны человеческой сути и рождаются стукачи. Государство людей не рождает. Стукачи проросли из человека. Жаркий пар госстраха пропарил людской род, и дремавшие зернышки взбухли, ожили. Государство – земля. Если в земле не затаились зерна, не вырастут из земли ни пшеница, ни бурьян. Человек обязан лично себе за мразь человеческую.

Но знаете ли вы, что самое гадкое в стукачах и доносителях? Вы думаете, то плохое, что есть в них?

Нет! Самое страшное то хорошее, что есть в них, самое печальное то, что они полны достоинств, добродетели.

Они любящие, ласковые сыновья, отцы, мужья... На подвиги добра, труда способны они.

Они любят науку, великую русскую литературу, прекрасную музыку, смело и умно некоторые из них судят о самых сложных явлениях современной философии, искусства...

Вот это-то и страшно: много, много хорошего в них, в их человеческой сути.

Кого же судить? Природу человека! Она, она рождает эти

вороха лжи, подлости, трусости, слабости. Но она ведь рождает и хорошее, чистое, доброе. Доносчики и стукачи полны добродетели, отпустите их по домам, но до чего мерзки они: мерзки со всеми добродетелями, со всем отпущением грехов... Да кто же это так нехорошо пошутил, сказав: человек – это звучит гордо?

Да, да, они не виноваты, их толкали угрюмые, свинцовые силы. На них давили триллионы пудов, нет среди живых невиновных... Все виновны, и ты, подсудимый, и ты, прокурор, и я, думающий о подсудимом, прокуроре и судье.

Но почему так больно, так стыдно за наше человеческое непотребство?

(Там же. Стр. 295–296)

Солженицын принять такой взгляд, даже просто понять его органически неспособен.

То есть как это – все виновны? Вот ведь я, – может он сказать, – ничего подобного не делал! Да, был к этому близок (собственные его слова). Но роковую черту – не переступил! (Подельник, читавший протоколы его допросов, считает, что переступил. Так же оценивают его поведение на тех допросах и другие бывшие близкие его друзья, и первая жена. А кое-кто уверяет даже, что он будто бы и доносы писал). Но к себе у него – другой, особый счет. (К этому мотиву мне ещё не раз придется возвращаться). А для тех иуд-стукачей, о которых вспоминает Гроссман, нет и не может быть прощения!

Вот он читает – придирчиво, с карандашом в руке – роман Гроссмана «Жизнь и судьба». И натыкается там на такой эпизод:

...

Магар лежал в изоляторе – каморке с бревенчатыми стенами, где почти вплотную одна к другой стояли две железные кровати. В

изолятор обычно клали либо больных инфекционными заболеваниями, либо доходяг-умирающих. Тоненькие ножки кроватей казались проволочными, но они не были погнуты, полнотелые люди никогда не лежали на этих кроватях.

– Не сюда, не сюда, правей, – раздался голос настолько знакомый, что Абарчуку показалось, – нету седины, нету неволи, а снова то, чем жил и ради чего счастлив был отдать жизнь.

Он, вглядываясь в лицо Магара, исступленно, медленно сказал:

– Здравствуй, здравствуй, здравствуй...

Магар, боясь не справиться с волнением, произнес нарочито буднично:

– Да садись, садись прямо против меня на койку.

И, видя взгляд, которым Абарчук поглядел на соседнюю койку, добавил:

– Ты его не потревожишь, его уж никто не потревожит.

Абарчук наклонился, чтобы лучше видеть лицо товарища, потом снова оглянулся на прикрытого покойника:

– Давно он?

– Часа два назад умер, санитары его не тревожат пока, ждут врача, это лучше, а то положат другого, живой говорить не даст.

– Это верно, – сказал Абарчук...

Он оглянулся на прикрытое тело, спросил:

– А кто он, отчего умер?

– Умер от лагеря, раскулаченный... – Я только сейчас понял, – он все бубнил что-то вроде: би... би... би... би... а это он просил: «Пить, пить», кружка рядом, хоть бы

выполнил его последнюю волю.

– Видишь, мертвый тоже вмешивается.

– А это понятно, – сказал Магар, и Абарчук услышал знакомую, всегда волновавшую его интонацию: так обычно Магар начинал серьезный разговор. – Ведь говорим о нем, а разговор о себе.

– Нет, нет! – Абарчук, поймав горячую ладонь Магара, сжал её, обнял его за плечи, затрясся от беззвучного рыдания, задохнулся...

Магар заговорил первый.

– Слушай, – сказал он, – слушай, друг, я тебя так в последний раз называю.

– Брось ты, ты будешь жить! – сказал Абарчук.

Магар сел на постели.

– Как пытки не хочу, но должен сказать. И ты слушай, – сказал он покойнику, – это тебя касается... Это мой последний революционный долг, и я его выполню!.. Вот я скажу тебе... Мы ошиблись. Наша ошибка вот к чему привела – видишь... мы с тобой должны просить прощения у него. Дай-ка мне закурить. Да какое уж там каяться. Сего не искупить никаким покаянием...

Утром санитар Трюфелев встретился Абарчуку на лагерном дворе, он тащил на санках бидон с молоком, обвязанный веревками. Странно было, что за полярным кругом у человека потное лицо.

– Твоему дружку молочка не пить, – сказал он, – удавился сегодня ночью.

Приятно поразить человека новостью, и санитар с дружелюбным торжеством смотрел на Абарчука.

– Записку оставил? – спросил

Абарчук и хлебнул ледяного воздуха. Ему показалось, что Магар обязательно оставил записку…

– Зачем записка? Что ни напишешь – к оперу попадает.

(Василий Гроссман. Жизнь и судьба).

На этот эпизод Александр Исаевич откликается одной короткой фразой:

…

…бывший чекист Магар, якобы тронутый поздним раскаянием об одном загубленном раскулаченном…

(Александр Солженицын. Дилогия Василия Гроссмана)

Вся суть этого лаконичного отклика в одном вот этом словечке: «якобы».

Не «тронутый поздним раскаянием», а – « *якобы* тронутый». В искренность хотя бы даже и позднего раскаяния бывшего чекиста Александр Исаевич не верит. Не хочет верить. И общего языка с Гроссманом тут ему не найти.

Легче всего объяснить это разницей темпераментов двух писателей-современников. Или – ещё того проще – разностью их жизненного опыта.

Но истинная причина этой органической неспособности Солженицына принять, что искусство по самой своей природе **непрокурорно** , откроется нам не на бытовом, а на более глубоком, сущностном, экзистенциальном уровне.

* * *

Л. Н. Толстой однажды сказал:

…

Я не понимаю и не люблю, когда придают какое-то особенное значение «теперешнему времени». Я живу в

вечности, и поэтому рассматривать все я должен с точки зрения вечности. И в этом сущность всякого дела, всякого искусства. Поэт только потому поэт, что он пишет в вечности.

Это не просто красивая фраза, даже и не метафора.

Что это было именно так, особенно ясно видно по письмам, с которыми Лев Николаевич обращался к царю.

Вот начало одного из них:

...

1902 г. Января 16. Гаспра.

Любезный брат,

Такое обращение я счел наиболее уместным потому, что обращаюсь к Вам в этом письме не столько как к царю, сколько как к человеку – брату. Кроме того ещё и потому, что пишу Вам как бы с того света, находясь в ожидании близкой смерти.

Мне не хотелось умереть, не сказав Вам того, что я думаю о Вашей теперешней деятельности и о том, какою она могла бы быть, какое большое благо она могла бы принести миллионам людей и Вам и какое большое зло она может принести людям и Вам, если будет продолжаться в том же направлении, в котором идет теперь.

(Л. Н. Толстой. ПСС. Том 73–74. М. 1954. Стр. 184–185)

А вот – его конец:

...

Любезный брат, у Вас только одна жизнь в этом мире, и Вы можете мучительно потратить её

на тщетные попытки остановки установленного богом движения человечества от зла к добру, мрака к свету и можете, вникнув в нужды и желания народа и посвятив свою жизнь исполнению их, спокойно и радостно провести её в служении богу и людям.

Как ни велика Ваша ответственность за те годы Вашего царствования, во время которых Вы можете сделать много доброго и много злого, но ещё больше Ваша ответственность перед богом за Вашу жизнь здесь, от которой зависит Ваша вечная жизнь и которую бог дал Вам не для того, чтобы предписывать всякого рода злые дела или хотя участвовать в них и допускать их, а для того, чтобы исполнять его волю. Воля же его в том, чтобы делать не зло, а добро людям.

Подумайте об этом не перед людьми, а перед богом и сделайте то, что Вам скажет бог, т. е. Ваша совесть. И не смущайтесь теми препятствиями, которые Вы встретите, если вступите на новый путь жизни. Препятствия эти уничтожатся сами собой, и Вы не заметите их, если только то, что Вы будете делать не для славы людской, а для своей души, т. е. для бога.

Простите меня, если я нечаянно оскорбил или огорчил вас тем, что написал в этом письме. Руководило мною только желание блага русскому народу и Вам. Достиг ли я этого – решит будущее, которого я, по всем вероятиям, не увижу. Я сделал то, что считал своим долгом.

Истинно желающий Вам

истинного блага брат Ваш
Лев Толстой.
16 января 1902.
(Там же. Стр. 190–191)

Он обращается к императору как равный к равному. Но не потому, что, как сказал тогда Суворин, есть два царя на Руси – Николай Второй и Лев Толстой, и разница между ними та, что Николай Второй не может поколебать трон Льва Толстого, а Лев Толстой ежедневно колеблет трон Николая Второго. Нет, он обращается к царю как равный к равному, потому что оба они – люди. Оба смертны. **Они равны перед лицом вечности.**

Этим сознанием пронизано не только содержание письма, но вся его тональность, самая его стилистика. Начиная с неслыханного по дерзости обращения к Помазаннику Божию.

Дело, впрочем, не в обращении.

В других своих письмах к царю он обращается к нему по всей форме («Государь», «Ваше императорское величество»), но тональность, стилистика и этих писем – та же. Это тот же голос «из вечности».

И все-таки трудно отделаться от мысли, что право на этот тон, на эту стилистику ему дает сознание, что он – Лев Толстой, всемирно известный «Великий Писатель Земли Русской».

Но вот – другое письмо «на высочайшее имя», написанное в другую эпоху, другим писателем, не столь знаменитым, в то время даже ещё совсем не знаменитым, – безвестным ссыльным, «тунеядцем», «окололитературным трутнем».

Высылаемый из страны опальный поэт написал его генеральному секретарю ЦК КПСС перед самым отъездом:

…

Уважаемый Леонид Ильич,
покидая Россию не по собственной воле, о чем Вам, может быть, известно, я решаюсь обратиться к Вам с просьбой, право на которую мне дает твердое сознание того, что все, что сделано мною за 15 лет литературной работы, служит и ещё послужит славе русской культуры, ничему другому…

Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя её частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не может. Язык – вещь более древняя и более неизбежная, чем государство. Я принадлежу русскому языку, а что касается государства, то, с моей точки зрения, мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого он живет, а не клятвы с трибуны.

Мне горько уезжать из России. Здесь я родился, вырос, жил и всем, что имею за душой, я обязан ей. Все плохое, что выпало на мою долю, с лихвой перекрывалось хорошим, и я никогда не чувствовал себя обиженным Отечеством. Не чувствую и сейчас.

Ибо, переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, что вернусь; поэты всегда возвращаются: во плоти или на бумаге... Мы все приговорены к одному и тому же: к смерти. Умру я, пишущий эти строки, умрете Вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг другу делать его дело. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их ещё усложнять.

Я надеюсь, Вы поймете меня правильно, поймете, о чем я прошу. Я прошу дать мне возможность и дальше существовать в русской литературе, на русской земле. Я думаю, что ни в чем не виноват перед своей Родиной. Напротив, я думаю, что во многом прав. Я не знаю, каков будет Ваш ответ на мою

просьбу, будет ли он иметь место вообще. Жаль, что не написал Вам раньше, а теперь уже и времени не осталось...

С уважением

Ваш И. А. Бродский.

(Бродский. Книга интервью. М. 2005. Стр. 452–453)

Та же тональность, та же стилистика. И тот же мотив: «Умру я, пишущий эти строки, умрете Вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению». Тот же «голос из вечности».

А теперь сравним эти два письма (письмо Л. Н. Толстого Николаю Второму и письмо Бродского Брежневу) с письмом Солженицына «Вождям Советского Союза»:

...

Не обнадежен я, что вы захотите благожелательно вникнуть в соображения, не запрошенные вами по службе, хотя и довольно редкого соотечественника, который не стоит на подчиненной вам лестнице, не может быть вами ни уволен с поста, ни понижен, ни повышен, ни награжден, и, таким образом, весьма вероятно услышать от него мнение искреннее, безо всяких служебных расчётов, – как не бывает даже у лучших экспертов в вашем аппарате. Не обнадежен, но пытаюсь сказать тут кратко главное: что я считаю спасением и добром для нашего народа, к которому по рождению принадлежите все вы – и я.

Это не оговорка. Я желаю добра всем народам, и чем ближе к нам живут, чем в большей зависимости от нас – тем более горячо. Но преимущественно озабочен я судьбой

именно русского и украинского народов, по пословице – где уродился, там и пригодился, а глубже – из-за несравненных страданий, перенесенных нами.

И это письмо я пишу в предположении , что такой же преимущественной заботе подчинены и вы, что вы не чужды своему происхождению, отцам, дедам, прадедам и родным просторам, что вы – не безнациональны. Если я ошибаюсь, то дальнейшее чтение этого письма бесполезно.

(Александр Солженицын. Публицистика. Том 1. Статьи и речи. Ярославль. 1995. Стр. 149.)

Это письмо, как и те два, тоже пронизано сознанием своего равенства с теми, к кому оно обращено. Но это его сознание основано не на том, что и он, и те, к кому он обращается, – люди, что и он, и они – смертны, а в предположении, что они, – как и он, – русские. (Или украинцы, что для него одно и то же).

Но главное тут не это. Главное – и в содержании, и в тональности этого его письма – то, что обращается он к «Вождям Советского Союза» не как художник, писатель, поэт, а – как политик. А если совсем точно – как **человек власти** , у которого есть свои соображения насчет того, как надлежит управлять страной, чтобы отодвинуть её от пропасти, в которую она катится.

В некотором роде это даже ультиматум. Или, если угодно, условия капитуляции. План – пока ещё мирный – перехода страны на новые рельсы, к новой политической системе:

...

У вас остаётся вся неколебимая власть, отдельная сильная замкнутая партия, армия, милиция, промышленность, транспорт, связь, недра, монополия внешней торговли, принудительный курс рубля, – но дайте же народу дышать, думать и развиваться! Если вы сердцем

принадлежите к нему – для вас и колебания не должно быть!..

Вы можете с негодованием или смехом отбросить соображения какого-то одиночки, писателя. Но с каждым годом то же самое будет настойчиво предлагать вам жизнь – по разным поводам, в разное время, с разными формулировками, – но именно это. Потому что это осуществимый плавный путь спасения нашей страны, нашего народа.

И – вас самих, кстати. Ведь наступит грозный час – и вы опять воззовёте к этому народу, не к мировому коммунизму. И даже ваша судьба – даже ваша! – будет зависеть от ***нас*** *.*

(Там же. Стр. 184–185)

От кого это – «от нас»?

Это не голос «одиночки-писателя». Так с властями предержащими может говорить лидер оппозиции, глава политической партии, **человек власти** .

То, что по складу личности, по самому строю души он был **человеком власти** , – А. И. сам о себе знал. И не скрывал этого, именно так о себе думал, именно так себя позиционировал:

…

Четверг, 30 мая 1974 …

Вечером – длинная исповедь в его комнате…

«…у меня в «узлах» три прототипа (то есть в них я вкладываю себя, пишу о себе) – Воротынцев, Саня Лаженицын (был ещё Саша Ленартович, да безнадежно разошлись…) и… Ленин! У нас много общего. Только принципы разные. В минуты гордыни я ощущаю себя действительно анти-Лениным. Вот

взорву его дело, чтобы камня на камне не осталось... Но для этого нужно и быть таким, каким он был: струна, стрела... Разве не символично: он из Цюриха – в Москву, я из Москвы – в Цюрих...»
(Прот. Александр Шмеман. Дневники. 1973–1983. М. 2007. Стр. 102)

К этому солженицынскому признанию отец Александр в своих дневниках возвращается постоянно:

...

Воскресенье, 16 февраля 1975 ...
Вчера весь день, не отрываясь, читал – и прочел – «Теленка». Впечатление очень сильное, ошеломляющее, и даже с оттенком испуга. С одной стороны – эта стихийная сила, целеустремленность, полнейшая самоотдача, совпадение жизни и мысли, напор – восхищают... Чувствуешь себя ничтожеством, неспособным к тысячной доле такого подвига... С другой же – пугает этот постоянный расчёт, тактика, присутствие очень холодного и – в первый раз так ощущаю – жестокого ума, рассудка, какой-то гениальной «смекалки», какого-то, готов сказать, большевизма наизнанку... Начинаю понимать то, что он мне сказал в последний вечер в Цюрихе, вернее – в горах: «Я – Ленин...» Такие люди действительно побеждают в истории, но незаметно начинает знобить от такого рода победы. Все люди, попадающие в его орбиту, воспринимаются как пешки одного, страшно напряженного напора. И

это в книге нарастает. В дополнении 1973 года – уже только Георгий Победоносец и Дракон и «график» их встречного боя. Когда на стр. 376 читаю (в связи с самоубийством Воронянской, открывшим шлюзы Архипелага): «...ни часа, ни даже минуты уныния я не успел испытать в этот раз. Жаль было бедную опрометчивую женщину... Но, достаточно ученый на таких изломах, я в шевелении волос теменных провижу – Божий перст! Это ты! Благодарю за науку!» (что-де приспело время пускать Архипелаг), мне страшно делается... Чем дальше – тем сильнее это «кто не со мной, тот против меня», нет – не гордыня, не самолюбование, а какое-то упоение «тотальной войной». Кто не наделен таким же волюнтаризмом – того вон с пути, чтобы не болтался под ногами. С презрением. С гневом. С нетерпимостью. Все это – по ту сторону таланта, все это изумительно, гениально, но – как снаряд, после пролета которого лежат и воют от боли жертвы, даже свои... А почему не поступили, как я, как нужно? Вот и весь вопрос, ответ, объяснение. Книга эта, конечно, будет иметь огромный успех, прежде всего – своей потрясающей интересностью. Мне же после неё ещё страшнее за него: где же подлинный С: в «первичной» литературе или вот в этой – «вторичной», и какая к какой ключ? Или же все это от непомерности Зла, с которым он борется и которое действительно захлестывает мир? Но и тогда – оправдывает ли она, эта непомерность, хоть малейшую

сдачу ей в тональности? Что нужно, чтобы убить Ленина? Неужели же «ленинство»?.. Какая-то часть души говорит «да», а другая, ещё более глубокая, некое «нет». Слишком и сама эта книга – расчёт, шахматный ход, удар и даже – сведение счетов, чтобы быть до конца великой... (Там же. Стр. 153)

И – снова о том же:

...

Пятница, 17 октября 1975

Читаю с захватывающим интересом солженицынского «Ленина в Цюрихе». Напор, ритм, бесконечный, какой-то торжествующий талант в каждой строчке, действительно нельзя оторваться. Но тут же почти с каким-то мистическим ужасом вспоминаю слова Солженицына – мне, в прошлом году, в Цюрихе – о том, что он, Солженицын, в романе – не только Саня, не только Воротынцев, но прежде всего – сам Ленин. Это описание изнутри потому так потрясающе живо, что это «изнутри» – самого Солженицына. Читая, отмечаю карандашом места – об отношении к людям (и как они должны выпадать из жизни, когда исполнили свою функцию), о времени, о целеустремлении и буквально ахаю... Эта книга написана «близнецом», и написана с каким-то трагическим восхищением. Одиночество и «ярость» Ленина. Одиночество и «ярость» Солженицына. Борьба как содержание – единственное! – всей жизни.

Безостановочное обращение к врагу. Безбытность. Порабощенность своей судьбой, своим делом. Подчиненность тактики – стратегии. Тональность души... Повторяю – страшно... (Там же. Стр. 215)

«Всё это изумительно, гениально», – говорит (записывает) о. Александр. И тут же: «Всё это – по ту сторону таланта».

Как это совместить? Как гениальное может быть «по ту сторону таланта»?

Совмещается просто.

«По ту сторону таланта» – это о таланте писателя, художника. А то, что в Солженицыне гениально, лежит совсем в другой области, в другой жизненной сфере. Эта бешеная целеустремленность Солженицына, в которой выразилась пресловутая его гениальность, была не просто несовместима с его художественным даром. В конечном счёте именно она этот – немалый – его художественный дар исказила, задавила, а потом и разрушила.

Энергия заблуждения

Это выражение принадлежит Л. Н. Толстому.

Впервые, кажется, он употребил его в письме Н. Н. Страхову, написанном в апреле 1878:

...

Отчего напрягаться ? Отчего вы сказали такое слово? Я очень хорошо знаю это чувство – даже теперь последнее время его испытываю: всё как будто готово для того, чтобы писать – исполнять свою земную обязанность, а недостает толчка веры в себя, в важность дела. Недостает энергии заблуждения , земной стихийной энергии, которую выдумать нельзя. И нельзя начинать. Если станешь напрягаться , то будешь не естествен, не правдив...

(Л. Н. Толстой. ПСС. Том 62. М. 1953. Стр. 410–411)

Один из самых глубоких исследователей творчества Л. Н. Толстого Б. М. Эйхенбаум соединил это высказывание Льва Николаевича с другим, которое тот обронил в написанном четырьмя годами раньше письме графине А. А. Толстой:

...

Вы говорите, что мы как белка в колесе. Разумеется. Но этого не надо говорить и думать. Я по крайней мере, что бы я ни делал, всегда убеждаюсь, что du haut de ces pyramides 40 siècles me contemplent [1] и что весь мир погибнет, если я остановлюсь.

(Там же. Стр. 130)

Это сближение дало исследователю повод посвятить этой теме специальную работу о творческих стимулах Л. Толстого и назвать эти стимулы **героическими** .

…

Толстой не хочет соглашаться, что мы «как белка в колесе»… В противовес формуле «как белка в колесе» он приводит слова Наполеона, сказанные в Египте… Но следом за этой формулой приводится другая, ведущая свое происхождение из философии Шопенгауэра и ещё более многозначительная: «Весь мир погибнет, если я остановлюсь». Толстой, оказывается, чувствует себя центром мира, его главной движущей силой – солнцем, от деятельности которого зависит вся жизнь. Как ни фантастичен этот стимул – он составляет действительную основу его поведения и его работы… Толстой может работать только тогда, когда ему кажется, что весь мир смотрит на него и ждет от него спасения, что без него и его работы мир не может существовать, что он держит в своих руках судьбы всего мира. Это больше, чем «вдохновение», – это то ощущение, которое свойственно героическим натурам.

Толстой, оказывается, недаром цитировал слова Наполеона. Он глубоко понимал его, одновременно и завидуя ему и презирая – не за деспотизм, а за Ватерлоо, за остров Святой Елены. Он осуждал его вовсе не с этической точки зрения, а как победитель побежденного. Совсем не этика руководила Толстым в его жизни и поведении: за его этикой как

подлинное правило поведения и настоящий стимул к работе стояла ***героика***

...

Толстой недаром любил войну и с трудом подавлял в себе эту страсть. Он и вне фронта вел себя как вождь, как полководец и был замечательным тактиком и стратегом в борьбе с историей, с современностью. Упорно отстаивая свою архаистическую позицию, он, со стороны и издалека, но тем более зорко, как бы в бинокль, вглядывался в малейшие движения эпохи, как полководец вглядывается в движения неприятельских войск, и соответственно этим движениям предпринимал те или другие действия. Ясная Поляна была для него удобным стратегическим пунктом: точкой, с высоты которой он оглядывал и измерял ход истории, жизнь и движения окружающего мира.

Кроме приведенной мной цитаты, у Толстого есть и другие признания, которые подтверждают именно этот, несколько страшный, но могучий образ.

(Б. Эйхенбаум. Творческие стимулы Л. Толстого. В кн.: Б. Эйхенбаум. О прозе. Сборник статей. М. 1969. Стр. 85)

Слово «героика», как и сравнение Толстого с Наполеоном, не кажется мне тут особенно удачным. Но со всем этим можно было бы согласиться (в конце концов, не так уж важно, как назвать стимулы творческого поведения Толстого, важно правильно их понять), если бы не одно обстоятельство:

...

Основные жизненные и творческие стимулы Толстого раскрыты им самим с достаточной ясностью в монологе князя Андрея накануне Аустерлицкого сражения. Свой собственный душевный опыт Толстой вложил в своего героя, как он делал это постоянно: «Я никогда никому не скажу этого, но, боже мой! что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу,

любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно. И как ни дороги, ни милы мне многие люди – отец, сестра, жена, – самые дорогие мне люди, – но, как ни страшно и неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать».

Вот то «тщеславие», от которого Толстой сам иногда приходил в ужас, не видя ему выхода, и от которого так страдали его семейные. Размышления об этой «непонятной страсти», которая не дает покоя и отравляет существование, заполняют уже юношеские дневники Толстого: «Я много пострадал от этой страсти – она испортила мне лучшие года моей жизни и навек унесла от меня всю свежесть, смелость, веселость и предприимчивость молодости»... Эта страсть не давала Толстому покоя до конца – до конца ему казалось и нужно было, чтобы сорок веков смотрели на него с высоты пирамид. Дневники С. А. Толстой наполнены жалобами на безграничное тщеславие и славолюбие Толстого, ради удовлетворения которого он готов забыть всё и всех.

На деле это было, конечно, не простое тщеславие, которым страдают мелкие натуры, а нечто гораздо более сложное и серьезное. Это было ощущение особой силы, особой исторической миссии. Это была жажда не только власти и славы, но и героического поведения, героических поступков. «Весь мир погибнет, если я остановлюсь» – вот настоящая формула этой героики.

(Там же. Стр. 86)

Получается, что этот главный стимул, заставляющий Толстого творить, – индивидуальное, сугубо личное его свойство. Даже неслыханная, ни с чьей другой не сравнимая, уникальная продуктивность Толстого – прямой результат этой героики, этого героического начала, побуждающего его творить:

...

Когда несколько лет тому назад решено было приступить к изданию полного собрания сочинений, дневников и писем Льва Толстого, то оказалось, что для этого нужно не менее 90 больших томов. Такие размеры необычны для русской литературы. Мы привыкли, что сочинения наших классиков помещаются самое большее в 15–20 томах. Девяносто томов – это больше, чем Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Если это перевести на печатные листы, то получится около трех тысяч листов! А если считать по страницам, то их окажется около пятидесяти тысяч!

Но впечатление будет ещё более грандиозным и необычным, если увидеть все это в рукописях. Первое ощущение редактора, приступающего к работе над рукописями Толстого, – паника. Как бы ни был велик его опыт по редактированию других классиков – все равно: взявшись за Толстого, он испугается. Он берет небольшую вещь– «Крейцерову сонату», которая в печати занимает около пяти печатных листов: ему приносят целый тюк рукописей: 800 листов. Он берет совсем маленькую вещь – «Разрушение ада и восстановление его»; ему дают 400

листов, исписанных рукой Толстого или испещренных его поправками. Редактор начинает раскладывать эти листы, чтобы выяснить последовательность редакций: этих редакций получается 10, 15, 20. А что делать с такой вещью, как «Воскресение»? Рукописи этого романа занимают целый сундук.

(Там же. Стр. 77)

Разве мог бы он всё это осуществить, если бы время от времени не накатывала на него, не овладевала им пресловутая ***энергия заблуждения*** ?

Получается, стало быть, что и она, эта до глубокой старости не покидавшая его энергия, тоже – индивидуальное, сугубо личное, изначально ему присущее свойство его героической натуры.

Но сам Толстой в это словосочетание вкладывал совсем другой смысл.

Б. Эйхенбаум в своей статье о творческих стимулах Л. Толстого ссылается ещё на такую реплику Льва Николаевича (из письма А. А. Фету):

...

Для того, чтобы работать, нужно, чтобы выросли под ногами подмостки. И эти подмостки зависят не от тебя. Если станешь работать без подмосток, только потратишь матерьял и завалишь без толку такие стены, которых и продолжать нельзя.

(Л. Н. Толстой. ПСС. Том 62. М. 1953. Стр. 209)

Приведя её, он тут же замечает:

...

Это уже не о стимулах, а о тех внутренних условиях, которые

необходимы для работы. Но эти условия, эта необходимость «подмостков» вытекают из тех же героических стимулов.

(Б. Эйхенбаум. О прозе. Л. 1969. Стр. 86–87)

На самом деле речь у Толстого здесь идет о другом:
Начинается это его письмо Фету так:

...

Страшная вещь наша работа. Кроме нас, никто это не знает.

А вот как он заключает это свое рассуждение о «подмостках», которые должны вырасти под ногами, чтобы работа пошла:

...

Особенно это чувствуется, когда работа начата. Всё кажется: отчего же не продолжать? Хвать-похвать, недостают руки и сидишь дожидаешься. Так и сидел я. Теперь, кажется, подросли подмостки и засучиваю рукава.

(Там же)

Стало быть, это не только о себе, о какой-то индивидуальной, личной своей особенности, а о непременном, необходимом условии **всякого** писательского труда. Писательского труда вообще.

В другой раз он высказался на этот счёт совсем уже определенно.

Вспоминая рано умершего старшего своего брата Николая и говоря о его незаурядной художественной одаренности, он заметил, что тот обладал многими качествами из тех, что необходимы писателю:

...

Качества... писателя, которые у него были, было прежде всего тонкое художественное чутье, крайнее чувство меры, добродушный, веселый юмор, необыкновенное, неистощимое воображение и правдивое, высоко нравственное мировоззрение... Воображение у него было такое, что он мог рассказывать сказки или истории с привидениями или юмористические истории в духе т-те Radcliff без остановки и запинки целыми часами и с такой уверенностью в действительность рассказываемого, что забывалось, что это выдумка.

Но:

...

...Он не имел только тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть писателем. Он не имел главного нужного для этого недостатка: у него не было тщеславия...

(Л. Н. Толстой. ПСС. Том 34. Стр. 386)

Речь, разумеется, не о простом тщеславии, которым, как говорит Эйхенбаум, «страдают мелкие натуры», а о том, постоянно приходившем ему на помощь и долго не оставлявшем его сознанием своей особой миссии: «Весь мир погибнет, если я остановлюсь». То есть – всё о той же *энергии заблуждения* .

* * *

У Солженицына этой энергии было в избытке:

...

...Я чувствую, я вижу, как делаю историю... Почти каждая реплика сгорает по залу как порох!..

О, я, кажется, уже начинаю любить это своё новое положение... Это открытое и гордое противостояние, это признанное право на собственную мысль!.. Теперь-то мне открылся высший и тайный смысл того горя, которому я не находил оправдания, того швырка от Верховного Разума, которого нельзя предвидеть нам, маленьким: для того была мне послана моя убийственная беда, чтоб отбить у меня возможность таиться и молчать, чтоб от отчаянья я начал говорить и действовать.

Ибо – подошли сроки...

(А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. М. 1996. Стр. 154)

...

18 лет я плёл свою подпольную литературу, проверяя прочность каждой нити; от ошибки в едином человеке я мог провалиться в волчью яму со всем своим написанным – но не провалился ни разу... Замысел казался грандиозным, ещё через десяток лет я был бы готов выйти на люди со всем своим написанным, и во взрыве той литературной бомбы нисколько не жалко было бы сгореть и самому...

(Там же)

...

Так ударил я в гонг своим

вторым выступлением, вызывая на бой, будто теперь только и буду, что выступать, – и в тех же днях... нырнул опять в своё далёкое Укрывище, в глушь – работать! работать! – потому что сроки подошли...

За декабрь-февраль я сделал последнюю редакцию «Архипелага» – с дописке, переделкой и перепечаткой 70 авторских листов за 81 день – ещё и болея, и печи топя, и готовя сам. Это – не я сделал, это – ведено было моею рукой!

(Там же. Стр. 155)

...

...мечи блестят, звенят, идёт бой, и в нашу пользу, и мы сминаем врага, идёт бой при сочувствии целой планеты, у неё на глазах, – и если даже наш главный полк попал в окружение – не беда! это – на время! мы – вызволим его!..

Ни часа, ни даже минуты уныния я не успел испытать в этот раз... Достаточно уже ученый на таких изломах, я в шевеленьи волос теменных провижу: Божий перст! Это ты! Во всём этом август-сентябрьском бою, при всём нашем громком выигрыше – разве бы я сам решился? разве понял бы, что пришло время пускать «Архипелаг»? Наверняка – нет, всё так же бы – откладывал на весну 75-го, мнимо-покойно сидя на бочках пороховых. Но перст промелькнул: что спишь, ленивый раб? Время давно пришло...

...Сколько провалов я миновал... А тут – на коне, на скаку, в момент,

избранный мною же (вот оно, предчувствие! – начинать кампанию, когда как будто мирно и не надо!), – и рядом другие скачут лихо, и надо только завернуть, лишь немного в сторону, и – руби туда!!! Провал – в момент, когда движутся целые исторические массы, когда впервые серьёзно забеспокоилась Европа, а у наших связаны руки ожиданием американских торговых льгот, да европейским совещанием, и несколько месяцев стелятся впереди, просто просящих моего действия! То, что месяц назад казалось «голова на плаху», то сегодня – клич боевой, предпобедный!

(Там же. Стр. 319–320)

...

В первый раз, в первый раз выхожу на бой в свой полный рост и в свой полный голос...

Для моей жизни – момент великий, та схватка, для которой я, может быть, и жил...

Не то ли время подошло, наконец, когда Россия начнёт просыпаться? Не тот ли миг из предсказаний пещерных призраков, когда ***Бирнамский лес пойдёт*** *?..*

(Там же. Стр. 344)

Вот оно где – героическое-то начало!

Я это говорю без иронии, хотя подбор этих выбранных и выстроенных в одну линию отрывков был, конечно, затеян мною не без некоторого иронического умысла.

Но ирония эта направлена не на силу и мощь, и не на избыточность энергии заблуждения, которой он так щедро был наделен.

Как бы без неё, без этой избыточной энергии он стал тем, кем стал? Как бы мог без неё в лагере, где писать было нельзя (да и

нечем), затверживать, заучивать на память многие тысячи стихотворных, а потом и прозаических строк? И потом, в ссылке, когда уже была у него возможность их записать, создавать для написанного всякие хитроумные тайники, – мастерить фанерные ящики с двойным дном, расклеивать, а потом снова склеивать переплеты книг, чтобы прятать в них свои странички, исписанные мельчайшими, чуть ли не микроскопическими буковками? И потом, уже не в ссылке, а на свободе, уносить куда-то и прятать чуть не каждую только что написанную страницу, не имея возможности обозреть целиком весь создаваемый им текст? А потом, уже встав во весь рост, войти в открытое противостояние, в единоличную схватку с могучей ядерной державой?

Где же тут повод для иронии?

Повод этот, – повторю ещё раз, – не в том, что этой, никогда его не покидавшей энергии было у него в избытке, а в том, что ему, – и этим он и отличается от Толстого, – и в голову не могло взбрести, что эта ведущая, направляющая и поддерживающая его вера в свою миссию, в свое особое предназначение, – не что иное, как ЗАБЛУЖДЕНИЕ. То есть – САМООБМАН.

...

Энергия заблуждения – замечательный термин, с предельной ясностью раскрывающий формулу «весь мир погибнет, если я остановлюсь», и проливающий яркий свет на все творчество Толстого и на вопрос о его стимулах. Недаром он не ответил в письме к А. А. Толстой по существу, а только заявил, что «этого не надо говорить и думать». Он вовсе не хочет знать истины: живем ли мы и работаем «как белка в колесе» или нет.

В записной книжке Толстого есть рассуждение о философских системах и истинах: «Толпа хочет поймать всю истину, и так как не может понять её, то охотно верит. Гёте говорит: истина противна, заблуждение привлекательно, потому что истина представляет

нас самим себе ограниченными, а заблуждение – всемогущими. – Кроме того, истина противна потому, что она отрывочна, непонятна, а заблуждение связанно и последовательно»... На фоне этой записи термин «энергия заблуждения» звучит полнее и определеннее. Для творчества ему нужна не энергия разума, не энергия истины («истина представляет нас самим себе ограниченными»), а энергия заблуждения. Процесс его творчества строится не на пафосе истины, а на пафосе обладания миром...

(Б. Эйхенбаум. О прозе. Л. 1969. Стр. 86–87)

У Солженицына не только процесс творчества, но и весь стиль его жизненного поведения тоже строится на «пафосе обладания миром». Но для него это – не ЗАБЛУЖДЕНИЕ, не САМООБМАН, а – ИСТИНА.

Вот он рассказывает о своей схватке с «чёртовой дюжиной» большого Секретариата Союза писателей СССР:

...

...Я торжественно встал, раскрыл папку, достал отпечатанный лист и с лицом непроницаемым, а голосом, декламирующим в историю, грянул им своё первое заявление...

Они уже стояли в боевых порядках, но прежде их условного знака – я дал в них залп из ста сорока четырёх орудий, и в клубах дыма скромно сел...

Смяты и наши стройные ряды, они сбивают и мой план боя...

Я подымаюсь, вынимаю свои листы и уже не исторически-

отрешённым, но свободнеющим голосом драматического артиста читаю им готовые ответы…

Они поражены. Вероятно, за 35 лет их гнусного союза – это первый такой случай. Однако прут резервы, второй эшелон, прёт нечистая сила!..

Я встаю и выхватываю следующие листы. И уже всё более свободно и всё более расширительно, сам определяя границы боя, уже не столько на их вопросы, сколько по своему плану, я гоню и гоню их по всему бородинскому полю до самых дальних флешей.

И – тишина, рассеянность, растерянность, неопределённость наступают в пространстве. И с фланга идут чьи-то ряды…

Враг растерян, никто не просит слова, и вопросов уже нет. Что такое? Да не есть ли это победа?.. Ещё немножко, ещё немножко им продержаться! Да где же имперские резервы?.. Там и здесь поднимаются из-под копыт…

И вот она, чёрная гвардия! – Корнейчук (разъярённый скорпион на задних ножках)! Кожевников! И на белых конях – перемётная конница Суркова! И дальше, и дальше, из глубины – новые и новые твердолобые – Озеров, Рюриков…

И сколько их? Конца нет их перечню!..

Они видят упущенный свой жребий. Стиханья нет затверженному шагу, обрыва нет заученным фразам. Враги заполнили всё поле, всю землю, весь воздух! Поле боя останется за ними. Мы как будто были смелей, мы всё время атаковали. А поле боя – за ними…

Бородино. Нужно времени

пройти, чтобы разобрались стороны, кто выиграл в тот день...

(Там же. Стр. 183–185)

Эта эйфория, эта упоенность собой и сама по себе исключительна. Но более всего тут поражает не то, что он так чувствует и так видит, так – с откровенным самолюбованием – представляет себя в решающие минуты схватки, а то, что эта владеющая им энергия заблуждения не угасает, не умаляется даже и потом, когда всё это уже в прошлом и, казалось бы, могло и даже уже должно было эту эйфорию сменить **отрезвление** . Может быть, даже и какая-то толика самоиронии.

Даже сравнение с Бородинским боем, одним из самых знаковых событий в истории России, тут для него – не метафора, не фигура речи, а точное, адекватное выражение того, как он видит, как понимает смысл происходящего и свою роль в этом историческом (действительно историческом) действе. Видит не только в самый момент схватки, что было бы ещё понятно («Есть упоение в бою...»), но даже и сейчас, когда, спустя время, он об этом рассказывает.

Чтобы было уже совсем ясно, ЧТО я имею в виду, для полной наглядности приведу рассказ другого писателя, оказавшегося – примерно в то же время – в сходной ситуации:

...

Партийный следователь зачитал постановление парткомиссии, мерзкое во всех отношениях... Демократично поинтересовались – не желаете ли высказаться напоследок?

«Я, наивный поц, вообразил, что где-то рядом стоит История. И размахнулся на длинную, убедительную, убийственную по отношению к оппонентам из Спилки письменников речь». Не лишенную иронии и сарказма.

Первый секретарь райкома прервал эту изящную филиппику через пяток минут – «Не в этом дело... Дело в том, что вы имеете собственное мнение, а оно

расходится с линией...» Исключили единогласно, рук не поднимали, просто покивали в ответ на: «Есть предложение исключить».

Некрасов был слегка обижен таким затрапезным ритуалом, попросил ещё раз слово.

«После этого я, поц, опять взял слово, закончившееся вопросом: считаете ли, что принятое сегодня решение принесёт пользу советской литературе? Да или нет?»

Вокруг оловянные лица...

«Сидевший в сторонке таинственный товарищ, по-моему, из III отделения бросил: «Надоело с вами возиться».

И Виктор Платонович Некрасов, принятый в члены коммунистической партии зимой 1943 года в Сталинграде, одиноко вышел из этой районной конторы и удалился навсегда.

(Виктор Кондырев. «Всё на свете, кроме шила и гвоздя. Воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасове. Киев – Париж. 1972–1987». М. 2001. Стр. 61–62)

Ситуация, конечно, несколько иная, но сходство всё-таки велико. Тот же холодный, бездушный ритуал, где всё уже заранее решено и подписано. (Александру Исаевичу только кажется, что ещё ничто не решено, что ему, может быть, ещё удастся выиграть этот бой). И те же оловянные лица вокруг. Но главное сходство в том, что Виктор Платонович, точь-в-точь, как Александр Исаевич, поначалу тоже воспарил, вообразив, что «где-то рядом стоит История».

Но вспоминает он об этой своей минутной эйфории с откровенной иронией и даже не без некоторого стыда. (Тут, наверно, надо объяснить, что понятное каждому киевлянину, как и каждому одесситу, словечко «поц» в самом смягченном переводе с еврейского означает примерно то же, что наше русское «мудак»).

Тут, конечно, можно было бы заметить, что это мое сравнение

не вполне корректно. Слишком уж разные были они люди, – Александр Исаевич и Виктор Платонович. И слишком уж несоизмеримы были их роли. Так что стоит ли удивляться, что энергия заблуждения у Виктора Платоновича оказалась не такой прочной и устойчивой, как у Александра Исаевича. Ему эта энергия заблуждения для тех скромных жизненных целей и задач, которые он перед собой ставил, быть может, была даже и не нужна.

Ну, что ж! Если это мое сравнение недостаточно убедительно, у меня на этот случай тут в кустах есть ещё один рояль.

* * *

Это письмо к жене Н. Г. Чернышевский написал 5 октября 1862 года, то есть уже после ареста, из Петропавловской крепости:

…

…Наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все ещё будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами. Так надобно же нам не уронить себя со стороны бодрости характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь. В это время я имел досуг подумать о себе и составить план будущей жизни. Вот как пойдет она: до сих пор я работал только для того, чтобы жить. Теперь средства к жизни будут доставаться мне легче, потому что восьмилетняя деятельность доставила мне хорошее имя. Итак, у меня будет оставаться время для трудов, о которых я давно мечтал. Теперь планы этих трудов обдуманы окончательно. Я начну многотомною «Историею

материальной и умственной жизни человечества», – историею, какой до сих пор не было, потому что работы Гизо, Бокля (и Вико даже) деланы по слишком узкому плану и плохи в исполнении. За этим пойдет «Критический словарь идей и фактов», основанный на этой истории. Тут будут перебраны и разобраны все мысли обо всех важных вещах, и при каждом случае будет указываться истинная точка зрения. Это будет тоже многотомная работа. Наконец, на основании этих двух работ я составлю «Энциклопедию знания и жизни», – это будет уже экстракт, небольшого объема, два-три тома, написанный так, чтобы был понятен не одним ученым, как два предыдущие труда, а всей публике. Потом я ту же книгу переработаю в самом легком, популярном духе, в виде почти романа с анекдотами, сценами, остротами, так, чтобы её читали все, кто не читает ничего, кроме романов. Конечно, все эти книги, назначенные не для одних русских, будут выходить не на русском языке, а на французском, как общем языке образованного мира. Чепуха в голове у людей, потому они и бедны, и жалки, злы и несчастны; надобно разъяснить им, в чем истина и как следует им думать и жить. Со времен Аристотеля не было делано ещё никем того, что я хочу сделать, и буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель…

(Дело Чернышевского. Сборник Документов. Приволжское книжное издательство. Саратов, 1968, стр. 261–262)

Как видим, ни энергии заблуждения, ни «пафоса обладания миром» Николаю Гавриловичу тоже было не занимать. Но возобладал разум. Поразмыслив и слегка отрезвев, он решил начать с того, чем сперва хотел кончить: с романа.

Роман этот, которому, как мы знаем, было суждено сыграть в истории России свою, особую роль, не будь у автора этой энергии и этого пафоса, вряд ли был бы написан. Но так или иначе, первоначальный «план будущей жизни» был пересмотрен и от намерения создать многотомную «Историю материальной и умственной жизни человечества», на основе которой потом будут созданы ещё два многотомных труда («Критический словарь идей и фактов» и «Энциклопедия знания и жизни»), Николай Гаврилович в конце концов отказался.

У Александра Исаевича тоже был свой «план будущей жизни», составленный им ещё в юности. И этот свой план ему тоже пришлось пересмотреть.

Но в его случае это движение шло в противоположном направлении. Год от года энергия заблуждения и «пафос обладания миром», порожденные этим его ранним. юношеским замыслом, захватывали его все больше и больше, пока не заняли весь его умственный горизонт и в конце концов не оттеснили, не отодвинули, не подчинили себе все другие его творческие замыслы и планы.

...

Общий замысел, открываемый этим первым Узлом, возник у меня в 1936 году, при окончании средней школы. С тех пор я никогда с ним не расставался, понимал его как главный замысел моей жизни; отвлекаясь на другие книги лишь по особенностям своей биографии и густоте современных впечатлений, – я шёл, и готовился, и материалы собирал только к этому замыслу. И вот дохожу, как бы не слишком поздно: и собственной жизни и воссоздающего воображения уже может недостать на эту двадцатилетнюю работу...

(Из предисловия к русскому

зарубежному изданию «Августа четырнадцатого». В кн.: Александр Солженицын. Публицистика в трех томах. Том 3. Ярославль. 1997. Стр. 485).

Какие особенности его биографии и новые жизненные впечатления вынудили его отложить реализацию этого главного своего замысла, мы знаем. Уверенность в том, что именно ему предстоит открыть – не только соотечественникам, человечеству! – всю правду о русской революции семнадцатого года, – эта твердая уверенность никогда его не покидала. Но начать работу над этим главным своим романом он долго ещё не решался.

...

Зимой 1968–1969, снова в солотчинской избе, я несколько месяцев мялся, робея приступать к «Р-17», очень уж высок казался прыжок...

(Н. Решетовская. Хронограф. Архив Н. А. Решетовской)

...

Приезжая в сильные морозы домой, Александр Исаевич продолжал разборку и раскладку материалов для романа, одновременно обдумывая, как лучше осуществить давний замысел.

(Н. Решетовская. Александр Солженицын и читающая Россия. М. 1990. Стр. 368)

Вплотную он приступает к работе над ним в марте 1969-го. Н. Решетовская даже точно называет этот исторический день:

...

В воскресенье 9 марта он приступает к «Р.-17»... Встает рано, делает во дворе гимнастику, потом душ, завтрак и работа за столом, часов шесть подряд. Перед обедом гуляет в сквере... А вечером занимается подготовительной работой к завтрашнему дню. Снова гуляет, обдумывает.

(Там же. Стр. 270)

Тут же она сообщает, что первоначальный замысел претерпел существенные изменения: изменились хронологические рамки повествования. Теперь он решает закончить «Р-17» 1922 годом. И уже с полной ясностью определился масштаб будущего повествования, его объем:

...

Всего будет четыре тома: Февральская революция, Октябрьская революция, гражданская война и выбор путей. Архитектурно все готово.

(Там же)

Но вскоре выясняется, что четырех томов для реализации этого своего замысла ему мало, потому что ни один из задуманных им «узлов» в один том не вмещается, требует по меньшей мере двух-трех, а то и четырех томов:

...

Уже много лет я работаю над историческим повествованием «Красное Колесо». Это книга о том, как произошла революция в России, и последствия её, ранние советские годы. Это огромная вещь, и она, по мере работы, ещё выясняется, больше, чем я думал. Она состоит из Узлов, Узлы – это книги отдельные, посвященные короткому важному

времени, где завязан узел, где решается история. Такой один Узел – «Август Четырнадцатого» – у меня выйдет полностью весной 1983 года. Раньше был один только том его, а теперь добавится второй том, столыпинский, история деятельности Столыпина и смерти его, убийства. Второй Узел – «Октябрь Шестнадцатого» – тоже у меня закончен, мы его сейчас набираем, он тоже в двух томах и мог бы появиться в свет хоть в том же 83-м году... Следующий Узел – «Март Семнадцатого» – в четырёх томах. Это, собственно говоря, запись Февральской революции, как она произошла, день за днём и час за часом, участвуют сотни исторических лиц и десятки вымышленных для того, чтобы подхватить этот материал. Не знаю, как в других литературах, но по-русски нет ничего подобного: описать революцию всю в огромных движениях и в каждой мелочи. Всё вместе, все эти восемь томов, составляют «Действие первое. Революция».

(Из радиоинтервью к 20-летию выхода «Одного дня Ивана Денисовича» для Би-би-си. Кавендиш, 8 июня 1982. В кн.: Александр Солженицын. Публицистика в трех томах. Том 3. Ярославль 1997. Стр. 29–30)

Итак, уже не четыре тома, а – ВОСЕМЬ. И эти восемь томов составят только ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. А ведь предполагается, что в эпопее будет не одно, а несколько этих ДЕЙСТВИЙ. Как мы вскоре узнаем, – ПЯТЬ:

...

Следующее Действие – Второе – будет посвящено Семнадцатому году, течению Семнадцатого года. Этот год был до того насыщен событиями, что каждый месяц являлся как новая эпоха. И там у меня идут: Узел 4-й – «Апрель Семнадцатого», Узел 5-й – «Июнь-июль Семнадцатого», Узел 6-й – «Август Семнадцатого», Узел 7-й – «Сентябрь Семнадцатого». Эти вот четыре Узла составляют Действие Второе, течение самого Семнадцатого года. И к концу его, до октябрьского переворота... Я не знаю, как у меня будет с годами, со здоровьем, как Бог даст, вообще-то замысел мой продолжается дальше, замысел у меня на 20 Узлов, я должен бы описать дальше Гражданскую войну и первые годы становления советской власти, до 1922 года, до конца подавления крестьянских восстаний.

(Там же. Стр. 30)

Не ВОСЕМЬ, стало быть, Узлов должны составить всю эпопею, а – ДВАДЦАТЬ. Напоминаю: не ТОМОВ, а – УЗЛОВ.

А сколько томов, – это даже и представить себе немыслимо: ведь каждый Узел, как мы это уже видели, в одном томе не умещается, стало быть, для любого из этих новых, ещё не написанных им Узлов может потребоваться два, три, а то и четыре тома.

Все эти ещё не написанные, а только задуманные им новые Узлы видятся ему не как некий туманный замысел, едва различимый сквозь тот «магический кристалл», о котором говорил Пушкин. Никакого тумана, никаких «магических кристаллов»! У него есть четкий, ясный, хорошо продуманный план, каждый пункт, каждый параграф которого уже точно им обозначен, зафиксирован:

...

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ –

НАРОДОПРАВСТВО

Узел V – Июнь-Июль Семнадцатого

Узел VI – Август Семнадцатого

Узел VII – Сентябрь Семнадцатого

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ – ПЕРЕВОРОТ

Узел VIII – Октябрь-Ноябрь Семнадцатого

Узел IX – Декабрь Семнадцатого

Узел X – Февраль Восемнадцатого

Узел XI – Июнь-Июль Восемнадцатого

Узел XII – Сентябрь Восемнадцатого

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ – НАШИ ПРОТИВ СВОИХ

Узел XIII – Ноябрь Восемнадцатого

Узел XIV – Март Девятнадцатого

Узел XV – Октябрь Девятнадцатого

Узел XVI – Январь Двадцатого

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ – ЗАКОВКА ПУТЕЙ

Узел XVII – Октябрь Двадцатого

Узел XVIII – Февраль Двадцать Первого

Узел XIX – Май-Июнь Двадцать Первого

Узел XX – Весна Двадцать Второго

(Александр Солженицын. Красное Колесо. Узел IV. Апрель Семнадцатого. На обрыве повествования. Вермонт – Париж. 1991. Стр. 136)

Последний, IV свой Узел («Апрель Семнадцатого») – тот, за которым последовал «обрыв повествования», – Солженицын завершил в 1989-м. Начал он работу над ним в 1984-м. Стало быть, на эти два тома у него ушло пять лет. А на все четыре Узла (восемь томов), если считать с того момента, когда он вплотную

приступил к реализации этого своего давнего замысла, – ДВАДЦАТЬ. Большую часть этого срока он работал в предельно комфортных условиях, каких на родине у него никогда не было. Я имею в виду не столько даже бытовой комфорт, бытовые условия для работы (что, конечно, тоже имеет немалую цену), сколько доступ к необходимым для работы материалам, которого прежде у него не было:

...

...Последние годы в Советском Союзе, после изгнания из Союза писателей, я не имел доступа в серьёзные библиотеки. Кроме того, у меня не было московской прописки, – я не мог долго в Москве и жить. Так что, по иронии, лучшие советские материалы стали мне доступны на Западе. На Западе открылся также целый ряд архивов: так, гессенский архив, «Белый архив», «Русская летопись», множество мемуаров. Только работа над мемуарами затрудняется тем, что, конечно, в них встречаются противоречия, и нужно выявлять, тщательно, долго выявлять подробности какого-нибудь часа или подробности событий. Потом совершенно исключительным источником являются газеты, газеты того времени. Я читал от двенадцати до пятнадцати ежедневных газет, московских и петроградских. Это поразительное чтение. Они обильны такими живыми фактами, но и ещё более они богаты самопониманием современников. Изумляют не столько факты, а как современники об этом думают – это сильней всего поражает. В Гуверовском институте, в Колумбийском университете я видел мемуары

ненапечатанные. Ещё, кроме того, я успел застать последних стариков первой эмиграции. Я напечатал к ним воззвание – они прислали мне более трёхсот работ. Эти триста ненапечатанных мемуаров создают для меня воздух такой, как будто бы я жил в то время. Чрезвычайно ценно… Долгими вечерами я общался с ними, забывая, что я современник настоящего, – казалось, что я современник революции.

– Вы прошли фронт, лагеря сталинские, смертельную болезнь, теперь уже и возраст немолодой, – откуда силы для таких гигантских работ?

Вот, слава Богу, не покидают силы. Я думаю – сама задача мобилизует и движет. В ней черпаешь. Есть русская пословица: «Умирает не старый, а поспелый», – то есть тот, кто уже потерял жизненную задачу и поспел к смерти. (Радиоинтервью о «Марте Семнадцатого» для Би-би-си. Кавендиш, 29 июня 1987. Публицистика. Том 3. Ярославль. 1997. Стр. 281–282)

В том же интервью на такой же вопрос он ответил иначе:

…

…У человека есть неоценимый верный помощник: это – время. И самая трудная задача, если она разложена во времени, облегчается. Покойный Николай Александрович Козырев, пулковский астроном, не слишком у нас признанный, да что там признанный – десять лет в лагерях отсидел, – выдвинул теорию,

что сам ход времени рождает энергию. Мы получаем энергию в самом ходе времени. В общем, «Красное Колесо» заняло всю мою жизнь. Я его задумал восемнадцатилетним первокурсником, пятьдесят лет назад. И, собственно, все эти пятьдесят лет – даже когда я не работал – я думал о нём много... Естественно, если оно заняло так много времени, то в ходе этого времени я получал, как и все мы получаем, помощь этой энергии. Когда не удаётся какая-то задача, то, если её совмещаешь с растянутым временем, – она облегчается.

(Там же. Стр. 273)

Но время, отпущенное человеку, – даже такому необыкновенному человеку, как он, взвалившему на себя такую непосильную жизненную задачу, – не безгранично.

На «обрыве повествования» ему было уже близко к восьмидесяти. И если на первые четыре узла у него ушло двадцать лет (не считая предшествующих тридцати, когда он, с юных лет, носил в себе этот свой замысел), то сколько же понадобится на запланированные, но ещё не написанные СЕМНАДЦАТЬ?

При всей своей гигантской энергии заблуждения он не мог не сознавать, что с этой сверхчеловеческой задачей ему не справиться. Сколько бы ещё ни было отпущено ему жизни, на это её не хватит. Надо было что-то решать.

Поступить тут можно было по-разному.

Проще всего было бы отказаться от этих грандиозных планов, как в свое время это сделал Чернышевский. Поставить точку, считая эту свою задачу выполненной, и обратиться к каким-нибудь другим своим замыслам, каких у него в запасе наверняка было ещё немало.

Можно было бы сочинить эпилог, в котором, как это, бывало, делали классики, более или менее коротко сообщалось бы о дальнейшей судьбе как реальных, исторических, так и вымышленных его героев.

Можно было бы, наконец, написать более или менее

развернутое послесловие, в котором автор изложил бы свой взгляд – уже не художника, а историка и политолога, – на исторические события, не уложившиеся в рамки его повествования. И даже высказать при этом свои прогнозы на дальнейшее их развитие в более или менее отдаленном будущем.

Солженицын избрал свой способ решения этой проблемы. Способ беспрецедентный, не имеющий никаких аналогов в истории мировой художественной литературы.

...

Много лет назад эта книга (1914–1922) была задумана в двадцати Узлах, каждый по тому. В ходе непрерывной работы с 1969-го материал продиктовал иначе.

Центр тяжести сместился на Февральскую революцию. Уже и «Апрель Семнадцатого» выявляет вполне ясную картину обречённости февральского режима – и нет другой решительной собранной динамичной силы в России, как только большевики: октябрьский переворот уже с апреля вырисовывается как неизбежный. После апреля обстановка меняется скорее не качественно, а количественно.

К тому же и объём написанного и мой возраст заставляют прервать повествование.

Но для тех последующих Узлов я всё же представляю читателю конспект главных событий, которых нельзя бы обминуть, если писать развёрнуто. (Для Семнадцатого года они разработаны в значительной подробности, также и с обзором мнений; затем – схематично.)

Сюжеты с вымышленными персонажами я вовсе не включаю в конспект.

(А. Солженицын. Красное Колесо.

Узел IV. Апрель Семнадцатого.
Вермонт – Париж. 1991. Стр. 1)

Решение это, по правде сказать, ошарашивает.

Мыслимое ли это дело – представить шестнадцать Узлов (шестнадцать полновесных исторических романов!) в виде конспекта? Да ещё исключив из этого конспекта все сюжеты с вымышленными персонажами?

Попробуйте, например, представить себе конспект главных событий «Хождения по мукам», из которого исключены все сюжеты с вымышленными персонажами – Катей, Дашей, Телегиным, Рощиным... Что в этом случае осталось бы от этого – тоже ведь исторического – романа?

Но может быть, Александр Исаевич вовсе даже и не рассматривает свои Узлы как серию исторических романов? Может быть, это явление принципиально иного жанра? Как, скажем, «Архипелаг ГУЛАГ», в котором изначально не было никаких вымышленных персонажей, но который автор, тем не менее, относил к разряду литературы *художественной.*

«Опыт художественного исследования», – так было об этом сказано в подзаголовке к названию этой самой знаменитой его книги.

Тут, правда, этот эпитет звучал не как претензия на утверждение высоких художественных достоинств книги, а скорее, как оправдание. Да, дескать, исследование, но не научное, а художественное. А художник имеет право не только на домысел, но даже и на вымысел. Поэтому уж не взыщите, если обнаружатся в этой книге какие-то фактические неточности и даже ошибки. (Такой же, заранее как бы оправдывающийся тон вносило в этот подзаголовок и начальное его слово: «Опыт». Не исследование, значит, а только опыт, то есть попытка исследования).

В подзаголовке к «Красному Колесу» жанр будущей эпопеи обозначен тоже весьма туманно: «Повествование в отмеренных сроках».

Какое повествование? Историческое? Или художественное?

Очевидно, автор и сам затрудняется точно это определить.

Но всякий раз, когда его об этом спрашивали, – а спрашивали его об этом постоянно, – он не уклонялся от прямого и ясного ответа.

...

– Вы, пожалуй, являетесь тут

зачинателем. Вы одновременно действительно историк, не перестающий быть художником. Я думаю, у вас выработалось отношение к этой двойственности... Быть художником, но и не нарушать исторической правды.

Я даже думаю, что в условиях, когда так похоронено наше прошлое и затоптано, у художника больше возможностей, чем у историка, восстановить истину... В работе над «Мартом» я использовал несколько сот книг, статей, воспоминаний, все я их перечитал. Мои Узлы кажутся как будто бы объёмными, в «Октябре» больше тысячи страниц, но это заменяет десятки, если не сотни тысяч страниц, мною прочитанных. Было очень много частных свидетельств, и почти совершенно отсутствуют обобщающие работы. Французская революция изъезжена исследованиями вдоль и поперёк, и существуют сотни трудов самого общего характера. У нас, по российской революции, таких обобщённых трудов, особенно по Февральской, нет. Значит, я заменяю огромный исторический материал, всё главное в этом материале я скрупулёзно использую. Но события долгой гражданской войны, советского растоптания, эмигрантских бедствий привели к тому, что ещё больше свидетельств не схвачено, ещё больше не записано, и нужно открыть недостающие звенья, и, главное, открыть психологические обоснования. Это доступно только художнику. (Интервью с Н. А. Струве об «Октябре Шестнадцатого» для журнала «Экспресс». Кавендиш, 30

сентября 1984. Александр Солженицын. Публицистика в трех томах. Том третий. Ярославль. 1997. Стр. 263–264)

Тут важно обратить внимание вот на какой момент.

Конечную цель всех этих своих гигантских усилий Александр Исаевич видит не в том, чтобы дать свою версию, свою интерпретацию, свое объяснение разворота исторических событий, а в том, чтобы ОТКРЫТЬ ИСТИНУ. До сей поры никому не ведомую, но ему уже известную, которую он вот сейчас нам и откроет. И роль художника поэтому, при всей её исключительной важности, тут все-таки – *вспомогательная* . Она только помогает восстановить те провалы национальной исторической памяти, которые связаны с отсутствием (истреблением) прямых документальных свидетельств, то есть *заменить* эти недостающие свидетельства.

Такую же – *вспомогательную* – роль призваны играть в его повествовании и вымышленные персонажи. Без них, к сожалению, не обойтись, но они тут – не главные:

…

…У меня вымышленных персонажей сравнительно немного. Все остальные – истинные исторические лица. Иногда самые крупные, иногда совсем незаметные, но мною точно установлено, что они были, на каком-то там маленьком месте они существовали. Я пошёл по линии непридумывания персонажей. Вымышленные персонажи вот для чего нужны: они дают нам личный контакт, дают нам возможность почувствовать, что, несмотря на все великие исторические события, – личная жизнь-то течёт. Всё так же происходят личные человеческие драмы, и трагедии, и радости. Но я не вставлял в каждое историческое событие какого-то случайного наблюдателя, как Пьер Безухов

бродит без толку по Бородинскому полю. Не так, – я просто беру историческое лицо, которое там действовало, его беру – и пытаюсь его психологию вскрыть, на основе его языка, документов, его биографии... А если я брал историческое лицо, но почему-либо должен был немного изменить его биографию или немного изменить его обстоятельства, тогда я и не оставлял его истинное имя. Это, например, весьма знаменитый в русской истории инженер Пальчинский, расстрелянный потом в 1929 году. Это писатель Фёдор Крюков, умерший в 1920. Это генерал Свечин, расстрелянный в 1937 году в Советском Союзе. Когда я их беру и немножко меняю, то я тоже меняю им что-нибудь: или фамилию, или имя, или отчество. Это даёт мне чуть большую свободу. Но в основном, – всех главных действующих лиц, и царскую семью, и великих князей, и всех министров, всех главных деятелей Временного правительства, всех главных деятелей Совета рабочих депутатов, – я всех даю точно с их биографиями, с их подробностями, с их действиями, – так, как оно было.

(Радиоинтервью о «Красном Колесе» для «Голоса Америки». Кавендиш, 31 мая 1984. Там же. Стр 255–256)

В конспекте, заменившем шестнадцать незавершенных Узлов «Красного Колеса», Солженицын отказывается от ВСЕХ этих прерогатив художника. Тут вообще нет никаких сюжетов и никаких персонажей – ни вымышленных, ни исторических. Просто перечень – по дням, по часам, иногда чуть ли не по минутам – событий и фактов.

Ни один из известных нам художников слова никогда не

решался и не решился бы на такое.

Всё это наводит на мысль, что свой художественный дар Солженицын рассматривал лишь как ОДНУ – и, пожалуй, даже не главную – ипостась своего жизненного предназначения.

* * *

В одном из своих публичных выступлений Солженицын короткой пренебрежительной репликой перечеркнул историософию Л. Н. Толстого. Тот, мол, утверждал, что не властители стран и народов, – императоры, цари, президенты, – управляют событиями и определяют ход исторического процесса. А вот Двадцатый век показал нам, что **именно они.**

Знания Александра Исаевича о взглядах Толстого на роль личности в истории, судя по этому его высказыванию, не вышли за пределы того, чему его (как, впрочем, и всех нас) учили в школе.

Вряд ли он (тоже, как все мы) дал себе труд прочесть последнюю главу «Войны и мира», в которой Лев Николаевич подробно изложил свои историософские взгляды. Да и зачем нам было её читать? Ведь роман закончен, что сталось с его героями, мы уже знаем: Николай женился на княжне Марье, Наташа вышла за Пьера. А что касается взглядов Льва Николаевича на историю, так ведь известно же, что они ошибочны. Сам Ленин сказал, что как художник Толстой велик, а как мыслитель – смешон.

Но прежде чем вынести свое суждение о взглядах Толстого на роль личности в истории, не мешало бы все-таки заглянуть в эту главу. Что мы с вами сейчас и сделаем:

…

> *Новая наука истории, отвечая на эти вопросы, говорит: вы хотите знать, что значит это движение; отчего оно произошло и какая сила произвела эти события? Слушайте.*
>
> *«Людовик XIV был очень гордый и самонадеянный человек; у него были такие-то любовницы и такие-то министры, и он дурно управлял Францией. Наследники Людовика тоже были слабые люди и тоже*

дурно управляли Францией. И у них были такие-то любимцы и такие-то любовницы. Притом некоторые люди писали в это время книжки. В конце XVIII столетия в Париже собралось десятка два людей, которые стали говорить о том, что все люди равны и свободны. От этого во всей Франции люди стали резать и топить друг друга. Люди эти убили короля и ещё многих. В это же время во Франции был гениальный человек – Наполеон. Он везде всех побеждал, т. е. убивал много людей, потому что он был очень гениален. И он поехал убивать для чего-то африканцев, и так хорошо их убивал и был такой хитрый и умный, что, приехав во Францию, велел всем себе повиноваться. И все повиновались ему. Сделавшись императором, он опять пошел убивать народ в Италии, Австрии и Пруссии. И там много убил... В России же был император Александр, который решился восстановить порядок в Европе и потому воевал с Наполеоном. Но в 7-м году он вдруг подружился с ним, а в 11-м опять поссорился, и опять они стали убивать много народу. И Наполеон привел 600 тысяч человек в Россию и завоевал Москву; а потом он вдруг убежал из Москвы... Все союзники Наполеона сделались вдруг его врагами; и это ополчение пошло против собравшего новые силы Наполеона. Союзники победили Наполеона, вступили в Париж, заставили Наполеона отречься от престола и послали его на остров Эльбу, не лишая его сана императора и оказывая ему всякое уважение, несмотря на то, что пять лет тому

назад, и год после этого, все его считали разбойником вне закона. А царствовать стал Людовик XVIII, над которым до тех пор и французы, и союзники только смеялись... Вдруг дипломаты и монархи чуть было не поссорились; они уже готовы были опять велеть своим войскам убивать друг друга; но в это время Наполеон с баталионом приехал во Францию, и французы, ненавидевшие его, тотчас же все ему покорились. Но союзные монархи за это рассердились и пошли опять воевать с французами. И гениального Наполеона победили и повезли на остров Елены, вдруг признав его разбойником. И там изгнанник, разлученный с милыми сердцу и с любимою им Францией, умирая на скале медленною смертью, и передал свои великие деяния потомству. А в Европе произошла реакция, и все государи стали опять обижать свои народы».

(Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений. Том 12. М.-Л. 1933. Стр. 298–299)

Очевидный смысл этого иронического, можно даже сказать издевательского изложения исторических событий, потрясших Европу, сводится к тому, что и Наполеон, и Александр, и другие государственные деятели описываемой эпохи заблуждались, полагая, что именно они были творцами истории. И это их заблуждение разделяли и описывавшие их деяния историки. На самом же деле ход событий определяли совсем другие силы. Как говорил Толстой, – *параллелограмм сил,* разнонаправленное действие не просто меняло вектор движения событий, а прямо-таки выворачивало их в совсем другую сторону и приводило к другому, бесконечно далекому от задуманного ими результата.

Уверенность Солженицына в том, что Двадцатый век опроверг эту толстовскую концепцию движения мировой истории, основывалась на том, что весь облик этого нового, страшного века определили Ленин, Сталин, Гитлер, Муссолини... Кто же, как не они?

Но на самом деле Двадцатый век, как ни отличался он от неизмеримо более спокойного Девятнадцатого, ничего нового к этим рассуждениям Льва Николаевича не добавил и ничего существенного в них не изменил.

Тот же (или другой) *параллелограмм сил* определил в Двадцатом веке ход исторического процесса и привел его к результату, на который эти мнимые творцы истории никак не рассчитывали и уж во всяком случае совсем к нему не стремились.

И вот разбитый параличом Ленин коснеющим языком диктует (пять минут в день, больше не разрешают врачи) свое дурацкое завещание, в котором констатирует, что ни один из его ближайших соратников не может стать продолжателем его дела (один – груб, другой склонен к чрезмерному администрированию), и для выхода из тупика, в который он завел страну, предлагает совершенно идиотское решение: ввести в ЦК сто полуграмотных рабочих, которые будто бы спасут правящую партийную верхушку от перерождения.

И Сталин, обмочившись, сутки валяется на полу своей Ближней Дачи и подыхает без врачебной помощи. И имя его становится неупоминаемым. И рушатся по всей стране изображающие его монументы. А спустя не такой уж большой – для истории прямо ничтожный – срок, сама собой, без всякого давления извне разваливается оказавшаяся нежизнеспособной созданная им держава.

И Гитлер, как крыса, подыхает в своём бункере, выразив сожаление, что народ Германии оказался недостоин своего фюрера.

И Муссолини повешен – вниз головой – вчера ещё будто бы обожавшими его согражданами.

Все это я вспомнил и в заключающую «Войну и мир» историософскую главу решил заглянуть не для того, чтобы защитить Льва Николаевича от несправедливых нападок, показать, что он был совсем не так наивен, как это представляется Александру Исаевичу.

Цель моя тут была совсем другая.

Приступая к этому изложению своего взгляда на роль личности в истории, Лев Николаевич писал:

...

Если цель истории есть описание движения человечества и народов, то

первый вопрос, без ответа на который всё остальное непонятно, – следующий: какая сила движет народами? На этот вопрос новая история озабоченно рассказывает или то, что Наполеон был очень гениален, или то, что Людовик XIV был очень горд, или ещё то, что такие-то писатели написали такие-то книжки...

Всё это могло бы быть интересно, если бы мы признавали божественную власть, основанную на самой себе и всегда одинаковую, управляющею своими народами через Наполеонов, Людовиков и писателей; но власти этой мы не признаем и потому, прежде чем говорить о Наполеонах, Людовиках и писателях, надо показать существующую связь между этими лицами и движением народов.

Если вместо божественной власти стала другая сила, то надо объяснить, в чем состоит эта новая сила, ибо именно в этой-то силе и заключается весь интерес истории.

(Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений. Том 12. М.-Л. 1933. Стр. 300)

Вот он где – самый корень несогласия Александра Исаевича со Львом Николаевичем.

Лев Николаевич исходит из того, что с верой в божественную власть, управляющей своими народами через Наполеонов, Людовиков и писателей, человечество уже покончило.

А все суждения Александра Исаевича, в том числе и его взгляд на роль личности в истории, основываются как раз вот на этой самой вере.

В ироническом, пародийном, издевательском толстовском изложении истории великой французской революции и наполеоновских войн особого внимания заслуживает вскользь брошенная, тоже ироническая реплика Льва Николаевича насчет того, что все эти события произошли не в последнюю очередь

потому, что «такие-то писатели написали такие-то книжки».

Реплика эта замечательна тем, что этой своей иронией Л. Н. не щадит и себя самого. Сам он ведь тоже писал «какие-то книжки», веря в то, что они будут способствовать движению человечества в правильном направлении.

Эта его ирония лишний раз подтверждает, что энергию, заставлявшую его писать эти свои книжки, он действительно считал энергией *заблуждения,* нимало не обольщаясь надеждой на то, что его усилия и в самом деле приведут к желаемому результату.

Что же касается Александра Исаевича, то он энергию, которая движет и направляет всю его деятельность, отнюдь не склонен считать энергией *заблуждения* . Он не сомневается, что им движет энергия *истины:*

...

Вероятно... есть ошибки в моём предвидении и в моих расчётах. Ещё многое мне и вблизи не видно, ещё во многом поправит меня Высшая Рука. Но это не затемняет мне груди. То и веселит меня, то и утверживает, что не я всё задумываю и провожу, что я – только меч, хорошо отточенный на нечистую силу, заговорённый рубить её и разгонять.

О, дай мне, Господи, не переломиться при ударах! Не выпасть из руки Твоей!

(А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. М. 1996. Стр. 344)

К его рассказу о том, как родилась и утвердилась в нем эта вера, нельзя не отнестись уважительно:

...

До ареста я... неосмысленно тянулся в литературу, плохо зная, зачем это мне и зачем литературе. Изнывал лишь от того, что трудно,

мол, свежие темы находить для рассказов. Страшно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не посадили.

С ареста же, года за два тюремно-лагерной жизни, изнывая уже под грудами тем, принял я как дыхание, понял как всё неоспоримое, что видят глаза: не только меня никто печатать не будет, но строчка единая мне обойдётся ценою в голову. Без сомнения, без раздвоения вступил я в удел современного русского писателя, озабоченного правдой: писать надо только для того, чтоб об этом обо всём не забылось, когда-нибудь известно стало потомкам. При жизни же моей даже представления такого, мечты такой не должно быть в груди – напечататься.

И – изжил я досужную мечту. И взамен была только уверенность, что не пропадет моя работа, что на какие головы нацелена – те поразит, и кому невидимым струением посылается – те воспримут. С пожизненным молчанием я смирился как с пожизненной невозможностью освободить ноги от земной тяжести. И вещь за вещью кончая то в лагере, то в ссылке, то уже и реабилитированным, сперва стихи, потом пьесы, потом и прозу, я одно только лелеял: как сохранить их в тайне и с ними самого себя.

Для этого в лагере пришлось мне стихи заучивать наизусть – многие тысячи строк. Для того я придумывал чётки с метрическою системой, а на пересылках наламывал спичек обломками и передвигал. Под конец лагерного срока, поверивши в силу памяти, я

стал писать и заучивать диалоги в прозе, маненько – и сплошную прозу. Память вбирала! Шло. Но больше и больше уходило времени на ежемесячное повторение всего объёма заученного – уже неделя в месяц.

Тут началась ссылка и тотчас же в начале ссылки – рак. Осенью 1953 года очень было похоже, что я доживаю последние месяцы. В декабре подтвердили врачи, ссыльные ребята, что жить мне осталось не больше трёх недель.

Грозило погаснуть с моей головой и всё моё лагерное заучивание.

Это был страшный момент моей жизни: смерть на пороге освобождения и гибель всего написанного, всего смысла прожитого до тех пор. По особенностям советской цензуры никому вовне я не мог крикнуть, позвать: приезжайте, возьмите, спасите моё написанное! Да чужого человека и не позовёшь. Друзья – сами по лагерям. Мама – умерла. Жена – вышла за другого; всё же я позвал её проститься, могла б и рукописи забрать, – не приехала.

Эти последние обещанные врачами недели мне не избежать было работать в школе, но вечерами и ночами, бессонными от болей, я торопился мелко-мелко записывать, и скручивал листы по нескольку в трубочки, а трубочки наталкивал в бутылку из-под шампанского. Бутылку я закопал на своём огороде – и под Новый 1954 год поехал умирать в Ташкент.

Однако я не умер (при моей безнадёжно запущенной остро-

злокачественной опухоли это было Божье чудо, я никак иначе не понимал. Вся возвращённая мне жизнь с тех пор – не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель).

(Там же. Стр. 10–11)

Как при таком повороте судьбы было ему не поверить, что жизнь его имеет «вложенную цель», что ведет и направляет его некая Высшая Сила.

Этой верой, этим сознанием пронизаны все его публичные выступления, начиная от самых ранних и кончая последними, уже предсмертными.

...

...Возьмётся или не возьмётся IV Всесоюзный съезд защитить меня? Мне кажется, этот выбор немаловажен и для литературного будущего кое-кого из делегатов.

Я спокоен, конечно, что свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы – ещё успешнее и неоспоримее, чем живой. Никому не перегородить путей правды, и за движение её я готов принять и смерть. Но, может быть, многие уроки научат нас, наконец, не останавливать пера писателя при жизни?

Это ещё ни разу не украсило нашей истории.

(Из письма IV Всесоюзному съезду советских писателей вместо выступления. 6 мая 1967. Там же. Стр. 601)

...

Святейший Владыко!

Камнем гробовым давит голову и

разламывает грудь ещё не домершим православным русским людям – то, о чём это письмо. Все знают, и уже было крикнуто вслух, и опять все молчат обречённо... Вы сказали, наконец, о детях... Чтобы наряду с любовью к Отчизне родители прививали бы своим детям любовь к Церкви (очевидно, и к вере самой?) и ту любовь укрепляли бы собственным добрым примером...

Но – что это? Почему этот честный призыв обращен только к русским эмигрантам? Почему только т е х детей Вы зовёте воспитывать в христианской вере, почему только дальнюю паству Вы остерегаете «распознавать клевету и ложь» и укрепляться в правде и истине? А нам – распознавать? А нашим детям – прививать любовь к Церкви или не прививать?..

Какими доводами можно убедить себя, что планомерное разрушение духа и тела Церкви под руководством атеистов – есть наилучшее сохранение её? Сохранение – для кого? Ведь уже не для Христа. Сохранение – чем? Ложью? Но после лжи – какими руками совершать евхаристию?..

Ни перед людьми, ни тем более на молитве не слукавим, что внешние путы сильнее нашего духа. Не легче было и при зарождении христианства, однако оно выстояло и расцвело. И указало путь: жертву . Лишённый всяких материальных сил в жертве всегда одерживает победу. И такое же мученичество, достойное первых веков, приняли многие наши священники и единоверцы на нашей живой памяти. Но тогда – бросали львам, сегодня же можно потерять только благополучие.

Александр Солженицын
Великий пост
Крестопоклонная неделя
1972

(Всероссийскому Патриарху Пимену. Великопостное письмо. Александр Солженицын. Публицистика. Том 1. Статьи и речи. Ярославль. 1995. Стр. 133–137)

...

Допустите свободное искусство, литературу, свободное книгопечатание – не политических книг, Боже упаси! не воззваний! не предвыборных листовок – но философских, нравственных, экономических и социальных исследований...

У вас остаётся вся неколебимая власть, отдельная сильная замкнутая партия, армия, милиция, промышленность, транспорт, связь, недра, монополия внешней торговли, принудительный курс рубля, – но дайте же народу дышать, думать и развиваться!..

Вы можете с негодованием или смехом отбросить соображения какого-то одиночки, писателя. Но с каждым годом то же самое будет настойчиво предлагать вам жизнь – по разным поводам, в разное время, с разными формулировками, – но именно это. Потому что это осуществимый плавный путь спасения нашей страны, нашего народа...

Этим письмом я тоже беру на себя тяжёлую ответственность перед русской историей. Но не взять

на себя поиска выхода, но ничего не предпринять – ответственность ещё большая.

5 сентября 1973 Москва

А. Солженицын

(Письмо вождям Советского Союза. Там же. Стр. 184–186)

...

Падение мужества – может быть, самое разительное, что видно в сегодняшнем Западе постороннему взгляду. Западный мир потерял общественное мужество и весь в целом и даже отдельно по каждой стране... Этот упадок мужества особенно сказывается в прослойках правящей и интеллектуально-ведущей, отчего и создаётся ощущение, что мужество потеряло целиком всё общество... Политические и интеллектуальные функционеры выявляют этот упадок, безволие, потерянность в своих действиях, выступлениях и ещё более – в услужливых теоретических обоснованиях, почему такой образ действий, кладущий трусость и заискивание в основу государственной политики, – прагматичен, разумен и оправдан на любой интеллектуальной и даже нравственной высоте...

Всю жизнь проведя под коммунизмом, я скажу: ужасно то общество, в котором вовсе нет беспристрастных юридических весов. Но общество, в котором нет других весов, кроме юридических, тоже мало достойно человека...

Перед испытаниями же

грозящего века удержаться одними юридическими подпорками будет просто невозможно...

Подрыв административной власти повсюду доступен и свободен, и все власти западных стран резко ослабли. Защита прав личности доведена до той крайности, что уже становится беззащитным само общество... – и на Западе приспела пора отстаивать уже не столько права людей, сколько их обязанности...

Я надеюсь, никто из присутствующих не заподозрит, что я провёл эту частную критику западной системы для того, чтобы выдвинуть взамен идею социализма... Нет, с опытом страны осуществлённого социализма я во всяком случае не предложу социалистическую альтернативу...

Но если меня спросят, напротив: хочу ли я предложить своей стране в качестве образца сегодняшний Запад, как он есть, я должен буду откровенно ответить: нет, ваше общество я не мог бы рекомендовать как идеал для преобразования нашего. Для того богатого душевного развития, которое уже выстрадано нашею страною в этом веке, – западная система в её нынешнем, духовно-истощённом виде не представляется заманчивой...

Бывают симптоматичные предупреждения, которые посылает история угрожаемому или гибнущему обществу: например, падение искусств или отсутствие великих государственных деятелей...

В своё решающее наступление уже идёт и давит мировое Зло, – а ваши экраны и печатные издания

наполнены обязательными улыбками и поднятыми бокалами...

Западное мышление стало консервативным: только бы сохранялось мировое положение, как оно есть, только бы ничто не менялось. Расслабляющая мечта о статус-кво – признак общества, закончившего своё развитие...

(Речь в Гарварде. Там же. Стр. 312–328)

Казалось бы: что общего может быть у текста, обращенного к секретарям Союза писателей, с текстом письма, адресованного Патриарху русской православной церкви? Или текста, обращенного к вождям Советского Союза – с речью, произнесенной перед профессорами и студентами одного из старейших университетов Америки?

Но каждый, кто вчитается в эти солженицынские обращения (хотя бы в тех коротких выдержках, в каких я их тут представил), не сможет не увидеть, что все они бьют в одну точку.

Не столько по содержащимся в них мыслям (хотя и по ним тоже), сколько по интонации, по тональности каждого из этих его высказываний.

В каждом из них он не размышляет, не спорит, не полемизирует, не убеждает, не уговаривает, а – ВЕЩАЕТ, ПРОРОЧЕСТВУЕТ. Тех, к кому обращается, не увещевает, а прямо УГРОЖАЕТ ИМ неизбежными грядущими карами, если они не одумаются, не прислушаются к исходящему из его уст голосу САМОЙ ИСТИНЫ.

* * *

23 августа 1973 года в Ленинграде покончила с собой (или была убита?) Екатерина Денисовна Воронянская. Она была одной из тех тайных опор Солженицына, без которых его многолетняя героическая деятельность «подпольного писателя» была бы невозможна.

...

Не из тех она была, кто делает

эпоху, но – кто делается ею, однако уже делалась до глубока и с большим залётом. Поворот тогда был всего общества – но многи лишь до середины, и с возвратами, и с топтанием, она же от этого направления 1962 года уже не отошла до смерти, уже не знала границ негодования к притеснителям...

Это сильное движение, этот порыв сразу не к помощи даже, а – к служению, выделил первое письмо её ко мне. Я ответил, переписка завязалась. Летом 1963 произошло и знакомство – сразу в широких жестах и бурных тонах... Уже на первую за тем зиму я попросил её просматривать редкие издания 20-х годов, отбирать штрихи эпохи и факты быта для будущего Р-17. (Я торопился и широко тогда размахнулся на новую книгу, собирал материал на все двадцать Узлов сразу, не представлял, что всей жизни не достанет на этакое.) Она неплохо справилась с этой работой: переворошила множество печатных страниц и наскребла характерного... А на следующее лето на хуторе под Выру она с нами уже перестукивала «Круг»...

«Queen Elizabeth» стали мы звать её в нашем узком кругу, а сокращенно – Q (Кью)...

В феврале 1967, проездом из Эстонии, я отдал Кью свой густо отпечатанный экземпляр «Архипелага», один из двух для более просторной перепечатки: открыть возможность ещё править и доделывать текст. И в своей комнатке, затиснутая шкафами и стенами, во враждебной

коммунальной квартире, доступная лёгкому схвату при подозрении, – да, уже в то время на пенсии и потому больше дома, – за обеденным столом, другого не было, Кью благополучно перетюкала все полторы тысячи страниц – да в трёх экземплярах. По такому экземпляру я позже и правил ещё последний раз.

К этой книге от первого же знакомства с ней в те дни (и до смерти) Кью относилась завороженно, с поклонением и ужасом, – как чувствовала свою с ней роковую связь, отличала её ото всех других моих книг.

(Александр Солженицын. Бодался телёнок с дубом. М. 1996. Стр. 441–445)

Так стала она владелицей (хранительницей) одного из трех экземпляров этой «перетюканной» ею книги, самой опасной из всех тогдашних рукописей Александра Исаевича, тайно хранящихся по разным, только ему одному известным «захоронкам».

По складу своего характера Елизавета Денисовна была плохо приспособлена к подпольной, конспиративной деятельности:

...

...Именно те превосходные степени, в которых она выражалась об этой книге, не удержали её поделиться новостью о ней и даже её страницами со своими близкими подругами – о, всего только с одной-двумя!..

...Последние годы мы с Кью уже не вели серьёзных конспиративных работ и редко встречались, я мало заботился, насколько осторожна она во внешнем поведении. Она же по своей закатистой крайности, из

страха – в полную беспечность, посылала по почте Люше Чуковской письма весьма остроумные, но и с намёками, и с загадочными подписями, вроде «ваша Ворожейкина», а следующий раз как-нибудь иначе. Адрес Люши был – всё равно что мой, письма тщательно проверялись, и высунутые ушки не могли не обратить на себя внимания ГБ.

(Там же. Стр. 447)

Не только по этой причине, – были у него на этот счет ещё и другие соображения, – Александр Исаевич дал Екатерине Денисовне жесткое указание этот хранившийся у неё экземпляр «Архипелага» уничтожить. Ту же команду он дал и хранителям двух других экземпляров (в это время уже существовал новый, усовершенствованный и выправленный им вариант, и эти, уже ему ненужные, он называл «промежуточным вариантом»).

...

...Мы решили, чтобы не оставлять разночтений, экземпляр за экземпляром уничтожить. А все хранители оттягивали и сопротивлялись: один экземпляр был спрятан через О. А. Л., один зарыт близ дачи Е. Г. Эткинда, а личный экземпляр Кью – на даче Л. А. Самутина под Лугой, и тоже, мол, зарыт. В марте 1972-го я был в Ленинграде последний раз, и только о первом экземпляре меня уверили, что уничтожен. А второй и третий были целы, хотя я давно настаивал сжечь, – и в тот момент я своими руками достал бы и сжёг оба, да земля была мёрзлая, надо ждать тепла. У Эткинда, при разумной осмотрительности, есть в характере вспрыги этой дерзости, так он

рисковал без надобности лишнюю зиму, но потом, сказал, сжёг. А Кью ещё летом отказывалась, в письмах умоляла меня сохранить, лишь осенью 1972 прислала мне драматическое красочное описание, как при жёлтой и багровой облетающей листве они с Самутиным разожгли костёр и, рыдая (она), сожгли драгоценную машинопись до листочка... (А на самом деле – ничто не сжигалось, обманула меня.)

Драматическому описанию Кью нельзя было не поверить. Я написал ей в утешение, что скоро подарю ей настоящий экземпляр. Я так видел и намечал, что «Архипелаг» издадим весной 1975-го.

(Там же. Стр. 446)

Итак, вопреки его распоряжениям, экземпляр, хранившийся у Елизаветы Денисовны, уничтожен не был. Но гэбисты, уже «выйдя» на Воронянскую, о том, что она хранит у себя эту крамольную рукопись, ещё не знали. Пока что до них только дошел слух, что такая рукопись существует.

...

ЗАПИСКА КОМИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
17 июля 1973 г.
Совершенно секретно
ОСОБАЯ ПАПКА
ЦК КПСС

Проводя работу по антисоветскому воздействию на лиц из своего окружения, СОЛЖЕНИЦЫН установил и расширяет с этой целью контакты в различных городах страны. Его единомышленники

выявлены в Крымской области, Рязани, Тамбове, Новочеркасске и в других городах. Особый интерес представляют знакомые СОЛЖЕНИЦЫНА в Ленинграде, среди которых стоящий на антимарксистских позициях доктор филологических наук ЭТКИНД Е. Г., автор провокационного так называемого «Письма БРОДСКОГО в ЦК КПСС»; пенсионер САМУТИН Л. А., отбывавший наказание за службу в Русской освободительной армии предателя ВЛАСОВА в качестве начальника культчасти воинской бригады; пенсионерка ВОРОНЯНСКАЯ Е. Д.; преподаватель музыки ИВАНОВА Е. В. и другие. Все они активно поддерживают СОЛЖЕНИЦЫНА, разделяют его враждебные взгляды, размножают и хранят его сочинения. В целях документации уголовно наказуемой деятельности СОЛЖЕНИЦЫНА органами госбезопасности проведен ряд мероприятий, в результате которых добыты материалы, подтверждающие его враждебность социалистическому строю, политике Коммунистической партии и Советского правительства и твердую приверженность идеям и устремлениям наиболее реакционных кругов Запада. Особого внимания заслуживают документы, хранящиеся у ленинградки ПАХТУСОВОЙ Н. Ф., 1917 года рождения, до ухода на пенсию работавшей старшим геологом Северо-Западного геологического управления. В частности, ПАХТУСОВА хранит так называемые «Воспоминания» ВОРОНЯНСКОЙ, в которых автор излагает

антисоветское содержание сочинения СОЛЖЕНИЦЫНА «Архипелаг ГУЛАГ». По мнению ВОРОНЯНСКОЙ, СОЛЖЕНИЦЫН в этом произведении показал: «...Растление 200-миллионного народа. Уничтожение лучшей части, в том числе и половины партийных рядов. Убийство ума его, совести, человеколюбия...». (Более полные фрагменты из «Воспоминаний» прилагаются...)

Председатель

Комитета Госбезопасности

АНДРОПОВ

(Кремлевский самосуд. Секретные документы. Политбюро о писателе А. Солженицыне. М. 1994. Стр. 231–232)

Отправляя в ЦК эту «Записку», Андропов ещё не знал, – даже и не догадывался, – какая крупная рыба ему попалась. Но всего лишь полтора месяца спустя он уже докладывал:

...

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

4 сентября 1973 г.

ОСОБАЯ ПАПКА

Совершенно секретно

ЦК КПСС

ВОРОНЯНСКАЯ по результатам обыска была допрошена и дала показания о характере знакомства с СОЛЖЕНИЦЫНЫМ, поручениях, которые выполняла по его просьбе, подробно рассказала о содержании романа «Ахипелаг ГУЛАГ». Прибыв с допроса домой, ВОРОНЯСКАЯ пыталась покончить жизнь

самоубийством, но принятыми мерами эта попытка была предотвращена. В дальнейшем ВОРОНЯНСКАЯ пояснила, что причиной к этому послужил тот факт, что она дала показания, направленные против СОЛЖЕНИЦЫНА. ВОРОНЯНСКАЯ была помещена в больницу для приведения её в нормальное физическое состояние, однако, будучи выписанной оттуда 23 августа 1973 года, находясь в своей квартире, покончила жизнь самоубийством через повешение. По линии органов госбезопасности и прокуратуры г. Ленинграда приняты меры к локализации возможных нежелательных последствий, и 30 августа 1973 года ВОРОНЯНСКАЯ похоронена своими родственниками. В связи со смертью ВОРОНЯНСКОЙ близкие знакомые СОЛЖЕНИЦЫНА в Ленинграде проявили серьезное беспокойство о её архиве, в особенности потому, что в органы госбезопасности может попасть «Архипелаг ГУЛАГ», обнаружение которого крайне опасно, по их мнению, для дальнейшей судьбы СОЛЖЕНИЦЫНА. Принятыми мерами удалось обнаружить и изъять архив ВОРОНЯНСКОЙ, в том числе роман «Архипелаг ГУЛАГ». О нем будет доложено специально.

Председатель
Комитета Госбезопасности
АНДРОПОВ
(Там же. Стр. 250–251)

О том, что хранившийся у Елизаветы Денисовны экземпляр «Архипелага» не был ею уничтожен и попал в руки гэбистов, Солженицын узнал не сразу. Но – довольно быстро.

А вскоре выяснились и подробности.

Их обеих с Пахтусовой взяли в Ленинграде на перроне Московского вокзала 4 августа, разъединили, с Пахтусовой поехали домой делать обыск, а у Кью, наверно, уже он сделан был. С этого момента мы ничего не знаем от неё самой, только последнее свидетельство: в пяти днях непрерывных допросов (с 4 по 9 августа, а у Елизаветы Денисовны может быть и дальше, и дольше, мы не знаем) Пахтусову столкнули с ней раз в Большом Доме, в уборной, – и та, исхудалая, с воспалёнными губами, блестящими глазами, шепнула: «Не упорствуй, я всё рассказала!»...

Можно представить, как жутко было Кью на следствии: и потому что – старая, больная, с малыми силами сопротивления; и потому что – понову, на себе самой впервые, а прогнозы, по «Архипелагу», все известны; и – от сознания сделанных ошибок, сама виновата, а люди пострадают, – как это жжёт; и больше всего – что твой собственный дневник лежит на столе следователя, и уже нельзя замкнуться, отказаться, а надо изворачиваться, истолковывать, придумывать, смягчать, – как это жжёт! Вероятно, нельзя было ей уклониться от каких-то показаний на Эткинда, неизбежно – на Люшу Чуковскую; а на Ирину Николаевну Томашевскую, работу об авторстве «Тихого Дона»? Но самое для неё тяжёлое и неизбежное было: выдать «Архипелаг» и указать, что он – у Самутина...

Что было дальше с Е. Д.

в августе – достоверно мы не знаем ничего. Все сведения – от подозрительной новой соседки, медсестры, племянницы прокурора. Это – от неё версия, будто Е. Д., отпущенная через пять дней домой, всё время оставалась там, металась по комнате и говорила: «Я – Иуда, скольких невинных предала!» (Конечно, должно было разрушительно проработаться в ней и обернуться: не тот угрозный час страшен, которым пугал её Большой Дом, а вот этот ужас защемлённой одинокой жизни, – а друзья, быть может, погибли, а бесценная книга, память миллионов, не выплывет больше.) Потом, будто бы, с сердечным припадком легла в больницу (с помощью этой же соседки), неделю там лежала, вернулась. И вскоре, видимо в последних числах августа повесилась в том кривом, тёмном, дурного воздуха коридоре, из Достоевского. (Но та же медсестра, выпив на поминках больше, варьировала: а на теле её были ножевые раны, кровь. Так – не вешаются).

Что Елизавете Денисовне запрещено было пытаться дать знать кому-либо – ясно из общих методов ГБ и из такого же распоряжения Нине Пахтусовой. Но – подчинилась она? Или наоборот: пыталась связаться с нами – и именно за это убита? Страшно представить эту злодейскую сцену убийства в мрачной пещере-квартире.

(А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. М. 1996. Стр. 448–449)

Всё это Александр Исаевич вспоминал и записывал годы

спустя, когда он уже помягчел к несчастной Елизавете Денисовне. А в тот момент, когда на него обрушилось известие о постигшей его беде, – даже не беде, катастрофе! – реакция его была совсем другая.

…

> *Реакция нашего героя, большого человеколюбца, душеведа и христианина, на эту трагедию была библейски лапидарной: «она обманула меня – она наказана».*
>
> *(В. Максимов. История одной капитуляции. Правда. 1994. 28 декабря)*

Владимир Емельянович Максимов – не самый доброжелательный, а потому и не самый объективный свидетель. А газета «Правда», в которой он опубликовал этот свой мемуарный очерк, – не самый надежный источник информации.

Но есть ещё одно «свидетельское показание» о том, как реагировал А. И. на известие о гибели Е. Д. Воронянской:

…

> *…Ненависти к тебе у меня не было, нет и не будет. А вот остатки уважения и доверия действительно начали иссякать ещё в семидесятые годы. Ты пишешь, что мы не ссорились. Не знаю, как назвать разговор на Козицком в августе 1973 года по поводу статьи «Мир и насилие»… Тогда я ушел от тебя с уверенностью, что отношения порваны. Однако вскоре началась широковещательная газетная травля тебя и Сахарова. А потом чекисты нашли «Архипелаг» и покончила самоубийством Воронянская. Как же было отступиться от тебя? Хотя твое отношение к её гибели было*

бесчеловечным – где уж там христианским! После моего звонка из Ленинграда ты написал столь же сердито, сколь и безрассудно («ты что думал, что я на похороны поеду?!»). А ведь звонил я только, чтобы скорее известить тебя об угрозе, о беде.

(Лев Копелев. Письмо Солженицыну. Кёльн. 30.1–5.11. 1985. «Синтаксис», № 37. Париж, 2001. Стр. 96)

А. И. был так жесток к несчастной Елизавете Денисовне, что даже страшная её гибель его не смягчила, не потому, что она выдала чекистам местонахождение «Архипелага». На этот счет у него к ней не было никаких претензий.

Свой гнев он обрушил на неё не за то, что она не уничтожила доверенный ей экземпляр рукописи, как ей было приказано, а за то, что обманула его, солгав, что выполнила это его распоряжение.

И помягчел он к ней – сменил гнев на милость – не потому, что за прошедшие годы этот его гнев слегка поутих.

Так почему же?

* * *

2 марта 1983 года Солженицыну была присуждена и 10 мая вручена так называемая Темплтоновская премия.

Первое известие о том, что ему собираются присудить эту награду, он встретил довольно прохладно:

…

…Письмо от Джона Трейна, из правых американских кругов (финансист и консервативный журналист): если будет мне присуждена Темплтоновская премия (религиозная, никогда о ней не слышал), – то приму ли я её? поеду ли получать в Лондон из рук герцога

Эдинбургского, супруга королевы?

При сём брошюра, со спиральной туманностью на обложке, в ней – пояснение этой странной премии: «установлена, дабы привлечь внимание к лицам, нашедшим новые пути для возрастания любви человека к Господу или понимания Господа... новые и эффективные методы внушения Божьей мудрости». Немного отдаёт каким-то масонством? розенкрейцерством? Но успокаивает, что они не ищут отменить все религии ради единой сверх всех, а премия «скорей стремится поощрять преимущества разнообразия». Присуждается «лицам, имеющим особые заслуги в укреплении духа перед лицом нравственного кризиса в мире».

(А. Солженицын. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов)

Но колебался он (принимать? Не принимать?) недолго:

...

Мать Тереза получила, брат Роже Шутц. Десять раз присуждалась, а православному ещё ни разу, – как же не использовать момент, сказать на весь мир о своих?.. Оглашённые в Вашингтоне и присланные мне материалы по присуждению оказались глубже, чем я от них ожидал. Самой удивительной была формулировка, что «доказана жизненность православной духовной традиции в России» – о чём и идёт наш самый горячий спор с врагами России. Референты Темплтоновского фонда – или судейской коллегии? –

потрудились, поискали, понабрали по моим книгам, что бы положить в присуждение. Верно нашли: и моё стихотворение в лагерной больнице, в «Архипелаге», и мою отдельную «Молитву».

(Там же)

И вот тут и вспомнил он несчастную Е. Д. Воронянскую.

...

...Поразился я непредвиденным путям. Ведь уже который раз печатают эту Молитву, ссылаются на неё, впечатлены ею, – а ведь я её в мир не выпускал – это сделала Елизавета Денисовна, самовольно, и я её как бранил за то! Так же самовольно, как и дохранила «Архипелаг» до гэбистов, и выпустила «Архипелаг» в мир. И за оба самовольства я должен только благодарить покойницу. Была она – орудием Божьим.

(Там же)

Из этой солженицынской «Молитвы», которую самовольно пустила в мир Елизавета Денисовна (за что он теперь ей благодарен), я хочу выделить такие её строки:

Как легко мне жить с Тобой, Господи!

Как легко мне верить в Тебя!..

Когда умнейшие люди

Не видят дальше сегодняшнего вечера

И не знают, что надо делать завтра, —

Ты снисылаешь мне ясную уверенность,

Что Ты есть...

На хребте славы земной

я с удивлением оглядываюсь на

тот путь
через безбрежность – сюда,
откуда я смог послать человечеству
отблеск лучей Твоих.
(Солженицын: мыслитель, историк, художник. Западная критика. 1974–2008. М. 2010. Стр. 455–456)

А из стихотворения в лагерной больнице, отысканного референтами Templtonского фонда, – вот эти:

Да когда ж я так допуста, дочиста
Всё развеял из зёрен благих?
Ведь провёл же и я отрочество
В светлом пении храмов Твоих!
Рассверкалась премудрость книжная.
Мой надменный пронзая мозг,
Тайны мира явились – постижными,
Жребий жизни – податлив, как воск…
Но пройдя между бытии и небытии,
Упадав и держась на краю,
Я смотрю в благодарственном трепете
На прожитую жизнь мою.
Не рассудком моим, не желанием
Освещен её каждый излом –
Смысла Высшего ровным сиянием,
Объяснившимся лишь потом.
(Там же)

К этой мысли (о том, что сияние Высшего Смысла «объясняется лишь потом») Солженицын возвращается постоянно, не устает её повторять.

Впервые это открылось ему в 1965-м, когда был арестован его архив. Из-за небрежности незадачливых его хранителей, а отчасти и из-за им самим совершенных ошибок в руках гэбистов оказались несколько экземпляров романа «В круге первом». А

главное – лагерная его пьеса «Пир победителей», обнаружение которой представляло для него тогда смертельную опасность.

...

В мой последний миг, перед тем как начать набирать глубину, в мой последний миг на поверхности – я был подстрелен!

Подстрелен.

Подстрелен...

(А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. М. 1996. Стр. 118)

Как он сам потом признавался, даже арест не был для него таким страшным ударом, как этот:

...

Арест был смягчён тем, что взяли меня с фронта, из боя; что было мне 26 лет; что кроме меня никакие мои сделанные работы при этом не гибли (их не было просто); что затевалось со мной что-то интересное, даже увлекательное; и совсем уже смутным (но прозорливым) предчувствием – что именно через этот арест я сумею как-то повлиять на судьбу моей страны...

(Там же. Стр. 119)

А тут был – полный крах. Катастрофа.

Арест архива означал крушение всех его жизненных планов.

...

...Провал мой в сентябре 1965 года был самой большой бедой за 47 лет моей жизни. Я несколько месяцев ощущал его как настоящую

физическую незаживающую рану – копьём в грудь, и даже напрокол, и наконечник застрял, не вытащить. И малейшее моё шевеление (вспоминанье той или другой строчки отобранного архива) отдавалось колющей болью.

Главный удар был в том, что прошёл я полную лагерную школу – и вот оказался глуп и беззащитен. Что 18 лет я плёл свою подпольную литературу, проверяя прочность каждой нити; от ошибки в едином человеке я мог провалиться в волчью яму со всем своим написанным – но не провалился ни разу, не ошибся ни разу; столько было положено усилий для предохранения, столько жертв для самого писания; замысел казался грандиозным, ещё через десяток лет я был бы готов выйти на люди со всем написанным, и во взрыве той литературной бомбы нисколько не жалко было бы сгореть и самому; – но вот один скользок ногой, одна оплошность, – и весь замысел, вся работа жизни потерпела крушение... Впечатление остановившихся мировых часов. Мысли о самоубийстве – первый раз в жизни и, надеюсь, последний...

Я реально ожидал ареста, почти каждую ночь...

(Там же. Стр. 119–120)

Три месяца не мог он выйти из этого ступора, из этого состояния полной прострации.

Но постепенно стал приходить в себя.

...

В эту пору К. И. Чуковский предложил мне (бесстрашие для

того было нужно) свой кров, что очень помогло мне, ободрило…

Я гулял под тёмными сводами хвойных на участке К. И. – многими часами, с безнадёжным сердцем, и бесплодно пытался осмыслить своё положение, а ещё главней – обнаружить высший смысл обвалившейся на меня беды.

Хотя знакомство с русской историей могло бы давно отбить охоту искать какую-то руку справедливости, какой-то высший вселенский смысл в цепи русских бед, – я в своей жизни эту направляющую руку, этот очень светлый, не от меня зависящий, смысл привык с тюремных лет ощущать. Броски моей жизни я не всегда управлялся понять вовремя, часто по слабости тела и духа понимал обратно их истинному и далеко-рассчитанному значению. Но позже непременно разъяснялся мне истинный разум происшедшего – и я только немел от удивления. Многое в жизни я делал противоположно моей же главной поставленной цели, не понимая истинного пути, – и всегда меня поправляло Нечто. Это стало для меня так привычно, так надёжно, что только и оставалось у меня задачи: правильней и быстрей понять каждое крупное событие моей жизни.

(Вяч. Всев. Иванов пришел к этому же самому выводу, хотя жизненный материал у него был совсем другой. Он формулирует так: «Есть мистический смысл во многих жизнях, но не всеми верно понимается. Он даётся нам чаще в зашифрованном виде, а мы, не расшифровав, отчаиваемся, как

бессмысленна наша жизнь. Успех великих жизней часто в том, что человек расшифровал спущенный ему шифр, понял и научился правильно идти».)

А с провалом моим – я не понимал! Кипел, бунтовал и не понимал: зачем должна была рухнуть работа? – не моя же собственная, но – почти единственная, уцелевшая и память правды? зачем должно быть нужно, чтобы потомки узнали меньше правды, почти никакую (ибо каждому после меня ещё тяжелее будет раскапывать, чем мне; а те, кто жили раньше – не сохранились, не сохранили или писали совсем не о том, чего будет жаждать Россия уже невдолге)? Давно оправдался и мой арест, и моя смертельная болезнь и многие личные события – но вот этого провала я не мог уразуметь! Этот провал снимал начисто весь прежний смысл.

(Маловеру, мне так казалось! И всего лишь через две осени, нынешнею зимою, мне кажется – я всё уже понял. Потому и сел за эти записки.)

(Там же. Стр. 125–126)

Две осени, стало быть, должны были пройти, чтобы забрезжил перед ним истинный смысл постигшей его катастрофы.

А как быть, что делать, как лучше ему поступать в сложившейся ситуации, он и вовсе себе не представлял:

…

…Что было правильно мне теперь делать? Я не мог уразуметь. Я ложно решил: вот теперь-то напечататься! Хоть что-нибудь.

(Там же. Стр. 127)

Отвага – половина спасения! – нашёптывала мне книжечка пословиц. Все обстоятельства говорили, что я должен быть смел и даже дерзок. Но – в чём? Но – как? Бедой не брезговать, беду использовать, – но как?

Эх, если б я это понял в ту же осень! Всё становится просто, когда понято и сделано. А тогда я никак не мог сообразить.

Да если б на Западе хоть расшумели б о моём романе, если б арест его стал повсюду известен – я, пожалуй, мог бы и не беспокоиться, я как у Христа за пазухой мог бы продолжать свою работу. Но они молчали! Антифашисты и экзистенциалисты, пацифисты и страдатели Африки, – о гибели нашей культуры, о нашем геноциде они молчали, потому что на наш левофланговый нос они и равнялись, в том только и была их сила и успех...

Всё-таки начал я действовать. Как теперь вижу – неправильно. Действовать несообразно своему общему стилю и своему вкусу. Я спешил как-нибудь заявить о себе – и для этого придрался к путаной статье академика Виноградова в «Литературной газете»...

Редактор «Литгазеты», оборотливый и чутконосый Чаковский, побежал «советоваться» с Дёмичевым: может ли имя моё появиться в печати? Дёмичев, видно, сразу разрешил.

И был прав.

А я – совсем неправ, я запутался... Лишний раз я показал, что, предоставленные себе, мы этой

шаровой коробкой, какая вертится у нас на шее, скорей всего избираем неправильный путь.

Потому что в тех же днях (9 ноября) благословенная умная газета «Нойе Цюрхер Цайтунг» напечатала: что был у меня обыск и забрали мои произведения. Это и было то, чего я жаждал минувших два месяца! Теперь это могло распространиться, подтвердиться. Но тут подошла на Запад «Литгазета», и я ничтожной статейкой своей как бы всё опроверг, крикнул: «Вот – живу и печатаюсь, и ничего мне!», только не госбезопасности крикнул, а газете «Нойе Цюрхер Цайтунг», подвёл её точных информаторов.

(Там же. Стр. 131–133)

Так он метался тогда, в 65-м, после того, первого своего провала.

Сейчас, в 73-м, всё было уже иначе.

На этот раз ситуация была куда более грозная.

Крамольное содержание «Архипелага» ни в какое сравнение не шло ни с «Кругом», ни с «Раковым корпусом».

Там с грехом пополам всё можно было списать на Сталина. А тут – открыто, – прямым текстом – было сказано (и показано!), что пресловутый Архипелаг ГУЛАГ был не просто опухолью – пусть даже злокачественной и давшей метастазы, – на теле в основе своей здорового организма. Тут уж никаких сомнений не оставалось, что это была самая суть, самая основа созданной Лениным и Сталиным ИМПЕРИИ ЗЛА.

Дать команду на Запад печатать эту книгу было стократ опаснее, чем пустить в Самиздат, а потом и в Тамиздат «Круг» или «Раковый корпус».

Но тут он не колебался ни минуты.

О том, что гэбешниками взят «Архип», он узнал через десять дней после гибели Елизаветы Денисовны, то есть 3 сентября.

И как только узнал, тотчас же принял решение:

…

3-го днем еду в Москву к Але. При двух наших малышах она ждёт третьего, Стёпу, на самых этих днях. Говорю: «Ведь надо взрывать?» Она бесстрашно: «Взрываем!»

(Там же. Стр. 454)

Почему же теперь он и думал, и чувствовал, и повел себя совсем не так, как тогда, восемь лет назад, в 65-м?

...

Провал был как будто бездный, непоправимый: самая опасная и откровенная моя вещь, которая всегда считалась «голова на плаху», даже если б оглашена по всему миру и тем меня защищала, – теперь была в руках у них, ещё и не двинувшись к печатанью, готова к негласному удушению, вместе со мной. Провал был намного крупней, чем провал 65-го года, когда взяли «Круг», «Пир» и «Республику труда».

А настроение, а ощущение – совершенно другое: не только никакого конца, гибели жизни, как тогда, но даже почти нет и ощущения поражения. Отчего же? Во-первых: сейф на Западе, ничто не пропадёт, всё будет опубликовано, хотя бы пал я сию минуту. А во-вторых: вокруг мечи блестят, звенят, идёт бой, и в нашу пользу, и мы сминаем врага, идёт бой при сочувствии целой планеты, у неё на глазах, – и если даже наш главный полк попал в окружение – не беда! это – на время! мы – вызволим его!

(Там же)

Немалую роль тут, конечно, играло и то, что был он в это время уже Нобелевским лауреатом, да и до «Нобелианы» слава его уже гремела по всему миру, и это, конечно, давало ему

сознание большей своей защищенности. Но – поди знай, как ещё поведет себя в этой ситуации Дракон, с которым он вступил в открытую схватку. С полной уверенностью предвидеть и предсказать это было невозможно.

Нет, главным, что определяло это новое его самочувствие, было другое. Его укрепляла уверенность, что он уже научился читать ЗНАКИ СУДЬБЫ, понимать и правильно истолковывать смысл указаний, НИСПОСЛАННЫХ ЕМУ СВЫШЕ.

...

Жаль было бедную опрометчивую женщину с её порывом – сохранить эту книгу лучше меня, и вот погубившую – и её, и себя, и многих. Но, достаточно уже учёный на таких изломах, я в шевеленьи волос теменных провижу: Божий перст! Это ты! Благодарю за науку! Во всём этом август-сентябрьском бою, при всём нашем громком выигрыше – разве бы я сам решился? разве понял бы, что пришло время пускать «Архипелаг»? Наверняка – нет, всё так же бы – откладывал на весну 75-го, мнимо-покойно сидя на бочках пороховых. Но перст промелькнул: что спишь, ленивый раб? Время давно пришло, и прошло, – открывай!!!

Пониманье, обратное 65-му году: после захвата моего архива – кто же ущемлён? я? или они? Тогда, полузадушенный, накануне ареста, я мечтал и путей не имел: о, кто б объявил о взятии моего архива? Объявили через 2 месяца, и прошло в тумане для Запада. А сейчас – я сам, через 2 дня, и на весь мир, и все откинулись: ого! что ж там за жизнь, если за книгу платят повешением?..

Лежал бы «Круг первый» ещё и

ещё, нет, выследили, схватили, взликовали и я пустил его, и через 3 года он напечатан. Лежал бы «Архипелаг» ещё и ещё, нет, выследили, схватили, взликовали – пускаю! Читайте через 3 месяца! Их же руками второй раз решается действие против них!

3-го вечером я узнал, 5-го вечером посылал не только извещение о взятии «Архипелага» – но распоряжение: немедленно печатать!

(Там же)

О роли, которую сыграла в этом его судьбоносном решении гибель Е. Д. Воронянской, сказано вскользь, мимоходом. Да, жаль, конечно, бедную опрометчивую женщину…

И даже ещё пренебрежительней:

…

Так судьба повесила ещё и этот труп перед обложкой страдательной книги, объявшей таких миллионы.

(Там же)

И только десять лет спустя, в 1983-м, вспомнив о ней в связи с присуждением ему Темплтоновской премии, он наконец признал её особую роль и счел нужным «поблагодарить покойницу», сказав, что «она была орудием Божьим».

Слава тебе, Господи! Правда, наконец, хоть и поздно, но все-таки восторжествовала, смягчив даже и это жестокое сердце.

Но так ли это?

Ведь по смыслу этого его «благодарного» признания особой роли Елизаветы Денисовны в его судьбе получается, что и родилась она на свет, и прожила свою шестидесятилетнюю жизнь, и погибла своей страшной мученической смертью только для того, чтобы ПОДАТЬ ЕМУ ЗНАК, открыть, что ВРЕМЯ ПРИШЛО, хватит медлить, пора пускать в свет эту главную его книгу…

Если вдуматься, эта его запоздалая благодарность «покойнице» не менее, а может быть, даже и более бесчеловечна, чем та, давняя его жестокая реплика, запомнившаяся В. Максимову: «Она меня обманула – она наказана».

* * *

В начале 60-х мой друг Эмка Мандель (Н. Коржавин) познакомил меня с замечательной женщиной – Ольгой Львовной Слиозберг. Она была лет на двадцать нас старше, отбыла к тому времени свои семнадцать лет тюрьмы, лагеря и ссылки (там, в ссылке, в Караганде они с Эмкой и подружились).

Тюремные и лагерные её рассказы произвели на меня тогда сильное впечатление. Позже из них у неё составилась книга, – очень цельная, ясная, обнаженно правдивая, которую ей удалось издать.

Ольга Львовна оказалась соседкой ближайшей подруги моей жены. И поэтому вышло так, что мы стали встречаться с ней постоянно.

И вот однажды она, жалуясь мне на Солженицына, рассказала, что когда он работал над своим «Архипелагом», ему недоставало материалов о Колыме. И он обратился ко всем старым зэкам с просьбой поделиться с ним воспоминаниями о своём лагерном прошлом. Она (Ольга Львовна) послала ему тексты двух своих солагерниц, взяв с него твердое обещание (каковое он ей дал) ни при каких обстоятельствах не упоминать их фамилий. И вот однажды, включив радио (естественно, не советское), она услыхала в передававшейся главе из солженицынского «Архипелага» имена и фамилии этих своих подруг.

– Счастье, – говорила она мне, – что они никогда не слушают радио, и о том, как А. И. сдержал свое обещание, не узнали и, надеюсь, уже не узнают. Если бы это до них дошло, они просто умерли бы от страха. Это не метафора: буквально умерли бы...

Я тогда защищал Александра Исаевича. Говорил, что он не собирался так быстро публиковать «Архипелаг». Его к этому подтолкнули чрезвычайные обстоятельства. Узнав об аресте, допросах и самоубийстве Воронянской и поняв, что тайна «Архипелага» открыта, он был вынужден «нажать кнопку», то есть дать команду о публикации этого своего труда.

Позже я узнал, что это было не совсем так.

Двумя годами ранее, размышляя о том, ехать или не ехать ему в Стокгольм получать Нобелевскую премию, он эту проблему для себя уже решил.

...

Если бы я поехал – уже сейчас бы

сидел над корректурой «Архипелага». Уже весной бы 71-го напечатал его. А теперь измысливаю оправдание, как отодвинуть, отсрочить неотклонимую чашу.

Нет, не оправдание! – но для строгости лучше признать так. Не оправдание, потому что не я один, но и многие из 227 зэков, дававших показания для моей книги, могут жестоко пострадать при её опубликовании. И для них – хорошо бы она вышла попозже. А для тех, похороненных – нет! скорей!

(А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом)

Уже тогда он склонялся к тому, что должен считаться с волей миллионов «тех, похороненных», а не сообразовываться с интересами 227 зэков, дававших ему показания для его книги, которые могут жестоко пострадать при её опубликовании.

Что-то в этом роде я и говорил тогда Ольге Львовне. Не то чтобы принимая точку зрения Александра Исаевича, но все-таки пытаясь как-то оправдать его.

Этими своими невнятными оправданиями я её, конечно, не переубедил. Она всё повторяла:

– Ну как же он мог?.. Как он мог так обмануть наше доверие?

А вот ещё один, пожалуй, даже ещё более печальный эпизод из истории «бодания теленка с дубом».

* * *

Был у Александра Исаевича такой знакомый – Саша Горлов. Молодой кандидат наук, физик. Собственно, был он, если не ошибаюсь, знакомым солженицынской тёщи – Екатерины Фердинандовны, а уж через неё познакомился и с самим Александром Исаевичем, чьим он был, как легко догадаться, большим поклонником. И вот однажды А. И. попросил этого молодого человека съездить в «укрывище» (так он называл свой маленький садовый домик в селе Рождество) и что-то там сделать с его машиной: то ли перегнать её в Москву, то ли привезти ему какую-то её деталь (Саша был опытный автомобилист).

Прибыв на место, Саша увидал, что дверь «укрывища» не

заперта, а внутри, в домике, кто-то есть. Поначалу решив, что это воры, он попытался их разогнать, но «воров» оказалось слишком много для одного, даже очень решительного человека: чуть ли не более десятка. И вели они себя весьма нагло. Сашу схватили, скрутили, кинули на землю и, как следует отмутузив, поволокли в лес. Он сопротивлялся, кричал, звал на помощь. На крик прибежали соседи. Но тут один из «воров» (как видно, бывший у них за главного) предъявил красную книжечку, и соседи отступились, поняв, что «воры» – совсем не воры, а – ИМЕЮТ ПРАВО. Сашу же, избитого, окровавленного, в разодранном костюме запихали в машину и повезли в милицию. Там его заставили написать «объяснительную записку» и отпустили, предварительно потребовав дать **подписку о неразглашении** .

Дать такую подписку Саша решительно отказался, и тогда, отпуская его, главный кагэбэшник сказал ему:

– Ну, гляди! Если расскажешь обо всем Солженицыну, всё с тобой будет кончено: никакая докторская тебе уже не светит (Саша как раз собирался защищать докторскую диссертацию). И с работы тебя уволят. Подумай о жене, о детях. А в случае чего, если понадобится, и посадить можем.

Несмотря на эти угрозы, вернувшись в Москву, Саша обо всем, конечно, рассказал. (Может быть, не самому Исаичу, а Екатерине Фердинандовне). Скрыть то, что с ним произошло, он, конечно, не мог и не собирался. Но реакция Исаича, хотя, зная его, её легко можно было предугадать, явилась для Саши полной неожиданностью.

Не только не спросив у него разрешения и – хотя бы для виду – с ним не посоветовавшись, но даже не поставив его об этом в известность, он сразу шарахнул «Открытое письмо министру госбезопасности СССР Андропову» с подробным изложением всего случившегося. Чуть ли не в тот же день это «Открытое письмо» передавалось по всем вражеским голосам.

...

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

министру госбезопасности СССР Андропову

13 августа 1971

Многие годы я молча сносил беззакония Ваших сотрудников: перлюстрацию всей моей переписки, изъятие половины её, розыск моих

корреспондентов, служебные и административные преследования их, шпионство вокруг моего дома, слежку за посетителями, подслушивание телефонных разговоров, сверление потолков, установку звукозаписывающей аппаратуры в городской квартире и на садовом участке и настойчивую клеветническую кампанию против меня с лекторских трибун, когда они предоставляются сотрудниками Вашего министерства.

Но после вчерашнего налёта я больше молчать не буду. Мой садовый домик (село Рождество, Наро-Фоминский район) пустовал, обо мне был расчёт у подслушивателей, что я в отъезде. Я же, по внезапной болезни вернувшись в Москву, попросил моего друга Александра Горлова съездить на садовый участок за автомобильной деталью. Но замка на домике не оказалось, а изнутри доносились голоса. Горлов вступил внутрь и потребовал от налётчиков документы. В маленьком строении, где еле повернуться трем-четырем, оказалось их до десятка, в штатском. По команде старшего: «В лес его! И заставьте молчать!» – Горлова скрутили, свалили, лицом о землю поволокли и лес и стали жестоко избивать. Другие же тем временем поспешно бежали кружным путём, через кусты, унося к своим автомобилям свёртки, бумаги, предметы (может быть – и часть своей привезённой аппаратуры). Однако Горлов энергично сопротивлялся и кричал, созывая свидетелей. На его крик сбежались соседи с других участков, преградили

налётчикам путь к шоссе и потребовали документы. Тогда один из налётчиков предъявил красную книжечку удостоверения, и соседи расступились. Горлова же с изуродованным лицом, изорванным костюмом повели к машине. «Хороши же ваши методы!» – сказал он сопровождающим. «Мы – на операции, а на операции нам всё позволено».

По предъявленному соседям документу – капитан, а по личному заявлению – Иванов сперва повёз Горлова в нарофоминскую милицию, где местные чины почтительно приветствовали «Иванова». Там «Иванов» потребовал с Горлова же (!) объяснительную записку о происшедшем. Хотя и сильно избитый, Горлов изложил письменно цель своего приезда и все обстоятельства. После этого старший налётчик потребовал с Горлова подписку о неразглашении. Горлов наотрез отказался. Тогда поехали в Москву, и в пути старший налётчик внушал Горлову в следующих буквальных фразах: «Если только Солженицын узнает, что произошло на даче, считайте, что ваше дело кончено. Ваша служебная карьера (Горлов – кандидат технических наук, представил к защите докторскую диссертацию, работает в институте Гипротис Госстроя СССР) дальше не пойдёт, никакой диссертации вам не защитить. Это отразится на вашей семье, на детях, а если понадобится – мы вас посадим».

Знающие нашу жизнь знают полную осуществимость этих угроз. Но Горлов не уступил им, подписку дать отказался, и теперь над ним

нависает расправа.

Я требую от Вас, гражданин министр, публичного поименования всех налётчиков, уголовного наказания их и публичного же обьяснения этого события. В противном случае мне остаётся считать их направителем – Вас.

А. Солженицын

(Александр Солженицын. Бодался телёнок с дубом. М. 1996. Стр. 634–635)

Вслед этому он отправил ещё и другое, совсем короткое послание, адресованное —

Председателю Совета Министров СССР

...

А. Н. КОСЫГИНУ

13 августа 1971

Препровождаю Вам копию моего письма министру госбезопасности. За все перечисленные беззакония я считаю его ответственным лично. Если правительство СССР не разделяет этих действий министра Андропова, я жду расследования. (Там же. Стр. 635)

Сашу об этом своём шаге А. И. уведомил (уже, так сказать, постфактум) короткой записочкой, в которой писал:

...

Хочу, чтобы Вы ясно поняли, и поверили мне, и доверились: только предельная гласность и громкость есть Ваша надёжная защита – Вы станете под мировые прожекторы, и никто Вас не толкнёт! Поэтому я взялся решить за Вас – сегодня же пишу открытое письмо Андропову и

отдаю в самиздат. Постарайтесь мне поверить и убедить своих близких, что при всяком умолчании и сокрытии ОНИ, наоборот, тихо бы Вас задушили.

(Цит. по кн.: Людмила Сараскина. Александр Солженицын. М. 2009. Стр. 660)

В своей книге «Бодался телёнок с дубом», рассказывая об этом эпизоде, Солженицын мимоходом роняет, что Сашу гэбэшники непременно убили бы, если бы он не догадался выдать им себя за иностранного подданного, «а такого нельзя убивать без указания начальства». А о самом Саше он там пишет так:

...

Он мог бы смолчать, как требовали от него, – и ничего б я не узнал. Но честность его и веяния нового времени не позволили ему скрыть от меня. Правда, моего шага (Письма Андропову. – Б. С.) он не ждал, даже дух захватило, а это было – спасенье для него одно. Я лежал в бинтах, беспомощный, но разъярился здоровей здорового, и опять меня заносило – в письме Косыгину я сперва требовал отставки Андропова, еле меня отговорили, высмеяли.

Так взорвался наружу один подкоп и, кажется, дёрнул здорово, опалил лицо самому Андропову. Позвонили (!) ничтожному зэку, передали от министра лично (!): это не ГБ, нет, милиция... (Надо знать наши порядки, насколько это нелепо.) Вроде извинения...

(Александр Солженицын. Бодался телёнок с дубом)

Опалило лицо самому Андропову или не опалило, – это, как говорили герои Зощенко, ещё вопрос и ответ. А вот у Саши

Горлова, как это вскоре выяснилось, «дух захватило» не зря.

Все данные ему свои обещания кагэбэшники выполнили. С работы его уволили, докторскую защитить не дали. Посадить, правда, не посадили, но из страны выдавили.

В 1990 году, оказавшись в Бостоне, мы с женой были у него в его американском доме. (Наш друг Эмка, давно уже живущий в Бостоне, с ним приятельствует, и нас к нему привёл.) Дом – даже по американским понятиям – великолепный: на родине Саша о таком не мог бы и мечтать. Да и с родиной отношения в то время уже как будто стали налаживаться: Саша рассказал, что его настойчиво приглашали на Дальний Восток, до зарезу там вдруг понадобилось нам построить электростанцию, работающую от морских приливов, проект которой он, Саша, разработал. Его просили приехать хоть на полгода. На мой вопрос, согласился ли он, ответил, что да, конечно, – если приглашавшие его дальневосточники смогут выплатить ему ту зарплату, которую здесь, в Бостоне, он получает. За семестр – 80 000 долларов.

Из этого можно заключить, что вынужденная эмиграция оказалась для Саши счастливым выигрышем. Если не считать того, что вскоре после приезда в США неожиданно покончил с собой его сын-подросток.

Конечно, это могло случиться и не в Америке, а дома тоже. Но – кто знает?

Как бы то ни было, эту свою американскую судьбу Саша выбрал себе не сам: на неё обрек его Александр Исаевич в процессе своего героического бодания с дубом.

* * *

Оказавшись на Западе, Александр Исаевич решил, что ему нужно свое издательство. Поначалу ему представлялось, что решить эту задачу будет не так уж сложно. Но оказалось, что не так уж она и проста. И тогда он подумал: а не проще ли, чем начинать это дело с нуля, приспособить для своих целей какое-нибудь из уже существующих русских книгоиздательств.

Насчет того, какое именно, у него не было никаких сомнений: разумеется, ИМКУ.

Во-первых, из всех, издающих книги на русском языке, оно было самым продуктивным и самым влиятельным. А во-вторых, с ним у него уже давно была налажена прочная связь. ИМКА выпустила и первое русское издание «Круга», и «Архипелаг».

В пользу этого решения говорило и то, что возглавлял это издательство Никита Алексеевич Струве, который в Александре

Исаевиче души не чаял и как будто готов был стать послушным исполнителем всех его начинаний.

Но и с ИМКОЙ тоже все было не просто.

...

Мысль о своём издательстве родилась у меня и от переезда на новый континент, и от напора замыслов: «Имка» по-прежнему ощущалась мной как разлохмаченное, плохоуправляемое издательство, в нём проявлялись книги самых неожиданных уровней и направлений, – не знаешь, какого курбета ждать ещё завтра. Безнадёжность устойчивой работы с издательством неряшливого стиля становилась уже такова, что о своём русском собрании сочинений я вступал, через того же Н. Струве, в переговоры с французским издательством «Сёй». Затем стало казаться, что Струве всё же возьмётся руководить «Имкой» фактически и открыто, и я обещал ему содействие.

(А. Солженицын. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов)

Проблема тут заключалась в том, что Никита Алексеевич ни формально, ни фактически руководителем ИМКИ не был. Директором издательства был совсем другой человек.

...

Управлял ИМКОЙ и «Les ЕЂditeurs ReЂunis» Иван Васильевич Морозов, ставший директором издательства ещё в 62-м году, когда оно переехало с Монпарнаса в Латинский квартал – на улицу Горы

Святой Женевьевы. Правда, когда я появился в Париже, директорство это было уже в значительной мере формальным, распространяясь скорее на магазин, чем на деятельность ИМКИ, которую реально возглавлял Никита, сосредоточивший в своих руках все связи с авторами, особенно в метрополии. Здесь Иван Васильевич просто не тянул, не понимая ни специфики, ни даже сути новых отношений, стремительно расширявшихся и полностью проходивших помимо него.

Уроженец Печорского края на Псковщине, до войны входившего в состав Эстонии, Ваня Морозов приехал в Париж в 38-м году поступать в Свято-Сергиевский богословский институт и застрял на подворье из-за начавшейся войны. После освобождения Франции и возобновления деятельности РСХД он стал его секретарем и первым редактором послевоенного «Вестника», а впоследствии, когда Международная YMCA решила передать Движению свое издательство, – возглавил книжное дело. В его представлении оно полностью идентифицировалось с той движенческой семьей, в которую он вошел с юности, к которой привык и которой отдал большую часть жизни, а книгоиздание ограничивалось публикацией пятитомного Закона Божия, служебников, требников, трудов подворской профессуры и отчасти философов начала века. Появление рукописей совершенно иного направления (а в число авторов входили не только Солженицын, но впоследствии и Войнович, и Веничка

Ерофеев, и Кормер...), изменение масштабов, а главное – самого характера издательской деятельности оставалось ему абсолютно недоступным, пугало и раздражало, никак не укладываясь в привычные, десятилетиями не менявшиеся представления. К тому же, новые издательские программы несли в себе ощутимый материальный риск, а это – при резком сокращении финансовой помощи со стороны Международной YMCA – представлялось Ивану Васильевичу уже совершенно недопустимым... Патриархальные нравы, царившие в издательстве, не смогло серьезно изменить даже появление солженицынских книг.

Конечно, это было необычно – и по содержанию, и по общественному резонансу, конечно, пушечный успех «ГУЛАГа» внушал надежды на неопределенное, хотя и довольно приятное будущее, в котором новой России, а вместе с нею и ИМКЕ, принадлежала бы совсем иная роль... Но в сущности эта новая Россия была далеко и во времени и в пространстве, а парижская повседневность – здесь, под боком: и надо было ежемесячно выплачивать персоналу хоть и нищенскую, а все же зарплату, снимать складские помещения, выписывать бесконечные чеки типографам, налоговому ведомству, бумажным фирмам... Да и Солженицын оказался вовсе не такой уж высокоудойной коровой. Ну, первый том «ГУЛАГа» действительно стал бестселлером: за ним – едва ли не впервые в послевоенной эмигрантской истории – стояли очереди в магазин. Но второй уже

пошел похуже, а на третьем и вообще пришлось думать о сокращении тиража. Не говоря уже о «Теленке», тридцать тысяч экземпляров которого почти полностью гнили на складе.

(Владимир Аллой. Записки аутсайдера. Минувшее. Исторический альманах. 22. Стр. 145–146. СПб. 1997. Стр. 145–146)

Такое положение вещей Александра Исаевича устроить, конечно, не могло. И в свойственной ему крутой манере он предъявил ИМКЕ ультиматум: уволить Морозова. В противном случае он все свои отношения с ИМКОЙ тотчас же разрывает.

С первой попытки это у него не вышло:

...

...После высылки Солженицына из Союза в 74-м году и первого появления его в издательстве Александр Исаевич потребовал немедленного удаления Морозова с поста директора, поставив это условием дальнейшего сотрудничества с ИМКОЙ. Тогда Совет РСХД отверг ультиматум, в результате чего Солженицын на короткое время перешел в «Посев», который немедленно объявил собрание сочинений писателя и сильно на том погорел, ибо непредсказуемый автор вскорости вернулся в ИМКУ, уполовинив свои требования: отныне он не настаивал на немедленном снятии директора, но оговаривал, что ведет дела лишь с Никитой, и никто другой не может в них вмешиваться. Компромисс был принят...

(Там же. Стр. 147)

Такое половинчатое решение устроило Александра Исаевича

ненадолго. И в конце концов он все-таки добился своего.

Рассказывая (во второй книге своих воспоминаний) о том, как это произошло, он дает понять, что инициатива в этом случае исходила не от него. Он будто бы только поддержал общее, единодушное мнение:

…

В конце 1977 отставку Морозова предложил его близкий друг Б. Ю. Физ, член РСХД, поддержал и о. Александр Шмеман. В конце длительных дебатов в Движении Аля была в Париже весной 1978 и подтвердила от моего имени, что я тоже поддерживаю отставку. Морозов согласился уйти на условиях, что тощее издательство ещё более шести лет будет платить ему полное жалование до пенсии и с сохранением чина «литературного советника».

Однако и тут заменил Морозова не Струве, который всё не решался на администрирование («меня тяготит собственная раздробленность», перед ним немало начатых и недойденных путей творчества), а пост этот, как и добивался, занял третьеэмигрант Аллой.

(А. Солженицын. Угодило зёрнышко меж двух жерновов)

Сменивший Морозова на посту директора ИМКИ «третьеэмигрант Аллой» эту версию как будто бы подтверждает:

…

Однажды, кажется, в конце 77-го, во всяком случае была зима, холод и дождь с промозглым ветром, – после литургии к нам с

Никитой подошел Борис Юльевич Физ... Борис Юльевич возглавлял комитет акционеров ИМКИ, входил в попечительский совет Сергиевского подворья и ещё в массу каких-то советов и комитетов...

На этот раз Физ был до чрезвычайности взволнован и попросил нас выйти: нужно побеседовать.

Мы отправились в ближайшее кафе, где Борис Юльевич сообщил, что говорил с финансовым экспертом ИМКИ, что тот вне себя и отныне отказывается работать с Морозовым, а потому Ваню надо срочно убирать.

– Кто-то из вас должен взять на себя обязанности директора, – закончил Физ, обращаясь главным образом к Никите.

Воцарилось довольно долгое молчание. Потом Никита сказал, что, будучи государственным служащим (профессором с кафедрой в Нантере, то есть чиновником министерства просвещения), не может стать директором.

– Значит, придется вам, Володя, – Физ повернулся ко мне. Я взглянул на Никиту, ожидая помощи или хотя бы совета. Никита молчал.

– Как вы себе это представляете, Борис Юльевич? – спросил я.

– Очень просто. Внешне все пока останется как было, только к вам перейдут все подписи и вы будете вести реальную работу. С Ваней я поговорю сам и этот вопрос улажу. А потом мы все решим на Совете...

Я снова взглянул на Никиту.

Он по-прежнему молчал, явно устраняясь и оставляя выбор за

мной.

Я помедлил – и ответил «да».

Зачем?!!

Множество раз впоследствии я спрашивал себя об этом... Тщеславие? – надеюсь, что нет, во всяком случае, я всегда совершенно искренне отрицал в себе этот порок. Честолюбие? – возможно, поскольку никогда не считал это свойство дурным, полагая его едва ли не главным двигателем человеческого прогресса: сделать лучше других, добиться большего результата... Гордыня? – может быть...

Однако все эти вопросы приходили в голову потом, когда я пытался отрефлектировать события.

Тогда же единственным (во всяком случае, единственно осознанным) мотивом ответа – была неожиданно представившаяся возможность реформировать издательство, сделать из него настоящее дело, о каком мы мечтали с Никитой, какое нам обоим в те годы представлялось (или мне казалось, что представлялось нам обоим)...

В общем, так или иначе, я ответил «да»...

Знать бы тогда, во что выльются последующие события...

(Владимир Аллой. Записки аутсайдера. Минувшее. Исторический альманах. 22. СПб. 1997. Стр. 159–160)

Ничем хорошим кончиться это, разумеется, не могло, потому что в результате такого – тоже половинчатого – решения положение создалось в высшей степени двусмысленное.

...

Попытки оттянуть любое решение, уйти от неизбежных и неприятных разбирательств, где все пришлось бы называть своими именами, спрятаться от реальности, сделав вид, что проблемы не существует, – это «по-человечески» понятное, но от того не менее пагубное поведение привело к самому печальному исходу: возникновению патовой ситуации, тянувшейся около года, превратившей и без того болезненный нарыв в настоящую гангрену и создавшей для всех, а особенно для Вани, невыносимо унизительную обстановку…

Вот лишь маленький пример: раз в два-три месяца в ИМКЕ устраивались производственные собрания, на которых – по крайней мере, в идеале – предполагалось обсуждение персоналом и начальством повседневных издательских и магазинных дел. Были они вполне бессмысленными, но составляли безобидную и даже милую традицию, призванную символизировать участие служащих в управлении предприятием. Совещания эти обычно проводил Иван Васильевич. Теперь же председательское кресло в качестве главы акционеров занял Физ, который по любому поводу подчеркнуто обращался ко мне как к новому директору издательства – при том, что несчастный Ваня сидел рядом с ним за председательским столом и официально оставался руководителем дела…

Ситуация становилась уже не просто неприличной, но совершенно невозможной. Я ощущал себя на раскаленной сковороде и не знал, как

смотреть в глаза Ивану Васильевичу. После второго собрания я не выдержал и сказал Физу, что не в состоянии продолжать эту убийственную для всех игру. Либо надо собирать Совет и как-то разрешать проблему, либо я отказываюсь от совершенно не нужного мне директорского поста.

(Владимир Аллой. Записки аутсайдера. Минувшее. Исторический альманах. 23. СПб. 1997. Стр. 160–161)

Совет, который должен был решить этот щекотливый вопрос, ни к какому решению не пришел. Те члены Совета, которые уже готовы были принять новый ультиматум Солженицына, наткнулись на сопротивление сплоченной группы других его членов, которую Аллой называет «фронтом отказа».

...

Небольшую, но вполне сплоченную и активную группу «фронта отказа» возглавил отец Алексей Князев – ректор парижского Свято-Сергиевского богословского института, председатель французского отделения РСХД и старый Ванин друг. Для него за прошедшие четыре года ничего не изменилось, и Совет не имел права принимать условия Солженицына, так же как не принял их в 74-м году. А в том, что за новой попыткой отстранения Ивана Васильевича от должности стоит Солженицын, отец Алексей не сомневался ни минуты. Он же стал инициатором обращения к писателю, в котором «группа старых движенцев» доказывала преданность Морозова делу духовного возрождения России и

«лично классику» и смиренно просила его пересмотреть свое отношение к Ване.

(Там же)

Тут не совсем понятно, почему, пребывая в уверенности, что Совет не должен и даже не имеет права принимать условия Солженицына, сторонники этого «фронта отказа» вместо того, чтобы просто отказаться принять его ультиматум, как они сделали это в 1974 году, решили «смиренно просить» классика сменить гнев на милость, уверяя его при этом, что Иван Васильевич, которого он требует уволить, бесконечно предан не только делу духовного возрождения России, но и ЕМУ ЛИЧНО.

А объяснялось это предельно просто:

…

Главный довод за немедленное снятие Морозова был прост и ясен, как орудийный ствол: четыреста тысяч франков имковского долга Солженицыну – за радиопередачи на русском языке. В те годы любые произведения писателя читались едва не ежедневно всеми западными радиостанциями и гонорары за эти чтения выливались в немалые суммы… В середине весны Никита передал вердикт: если Совет не решит судьбы Морозова, Солженицын не только покидает ИМКУ, но забирает все свои деньги и, главное, требует немедленной выплаты долга…

С этим «убойным» доводом в кармане и прислал Александр Исаевич на главную баталию своего полномочного министра иностранных дел – жену… Столь откладываемое собрание Совета проходило в мае 78-го. Тянулось оно почти шесть часов, было «закрытым», причем настолько, что

несчастного Ваню, судьба которого решалась столь драматичным образом, большую часть времени даже не допускали в заседания… О том, насколько бурно проходило собрание, можно судить уже по тому, что для многих оно завершилось если не формальным, то фактическим разрывом отношений.

(Там же. Стр. 162)

«Убойный довод», привезенный Натальей Дмитриевной, свое дело сделал. Иван Васильевич Морозов был отправлен в отставку.

…

Конечно, «наш лагерь» ощущал происшедшее как победу. Когда на следующий после Совета день Никита с Машей и Натальей Солженицыной пришли к нам домой «праздновать» её, все думали и говорили только о будущем: какие открывались блистательные перспективы, как можно будет сделать наконец свободное, крупное издательство, которое потянет к себе все живое из России, превратится в материальную базу того, что нарождается в ней… Главное – долгое дыхание (на последнем особенно настаивала изрядно «поддавшая» Наталья Дмитриевна)… Александр Исаевич даже придумал новое название для чаемого книжного дела: «Взъем» или «Стяг» – на выбор… Впоследствии мы с Никитой очень потешались над этим предложением (тогда Никита ещё сохранял нормальные реакции и способность иронизировать по поводу благоглупостей «классика»)…

(Там же. Стр. 164)

Никто из них тогда ещё не знал, какая цена будет уплачена за эту их победу.

...

Знать бы тогда, во что выльются последующие события, чем обернется фраза Бориса Юльевича «а потом мы все решим на Совете», каким мучительным, долгим, для всех унизительным и всё разъедающим станет процесс реорганизации издательства... И еще знать бы, что, когда мы с Радой... вечером 8 ноября вернемся из Амстердама, я позвоню Никите, он скажет: «Приезжайте немедленно», и когда я приеду, сообщит о том, что Ваня 6 ноября покончил с собой, а затем – в качестве резюме долгого разговора – произнесет первую из нескольких своих убийственных фраз: «Меня простят, хоть и не сразу; вас – никогда»...

(Владимир Аллой. Записки аутсайдера. Минувшее. Исторический альманах. 22. СПб. 1997. Стр. 160–161)

Вопрос, простят или не простят смерть Ивана Васильевича Морозова Александру Исаевичу, они себе не задавали. Не сомневались, что кому другому, а уж ему-то безусловно простят.

Что же касается самого Александра Исаевича, то у него, надо полагать, и в мыслях не было, что он тут должен что-то себе прощать. Ведь не прихотью, не какими-то личными симпатиями или антипатиями руководствовался он, предъявляя ИМКЕ те свои ультиматумы.

Всё это делалось ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА.

А кому лучше, чем ему, было знать, чего она требует, эта самая польза.

Энергия заблуждения (2)

Энергия заблуждения, внушившая Александру Исаевичу веру в данное ему свыше *всеведенье пророка,* утвердила в нем и уверенность в своём праве судить, осуждать, поучать, давать директивы, указывать.

Именно она, эта уверенность, стала причиной его конфликта с Войновичем.

Сам он суть конфликта изложил так:

...

Ну, какое, какое ещё рыло обо мне не судило?

...Вот – сатирик Войнович, «советский Рабле». В прошлом – сверкающее разоблачение соседа по квартире, оттягавшего у него половину клозета, – дуплет! – сразу и отомстил и Золотой Фонд русской литературы. Теперь – отомстить Солженицыну. (Перед ним я, сверх того что существую, провинился тем, что как-то, на неуверенном старте его западной жизни, передал через друзей непрошенный совет: не пользоваться судом для решения его денежных претензий к эмигрантскому издательству, поладить как-нибудь без суда; он буквально взорвался, ответил бранью.)

(А. Солженицын. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов)

А вот как рассказал об этом инциденте Войнович:

...

Когда я, вскоре после эмиграции, первый раз очутился в Париже,

директор издательства Владимир Аллой и фактический хозяин издательства Никита Струве меня с энтузиазмом приветствовали, но о гонораре не заикнулись. Да и сам я о нем не спросил, думая: издательство жалкое, эмигрантское, что с него возьмёшь? Хотя сам находился, как говорят, в затруднительных обстоятельствах. Через некоторое время знающие люди мне объяснили, что издательство не такое уж жалкое. Стоящая за ним организация ИМКА, как мы её называли, или YMCA (Young Men Christian Association) очень богата, среди спонсоров издательства есть и ЦРУ (эта организация поддерживала все эмигрантские издательства, печатавшие книги, запрещённые в СССР), так что деньги у них имеются. И на моих достаточно популярных и коммерчески выгодных книгах они тоже кое-что заработали и должны поделиться. Я написал письмо Струве. Он мне вскоре ответил, что да, он совсем забыл, ИМКА должна мне «кучу денег» – целых... и назвал сумму, в тридцать раз меньше той, на которую я рассчитывал. Причём в старых франках, ещё бывших в обращении, но стоивших в 1000 раз меньше новых. Да ещё просил разрешения выплатить эту мелочь частями... В процессе дальнейшей перепалки я ему пригрозил судом. Правду сказать, блефовал. В расчёте на то, что испугается и отдаст мне не лишнее, а заработанное.

Он в самом деле испугался. И вдруг...

...И вдруг звонит мне в Германию Юрий Штейн.

Который считается родственником Солженицына, поскольку его жена Вероника Туркина приходится бывшей жене Солженицына Наталье Решетовской двоюродной сестрой.

– Слушай, я тут был у Исаича в Вермонте, а к нему как раз приехал Струве и жаловался на тебя, что ты собираешься подать на него в суд. Так вот Исаич просил меня передать тебе его мнение. Он мне его продиктовал и хочет, чтобы ты его записал. У тебя карандаш и бумага есть? Записывай.

Я сказал: «записываю», хотя делать этого не собирался. О чем потом пожалел. Все-таки документ следовало бы сохранить в подлинном виде. Но я не записал и воспроизвожу по памяти. Послание никакого обращения не содержало. Ни имени-отчества, ни просто имени и уж, конечно, принятого эпитета вроде «дорогой» или «уважаемый», а начиналось прямо со слова «стыдно». «Стыдно русскому писателю судиться с издателем из-за гонораров». И что-то ещё в этом духе, кратко, грубо и выразительно…

Это был, конечно, никакой не совет. Совет нормальный даётся всегда только с добрыми намерениями и хотя бы с приблизительным пониманием сути дела. Здесь не было ни того, ни другого.

Если я и рассердился, то в первую очередь на себя. Какой бы Солженицын ни был хам, он ведь не с каждым позволяет себе так обращаться. Неужели я дал ему повод думать, что со мной можно и так? ещё ведь и потому позволяет, что я вроде бы как свой.

Я, как мне кажется, человек тихий, вежливый, держусь скромно, производя на некоторых людей ошибочное впечатление. Но ведь и я, хотя в лагере не сидел, прошел школу жизни, где «феня» к иностранным языкам не относится.

– А у тебя есть бумага и карандаш? – спросил я вкрадчиво Штейна.

– Есть! – отозвался он по-военному.

– Тогда запиши мой ответ. Приготовился?

– Приготовился.

– Пиши...

Мой ответ был тоже кратким и очень невежливым. Меня потом некоторые люди спрашивали, как же это я посмел? А вот так и посмел.

Не ответить на такое обращение, ничем его не заслужив, я не мог, а другого ответа адресат бы не понял.

(Владимир Войнович. Портрет на фоне мифа. М. 2002. Стр. 94–97)

Всё это случилось летом 1983 года. А книжечку свою о Солженицыне (вот эту самую – «Портрет на фоне мифа») Войнович писал в 2002-м. И рассказал эту историю, как сам об этом сообщает, по памяти.

Память у него хорошая, но лучше бы этот «совет» классика, продиктованный ему по телефону, он все-таки записал. Сохранись у него такая запись, мы бы теперь имели представление не только о смысле, но и о стиле этого совета. А ведь стиль в литературе – дело не последнее. И не только в литературе, поскольку, как было сказано, стиль – это человек. Так что Войнович не зря теперь сожалеет: «Все-таки документ следовало бы сохранить в подлинном виде. Но я не записал и воспроизвожу по памяти».

Кое-какой документ, однако, все-таки сохранился.

Тогда же, в 1984 году (могу даже назвать точную дату: 10. 5. 84) Войнович прислал мне подробное письмо, в котором всю эту историю рассказал, как выразился бы в этом случае Александр

Исаевич, *посвежу* .

Я, как и Войнович, с письмами, которые следовало бы хранить, обращаюсь в соответствии с заветом Бориса Леонидовича Пастернака: «Не надо заводить архива, над рукописями трястись» (чем, кстати сказать, отнюдь не горжусь).

Но это письмо сохранил.

Поскольку оно содержит некоторые подробности, о которых Войнович либо забыл, либо не счел нужным упоминать, я его тут приведу. И да не посетует читатель на то, что основные перипетии этого сюжета ему уже известны. (Сейчас вы увидите, что – не все).

…

Между прочим, с главным авторитарщиком у меня тут произошел некий конфликт. Дело в том, что Никита Струве весьма нагло пытался зажилить все мои гонорары так же, как зажиливал гонорары Надежды Яковлевны, теперь и Лидии Корнеевны (это отдельная тема). Я сначала пытался говорить с ним вежливо, а потом стал грозить судом. Вдруг (это было прошлым летом) раздаётся у нас, здесь, звонок из Нью-Йорка. Звонит Юра Штейн и говорит примерно следующее: только что он был у Сани и там ещё был Струве, и Струве жаловался на меня, а Саня все выслушал и продиктовал ему, Штейну, для меня записку. В записке никакого ко мне личного обращения не было, а было: «Скажи ему…» Записка состояла из трех пунктов. Первый, что ИМКА-Пресс издательство нищее (что ложь), второе – не помню. А в третьем пункте говорилось, что русскому писателю стыдно требовать гонорары. (Сам он, как говорят сведущие люди, просидел в той же

Имке несколько дней, проверил все финансовые ведомости и содрал весь свой гонорар до копейки. А когда Струве стал что-то мямлить насчёт бедности, тот сказал, что его это не интересует, у него четверо детей, которых надо кормить). Выслушав переданное мне сообщение, я сказал Штейну, что раз он не постеснялся передать это послание мне, я надеюсь, что он так же добросовестно передаст и мой ответ». Передай ему, – сказал я, – пусть он идёт...», – и сказал куда именно. Но поскольку я на Штейна не понадеялся, я решил ещё кое-что прибавить письменно (письменное прилагаю). Но чтобы Штейн все-таки не уклонился от передачи, я послал письмо «Солженицыну для Штейна».

На этом письмо не кончалось и к продолжению его я ещё вернусь. А сейчас, слегка забегая вперёд, приведу текст этого его «письменного приложения», предназначавшегося, конечно, для передачи Солженицыну, но из чистого озорства иронически адресованного Войновичем «Солженицыну для Штейна»:

...

Дорогой Юра,

Передай, пожалуйста, Солженицыну, что в ответ на его высокомерное и хамское ко мне обращение, я

1. Не собираюсь брать у него уроков морали или чего другого.

2. Если издатели ИМКА-Пресс нищие (чему я не верю), пусть просят, а не вымогают, пусть он им первый и подает. У него денег больше, он их единомышленник, а я нет.

3. Писателю требовать гонорар

за свои книги (к тому же продающиеся успешно) НЕ СТЫДНО. Так же, как не стыдно любому другому работнику получать деньги за свой честный труд. И обращаться к помощи ЗАКОНА не стыдно.

4. СТЫДНО лгать, СТЫДНО не отдавать долги, СТЫДНО обворовывать русских писателей (нерусских тоже), которые вместе с их семьями подвергаются преследованиям и лишены куска хлеба на родине или оказались на чужбине, не имея ни кола, ни двора. Это касается не только меня, но и многих других.

5. Русские писатели по традиции всегда защищали друг друга от издателей-грабителей. Русскому писателю (нерусскому тоже), получившему от издателей МИЛЛИОНЫ и всегда пекущемуся о своих гонорарах (иначе для чего бы он ставил под каждой своей писулькой в том же «Вестнике» World Copyright by Имярек?) СТЫДНО корить своего собрата, для которого гонорар единственный и весьма слабый источник существования. СТЫДНО и даже ПОЗОРНО.

6. Совершенно не в связи со сказанным выше, а только пользуясь случаем, скажу, что мне в жизни приходилось совершать поступки, которых я стыжусь. Вот один из них. В феврале 1974 года я, не творивший себе кумиров ни из кого даже в детстве (даже из Ленина-Сталина), сгоряча, желая защитить Солженицына, насолить советской власти и, рискуя собственной головой, назвал его ВЕЛИЧАЙШИМ.

Теперь, когда я читаю его доморощенные декларации, полные

самодовольства и спеси (он самый великий, он неутомимый труженик, он чуть ли не единственный патриот и страдалец за Россию), написанные к тому же дурным языком; когда я слышу его бессовестные выпады часто против беззащитных людей, часто против тех, кто поднимал его на щит и поддерживал, рискуя своим благополучием и даже свободой, мне в самом деле бывает СТЫДНО. Когда я вижу этот сверхпревосходный эпитет в своей собственной книге, мне стыдно и хочется, чтобы он исчез. Но, увы, из песни слова не выкинешь.

Владимир Войнович
20 августа 1983
Мюнхен

P. S. Не могу понять, зачем ты мне звонил? Ведь, давая подобные поручения, он не только ко мне, но и к тебе относится ***по-свински*** .

Письмо это я счел нужным воспроизвести на этих страницах (конечно, с разрешения его автора), во-первых, потому что оно, как мне кажется, гораздо убедительнее первого, устного (очень невежливого, как он его называет) его ответа. А во-вторых, потому, что последняя, заключающая его часть (пункт шестой) отражает, я думаю, чувства не одного Войновича, а многих бывших поклонников Солженицына, совсем ещё недавно искренне восхищавшихся им и выражавших это свое восхищение в формах, которых теперь им приходится стыдиться.

А сейчас опять – ненадолго – вернусь к письму Войновича, цитирование которого я оборвал на полуслове, обещая потом его продолжить:

...

После нескольких недель молчания Штейн прислал мне свое сочинение, состоявшее из проклятий и оскорблений, и предложил мне

забыть его и Вероникино имена. Кроме прочего, Штейн написал, что мой расчёт оказался неверным, «там» чужих писем не читают, «не то что в твоём благородном семействе». Но как я потом заметил, читают и даже очень внимательно. Арина Гинзбург ещё, видимо, не поняв в чем дело, сказала, что им в «Русскую мысль» звонила Наталья и спрашивала, их ли я автор. Потом в Америку поехала главная редакторша (Иловайская), побывала «там» и, похоже, получила соответствующие инструкции. До этого «Русская мысль» вела со мной переговоры, чтобы я с ними более или менее постоянно сотрудничал, но теперь переговоры прекращены, я там, вероятно, запрещённый писатель. Мне на это более или менее наплевать. Но «вермонтский обком» действует.

О том, как действует этот «вермонтский обком», вскоре – на собственной шкуре – почувствовали и ближайшие друзья и единомышленники Александра Исаевича.

* * *

Когда Н. Струве и В. Аллой, приняв ультимтум Солженицына, праздновали «победу», они не сомневались, что возглавляемое ими издательство, как было, так и останется независимым. Разве вот только придётся отбиваться от предложения «классика» назвать их новое книжное дело дурацким словом «взъем». Что же касается основного направления издательской политики, то с этим никаких сложностей у них не будет. Не станет же «классик» вмешиваться во все тонкости их редакционной стратегии и тактики.

Но – не тут-то было!

…

Вернувшись из Биаррица, я позвонил Никите. Он говорил довольно вяло и казался чем-то расстроенным, но вдаваться в подробности по телефону не стал, а пригласил нас с Радой на завтра к ужину. Мы отправились в Villebon-sur-Yvette, не подозревая, чем закончится вполне заурядный визит. За столом все было как обычно, разве что шутки выглядели несколько вымученными. Зато после ужина, когда дети ушли, Никита неожиданно завёл разговор о только что появившемся в «Русской мысли» интервью со мной. Идея его принадлежала Арине и Иловайской. Само интервью было совершенно банальным: история ИМКИ, издательская направленность в прошлом и теперь, выходящие книги, ближайшие планы... В общем, совершенно проходной материал, придавать значение которому казалось смешно... Однако сейчас мы услышали, что «Вермонт возмущен, Александр Исаевич не понимает, почему подобное интервью исходит не от Никиты, а Наталья Дмитриевна считает его появление грубой бестактностью».

Вообще, за последний год словосочетания типа «Вермонт недоволен», «Александр Исаевич не одобряет», «Наталья Дмитриевна не согласна» – сделались своеобразным рефреном при любых спорах с Никитой...

(Владимир Аллой. Записки аутсайдера. Минувшее. Исторический альманах. 23. СПб. 1998. Стр. 184–185)

Руководители издательства и влиятельные члены Совета,

которые приняли солженицынский ультиматум, понимали, конечно, – не могли не понимать, – что кадровые перемены, на которых настаивал «вермонтский обком», – это только начало. Что за этим наверняка последуют и другие требования, быть может, даже и совсем для них неприемлемые. Но они надеялись, что, пойдя на некоторые уступки, все-таки сумеют сохранить независимость.

...

Александр Исаевич и раньше, видимо, полагал, что, обеспечив «кадровые перестановки» в ИМКЕ, он вправе определять и издательскую политику. Но ни мы с Никитой, ни отец Александр так не считали, и до восьмидесятого года, во всяком случае, удавалось держать равновесие, а давление Вермонта встречало мягкий и дипломатический, но все-таки довольно стойкий отпор. С появлением «дотаций» расстановка сил делалась иной, а последний разговор показал, что Никита не смог устоять перед искушением и окончательно увяз в новых вермонтских играх, вполне удовлетворившись положением фаворита при дворе «классика»...

(Там же. Стр. 187)

«Дотации», о которых идет тут речь, были, конечно, солженицынские. Но – не только. Однако и за теми, что шли не прямо от него, тоже стоял он.

...

Первый серьезный спор... произошел в начале 80-го, когда Никита сообщил, что нам «кажется, удалось» получить постоянную

субсидию для издательства – 70 тысяч долларов в год (на то время – 350 тысяч франков). Причём она будет приходить в виде наличных денег. Постоянство и форма дотации совершенно однозначно указывали её источник (крупные суммы наличными выдают лишь стратегические службы, имеющие свои секретные фонды и предпочитающие не оставлять следов), понятно было и каким образом её «удалось получить». В ответ на выраженное мною сомнение, стоит ли связывать себя с такой организацией: ведь за всё придется когда-нибудь платить и ещё неизвестно чем, – Никита неожиданно резко вспылил: «Что вы все морализируете? Думаете, мне приятно встречаться с этими людьми? Если я стал это делать, то лишь для пользы издательства»...

Продолжать спор смысла не имело... Никита явно начинал какую-то иную – свою или, скорее, солженицынскую игру, и в ней мы уже не были соратниками и единомышленниками... А сама игра далеко выходила за пределы издательства и круга вещей, с ним связанных...

(Там же. Стр. 184–185)

В том, что условия этой новой игры (включая и получение субсидий из секретных фондов «стратегических служб») диктовались «вермонтским обкомом», не могло быть ни малейших сомнений. Да это особенно и не скрывалось.

...

В том же восьмидесятом необычайно усилилось влияние Вермонта на направленность и даже

на сам отбор журнальных и издательских рукописей. ИМКА все круче забирала вправо, уходя от идеалов вселенских к ценностям национальным, а «советы» Александра Исаевича уже стали напоминать едва скрытую цензуру.

С этим, а по сути – все с тем же вопросом о независимости издательства связан и второй всплеск, переводивший обычный спор с Никитой в совершенно иную плоскость. Как-то раз, весной того года, сидя в гостиной дома в Villebon-sur-Yvette, я заметил, что ни Достоевский, ни Толстой, будучи великими писателями и постоянно публикуясь в «Отечественных записках», все-таки не определяли политики журнала, и что, двигаясь в нынешнем направлении, мы рискуем серьезно сузить и круг авторов, и круг читателей, сделавшись слишком ангажированными, причём в сторону совершенно очевидную и далеко не для всех приемлемую. И тут Никита буквально взорвался, необычайно резко и запальчиво ответив, что ангажированность – вовсе не порок, равно как и объективность – ещё не добродетель, а присутствовавший при разговоре его старший сын Данилка с отроческим простодушием спросил: «Ну, а если не Солженицын, то кто же тогда? Все равно лучше никого нет...» Никита, очень довольный вмешательством сына, его немедленно поддержал: «Да, кто же ещё? Назовите...» Мысль о том, что у ИМКИ своя традиция, свой путь, и лучше следовать ему, нежели становиться в кильватер кому угодно, в том числе и любому «великому», – даже не

рассматривалась. По-видимому, окончательный выбор – и идейный, и материальный – был уже сделан...

Перспектива развития издательства обозначилась предельно чётко. Дело ещё не доходило до гротеска, как это случится несколькими годами позже, когда магазин, например, откажется принимать к распространению книгу Войновича «Москва, 2042» за слишком явную схожесть одного из героев романа с Александром Исаевичем. Но все шло к тому, и в одиночку изменить наметившуюся тенденцию я был не в силах, более того, ощущал себя уже вполне лишним элементом в этой новой, возникающей на моих глазах системе. Идеология её, равно как и солженицынское дидактическое понимание истории, были мне абсолютно чужды. Стремление сделать ИМКУ вполне независимым, стоящим на собственных ногах издательством – после подключения к «американскому денежному крану» выглядело смехотворным.

(Там же. Стр. 185–187)

Тут вроде получается некоторая неувязка.

Смена идеологии, значит, была определена подключением к «американскому денежному крану». А идеология, оплаченная этими американскими деньгами, была **солженицынская** .

Почему? С какой стати?

Не может же быть, чтобы и американские спецслужбы, имеющие свои секретные фонды и ведающие их распределением, должны были подчиняться директивам, исходящим из «вермонтского обкома»?

Подчиняться, конечно, были не должны.

Но к исходящим оттуда **мнениям** (была такая советская чиновничья формула: «ЕСТЬ МНЕНИЕ») прислушивались. И с ними считались. В решении не только идеологических, но даже и кадровых вопросов.

Помню, как в припадке ипохондрии Володя Максимов жаловался: на что уж, дескать, прекрасный человек и светоч демократии Андрей Дмитриевич Сахаров, а попробуй под него достать денег – никто ведь ни гроша не даст, а вот под Солженицына, при всем его национализме и антизападничестве, – сколько угодно. Почему?!! – Володя откровенно не понимал ситуации и до чёрных запоев страдал от несправедливости мира)...

По-видимому, самое время сказать несколько слов об упомянутом наступлении Вермонта на сложившуюся систему эмигрантских институций. Отношения с «третьей» эмиграцией у Александра Исаевича были достаточно сложными. Обвинив практически всех уехавших в дезертирстве и предав анафеме «демдвиж», Солженицын всячески подчеркивал свою неприязнь к самим принципам и идеям правозащитников, а тем более к идее свободы выезда из страны – что, естественно, не могло вызвать сочувствия в среде эмигрантов.

Соответственно воззрениям Александра Исаевича, следовало менять и всю систему контрпропаганды, построенной на совершенно чуждых ему началах. А для этого надо было прежде всего подчинить структуру, за неё ответственную, и затем решать «кадровые вопросы».

Насколько последняя идея претворилась в жизнь, судить не

берусь, но в 1978–1981 годах Солженицыну действительно удалось поставить своих людей в немалой части русских культурных учреждений.

Ситуацию в ИМКЕ я уже описал. Начальником радиовещания на Восточную Европу был сделан Шекспир, а директором «Свободы» – Джордж Бейли. Наконец, Зинаиду Шаховскую, отправленную на пенсию, сменила Ирина Алексеевна Иловайская. Весной 79-го она приезжала из Вермонта в Париж знакомиться с редакцией, а осенью уже приступила к работе.

(Там же. Стр. 173–174)

Чтобы убрать с поста главного редактора не шибко влиятельной эмигрантской газеты Зинаиду Шаховскую и поставить на её место Ирину Иловайскую (до того работавшую его секретарём), довольно было магии имени Солженицына и его политической воли. Но чтобы поставить своих (пусть даже не своих, просто угодных ему) людей на должности директора радио «Свобода» и начальника радиовещания на Восточную Европу, одних только этих рычагов было недостаточно. Тут нужно было задействовать какие-то другие механизмы.

О том, что такие механизмы в его распоряжении были, весьма красноречиво свидетельствует такой факт, рассказанный тем же Аллоем.

Однажды случилось ему беседовать с известным американским советологом Ричардом Пайпсом о трудном положении, в котором он оказался (это было уже после того как он уволился из ИМКИ).

…

Пайпс жил в собственном доме на Беркли Стрит – тихой зелёной улочке в десяти минутах ходьбы от Гарвард Ярд. Сидя в его гостиной и попивая апельсиновый сок, я… услышал, что дело это имело

довольно длинную предысторию и было лишь побочной ветвью более сложной и разветвлённой интриги… что издательство, как и я сам, не просто закопано, но над ним двухметровый слой земли, что раскопки могут вообще ни к чему не привести и, возможно, придётся искать иную форму продолжения дела. В любом случае процесс будет долгим, и мне надо запастись терпением… «Правда, вы и сами виноваты», – закончил Дик с ухмылкой заговорщика…

Он был чрезвычайно мил, пытался всячески поддержать и ободрить меня, убеждая в том, что при твердом отстаивании своих взглядов подобные камуфлеты неизбежны и не надо падать духом, что есть множество более тяжёлых ситуаций, например, случай Миши Михайлова, который после статьи «Возвращение Великого Инквизитора», чью роль он отвел Александру Исаевичу, – несколько лет вообще ходил без работы, занесённый в черные списки.

(Владимир Аллой. Записки аутсайдера. Минувшее. Исторический альманах. 21. СПб. 1997. Стр. 129–130)

* * *

Я уже рассказывал о том, как на заре нашей так называемой перестройки (в 1987 году) впервые в жизни пересёк границы «большой зоны» и оказался в городе Мюнхене, где мне была предоставлена возможность несколько раз выступить на радио «Свобода».

Почти во всех этих моих тогдашних радиопередачах я задевал Александра Исаевича.

При том, что все точки над і в тех моих передачах были уже поставлены, отношение мое к Александру Исаевичу и тогда ещё оставалось двойственным, о чем может свидетельствовать такой – хорошо запомнившийся мне – разговор.

Когда одна из таких моих «антисолженицынских» передач была записана и уже прошла в эфир, я стоял в коридоре радиостанции с несколькими её сотрудниками. Зашла речь о Солженицыне, и кто-то из них (кажется, Матусевич), обращаясь ко мне, сказал:

– Здорово вы вчера ему выдали!

Меня этот комплимент отнюдь не обрадовал, скорее смутил. И мне даже захотелось защитить Исаича, сказать, что на самом деле не все с ним так просто. И, не очень ловко пытаясь это выразить, я пробормотал:

– Что ни говори, а человек он крупный.

– Он? Крупный?! – искренне изумился мой собеседник. – Да знали бы вы, какой это мелкий человек! Как он интриговал, чтобы мы не взяли на работу Шрагина!

Реплика эта – хоть, как видите, я её и запомнил, – большого впечатления на меня тоже не произвела.

Не то чтобы я ей не поверил. Поверил. Ни на секунду не усомнился, что так оно, наверно, и было. Но все равно остался при своём. И вот почему.

Слова «крупный» и «мелкий» вообще-то говоря – антонимы. Но в данном случае дело обстояло иначе. Вся штука тут была в том, что моё «крупный» и его «мелкий» лежало в разных плоскостях. Примерно так же, как в прелестном диалоге двух персонажей пьесы Чапека «Средство Макропулоса»: влюблённого в героев великой французской революции Витека и знавшей всех их лично главной героини пьесы – Эмилии:

…

Эмилия *. Марат? Это тот депутат с вечно потными руками?*

Витек *. Потными руками? Неправда!*

Эмилия *. Помню, помню. У него были руки, как лягушки. Брр…*

Витек *. Нет, нет, это недоразумение. Простите, этого о нем нигде не сказано!*

Эмилия *. Да я-то знаю. А как*

звали того, высокого, с лицом в оспинах?.. Ну, которому отрубили голову...

***Витек** . Дантон?*

***Эмилия** . Да, да. Он был ещё хуже.*

***Витек** . Чем же?*

***Эмилия** . Да у него все зубы были гнилые. Пренеприятный человек.*

***Витек** (в волнении) . Простите – так нельзя говорить. Это не исторический подход. У Дантона... у него не было гнилых зубов. Вы не можете этого доказать. А если бы и были, дело совсем не в этом.*

***Эмилия** . Как не в этом? Да ведь с ним было противно разговаривать.*

Витек. Простите, я не могу с вами согласиться. Дантон... и вдруг такие слова!

В отличие от Витека, который не желал поверить, что у Марата были потные руки, а у Дантона гнилые зубы, я сразу поверил, что в истории с Шрагиным Солженицын вел себя нехорошо. Но в полном с ним (Витеком) согласии полагал, что «дело совсем не в этом», потому что это – «не исторический подход».

Как бы ни выглядел Александр Исаевич во всех этих ихних эмигрантских дрязгах, я – тогда – не мог думать о нем как о мелком человеке.

Да, по правде говоря, и сейчас так о нем не думаю.

И против Шрагина он интриговал именно потому, что был не мелкий, а крупный человек.

Не мелкого тщеславия и личных амбиций ради расставлял он всюду своих людей. Не для себя старался, а для России. Для её будущего.

Просто так уж вышло, что он лучше, чем кто другой, знал, что ей нужно, России, чтобы выбраться из того исторического тупика, в котором она оказалась. И даже не только ей, а зашедшему в тот же тупик всему роду людскому. Человечеству.

* * *

Когда он ещё только начинал «бодаться с дубом», – пока не со всей ядерной державой, а с Секретариатом Союза писателей, – один из самых опытных секретарей этого Союза Алексей Александрович Сурков проницательно определил:

– Характер у него бойцовский.

Позже, особенно после того как А. И. оказался на Западе, стало видно, что для определения его характера лучше подошло бы другое слово: не бойцовский, а – вождистский.

Было у нас в начале 20-х годов в ходу такое – довольно уродливое – слово: «Вождизм». Оно даже попало в большой академический словарь современного русского языка:

...

ВОЖДИЗМ. Политика, направленная на утверждение одного человека в роли непререкаемого и непогрешимого руководителя.

(Словарь современного русского литературного языка в 20 томах. Том второй. М. 1991. Стр. 366)

У Солженицына этот «вождизм» был, что называется, в крови.

Но у него это была не «политика, направленная на утверждение одного человека», а **коренное свойство личности.**

Из этого коренного свойства его личности вырос и развился и присущий ему **особый тип мышления** .

Всё это мы как будто уже наблюдали, столкнувшись с другим коренным свойством его личности: истовой (и даже неистовой) верой в данное ему свыше **всеведенье пророка** .

Так может быть, это просто разные наименования одного и того же явления? Не все ли равно, как назвать этот тип личности – пророком или вождём?

Нет, не все равно.

Два эти понятия хоть и близкие, часто даже совпадающие, но – не тождественные.

Пророк – пророчествует. Он знает истину и несёт её людям. И в некотором смысле ему даже все равно, сейчас дойдёт до них эта открывшаяся ему истина, или когда-нибудь потом, когда он, ныне побиваемый камнями, уже завершит свой земной путь.

Призвание вождя состоит в том, чтобы самому утвердить эту открывшуюся ему истину, претворить её в реальность. Добиться того, чтобы те, к кому он обращается, не просто внимали ему и

шли за ним, но и выполнили, осуществили то, к чему он их призывает, пошли тем – единственно верным – путём, который он им указывает.

Александр Исаевич Солженицын по складу своей личности был вождём именно вот такого, ленинского типа.

* * *

В процессе его размышлений о русской революции 1917 года, по мере того как он получал доступ к всё новым, прежде неводомым ему источникам и открывались ему все новые, прежде неведомые ему факты, менялось и коренным образом изменилось его отношение к *февралю* :

...

Помню, профессор Кобозев часто и настойчиво меня спрашивал: а как вы, всё-таки, точно относитесь к Февральской революции? что вы о ней думаете? Была ли она полезна для России? была ли неизбежна? и неизбежно ли из неё вытекала Октябрьская? – Я всегда отмахивался: во-первых, потому, что я ведь шёл к Октябрьской, всё определившей, а что там проходная Февральская? Во-вторых, неизбежность и полезность Февральской общеизвестны. В-третьих: если бы художник мог всё заранее сформулировать – не надо бы и романа писать. А всё откроется само лишь по ходу написания.

И действительно, начало открываться само – и вот только когда! Натуральными обломками предфевральских и февральских дней – мненьями подлинными и мненьями, придуманными для публики, лозунгами, лжами, быстро организовавшейся газетной

трескотнёй с её клеймами, несвязанностью столичных событий со страною, ничтожностью, слепотой или обречённой беспомощностью ведущих вождей революции – я был теперь закидан выше головы как хламом, и выбарахтывался из этого хлама с образумлением и отчаянием.

Без нарастающего, громоздящегося живого материала тех лет – разве мог бы я до этого сам доуметь?!

Я был сотрясён. Не то чтобы до сих пор я был ревностный приверженец Февральской революции или поклонник идей её, секулярный гуманист, – но всё же сорок лет я тащил на себе всеобще принятое представление, что в Феврале Россия достигла свободы, желанной поколениями, и вся справедливо ликовала, и нежно колыхала эту свободу, однако, увы, увы – всего восемь месяцев, из-за одних лишь злодеев-большевиков, которые всю свободу потопили в крови и повернули страну к гибели. А теперь я с ошеломлением и уже омерзением открывал, какой низостью, подлостью, лицемерием, рабским всеединством, подавлением инодумающих были отмечены, и составлены первые же, самые «великие» дни этой будто бы светоносной революции, и какими мутными газетными помоями это всё умывалось ежедневно.

Неотвратимая потерянность России – зазияла уже в первые дни марта. Временное правительство оказалось ещё ничтожнее, чем его изображали большевики... С первых же дней всё зашаталось в хляби

анархии, и чем дальше – тем раскачистей, тем гибельней, – и образованнейшие люди, до сих пор так непримиримые к произволу, теперь трусливо молчали или лгали. И всё это потом катилось восемь месяцев только вниз, вниз, в разложение и гибель, не состроилось в 1917 даже недели, которою страна могла бы гордиться. Большевикам – нельзя было не прийти: оно всё и катилось в чьи-нибудь этакие руки.

И как же, как же я этого не видел сорок лет? как же поддался заманчиво розовому облаку февральского тумана? Как же не разглядел, что не в Октябре решалось, а уже в Феврале?..

Но вот теперь я открыл, что этот путь реально был в российском прошлом – мало сказать неблагополучен, – непригляден, он нёс в себе в 1917-м анархическое разложение всего российского тела. И что ж – я с такими заодно? (Да оно лезло и раньше изо всех щелей, я просто не осознал, помогла понять – Февральская революция.)

И эти минувшие два года на Западе – то шля поддерживающие или протестующие телеграммы, то речами и интервью гневно разя всё того же, того же советского Дракона, то помогая создать «Континент», сплачивая силы Восточной Европы, – я просто действовал от повышенной политической страсти или катился по той инерции, какая создалась в Союзе? Да находясь в угрожаемой, но оцепеневшей Европе – как же спокойно сидеть, не будить её, не тревожить, не занозить, чтобы очнулась?

(А. Солженицын. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Новый мир. 1999. № 2)

То, что в процессе многолетней его работы над «Красным Колесом» взгляд его на февраль, а значит, и вся концепция задуманной им грандиозной эпопеи так радикально переменились, нет ничего необычного. С писателями такое случается сплошь и рядом. А тут ещё надо учесть, что задумал он эту свою эпопею на заре туманной юности – в десятом классе средней школы. К тому же, как уже было сказано, когда он оказался на Западе, на него обрушился целый океан новых, неведомых ему прежде исторических свидетельств. При всех этих обстоятельствах взгляд его на историю русской революции 17-го года не мог не перемениться.

Удивляет – и даже поражает – тут совсем другое.

Открыв истину, он испытывает неодолимую потребность тут же, немедленно, открыть её «оцепеневшей Европе». И не просто открыть, а заставить её отказаться от своих многовековых заблуждений, сойти с неправильного пути и вернуться на тот, что – он уверен в этом – является единственно правильным.

Цель его, таким образом, состоит – ни мало, ни много! – в том, чтобы ИЗМЕНИТЬ ХОД ИСТОРИИ.

«Оцепеневшая Европа» (как и блуждающая во тьме Америка) его не послушалась. Не пожелала отказаться от исповедуемого ею «секулярного гуманизма». Так надо хоть соотечественников предупредить о грозящей им смертельной опасности СКАТИТЬСЯ К ФЕВРАЛЮ. Тем более, что там, на Родине, дело, кажется, именно к тому и идёт.

…

…Большие события на родине если не начались, то – начинались, вот-вот разразятся. Давно-давно я ждал их (да ещё с наших лагерных мятежей 50-х годов) – и давно же готовился, «Красным Колесом». Чем больше я охватывался им, тем пронзительнее понимал всю грядущую опасность оголтелого феврализма. Я надеялся и готов был – хотя какими тропами? – «Мартом

Семнадцатого» заклинать моих единоземцев: во взрыве вашей радости только не повторите февральского заблудия! только не потеряйтесь в этой ошалелой круговерти!

Но как же мне подать на родину голос о том главном, что я, в розысках, потрясённо обнаружил, – об острых опасностях безответственного Февраля? Да вот – и благоприятный поворот. «Голос Америки», который в киссинджеровское время не осмеливался читать «Архипелаг» для советского слушателя; который даже не смел никогда имя Ленина произнести осудительно («советский народ боготворит его»); который, вот в 1985, пострадал от сенатской грозы за передачу в эфир столыпинских глав «Августа», – летом 1987, в зарницах новой горбачёвской политики, предложил мне прочесть серию отрывков из «Марта Семнадцатого», чуть опоздав к 70-летию Февраля.

Как я обрадовался! Потянется живая ниточка в Россию! Вот теперь, когда перестали глушить, – огненную бестолковицу Февраля да живым голосом – прямо в сегодняшний бурлящий СССР.

Только – не «серию отрывков» бессвязных хотел бы я прочесть, а составить для передачи по радио – содержательный, сжатый сгусток всего «Марта Семнадцатого»...

Бригада для записи приезжала к нам из Вашингтона дважды: в октябре 1987 на первую половину, в апреле 1988 на вторую. Записывали на старую технику больших кассет, но с повышенным качеством звука...

Так хорошо было подготовлено и отлажено, что ни разу не потребовалось переписывать никакого куска вторично.

И – потекли мои передачи на родину с ноября 1987-го. Я слушал каждую и ликовал: что – а вдруг? – всё же успеваю и к опасностям нынешним...

Однако отзывы что-то долго не приходили к нам. Хотя «Голос Америки» дал липовую справку, будто мои передачи «слушало 33 миллиона», – но мы вскоре поняли: да в наступающую Эру Свободы кто там будет, разве по старой привычке, слушать «Голос Америки»? Теперь люди заняты другим: на их глазах совершается ход сегодняшней русской истории.

Так что – все мои старания пошли под откос, зря. «Март Семнадцатого» – опоздал-таки к новому Февралю.

(А. Солженицын. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Через непродёр»)

Опоздал!.. Не успел!.. Чуть бы раньше потекли на родину его передачи, – совсем по другому, по правильному пути пошел бы ход сегодняшней русской истории.

Но он не отчаивается, не теряет надежды, что положение ещё можно выправить, указав пробуждающейся от оцепенения стране истинный, единственно верный путь. И, уже не в первый раз прерывая – для более насущного и неотложного дела – работу над очередным узлом «Красного Колеса», создаёт свой знаменитый трактат: «Как нам обустроить Россию».

Центральная идея этого его труда – всё та же: не допустить гибельного для России скатывания в пропасть ненавистного ему «феврализма»:

...

...Воспрять – это не просто найти удобнейшую форму государственного строя и скороспешно сочинить к нему замечательную конституцию, параграф 1-й, параграф 45-й. Надо оказаться предусмотрительней наших незадачливых дедов-отцов Семнадцатого года, не повторить хаос исторического Февраля, не оказаться снова игрушкой заманных лозунгов и захлебчивых ораторов, не отдаться ещё раз добровольно на посрамление.

Решительная смена властей требует ответственности и обдуманья. Не всякая новозатейщина обязательно ведет прямо к добру. Наши несравненные в 1916 году критики государственной системы – через несколько месяцев, в 1917 получив власть, оказались совсем не готовы к ней и все загубили. Ни из чего не следует, что новоприходящие теперь руководители окажутся сразу трезвы и прозорливы...

Вот, в кипении митингов и нарождающихся партиек мы не замечаем, как натянули на себя балаганные одежды Февраля – тех злоключных восьми месяцев Семнадцатого года. А иные как раз заметили и с незрячим упоением восклицают: «Новая Февральская революция!»

(А. Солженицын. Как нам обустроить Россию)

Но на сей раз это – не просто упреждающий эмоциональный выкрик, а тщательно разработанный, всеохватный план, обстоятельно, в подробностях и деталях растолковывающий, ЧТО и КАК надо делать, чтобы такого катастрофического развития событий не допустить и «обустроить» Россию самым наилучшим образом.

Не зная, как определить жанр этого солженицынского текста, я, не очень в это вдумываясь, назвал его *трактатом* . Но трактат в обычном словоупотреблении это либо что-то научное, либо – дипломатическое (международный договор, соглашение). А это – ни то и не другое. Но и – не статья, не очерк, не фельетон.

Так что же?

Может быть, Александр Исаевич ненароком создал, изобрел какой-то новый, никогда прежде не существовавший литературный жанр?

Нет, что-то мне это напоминало.

Но – что?

И вдруг я понял: доклады Сталина на партийных съездах!

То же построение, та же структура. Та же разбивка на главки, каждой из которых дано свое, определенное название.

У Солженицына:

...

СЛОВО К ВЕЛИКОРОССАМ
СЛОВО К УКРАИНЦАМ И БЕЛОРУСАМ
СЛОВО К МАЛЫМ НАРОДАМ И НАРОДНОСТЯМ.
ПРОЦЕСС РАЗДЕЛЕНИЯ
НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ РОССИЙСКОГО СОЮЗА
ПРОВИНЦИЯ
СЕМЬЯ И ШКОЛА
СПОСОБЫ ГОЛОСОВАНИЯ
СТУПЕНИ ПЕРЕДАЧИ ВЛАСТИ
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ О ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЛАСТЯХ
СОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА

У Сталина:

...

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

РОСТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СССР

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЪЕМ МАТЕРИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ НАРОДА

ДАЛЬНЕЙШЕЕ УПРОЧЕНИЕ СОВЕТСКОГО СТРОЯ

ПРИБЛИЖЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ К НИЗОВОЙ РАБОТЕ

ПОДБОР КАДРОВ, ИХ ВЫДВИЖЕНИЕ И РАССТАНОВКА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ

КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

ТРУДНОСТИ РОСТА

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

Когда углубляешься в чтение каждой из этих главок (что у Солженицына, что у Сталина), сразу бросается в глаза сходство между ними не только структурное, но и содержательное, тематическое. И у того, и у другого речь о том, как должен быть устроен государственный аппарат, как должны складываться отношения высших «руководящих органов» власти с низшими, на какие силы и механизмы должна опираться центральная, а на какие – местная, муниципальная (у Сталина – советская, у Солженицына – земская) власть.

Лексика, да и стилистика у них, конечно, разная. Но даже и тут их сближает то, что Солженицын (как и Сталин), независимо от того, обращается ли он к политическому истеблишменту Советского Союза или к входящим в состав СССР народам (украинскому, белорусскому, малым народам и народностям), и с теми, и с другими говорит как ВЛАСТЬ ИМЕЮЩИЙ:

…

Крымским татарам, разумеется, надо открыть полный возврат в Крым. Но при плотности населения XXI века Крым вместителен для 8–10 миллионов населения – и стотысячный татарский народ не может себе требовать ВЛАДЕНИЯ им.

Сам я – едва не на половину украинец, и в ранние годы рос при звуках украинской речи. А в скорбной Белоруссии я провел большую часть своих фронтовых лет, и до пронзительности полюбил её печальную скудость и её кроткий народ.

К тем и другим я обращаюсь не извне, а как СВОЙ.

Братья! Не надо этого жестокого раздела! – это помрачение коммунистических лет. Мы вместе перестрадали советское время, вместе попали в этот котлован – вместе и выберемся.

Слово «братья» – не в противоречии с тем, что это говорит человек ВЛАСТЬ ИМЕЮЩИЙ. Сталин, когда это ему понадобилось, прибегнул к тому же обращению. («Братья и сёстры! К вам обращаюсь я, друзья мои...»)

Что же касается разницы между докладами Сталина на партсъездах и этим солженицынским «трактатом», то она, конечно, не только стилистическая.

Сталин говорит о достижениях, о победах: страна, преодолевая трудности роста, идёт правильным путем, и заботиться надо только о том, чтобы с этого единственно правильного пути НЕ СОЙТИ.

А Солженицын – о том, что страна в упадке, «в обвале», и думать надо о том, как вытащить её из того исторического тупика, в который её завели большевики, ВЫВЕСТИ на единственно правильный путь.

И тут сразу надо сказать, что в некоторых из предлагаемых им немедленных мер спасения страны было немало разумных и даже проницательных. Например, вот это:

...

«Советский Социалистический» развалится, всё равно (напоминаю, что писалось это в 90-м, за год до августовского путча 91-го года, окончательно похоронившего

надежды Горбачёва новым Союзным договором спасти СССР от распада. – Б. С.) – и выбора настоящего у нас нет, и размышлять-то не над чем, а только – поворачиваться проворней, чтоб упредить беды, чтобы раскол прошёл без лишних страданий людских, и только тот, который уже действительно неизбежен.

И так я вижу: надо безотложно, громко, чётко объявить: три прибалтийские республики, три закавказские республики, четыре среднеазиатских, да и Молдавия, если её к Румынии больше тянет, эти одиннадцать – да! – НЕПРЕМЕННО И БЕСПОВОРОТНО будут отделены.

(А. Солженицын. Как нам обустроить Россию)

Были у него и другие соображения, столь же разумные, но, увы, неосуществимые:

...

О Казахстане. Сегодняшняя огромная его территория нарезана была коммунистами без разума, как попадя: если где кочевые стада раз в год проходят – то и Казахстан. Да ведь в те годы считалось: это совсем неважно, где границы проводить, – ещё немножко, вот-вот, и все нации сольются в одну... А составлен-то он из южной Сибири, южного Приуралья, да пустынных центральных просторов, с тех пор преображённых и восстроенных – русскими, зэками да ссыльными народами. И сегодня во всем раздутом Казахстане казахов – заметно меньше половины. Их сплотка, их устойчивая

отечественная часть – это большая южная дуга областей, охватывающая с крайнего востока на запад почти до Каспия, действительно населенная преимущественно казахами. И коли в этом охвате они захотят отделиться – то и с Богом.

(Там же)

Хорошо бы, конечно, чтобы казахи согласились отделиться «в этом охвате». А ну как не согласятся? Будут претендовать на больший «охват»? Или, что всего верней (и как оно и вышло), будут требовать, чтобы независимый Казахстан оставался в тех границах, какие были ему даны при Советах?

Есть, есть у него и на это свой ответ:

…

…Реального отделения нельзя произвести никакой одноминутной декларацией. Всякое одностороннее резкое действие – это повреждение множества человеческих судеб и взаимный развал хозяйства…

С этого момента должны засесть за работу комиссии экспертов всех сторон. Не забудем и: как безответственнонебрежна была советская прометка границ. В каких-то местах может понадобиться уточнённая, по истинному расселению, в каких-то – и местные плебисциты под беспристрастным контролем.

Конечно, вся эта разборка может занять несколько лет…

(Там же)

Гладко вышло на бумаге. Но не было уже времени на то, чтобы создавать все эти комиссии экспертов и вводить местные плебисциты. Стремительный – и в самом деле обвальный – ход событий обгонял и давно уже обогнал все эти (и им подобные) государственные соображения и предположения.

Но были у Солженицына в этом его меморандуме и другие предложения, до принятия которых – и даже до понимания жизненной необходимости их принятия – те, к кому он обращался, не дозрели ещё и до сегодня.

…

…сегодня это звучит с тысячекратным смыслом: НЕТ У НАС СИЛ на окраины, ни хозяйственных сил, ни духовных. НЕТ У НАС СИЛ на Империю! – и не надо, и свались она с наших плеч: она размозжает нас, и высасывает, и ускоряет нашу гибель.

Я с тревогой вижу, что пробуждающееся русское национальное самосознание во многой доле своей никак не может освободиться от пространнодержавного мышления, от имперского дурмана, переняло от коммунистов никогда не существовавший дутый «советский патриотизм» и гордится той «великой советской державой»… Могла же Япония примириться, отказаться и от международной миссии и от заманчивых политических авантюр – и сразу расцвела.

Надо теперь жёстко ВЫБРАТЬ: между Империей, губящей прежде всего нас самих, – и духовным и телесным спасением нашего же народа…

Неужели Россия обеднилась от отделения Польши и Финляндии? Да только распрямилась. И так – ещё больше распрямимся от давящего груза…

(А. Солженицын. Как нам обустроить Россию)

Или – вот это:

…

…до каких же пор мы будем снабжать и крепить – неспособные держаться тиранические режимы, насаженные нами в разных концах Земли, – этих бездонных расхитчиков нашего достояния? – Кубу, Вьетнам, Эфиопию, Анголу, Северную Корею, нам же – до всего дело! и это ещё не все названы, ещё тысячами околачиваются наши «советники», где ни попало. И столько крови пролито в Афганистане – жалко и его упустить? гони деньги и туда?.. Это все – десятки миллиардов в год.

Вот кто НА ЭТО даст отрубный единомгновенный отказ – вот это будет государственный муж и патриот.

А до каких пор и зачем нам выдувать все новые, новые виды наступательного оружия? да всеокеанский военный флот? Планету захватывать? А это все – уже сотни миллиардов в год. И это тоже надо отрубить – в одночас…

А еще высится над нами – гранитная громада КГБ, и тоже не пускает нас в будущее. Прозрачны их уловки, что именно сейчас они особенно нужны – для международной разведки. Все видят, что как раз наоборот. Вся цель их – существовать для себя, и подавлять всякое движение в народе. Этому ЧКГБ с его кровавой 70-летней злодейской историей – нет уже ни оправдания, ни права на существование.

(Там же)

Золотые слова!

Интересно, помнил ли он про них, когда – 10–15 лет спустя, – обливая помоями Горбачёва, Ельцина и Гайдара, поддерживал возрождающийся (и возродившийся) режим, в фундаменте которого – всё та же «гранитная громада» со всей своей кровавой 70-летней злодейской историей. И руководители (как, впрочем, и рядовые сотрудники) этого ведомства, обозначаемого сейчас другой аббревиатурой (ФСБ), не стыдятся именовать себя *чекистами* .

Эту тему нам тоже не обойти. Но к ней я вернусь позже, в свой час. А пока скажу – не могу не сказать, – что в этих, и других таких же страстных его призывах мы узнавали того, прежнего Солженицына, которым восхищались, которого поддерживали, за которого болели двадцать лет тому назад – в конце 60-х, начале 70-х.

Но тут рядом с тем, прежним Солженицыным, отодвигая, заслоняя, загораживая его, постоянно возникал другой Солженицын. Тоже, увы, уже хорошо нам знакомый.

Приведу лишь некоторые пункты его генерального плана единственно правильного «обустройства» новой России:

...

> *...Перенимать бездумным перехватом чужой тип экономики, складывавшийся там веками и по стадиям,.. разрушительно...*
>
> *При географической обширности и бытовых условиях нашей страны прямые всегосударственные выборы законодателей в центральный парламент не могут быть плодотворны. Только выборы трех-четырехстепенные могут провести кандидатов и уже оправдавших себя и укорененных в своих местностях. Это будут выборы не отдалённых малознакомых людей, только и пофигурявших в избирательной кампании, но выборы по взаимному многолетнему узнаванию и доверию.*

...Не следует растрачивать народные силы жгучей и пристрастной избирательной кампанией в несколько недель или даже месяцев, когда главная цель – опорочить конкурента. Достаточно, если Всеземское Собрание выдвигает и тщательно обсуждает несколько кандидатур из числа урождённых граждан государства и постоянно живших в нем последние 7–10 лет... Надо искать форму государственных решений более высокую, чем простое механическое голосование...

В нашей истории для того есть прочное подобие: Земский Собор в Московской Руси. Как писал Д. Шипов: когда у нас собирались Земские Соборы, то не происходило борьбы между Государем и Соборами, и неизвестны случаи, когда бы Государь поступил в противность соборному мнению: разойдясь с Собором, он только ослабил бы свой авторитет. Соборность – это система доверия; она предполагает, что нравственное единство – возможно и достижимо...

Такому плану идеально могла бы соответствовать Дума (Соборная Дума? Государственная Дума?), собранная как бы от народной совести из авторитетных людей, проявивших и высокую нравственность, и мудрость, и обильный жизненный опыт...

Мнение без голосования – вовсе не новинка. Например, у горцев Кавказа долго держался порядок не общего голосования, а – «опрос мудрых».
(Там же)

Всё это – ох, как не ново!

Критики этой солженицынской программы «обустройства» России (а их было немало) определили её как *патриархальную утопию* .

Определение это было тоже не новым. Так в свое время характеризовали взгляды славянофилов, пьесы А. Н. Островского («москвитянского периода»), стихи Н. Клюева, библейские поэмы Есенина.

Но настроения эти затронули и других выдающихся российских интеллектуалов, взгляды которых, казалось, были бесконечно далеки от мировоззрения и мироощущения славянофильского толка.

Вот в высшей степени характерная запись из дневников Блока:

...

Почему «учредилка»? Потому что – как выбираю я, как все? Втемную выбираем, не понимаем. И почему другой может быть за меня? Я один за себя. Ложь выборная (не говоря о подкупах на выборах, которыми прогремели все их американцы и французы).

Надо, чтобы маленькое было село, свой сход, своя церковь (одна, малая, белая), свое кладбище – маленькое. На это – Ольденбург: великая культура может быть только в великом государстве. Так было всегда. О, это было, было, проклятая историческая инерция. А должно ли так быть всегда?..

Инстинктивная ненависть к парламентам, учредительным собраниям и пр. Потому, что рано или поздно некий Милюков произнесет: «Законопроект в третьем чтении отвергнут большинством».

Это ватерклозет, грязный снег, старуха в автомобиле, Мережковский в Таврическом саду,

собака подняла ногу на тумбу, т-те Врангель тренькает на рояле (блядь буржуазная), и все кончено...

Медведь на ухо. Музыка где у вас, тушинцы проклятые?

Если бы это – банкиры, чиновники, буржуа! А ведь это – интеллигенция!

Или и духовные ценности – буржуазны? Ваши – да.

Но «государство» (ваши учредилки) – не все.

Есть ещё воздух.

И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня:
Россия, Россия, Россия,
Мессия грядущего дня!..

(Александр Блок. Собр. соч. в восьми томах, т. 8. М.-Л. 1963. Стр. 315.)

В этой неприязни к западным формам, к буржуазной пошлости, в готовности принять все, любой хаос, любой мрак, только бы не сытое, пошлое буржуазное благополучие, Блок дошел до предела. Он выразил это чувство острее, сильнее, безогляднее, горячее, чем кто бы то ни было. Но в этом своём безумии он был не одинок.

Примерно так же рассуждали тогда многие куда более спокойные, сдержанные, хладнокровные люди.

Вот что писал почти в это же время (3 апреля 1919 года) Владислав Ходасевич:

...

Пусть крепостное право, пусть Советы, но к черту Милюковых, Чулковых и прочую «демократическую» погань. Дайте им волю – они «учредят» республику, в которой президент Рябушинский будет пасти народы жезлом железным, сиречь аршином. К черту аршинников!.. Россию, покрытую бюстом Жанны Гренье, Россию,

«облагороженную» «демократической возможностью» прогрессивного выращивания гармонических дамских бюстов, – ненавижу, как могу.

(Владислав Ходасевич. Некрополь. Воспоминания. Литература и власть. Письма Б. А. Садовскому. М. 1966. Стр. 362)

В учебниках истории, по которым мы учились, говорилось, что Ленин открыл Советы, открыл советскую власть как высшую форму демократии, неизмеримо более истинную, нежели буржуазный парламентаризм.

И вот, в эту сказку – на какой-то момент – поверили даже такие люди, как Блок и Ходасевич.

Их тошнило от буржуазной пошлости, от ненавистных им форм западного парламентаризма («Пусть крепостное право, пусть Советы...») – вот и получили советскую власть и крепостное право сталинского ГУЛАГа.

У Солженицына, который, в отличие от них, на собственной шкуре испытал все прелести ГУЛАГа и стал главным его разоблачителем, казалось, против этого ленинского мифа должен быть особенно прочный иммунитет. Но вот, и он тоже в своей ненависти к западной, буржуазной демократии СОВПАЛ С ЛЕНИНЫМ.

И даже со Сталиным:

...

В советской показной и лживой государственной системе присутствуют, однако, и верные, если честно их исполнять, элементы. Таков – Совет Национальностей, палата, где должен быть услышан, не потерян голос и самой наималейшей народности. И вместе с тем справедлива нынешняя иерархия: «союзных республик» – автономных республик – автономных областей – и национальных округов. Численный вес народа не должен быть в пренебрежении, отказываться от

этой пропорциональности – путь к хаосу; так может прозябать ООН, но не жизнеспособное государство.

(А. Солженицын. Как нам обустроить Россию)

На эту тему можно было бы порассуждать и подробнее. Но я обратился к солженицынскому плану государственного устройства новой России не для того, чтобы обсуждать его, анализировать, оспаривать или разоблачать..

Меня этот солженицынский текст интересует как некий *психологический феномен* .

Не могу забыть его выступление по телевизору, в котором он выразил свое отношение к тому, что этот его план руководством страны не был принят во внимание.

Разводя руками, он воскликнул:

– Сорок миллионов! Сорок миллионов тираж! И – ничего!.. Всё заболтал Горбачев!

Не обида звучала в этом его возгласе. И не возмущение, не раздражение, не гнев, а – искреннее и даже какое-то наивное недоумение.

Как могло такое случиться? Ведь всё же был расписано – подробно, по пунктам и параграфам. Цели ясны, задачи определены. Только одно оставалось теперь – принять этот его план к исполнению и начать действовать.

– И – ничего! Всё заболтал Горбачев!

* * *

В апреле 1984 года Александр Исаевич написал, – и тогда же и напечатал (в парижском «Вестнике РХД», № 42, 1984) большую статью о Пушкине. Она называлась «...Колеблет твой треножник».

По причинам, о которых я уже упоминал, отдельные номера этого журнала тогда до меня доходили. Дошел и этот.

Прочитав эту солженицынскую статью, я изумился.

Изумила меня не концепция её – никакой другой концепции от Солженицына в то время я уже не ждал. Не ждал я от него тут и каких-то особенных литературоведческих откровений. Но, приступая к чтению статьи, все-таки предвкушал, что наверняка окажется в ней что-нибудь для меня интересное. Не может ведь быть, чтобы у такого человека, как Солженицын, если уж он вдруг решил обратиться к Пушкину, не нашлось в запасе каких-то своих, небанальных соображений – или хоть впечатлений или

наблюдений – о том, кого «как первую любовь, России сердце не забудет».

Увы, ничего такого я в этой статье не обнаружил.

Зато уж идеологию свою в ней Александр Исаевич, как было сказано в одном рассказе Зощенко, развернул в полном объеме:

...

Пушкин пропитан русской народной образностью; в общей сродности с народной основой и его христианская вера. Она выражается в форме народного благочестия, которое он естественно перенимает из народной стихии: «Пречистая и наш божественный Спаситель». Тут и нянино венчанье – «Так, видно, Бог велел», и предсмертный земной поклон Пугачева кремлевским соборам, и весь колорит «Бориса Годунова», и православный подвижник Пимен, и прямая защита православия в письме к Чаадаеву. С сочувствием и пониманием комментирует наш поэт и «Словарь святых», не боясь вольтерьянского хохотка. Не сочтешь поэтической игрой переложение двух молитв. Не сочтешь и простым разговорным оборотом:

Веленью Божьему, о Муза, будь послушна.

Вера его высится в необходимом, и объясняющем, единстве с общим примиренным мирочувствием:

Туда б, в заоблачную келью, В соседство Бога скрыться мне...

Пушкин принимает действительность именно такою, как её создал Бог. У него нет «онтологического пессимизма, онтологической хулы на мир...», но хвала ему; и «русская литература в

целом была христианской в ту меру, в какой она оставалась, на последней своей глубине, верной Пушкину» (о. А. Шмеман)… Вот этим оздоровляющим жизнечувствием Пушкин и превозвысил надолго вперед и русскую литературу уже двух веков, и сегодняшнюю смятенную, издерганную западную. («Вестник РХД», № 42, 1984. Стр. 149–151).

В этом одном абзаце – вся квинтэссенция идеологии, которую «под флагом Пушкина» всучивает нам Александр Исаевич. Тут и православие, и народность, и традиционная гримаса в сторону «смятенного, задерганного» Запада.

С помощью такой мозаики, составленной из надерганных отовсюду и тенденциозно истолкованных цитат, можно легко подогнать Пушкина под ЛЮБУЮ идеологическую схему. В том числе и полярно противоположную солженицынской.

Например, вот так:

Творчество Пушкина пронизано духом европейского свободомыслия, вольтерьянского атеизма. Тут и глумление над христианскими святынями, прямая насмешка над верой в то, что Иисус Христос был сыном Божиим:

Всевышний Бог, как водится, потом
Признал своим еврейской девы сына…

И нередкое упоминание имени Божьего всуе, даже в откровенно ироническом контексте:

Гроза двенадцатого года
Настала – кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский Бог?

Пушкин не приемлет действительность такой, какой её создал Бог, нередко даже ропщет на Бога:

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал…

Жизнь, «не напрасно» данная нам Богом, представляется ему

убогой мышиной возней, лишенной высшего смысла:

Жизни мышья беготня...

Ну, и так далее, в том же духе. Длить этот перечень «аргументов» можно до бесконечности.

Еще легче набрать по такому же принципу цитат из Пушкина, доказывающих, что он был пламенный борец с самодержавием, сочинял революционные прокламации в стихах, прямо призывал к революционному террору («Кинжал»).

Именно этим, как мы знаем, на протяжении многих лет занималась официальная советская пушкинистика. Но, ей-Богу, даже она делала это не так грубо и примитивно, как это делает Солженицын.

У него в дело идет любая пушкинская строка, любое слово, независимо от того, когда, зачем и почему оно было сказано, – лишь бы только можно было поставить его на службу «единственно верного учения».

Вот, например, как восторженно комментирует он лицейское стихотворение Пушкина «Неверие»:

...

18-летний юноша так разветвленно описывает отроги неверия, этих мук, когда

Ум ищет Божества, а сердце не находит...

Во храм Всевышнего с толпой он молча входит,
Там умножает лишь тоску души своей,

а между тем

Завесу вечности колеблет смертный час,

приводя к открытию, что

Лишь вера в тишине отрадою своей Живит унылый дух и сердца ожиданье.

В наше время не каждому и в 60 лет доступно такое видение... (Стр. 138).

Звучит вроде убедительно. Но каждый не предвзятый

читатель, который не поленится открыть пушкинский том и прочесть это стихотворение от начала до конца, сразу же убедится, что нету в нем ну решительно ничего от подлинного Пушкина, уже в то время поражавшего никому кроме него не свойственной гибкостью и свободой поэтической речи. Читатель чуть более чуткий сразу же догадается, что перед ним **стихи на заданную тему.** А заглянув в комментарий, он найдет подтверждение этой своей догадке, узнав, что означенное стихотворение Пушкин читал на выпускном экзамене по русской словесности 17 мая 1817 года, и что тема его скорее всего «предложена была Пушкину профессорами».

На собственные свои, никем ему не подсказанные темы Пушкин **в это же самое время** уже писал иначе. Например, так:

Мой друг! неславный я поэт,
Хоть христианин православный.
Душа бессмертна, слова нет,
Моим стихам удел неравный –
И песни музы своенравной,
Забавы резвых, юных лет,
Погибнут смертию забавной,
И нас не тронет здешний свет!
Ах! ведает мой добрый гений,
Что предпочел бы я скорей
Бессмертию души моей
Бессмертие своих творений.

Конечно, выдернув отсюда строку, в которой Пушкин признается, что он «христианин православный», можно было бы и её тоже приобщить к аргументам, подтверждающим убедительность солженицынской схемы. Но эта простая мысль ни самому Солженицыну, ни могочисленным его последователям почему-то в голову не пришла. То ли строка эта просто не попалась им на глаза, то ли все-таки оттолкнул легкий, полуиронический тон дружеского послания, из которого эту строку пришлось бы искусственно выдирать.

Но и без этой строки «аргументов» у Солженицына хватает.

Полемизируя с книгой Андрея Синявского «Прогулки с Пушкиным» (жанр которой он определяет замечательным, специально для этого случая изобретенным словом «червогрыз»), а заодно и со всеми советскими интерпретаторами пушкинского творчества, он разворачивает перед читателем целый фейерверк цитат, долженствующих показать нам утаенного от советского читателя, **истинного** Пушкина:

Мы постепенно вступаем в объем неизъеденный ходами критиков. Мы оглядели, что они в Пушкине изрыли, – но ещё остается: от чего уклонились, а без этого и картины нет.

С какой уверенностью и знанием возражает Пушкин Чаадаеву:

«Что касается нашего исторического ничтожества, я положительно не могу с вами согласиться... (следует беглый обзор событий). Разве вы не находите чего-то величественного в настоящем положении России?.. Клянусь вам честью, что ни за что на свете я не захотел бы переменить отечество, ни иметь другой истории, как историю наших предков, такую, как нам Бог её послал».

Или в очерке о Радищеве:

«Умствования его пошлы и неоживлены слогом... охотнее излагает, нежели опровергает доводы чистого атеизма... думал подражать Вольтеру, потому что он вечно кому-нибудь да подражал... Истинный представитель полупросвещения».

И о «Путешествии» его, этих святцах российской ревдемократии:

«...Сатирическое воззвание к возмущению... Варварскй слог... Бранчливые и напыщенные выражения... желчью напитанное перо... Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а «Путешествие в Москву» весьма посредственной книгой...»

...А еще ж о Соединенных Штатах, 150 лет назад:

«С изумлением увидели демократию в её отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках, в её нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую – подавленное неумолимым эгоизмом и страстью к довольству...

(Стр. 146–147).

Что тут можно сказать?

Во-первых, не такой уж он утаенный – этот предъявленный нам «новый» Пушкин.

Слова Пушкина о том, что он ни за что не хотел бы переменить отечество (к ним мы ещё вернемся), навязли в зубах, до того часто их цитировали. А что касается его инвективы американской демократии, так она затрепана ещё того больше. Редкая политическая статья времен «холодной войны» обходилась без этой знаменитой цитаты, в которой Пушкин ещё полтораста лет назад якобы разглядел зловещий лик американского империализма. (Ново у Солженицына только то, что у него эта цитата призвана подтвердить обоснованность неприязни Пушкина не к империализму, а к демократии, которую – вот, оказывается, – и сам Пушкин не больно жаловал.)

Это к вопросу о том, так ли он уж был нам неведом, этот «не изъеденный ходами критиков» Пушкин.

А теперь – о том, в какой мере этого отобранного и предъявленного нам Солженицыным Пушкина можно считать истинным.

Когда-то, давным-давно поэт Михаил Львовский сочинил выразительный «Монолог цитаты» – язвительную сатиру, разоблачающую хорошо нам знакомые литературные нравы. В этом монологе некая цитата рассказывает о своей многострадальной жизни. Сперва – о том, как она была молода, чиста и непорочна, когда все её «точно сверенные строки служили истине одной». Затем о том, как она «потеряла невинность»: это случилось, когда её в первый раз истолковали превратно. И вот, наконец, наступил самый страшный в её жизни момент: в каком-то отчаянном споре два оппонента, ухватившись за разные её концы, в азарте драки **разорвали её пополам** :

Две сокрушительных цитаты

Образовались из одной.
И руку поднял брат на брата,
На брата брат пошел войной.
Друг друга лупят как попало,
Про общий смысл забыв давно,
А порознь в братьях смысла мало,
Ведь между ними было «НО»!

Именно так обстоит дело у Солженицына с известными пушкинскими словами: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не захотел бы переменить отечество, и иметь другой истории, как историю наших предков...»

Слово «Клянусь», начинающее эту фразу, у Солженицына написано с прописной, заглавной буквы. У Пушкина же оно писалось со строчной, поскольку фраза эта – не фраза, а **половина** фразы, которой предшествовала **другая половина** . И между этими двумя половинами, точь-в-точь как в случае, о котором повествует в своей сатире Львовский, стояло «НО».

Полностью вся фраза у Пушкина выглядела так:

...

Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человек с предрассудками – я оскорблен, – НО клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество... И т. д.

Разорвав цитату и вычленив из неё то, что было ему нужно, Солженицын, быть может, и не так уж сильно извратил мысль Пушкина. Но он бесконечно её обеднил.

Письмо, откуда эта фраза извлечена, было адресовано опальному Чаадаеву. Пушкин так и не отправил его адресату, узнав о правительственных гонениях, вызванных опубликованием первого чаадаевского «Философического письма». Но, даже ещё не зная об этих гонениях, он писал свое письмо, тщательно выбирая выражения, ибо имел все основания опасаться перлюстрации. (Может быть, отсюда и слова о сердечной привязанности к государю). Однако, даже предполагая, что письмо будет прочитано в Третьем отделении, он говорит, что

далеко не в восторге от всего, что видит вокруг себя.

Вот ещё несколько слов из того же письма:

...

Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь – грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству – поистине могут привести в отчаяние.

(19 октября 1836 года).

Российская действительность часто – слишком часто! – приводила Пушкина в отчаяние.

Бессмысленно и нелепо спорить о том, какой Пушкин – настоящий. Тот ли, который говорил, что ни за что на свете не хотел бы переменить отечество, или тот, который писал Вяземскому:

...

Я конечно презираю отечество мое с головы до ног... Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России?

(27 мая 1826 года).

Не стоит, вероятно, даже и гадать, когда Пушкин был искреннее: тогда ли, когда сочинял свою хулу на Радищева, или когда написал в одном из вариантов «Памятника»: «Вослед Радищеву восславил я свободу».

Настоящий, реальный Пушкин **антиномичен** . Мысль в сознании Пушкина неразрывно связана со страданием («Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...»), потому что живая, страдающая мысль его постоянно мечется между двумя полярностями, двумя непримиримостями: стремлением верить в Божественный Промысел и ужасом от сознания бессмысленности жизни, сыновней привязаностью к родине и отталкиванием от неё («...Ни за что на свете не хотел бы я переменить отечество...» – «Черт

догадал меня родиться в России!..»), восторженно-патетическим отношением к славе и блеску империи и неизменной приверженностью духу Свободы.

Именно поэтому Пушкин и не поддается какой бы то ни было идеологизации.

Строго говоря, идеологизации не поддается любое истинно художественное явление. Но попытка затолкать именно Пушкина в какие-либо идеологические, «партийные» рамки особенно смехотворна. Не только потому, что заведомо обречена на провал, но ещё и потому, что убийственным образом **разоблачает** каждого, кто пытается такую попытку предпринять.

Но почему же в таком случае Солженицын для того, чтобы «развернуть свою идеологию во всем объеме», выбрал именно Пушкина?

Насколько легче было бы ему справиться с этой задачей, если бы для утверждения и пропаганды своих идей он выбрал, скажем, Тютчева. Или – Достоевского. На худой конец – Лескова.

Но, во-первых, – «где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легче?».

Нельзя исключать, что он искренне верил, что вот, сейчас откроет миру настоящего, истинного Пушкина, расчистит его лик от наслоений лживой интерпретации советского литературоведения. То есть – что тут действовала все та же, владевшая им, мощная энергия заблуждения.

Да, наверное, было и это.

Но главным стимулом, толкнувшим его на это сомнительное предприятие, было то коренное, сущностное свойство его личности, которое сближало его с Лениным: добровольно взваленная им на свои плечи миссия идеолога, вождя.

* * *

В начале 90-х, что ни день, открывались нам все более мощные пласты нашей культуры, долго бывшие под запретом. Выходили в свет книги, о появлении которых ещё недавно нельзя было даже и мечтать, а чудом сохранившиеся старые, дореволюционные их издания если и попадались когда в букинистических магазинах, выдавались из-под прилавка, тайком, и не каждому, а лишь редким, проверенным знатокам и ценителям.

Уже несколько лет прошло с тех пор, как со скрипом открылись ворота первого шлюза, и хлынул этот поток. А я все не переставал радоваться, что сподобился дожить до того, что эти

книги открыто лежат теперь не только на прилавках магазинов, но и на уличных лотках, чуть ли не во всех станциях метро и подземных переходах, что «народ» нынче может унести домой «с базара» книги Николая Бердяева и Сергея Булгакова, Льва Шестова и Василия Розанова.

Радоваться-то я радовался. Но эта моя радость была отравлена. И не какой-нибудь там чайной или даже столовой ложкой, а целыми канистрами добротного отечественного дегтя. Поневоле вспоминался старый анекдот, согласно которому даже самые простые хирургические операции (такие, например, как удаление гландов), в нашей стране делаются через задний проход.

Особенно запомнился мне такой случай.

Появился тогда на прилавках книжных магазинов довольно объемистый том Константина Леонтьева. Приятный формат. Красивый переплет. Предисловие, патетически озаглавленное «Жизнь и судьба неузнанного гения». Все честь по чести. Но завершалось это предисловие таким изумительным пассажем:

...

Для той части отечественной интеллигенции, которая ведет свою родословную от Андрея Курбского и Александра Радищева, Павла Пестеля и Александра Герцена, Александра Керенского и Льва Троцкого, Всеволода Мейерхольда и Осипа Мандельштама, Виктора Шкловского и Василия Гроссмана, Константин Леонтьев всегда будет представляться подозрительным «туземцем», «ретроградом», «шовинистом», «врагом демократии и прогресса». Для другой части отечественной интеллигенции, ведущей свою родословную от Сергия Радонежского и Аввакума Петрова, Михаила Ломоносова и Николая Карамзина, Александра Пушкина и Федора Достоевского, Михаила Глинки и Модеста Мусоргского, Константин Леонтьев обретает

значение одного из самых мужественных правдолюбцев и наставников возрождающейся России.

Прочитав это, я задумался. По какому же все-таки приципу разделил автор этого предисловия выдающихся деятелей отечественной истории на овец и козлищ?

Напрашивалось самое простое объяснение. В первый список попали евреи (этим, вероятно, и объясняется сведение в одну обойму таких несхожих, бесконечно далеких друг от друга фигур, как Троцкий, Мандельштам и Василий Гроссман). А во второй – коренные русаки. Так сказать, чистокровные арийцы.

Во втором списке при таком раскладе картину слегка портит Пушкин, которого в чистокровные арийцы не запишешь. Но какой же список российских святых и гениев может обойтись без Пушкина? Пушкину приходится прощать его нечистокровность. Тут ничего не поделаешь.

А вот с первым списком так гладко не получается. С грехом пополам ещё можно объявить евреями Мейерхольда и Шкловского. На худой конец – даже Герцена с Пестелем. Ну, не евреями, так инородцами. (Фамилии-то нерусские). Но как быть с Александром Федоровичем Керенским? Он-то – за что?.. Ну, ладно. Насчет Керенского, быть может, кто-то ввел автора статьи в заблуждение, намекнув, что у того с родословной`все не так чисто, как принято думать. А Радищев? А князь Курбский?.. Неужели и они тоже на подозрении?

Нет, наверное, все-таки первая моя догадка тут не годилась. Дело было, видимо, не в евреях. И не в инородцах. Во всяком случае, не только в них.

Может быть, в первый список попали масоны? Это предположение было хорошо тем, что объясняло загадочное появление в нем Керенского. Он-то уж точно был масон. Да и Радищев, кажется, тоже. Масоном, правда, был и Пушкин, а он – в другом списке. Но Пушкину, как уже было сказано, приходится прощать многое.

Троцкий, Мандельштам, а уж тем более Василий Гроссман масонами вроде не были. В чем другом, а в этом их не заподозришь. Но это как раз объяснить можно. Список, очевидно, составляли не из масонов, а жидо-масонов. Одни из помянутых в нем представляют масонов, а другие – жидов.

Но тут непонятно было, как и почему в этой компании оказался князь Курбский. Да и Герцен как будто тоже масоном не был...

Нет, видимо, и от этого объяснения мне надо было отказаться.

Скорее всего, в первый список попали антипатриоты, бунтовщики. (Чем и объясняется соседство Курбского и Радищева с Керенским и Троцким). А во второй, соответственно, – патриоты, верные слуги престола, готовые душу положить «за веру, царя и отечество.» (Потому-то, видно, и не нашлось в этом списке места не только для какого-нибудь Антона Рубинштейна, но даже и для Петра Ильича Чайковского. А для Глинки – нашлось: он «Жизнь за царя» написал).

Но и с этим объяснением не все выходило гладко. Неувязка получается во-первых, все с тем же Пушкиным, который, как известно, не очень-то ладил с царями. Опять этот Пушкин! И тут он нам всю картину портит! Но ещё хуже то, что не вполне укладывались в эту схему и такие деятели отечественной истории, как протопоп Аввакум и Ломоносов. Тоже ведь были бунтовщики изрядные...

Вероятно, можно было попытаться отыскать ещё какое-нибудь объяснение. Но можно не сомневаться, что и оно оказалось бы таким же несостоятельным, как и все предыдущие.

Вспомнил я тут все это не для того, чтобы лишний раз позубоскалить насчет модных нынче историософских концепций неославянофильского, – а лучше сказать черносотенного – толка. Поразило меня тогда в этих двух противостоящих друг другу списках – совсем другое: удивительное сходство логики автора этого комического предисловия с хорошо всем нам знакомой схемой, предложенной сто лет тому назад куда более известным, хотя и не модным нынче автором.

...

> *Есть две нации в каждой современной нации, – утверждал он. – Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре. Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве, – но есть также великорусская культура, характеризуемая именами Чернышевского и Плеханова.*

Тем, кто не вспомнил, кому принадлежит эта чеканная

формулировка, которую нам вдалбливали на лекциях и семинарах, – напоминаю: Ленин. «Критические заметки по национальному вопросу». В годы моей юности это именовалось так: «Учение Владимира Ильича Ленина о двух нациях в каждой нации».

Автор разбираемого мною предисловия, судя по всему, это учение усвоил крепко.

Впрочем, дело тут, как легко можно догадаться, не в нем одном. Сказанное мною о нем в полной мере относится ко всем его единомышленникам. Все они – верные ленинцы. Разница между их схемами и схемой основоположника великого учения – невелика. В сущности, тут даже и нет никакой разницы. Алгебраическая формула – одна и та же. Меняются только знаки. У Ленина – великий Чернышевский и «архискверный Достоевский». У них, соответственно, – наоборот.

Перед нами все та же старая ленинская схема, только вывернутая наизнанку.

Впрочем, справедливости ради следует отметить, что в некоторых отношениях ученики превзошли учителя. Для них весь мир, вся вселенная, все человечество делится только на «русских» и «евреев». Русские – это Сергий Радонежский и Аввакум Петров, Федор Достоевский и Константин Леонтьев... А «евреи»... Добро бы ещё, если бы в эту графу попали только Мейерхольд и Виктор Шкловский, в жилах которых, кажется, и в самом деле была какая-то капля еврейской крови. Но логика классовой (виноват, расовой) борьбы не признает никаких исключений. Торжествует великий ленинский принцип: кто не с нами, тот наш враг. И вот уже в «евреи» зачисляются Андрей Курбский и Александр Радищев, Павел Пестель и Александр Герцен!

Ленин, надо полагать, был бы слегка изумлен таким оборотом. Может быть, даже, он бы его и не одобрил. Но это, в конце концов, уже частность. Важно, что основные принципы великого ленинского учения о двух нациях в каждой нации по-прежнему живут и торжествуют.

И с наибольшей отчетливостью это их торжество выразилось в идеологических построениях Главного Идеолога нынешних неославянофилов Александра Исаевича Солженицына.

* * *

Перед Лениным, когда он создавал это свое «учение о двух нациях в каждой нации» возникла одна, казалось бы, непреодолимая трудность.

Не совсем понятно было, как при этой его схеме надлежало поступить с Л. Н. Толстым. С этой глыбой... С этим матерым человечищем...

В нацию Чернышевских и Плехановых его не зачислишь. Но и в нацию Пуришкевичей и Гучковых тоже не затолкнешь.

Обойти его, сделать вид, что этой «глыбы» как бы даже вовсе и не существовало в русской культуре – тоже было невозможно. Тут надо было найти какой-то другой выход. И Владимир Ильич его нашел, написав знаменитую свою статью «Лев Толстой как зеркало русской революции».

Для Солженицына в его идеологической конструкции такой проблемой, какой для Ленина был Л.Н. Толстой, стал Пушкин. Его тоже ни объехать, ни обойти. Он ведь – «НАШЕ ВСЁ».

Но к славянофилам его не причислишь: явный западник. И – «чёрт меня догадал родиться в России...». И – «Вослед Радищеву восславил я свободу...»

С этим надо было что-то делать.

И вот Александр Исаевич находит из этого идеологического тупика, в который сам же себя и загнал, тот же выход, какой некогда нашел Ленин, ухитрившийся поместить Л. Н. Толстого в свою идеологическую схему, постаравшись – по возможности – её не разрушить.

И тут с сожалением я должен отметить, что Владимир Ильич со своей задачей справился не в пример лучше, во всяком случае, с куда меньшими потерями, чем Александр Исаевич со своей.

* * *

Тут надо ещё принять во внимание особое отношение Александра Исаевича к критике.

Критику, вообще-то говоря, мало кто любит. Что говорить: выслушивать комплименты куда приятнее, чем прислушиваться к критическим замечаниям, а тем более соглашаться с ними.

Но настоящему художнику комплименты не нужны. То есть нужны, конечно. Но они его не греют. Во всяком случае, куда больше, чем комплименты и даже восторги, его душу греет понимание читателя. И за это понимание, – если он таковое почувствовал, – он готов простить ему любую критику, любые, даже несправедливые придирки.

Но Александру Исаевичу одного только понимания было мало. Ему нужна была победа. Выражаясь языком военных реляций, полная и безоговорочная капитуляция. И всякого своего читателя, который к такой полной капитуляции не был готов, он

тут же, сходу зачислял во враги.

Случилось так, что в то самое время, когда я писал этот раздел этой главы, у меня в руках оказалась только что вышедшая в свет книга: «Л. Пантелеев – Л. Чуковская. Переписка. 1929–1987».

Я накинулся на неё с жадностью и проглотил, что называется, единым духом. Немудрено: обоих участников этого многолетнего эпистолярного диалога я хорошо и близко знал. И обоих высоко ценил. О своих отношениях с Лидией Корнеевной я уже не раз упоминал на этих страницах. А Алексей Иванович Пантелеев, автор самых любимых книг моего детства («Республика Шкид», «Пакет», «Часы») стал героем первой моей маленькой монографической книжечки: с этого и началось мое с ним знакомство.

Читая эту «Переписку», я чуть ли не в каждом письме натыкался на имена хорошо мне знакомых, а иногда и близких людей.

Во многих письмах мелькало и имя А. И. Солженицына.

Чаще, впрочем, они в своих письмах называли его не по имени – и не по фамилии. Для обозначения этого героя их переписки было у них свое, особое слово: «Сверхрадость».

Началось это с того, что Алексей Иванович, оказавшись однажды ненадолго в Москве, посетил Лидию Корнеевну, а у неё в то время гостил Солженицын, с которым ему, таким образом, представился случай познакомиться, о чем в одном из писем к ней он высказался так:

...

> *Короткий визит наш к Вам был озарен неожиданной, дополнительной радостью, сверхрадостью.*
>
> *(Л. Пантелеев – Л. Чуковская. Переписка. 1929–1987. М. 2001. Стр. 277)*

С этого и пошло. И иначе как «Сверхрадость» они с этого момента в своих письмах Александра Исаевича не называли.

«Нас посетила Сверхрадость», – мимоходом сообщает в одном из писем Л. К. *(Стр. 315).*

«Не напомните ли Вы мне, какие положительные отклики о «Überfreude» *(«Сверхрадости». – Б. С.)* были в нашей прессе», – вторит ей Алексей Иванович. *(Стр. 321)*

А одно из своих писем, ещё даже не начав его, только поставив дату, Л. К. отмечает:

«11 дек. 73. День рождения Сверхрадости». *(Стр. 381).*

В оценке «Сверхрадости» – и его книг, и его общественного и личного поведения – они неизменно бывали единодушны. Но однажды возник у них по этому поводу такой диалог.

...

ИЗ ПИСЬМА А. И. ПАНТЕЛЕЕВА – Л. К. ЧУКОВСКОЙ.

3 марта 1969 г.

Меня интересует такой вопрос.

Я знаю, как трудно такому большому таланту, как А. И., жить без читателя (широкого), но ведь писателю нужны не только читатели-почитатели, но и критика (Вы понимаете, конечно, что я имею в виду не Кожевникова или Корнейчука). Принимает ли он её? Терпим ли он к ней? Когда-то я спорил с Александрой Иосифовной, которая критиковала с присущею ей нервностью некоторые страницы «корпуса». Я не соглашался. А на днях по радио (кстати сказать, в отвратительном чтении диктора) страницы, где рассказывается о каком-то «романе» Костоглотова, и был огорчен тем, что эта «история любви», сохраненная мужской памятью автора пошла в такую широкую аудиторию.

(Л. Пантелеев – Л. Чуковская. Переписка. 1929–1987. М. 2011. Стр. 282–283)

...

Л. К. ЧУКОВСКАЯ – А. И.

ПАНТЕЛЕЕВУ

16 марта 69 г.

Дорогой Алексей Иванович, постараюсь ответить на Ваш вопрос.

Он – человек чрезвычайно умный и потому критику любит, ценит, очень обдумывает. Мелким самолюбием, к счастью, не ослеплен. Хочет критики. И при этом, к сожалению, Вы попали в больную точку: с критикой неблагополучно.

Причины сложны.

Прежде всего: работает он по 12–14 часов в сутки. (Я не преувеличиваю.) У него «план», от которого он не отступает, в «план» входят и дни нерабочие, но они тоже наполнены и переполнены. Поэтому критиков своих он ставит в положение ответственнейшее, да и технически труднейшее. Не всякий способен выдержать требуемые темпы.

Но даже и не в этом главная трудность – во всяком случае, для меня…

У него не только жизненный опыт другой (и огромный), у него и пути мысли совсем другие. Даже к тому, в чем мы совпадаем, он пришел другим способом, по другой дорожке. Вот я, Александра Иосифовна, Туся, Фрида – все мы при разнице характеров люди одного типа образования, уровня интеллигентности; мы на один и тот же манер, любим, скажем, стихи – и список любимых поэтов у нас в обшем один, хотя и с вариантами. Он любит вещи другие, не любимые нами или даже незнакомые нам, а нашими любимыми он не живет. И многого

просто не знает. (Хотя вообще узнает все, что хочет узнать, со сверхъестественной быстротой и легкостью. Он образован, читает то, что ему нужно, а «просто так» – нет.)

Слух к языку гениальный. Вкус, на мой взгляд, недостаточный. Иногда на его суждениях видишь печать провинциализма, дурного воспитания, убогой среды.

Анна Андреевна когда-то говорила мне: «– Лев Толстой, конечно, был полубогом, но иногда в него вселялся дух одной из его тетушек».

Так и тут. Гениальный ум – и вдруг вы чувствуете душевные и умственные навыки, суждения, всосанные с молоком матери в провинциальном южном глубоко обывательском городе. И становитесь в тупик от неожиданности и досады…

Живет он трудно, очень жестоко к себе и доблестно. Оторвавшись от работы, приезжает в Москву по делам и старается в 3 дня прокрутить то, на что надо по меньшей мере дней 10. По улицам не идет, а бежит, с друзьями говорит скороговоркой: ему некогда, он торопится обратно, к прерванной работе, домой. От спешки и городской жизни, которую он не переносит, у него постоянно повышается давление, он перестает спать…

Всё это я пишу Вам , только Вам, дорогой друг, потому что я уже имею опыт, уже видела, как самые простые вести о нем превращаются в глупых устах в черт знает что и глубоко его ранят. А ран у него и так

довольно, и без яда сплетен.

Если бы я верила в Бога, я молилась бы за него. А так – только могу беспрерывно тревожиться – и то про себя... Вслух – запрещено.
(Там же. Стр. 283–285)

Как уже не раз было говорено (да и из этого её письма это видно), Солженицына Л. К. боготворила. Но, будучи человеком исключительной правдивости, солгать (даже веря, что это будет «ложь во спасение»), не могла.

Эта нелицеприятная характеристика её кумира интересна вся, целиком, со всеми её ответвлениями и подробностями. Но сейчас я хочу выделить только одну её фразу:

...

Слух к языку гениальный. Вкус, на мой взгляд, недостаточный.

Фраза, по правде говоря, странноватая.

Не сама по себе, а именно применительно к Солженицыну, у которого многочисленные провалы вкуса, часто вопиющие, связаны как раз с полным отсутствием вот этого самого «слуха к языку».

Обладая таким слухом, он не смог бы, – рука бы не повернулась! – написать, что «государь облегчился». Разве только, если бы хотел сообщить, что у его императорского величества в тот день хорошо работал желудок.

Или вот такой его языковой перл:

...

...русские за границей усачиваются в чужеземную почву.

(Угодило зёрнышко промеж двух жерновов)

Обладая не то что гениальным, а самым элементарным «слухом к языку», можно ли не услышать, с каким русским глаголом невольно сопрягается – по звучанию – это выдуманное им уродливое словечко: «усачиваются».

И это не отдельные, более или менее редкие, случайные

проявления некоторой, скажем так, причудливости его **слуха к языку** .

Это у него – **система** :

…

К навирным речам присоединил свою рецензию и знакомый нам Роберт Кайзер.

Очунаюсь : да может, эта пустоголосица в чём-то и наставительна?

…сколько в разных местах покозырено…

…звучат переливы от соединившихся трёх ручьёв – тут, рядом, в тёмном приглубке.

…как собаке в мороз вместо печи служит своекожная шерсть…

Одного только эти злопышники не понимают.

Надо… приучаться смотреть на земные дела – полупосторонним, окротевшим взглядом.

…поворотливые, лживые, выхватливые, сиюминутные, – однако они все вместе обдают – что там меня! – целую Россию валами облыгания … Так ещё и это взять на взвал ?

…сидели в отшельстве … Мы сидели – так охуждатели не сидели.

…спасибо за выболт , без вашей бы болтовни вас и за хвост не схватить.

Облиховщики мои злорадно тычут и язвят.

…я как раз был… в заглоте подготовки к «Марту».

В той дореволюционной либерально-освобожденческой традиции господствовал напуг

...

...считая коммунизм безоговорочным и даже единственным врагом, долго совершал кадетские *прихромы* .

Медицински говоря, назойливое *втолакивание* «прав человека» есть программа независимого одноклеточного существования.

...после пенок рот *утря* – да рыгнуть всё той же гнусной, беспросветной, беспощадной советской идеологией.

...сколько ж ещё лет *перекоренеть* в изгнании? Все когда-то начатые нити – подхватить из *оброна*...

...вся его *слюнобрызгая* брань...

...он *извильчиво* ответил...

И я поверил ему, *испросачился*...

Вся полемика сбивается на кривое *залыганье*...

Чего ж этот *враждолюбец* от меня хочет?

...третьеэмигрантская пресса уже отказывалась печатать *шныря* Белоцерковского, – но *напрытчился* он...

Так требовало *неунимчивое* сердце...

И вот, после *неразгибных* семнадцати лет...

...надо уйти в свою работу. Уйти в неё, иначе никогда её *не взнять*...

...не *вперьв* и не *впоследне*

На *сковыре* Никиты...

...проходили и во сто раз худшие издевательства и в миллион раз *толпянее*

...даже и не узнавал ничего, кроме искажённого *наслуха* .

...перерубали нашу дружбу на самом первом *взросте.*

...какую-то *потяготу* к движению стал я испытывать.

...охватило меня волнение старого *огрызчивого* лагерника...

...я не мог предусмотреть точно всех *задёвок...*

...миновать этих объяснений нельзя, а назвать – ещё *нельзее* .

Так всегда и получалось у нас с А. Т., так и должно было *разъёрзнуться...*

Вот самая страшная опасность: *защем* совести...

...не безмятежное небо над нами – огромное *зреймо* КГБ – и мигнуло...

...ничем не припутан, на гребне девятого вала, *в раздире* лёгких от ветра...

...и *сосморкано* наземь собственное одинокое горделивое устояние главного редактора.

...не давая *взнимку...*

...под *дёготный зашлёп* .

...упрекали меня, что быстротою своего *выскока* я помешал...

...почтенный священник, под 80 лет, в череде молений *грудно придыхает...*

Неумело, разбросанно, нервно, *в запуте* прожил я на Западе свои первые месяцы...

Я ещё не представлял нынешней слабости эмиграции, её *растёка* этнического...

О Рое Медведеве он говорит, что тот:

...то и дело догадливо *выпереживается* перед властью.

О Твардовском – что он:

...ещё *топырился по-курячьи* в надежде отстоять своё детище от коршунов.

О присужденной ему Нобелевской премии, что она

...пришла и сравняла все ошибки *нераскрыва* .

О Троцком:

Какие они с Лениным разные – и как же *злоспешно* друг друга дополнили.

О редакторском даре жены:

Пристальность к тексту, меткий глаз, чуткость к любому фонетическому, ритмическому *процарапу...*

Эта собранная мною небольшая коллекция солженицынских языковых перлов могла бы быть большой и даже огромной. Не пожалев времени и трудов на выписку этих слов-уродцев из

тридцати томов его сочинений, ими можно было бы заполнить сотни страниц, потому что они у него – не исключения, а правило. В сущности, этим вымученным, искусственным язком написана вся его зрелая проза. Не только романная («Красное Колесо»), но и мемуарная («Бодался телёнок с дубом...», «Угодило зернышко...»).

Во всяком случае, не рискуя ошибиться, с уверенностью можно сказать, что, раскрыв любую из этих его книг на любой странице, тотчас обнаружишь там несколько таких словесных уродцев.

Но собрал я эту коллекцию совсем не для того, чтобы уличить Солженицына в отсутствии того «слуха к языку», который Л. К. Чуковская почитала у него гениальным.

Собрал я её и вообще решил затронуть эту тему только лишь потому, что в основе этой – самой яркой – краски его литературного стиля лежит не такое или сякое (хорошее или плохое, недостаточное или искаженное) чувство языка, а всё та же *энергия заблуждения* .

* * *

Эта стилевая напряженность солженицынской прозы сильно затрудняет взаимоотношения автора с читателем.

Случай вообще не редкий в литературе.

Есть писатели, читая книги которых словно летишь по хорошо накатанной лыжне. А есть другие, до смысла едва ли не каждой фразы которых читателю приходится добираться, совершая некоторое, иногда довольно большое усилие. (И хорошо, если это усилие окупается.)

Усилие, которое читателю приходится преодолевать, вступая в общение с текстами Солженицына, не просто повышенно. Оно – чрезмерно.

У него к смыслу этих его словесных красот читателю приходится продираться по бездорожью. *Через непродёр* , как он сам выразился бы в подобном случае.

В этом тоже нет ничего необычного.

С таким же эффектом мы нередко сталкиваемся, читая прозу и стихи самых выдающихся русских писателей и поэтов XX века: Андрея Белого, Хлебникова, Платонова, Пастернака, Цветаевой, Клюева. (К стихотворным текстам последнего в двухтомном собрании его сочинений приложен даже специальный «Словарь местных, старинных и редко употребляемых слов», без которого современному читателю до смысла этих стихов было бы не

добраться. Такой же словарь был приложен и к публикации клюевской «Погорельщины» в «Новом мире».)

Особенно трудно дается читателю (во всяком случае, давался, – сейчас это, кажется, уже не так) – Платонов.

Сам он однажды так высказался на эту тему в появившемся на страницах журнала «Литературный критик» коротком отклике на рассказ молодого Виктора Бокова):

…

> *У автора есть ещё то, что можно назвать творческим отношением к русскому языку. И есть способность преодолевать шаблон речи, способность совершенствовать и оживлять язык, но в таких его органических пределах, в каких это свойственно языку без сокрушения его природы, и в пределах, приемлемых для читателя.*
>
> *(Андрей Платонов. Размышления читателя. М. 1980. Стр. 94)*

Сам он эти пределы часто переступал. Но только лишь потому, что иначе не мог, иначе у него не получалось.

То же можно сказать о стихах и прозе Пастернака, которому не легко и далеко не сразу удалось удовлетворить свое стремление «впасть, как в ересь, в неслыханную простоту».

Такова же природа «трудности» языка и других названных выше писателей и поэтов. К любому из них можно отнести стихотворную реплику Булата Окуджавы: «Каждый пишет, как он дышит…»

Природа стилевых особенностей прозы Солженицына – совсем другая.

Он пишет так, как пишет, не потому, что иначе у него не получается, а потому, что убеждён (убедил себя), что ТАК НАДО.

И нельзя сказать, чтобы упорное следование этой своей УСТАНОВКЕ давалось ему легко.

Чтобы убедиться в том, что это именно так, заглянем в его письма и сравним их стилистику со стилистикой его прозы.

Но начнём с того, что сперва мы тот же опыт проделаем с письмами Хлебникова, Платонова и Пастернака.

...

ИЗ ПИСЕМ В. ХЛЕБНИКОВА

В. В. МАЯКОВСКОМУ (Баку, 18 февраля 1921 г. – в Москву)

Дорогой Володя!

В чернильнице у писателя сухо, и муха не захлебнётся от восторга, пустившись вплавь по этой чернильнице.

Эта истина новой Большой Медведицей господствует над нашим временем.

Я живу на грани России и Персии, куда меня очень тянет...

Снимаю с себя чалму Эльбруса и кланяюсь мощам Москвы.

В числах я зело искусил себя. И готов построить весну чисел, если бы работал печатный станок.

Но вместо сердца у меня какая-то щепка или копчёная селедка, не знаю. Песни молчат.

(Велимир Хлебников. Собрание сочинений. Том шестой. Книга вторая. М. 2006. Стр. 204)

...

В. В. ХЛЕБНИКОВОЙ

14 апреля 1921 г.

Храбро, как лев, пишу письмо.

Знамя Председателей Земного Шара, всюду следующее за мной, развевается сейчас в Персии. 13/IV я получил право выезда, 14/IV на «Курске» при тихой погоде, похожей на улыбку неба, обращённую ко всему человечеству, плыл на юг к синим берегам Персии.

Покрытые снежным серебром вершины гор походили на глаза

пророка, спрятанные в бровях облаков. Снежные узоры вершин походили на работу строгой мысли в глубине божиих глаз, на строгие глаза величавой думы. Синее чудо Персии стояло над морем, висело над бесконечным шёлком красно-жёлтых волн, напоминая о очах судьбы другого мира.

Струящийся золотой юг, как лучшие шелка, раскинутые перед ногами Магомета севера, на севере, за кормой «Курска», переходили в сумрачное тускло-синее серебро, где крутилось, зеленея, прозрачное стекло волн ярче травы, и сами себя кусали и извивались в судорогах казнённые снежные змеи пены. «Курск» шумно шел на юг, и его белая масляная краска спорит с оперением чайки. Он был словом человеческого разума, повёрнутым к слуху величавого моря...

После походившей на Нерчинские рудники зимы в Баку я всё-таки добился своего: нашел великий закон времени (а для этого я перечислил все войны земного шара), под которым подписываюсь всем своим прошлым и будущим, в который я верю и заставлю верить других.

Уезжая из Баку, я занялся изучением Мирза-Баба, персидского пророка, и о нем буду читать здесь для персов и русских: «Мирза-Баб и Иисус». Персам я сказал, что я русский пророк.

Энзели встретило меня чудным полднем Италии. Серебряные видения гор голубыми призраками стояли выше облаков, вознося свои снежные венцы.

Чёрные морские вороны с горбатыми шеями чёрной цепью

неслись с моря. Здесь смешались речная и морская струя и вода зелёно-жёлтого цвета...

Я бросился к морю слушать его священный говор, я пел, смущая персов, и после полтора часа боролся и барахтался с водяными братьями, пока звон зубов не напомнил, что пора одеваться и надеть оболочку человека – эту темницу, где человек заперт от солнца и ветра и моря.
(Там же. Стр. 206–208)

...

Л. Ю. БРИК
(Москва, 2 января 1922 г.)
Лидия Юрьевна!..

Я нашел в Баку основной закон времени, то есть продел медведю земного шара кольцо через нос – жестокая вещь, – с помощью которого можно дать представление с нашим новым Мишкой.

Это будет весело и забавно. Это будет игра в сумасшествия: кто сумасшедший – мы или он.

Вел. Хлебников
(Там же. Стр. 212)

...

П. В. МИТУРИЧУ
(Москва, 14 марта 1922 г.)
Дорогой Петр Васильевич Митурич!..

Я читал Ваше письмо и от всей души сочувствую покорению неба, хотя распределение в воздухе осей силовых и весовых у летающего тела – область, где ещё не ступала нога

моего разума, и я как язычник за порогом этого храма. Я строю здание только из троек и двоек и написал много заметок и отдельных мест.

Мой основной закон времени: во времени происходит отрицательный сдвиг через 3n дней и положительный через 2n дней; события, дух времени становится обратным через 3n дней и усиливает свои числа через 2n. Между 22 декабря 1905, москов-восстанием, <и> 13 марта 1917 прошло 212 дней; между завоеванием Сибири 1581 г. и отпором России при Мукдене (февраля 1905), прошло 310+310 дней.

Когда будущее становится благодаря этим выкладкам прозрачным, теряется чувство времени, кажется, что стоишь неподвижно на палубе предвидения будущего. Чувство времени исчезает, и оно походит на поле впереди и поле сзади, становится свобода пространством...

Мысленно носите на руке приделанные ремешком часы человечества моей работы и дайте мне крылья Вашей работы; мне надоела тяжелая поступь моего настоящего. Итак, обменяемся доверием на расстоянии и со свиданием!

В. Хлебников
(Там же. Стр. 213)

Надо ли доказывать, что в каждой клеточке, в каждом атоме этих текстов, в каждой их буковке, в каждой морфеме перед нами тот же полубезумный гений, «дервиш-урус», «Председатель Земного Шара», что и в хлебниковских стихах, поэмах, «Досках Судьбы».

Так же это и у Платонова.

...

ИЗ ПИСЕМ А. П. ПЛАТОНОВА К ЖЕНЕ

1922 г., осень

Я шел по глубокому логу. Ночь, бесконечные пространства, далёкие тёмные деревни и одни звезды над головой в мутной смертельной мгле. Нельзя поверить, что можно выйти отсюда, что есть города, музыка, что завтра будет полдень, а через полгода весна. В этот миг сердце полно любовью и жалостью, но некого тут любить. Все мертво и тихо, все далеко. Если вглядишься в звезду, ужас войдёт в душу, можно зарыдать от безнадежности и невыразимой муки – так далека, далека эта звезда. Можно думать о бесконечности – это легко, а тут я вижу, я достаю её и слышу её молчание. Мне кажется, что я лечу, и только светится недостижимое дно колодца и стены пропасти не движутся от полета. От вздоха в таком просторе разрывается сердце, от взгляда в провал между звезд становишься бессмертным...

Я жил и томился, потому что жизнь сразу превратила меня из ребёнка во взрослого человека, лишая юности. До революции я был мальчиком, а после неё уже некогда быть юношей, некогда расти, надо сразу нахмуриться и биться... Не доучившись в технической школе, я спешно был посажен на паровоз помогать машинисту. Фраза о том, что революция – паровоз истории, превратилась во мне в странное и хорошее чувство: вспоминая её, я очень усердно работал на паровозе... Позже слова о революции-паровозе превратили для меня паровоз в ощущение революции.

1923 г.

...В Ямской слободе, при самом Воронеже, где я родился, были плетни, огороды, лопуховые пустыри... Не дома, а хаты, сапожники и много, много мужиков на Задонской большой дороге.

Всею музыкой слободы был колокол «Чугунной» церкви; его умилительно слушали в тихие летние вечера старухи, нищие и я... И еще больше я любил (и чем больше живу, тем больше люблю) паровозы, машину... Я тогда уже понял, что... между лопухом, побирушкой, полевой песней и электричеством, паровозом и гудком, содрогающим землю, есть связь, родство... И я знаю, что жалостный пахарь завтра же сядет на пятиосный паровоз и так будет орудовать регулятором, что его не узнаешь...

Рост травы и вихрь пара требуют равных механиков... Теперь исполняется моя мечта – человек каменный, еле зеленеющий мир превращает в чудо и свободу...

(Андрей Платонов. Государственный житель. Проза. Ранние сочинения. Письма. М. 1988. Стр. 547–549)

Точь-в-точь, как в письмах Хлебникова, здесь перед нами – тот же автор, каким мы знаем его по его художественной прозе. И тут тоже это стилистическое единство – на клеточном, атомном, молекулярном уровне. Каждое слово, каждая запятая этих эпистолярных монологов отражает коренные свойства художественного мышления писателя Андрея Платонова.

Еще нагляднее, ещё разительнее тот же эффект можно наблюдать в эпистолярном наследии Б. Л. Пастернака.

...

ИЗ ПИСЕМ Б. Л. ПАСТЕРНАКА

И. В. СТАЛИНУ

Конец декабря 1935

Дорогой Иосиф Виссарионович!..

Я сперва написал Вам по-своему, с отступлениями, повинуясь чему-то тайному, что помимо всем понятного и всеми разделяемого, привязывает меня к Вам. Но мне посоветовали сократить и упростить письмо, и я остался с ужасным чувством, будто послал Вам что-то не своё, чужое.

Я давно мечтал поднести Вам какой-нибудь скромный плод моих трудов, но все это так бездарно, что мечте, видно, никогда не осуществиться. Или тут надо быть смелее и, недолго раздумывая, последовать первому побуждению?..

...Я с легким сердцем могу жить и работать по-прежнему, в скромной тишине, с неожиданностями и таинственностями, без которых я бы не любил жизни.

Е. А. КРАШЕНИННИКОВОЙ 16 августа 1956

Дорогая Катя!..

Я всегда любил Вас именно так, как это хорошо и нужно (и как Вы, может быть, этого хотите), я обладал способностью воспринимать и хранить в памяти Вашу чистоту и одарённость, как вода и зеркало отвечают предметам их верными отражениями...

Я, конечно, люблю Вас, Катя, остановившись в нескольких шагах от черты, за которой начинаются судьбы, совместности, соучастия в жизни, вещи счастливые и роковые. Я рад, что мы не связали друг друга ничем таким, что никогда не свяжет Вас, и что мы свободны. Целую Вас.

Ваш Б. П.

(Борис Пастернак. Полное собрание сочинений в одиннадцати томах. Том X. Письма 1954–1960. М. 2005. Стр. 162–163)

...

К. А. ФЕДИНУ
30 декабря 1957, Переделкино
Дорогой Костя,

с чувством радости и счастья поздравляю тебя с близящимся Новым Годом. Для меня истекший год был поразительным, почти чудесным, по благополучному избавлению от болезней, казавшихся угрожающими и неизлечимыми, и от других ловушек судьбы, с виду ещё более неотвратимых... Той же самой природы, того же состава, мои радостные и благодарные чувства к тебе. При чтении тебя и при мысли о тебе испытываешь то же чувство облагораживающей надёжности, достойного будущего, живой животворящей свободы. Другой вариант этой же силы – Ивановы. Как удивительно, что я живу между вами. Это соседство в пространстве даже случайно по сравнению с неслучайности другого соседства – во времени, в назначении, в возможностях и вкусах.
(Там же. Стр. 294–296)

...

Г. В. БЕБУТОВУ
24 мая 1958, Переделкино
Дорогой Гарегин Владимирович!
Долгое пребывание в больнице

виною того, что я Вас до сих пор не поблагодарил за книгу. Я не мог ей порадоваться. Я не люблю воспоминаний и прошлого, в особенности своего, будущее неизмеримо больше, я не могу не жить им, мне незачем оглядываться назад...

Простите меня, пожалуйста, и уже не в первый раз, что я так скупо и бледно выражаю свою признательность. Это не оттого, что я стал неблагодарен и освинел. Но все больше и больше мою судьбу относит в сторону мало кому пока известную и доступную: только наполовину даже и мне. Я не знаю, сгладится ли этот разрыв и откроются ли все тайны при моей жизни.

(Там же. Стр. 326)

В этих письмах, написанных по разным поводам и адресованных разным (и каким разным!) людям, поражает абсолютное единство стиля – лексики, фразеологии, интонации. С «гением всех времён и народов» он говорит на том же языке, на каком обращается к любимой женщине, к коллеге, приятелю и соседу по даче, к составителю и редактору своей книги. И во всех этих письмах он – тот же, что в самых интимных своих лирических стихах (слово «таинственности» в письме к Сталину, в обращении к этому адресату как будто бы совсем неуместное, корреспондирует с началом одного из самых пронзительных его лирических стихотворений: «Здесь прошелся загадки таинственный ноготь...»)

А теперь, после этого затянувшегося, но очень нужного мне предисловия заглянем в письма Солженицына.

...

П. ЛИТВИНОВУ
Февраль 1975

Многоуважаемый Павел Михайлович!

В Вашем письме ко мне смешаны очень разнородные и разномасштабные вопросы. Я отвечу на них раздельно.

К сожалению, Ваши комментарии к моим печатным заявлениям не опираются на цитаты и не обнаруживают стремления точно понять смысл написанного.

1. Авторы «Вех» развенчивали культ героизма – именно, революционную экзальтацию и взвинченность, жертву для жертвы, жизнь – только для революции. Но они же и противопоставили тому – не самоотдачу человеческим слабостям, не приятный спокойный быт, не «рыба ищет где глубже, а человек где лучше», а: христианское подвижничество, самоограничение, а то и самоотречение как форму нравственного существования.

2. Я не предлагал и никогда не осмелился бы предложить никакой «системы нормативной этики». Но вместе со всеми изживая эпоху сплошной критики и всеобщирного отрицания («мы – против!», «только – не так!»), я тоже пытался искать хоть какой-то конструктивный путь.

(Александр Солженицын. Собрание сочинений. Том десятый. Вермонт – Париж. 1983. Стр. 158)

...

БОРИСУ СУВАРИНУ

11 февраля 1980 г

Многоуважаемый г. Суварин!

Из-за моего незнания французского языка я только теперь

мог познакомиться с полным текстом Вашей статьи «Солженицын и Ленин» (Est et Ouest, 15.4.76). Вы выдвинули обвинения против моей книги «Ленин в Цюрихе» и против моего метода работы. Не предполагая в этих обвинениях никакого личного мотива и не видя в Вашей статье реальных деловых возражений, мне остаётся объяснить её партийной пристрастностью, относящейся к ранне-коммунистическим годам. Но тем более я не могу оставить её без ответа…

Хотя Ваша статья весьма велика, Вы не находите места серьёзно разобрать даже главные положения моей книги: «подробное опровержение показалось бы читателю ненужным и утомительным», – удобная позиция! Вы спорите не со мной, а с придуманным противником.
(Там же. Стр. 381–382)

…

Н. Л. КАЗАНЦЕВУ
25.5.85
Дорогой Николай Леонидович!

А может, Вы устроитесь в главный штат «Марти»? – это было бы хорошо. Вообще Ваш переезд в Соединённые Штаты на постоянку я считал бы правильным шагом, уж слишком Аргентина бесперспективна.

Будут ли успехи в устройстве – сообщите.

Не поможете ли Вы мне в одном поиске? А. Дикий в своей книге приводит две статьи, и я не

сомневаюсь, что они приведены точно, однако не худо бы иметь ксерокопии подлинников...

По американским библиотекам и не ищите, нету, проверено. Это можно найти только по старым связям, у кого-то в домашнем хранении или в прицерковной библиотеке.

12.4.94

Дорогой Николай Леонидович!..

В Москве могу – Вам и для Вас – сообщить такой адрес: ул. Тверская, 12, кв. 169 – это та квартира, из которой меня в 1974 году арестовали на высылку, а теперь мы её отвоевали для «литературного представительства С-на» и конторы Фонда.

Разумеется, они работают только по будням. Если когда будете в Москве – загляните туда, там есть секретарша Мунира. Ей назовите себя, она свяжет Вас со мной.

Посылать «Нашу Страну» по почте – бессмысленно (и в Вермонт со средины мая – также). Но сразу сколько-то номеров кто угодно от Вас может завести, оставить Мунире. Это – в самом центре, внутренний дом «бахрушинских» домов, рядом с магазином Елисеева...

Мы уезжаем в конце мая. Сейчас усиленно собираемся, а Н. Д. уже в четвёртый раз в Москве, хлопочет обо всех устройствах. Внезапно умер её 32-летний сын, не болев перед тем, тяжёлый, оглушающий удар.

Всё-таки после октября 93, как там ни бранятся патриоты с коммунистической окраской, – а достигнуто впервые подобие стабильности: если бы не скинули Верх. Совет – Россия распалась бы в ближайшие к тому месяцы, если не

недели: обе враждующие стороны заискивали перед сепаратизмом «республик», а области, негодуя – объявляли себя республиками. Нет, Россия ещё не потеряна, хотя так нравственно разбросанно ещё никогда не было...

Крепко жму руку. Ваш
Солженицын

21.6.98

Дорогой Николай Леонидович!

Не упускаю Вас из сердечной памяти.

К сожалению сейчас, после уже второго инфаркта, предписан мне долгий покой.

Поэтому повидаться нам ныне не удастся.

Но слежу и за Вашей газетой...

Посылаю Вам свою последнюю (во всех смыслах) публицистическую книгу. Может быть, Вам хотелось чего-то активней – но низверженное русское положение указывает нам крайнюю умеренность.
Из этой книги можете печатать в газете любые главы, только каждую – полностью, не сокращая.

18.5.93.

Дорогой Николай Леонидович!

А я собирался Вам написать ещё в начале года – и не был уверен, что Ваш адрес не изменился. Так и есть – изменился. Но – как это связано с изменением Вашей жизни? Отчего не пишете? Где семья? Как сыновья?

Спасибо за вырезки – чувства Ваши хорошо понимаю. Да Вы уже не раз и были в России. Боль – невыразимая, опасностей – лавина, а как помочь?

Как хоть людей вразумить, чтобы понимали? Патриоты сошли с ума – вступили в союз с

коммунистами. Сегодня не осталось в России ни одного чистого (от этого союза) патриотического движения, партии, – только рассеянное множество честных людей.
(Николай Казанцев. Монархическая карта Солженицына)

В этой связке (А. И. сказал бы «сплотке») тоже собраны письма, написанные по очень разным поводам и очень разным людям. И они тоже отмечены тем же единством стиля, что и приводившиеся мною письма Хлебникова, Платонова и Пастернака. Но этот – эпистолярный – стиль Солженицына разительно отличается от стилистики его художественных творений. В его письмах, кому бы и по каким бы поводам ни были они написаны, нет и следа того «словаря языкового расширения», который он так щедро использует в своей художественной прозе и где эта языковая краска сплошь и рядом становится уже доминирующей.

И вовсе не пренебрегает он тут лексикой и фразеологией тривиального интеллигентского жаргона, над которой он так глумился ещё в своей статье 65-го года – «Не обычай дёгтем щи белить, на то сметана»:

...

...разномасштабные вопросы...
...психологический тип и характер Ленина, его внутренняя жизнь и бытовое поведение ...
...развенчивали революционную экзальтацию...
...самоограничение, а то и самоотречение как форма нравственного существования...
...игнорирование художественной природы моей книги...

Та его статья была резким полемическим ответом на статью академика Виноградова («Литературная газета» от 19 октября 1965 г.), и начиналась она глумливыми нападками на «авторскую речь» академика:

...

Он не ищет выразительных, ёмких слов и мало озабочен их гибким русским согласованием. Говорить о великом предмете нам бы стараться на уровне этого предмета. Если же «Заметки о стилистике» начинены такими выражениями, как «общесоциальные и эстетико-художественные перспективы», «структурно-стилистические точки зрения», «массовые коммуникации в современной мировой культуре», «в силу значительной интеграции»... – то такие «Заметки» угнетают наше чувство языка, затемняют предмет, вместо того чтобы его разъяснить, горчат там, где надо сдобрить.

(Александр Солженицын. Собрание сочинений. Том десятый. Вермонт – Париж. 1983. Стр. 467–468)

Но чем, спрашивается, его «революционная экзальтация» лучше виноградовских «интеграций» и «массовых коммуникаций»?

Или вот – такой пассаж из той же его статьи 65-го года:

...

Грамматический строй сохранял стойко то, что роднит наш язык с европейскими, но пренебрегал многими исконными своими преимуществами. Так, отглагольные существительные предпочитались среднего рода, долгие, на немецкий лад (когда их на -ение скопится кряду четыре-пять, выламывается язык и чуть ли зубы не болят), а мужского рода – краткие, сильные, поворотливые – опадали, терялись.

Кто скажет убывь (действие по глаголу), нагромоздка ? Обязательно: «убывание», «нагромождение». Кто напишет для сохрану ? Нам подай «для сохранения». И приноровка нам не свычна, то ли дело «приноравливание»! И перетаск мебели нам не так надёжен, как «перетаскивание».

(Там же. Стр. 469)

И вот – сам же нагнетает эти ненавистные ему отглагольные существительные среднего рода на *-ение* : «поведение», «самоограничение», «самоотречение», «существование». И зубы при этом у него не болят.

В этих своих письмах он не гнушается даже и советизмами. «Ваш переезд в Соединённые Штаты на постоянку...» пишет он в письме Н. Казанцеву. И правильно делает! Насколько это живее, выразительнее, чем уныло-казенное: «на постоянное место жительства». Но эта самая «постоянка» – она ведь не из того потерянного нами русского склада, к которому он призывает нас вернуться, а из ненавистного ему *советского говорка* . Именно ему, этому советскому говорку *свычнее* , как выразился бы в этом случае сам Александр Исаевич, не *сберегательная книжка* , а – сберкнижка, не *столовая* , а – *столовка* , не *комиссионный магазин* , а – *комиссионка* ... И тьма тьмущая других таких же, прочно вошедших в наш языковой обиход выразительных, живых и гибких словообразований: «планёрка», «летучка», «продлёнка», «десятилетка», «гражданка» (гражданская жизнь, не военная: *«Ушел на гражданку», «Отвык от гражданки»*), «вертушка» (о телефонах правительственной связи), «времянка», «Ленинка» (о Государственной библиотеке имени В. И. Ленина), «загранка» (о заграничной командировке).

Естественный, живой и гибкий язык солженицынских писем свидетельствует о том, что пресловутый «словарь языкового расширения», ставший доминантой языка его художественной прозы, – это РЕЧЕВАЯ МАСКА, которую в любой момент он легко может снять. Или решить, что в этом случае её надевать не стоит. Или даже просто позабыть её надеть.

Такая РЕЧЕВАЯ МАСКА в художественной прозе – явление не новое. У литературоведов для его обозначения есть даже специальный термин: *сказ* .

...

СКАЗ – особый тип повествования, строящегося как рассказ некоего отдаленного от автора лица (конкретно поименованного или подразумеваемого), обладающего своеобразной собственной речевой манерой...

Обращение к СКАЗУ часто связано со стремлением писателей нарушить сложившуюся консервативную «среднюю» литературную традицию, вывести на сцену нового героя (обычно удаленного от книжной культуры) и новый жизненный материал. СКАЗ даёт этому герою возможность свободного самовыявления, осуществляемого в основном путём воссоздания его индивидуальной речевой манеры, непривычной для читательского сознания...

Образцы такого рода СКАЗА – рассказы М. Зощенко 20-х гг., Б. Житкова, Л. Пантелеева («Пакет», «Часы»), продолжающие юмористический сказ, идущий от Н. С. Лескова.

(Краткая Литературная Энциклопедия. Т. 6. М. 1971. Стр. 877)

У речевой маски Солженицына с этим художественным явлением нет ничего общего.

Разве только по грандиозности замысла, толкнувшего его на создание этой своей речевой маски, его можно сравнить с Зощенко.

У того замысел тоже был грандиозный.

М. ЗОЩЕНКО – М. ГОРЬКОМУ
30 сентября 1930 г.

Я нарочно, для собственного успокоения, прочёл недавно чуть ли не все биографии сколько-нибудь известных и знаменитых писателей. Я, конечно, не хочу равняться ни с кем, но вот ихняя жизнь на меня очень успокоительно подействовала и привела в порядок. В сущности говоря, страшно плохо все жили. Например, Сервантесу отрубили руку. А потом он ходил по деревням и собирал налоги. И, чтобы напечатать своего «Дон-Кихота», ему пришлось сделать льстивое посвящение какому-то герцогу. Данте выгнали из страны, и он влачил жалкую жизнь. Вольтеру сожгли дом. Я уж не говорю о других, более мелких, писателях.

И, тем не менее, они писали замечательные и даже удивительные вещи и не слишком жаловались на свою судьбу. Так что, если бы писатели дожидались золотого века, то, пожалуй, от всей литературы ничего бы и не осталось.

Вот это привело меня в порядок, и я понял, что надо работать при всех обстоятельствах и вопреки всему...

В этом смысле я давно уже перестроил и перекроил свою литературу. И из тех мыслей и планов, которые у меня были, я настругал множество маленьких рассказов. И я пишу эти рассказы не для того, что мне их легко и весело писать. Я эти рассказы пишу, так как мне кажется – они наиболее удобны и понятны теперешним читателям...

Дорогой Алексей Максимович,

простите, пожалуйста, меня за многословие и за эту всю литературную философию. Мне очень давно хотелось вам об этом написать и сказать. Меня всегда волновало одно обстоятельство. Я всегда, садясь за письменный стол, ощущал какую-то вину, какую-то, если так можно сказать, литературную вину. Я вспоминаю прежнюю литературу. Наши поэты писали стишки о цветках и птичках, а наряду с этим ходили дикие, неграмотные и даже страшные люди. И тут что-то такое страшно запущено.

И все это заставило меня заново перекраивать работу и пренебречь почтенным и удобным положением.
(Горький и советские писатели. Неизданная переписка. М. 1963. Стр. 161–162)

Тут сразу бросается в глаза сходство – даже не сходство, а кровное родство – стилистики этого зощенковского письма с той «речевой маской», которая характеризует стилевые особенности его художественной прозы. Эффект этот не так разителен, как у Хлебникова, Платонова и Пастернака, но все же достаточно очевиден.

Главные стилевые особенности этой своей «речевой маски» сам Зощенко характеризовал так:

...

...вся трудность моей работы свелась главным образом к тому, чтобы научиться так писать, чтобы мои сочинения были всем понятны. Мне много для этого пришлось поработать над языком... Я немного изменил и облегчил синтаксис... Это позволило мне быть понятным тем читателям, которые не

интересовались литературой. Я несколько упростил форму рассказа (инфантилизм?), воспользовавшись неуважаемой формой и традициями малой литературы.

(М. Зощенко. Возвращенная молодость)

...

Я пишу очень сжато. Фраза у меня короткая. Доступная бедным.

(М. Зощенко. О себе, о критиках и о своей работе)

Все это прямо связано с ощущением той «литературной вины», которая заставила его изменить свой взгляд на литературу и перестроить, перекроить заново, как он объясняет Горькому, всю свою работу.

Но тут сразу возникает такой вопрос.

А зачем писать фразами, «доступными бедным», обращаясь к Горькому? Уместен ли этот «инфантилизм» в частном письме, обращённом к человеку, который, надо полагать, и сам знает, что Сервантесу «отрубили руку», а у Вольтера «сожгли дом»? Не достаточно ли было в этом случае просто написать: «Вспомните судьбу Сервантеса, Данте, Вольтера...»? Ведь интеллигенты привыкли понимать друг друга с полуслова.

Но Зощенко, даже когда он обращается к Горькому, пишет так, как будто и в этом случае ему важно быть «понятным тем читателям, которые не интересовались литературой».

Очевидно, маска прочно приросла к лицу.

Но это не главное, что отличает речевую маску Солженицына от речевой маски Зощенко.

Оба они ушиблены тем, что *распалась связь времен.*

Но Зощенко исходит из того, что эту распавшуюся связь уже не восстановить. Надо начинать новую литературу. Начинать с нуля, с чистого листа.

А Солженицын верит, что эта распавшаяся связь восстановима. И – мало того! – что именно он «связать её рождён».

* * *

Для Солженицына (в отличие от Зощенко) связь времён распалась не в 1917 году, а раньше, гораздо раньше, – ещё аж в XVIII веке:

...

Наша письменная речь ещё с петровских времён то от насильственной властной ломки, то под перьями образованного сословия, думавшего по-французски, то от резвости переводчика, то от торопливости пишущих, знающих цену мысли и времени, но не слову, пострадала: и в своём словарном запасе, и в грамматическом строе, и, самое главное, в складе.

Словарный запас неуклонно тощал; ленились выискивать и привлекать достойные русские слова, или стыдились их «грубости», или корили их за неспособность выразить современную высокую тонкую мысль (а неспособность-то была в нетерпеливых авторах). Взамен уроненного наталкивали без удержу иностранных слов... часто совсем никчемных...

Но больше всего блекла наша письменная речь от потери подлинно русского склада («свойства языка для сочетания слов» по Далю), то есть способа управления слов словами, их стыковки, их расположения в обороте, интонационных переходов между ними...

Однако замечательно – и обнадёживает нас! – то, что все указанные пороки, сильно поразив письменную речь, гораздо меньше отразились на устной (тем меньше, чем меньше были говорящие воспитаны на дурной письменной).

Это даёт нам ещё не оскудевший источник напоить, освежить, воскресить наши строки...

Мне кажется, что здесь писатели могли бы помочь письменной речи вернуть речи устной кое-какой должок. Под этим я понимаю очень осторожное словарное расширение : продуманное употребление (в авторской речи!) таких слов, которые хоть и не живут в современном разговорном языке, но настолько близко расположены за стёсами клина и настолько понятно употребляются автором, что могут прийтись по нраву говорящим, привлечь их – и так вернуться в язык.

(Александр Солженицын. Собрание сочинений. Том десятый. Вермонт – Париж. 1983. Стр. 468–471)

Далее приводились конкретные примеры словоупотребления, следуя которому ещё, может быть, удастся спасти скудеющий и гибнущий наш язык:

...

Например, мы усвоили «отшатнуться», несколько дичимся формы «отшатнуть», а как хорошо употребить: вышатнуть (кол из земли), пришатнуть (столб к стене).

У нас затвержено «недоумевать», но мы зря бы ощетинились против доумевать (доходить упорным размышлением).

Как коротко: узвать (кого с собой); призевался мне этот телевизор; перемкнуть (сменить замок или перенести его с одной

накладки на другую); мой предместник (кто раньше занимал моё место); ветер слистнул бумагу со стола (вместо: порывом ветра бумагу приподняло и снесло со стола); перевильнуть (в споре со стороны на сторону).

Употреби – и, пожалуй, зашумят, что словотворчество, что выдумывают какие-то новые слова. А ведь это только бережный подбор богатства, рассыпанного совсем рядом, совсем под ногами.

(Там же)

А заключалась статья таким призывом:

...

Я так понимаю, что, быть может, настали решающие десятилетия, когда ещё в наших силах исправить беду – совместно обсуждая, друг другу и себе объясняя, а больше всего – строгостью к себе самим. Ибо главная порча русской письменной речи – мы сами, каждое наше перо, когда оно поспешно, когда оно скользит слишком незатруднённо.

Умедлим же и проверим его бег! Ещё не упущено изгнать то, что есть публицистический жаргон, а не русская речь. Ещё не поздно выправить склад нашей письменной (авторской) речи...

(Там же. 471–472)

Призыв этот никем не был поддержан.

Другие его призывы, куда более опасные, сразу подхватывали, тотчас к ним присоединялись. А этот никого не затронул. Никто из братьев-писателей не выразил желания присоединиться к его призыву вместо «убывание» писать *убывь,* а вместо «нагромождение» – *нагромоздка.*

Да и вся эта его статья в целом в литературной среде была встречена с нескрываемой иронией. (Я уже упоминал об этом в главе «Первые недоумения».)

Волна этой иронии до Александра Исаевича докатилась, и нельзя сказать, что он так-таки уж совсем от неё отмахнулся. Впоследствии он сообщил, что и сам этим своим выступлением был недоволен. И даже признался (а может быть, сделал вид), что написал и напечатал её совсем не с той целью, какую в ней декларировал:

...

> *Я спешил как-нибудь заявить о себе – и для этого придрался к путаной статье академика Виноградова в «Литературной газете». У меня, правда, давно собирался материал о языке художественной литературы, но тут я скомкал его, дал поспешно, поверхностно, неубедительно, да ещё в резкой дискутивной форме, да ещё в виде газетной статьи, от которых так зарекался. (Да ещё утая главную мысль: что более всех испортили русский язык социалисты в своих неряшливых брошюрах и особенно – Ленин.) Всего-то и вышло из этой статейки, что я крикнул госбезопасности: «вот – живу и печатаюсь, и вас не боюсь!»*
>
> *(А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом)*

Всерьез, и уже не притворяясь, что делает это не потому, что озабочен грядущей судьбой русского языка, а исходя из каких-то других побуждений, он обратился к этой теме годы спустя, уже в Вермонте.

На сей раз это была не газетная и даже не журнальная статья, а солидный труд, на создание которого у него ушло пять лет жизни (с 1977 года по 1982-й).

Назывался он скромно: «Некоторые грамматические соображения». Но замах был большой. Как я уже выразился по

этому поводу – грандиозный.

Тут уже не было над ним никакой цензуры, руки у него давно уже были развязаны и не было у него теперь никакой нужды утаивать главную свою мысль: «что более всех испортили русский язык социалисты и особенно – Ленин».

С этого он и начал. С «большевицкой» (1918 года) реформы русской орфографии, которую он называет «энтропийной»:

...

«ЯТЬ» И «Ё»

Совместная судьба этих двух букв характерна для торопливой энтропийной реформы 1917–1918 годов и затем десятилетних полос пренебрежения русским языком. Как будто имелась в виду широкая механическая доступность грамоты – на самом деле безжалостно сглаживался рельеф языка и смазывались его драгоценные различия...

Большая часть всех этих потерь уже непоправима. Кажется маловероятным восстановление буквы «ять» хотя бы в частичных правах. Но на наших глазах происходит и уничтожение «ё». Эта буква... годами была покинута и стёрта в потоке всеобщей нивелировки и всеобщего безразличия к языку: её перестали набирать типографии, перестали требовать корректоры и учителя, исчезла клавиша «ё» на многих пишущих машинках. Эта бессмысленная нивелировка уже сегодня приводит к затруднениям и ошибкам чтения.

Я больно ощущаю ещё эту последнюю потерю нашего языка... Уже сейчас на некоторых фразах приходится останавливаться, возвращаться, перечитывать:

понимать ли «все» или «всё». И не всегда это однозначно понимается. Теперь пишется одинаково: «хоронили в белье» или «не тратились на белье» – уродливая энтропия падежей.

Не признавать «ё» – значит содействовать расхождению написания и произношения. Уже в ближайшем поколении начнётся (а у иностранцев и сегодня происходит) двоение в произношении многих слов, вплоть до «еще», «ё» будет теряться всё глубже, станет изменяться звуковая картина нашего языка, произойдёт фонетическое перерождение многих слов...

Мы все ещё помним, как твёрдый знак искоренялся полностью, даже внутри слов, заменяясь нелепым апострофом. Затем нам вернули его. (Но недостаточно. Родились малопонятные формы: выгрался вместо въиграл ся .)

В 20-е годы уничтожалась и форма «обеих» (о женском роде говорили «обоих»), позже вернули. Такая же нивелировка мужского и среднего рода прилагательных «-аго, -яго» и «-ого, -его», очевидно, уже неисправима.

(Там же. Стр. 557–560)

Всё это верно, но лишь с одной, хоть и небольшой, однако весьма существенной оговоркой.

Ни «Ё», ни твердый знак (в середине слова) вовсе не отменялись реформой 1918 года. Да и сама эта *энтропийная* , как её называет Солженицын, реформа отнюдь не большевиками была выдумана и провозглашена. И введена в действие была тоже не ими.

Впервые она оформилась в 1904 году в виде «Предварительного сообщения» Орфографической подкомиссии при Императорской Академии наук под председательством одного из самых выдающихся российских языковедов – кроме всего прочего, он был редактором академического «Словаря

русского языка» (1891–1916) – Александра Александровича Шахматова.

Предлагавшаяся реформа вовсе не была вдохновлена какими-либо политическими, а тем более революционными идеями. Достаточно вспомнить, что один из её разработчиков академик Алексей Иванович Соболевский был членом Союза русского народа. И именно он предложил исключить из русского правописания букву «ять» и окончания *-ыя, -ия.*

В 1911 году особое совещание при Академии наук одобрило работы предварительной комиссии и вынесло по этому поводу свою резолюцию, предписывающую детально разработать основные части, пункты и параграфы предлагаемой реформы. Соответствующее постановление было опубликовано в 1912 году. И уже в это время стали появляться единичные издания, напечатанные по новой орфографии. Официально реформа была объявлена 11 (24) мая 1917 года в виде «Постановлений совещания по вопросу об упрощении русского правописания». А 17 (30) мая на основании этих «Постановлений» Временное правительство предписало попечителям округов немедленно провести реформу русского правописания. Ещё один циркуляр вышел 22 июня (5 июля) того же года. То есть – ещё ДО прихода к власти большевиков.

Ну, а уж окончательно новая русская орфография была закреплена и введена в жизнь декретом Совета Народных комиссаров от 10 октября 1918.

Вот текст этого декрета:

...

СОБРАНИЕ УЗАКОНЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ

РАБОЧЕГО И КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

17 октября 1918 года, № 74, отдел первый. Декрет Совета Народных Комиссаров 804

О ВВЕДЕНИИ НОВОЙ ОРФОГРАФИИ

В целях облегчения широким массам усвоения русской грамоты и освобождения школы от непроизводительного труда при изучении правописания, Совет

Народных Комиссаров постановляет:

1. Все правительственные издания, периодические (газеты и журналы) и непериодические (научные труды, сборники и т. п.), все документы и бумаги должны с 15-го октября 1918 г. печататься согласно при сем прилагаемому новому предписанию...

II. Во всех школах Республики:

1. Реформа правописания вводится постепенно, начиная с младшей группы 1-й ступени единой школы.

2. При проведении реформы не допускается принудительное переучивание тех, кто уже усвоил правила прежнего правописания.

3. Для всех учащихся и вновь поступающих остаются в силе лишь те требования правописания, которые являются общими для прежнего и нового правописания, и ошибками считаются лишь нарушения этих правил.

Предписание, как видим, не больно размашистое. Я бы сказал, что по тем временам даже довольно тактичное.

Что же касается *содержания* предписанной этим декретом реформы, то оно не выходило за рамки тех изменений, которые в свое время предлагались «Орфографической подкомиссией при Императорской Академии наук».

Смысл этой – содержательной – части декрета сводился к следующему:

Из алфавита исключались буквы ять, фита, і («и десятеричное»); вместо них должны употребляться, соответственно, Е, Ф, И;

Исключался твёрдый знак (Ъ) на конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного знака (*подъём, адъютант*);

Изменялось правило написания приставок на з/с: теперь все они (кроме собственно с-) кончались на *с* перед любой глухой согласной и на *з* перед звонкими согласными и перед гласными *(разбить, разораться, разступиться –разбить, разораться* , но –

расступиться);

В родительном и винительном падежах прилагательных и причастий окончания *-аго, -яго* заменялось на *-ого, -его* (например, *новаго – > нового, лучшаго – > лучшего, ранняго – >раннего*), в именительном и винительном падежах множественного числа женского и среднего родов - *ыя, -ія* – на *-ые, -ие* (*новыя (книги, издания) – > новые*);

Словоформы женского рода множественного числа *оне, одне, однех, однеми* заменялись на *они, одни, одних, одним, одними* ;

Словоформа родительного падежа единственного числа *ея (нея)* – на *её (неё)* .

Вот, собственно, и всё.

Ни на букву Ё, ни на замену твердого знака в середине слов на апостроф реформа не посягала.

Изменения были не такие уж революционные и, как заверял нас, студентов Литературного института, в своих лекциях по «Введению в языкознание» наш любимый профессор Александр Александрович Реформатский, за малыми исключениями вполне разумные.

Некоторые русские лингвисты считали её даже слишком умеренной, недостаточно радикальной: критиковали её авторов за то, что она не устранила непоследовательности старой русской орфографии:

...

> *По-моему, покойный Шахматов большой грех на душу взял, что освятил своим авторитетом новую орфографию... Не многим выходит лучше, чем до реформы: основная проблема состояла в том, что в кириллице нет буквы для обозначения «о после смягченной согласной», а эта проблема и в новой орфографии осталась неразрешённой.*
>
> *(Н. С. Трубецкой. Письмо к Р. О. Якобсону от 1 февраля 1921)*

Но в целом в среде русских интеллигентов старой формации, в особенности тех, кто волею обстоятельств оказался в эмиграции, они вызвали бурю:

...

По приказу самого Архангела Михаила никогда не приму большевицкого правописания. Уж хотя бы по одному тому, что никогда человеческая рука не писала ничего подобного тому, что пишется теперь по этому правописанию.

(И. А. Бунин)

...

Зачем все эти искажения? Для чего это умопомрачающее снижение? Кому нужна эта смута мысли в языковом творчестве?

Ответ может быть только один: всё это нужно врагам национальной России. Им; именно им, и только им... Помню, как я в 1921 году в упор поставил Мануйлову [2] вопрос, зачем он ввёл это уродство...

(И. А. Ильин)

Не приняли новую орфографию Блок, Цветаева, Пришвин, Вячеслав Иванов, Алданов, Иван Шмелев.

Цветаева, правда, сперва запрещавшая печатать свои книги по новой орфографии, потом сменила гнев на милость. Написанную в 1931 году свою статью «О новой русской детской книге» она завершила таким постскриптумом:

...

P. S. А с новой орфографией советую примириться, ибо: буква для человека, а не человек для буквы. Особенно если этот человек – ребенок.

(Марина Цветаева. Собрание сочинений в семи томах. Т. 5. М.

1994. Стр. 328)

Но русская эмиграция первой волны с новой орфографией так и не примирилась. И в 20-е и 30-е годы все книги русского зарубежья печатались по старой, дореволюционной орфографии.

И только в 40-е и 50-е годы, когда на Запад хлынула новая волна эмигрантов из СССР, все издания русского зарубежья наконец перешли на новую орфографию.

Солженицын, оказавшийся в эмиграции в годы, когда там доминировала уже эта, вторая волна, не мог с нею не считаться. И когда он начал работу над своим многотомным собранием сочинений, перед ним – вплотную – встал вопрос: по какой орфографии его печатать, по старой – или по новой.

Решить эту проблему было непросто, потому что в конечном счете его не устраивала ни та, ни другая. Ни старая, дореволюционная, ни новая, советская.

И поневоле пришлось ему создать СВОЮ.

* * *

Работу над изданием этого своего многотомного (в 1991 году вышел двадцатый том) собрания сочинений Солженицын начал в 1977-м. Тогда же стал складываться и этот его языковедческий труд. В 1982-м, когда он счел его завершённым, к печати готовился десятый том Вермонтского собрания, и именно в этот десятый том он его и включил.

Полное название этого его сочинения было такое: «Некоторые грамматические соображения, примененные в этом собрании сочинений». И начиналось оно так:

...

При печатании текстов нельзя было многажды не столкнуться с некоторыми неясностями и недостатками действующей русской орфографии и в иных случаях не предпринять самостоятельных шагов. Эти решения и объясняются здесь.

(Александр Солженицын. Собрание сочинений. Том десятый.

Вермонт – Париж. 1983. Стр. 557)

Не только истинное назначение этого труда, но и форма его не могла уложиться в эти, так скромно им обозначенные, рамки. С первых же строк сразу бросается в глаза, что при всей видимой – показной – скромности, заявленной и в самом его заглавии («Некоторые соображения»), претензии у автора были большие.

Выразились они не только в содержании трактата, но и в его стилистике:

…

Всякая дифференциация в языке, его способность различать – драгоценна, она есть сила и талант языка. Большевистские реформы и практика советских лет направлены против дифференциации, они стирали рельеф и различия русского языка…

При нивелировке языка значительное разрушение потерпел предложный падеж. Уже упомянуто, как он частично пострадал от отмены «ятя». В том же неосмысленном порыве всеобщего «упрощения» был срезан предложный падеж ещё одного обширного класса существительных – среднего рода с окончанием «ье», стали писать предложный в точности как именительный и винительный: в Поволжье, в платье (без всякой логики сохранив предложное «и» для случая полного окончания «ие»: в платии). Но нельзя объяснить разумно, зачем уравнивать три разных падежа, затруднять распознание, а предложный лишать его естественной формы:

в Заполярьи в многолюдьи на перекрестьи

в заседаньи в окруженьи в платьи

о здоровьи в окружьи в Поволжьи…

Этот случай предложного падежа имеет важное продолжение в смешении некоторых словообразований и наречий. Мы пишем:

вступил в противоречье (вин. п.) с чем

находится в противоречьи (предл. п.) с законами

в продолжение (вин. п.) этой книги будет написано

в продолжении (предл. п.) многих веков…

Я нахожу неверной единообразную директиву писать во всех случаях: «вследствие» и «в течение» (когда речь идёт о времени), теряя разницу между направленностью и пребыванием. Нет основания столь непроходимо отличать течение времени от сходного ему течения реки и для времени запретить образование наречия от предложного падежа «в течении» – хотя именно этот смысл чаще всего и вкладывается, а навязывают редко здесь прилагаемый по смыслу винительный падеж. Напротив, «впоследствии» единообразно указывают нам в форме от предложного падежа, хотя и тут жива форма от винительного. (Там же. Стр. 561–562)

Это стиль не писательских рамышлений, каких в то время было много. Это язык ученого, лингвиста.

Один из самых яростных отрицателей нового русского правописания на вопрос: «Для чего нам нужна буква «ять»?» в запальчивости ответил: «Хотя бы для того, чтобы можно было отличить грамотного от неграмотного!»

Более весомого аргумента не нашел.

Солженицын их находит:

...

Мгновенное и бесповоротное искоренение «ятя» из самой даже русской азбуки повело к затемнению некоторых корней слов, а значит, смысла и связи речи, затруднило беглое чтение. Например, перестали отличаться:

ъсть (кушать) и есть (быть)

ъли (кушали) и ели (деревья)

вьдение (от выдать, знать) и ведение (от вести, направлять)

свъдение (о чём) и сведение (к чему)

тъ (местоимение) и -те (частица)

някогда (когда-то) и некогда (нет времени)

вообще нъ– как указатель неопределённости и не– как отрицательная приставка

лъчу (на крыльях) и лечу (рану)

смъло (храбро) и смело (спахнуло)

видън (издали) и виден (собою)

синъе (положительная степень) и синее (сравнительная)

пръние (гниение) и прение (препирательство)

въсти (новости) и вести (инфинитив)

рък (род. п.мн. ч.) и рек (сказал)

горъ (горно, в духовном смысле) и горе (беда) и многие другие пары. В большинстве случаев эта нивелировка привела к возникновению помешных омонимов, балласта языка. Утеряна и окраска пассивности глаголов с окончанием на -ъть».

Нивелировка опасно коснулась и падежей, лишая язык точности. Слились:

на море (вин. п.) и на морѣ (предл. п.)

в сердце (вин. п.) и в сердцѣ (предл. п.)

на поле (вин. п.) и на полѣ (предл. п.) и т. д.

Большая часть всех этих потерь уже непоправима.

(Там же. Стр. 557–558)

Даже самые почтенные противники нового русского правописания (не из числа профессионалов-языковедов, конечно) отрицали его на эмоциональном уровне. Кто – руководствуясь своими политическими эмоциями, кто – эстетическими, эзотерическими:

…

Язык наш запечатлевается в благолепных письменах: измышляют новое, на вид упрощённое, на деле же более затруднительное, – ибо менее отчётливое, как стёртая монета, – правописание, которым нарушается преемственно сложившаяся соразмерность и законченность его начертательных форм, отражающая верным зеркалом его морфологическое строение…

Что до эстетики, элементарное музыкальное чувство предписывает, например, сохранение твердого знака, для ознаменования иррационального полугласного звучания, подобного обертону или кратчайшей паузе, в словах нашего языка, ищущих лапидарной замкнутости, перенагруженных согласными звуками, часто даже кончающимся целыми гнездами согласных и потому нуждающихся в опоре немой полугласной буквы, коей несомненно принадлежит и некая фонетическая

значимость...

Язык наш неразрывно сросся с глаголами церкви: мы хотели бы его обмирщить... Наши языковеды, конечно, вправе гордиться успешным решением чисто научной задачи, заключавшейся в выделении исконно русских составных частей нашего двуипостасного языка; но теоретическое различение элементов русских и церковно-славянских отнюдь не оправдывает произвольных новшеств, будто бы «в русском духе» и общего увлечения практическим провинциализмом, каким должно быть признано вожделение сузить великое вместилище нашей вселенской славы, обрусить – смешно сказать! – живую русскую речь. Им самим слишком ведомо, что, пока звучит она, будут звучать в ней родным, неотъемлемо-присущим ей звуком и когда-то напетые над её колыбелью далекие слова, как «рождение» и «воскресение», «власть» и «слава», «блаженство» и «сладость», «благодарность» и «надежда».

Нет, не может быть обмирщен в глубинах своих русский язык! И довольно народу, немотствующему про свое и лопочущему только что разобранное по складам чужое, довольно ему заговорить по-своему, по-русски, чтобы вспомнить и Мать сыру-Землю с её глубинною правдой, и Бога в вышних с Его законом.

(Вяч. Иванов Наш язык. Из глубины. Сборник статей о русской революции. Париж. 1967. Стр. 175–180)

Это рассуждение маститого поэта напомнило мне еврейский анекдот.

У бабушки спрашивают, почему она так горячо ратует за то, чтобы её только что родившемуся внуку сделали обрезание. Она отвечает: «Во-первых, это красиво...»

Солженицын, отрицая новую орфографию, не взывает ни к эстетике, ни к религии (хотя – мог бы). Вступая в спор с создателями и защитниками реформы, он говорит с ними НА ИХ ЯЗЫКЕ. Корифеям русского языкознания (А. А. Шахматову, А. И. Соболевскому и др.), создававшим новое русское правописание и освятившим его своим научным авторитетом, он даёт бой НА ИХ ТЕРРИТОРИИ.

Таких претензий не было даже у Корифея Всех Наук.

Тот, вступая (одной ногой) на ниву языкознания, счел нужным сразу предупредить:

...

> *Ко мне обратилась группа товарищей из молодёжи с предложением высказать свое мнение в печати по вопросам языкознания, особенно в части, касающейся марксизма в языкознании. Я не языковед и, конечно, не могу полностью удовлетворить товарищей. Что касается марксизма в языкознании, как и в других общественных науках, то к этому я имею прямое отношение. Поэтому я согласился дать ответ на ряд вопросов, поставленных товарищами.*
>
> *(И. В. Сталин. Относительно марксизма в языкознании)*

Солженицын в своих «Грамматических соображениях» таких оговорок не делает. И к чести его надо сказать, что аргументация его, как правило, убедительна. Но – лишь пока речь идет о критике предложенных учёными и принятых на законодательном уровне изменений. Когда же дело доходит до предлагаемых им способов решения возникающих на каждом шагу затруднений, картина мгновенно меняется:

...

НАРЕЧИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПРЕДЛОГ

Слитность или раздельность написания их регулируются ныне правилами, недостаточно убедительными. Привлекается кроме смыслового и фонетический принцип, который здесь второстепенен, и иногда противоречив. Так, «поодиночке» велят писать вместе, а «в одиночку» отдельно (хотя фонетика, кажется, требовала бы обратного). Но вот я столкнулся с фразой: «вызванные в кабинет в одиночку». В раздельном написании (и при общей тюремной теме) может быть понято, что кабинет послужил какое-то время одиночкой (правдоподобный случай), тогда как разумелось, что вызывались не все сразу, а по очереди, – и слитное написание «водиночку» было бы ясней. Нам предлагают «в гору», «в меру», «на лету», «под стать» писать отдельно, хотя это решительно (и часто неосновательно) сдвигает их от наречий к предложно-именным сочетаниям. (Теряется различие: «в меру того, как» и «выпито вмеру».)

Но главное то, что никакой массовый справочник и никакие единые правила не могут упорядочить всего непредставимого бесчислия наречий в русском языке... Решение вопроса всякий раз: в каком виде (отдельно или слитно) наречие будет лучше воспринято глазом, легче понятно, и – каков оттенок его в данной фразе.

(Александр Солженицын. Собрание сочинений. Том десятый. Вермонт – Париж. 1983. Стр. 562–563)

Совершенно очевидно, что такое «решение вопроса» на самом

деле – никакое не решение, поскольку оно открывает дорогу полному авторскому произволу: что хочу, то и ворочу.

Но при любом возникающем затруднении А. И. всякий раз предлагает именно вот такое решение. Ничего другого он предложить не в состоянии:

…

Как правило, мы пишем Государь с большой буквы (как руководитель государства, наряду с Государственной Думой и Государственным Советом), но государыня с маленькой. Так же с малой – его величество, император, царь, августейшая семья, если это не цитата и если по тексту в эти слова не вкладывается повышенный эмоциональный смысл.

Также в зависимости от контекста колеблются у нас написания: Действующая Армия (с самым уважительным смыслом), Действующая армия (более служебно), действующая армия (косвенно, вскользь). То же и: Главнокомандующий и главнокомандующий; Двор и двор; Учредительное Собрание и учредительное собрание.

Слово Бог пишется с большой буквы всегда, когда ему придаётся религиозный и вообще наполненный смысл. Но в служебно-бытовом употреблении, в затёртых словосочетаниях – с маленькой:

окошко не дотягивалось до божьего света;

работа выходила на божий свет;

ей-богу; о, господи (мимоходом)

(Там же. Стр. 565–566)

Итак, слово *Бог* пишется с большой буквы, «когда ему

придаётся религиозный и вообще наполненный смысл». Что значит *религиозный* – более или менее понятно. А что такое «вообще наполненный» – не очень.

Впрочем, и с религиозным смыслом тоже всё не так гладко. Ведь слово *Бог* своего религиозного смысла отнюдь не утрачивает, даже если мы поминаем имя Господа всуе, механически, мимоходом:

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка впереди.
(О. Мандельштам)

Следуя логике Солженицына, слово *Господи* в первой строфе этого стихотворения надлежит писать с маленькой буквы, а *Божье имя* во второй – с большой. Не слишком ли сложно получается?

Но с *Богом* мы с грехом пополам как-нибудь ещё разберёмся. А вот как быть с *действующей армией* – совсем уже непонятно.

В одном случае, значит, предлагается оба эти слова писать с большой, заглавной буквы (*Действующая Армия)* , в другом – первое слово с большой, второе – с маленькой (*Действующая армия*), а в третьем – оба слова с маленькой (*действующая армия*). Это уже полная каша.

Этот принцип тотального авторского своеволия Солженицын распространяет и на употребление знаков препинания:

…

ЗАПЯТЫЕ

Могучее средство выражения, но если пользоваться им достаточно свободно, применительно к тонкостям интонации… Наша нынешняя письменность слишком обременена формальными традициями немецких грамматистов.

Запятые должны служить

интонациям и ритму (индивидуальным интонациям фраз и персонажей), помогать их выявлять – а не быть мёртво-привязанными для всех интонаций и всех ритмов. Для синтаксиса интонация должна быть ведущей. Школьные пунктуационные правила формальны и не учитывают живое дыхание речи...

Читатель не должен встречать частокол тормозящих запятых, обременяющих фразу...

...Разгрузка от запятых часто настоятельна вокруг вводных слов и оборотов, во всяком случае с одной стороны. В зависимости от темпа фразы не всегда должна вклиниваться запятая после «во-первых», «во-вторых», «например», «конечно». Часто помешны запятые вокруг «может быть», особенно в форме «может». Чаще других обособлены интонацией «пожалуй», «напротив», но отнюдь не всегда...

Перечислительные запятые при однородных членах тоже могут ставиться и не ставиться, или не все – подчиняясь интонации...
(Там же. Стр. 568–569)

Он даже и не скрывает, что во всех этих – и множестве других – случаях целиком полагается на свой слух и вкус:

...

Не могу отказаться от «я» в словах семячки, мятель, мерянный (наряду с мереный – прич.). Эта потеря кажется мне обесцвечиванием.

(Там же. Стр. 567)

Признавая, что многие потери и утраты, порождённые

реформой русского правописания, уже невосстановимы, некоторые из них он пытается восстановить, хотя бы применительно к отдельным, исключительным случаям:

...

> *В 20-е годы уничтожалась и форма «обеих» (о женском роде говорили «обоих»), позже вернули. Такая же нивелировка мужского и среднего рода прилагательных «-аго, -яго» и «-ого, -его», очевидно, уже неисправима. Бессмысленно стёрты местоимения – личное «оне» и притяжательное «ея». (В редких случаях мы восстанавливаем: «санитарный поезд Ея Величества».)*
>
> *(Там же. 560–561)*

С устранением этих форм – «оне» и «ея» – и в самом деле возникло множество недоразумений, а для поколений, сжившихся с новой орфографией и не ведающих о старой, – совсем уже неразрешимых.

Вот, например, представьте, прочли бы мы у Пушкина:

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной.
Напоминают мне он и
Иную жизнь и берег дальний.

При таком написании у читателя вполне могло сложиться впечатление некоторой небрежности и даже неумелости незадачливого стихотворца, так неуклюже рифмующего «при мне и «они», «печальной» и «дальний». И поэтому совершенно правильно поступают те составители и редакторы пушкинских собраний, которые, пренебрегая правилами современной орфографии, в третьей строке этого четверостишия вместо «они» печатают «оне», а в четвертой – вместо «дальний» – «дальный».

И совсем уже было бы нелепо, если бы Шаляпин, исполняя знаменитую свою «Блоху», вдруг спел:

И самой королеве,
И фрейлинам еЁ,
От блох не стало мо-о-очи,

В этих – и других подобных – случаях возвращение к старой орфографии (и орфоэпии) не просто желательно, оно тут необходимо.

У Солженицына, когда он возвращает эту старую форму применительно к санитарному поезду «Ея Величества», такой острой необходимости нет. Но он тоже может сказать, что ему это необходимо для создания определённого художественного эффекта. Так же он мог бы объяснить и все другие случаи декларируемого и осуществляемого им авторского своеволия. И нам нечего было бы ему возразить, если бы единственная цель этих его «Грамматических соображений» состояла в том, чтобы объяснить читателю, почему он решил печатать собрание своих сочинений, пользуясь такой необычной, им самим разработанной системой правописания.

Но совершенно очевидно, что истинная цель этих его заметок была другая, куда более амбициозная. Его рукой двигало стремление спасти язык от обеднения, оскудения, вернуть ему хотя бы часть утерянных им богатств.

* * *

Вспомним призыв к коллегам, заключающий ту, давнюю, первую его статью о языке:

…

> *Я так понимаю, что, быть может, настали решающие десятилетия, когда ещё в наших силах исправить беду – совместно обсуждая, друг другу и себе объясняя, а больше всего строгостью к себе самим. Ибо главная порча русской письменной речи – мы сами, каждое наше перо, когда оно поспешно, когда оно скользит слишком незатруднённо.*
>
> *Умедлим же и проверим его бег!.. Ещё не поздно выправить склад нашей письменной (авторской) речи…*

(Там же. Стр. 471–472)

Когда я прочёл тогда эту его статью в «Литгазете», эта форма множественного числа («мы», «в наших силах») показалась мне не более чем формулой вежливости. Я был уверен, что на самом деле не было, не могло быть у него тогда никаких надежд на то, что хоть кто-нибудь из собратьев по перу В ЭТОМ его поддержит.

На самом деле, оказывается, это было не так:

...

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН – К. И. ЧУКОВСКОМУ

Конец ноября 1965 г .

Дорогой Корней Иванович!..

Слышал от Люши, что Вы косовато смотрите на мою языковую статью и считаете её в общем виде утопией. Конечно, применение всех этих (и ещё по-настоящему неясных) принципов невозможно без художественного вкуса и чувства меры. Действительно, самому Далю его опыты совершенно не удались (в художественных произведениях). Однако в себе я ощущаю сейчас способность сделать какие-то шаги в этом направлении и не могу допустить, что останусь в одиночестве.

(Переписка Александа Солженицына с Корнеем Чуковским. «Новый мир», 1911, № 10)

Он не мог этого допустить, но вышло именно так. Из тех немногих его собратьев по цеху, которые поддерживали его в куда более опасных его начинаниях, В ЭТОМ его не поддержал ни один. Ни тогда, ни потом.

Но это его не остановило.

И то, что надо было бы начать делать если не всем, так хоть немногим, избранным, пришлось совершить ему одному, взвалить этот непомерный груз на свои плечи.

Результатом этих многолетних его трудов стал «Русский словарь языкового расширения», явившийся на свет в Москве, в

1990 году – под грифом АКАДЕМИИ НАУК СССР.

Словник его насчитывал около ТРИДЦАТИ ПЯТИ ТЫСЯЧ СЛОВ.

Словнику предшествовало небольшое, но обстоятельное — ОБЪЯСНЕНИЕ

...

С 1947 года много лет (и все лагерные, так богатые терпением и лишь малыми клочками досуга) я почти ежедневно занимался обработкой далевского словаря – для своих литературных нужд и языковой гимнастики. Для этого я сперва читал подряд все четыре тома Даля, очень внимчиво, и выписывал слова и выражения в форме, удобной для охвата, повторения и использования. Затем нашёл эти выписки ещё слишком громоздкими и стал из первой выжимки вытягивать вторую, а затем из второй третью.

Вся эта работа в целом помогла мне воссоздать в себе ощущение глубины и широты русского языка, которые я предчувствовал, но был лишён их по своему южному рождению, городской юности, – и которые, как я всё острее понимал, мы все незаслуженно отбросили по поспешности нашего века, по небрежности словоупотребления и по холостящему советскому обычаю. Однако в книгах своих я мог уместно использовать разве только пятисотую часть найденного. И мне захотелось как-то ещё иначе восполнить иссушительное обеднение русского языка и всеобщее падение чутья к нему – особенно для тех молодых людей, в ком сильна жажда к свежести родного языка, а

насытить её – у них нет того многолетнего простора, который использовал я. И вообще для всех, кто в нашу эпоху оттеснён от корней языка затёртостью сегодняшней письменной речи. Так зародилась мысль составить «Словарь языкового расширения» или «Живое в нашем языке»: не в смысле «что живёт сегодня», а – что ещё может, имеет право жить...

Лучший способ обогащения языка – это восстановление прежде накопленных, а потом утерянных богатств... Но нельзя упустить здесь и других опасностей языку, например, современного нахлына международной английской волны. Конечно, нечего и пытаться избегать таких слов, как компьютер, лазер, ксерокс, названий технических устройств. Но если беспрепятственно допускать в русский язык такие невыносимые слова, как «уик-энд», «брифинг», «истеблишмент» и даже «истеблишментский» (верхоуставный? верхоуправный?), «имидж» – то надо вообще с родным языком распрощаться. Мои предложения могут и не быть приняты, но не защищать язык по этой линии мы не можем.

(Русский словарь языкового расширения. Составил А. И. Солженицын. М. 1990. Стр. 3)

Последняя реплика («Мои предложения могут и не быть приняты...» и т. д.) обнажает всю хрупкость и ненадежность, я бы даже сказал несостоятельность всей этой предлагаемой им программы.

Интересно: как он себе это представляет? КЕМ могут быть приняты или не приняты эти его предложения?

Какой-нибудь специально созданной на этот случай

Государственной Комиссией?

Или, может быть, на всенародном референдуме?

Законодательным порядком можно изменить правила орфографии или даже грамматики, нанеся этим языку невосполнимый урон, или, наоборот, предписав более бережное отношение к утвердившейся, ставшей уже привычной для «носителей языка» грамоте.

Но никакое ВЛАСТНОЕ распоряжение не может навязать языку его словарь, предписать ему одно словоупотребление и исключить другое. И если в свое время в язык вошли слова «колхоз» или «райком», то не потому, что так было предписано свыше.

Когда оказавшуюся в Париже Ахматову благоговейно встречавшие её эмигранты удивленно и даже не без осуждения спрашивали, почему Санкт-Петербург она называет Ленинградом, Анна Андреевна холодно отвечала: «Потому что он так называется».

Уже в первые послереволюционные годы, а чем дальше, тем больше, в живую русскую речь хлынул мощный поток новых слов. Процесс этот был зафиксирован многими словарями. (А. Селищев.Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет. 1917–1926. М. 1928; Толковый словарь языка Совдепии. СПб. 1998). Те тридцать пять тысяч слов, которые собрал в своём словаре Солженицын, по замыслу автора этого словаря должны были стать светлой, чистой, прозрачной струёй, противостоящей этому мутному, грязному потоку.

О том, способны ли они выполнить эту роль, назначенную им автором, можно судить, заглянув на любую его страницу.

Вот хоть на эту:

…

ЗААТЛАСИТЬСЯ – засалиться от носки.

ЗАБАЖИЛОСЬ – захотелось сильно.

ЗАБАРИТЬСЯ – зазнаться.

ЗАБЕЛЕТЬСЯ – показаться издали белым.

ЗАБЛЕСНИТЬ – ослепить блеском.

ЗАБЛОШИТЬ, ЗАБЛОШНИТЬ – (комнату, одежду).

ЗАБЛУКАТЬСЯ – заплутаться.

ЗАБОТВЕТЬ – (о широколиственных растениях).

ЗАДЕРНЕТЬ – о мелкой степной траве.

ЗАБРАНИВАТЬ – задирать бранью.

ЗАБРАТАНИТЬ – взять себе в братья.

ЗАБУЛДЫЖИТЬ, ЗАБУЛДЫЖНИЧАТЬ.

ЗАВЕТРИТЬСЯ – исчезнуть.

ЗАГЛОНУТЬ – заглотнуть.

ЗАГНЕТАТЬ что – собирать в ворошок и покрывать.

ЗАГОМЗИТЬ денежки – спрятать подальше.

ЗАГРУБНУТЬ – ожёскнуть.

(Русский словарь языкового расширения. Составил А. С. Солженицын. М. 1990. Стр. 67–68)

Вряд ли язык захочет расширяться в эту сторону.

В этом легко убедиться, поглядев, в какую сторону он расширяется САМ.

Для пущей наглядности выбираю ту же словформу, какую выбрал у Солженицына (глагол в инфинитиве, с префиксом «за»):

…

ЗАБАЗЛАТЬ – заговорить шумно, с криком.

ЗАБАЛДЕТЬ – прийти в состояние алкогольного или наркотического опьянения.

ЗАБАЦАТЬ – неожиданно забацал на пианино польку.

ЗАБЗДЕТЬ – занервничать, почувствовать испуг.

ЗАБОМЖЕВАТЬ – пропил свою комнату и забомжевал.

ЗАБРИТЬ – призвать в армию (на срочную службу), мобилизовать.

ЗАВЯЗАТЬ – решительно прекратить делать что-либо вредное, предосудительное, опасное (чаще о пьянстве, курении и т. п.).

ЗАГРЕМЕТЬ – неожиданно потерпеть неудачу, изменить статус. Лишиться высокого положения, быть уволенным.

ЗАДИНАМИТЬ – намеренно ввести в заблуждение, сильно обмануть, подвести.

ЗАДРИСТАТЬ – запачкать жидкими испражнениями.

ЗАДРОЧИТЬ – измучить непосильной работой.

ЗАЕБАТЬ – крайне измучить, сильно утомить и надоесть. Довести до раздражения какими-либо разговорами, просьбами.

ЗАКАДРИТЬ – добиться знакомства с кем-либо. Завлечь для совместного времяпрепровождения с расчётом на установление близких отношений.

ЗАЛЕТЕТЬ – забеременеть против желания, случайно.

ЗАЛУПАТЬСЯ – вести себя излишне самоуверенно, действовать нагло, задираться.

ЗАМУДОХАТЬ – измучить, изнурить, утомить тяжелой работой. Сильно надоесть, задергать, довести до раздражения.

ЗАНЫКАТЬ – спрятать, припрятать впрок, отложить. Припрятать, чтобы присвоить чужое.

ЗАПИЗДИТЬ – с силой забросить, поместить куда-либо.

ЗАПИЗДЯЧИТЬ – зайти, забрести крайне далеко или в неблагоприятное место. Высказать, произнести что-либо смешное, нелепое, необычное.

ЗАХУЯЧИТЬ. – совершить какое-либо энергичное действие, направленное на объект. Забросить, закинуть, положить куда-либо в отдаленное, труднодоступное или неизвестное место; затерять.

(В. В. Химик. Большой словарь русской разговорной речи. СПб. 2004)

Этот пласт языка Солженицыным в его «Словаре» даже не затронут, хотя он, конечно, ему знаком. Смею даже уверить, что он для него так же естествен, как литературная, интеллигентная лексика и фразеология его писем.

Сужу об этом не только по повести «Один день Ивана Денисовича», герои которой (как весь наш народ, что в «зоне», что на воле) не могут обойтись без этих словечек («подымется-фуимется», «маслице-фуяслице»), но и по личным впечатлениям.

Последний раз я видел Александра Исаевича живым в Переделкине, на похоронах Лидии Корнеевны Чуковской. Он горячо что-то обсуждал с Юрой Карякиным, а я стоял неподалеку: подойти и поздороваться, учитывая всё, что между нами было, не посмел. В их разговор я, разумеется, не вслушивался, но до меня долетела одна его фраза: «...засадил им шершавого».

Для тех, кому неведомо сокровенное значение этого слова, сошлюсь на тот же «Большой словарь русской разговорной речи»:

...

ШЕРШАВЫЙ – о наружном мужском половом органе. Вульгарная образность, построенная на комической антитезе: вместо гладкого – негладкий, неровный, шероховатый – такой, который, по распространенной мужской мифологии, особенно привлекателен для женщин в половом акте.

Это слово, далеко выходящее за пределы нормативной лексики, слетело с языка Александра Исаевича с той же естественной лёгкостью и свободой, с какой в его письмах Павлу Литвинову, Суварину и К. И. Чуковскому мелькали слова и обороты обиходной интеллигентской речи («революционная экзальтация»).

На вопрос, почему этот пласт языка в солженицынском словаре никак не отразился, ответить не трудно. Собственно, Александр Исаевич сам достаточно ясно на него ответил:

...

...Этот словарь ни в какой мере не преследует обычной задачи словарей: представить по возможности полный состав языка. Напротив, все известные и уверенно употребительные слова отсутствуют здесь. (С общими словарями неизбежны перекрытия только, когда прослеживаются оттенки значений.) Тут подобраны слова, никак не заслуживающие преждевременной смерти, ещё вполне гибкие, таящие в себе богатое движение – а между тем почти целиком заброшенные, существующие близко рядом с границей нашего изношенного узкого употребления, – область желанного и осуществимого языкового расширения. Также и слова, частично ещё применяемые, но всё реже, теряемые как раз в наше время, так что им грозит отмирание. Или такие, которым сегодня может быть придано освежённое новое значение. (И, например, с удивлением мы можем обнаружить среди исконных давних русских слов кажущиеся новоприобретения современного жаргона – как зырить, кунять, надыбать, заначить, с кондачка и др.) Стало быть, этот словарь противоположен обычному нормальному: там отсевается всё недостаточно употребительное – здесь выделяется именно оно.

(Русский словарь языкового

расширения. Составил А. С. Солженийын. М. 1990. Стр. 3–4)

Тут бы Александру Исаевичу и задуматься: а почему одни слова из «области желанного и осуществимого языкового расширения» язык воскресил, вернул из небытия в свой состав, а другие не менее ему сродные, сам, по своей воле, почему-то воскрешать не хочет?

Уже не в первый раз у меня – в приложении к языку – вырываются эти слова (*сам, по своей воле* , словно речь идет не о бессознательной стихии, а о живом существе, наделённом сознанием и волей). И эти слова тут – не метафора. Окончательный приговор тому или иному слову – жить ему или умереть, – язык и в самом деле выносит собственным волеизъявлением.

Язык живет своей, таинственной, загадочной, непредсказуемой жизнью. Одни слова в нем рождаются, другие почему-то умирают.

Не только на заре авиации, но и в моём детстве – в начале и даже ещё середине 30-х годов прошлого века – ещё живым было слово *аэроплан* . Было оно тогда отнюдь не книжным, а разговорным, общеупотребительным. Была у нас, тогдашних детей, даже такая песенка:

Ероплан, ероплан!
Посади меня в карман.
А в кармане пусто,
Выросла капуста.

И вот – нет больше этого слова, оно умерло. Его заменило, напрочь вытеснило другое: – *самолёт* .

Казалось бы, дело ясное. Иностранное, чужое слово было вытеснено своим, коренным, уже давно существующим в языке *(ковёр-самолёт)* и уже по одному тому более для нас привычным.

Но в то же время появились и прочно утвердились в нашем языке такие чужеродные для него слова, как *мотоцикл, велосипед.* И укоренились. И почему-то не были вытеснены своеродным: *самокат.* (Оно сохранилось только для обозначения детского самоката, в моем детстве самодельного, на подшипниках. У нынешних детей и подростков его сменили *ролики*).

Иностранное, чужеродное слово *велосипед* в ту пору, когда оно входило – и вошло – в живую речь, многие тогдашние «носители языка» и выговорить-то не могли (говорили: *лисапед*). Но даже и это не помешало этому чужеродному слову обрусеть. И вот родилось – и вошло в язык, прижилось, – ещё одно, совсем

уже новое словообразование: *велик* .

И даже Александр Исаевич в ту пору, когда ещё не утерял своего слуха (и интереса) к живому языку, тоже без него не обошёлся:

…

> *Друзья мои, вы просите рассказать что-нибудь из летнего велосипедного? Ну вот, если не скучно, послушайте о Поле Куликовом.*
>
> *Давно мы на него целились, но как-то всё дороги не ложились…*
>
> *Может, мы и подбираться вздумали нескладно… Только потому, что дождей перед тем не было, мы проехали в сёдлах, за рули не тащили, а через Дон, ещё не набравший глубины, и через Непрядву переводили свои велики по пешеходным двуязычным мосткам.*
>
> *(А. Солженицын. Захар-Калита. Цит. по кн.: Александр Солженицын. Не стоит село без праведника. Раковый корпус. Рассказы. М. 1990. Стр. 554)*

Выбор, который – по своей воле – делает язык, решая, какому слову жить, а какому умереть, логику этого выбора понять невозможно. Вот, скажем, есть две языковые пары: *продавец – продавица* ; и – *продавщик – продавщица* .

Казалось бы, чего проще! Выбирай из них любую, какая тебе больше по душе. Или – уравняй их, пользуйся обеими.

Но язык почему-то одно слово *(продавец)* выбрал из первой пары, а другое *(продавщица)* – из второй. И ни один «носитель языка» ни при какой погоде не ошибётся, не скажет вместо *продавец – продавщик* , а вместо *продавщица – продавица* .

Неужели Александр Исаевич всего этого не знает? Не понимает?

И знает, конечно, и понимает.

Но владеющая им *энергия заблуждения* сильнее этого его знания и этого его понимания.

Апостол точного расчёта

Солженицын и Сахаров. Два эти имени стояли в нашем сознании рядом. Так воспринимали их и те, кто связывал с этими именами надежду на лучшее будущее страны, и те, кто обрушивал на них – непременно на обоих сразу – громы и молнии официальных государственных проклятий. Но при этом все-таки сохранялась между этими двумя фигурами и некоторая дистанция. Она ощущалась даже в тех официальных газетных откликах, которые заказывались, а может быть, даже и сочинялись на Лубянке. (Традиционный газетный подвал этого специфического назначения мы так прямо и называли: «Лубянский пассаж»). Так вот, один из самых заметных таких «лубянских пассажей», посвящённых «антинародной» деятельности Солженицына и Сахарова, назывался: «Продавшийся и простак». «Продавшийся» – это был Солженицын, а «простак» – Сахаров.

Само собой, авторы этого сочинения таким его заглавием хотели подчеркнуть не столько разницу психологических характеристик Александра Исаевича и Андрея Дмитриевича, сколько своё (не своё, конечно, а «государственное») отношение к их фигурам. Называя Андрея Дмитриевича простаком, они давали понять, что считают его все же своим (как-никак – трижды герой соцтруда!) и как бы давали ему возможность прозреть, поумнеть, одуматься. Эпитет, прикреплённый к фамилии Солженицына, никаких таких надежд уже не оставлял.

Однако такое тонкое стилистическое различие упиралось не только в этот несложный политический расчёт. В какой-то мере оно все-таки было продиктовано и очевидным, сразу бросающимся в глаза контрастом между этими двумя характерами.

Алексей Александрович Сурков – один из самых проницательных тогдашних литературно-партийных функционеров, – предупреждая товарищей о множестве грядущих неприятностей, которые сулит им дальнейшая деятельность Александра Исаевича, выразился так (я уже упоминал об этом однажды):

– Характер-то у него бойцовский!

Именно так оценивал свою роль в мире и сам обладатель этого «бойцовского характера».

...

Я только меч, – заключал Александр Исаевич одну из глав своего «Телёнка», – хорошо отточенный на нечистую силу, заговорённый рубить её и разгонять. О, дай мне, Господи, не переломиться при ударах! Не выпасть из руки Твоей!

Эта автохарактеристика, надо сказать, на редкость прочно совмещалась со всем его обликом – не только творческим и поведенческим, но и просто человеческим, портретным.

Что же касается Андрея Дмитриевича Сахарова, то он меньше всего был похож на меч. Или даже на бич, которым можно изгонять нечистую силу или, скажем, торгующих из храма.

Когда один мой приятель, узнавший, что и о том и о другом из этих тогдашних наших кумиров у меня уже есть и кое-какие личные впечатления, попросил меня поделиться ими, я – полушутя, но и с достаточной долей серьезности, – сказал, что мне гораздо легче было бы поверить, что «Один день Ивана Денисовича» написал Сахаров, а водородную бомбу изобрел Солженицын.

Случилось так, что как раз в то время, познакомившись, а вскоре и подружившись с несколькими учеными-физиками, я соприкоснулся с другой средой обитания, очень мало похожей на привычную мне литературную.

Литератор – прозаик, поэт, – по самой природе своей профессии – свободный художник. Он не ходит на службу, ему не надо торопиться к определённому часу на работу («снимать табель»), он может, если вдруг сегодня его почему-то не тянет к письменному столу, устроить себе выходной день, а то и каникулы, некоторое время лениться, а потом вдруг войти в полосу трудового запоя. Это накладывает отпечаток на весь его образ жизни – по правде сказать, довольно-таки безалаберный.

Но мои друзья-физики отличались от моих друзей-литераторов не только тем, что трудовая их деятельность была более дисциплинированной, упорядоченной. Они не только трудились, но и отдыхали совсем не так, как мы. Ходили в какие-то походы, то – в альпинистские, то – на байдарках.

Александр Исаевич и по складу характера, и по образу жизни был ближе к этой учёной братии. Он даже и в походы ходил, как они, – правда, не в альпинистские, и не в байдарочные, а в велосипедные.

Ну, а что касается трудовой дисциплины и умения

распоряжаться своим временем, тут ему вообще не было равных.

Я уже рассказывал, как он объяснил мне, что приучил себя быть в активном, рабочем состоянии все шестнадцать дневных часов, остающиеся ему от ночного сна.

Позже я узнал про ещё одну особенность его отношения к неумолимому *бегу времени.*

Есть такой анекдот.

У встречного прохожего на улице спрашивают, который час. Вскинув руку с часами к глазам, он долго смотрит на циферблат, раздумывает. Наконец отвечает: «Ще неизвестно».

Это значит, что большая (минутная) стрелка ещё не подошла к двенадцати или шести.

Анекдот этот очень точно отражает наше отношение к часам и минутам. На вопрос о времени мы привыкли отвечать приблизительно: «Полшестого», или: «Четверть пятого». Или: «Без четверти восемь».

Александр Исаевич свое время рассчитывал в минутах.

...

Поражала в нем пунктуальность и точность. Вероника рассказывала мне, что когда он приезжал из Рязани и мотался по своим делам в городе, не успевая к ним заскочить, то звонил и назначал встречу на вокзале. Назначал так: в десять тридцать шесть подойдите ко мне. Я буду на перроне у своего поезда. Вы знаете, где мой рязанский поезд, но мы увидимся до десяти пятидесяти четырёх.

Вот до такой степени был пунктуален. Когда они приходили, а Солженицын ещё с кем-то говорил, в 10.36 он извинялся перед этим человеком, общался с Вероникой и Юрой, а в 10.54 к нему подходил кто-то другой. И он прекращал свидание с ними. Хотя очень хорошо, повторю, к ним относился, я сам это видел.

(Игорь Кваша. Точка возврата. М. 2007. Стр. 232)

Узнав (в то же время, что Игорь, и от тех же Вероники и Юры) об этих его чудачествах, я тогда подумал, что такое расчётливое отношение к времени не в русском, а скорее в немецком духе.

Тут сразу надо сказать, что ни с какими немцами я тогда знаком не был, и представление об этом немецком менталитете было мне внушено не собственными моими жизненными впечатлениями, а – литературой:

...

Маленьким мальчиком я подъезжал впервые к Берлину. Раскрыв толстую непонятную книгу, похожую не то на Библию, не то на учебник тригонометрии, мать сказала мне:

– Мы приедем в Берлин в девять часов двенадцать минут.

Я не поверил ей. Я ведь знал тогда только русские вокзалы, с тремя звонками, с неторопливыми пассажирами, попивающими чай, с флиртующими телеграфистами и с душистой черёмухой. Я знал, что, если побежать сорвать ветку черёмухи, поезд не уедет, – поезд поймёт, что нельзя без черёмухи. Помолчав, я переспросил:

– Ну, а часов в десять или в одиннадцать мы все же приедем?

Тогда мать, усмехнувшись, ответила:

– Здесь поезда никогда не опаздывают.

Помнится, когда поезд действительно подошел к вокзалу Фридрихштрассе, и я, взглянув на часы, увидел девять часов двенадцать минут, я не обрадовался, – нет, я испугался. Ничто в тот день не могло исцелить меня от испуга перед непостижимой точностью...

(Илья Эренбург. Виза времени. М.

1933. Стр. 33)

Отношение Солженицына к часам и минутам напомнило мне этот рассказ Эренбурга.

Русскую необязательность, когда поезд, который по расписанию должен прибыть к пункту назначения в девять часов двенадцать минут, не придёт раньше десяти, а то и одиннадцати, эту русскую безалаберность и расхлябанность, которая так была мила Эренбургу, Александр Исаевич ненавидел. Всякий раз, когда ему приходилось с ней сталкиваться, – а сталкиваться с ней ему приходилось постоянно, – это выводило его из себя.

...

Ещё в период борьбы за пьесу «Олень и шалашовка» у меня с ним была одна встреча, которая меня поразила. Он написал письмо Лебедеву, помощнику Хрущёва, надеясь, что тот поможет с пьесой. И мы с ним договорились, что я заеду в гостиницу «Москва», где он останавливался, возьму письмо и отвезу в ЦК. Назначили время: шесть часов. Я в этот день с самого утра снимался, не успел пообедать и был страшно голоден... Решил на десять минут заскочить домой, чтобы быстро перекусить. Я живу недалеко от гостиницы «Москва», думал, успею и поесть, и к Солженицыну. В шесть пять – звонок. Подошла Таня. «Извините. А можно Игоря Владимировича?» Таня говорит: «А кто его спрашивает?» – «Это Александр Исаевич. Мы с ним договорились на шесть часов, а его что-то нет».

Это в шесть часов пять минут! Я взял трубку, извинился, объяснил причину и сказал, что буду через несколько минут. Мне бежать до гостиницы «Москва» минут десять...

(Игорь Кваша. Точка возврата. М. 2007. Стр. 233–234)

6 июня 1963 года К. И. Чуковский записал в своём дневнике:

…

…Сегодня у меня был Солженицын… Много рассказывал о своих тюремных годах… Рассматривал «Чукоккалу». Заинтересовался предреволюционными записями: «Я пишу Петербургскую повесть, давно хотел написать. Сейчас я закончил рассказ о том, как молодёжь строила для себя техникум, а когда построила, её прогнали. У нас в Рязани из трёх техникумов два были построены так».

– 75% – сказал я.

– 66! – сказал он, и я вспомнил, что он учитель,

(Корней Чуковский. Собрание сочинений в пятнадцати томах. Том тринадцатый. Дневник. 1936–1969. М. 2007. Стр. 369)

Пожалуй, было бы уместнее, если бы Корней Иванович тут вспомнил, что А. И. был не просто учитель, но – *учитель математики* .

Но на самом деле это его стремление к точности было не профессиональной, а сугубо личной, индивидуальной чертой.

Склонность к точному расчёту была у него в характере.

Варлам Тихонович Шаламов в своих записных книжках всякий раз, когда ему случается заговорить о Солженицыне, вспоминает его деловую расчётливость и даже прямо называет его *дельцом* :

…

Деятельность Солженицына – это деятельность дельца,

направленная узко на личные успехи со всеми провокационными аксессуарами подобной деятельности.

(Варлам Шаламов. Новая книга. Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела. М. 2004. Стр. 333)

...

Я никогда не мог представить, что после XX съезда партии появится человек, который собирает воспоминания в личных целях.

(Там же. Стр. 377)

...

Почему я не считаю возможным личное моё сотрудничество с Солженицыным?

Прежде всего потому, что я надеюсь сказать свое личное слово в русской прозе, а не появиться в тени такого, в общем-то, дельца, как Солженицын.

(Там же. Стр. 373)

Сказано грубо и в конечном счёте, наверно, несправедливо. Но при всей грубости и несправедливости этого определения, – что правда, то правда, – в каждом шаге Солженицына неизменно присутствует точный деловой расчёт.

Даже в такой тонкой, глубоко интимной, казалось бы, никакой тактике и стратегии, никаким расчётам не подвластной области сознания, как вера в Бога:

...

– Для Америки, – быстро и наставительно говорил мой новый

знакомый, – герой должен быть религиозным. Там даже законы есть насчёт этого, поэтому ни один книгоиздатель американский не возьмёт ни одного переводного рассказа, где герой – атеист, или просто скептик, или сомневающийся.

– А Джефферсон, автор Декларации?

– Ну, когда это было. А сейчас я просмотрел бегло несколько ваших рассказов. Нет нигде, чтобы герой был верующим. Поэтому, – мягко шелестел голос, – в Америку посылать этого не надо, но не только. Вот я хотел показать в «Новом мире» ваши «Очерки преступного мира». Там сказано – что взрыв преступности был связан с разгромом кулачества у нас в стране – Александр Трифонович не любит слова «кулак». Поэтому я всё, всё, что напоминает о кулаках, вычеркнул из ваших рукописей, Варлам Тихонович, для пользы дела.

Небольшие пальчики моего нового знакомого быстро перебирали машинописные страницы.

– Я даже удивлён, как это вы... И не верить в Бога!

– У меня нет потребности в такой гипотезе, как у Вольтера.

– Ну, после Вольтера была Вторая мировая война.

– Тем более.

– Да дело даже не в Боге. Писатель должен говорить языком большой христианской культуры, все равно – эллин он или иудей. Только тогда он может добиться успеха на Западе.

(Там же. Стр. 372)

Даже в его отношении к такому непредсказуемому повороту

судьбы, как нежданно-негадано свалившаяся на него Нобелевская премия, оказывается, тоже присутствовал дальний и точный расчёт:

...

В странах нескованных что есть присуждение Нобелевской премии писателю? Национальное торжество. А для самого писателя? Гряда, перевал жизни...

А что такое Нобелевская премия для писателя из страны коммунизма?.. Оттого что в нашей стране не кто иной, как именно сама власть, от кровожадно-юных дней своих, загнала всю художественную литературу в политический жёлоб... Сама власть внушила писателям, что литература есть часть политики... И поэтому каждое присуждение Нобелевской премии нашему отечественному писателю воспринимается прежде всего как событие политическое...

А так как и учёные наши не больно часто те заморские премии получали, то у нас почти и не поминали их, до пастернаковской бури мало кто и знал о существовании таких. Я узнал, не помню, от кого-то в лагерях. И сразу определил в духе нашей страны, политически: вот это – то, что нужно мне для будущего моего Прорыва.

(А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. М. 1996. Стр. 268–269)

Даже в минуты сильного душевного потрясения, когда, казалось, решение могло – и должно – быть принято импульсивно, никаким расчётом не управляемым толчком

воспалённой совести, он, прежде чем принять его, продумывает и просчитывает все возможные варианты:

...

Счастливей того лета придумать было бы нельзя – с такой лёгкой душой так быстро доделывал я роман. Счастливей бы не было, если б – не Чехословакия...

Считая наших не окончательными безумцами, я думал – они на оккупацию не пойдут. В ста метрах от моей дачи сутки за сутками лились по шоссе на юг танки, грузовики, спецмашины – я всё считал, что наши только пугают, маневры. А они – вступили и успешно раздавили. И значит, по понятиям XX века, оказались правы.

Эти дни – 21, 22 августа, были для меня ключевые. Нет, не будем прятаться за фатум: главные направления своей жизни всё-таки выбираем мы сами. Свою судьбу я снова сам выбирал в эти дни.

Сердце хотело одного – написать коротко, видоизменить Герцена: стыдно быть советским! В этих трёх словах – весь вывод из Чехословакии, да вывод из наших всех пятидесяти лет! Бумага сразу сложилась. Подошвы горели бежать, ехать. И уже машину я заводил (ручкой).

Я так думал: разные знаменитости, вроде академика Капицы, вроде Шостаковича, ищут со мною встреч, приглашают к себе, ухаживают за мной... А ну-ка, на машине быстро их объеду – ещё Леонтовича, а тот с Сахаровым близок (я с Сахаровым ещё не был

знаком в те дни), ещё Ростроповича (он в прошлом году в Рязани вихрем налетел на меня, знакомясь, а со второго свидания звал к себе жить), да и к Твардовскому же, наконец, – и перед каждым положу свой трёхфразовый текст, свой трёхсловный вывод: стыдно быть советским! И – довольно юлить! – вот выбор вашей жизни – подписываете или нет?

А ну-ка, за семью такими подписями – да двинуть в Самиздат! через два дня по Би-би-си! – со всеми танками не хватит лязга у наших на зубах вхолостую пролязгают, осекутся!

Но с надрывом накручивая ручкой свой капризный «москвич», я ощутил физически, что не подниму эту семёрку, не вытяну: не подпишут они, не того воспитания, не того образа мыслей! Пленный гений Шостаковича замечется как раненый, захлопает согнутыми руками – не удержит пера в пальцах. Диалектичный прагматик Капица вывернет как-нибудь так, что мы этим только Чехословакии повредим...

Зарычал мотор – а я не поехал.

Если подписывать такое – то одному. Честно и хорошо.

И – прекрасный момент потерять голову: сейчас, под танковый гул, они мне её и срежут незаметно. От самой публикации «Ивана Денисовича» это первый настоящий момент слизнуть меня за компанию, в общем шуме.

А у меня на руках – неоконченный «Круг», не говорю уже – неначатый «Р-17».

Нет, такие взлёты отчаяния – я понимаю, я разделяю. В такой

момент – я способен крикнуть! Но вот что: главный ли это крик? Крикнуть сейчас и на том сорваться, значит: такого ужаса я не видел за всю свою жизнь. А я видел и знаю много хуже, весь «Архипелаг» из этого, о том же я не кричу? все пятьдесят лет из этого – а мы молчим? Крикнуть сейчас – это отречься от отечественной истории, помочь приукрасить её. Надо горло поберечь для главного крика. Уже недолго осталось. Вот начнут переводить «Архипелаг» на английский язык...

Оправдание трусости? Или разумные доводы?

Я – смолчал.

(А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни. М. 1996. Стр. 214–215)

Времени на раздумья у него тут было немного. Но какое-то время все-таки было. Пусть не сутки, а только час или два...

Но бывало и так, что решение надо было принять сразу, – не то что часа, а и нескольких минут не было у него для раздумий, расчётов и колебаний. Да что там минут! Счёт шел на секунды!

Но и тут он успевал взвесить и рассчитать все «за» и «против».

...

В воскресенье утром довольно рано мы с Банкулом уезжали (в гостинице было отмечено его имя, не моё), подобрали по уговору отца и сына Ламсдорфов и поехали на Сарагосу, а дальше к Барселоне... Проехали мы Гвадалахару, то ущелье, где знаменито бежали итальянцы, – в разгаре его поглощающего рассказа вдруг

полицейская машина стала нас обгонять и указывала свернуть на обочину. Что такое? мы как будто ни в чём не провинились.

Остановились. Из полицейской машины выскочил сержант, но подошёл не с шофёрской стороны, как к нарушителям, а с правой. И спросил, тут ли едет Солженицын... Я сидел на заднем сиденье, он выровнялся и с честью доложил, что Его Величество король Хуан-Карлос просит меня немедленно к нему во дворец.

Ламсдорф перевёл – и мы молчали. Звучная была минута. Так разогнались ехать! На полном ходу, из огня гражданской войны, вызывал меня на сорок лет позже король – благодарить? Или что-то ещё спросить, мнения, совета? (Вероятно, ещё ночью обзвонили гостиницы, но нигде не обнаружен. Застава же схватила по швейцарскому номеру.) Звучная была минута – и казалась длинной. Ни полицейский сержант, ни наши русские испанцы не сомневались, что мы поворачиваем. Но я ощутил мучительный перебив разгона – не только в нашем рассчитанном движении, где почти не было отложных часов, но излома и самого замысла: король – не был в замысле... Ехать представляться королю? Да, почётно, – но после моего вчерашнего выступления такая встреча только повредит начинающему королю в глазах его образованщины. И что ж я могу ему посоветовать, кроме сказанного этой ночью? – тормозить и тормозить развал Испании. Так и сам же догадается. Да и левым будет легче всё смазать: я уже буду

не независимый свидетель Восточного мира, но креатура короля, ими оспариваемого.

И я понял, что должен делать. Открыл блокнот и стал писать по-русски, медленно и диктуя вслух, а молодой Ламсдорф в другом блокноте писал сразу по-испански, повторяя тоже вслух, – а сержант стоял навытяжку и недоуменно слушал.

...Я высоко ценю приглашение Вашего Величества... Я и принял решение приехать в Вашу страну осенью прошлого года, когда Испанию травили. Я надеюсь, что моё вчерашнее выступление поможет стойким людям Испании против натиска безответственных сил. ...Однако встреча с Вашим Величеством сейчас ослабила бы общественный эффект от вчерашнего... Я желаю Вам мужества против натиска левых сил Испании и Европы, чтоб он не нарушил плавного хода Ваших реформ. Храни Бог Испанию!..

Сержант неодобрительно берёт написанную бумагу, он всё равно не понимает, кто и как может отказаться от приглашения короля. Он просит нас ждать и идёт передавать эту бумагу по рации. Мои спутники тоже удивлены...

Сидим в молчании.

Минут через пятнадцать сержант возвращается торжественно:

– Его Величество желает вам счастливого пути! Никто вас больше беспокоить не будет.

(А. Солженицын. Угодило зёрнышко меж двух жерновов)

При всей своей расчётливости это решение делает ему честь.

Решение промолчать о вторжении в Чехословакию чести ему не делает. И он это сознает:

...

Я – смолчал. С этого мига – добавочный груз на моих плечах. О Венгрии – я был никто, чтобы крикнуть. О Чехословакии – смолчал. Тем постыдней, что за Чехословакию была у меня и особая личная ответственность: все признают, что у них началось с писательского съезда, а он – с моего письма , прочтённого Когоутом...

Этот стыд за Чехословакию так долго и сильно ещё горел во мне потом, что в последующие годы, когда я составлял «Жить не по лжи», я в запале написал: «преданный нами, обманутый нами великий народ Европы – чехословацкий». А глянуть просторней – кто кого обманул и с каким душевным величием, когда чехословацкие легионеры дезорганизовали колчаковское сопротивление, самого Колчака предали на расстрел большевикам, а через Сибирь увозили украденное русское золото? (И они не были к тому принуждаемы пулей, как наши солдаты в 1968.) Это – один из нередких в истории примеров, когда люди, группы и даже целые нации в безумной слепоте куют своё же гибельное будущее.

(А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни. М. 1996. Стр. 215–216)

Придумывает – для самооправдания – разные оговорки и

отговорки, в том числе и вполне дурацкие (при чём тут Колчак и украденное русское золото?), но при этом всё-таки испытывает – не скажу, чтобы муки совести, но – некоторый моральный дискомфорт.

В других сходных ситуациях, когда случалось ему промолчать, он никакого такого морального дискомфорта уже не испытывал.

Первый раз это случилось, когда начался судебный процесс над Синявским и Даниэлем.

Под письмом в защиту обвиняемых по этому процессу подписались тогда 62 писателя. Подписи Солженицына в их числе не было.

Естественно предположить, что, щадя его (его положение в то время было уже достаточно угрожаемым), к нему даже не стали обращаться. Но это не так. Через Н. В. Тимофеева-Ресовского [3] это письмо Александру Исаевичу было передано. Но он подписать его отказался, объяснив свой отказ так:

...

> *Не подобает русскому писателю печататься за границей.*
>
> *(Н. Бетелл. Путешествие англичанина в поисках России. М. 2002. Стр. 21)*

Жена А. Д. Синявского М. В. Розанова, подтвердив, что объяснение его отказа подписать письмо было именно таким, по этому поводу замечает:

...

> *Меня обескуражил не отказ, а его мотивировка... Самое забавное, что к тому времени все рукописи Солженицына были уже за границей.*
>
> *(М. Розанова. «Солженицын полоснул меня таким взглядом, что я поняла – это враг на всю жизнь». Комсомольская правда. 13 января 1999 г.)*

Вскоре, однако, и сам А. И. высказался на эту тему иначе:

…

…Пошёл через огонь Евгений Барабанов. 15.9 он пришёл ко мне (я уже знал, как его тягают в ГБ и душат) и у меня сделал корреспонденту своё тоже вполне историческое заявление: распрямлялся рядовой раб, до сих пор никому не известный, подымался с ноля – и сразу в мировую известность, распрямлялся на том, на чём мы согнуты были полвека: что отправить рукопись за границу не преступление, а честь: рукопись этим спасалась от смерти.

(А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом)

Совсем как Ленин, который, приехав из Германии в Петроград, выбросил лозунг: «Никакого доверия Временному правительству. Вся власть советам!», а когда выяснилось, что большинство в Советах у эсеров и меньшевиков, этот лозунг снял. А когда большевиков в Советах прибавилось, снова этот лозунг выдвинул.

Не только об отправке рукописей за границу, но и непосредственно о самих А. Д. Синявском и Ю. М. Даниэле Александр Исаевич впоследствии тоже высказался иначе:

…

Как когда-то Пастернак отправкой своего романа в Италию, а потом затравленным покаянием, так теперь Синявский и Даниэль за своё писательское душевное двоение беспокаянным принятием расплаты, – открывали пути литературы и закрывали пути её врагов. У мракобесов становилось простора меньше, у литературы – больше.

(Там же)

Признав таким образом историческое значение процесса Синявского и Даниэля и смелого («беспокаянного») их поведения на этом процессе, он все-таки не преминул попенять им за их «душевное двоение». Тоже, наверно, в оправдание давешнего своего отказа выступить в их защиту.

Но когда в марте 70-го А. Д. Сахаров предложил ему принять участие в кампании, организованной в защиту Петра Григоренко и Анатолия Марченко, он и тут отказался, сказав, что —

...

> *...они избрали свою судьбу сами.*
> *(Н. А. Решетовская. Александр Солженицын и читающая Россия. Стр. 372)*

Позже, правда, признал:

...

> *...пригнулась моя стальная решимость, с какой я прорезался все годы от ареста и без какой – не дойти.*
> *(А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом).*

Но тут же опять подчеркнул, что и в этом случае был у него свой, дальний и в конечном результате оправдавший себя расчёт:

...

> *Я не заступился за Буковского, арестованного в ту весну. Не заступался за Григоренко. Ни за кого. Я вёл свой дальний счёт сроков и действий.*
> *(Там же)*

За одного из гонимых в то время, однако, он всё-таки заступился.

29 мая 1970 года Жорес Александрович Медведев,

опубликовавший в то время за границей свою книгу, разоблачающую деятельность «народного академика» Т. Д. Лысенко и уволенный за это с работы, был помещён в психиатрическую больницу. Брат Жореса Рой тотчас же сообщил об этом разным влиятельным людям, на помощь которых рассчитывал. Первыми, к кому он обратился, были А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын.

Не ответить на это обращение А. И. не мог.

Начать с того, что с Жоресом у него были отношения личные. И инициатором этих личных отношений был он сам.

Летом 1964 года он прочел рукопись книги Жореса. Под скромным, некрикливым названием «Очерки по истории биолого-агрономической дискуссии» она уже два года ходила в Самиздате и к тому времени её прочли уже тысячи людей.

Прочёл её и Солженицын. И под впечатлением прочитанного тут же написал автору:

...

Многоуважаемый Жорес Александрович!

Этим летом я прочёл Ваши «Очерки».

За много лет буквально не помню книги, которая так бы меня захватила и взволновала, как эта Ваша. Её искренность, убедительность, простота, верность построения и верно выбранный тон – выше всяких похвал. О современности её нечего и говорить.

Я знаю, что и многих читателей она очень волнует, хотя они были далеки от биологии. Никто не может остаться безразличным к её дальнейшей судьбе...

...Мне хочется крепко пожать Вашу руку, выразить гордость за Вас, за Вашу любовь к истине и к отечественной науке. Ваша книга состоит из одних неопровержимостей...

Желаю Вам здоровья, бодрости,

мужества! Не теряю надежды с Вами познакомиться.

Г. Рязань, 23

1-й Касимовский пер. 12, кв. 3.

Солженицын

(Жорес Медведев. Из воспоминаний о Солженицыне. В кн.: Жорес Медведев, Рой Медведев. Солженицын и Сахаров. Два пророка. М. 2004. Стр. 78)

Они познакомились и сразу сблизились.

Год спустя, когда Солженицын хотел переехать из Рязани в какой-нибудь более тихий город и поближе к Москве, Жорес приложил немало усилий, чтобы перетащить его в Обнинск, где жена Александра Исаевича Н. А. Решетовская могла бы работать в том же институте, что и он. (Из этой его затеи, к сожалению, ничего не вышло).

И вот – Жорес в психушке. И за него уже вступились многие из тех, к кому обратился за помощью его брат Рой, – в том числе и А. Т. Твардовский, у которого с одним из его влиятельных друзей случился на эту тему такой разговор.

– Саша! – сказал он Александру Трифоновичу. – Не лезь ты в это дело! Тебе к 60-летию собираются дать Героя. Будешь упрямиться – не дадут.

Твардовский ответил:

– Первый раз слышу, что Героя у нас дают за трусость.

И не послушался доброго совета этого своего чиновного доброжелателя.

Так мог ли в этом случае Александр Исаевич промолчать? Не вступиться за Жореса, как не вступался за Синявского и Даниэля, Петра Григоренко, Анатолия Марченко и Владимира Буковского?

Не мог. Никак не мог.

…

…Гнал я свой «Август», и в тот год, 70-й, сидел бы тише тихого, писка бы не произнёс. Если бы не несчастный случай с Жоресом Медведевым в начале лета. Именно в эти месяцы, конца первой редакции и начала второй, определялся успех или

неуспех всей формы моего «Р-17»... И благоразумные доводы о жребии писателя приводили мне отговаривающие друзья.

Но – разумом здесь не взвесить: вдруг запечёт под ногами, оказывается – сковорода, а не земля, – как не запляшешь? Стыдно быть историческим романистом, когда душат людей на твоих глазах. Хорош бы я был автор «Архипелага», если б о продолжении его сегодняшнем – молчал дипломатично. Посадка Ж. Медведева в психушку для нашей интеллигенции была даже опаснее и принципиальнее чешских событий – это была удавка на самом нашем горле. И я решил – писать. Я первые редакции очень грозно начинал: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (то есть, им всем, палачам. В начале меня особенно заносит, потом умеряюсь). За лагерное время хорошо я узнал и понял врагов человечества: кулак они уважают, больше ничего, чем сильней кулаком их улупишь – тем и безопасней. (Западные люди никак этого не поймут, они всё уступками надеются смягчить.) Едва продирал я глаза по утрам – тянуло меня не к роману, а Предупреждение ещё раз переписать, это было сильней меня, так во мне и ходило. Редакции с пятой стало помягче: ВОТ КАК МЫ ЖИВЁМ. В ноябре 69-го упрекали меня, что быстротою своего выскока с ответом СП я помешал братьям-писателям и общественности за меня заступиться, отпугнул резкостью. Теперь, чтоб своей резкостью не потопить Медведева, я взнуздал себя, держал, дал академикам высказаться – и только в Духов день, в середине июня,

выпустил своё письмо. По делу Жореса оно оказалось, может, уже и лишним – струхнули власти и без того.

(А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом)

Странная вырисовывается картина.

В иных случаях (когда дело касалось его самого) он реагировал мгновенно. Вспомним его открытое письмо Андропову по поводу инцидента с Сашей Горловым, которое он шарахнул по всем радиостанциям сразу, как только узнал о случившемся, не успев даже поставить в известность главного героя этого инцидента. А тут – сидит, шлифует вариант за вариантом.

Жореса, как уже было сказано, закатали в психушку 29 мая. Прервал работу над романом и сел за письмо в его защиту Александр Исаевич 2 июня. Закончил последний (уже пятый!) его вариант – 11-го. А пустил его в обращение только в середине июня, 15-го, когда, как он сам это признает, оно было уже лишним: «Струхнули власти и без того».

Можно ли поверить, что причиной этой его медлительности была только лишь взыскательность мастера, заставлявшая его так долго шлифовать стиль письма? Да нет, конечно. Можно не сомневаться, что был тут у него совсем другой, свой расчёт. И нет нужды гадать, в чем состоял смысл этого расчёта.

* * *

7–8 марта 1963 года в Свердловском зале Кремля состоялась, как официально это называлось, – «Встреча руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства». (Эта «встреча» была вторая, первая проходила 17 декабря 1962 года в Доме приёмов на Ленинских горах).

На самом деле никакая это была не встреча, а самый что ни на есть настоящий, разнузданный и жуткий погром.

Особенно круто досталось там Василию Аксёнову и Андрею Вознесенскому. О том, как всё это было, я во всех подробностях узнал тогда от них самих.

Поэт, как сказала Марина Цветаева, издалека заводит речь. В точном соответствии с этой формулой, Андрюша Вознесенский, когда его позвали на трибуну, начал своё выступление так:

– Я, как и мой великий учитель Владимир Маяковский, не член партии...

Дальше он, естественно, собирался сказать, что, как и его великий учитель, он всей душой, всем сердцем... Ну, и так далее...

Замысел был хорош. Одна только была у него ахиллесова пята: он не учитывал бешеного, взрывного темперамента Никиты Сергеевича Хрущёва. Не дав Андрею развернуть замысленный им элегантный ораторский приём, Никита прервал его:

– Ах, не член? Не член партии? Да?.. И ты этим гордишься, да?.. Ну, так вот, на тебе паспорт – и езжай к своим заокеанским хозяевам!..

С Васей Аксёновым вышло примерно так же. Оказавшись на трибуне, он начал с того, что его отец, старый коммунист, был несправедливо репрессирован, отсидел семнадцать лет в сталинских лагерях... Дальше он, естественно, собирался выразить свою благодарность партии и лично Никите Сергеевичу за то, что они разоблачили культ личности Сталина, восстановили ленинские нормы партийной и государственной жизни и вернули ему отца. Но Никита Сергеевич и тут не стал дожидаться окончания этой сложной риторической фигуры. Прервав бедного Васю на полуфразе, он заорал:

– А-а! Так ты, значит, мстишь нам? Да? Мстишь за отца?!

Вася так ошалел от этого неожиданного обвинения, что, стоя перед микрофоном, только и мог тупо повторять:

– Кто мстит-то?.. Кто мстит-то?..

Это мне рассказал Андрей, который во время Васиного выступления ещё сохранял чувство юмора. Что касается самого Васи, то он, рассказывая мне об этом, только закрывал в ужасе глаза, вспоминая, каково ему было стоять на трибуне, когда весь президиум в полном составе, главные люди государства, налившись багровым румянцем, стали улюлюкать и материть его, продолжая травлю, начатую паханом.

Солженицын на той встрече тоже был. И тоже о ней рассказывал. Но – не так, как Аксёнов и Вознесенский, а скупо, сухо, очень осторожно и, – как бы это сказать, – безоценочно.

...

Когда произошла встреча в Кремле, во время которой Хрущёв кричал и брызгал слюной, выискивая в зале молодые лица, Ефремов тоже был там. Он пришел позже Солженицына, и места рядом уже не было. Тогда сел точно за ним, чтобы

иногда разговаривать, общаться. И когда Никита выискивал в зале молодые лица, Олег прятался за Солженицына, чтобы Хрущёв его не увидел. Они пришли из Кремля втроём – Солженицын, Хуциев и Ефремов. Олег подавленный и отрешённый. Собрал нас в кабинете. Мы разом сбежались. Он стал рассказывать очень эмоционально, Хуциев его перебивал, добавлял детали. Олег рассказывал, что самым страшным было не беснование Никиты, а атмосфера зала, ощущение своры. Когда науськивают, спускают с поводка, орут «Ату его, ату!» и общий крик начинается. Вот это чудовищно страшно. Кончили рассказывать, и кто-то из нас спрашивает: «Александр Исаевич, а у вас какие впечатления?» Он ничего не ответил, достал перекидной блокнотик из кармана и стенографически точно рассказал про всё это собрание. И от себя не добавил ни-че-го. Никак не прокомментировал. В общем, это было странно.

(Игорь Кваша. Точка возврата. М. 2007. Стр. 237)

Конечно, это было странно! От Солженицына ждали совсем другой реакции на то, что он увидел, услышал (и записал) на той «встрече».

А теперь представьте себе, какое изумление вызвал бы тогда вот этот документ, рассекреченный и обнародованный сравнительно недавно, уже в новое, постсоветское время:

...

22 марта 1963 г.
Товарищу ХРУЩЁВУ Н. С.
СПРАВКА

После встречи руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией в Кремле и после Вашей речи, Никита Сергеевич, мне позвонил по телефону писатель А. И. Солженицын и сказал следующее:

Я глубоко взволнован речью Никиты Сергеевича Хрущёва и приношу ему глубокую благодарность за исключительно доброе отношение к нам, писателям, и ко мне лично, за высокую оценку моего скромного труда. Мой звонок Вам объясняется следующим: Никита Сергеевич сказал, что если наши литераторы и деятели искусства будут увлекаться лагерной тематикой, то это даст материал для наших недругов, и на такие материалы, как на падаль, полетят огромные, жирные мухи.

Пользуясь знакомством с Вами и помня беседу на Воробьёвых горах во время первой встречи наших руководителей с творческой интеллигенцией, я прошу у Вас доброго совета. Только прошу не рассматривать мою просьбу, как официальное обращение, а как товарищеский совет коммуниста, которому я доверяю. Ещё девять лет тому назад я написал пьесу о лагерной жизни «Олень и шалашовка». Она не повторяет «Ивана Денисовича», в ней другая группировка образов: заключённые противостоят в ней не лагерному начальству, а бессовестным представителям из своей же среды. Мой «литературный отец» Александр Трифонович Твардовский, прочитав эту пьесу, не рекомендовал мне передавать её театру. Однако мы с ним несколько разошлись во мнениях,

и я дал её для прочтения в театр-студию «Современник» О. Н. Ефремову – главному режиссёру театра.

Теперь меня мучают сомнения, – заявил далее А. И. Солженицын, – учитывая то особенное внимание и предупреждение, которое было высказано Никитой Сергеевичем Хрущёвым в его речи на встрече по отношению к использованию лагерных материалов в искусстве, и сознавая свою ответственность, я хотел бы посоветоваться с Вами – стоит ли мне и театру дальше работать над этой пьесой.

А. И. Солженицын убедительно просил меня прочитать его пьесу.

– Я хочу ещё раз проверить себя: прав ли я или прав Александр Трифонович Твардовский, который не советует мне выступать с этой пьесой. Если Вы скажете то же, что А. Т. Твардовский, то эту пьесу я немедленно забираю из театра «Современник» и буду над ней работать дополнительно. Мне будет очень больно, если я в чём-либо поступлю не так, как этого требуют от нас, литераторов, партия и очень дорогой для меня Никита Сергеевич Хрущёв...

Прочитав пьесу «Олень и шалашовка», я сообщил тов. Солженицыну, что по моему глубокому убеждению эта пьеса в её теперешнем виде для постановки в театре не подходит. Серьезного успеха она не принесёт ни автору, ни театру. Пьеса, по-моему, является именно таким материалом, на который, как сказал в своей недавней речи перед творческой интеллигенцией Никита Сергеевич

Хрущёв, в театр тучами полетят «огромные, жирные мухи». Этими «мухами» будут корреспонденты зарубежных газет и телеграфных агентств, всевозможные обыватели.

То же самое я высказал и в беседе с главным режиссёром театра-студии «Современник» О. Н. Ефремовым.

И автор пьесы А. И. Солженицын, и режиссёр театра-студии О. Н. Ефремов согласились с этими доводами и сказали, что они не будут готовить пьесу к постановке.

Писатель А. И. Солженицын просил меня, если представится возможность, передать его самый сердечный привет и наилучшие пожелания Вам, Никита Сергеевич. Он ещё раз хочет заверить Вас, что хорошо понял Вашу отеческую заботу о развитии нашей советской литературы и искусства и постарается быть достойным высокого звания советского писателя.

В. Лебедев

Ф. 3, оп. 80, д. 194, л. 104–107. Подлинник.

На первом листе запись «Тов. Хрущёв ознакомился. В архив».
(Кремлёвский самосуд. Секретные документы Политбюро о писателе А. Солженицыне. М. 1994. Стр. 5–7)

Владимир Семенович Лебедев был помощником Н. С. Хрущёва по культуре и в значительной степени именно ему принадлежит ключевая роль в прохождении в печать солженицынского «Ивана Денисовича».

В литературных кругах Лебедев слыл либералом, и в то время в нашей среде о нем и его благотворном влиянии на шефа ходило много разных забавных историй.

Одну расскажу.

Оказавшись – в очередной раз – в Париже, Евтушенко посетил Шагала. Тот был очень мил с поэтом, приехавшим из России, тепло вспоминал свой родной Витебск и вообще был настроен очень доброжелательно. Евтушенко подумал: а что если попробовать помирить великого эмигранта с советской властью?

Он осторожно навел Шагала на эту мысль, намекнул, что постарается организовать в Москве его выставку. И тут же придумал такой гениальный ход: Шагал передаст через него какой-нибудь роскошный свой альбом в дар Хрущёву. Разумеется, с соответствующей дарственной надписью. Этот альбом Евтушенко в Москве переправит Хрущёву с объяснением, кто такой Шагал и как выгодно для престижа Советского Союза наладить с ним добрые отношения. Ну, а уж потом все пойдёт как по маслу.

Шагал, выслушав это предложение, легко согласился. Принесли альбом. Шагал сделал надпись: «Никите Сергеевичу Хрущёву в память о нашей общей родине». Евтушенко был счастлив. Хитроумный план его удался. Дело теперь было за малым: оставалось, – как в анекдоте, – уговорить графа Потоцкого (то есть Хрущёва). Но в положительной реакции Хрущёва он не сомневался: слишком уж очевидна была политическая выгода такой акции.

Прилетев в Москву, поэт отправился к Лебедеву – помощнику Хрущёва по культуре, известному своей «прогрессивностью».

И вот сидит Евгений Александрович в кабинете Лебедева, вдохновенно излагает ему свой план, объясняет все его выгоды. А Лебедев меланхолично листает альбом.

Речь поэта становится все горячее, все убедительнее. А Лебедев молча слушает и – листает, листает альбом страницу за страницей.

– Евгений Александрович, – вдруг говорит он. – Это что же? Евреи?

В голосе хрущёвского помощника звучал неподдельный ужас:

– И они ещё летают?

И укоризненно, как маленькому:

– И вы хотите, чтобы я показал это Никите Сергеевичу?

Евтушенко живо представил себе, как Никита Сергеевич разглядывает эти картинки, на которых изображены евреи, которые к тому же ещё летают, и понял, что гениальный его план, ещё минуту назад казавшийся ему совершенно неотразимым, не просто невыполним, а прямо-таки безумен.

Но в случае с «Иваном Денисовичем» Лебедев повел себя иначе.

То ли он поверил Твардовскому, то ли попал под властное

художественное обаяние солженицынской повести, то ли проникся судьбой её героя, но он сделал всё, что было в его силах, чтобы, минуя все подводные камни, – а их было немало, – провести эту повесть в печать.

Долго ждал подходящего момента и, наконец, дождавшись, прочёл её Никите Сергеевичу вслух – сперва ему одному, а потом присоединившемуся к ним Микояну.

Конечно, этим своим телефонным звонком Лебедеву Александр Исаевич преследовал вполне определённую, легко тут просматриваемую цель. И конечно, не побрезговал тем, чтобы, говоря по-лагерному, «раскинуть чернуху».

Но может быть, и в самом деле теплилась в его душе какая-то искорка благодарности к ним обоим (и к Лебедеву, и к его шефу), позволившая ему, раскидывая эту свою «чернуху», быть не совсем неискренним?

А может быть, он и в самом деле на всё, что происходило во время тех двух «исторических» встреч, глядел совсем не так, как Аксёнов, Вознесенский и Олег Ефремов, воспринимал происходящее не так остро, что ли? Ему ведь на этих встречах была отведена другая роль, – совсем не та, что досталась тем, на кого Никита спустил с цепи всю свору своих соратников.

На первой встрече – той, что была на Ленинских горах, – во время выступления главного тогдашнего партийного идеолога Л. Ф. Ильчёва Хрущёв неожиданно для всех прервал его и под аплодисменты представил залу Солженицына.

О том, что он тогда думал и чувствовал и как при этом себя повёл, Александр Исаевич – позже, уже за границей, – вспоминал так:

…

Я встал – ни на тень не обманутый этими аплодисментами. Встал – безо всякой и минутной надежды с этим обществом жить. Перед аплодирующим залом встал, как перед врагами, сурово… Поклонился холодно в одну сторону, в другую и тут же сел, обрывая аплодисменты, предупреждая, что я – не ихний.

(Бодался телёнок с дубом)

О своём телефонном звонке Лебедеву в «Телёнке» он не сообщает. Но о том, что стало поводом для этого звонка, и о том, как виделся ему уже тогда тот его телефонный собеседник, рассказывает подробно:

…

В тех же числах, в начале марта 1963 г., ища путей для разрешения пьесы, я сам переслал её В. С. Лебедеву, благодетелю «Ивана Денисовича». «А читал ли Твардовский? Что он сказал?» – был первый вопрос Лебедева теперь. Я ответил (смягчённо). Они ещё снеслись. 21 марта Лебедев уверенно мне отказал: «По моему глубокому убеждению пьеса в её теперешнем виде для постановки в театре не подходит. Деятели театра «Современник» (не хочу их ни в чём упрекать или обвинять) хотят поставить эту пьесу для того, чтобы привлечь к себе публику (а какой театр хочет иного?) и вашим именем, и темой, которая безусловно зазвучит с театральных подмостков. И я не сомневаюсь в том, что зрители в театр будут, что называется, «ломиться», желая познакомиться… какие явления происходили в лагерях. Однако в конце концов театр вынужден будет отказаться от постановки этой пьесы, так как в театр тучами полетят «огромные жирные мухи», о которых говорил в своей недавней речи Н. С. Хрущёв. Этими мухами будут корреспонденты зарубежных газет и телеграфных агентств, всевозможные нашинские обыватели и прочие подобные люди».

Обыватели и «прочие подобные

люди»! То есть попросту народ? Театр «сам откажется»! Да, когда ему из ЦК позвонят... Вот – и эпоха, и театральные задачи, и государственный деятель!..

Откуда он взялся в окружении Хрущёва и чем он занимался раньше – я так и не узнал. По профессии этот таинственный верховный либерал считал себя журналистом. Может быть, руководило им личное соперничество с Ильичёвым, которого обскакать он мог только на либеральной лошадке?..

Разъяснил мне Лебедев ещё раз, чем дурна моя пьеса: ведь в лагерях же люди и исправлялись, и выходили из них, – а у меня этого не видно. Потом (очень важно!), пьеса эта обидит интеллигенцию – оказывается, кто-то там приспосабливался, кто-то боролся за блага, а у нас привыкли свято чтить память тех, кто погиб в лагерях (с каких пор?!). И неестественно у меня то, что нечестные побеждают, а честные обречены на гибель. (Уже прошёл шумок об этой пьесе, и даже Никита спрашивал – какая? Если по «Ивану Денисовичу», то пусть ставят. Но Лебедев сказал ему: «Нет, не надо»...)

И вот был тот закадычный либерал, тот интеллигентный ангел, который свершил всё чудо с «Иваном Денисовичем»! Я долго у него просидел, рассматривал – и всё более незначительным, ничем не отмеченным казался мне он. Невозможно было представить, чтоб в этой гладенькой головке была не то чтобы своя политическая программа, но отдельная мысль, отменная от партийной...

То и дело поднимая трубку для разговора с важными цекистами (и всё по пустякам, какие-то шутки, что-то о футболе, разыгрывали кого-то статьёй в «Комсомолке»), он неприятно смеялся мелкими толчками, семенил смехом.

(Там же)

А вот как в том же «Телёнке» рассказывает он и о самой той – второй, кремлёвской встрече:

…

Вторая же кремлёвская встреча – 7–8 марта 1963 г., была из самых позорных страниц всего хрущёвского правления. Создан был сталинистам пятикратный перевес сил (приглашены аппаратчики, обкомовцы), и была атмосфера яростного лая и разгрома всего, что хоть чуть-чуть отдавало свободой. (Только меня не касались ещё, заставили Шолохова и Кочетова сменить готовые речи: щадили «личный художественный вкус» Хрущёва.) Была в короткое время, несколькими часами (о, как же это легко!) воссоздана атмосфера нетерпимости 30-х годов, тех «единодушных» собраний, где воспитывались лютые звери, а обречённые и ободранные доживали лишь до ближайшей ночи. Наконец-то разглядев главного врага всех своих сельскохозяйственных, административных и международных начинаний – художников-абстракционистов и либеральную интеллигенцию, Никита рубал их с той лютостью, когда зудят кулаки и оплечья, и глаза

застилает от ненависти. «Вон вы, там, – кричал он, – в красном свитере, около колонны – почему не аплодируете? А ну-ка сюда! А ну-ка – дать ему слово!» И ревел распалённый хор сталинистов на художника Голицына: «Пусть объяснит, почему не аплодирует!» Вполне преданных Рождественского и Вознесенского вгорячах поносили за отступничество. «Я не могу спокойно слушать подхалимов наших врагов! – стучал Хрущёв по столу только что не ботинком и блажил во всё горло: – «Не троньте молодёжь, иначе попадёте под жернова партии!»

(Там же)

А вот как об этом хрущёвском бесновании (для наглядности напомню ещё раз) он говорил Лебедеву в том их телефонном разговоре:

...

Я глубоко взволнован речью Никиты Сергеевича Хрущёва и приношу ему глубокую благодарность за исключительно доброе отношение к нам, писателям, и ко мне лично...

И этот человек осуждал Синявского и Даниэля за их «душевное двоение»!

А какое было у них «душевное двоение»?

Да, Андрей Донатович Синявский состоял на службе в Институте мировой литературы им. Горького и печатался в советских изданиях (в том же «Новом мире», в котором печатался и Солженицын). А Юлий Маркович Даниэль повинен в том, что переводил – и тоже публиковал в советских изданиях – стихи разных иноязычных авторов.

Но, насколько мне известно, ни тот, ни другой никогда – ни письменно, ни устно, – не благодарил «дорогого Никиту Сергеевича» за его «отеческую заботу о развитии нашей советской литературы и искусства» и не заверял его, что «постарается быть достойным высокого звания советского писателя».

* * *

В советский период своей литературной жизни А. И. был человек подпольный, и поэтому пресловутое «душевное двоение» – пусть и не в таких резких формах, как это выразилось в изложенном сюжете, – было постоянным его состоянием. Даже в «Новом мире» он вынужден был прикидываться не тем, кем был на самом деле. А уж при встречах с более высоким начальством, если таковые случались, – и говорить нечего!

С падением Хрущёва («на сковыре Никиты», как выразился об этом историческом событии Александр Исаевич) был отправлен на пенсию и Лебедев. И культурой стал заведывать – к тому времени уже секретарь ЦК, а вскоре и кандидат в члены Политбюро – Петр Нилович Демичев.

О стиле его партийного руководства тоже рассказывали разные забавные истории. Вот одна из них.

Было это ещё до того, как он был «брошен» на культуру. Но уже занимал высокий и ответственный партийный пост секретаря МК – Московского Городского комитета партии. А там, в МК, у них более или менее регулярно проводились разные встречи, совещания: то с деятелями культуры, то со строителями, то ещё с кем-нибудь. И вот проводит Петр Нилович очередную такую встречу: на этот раз – с членами Московской коллегии адвокатов.

Участники встречи выступают с речами. Кто благодарит высокое начальство за помощь в работе, кто жалуется на разные трудности, кто взывает о помощи. Все идёт – как всегда в таких случаях. Но чем внимательнее вслушивается Петр Нилович в речи адвокатов, тем яснее открывается ему во всем своём безобразии их повседневная деятельность. Оказывается, – понял он, – адвокаты защищают преступников!

Нет, он и раньше, конечно, знал, что адвокат – это защитник. И функция его в суде заключается в том, чтобы защищать обвиняемого. Но он полагал, что адвокат выполняет эту свою функцию лишь в разного рода неясных случаях: когда вина обвиняемого не доказана или доказательства эти вызывают некоторые сомнения. А тут вдруг выяснилось, что адвокаты защищают и самых что ни на есть настоящих преступников. Отлично знают, что человек совершил уголовно наказуемое деяние, ни на секунду в этом не сомневаются – и все-таки защищают!

– Товарищи! – сказал потрясённый Петр Нилович, когда эта истина открылась ему во всей своей отвратительной наготе. – Это что же происходит? Партия ведёт беспощадную борьбу с преступностью, а тем временем тут у нас, под самым носом, в

самом центре Москвы обосновалась организация, вся деятельность которой направлена на защиту преступников!.. Вот мы тут обсуждаем, как лучше наладить вашу работу, какую помощь вам оказать и все такое... А не можем ли мы просто взять, да и закрыть эту вашу контору?

Председатель Московской коллегии адвокатов, к которому, как он понял, и был в первую очередь обращён этот неожиданный вопрос, встал и сказал:

– Вы все можете, Петр Нилович!

Одним из первых, с кем Петр Нилович пожелал встретиться в новой своей должности начальника «агитпропа», был А. Т. Твардовский.

...

Приём прошел доброжелательно, и высказал Демичев, что хотел бы видеть и этого Солженицына. Где меня искать, Твардовский не знал и не обещал, но в этот день меня с неудержимостью вдруг потянуло в «Новый мир» – толкуй, что нет передачи мыслей и воль. Оттуда А. Т. созвонился тотчас, и назавтра, 17 июля, мне был назначен приём.

Почти вся редакция сидела в кабинете Твардовского. Давно я их всех не видел, и показалось мне чуждо и скучно с ними. В голове-то был «Архипелаг» да Тамбов 1921-го года, а они хором требовали от меня «проходимого рассказика», будто бы «публикация чего-нибудь» моего после двухлетнего перерыва (и в знак лояльности к новому Руководству) сейчас «очень важна».

Для них и для лояльного «Нового мира» – конечно, да. А для меня «проходимый рассказик» был бы порчей имени, раковиной, дуплом. Сила моего положения была в чистоте имени от сделок – и надо было беречь его, хоть десять лет ещё

молчать.

А ещё все они (вслед за Твардовским, правда; это очень наглядно было у них, как они единодушно поддерживали мнение шефа по любым пустякам) настаивали, чтоб для завтрашнего визита я сбрил недавно отпущенную бороду. Независимый и беспартийный русский писатель, идя представляться начальнику партийного агитпропа (с какой вообще стати? Зачем?), я должен был непременно принять тот безликий вид, к которому привыкли в партаппарате. И так серьёзно меня в этом убеждали, будто серьёзней и дела в редакции не было. Я трижды, четырежды уклонялся, тогда стали требовать, чтоб я шёл не в легкомысленной апашке да ещё навыпуск, а в чёрном костюме при галстуке – это в июльскую жару!..

А я шёл на встречу с такой задачей: как можно дальше продвинуть ничейное сосуществование. Я не опасен вам нисколько – и оставьте меня в покое. Я очень медленно работаю, и у меня почти ничего не написано, кроме того что напечатано и в редакции. И в конце концов я – математик, и готов вернуться к этой работе, раз литература не кормит меня.

Это был – исконный привычный стиль, лагерная «раскидка чернухи»; и прошло великолепно. Сперва очень настороженный и недоверчивый, Демичев в ходе двухчасовой беседы потеплел ко мне и во всё поверил... В его тихом голосе совсем отсутствовало живое чувство, но к концу даже проявилось облегчением. Он был крайне невзрачен, и речь его

была стёртая...

– Всегда ли вы понимаете, что пишете и для чего?

Тихо!.. Я-то, конечно, всегда понимаю, для этого я достаточно испорчен русской литературной традицией. Но объявлять об этом рано. Осторожными шагами я иду по скользкому:

– Смотря в каких вещах. «Для пользы дела» – да: утвердить ценность веры у молодежи; напомнить, что коммунизм надо строить в людях прежде, чем в камнях. «Кречетовка» – с заведомой целью показать, что не какое-то ограниченное число закоренелых злодеев совершали злодейства, но их могут совершить самые чистые и лучшие люди, и надо бороться со злом в себе... А в «Матрёне» и «Денисовиче» я... просто шёл за героями. Никакой цели себе не ставил.

(Это место окажется для него ключевым в разговоре. В нескольких публичных выступлениях он будет рассказывать одними и теми же словами, как он припёр меня к стенке вопросом – зачем я пишу, и я не нашёлся ничего сказать, кроме как повторить устаревший и уже не годный для соцреализма довод – «иду за героями». А их надо вести за собой...)

– Да, – важно сказал Демичев. – Хотелось бы, чтоб он (Иван Денисович. – Б. С.) больше прислушивался к тамошним сознательным людям, которые могли бы дать ему обьяснение происходящего.

(А где ты был со своим объяснением, когда это происходило?

Что б вы с той повестью бедной сделали, если б я ещё всё объяснил?..)

Я: – Для охвата всей лагерной проблемы потребовалась бы ещё одна книга. Но – (выразительно) – не знаю, нужно ли?

Он: – Не нужно! Не нужно больше о лагере! Это тяжело и неприятно...

На градусе взаимной откровенности выдал я ему и свои творческие задушевные планы: «Раковый корпус».

– Не слишком ли мрачное название?

– Пока условное. Там будет работа врачей. И душевное противостояние смерти. И казахи, и узбеки.

– А это не будет слишком пессимистично? – всё-таки тревожился он.

– Не-ет!

– А вы вообще – пессимист или оптимист?

– Я – неискоренимый оптимист, разве вы не видите по «Ивану Денисовичу»?..

...Разговор складывался всё лучше и лучше.

– Мне нравится, что вы не обиделись на критику и не огорчились, – уже не без симпатии говорил он. – Я боялся, что вы озлоблены.

– Да в самые тяжёлые минуты я никогда озлоблен не был.

По мере разговора он несколько раз мне выкладывал даже и без нужды: «Вы – сильная личность», «вы – сильный человек», «к вам приковано внимание всего мира».

– Да что вы! – удивлялся я...

– Я вижу, вы действительно –

открытый русский человек, – говорил он с радостью.

Я бесстыдно кивал головой…

Тут выяснилось, что мы с ним – и года рождения одного, и предложил он вспомнить нашу жертвенную горячую молодость.

Оба мы очень остались довольны.

(Бодался телёнок с дубом)

По окончании встречи, прямо из ЦК, А. И. поехал к Штейнам, где собрались с нетерпением ждавшие его друзья, и упоённо, во всех подробностях рассказал, как ловко он обдурил большого партийного начальника и каким тот оказался доверчивым болваном.

Так мне это помнится по тогдашним рассказам Вероники и Юры.

Но в «Телёнке» А. И. излагает это несколько иначе:

…

На одной из квартир, где я юмористически рассказывал, как дурил его при встрече, стоял гэбистский микрофон (очевидно у Теушей). Перед Демичевым положили ленту этой записи. И хотя, если под дверью подслушиваешь и стукнут в нос, то пенять надо как будто на себя, Демичев рассвирепел на меня, стал моим вечным заклятым врагом. На весь большой конфликт наложилась на многие годы ещё его личная мстительность. В его лице единственный раз со мной пыталось знакомиться Коллективное Руководство – и вот…

(Там же)

Я думаю, что квартиру Штейнов на квартиру Теушей Александр Исаевич тут поменял не по ошибке памяти, а сделал это вполне сознательно. Уж очень не хотелось ему выглядеть в этой истории, говоря по-лагерному, фраером, каким он тут оказался: нельзя же было не предвидеть, что квартира Штейнов,

конечно же, «на прослушке».

В. Войнович в своей книжке о Солженицыне об этом его «душевном двоении» говорит с презрением. Приведя несколько самых ярких и выразительных фрагментов из телефонного разговора А. И. с В. С. Лебедевым, он замечает:

...

> *На меня этот документ и сейчас, в 2002 году, произвел сильное впечатление. Но будь он мне известен в то время, когда был Солженицыным представлен в лице самого себя идеальный образ правдивейшего нашего современника, утверждавшего, что сила его положения «была в чистоте имени от сделок», образ этот мог померкнуть уже тогда. Можно сказать, что все советские люди, кроме сумасшедших, а писатели особенно, в общении с властью не всегда говорили, что думали, но из литераторов моего круга я не знаю никого, кто бы так легко и беспардонно врал и льстил партийному руководителю. Ну да, он это делал не искренне. А кто же начальству льстит искренне? Все могут такое своё поведение оправдать или тем, что сидели, или тем, что не хотели сидеть, или стремились чего-то достичь, или уберечь достигнутое.*
>
> *(Владимир Войнович. Портрет на фоне мифа. М. 2002. Стр. 162)*

Я на это дело гляжу несколько иначе.

Ведь по всем канонам лагерной морали только так – и не иначе – полагалось опытному, матёрому лагернику вести себя с «начальничком», какого бы ранга этот «начальничек» ни был: «темнить», «косить», «раскидывать чернуху», «уходить в глухую несознанку», «втирать шары», «лепить горбатого», «играть

незнанку», «толкать парашу».

Нет, по этой линии у меня к Александру Исаевичу особых претензий нет.

Гораздо больше меня в нём поражает другое.

Легко, не задумываясь, не испытывая никакого морального дискомфорта, он разрешает себе это «душевное двоение». Но – ТОЛЬКО СЕБЕ. Никому другому, – даже самым близким своим друзьям – с тем же, что у него, тюремным и лагерным опытом, – он этого не прощает.

...

Оккупация советской армией Чехословакии 21–22 августа 1968 года была поворотным событием для всех нас. Солженицын... составил короткий протест. «Подошвы горели – бежать ехать. И уж машину заводил... Зарычал мотор – а я не поехал... Я смолчал...»

Однако не совсем смолчал... – поехал в Обнинск. Хотел высказать свой протест в обществе Тимофеева-Ресовского, Медведева и ещё двух-трех друзей. Солженицын приехал сначала ко мне и звал меня к Николаю Владимировичу, чтобы разговор был общим. Я очень отговаривал Александра Исаевича от посещения моего шефа, так как знал его крайнюю осторожность в таких делах. Но Солженицын не слушал. Открыв дверь и увидев нас вдвоем, Тимофеев-Ресовский сразу, конечно, понял, зачем мы пришли. Других разговоров в те дни не было. После ставших традицией теплых объятий сокамерников Тимофеев-Ресовский сам начал разговор, не дав Солженицыну и рта раскрыть... «А ведь здорово наши немцев опередили, – сказал он довольно громко, – чехи им продавались под

видом демократии... Знаю я этих чехов, для них немцы и австрийцы ближе русских... Не православные они славяне, культура у них германская, не наша... Россия для них страна дикая...»

Солженицын как бы окаменел сразу, глаза потемнели. Сел на стул и слова не смог вымолвить. Николай Владимирович послал жену сделать «чайку». Но Александр Исаевич уже встал, заторопился, дела, мол, какие-то у него есть. Я молча показал ему пальцем на потолок – это был тогда понятный знак о том, что квартира прослушивается. Мы, обнинцы, были в этом уверены... Но Солженицын не обратил на мой жест никакого внимания, вышел, сел в машину и уехал. После этого вечера он к Тимофееву-Ресовскому уже никогда не приходил и даже не спрашивал о нем. Не вспоминал он старого генетика и в последующие годы...

(Жорес Медведев. Из воспоминаний о Солженицыне. В кн.: Жорес Медведев, Рой Медведев. Солженицын и Сахаров. Два пророка. М. 2004. Стр. 96–97)

Красноречивый жест Жореса Александровича – пальцем в потолок – яснее ясного говорил, что, неся всю эту лабуду про чехов, Николай Владимирович «раскидывал чернуху», заверяя тех, кто велел поставить его квартиру на прослушку, что он им СВОЙ, хотя на самом деле таковым, конечно, не был. То есть делал ровно то, что Александр Исаевич, общаясь с Лебедевым, Хрущёвым и Демичевым.

Да если бы даже это было и не так. Если бы Тимофеев-Ресовский даже и верил во всю эту лабуду! Чем эти его дурацкие рассуждения о том, что чехи не настоящие, не православные, а онемеченные славяне, хуже рассуждения самого Александра Исаевича о том, что чехи сами накликали на себя вторжение советских войск, что это была плата за то, что они выдали

большевикам на расправу Колчака и украли русское золото!

Ну, ладно, пусть бы даже это был повод для серьёзной размолвки между ними. Но не для полного же разрыва! Ну прости ты старику его слабость (или даже глупость)...

Нет! Он неумолим. И раз и навсегда вычеркивает Тимофеева-Ресовского не только из списка своих друзей, но и из числа просто знакомых.

Не сознавал он, что ли, что в своих взаимоотношениях с начальством сам вёл себя точно так же, как Николай Владимирович, ораторствуя перед встроенным в потолок его квартиры микрофоном?

Может, и сознавал. Но ОН – это ОН. У него – своё, особое предназначение, своя миссия, разрешающая, а в иных случаях даже и предписывающая ему *жить по лжи,* ибо, как это было сформулировано другим Апостолом Точного Расчёта, – МОРАЛЬНО ВСЁ, ЧТО СЛУЖИТ ДЕЛУ ПРОЛЕТАРИАТА.

* * *

В первой главе своего «Архипелага» (она называется «Арест») Солженицын размышляет:

...

> *И вот – вас ведут. При дневном аресте обязательно есть этот короткий неповторимый момент, когда вас – неявно, по трусливому уговору, или совершенно явно, с обнажёнными пистолетами – ведут сквозь толпу между сотнями таких же невиновных и обречённых. И рот ваш не заткнут. И вам можно и непременно надо было бы кричать! Кричать, что вы арестованы! что переодетые злодеи ловят людей! что хватают по ложным доносам! что идёт глухая расправа над миллионами! И слыша такие выкрики много раз на день и во всех частях города, может быть, сограждане наши ощетинились бы? Может,*

аресты не стали бы так легки?!

(А. Солженцын. Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956. Опыт художественного исследования. Том первый. М. 1989. Стр. 26)

Но – никто не крикнет. Ни один человек. Все молчат.

Молчал и он, когда три конвоира-смершевца вели его по Москве от Белорусского вокзала к Лубянке:

...

На одиннадцатый день после моего ареста три смершевца-дармоеда, обременённые тремя чемоданами трофеев больше, чем мною (на меня за долгую дорогу они уже положились), привезли меня на Белорусский вокзал Москвы. Назывались они спецконвой, на самом деле автоматы только мешали им тащить тяжелейшие чемоданы – добро, награбленное в Германии ими самими и их начальниками из контрразведки СМЕРШ 2-го Белорусского фронта, и теперь под предлогом конвоирования меня отвозимое семьям в Отечество...

Они все трое не знали города, и я должен был выбирать кратчайшую дорогу к тюрьме, я сам должен был привести их на Лубянку, на которой они никогда не были...

После суток армейской контрразведки; после трёх суток в контрразведке фронтовой, где однокамерники меня уже образовали (в следовательских обманах, угрозах, битье; в том, что однажды арестованного никогда не выпускают назад; в неотклонимости десятки), – я чудом вырвался вдруг и вот уже четыре дня еду как вольный, и среди

вольных, хотя бока мои уже лежали на гнилой соломе у параши, хотя глаза мои уже видели избитых и бессонных, уши слышали истину, рот отведал баланды – почему ж я молчу? почему ж я не просвещаю обманутую толпу в мою последнюю гласную минуту?

Я молчал в польском городе Бродницы – но, может быть, там не понимают по-русски? Я ни слова не крикнул на улицах Белостока – но, может быть, поляков это всё не касается? Я ни звука не проронил на станции Волковыск – но она была малолюдна. Я как ни в чём не бывало гулял с этими разбойниками по минскому перрону – но вокзал ещё разорён. А теперь я ввожу за собой смершевцев в белокупольный круглый верхний вестибюль метро Белорусского-радиального, он залит электричеством, и снизу вверх навстречу нам двумя параллельными эскалаторами поднимаются густо-уставленные москвичи. Они, кажется, все смотрят на меня! они бесконечной лентой оттуда, из глубины незнания – тянутся, тянутся под сияющий купол ко мне хоть за словечком истины – так что ж я молчу??!..

А у каждого всегда дюжина гладеньких причин, почему он прав, что не жертвует собой.

(Там же. Стр. 26–28)

Но он-то – не таков! Он – не чета этим безмолвным кроликам, у каждого из которых «всегда дюжина гладеньких причин, почему он прав, что не жертвует собой».

Почему же он тоже молчит? Не крикнет?

...

А я – я молчу ещё по одной причине: потому, что этих москвичей, уставивших ступеньки двух эскалаторов, мне всё равно мало – мало! Тут мой вопль услышат двести, дважды двести человек – а как же с двумястами миллионами?.. Смутно чудится мне, что когда-нибудь закричу я двумстам миллионам...

(Там же. Стр. 28)

Ну, а пока – всю дорогу – он сам помогает конвоирам-смершевцам как можно скорее доставить себя КУДА НАДО.

...

В ту ночь смершевцы совсем отчаялись разобраться в карте (они никогда в ней и не разбирались), и с любезностями вручили её мне и просили говорить шофёру, как ехать в армейскую контрразведку. Себя и их я сам привёз в эту тюрьму и в благодарность был тут же посажен не просто в камеру, а в карцер. Но вот об этой кладовочке немецкого крестьянского дома, служившей временным карцером, нельзя упустить.

Она имела длину человеческого роста, а ширину – троим лежать тесно, а четверым – впритиску. Я как раз был четвёртым, втолкнут уже после полуночи, трое лежавших поморщились на меня со сна при свете керосиновой коптилки и подвинулись, давая место нависнуть боком и постепенно силой тяжести

вклиниваться. Так на истолчённой соломке пола стало нас восемь сапог к двери и четыре шинели. Они спали, я пылал. Чем самоуверенней я был капитаном полдня назад, тем больней было защемиться на дне этой каморки. Раз-другой ребята просыпались от затеклости бока, и мы разом переворачивались.

К утру они отоспались, зевнули, крякнули, подобрали ноги, рассунулись в разные углы, и началось знакомство.

– А ты за что?

Но смутный ветерок настороженности уже опахнул меня под отравленной кровлею СМЕРШа, и я простосердечно удивился:

– Понятия не имею. Рази ж говорят, гады?

(Там же. Стр. 30–31)

На самом деле, конечно, знал. Не мог не знать.

В самый первый миг ареста, ошеломлённый случившимся, сразу не сообразил. Но тут же, вопреки всем смершевским правилам и запретам, получил разъяснение:

...

Комбриг вызвал меня на командный пункт, спросил зачем-то мой пистолет, я отдал, не подозревая никакого лукавства, – и вдруг из напряжённой неподвижной в углу офицерской свиты выбежало двое контрразведчиков, в несколько прыжков пересекло комнату и четырьмя руками одновременно хватаясь за звёздочку на шапке, за погоны, за ремень, за полевую сумку, драматически закричали:

– Вы – арестованы!

И обожжённый и проколотый от

головы к пяткам, я не нашёлся ничего умней, как:

– Я? За что?!..

Хотя на этот вопрос не бывает ответа, но вот удивительно – я его получил! Это стоит упомянуть потому, что уж слишком непохоже на наш обычай. Едва смершевцы кончили меня потрошить, вместе с сумкой отобрали мои политические письменные размышления и, угнетаемые дрожанием стёкол от немецких разрывов, подталкивали меня скорей к выходу, – раздалось вдруг твёрдое обращение ко мне – да!.. через эту чумную черту, через которую уже ни звука не смело просочиться, – перешли немыслимые, сказочные слова комбрига:

– Солженицын. Вернитесь.

И я крутым поворотом выбился из рук смершевцев и шагнул к комбригу назад. Я его мало знал, он никогда не снисходил до простых разговоров со мной. Его лицо всегда выражало для меня приказ, команду, гнев. А сейчас оно задумчиво осветилось – стыдом ли за своё подневольное участие в грязном деле? порывом стать выше всежизненного жалкого подчинения? Десять дней назад из мешка, где оставался его огневой дивизион, двенадцать тяжёлых орудий, я вывел почти что целой свою разведбатарею – и вот теперь он должен был отречься от меня перед клочком бумаги с печатью?

– У вас... – веско спросил он, – есть друг на Первом Украинском фронте?

– Нельзя!.. Вы не имеете права! – закричали на полковника капитан и майор контрразведки. Испуганно

сжалась свита штабных в углу, как бы боясь разделить неслыханную опрометчивость комбрига (а политотдельцы – и готовясь дать на комбрига материал). Но с меня уже было довольно: я сразу понял, что я арестован за переписку с моим школьным другом, и понял, по каким линиям ждать мне опасности.

(Там же. Стр. 28–29)

Рассказывать всё это своим первым сокамерникам было, конечно, ни к чему. Но и так откровенно и неумело придуриваться («Понятия не имею. Рази ж говорят, гады?») тоже было не обязательно.

Этот непроизвольный «простосердечный» его ответ свидетельствует о том, что привычка «играть незнанку» утвердилась в его сознании (наверно, даже и в подсознании) задолго ДО его лагерного опыта.

Но со следователем эта игра у него не задалась.

…

Из тюремной протяжённости оглядываясь потом на своё следствие, я не имел основания им гордиться. Я, конечно, мог держаться твёрже и, вероятно, мог извернуться находчивей. Затмение ума и упадок духа сопутствовали мне в первые недели. Только потому воспоминания эти не грызут меня раскаянием, что, слава Богу, избежал я кого-нибудь посадить. А близко было…

Содержание одних наших писем давало по тому времени полновесный материал для осуждения нас обоих; от момента, как они стали ложиться на стол оперативников цензуры, наша с Виткевичем судьба была решена, и нам только давали довоёвывать, допринести пользу. Но беспощадней: уже год каждый из нас

носил по экземпляру неразлучно при себе в полевой сумке, чтобы сохранилась при всех обстоятельствах, если один выживет, – «Резолюцию № 1», составленную нами при одной из фронтовых встреч. «Резолюция» эта была – энергичная сжатая критика всей системы обмана и угнетения в нашей стране, затем, как прилично в политической программе, набрасывала, чем государственную жизнь исправить, и кончалась фразой: «Выполнение всех этих задач невозможно без организации». Даже безо всякой следовательской натяжки это был документ, зарождающий новую партию…

И вот помутнённым мозгом я должен был сплести теперь что-то очень правдоподобное о наших встречах с друзьями (встречи упоминались в письмах), чтоб они приходились в цвет с письмами, чтобы были на самой грани политики – и всё-таки не уголовный кодекс. И ещё чтоб эти объяснения как одно дыхание вышли из моего горла и убедили бы матёрого следователя в моей простоте, прибеднённости, открытости до конца. Чтобы – самое главное – мой ленивый следователь не склонился бы разбирать и тот заклятый груз, который я привёз в своём заклятом чемодане…

(Там же. Стр. 135–137)

Выражено всё это довольно туманно. Но кое-что понять всё-таки можно.

Уйти «в глухую несознанку» он не мог: слишком много следователю было известно.

Переписка его с Виткевичем, в которой они поносили Мудрейшего из Мудрейших, а тем более «Резолюция № 1»,

которую каждый из них хранил в своей полевой сумке, – всего этого было более чем достаточно, чтобы намотать им любое дело и любой срок. Задача следователя, стало быть, состояла в том, чтобы вытянуть из подследственного имена других соучастников, – всех членов их «группы», создаваемой, – а может быть, уже и созданной ими? – «организации».

Так назвал он на допросах эти имена, или всё-таки как-то увернулся от этих пытливых вопросов следователя? И что в этом контексте означает его туманное полупризнание: «...слава Богу, избежал я кого-нибудь посадить. А близко было»?

Кого-то, значит, всё-таки назвал? Или только мог бы назвать, но – удержался?

Одна (вскользь, в сноске) брошенная им реплика даёт понять, что кое-кого всё-таки назвать ему пришлось:

...

> *Еще одного школьного нашего друга, К. Симоняна, едва не подгребли тогда к нам. Какое облегчение было мне узнать, что он остался на свободе!*
>
> *(Там же. Стр. 137)*

Выходит, что если бы всё-таки «подгребли», если бы не оставили этого их школьного друга гулять на свободе, вина за это лежала бы на нём.

Так в чем же всё-таки она была (если была) – эта его вина?

В «Архипелаге» об этом больше – ни слова.

Но, спустя годы, уже в эмиграции, пришлось ему вернуться к этому сюжету. И рассказать – с подробностями, на первый взгляд даже и излишними, – всю историю отношений с этим своим бывшим другом – от самых ранних их школьных лет до внезапной его безвременной кончины.

Для чего? Зачем? Чтобы ответить на брошенные ему обвинения? Объясниться? Оправдаться?

Поначалу это выглядит именно так:

...

> *Да, Кирочка, конечно, твои письма, а тем более девчонок, не шли*

в сравнение с моими и Кокиными: мы-то с ним совсем были распоясаны… Потому и следствию не осталось труда: фотокопии всех писем за годы лежали на гэбистских столах, готовенькие, слишком ясные. Наша с Виткевичем судьба была документированно решена ещё до нашего с ним ареста…

Но и твои письма, Кирилл, на следовательском столе выглядели странно, двусмысленно, в той обстановке взывали к объяснению. Если я писал: «После войны поедем в Москву и начнём активную работу», то ты отвечал: «Нет, Морж, мы лучше замкнёмся в тесном кругу и будем вырабатывать внутри». И следователь давил: как это объяснить? Или: какие несдержанные письма ни писал я вам – никто из вас никогда ни словом не возразил, не отклонил, не смягчил, не остановил. Итак, припирало меня следствие вопросами: как это объяснить? Если вот так пишется в письмах, то что происходит при встречах и разговорах?

Я уже писал в «Архипелаге»: я отнюдь не горжусь своим следствием. Я к нему вовсе не был готов, я понятия не имел, что это такое… (А ещё лежала на мне тяжесть захваченных «Военных дневников», записанных фронтовых имён – ещё тех моих однополчан прежде всего надо было спасти, оградить.)

После года–двух лагерей, наслушавшись рассказов, я-то понял: самое правильное было – послать следователя на …Что захватили – то ваше, а что необъяснимо – то пусть вам леший объясняет. Но по

моему тогдашнему жизненному опыту и тогдашнему разумению я рассудил так: сколько я знал и помнил, самое страшное – это соцпроисхождение... И этого троим из нас надо было бояться более всего: мне – из-за богатого деда, тебе – из-за богатого отца (да ещё живого и за границей, а ну, как это звучало тогда?), Наташе – из-за отца, казачьего офицера, ушедшего с белыми. И если в поисках недостающих объяснений начнётся расследование – то опасность, что они нападут на эти следы. И вот я рассудил – пусть неверно, но совсем не глупо (думаю и сегодня): я поведу их по ложному пути, попытаюсь объяснить правдоподобно. Да, я признаю, что некоторое недовольство у всех у нас было. (На языке МГБ это записывается следователем, ведь протокол ведёт он: «гнусные антисоветские измышления».) « В чём же оно? От чего оно произошло?» – «Оно появилось от введения платы за обучение в ВУЗах в 1940 году и невысокого размера студенческих стипендий». И – всё! И я скрыл все наши огненные политические беседы, свёл их к мещанскому брюзжанию, к животу. Все опасные письма – уже твои, не наши, конечно, с Кокой, – спустил на мещанских тормозах, только чтоб не искали происхождения и домашнего воспитания. Я не оставил следствию ничего существенного, за что б уцепиться...

(А. Солженицын. Угодило зёрнышко меж двух жерновов)

Из этого его признания следует, что и в тогдашнем своём

«затмении ума и упадке духа», он не утратил, сохранил свою способность к точному расчёту. И пусть даже этот его расчёт был неправильный, пусть даже он не оправдался, ему важно подчеркнуть, что его показания были продиктованы именно этим расчётом, а не просто проявлением душевной слабости.

Впрочем, он и сейчас, спустя годы, уверен, что тот его расчёт оправдался:

...

И что ж? Мне это совсем не плохо удалось, как ни вари, а масло наверху: никого из вас не только не арестовали, но даже ни разу не допросили! По нашему делу никто невинный арестован не был, чему не порадуешься в миллионах дел ГУЛАГа. А ведь годы были лютые...

И – тебя не тронули, не коснулись. (Могло ли б это быть, если б что-нибудь из истинных твоих слов – о пытках 37-го, о кавказских горцах – промелькнуло бы на следствии? Не за такое хватали.) Не трогали тебя – 7 лет. А к 1952 ты, Кирилл, влип во что-то совсем другое, в Москве (я этого не знаю, может, когда узнается). В апреле 1952 в экибастузском лагере следователь предъявил мне бумажку от районного (кажется, Щербаковского, но не ручаюсь) отделения ГБ Москвы – о том, что в связи со следствием, начатым против Кирилла Симоняна, поручается допросить меня – что мне известно об его антисоветских настроениях и подтверждаю ли я свои показания 1945 года? И тогда уже, бронированный лагерник, я и послал их на... Я сказал, что всякие показания 1945 года являются вынужденной ложью, а всю жизнь я

тебя знал только как отменного советского патриота.

(Там же)

Последняя фраза, как ни крути, несёт в себе признание того несомненного факта, что в тех, теперь уже давних (1945 года) его показаниях какой-то компромат на Кирилла всё-таки был. И компромата этого было – по тем временам – более чем достаточно, чтобы Кирилл разделил с ними (им и Виткевичем) их лагерную судьбу.

…

В те дни твоя судьба, видимо, качалась на весах, да. И получивши от меня ноль, гэбисты (того истинного протокола тебе не показали, конечно?), очевидно, хотели взять тебя блефом – а ты легко глотнул ядовитый крючок…

А когда в 1956 я вернулся после лагеря, после ссылки, после рака, – и от Лиды узнал, что ты на меня в претензии: как это так, утопая, я обрызгал тебя на берегу (я думал – речь идёт о 1945 годе)? – я тоже рассердился: я ведь действительно утопал, и я ведь действительно умирал. В тот момент – моя вина, может быть, всё могло разъясниться при встрече. Но мы не увиделись.

А через полтора года было твоё 40-летие, и растеплилось сердце, и мы с Наташей послали тебе тёплую телеграмму…

Ты – не ответил тогда.

А потом годы текли, сердца ещё прорастали – весной, может быть, 68-го ты вдруг написал примирительное письмо – что надо встретиться, помириться. Я ответил сразу с радостью. В короткой переписке уговорились о дне,

часе, когда я приеду к тебе на Серебряные Пруды. Приехал. Звоню – а тебя нет, никто не открывает. Ладно. Пошёл сидеть на скамейке перед парадным, чтобы не пропустить. Час прошёл – не идёшь. Поднялся, позвонил – нету. Опять спустился, ещё полчаса просидел – нету. Написал записку: подробно, как ехать ко мне в Рождество, в любой день, приезжай. Снова поднялся, позвонил – нет ответа. Тогда отклонил заслонку дверной почтовой щели, бросил письмо там на пол – но ещё не успел отпустить заслонку: как прямо внизу, у двери, увидел ноги твои в пижамных брюках. Ты стоял, затаясь. Я опустил заслонку, не стал окликать. Если тебе так легче...

Так вот. Не объяснились, не помирились, не повспоминали...

А уж потом мы расстались, потом... Я всё это смею сейчас вспоминать, потому что... ты уже больше – не под ними. И на Земле – нам уже больше не повидаться.

Вот эти последние страницы я ведь не сейчас написал, не сейчас, когда дошла до меня мерзкая книжка чекистов, – я написал их пять месяцев назад, в апреле, близ твоего 60-летия. Как раз в те дни я вспоминал о тебе – и как раз в те дни мне принесли письмо, как гром поразившее: ты – умер, Кирочка. Не в переносном смысле, ты умер этой зимой, не дожив до своих шестидесяти (и не дожив до сигнального экземпляра чекистской книги – а ведь ты её, наверно, очень ждал?)...

Господи! Да будет земля на могиле твоей – пухом. Твоей прожитой жизни – не позавидуешь.

(Там же)

Так, уже в самом конце этого длинного объяснения (я привел здесь лишь ничтожно малую его часть), выясняется, что оно – опоздало, что объясняется он тут с покойником, который уже не может ему ни возразить, ни ответить.

Но каким бы оно ни было туманным и даже сбивчивым это его объяснение, главное из него мы всё-таки узнали: какие-то показания на Симоняна как соучастника, члена сколоченной им и Виткевичем антисоветской «организации» Солженицын на том следствии 45-го года все-таки дал.

Всплыло на тех его допросах и ещё одно имя: имя тогдашней его жены Натальи Алексеевны Решетовской.

...

...Январской ночью 1974 года, когда я слушала по радио главу «Следствие» из «Архипелага», текст её в чём-то прозвучал для меня по-новому...

«Слава богу, избежал кого-нибудь посадить. А близко было!»... Что значит... «близко было»? Прежде я как-то никогда над этим не задумывалась и считала даже эти строки некоторым преувеличением.

А как непохожа на весь облик Александра Исаевича эта просьба: не бросать камень в тех, кто оказался слаб на следствии!

Не только мне известно, как нетерпим Александр Исаевич к малейшим проявлениям слабости, как требует ото всех и каждого беспрестанных жертв, отказывается прощать что бы то ни было кому бы то ни было...

А здесь, при описании собственного следствия, – такая апелляция к терпимости, прощению, кротости!..

И, вдруг, из глубин памяти

выплыл очень грустный и очень радостный день, когда пришло мне в Ростов первое, сложенное маленьким треугольничком письмецо от мужа-заключённого, нацарапанное плохо отточенным карандашом...

Нет, всё-таки побеждала не грусть, а радость! А мама почему-то ещё и испугалась. В письме были строки: «Сколько неизъяснимой радости доставили мне листики, написанные твоей рукой. Я узнал таким образом, что ты жива, здорова и свободна...»

– Как он может так писать! – воскликнула мама. – Значит, тебя тоже могли арестовать?.. Почему ты вдруг могла быть «несвободна»?

Мне же эти слова показались совершенно естественными. Арест, как я догадывалась, был связан с перепиской между мужем и Виткевичем. Поэтому Солженицын вправе был предположить, что интересовались и другими его корреспондентами. Может быть, ему даже говорили на следствии, что я арестована. Понятно, что он нервничал. Теперь успокоился.

Тогда я думала так...

Перебираю пачку писем 1945 года. Вот и треугольничек. Перечитываю его в который раз... Ещё в том же письме: «...до сих пор не знаю, разделил ли мою судьбу сэр или нет?» Сэр – это Николай Виткевич. Как же так: в середине августа Солженицын не знает, арестован Виткевич или нет!.. А по версии «Архипелага» он уже в апреле или самом начале мая говорил Котову, тому самому подполковнику, что по делу их проходят двое.

И ещё одно письмо. И ещё одно...

Почему мы должны были исчезнуть? Письма? Но в наших ничего не было… Почему такое беспокойство за нас в июле – августе? Ведь знал же ещё в мае, что «проходят двое», только двое…

Прошло совсем немного времени, когда вечером, поймав американскую радиостанцию, я подумала, что ослышалась: диктор назвала фамилию Виткевича.

Сообщения – то была краткая сводка новостей – повторялись, и до меня донеслось, что Николай Виткевич (о нём упоминается в «Архипелаге») обвиняет Солженицына в «ложном доносе» на него, данном во время следствия. О подробностях не сообщалось…

Мы беседуем обо всём этом с заглянувшей ко мне приятельницей.

И как бы ни хотелось мне не верить, а разум подсказывает, что Виткевич, наверное, прав. А может быть, не только о Николае и Кирилле сказал Александр лишнее на следствии?.. И я признаюсь приятельнице, что не буду удивляться, если узнаю, что и на меня муж наговорил небылиц на следствии… «…избежал кого-нибудь посадить. А близко было…»

Приятельница распрощалась и ушла. Я снова слушаю радио и… Напророчила! Далёкий голос сообщает об утверждении Виткевича, что Солженицын на следствии оклеветал даже свою собственную жену!!!

(Н. Решетовская. В споре со временем)

Читая эти воспоминания бывшей жены Александра Исаевича, надо, конечно, не забывать, что писались они пристрастным и

раздражённым пером смертельно оскорблённой женщины, к тому же ещё и не без участия приставленного к ней гэбэшного редактора (можно даже сказать – соавтора).

Но при всей пристрастности и почти не скрываемой тенденциозности этих (и других) её воспоминаний, не всё в них было высосано из пальца.

Да, имя Н. А. Решетовской, конечно, фигурировало в его показаниях. Оно не могло не всплыть по ходу следствия. Но не потому, что Солженицын по слабости духа или, опять же, по какому-то своему расчёту, сам, первый его следователю назвал.

Еще до всех его показаний следствию было известно, что от жены своих антисоветских взглядов он не скрывал. На этот счет у них имелись документальные доказательства.

Архивные материалы, связанные со следственным делом Солженицына, в полном объёме до сих пор не опубликованы. Только два человека получили возможность с ними ознакомиться и частично предать их огласке: бывший заместитель главного военного прокурора СССР, генерал-лейтенант юстиции в отставке Борис Алексеевич Викторов и журналист Кирилл Анатольевич Столяров. Именно они опубликовали Постановление, ставшее основанием для ареста А. И. Солженицына.

Вот текст этого документа:

...

«Гор. Москва, 30 января 1945 года.

Я, ст. оперуполномоченный 4 отдела 2 управления НКГБ СССР, капитан Госбезопасности ЛИБИН, рассмотрев поступившие в НКГБ СССР материалы о преступной деятельности СОЛЖЕНИЦЫНА Александра Исаевича, 1918 года рождения, урож. гор. Кисловодска, русского, беспартийного, с высшим педагогическим образованием, находящегося в настоящее время в Красной Армии в звании капитана,

НАШЕЛ

Имеющимися в НКГБ СССР материалами установлено, что СОЛЖЕНИЦЫН создал

антисоветскую молодёжную группу и в настоящее время проводит работу по сколачиванию антисоветской организации.

В переписке со своими единомышленниками СОЛЖЕНИЦЫН критикует политику партии с троцкистско-бухаринских позиций, постоянно повторяет троцкистскую клевету в отношении руководителя партии тов. СТАЛИНА.

Так, в одном из писем к своему единомышленнику ВИТКЕВИЧУ СОЛЖЕНИЦЫН 30 мая 1944 года писал:

«...Тщательно и глубоко сопоставив цитаты, продумав и покурив, выяснил, что (Сталин) понятия не имеет о лозунгах по крестьянскому вопросу и (нецензурно) мозги себе и другим. В октябре 17-го года мы опирались на все крестьянство, а он утверждает, что на беднейшее...»

В письме к ВИТКЕВИЧУ от 15.VIII-44 г. СОЛЖЕНИЦЫН указывает:

«...3) В отношении теоретической ценности (СТАЛИНА) – ты абсолютно прав. Больше того, (он) очень часто грубо ***ошибается*** *в теории, и я наглядно мог бы продемонстрировать тебе при встрече на примере трех лозунгов по крестьянскому вопросу (одному из кардинальнейших вопросов Октябрьской р-ции)».*

В письме к своей жене РЕШЕТОВСКОЙ в ответ на её сообщение о результатах экзаменов, которые она сдавала в аспирантуру, СОЛЖЕНИЦЫН 14.X-44 г. писал:

«...А что ты не ответила на вопрос о ***трех*** *сторонах диктатуры*

пролетариата, не унывай, ибо это уже не ленинизм, а позже – понимаешь? И ничего общего с серьёзной теорией не имеет. Просто кое-кто, не понимая всей глубины бесконечности, любит примитивно считать на пальцах».

По этому же поводу СОЛЖЕНИЦЫН пишет ВИТКЕВИЧУ:

«...Я указал ей (жене), что всякие учения о трех сторонах, пяти особенностях, шести условиях никогда даже не лежали рядом с ленинизмом, а выражают чью-то манеру считать по пальцам»...

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 146 и 157 УПК РСФСР, – ПОСТАНОВИЛ:

«СОЛЖЕНИЦЫНА Александра Исаевича подвергнуть обыску и аресту с этапированием в Москву для ведения следствия...»

(Б. А. Викторов. Без грифа «секретно». М. 1990. Стр. 301–308)

Все эти отрывки из писавшихся им в разное время писем (в том числе и писем к жене) по ходу следствия, разумеется, были ему предъявлены. И совсем уклониться от ответов на поставленные ему следователем в связи с ними вопросов он, понятное дело, не мог.

Ответы эти, надо полагать, были в том же духе, что и его показания об «антисоветской деятельности» К. Симоняна:

...

Да, я признаю, что некоторое недовольство у всех у нас было. (На языке МГБ это записывается следователем, ведь протокол ведёт он: «гнусные антисоветские измышления».)

При этом, – объясняет он в «Архипелаге», – пуще всего опасался он, чтобы следователь не склонился бы разбирать тот

«заклятый груз», который он привёз «в своём заклятом чемодане». Не будь этот его следователь так ленив, нашёл бы время покопаться в спрятанных в том чемодане его фронтовых дневниках, – ещё больше бы из него вытянул:

…

Я безоглядчиво приводил там полные рассказы своих однополчан – о коллективизации, о голоде на Украине, о 37-м годе, и по скрупулёзности и никогда не обжегшись с НКВД, прозрачно обозначал, кто мне это всё рассказывал. От самого ареста, когда дневники эти были брошены оперативниками в мой чемодан, осургучены, и мне же дано везти тот чемодан в Москву, – раскалённые клещи сжимали мне сердце. И вот эти все рассказы, такие естественные на передовой, перед ликом смерти, теперь достигли подножия четырёхметрового кабинетного Сталина – и дышали сырою тюрьмою для чистых, мужественных, мятежных моих однополчан.

Эти дневники больше всего и давили на меня на следствии. И чтобы только следователь не взялся попотеть над ними и не вырвал бы оттуда жилу свободного фронтового племени – я, сколько надо было, раскаивался и, сколько надо было, прозревал от своих политических заблуждений. Я изнемогал от этого хождения по лезвию – пока не увидел, что никого не ведут ко мне на очную ставку; пока не повеяло явными признаками окончания следствия; пока на четвёртом месяце все блокноты моих военных дневников не

зашвырнуты были в адский зев лубянской печи, не брызнули там красной лузгой ещё одного погибшего на Руси романа и чёрными бабочками копоти не взлетели из самой верхней трубы.

(Там же. Стр. 137–138)

Написано красиво.

Но вся штука в том, что и без этих «осургученных» его дневников, до которых руки следователя так и не дошли, не мог он совсем никого не назвать из тогдашних своих единомышленников, которым, в случае, если бы он их назвал, грозило стать его подельниками.

И по крайней мере одно имя – помимо тех, чьи имена следователю были уже известны, – он назвал:

...

Скорее раздобыть полный и подлинный текст Виткевича!.. Друзья достают мне копию его официального письма.

Николай, в отличие от меня, не пытался восстановить истину путём анализов и сопоставлений. Ему это было не нужно. Оказалось достаточным вспомнить протоколы следствия, которые он, как выяснилось, читал. В тот самый день, что назван им «самым ужасным в жизни». Из этих протоколов он «узнал», что в своё время «пытался создать нелегальную организацию... С 1940 года систематически вёл антисоветскую агитацию... разрабатывал планы насильственного изменения политики партии и государства, клеветал (даже «злобно») (!) на Сталина». Николай не верил своим глазам, читая, что вся наша «пятёрка» – это антисоветчики, занимавшиеся этой

деятельностью ещё со студенческих лет. И не только мы, но и... некто Власов.

Я-то знаю, что это за Власов. Морской офицер, с которым к той поре и знакомства-то по-настоящему у Александра не было. Они были попутчиками в поезде Ростов – Москва весной 1944 года и всё. Потом изредка переписывались... О Власове действительно шла речь на следствии. Это я знала от мужа. Он рассказывал мне, что Лёня Власов «спас» себя письмом, которое пришло к Солженицыну в часть уже после его ареста и было переслано следствию. Письмо это капитан Езепов сам прочёл мужу. Там была фраза: «...не согласен, что кто-нибудь мог бы продолжать дело Ленина лучше, чем это делает Иосиф Виссарионович». Вот почему Власова даже не допрашивали!..

Вскоре я повидалась с Леонидом Владимировичем Власовым.

Он читает официальное письмо Виткевича.

«...Солженицын сообщил следователю, что вербовал в свою организацию случайного попутчика в поезде, моряка по фамилии Власов и тот, мол, не отказался, но даже назвал фамилию своего приятеля, имеющего такие же антисоветские настроения...»

– Ну и гусь! – невольно вырвалось у Леонида Владимировича.

Я не верю ушам своим. Власов говорит:

– Фамилия этого человека Касовский.

Откуда он знает это? Догадался без труда. Когда-то в поезде он рассказывал Солженицыну о своём

приятеле, называл его фамилию… Много лет спустя, когда Власов возобновил знакомство с Солженицыным, его не могло не удивить, что в самом первом письме к нему Солженицын упомянул об «Оссовском».

А теперь это стало Власову понятно.

И стала более ясной картина, скупо обозначенная несколькими строками письма Виткевича:

«…конец протокола первого допроса. Следователь упрекнул Солженицына, что тот неискренен и не хочет рассказать всё. Александр ответил, что хочет рассказать всё, ничего не утаивает, но, возможно, кое-что забыл. К следующему разу постарается вспомнить. И он вспомнил».

Вспомнил «всё»… Вплоть до случайно услышанной фамилии.

Догадаться, как это произошло, совсем уже нетрудно. Признавшись, что он собирался создать организацию, Солженицын должен был рассказать, кого он собирался туда вовлечь. Когда были названы фамилии, естественно встал вопрос, почему он считал годными для этой цели именно этих людей. Нужно было мотивировать. И нужно было «не сердить следователя». Доказывать ему, что подследственный «прост, прибеднён, открыт до конца». Так на одну сторону весов было брошено хорошее впечатление, которое нужно было создать у следователя. На другую – 5 или 6 человеческих судеб…

Власов тут же высказал предположение, что оправдание своему поведению Солженицын видел

в своём особом предназначении...

(Н. Решетовская. В споре со временем)

Эту длинную выписку из книги Решетовской я привел не для того, чтобы вместе с ней – или вслед за ней – уличать Солженицына в неполной правде его воспоминаний, в желании утаить истину, в недостаточной откровенности.

Привел я её тут только лишь ради вот этого объяснения, которое дал его поведению на следствии чуть было не провалившийся по его вине в пропасть ГУЛАГа Леонид Владимирович Власов. Ради его предположения, что «оправдание своему поведению Солженицын видел в своём особом предназначении».

* * *

В начале 70-х, когда в железной, непроницаемой, герметически закупоренной границе нашего отечества обнаружилась первая щель, один из моих друзей отреагировал на это загадочное явление нашей советской жизни небольшим сочинением. Во всех подробностях я этого сочинения сейчас уже не помню. Но один его образ отчеканился в моём сознании с необыкновенной отчётливостью.

Это был образ старого дворового пса, который проскулил весь свой век на цепи и вдруг, в один прекрасный день увидал, что конец этой цепи просто так лежит на земле. И калитка в заборе открыта. Беги – не хочу! А он – тупо лежит, поглядывая одним глазком на цепь, другим на открытую калитку, и – не шевелится, не трогается с места...

Этой выразительной картинкой он, понятное дело, хотел выразить свое собственное душевное состояние. Но при этом выразил и моё.

Я тоже был этим старым дворовым псом, прожившим всю жизнь на цепи и мечтавшим вырваться на волю.

Когда мой друг Аркадий Белинков совершил свой головокружительный прыжок (по какой-то не очень надёжной характеристике из группкома литераторов уехал с женой туристом в Югославию и, нырнув таким образом под железный занавес, махнул оттуда через океан в Америку), я просто ошалел от восторга и зависти. Завидовал я при этом не столько даже тому, что он совершил удачный побег из общей нашей тюрьмы, сколько его отчаянной смелости, этому вдруг проявившемуся в

нем авантюризму, которого во мне не было ни на грош.

Что же касается так часто обсуждавшегося в нашей среде морального права сбежать, покинуть родину, то на этот счет у меня никогда не было ни малейших сомнений.

Какие тут могут быть сомнения, если даже Тютчев любил повторять: «У меня не тоска по родине, а тоска по чужбине». И узнав, что убийцу Пушкина – Дантеса – военный суд приговорил к высылке с фельдъегерем за границу, мрачно пошутил: «Пойду, убью Жуковского».

А ведь был патриот, и не из последних.

И вот теперь, когда не надо было совершать никаких отчаянных авантюрных прыжков, когда цепь валялась на земле, я тупо глядел на эту вдруг оборвавшуюся цепь и открывшуюся калитку и не трогался с места. И так и не тронулся.

Оставаясь этим самым псом, мрачно (и уже совсем безнадежно) поглядывающим на валяющуюся на земле цепь, я, тем не менее, во всех тогдашних интеллигентских спорах насчёт того, надо или не надо уезжать из «этой страны», оставался ярым сторонником эмиграции.

Не то чтобы я агитировал за отъезд. Да и споры-то эти были совсем не о том, ехать или не ехать. Споры шли о том, **как относиться к тем, кто уезжает** . И почти все мои друзья и вчерашние единомышленники отъезжающих единодушно осуждали.

Особенно запомнился мне один такой бурный спор у Саши Галича. Как всегда, тесная его квартирка была набита битком. Все гости были людьми весьма преуспевшими в этой жизни, хорошо и прочно в неё вписавшимися, хотя и с лёгким креном в диссидентство. Были, кажется, среди них и бывшие сидельцы. Особенно запомнилась мне одна красивая дама, обнажённые руки которой до локтей были украшены какими-то дивными, видать, очень редкими и дорогими браслетами. Дама эта (как мне шепнули, она была близкой родственницей – чуть ли не родной племянницей – Веры Фигнер) горячилась больше всех. Она говорила, что как бы дело ни повернулось, что бы с ней тут ни случилось, она никогда, ни за что... Лучше смерть, тюрьма, лагерь, чем отъезд. И все дружно её поддержали: да, если придётся, они решительно предпочтут Потьму, Джезказган, даже Колыму. Все что угодно, только не постыдное решение бросить родину в этот трудный для неё час. (А был ли когда-нибудь у нашей родины не трудный, легкий час?)

Не помню, была ли тогда уже сочинена знаменитая Сашина песня на эту тему или он сочинил её позже:

Уезжаете?! Уезжайте –
За таможни и облака.
От прощальных рукопожатий
Похудела моя рука!
Я не плакальщик и не стража,
И в литавры не стану бить.
Уезжаете?! Воля Ваша!
Значит – так по сему и быть...
Я стою... Велика ли странность?!
Я привычно машу рукой.
Уезжайте! А я останусь.
Я на этой земле останусь.
Кто-то ж должен, презрев усталость,
Наших мертвых стеречь покой!

Отыскав сейчас (чтобы процитировать точно, а не по памяти) эту песню, увидал под ней дату: 20 декабря 1971 года. Так что скорее всего в тот припомнившийся мне вечер она уже была автором исполнена. Может быть, как раз по этому самому поводу и разразился тогда тот спор.

Как бы то ни было, в яростном том споре я остался в полном одиночестве. Не могу поручиться, но думаю, что многие – если не все – из тех спорщиков вскоре оказались «за бугром». В конце концов уехал и Саша, обещавший навсегда остаться «на этой земле», чтобы стеречь покой «наших мертвых». И сейчас на доме, в котором я живу, висит мемориальная доска с его профилем, под которым стих из Евангелия от Матфея: «Блажени изгнани правды ради». Доска эта – кустарная, самодельная. И повешена самоуправно какими-то доброхотами-поклонниками. (В прежние времена и дня бы не провисела). Официальной же доски удостоился другой житель нашего дома – Марк Лисянский, автор песни «Дорогая моя столица...», ставшей теперь гимном Москвы. Её открывали торжественно, с цветами и речами каких-то муниципальных чиновников.

Но я отвлекся. Продолжаю свой рассказ.

Итак, Саша уехал. Уехали и многие другие мои друзья. А я все так же тупо глядел на оборванную цепь и не трогался с места, продолжая тем временем яростно отстаивать правоту уезжавших, которых день ото дня становилось все больше.

Уехал один из самых близких мне людей – Эмочка Коржавин. Уехали Копелев и Аксёнов. Уехал Войнович. И мой соавтор Стасик Рассадин, объясняя мне, почему он не может больше

продолжать наше соавторство, сказал, что он точно знает (один верный человек ему сказал): в самое ближайшее время отчалю и я тоже. А когда я стал уверять его, что уезжать не собираюсь, он ответил на это так:

– Уехали все твои друзья. Куда ты денешься!

Логика его была неопровержима. Да и не только в логике тут было дело. Узкий круг ближайших моих друзей редел, и с каждым днем я чувствовал себя все более одиноким. Отвращение моё к советской жизни дошло до предела. Я перестал читать отечественные журналы, жадно проглатывая каждый попадавший мне в руки номер «Континента» или «Граней», каждую попадавшуюся мне на глаза эмигрантскую книжку.

Кое-кто из знакомых уже стал намекать мне, что душевное состояние моё таково, что, пожалуй, мне и в самом деле лучше уехать. Но эти намеки приводили меня в ещё большую ярость. А когда мне указывали на некоторую нелогичность моей позиции (если ты считаешь, что уехавшие сделали единственно правильный выбор, почему не уезжаешь сам?), отвечал: «Что ж! Это свидетельствует только о том, что я слабый человек. Что главное дело моей жизни значит для меня меньше, чем привычки, инерция быта, вся эта трясина, из которой у меня нет сил выбраться».

А насчёт того, где российский литератор лучше сможет выполнить своё предназначение, у меня по-прежнему не было ни малейших сомнений: конечно же, не здесь, в тюрьме, а – там, на воле!

Вспоминаю ещё одну мою перепалку – на этот раз не с какой-то там полузнакомой племянницей Веры Фигнер и даже не с легко внушаемым, подверженным господствующим общественным настроениям Сашей Галичем, а с бесконечно мною уважаемой Лидией Корнеевной Чуковской.

– Русский писатель, – сказала она, – ни при каких обстоятельствах не имеет права добровольно покинуть родину.

Я поинтересовался, в чей огород брошен камень. Выяснилось, что, в общем-то, во всех эмигрантов так называемой третьей волны. В Бродского и Коржавина, Владимова и Войновича, Аксёнова и Максимова, Андрея Синявского и Галича, Виктора Некрасова и Фридриха Горенштейна.

Лидия Корнеевна была дама суровая, легко впадавшая в крайности. Но тут она, как теперь принято говорить, лишь **озвучила** мысль верховного главнокомандующего: Александра Исаевича Солженицына.

Я сказал, что, насколько мне известно, ни один из вышеназванных литераторов не уехал из России добровольно.

Каждого выпихивали, выталкивали, выдавливали. Просто формы, да и сила давления были разные, в каждом конкретном случае – свои.

Лидия Корнеевна возразила, что даже если это так, надо было сопротивляться, не поддаваться давлению.

– Ну, – сказал я, – если исходить из того, что можно было не поддаться, тогда да. Тогда и в самом деле можно считать, что они уехали добровольно. Но тогда нам придется признать, что добровольными эмигрантами стали **все** . Из этого правила не было ни одного исключения.

– Ну, одно исключение все-таки было, – улыбнулась Л. К.

– Это какое же? – поинтересовался я.

– Вы прекрасно знаете, какое, – уже слегка раздражаясь, возразила она. – Об Александре Исаевиче никто не скажет, что он уехал добровольно. Его выдворили.

– То есть как же это – не добровольно? – сказал я. – Он своими ногами вошёл в самолёт. И своими ногами сошёл с трапа самолёта. И даже взял от них пальто и ондатровую шапку. А между прочим, был человек, которого пришлось завернуть в ковер. Вот про него действительно можно сказать, что его выдворили.

В ковер пришлось завернуть Троцкого. Кстати, не тогда, когда его навсегда высылали из страны, а раньше, отправляя в Среднюю Азию. Но я уже завёлся. В Среднюю Азию или на Принцевы острова – не все ли равно! К чёрту подробности!

Лидия Корнеевна от такого моего нахальства просто обомлела. И даже не нашла, что ответить. Она, как мне рассказывали, – даже потом, когда я уже покинул поле боя, – все только повторяла: «Ну как он мог такое сказать!»

Такого злого хулиганства она не ждала даже от меня.

Что говорить! Конечно, я далеко перешагнул предел необходимой обороны. Ондатровая шапка – ондатровой шапкой, но Александра Исаевича они действительно выдворили. И Троцкий – чего уж там! – никогда не был героем моего романа.

Но дело было не только в том, что я завёлся.

И даже не только в том, что главный идеолог меня раздражал своим тупым догматизмом.

Это презрительно осуждающее отношение к тем, кто «бросил землю», я не прощал даже Ахматовой. Никогда не понимал, как ОНА могла написать такое:

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и

грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Никогда я не разделял и даже вчуже не мог понять природу этого презрительного высокомерия.

Это короткое стихотворение было написано осенью 1917 года. А несколько лет спустя (в июле 1922-го) она высказалась на эту тему ещё определённее, я бы даже сказал, ещё раздражённее и злее:

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.
Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.
А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.
И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час…
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

Жизненную позицию Ахматовой я с грехом пополам понять ещё мог. Каждый волен выбирать свой путь, свою судьбу. В одном своём письме, посланном мне из Америки, мой друг Эмочка Коржавин, делясь своими эмигрантскими горестями, обронил такую фразу: «Вероятно, человеку одинаково нужны и родина, и свобода».

Я готов с уважением отнестись к тем, кто в этом нелёгком выборе предпочёл родину. Но почему надо с презрением отворачиваться от тех, кто выбрал свободу?

* * *

Вернемся, однако, к главному герою нашего повествования.

Перед ним эта проблема – уехать или остаться? – вставала не однажды. И в разное время, в разных обстоятельствах он решал её – для себя – по-разному.

…

Летом 69-го года мы сидели с Алей у Красного Ручья на берегу Пинеги и разрабатывали такую сложную систему издания журнала, при которой он будет самиздатски издаваться здесь (отдел распределения – глубже его действующая редакция – ещё глубже теневая редакция, готовая принять дела, когда провалится действующая, и создать себе вторую теневую), а я – может быть, здесь, а может быть, и там, но и в этом случае подписываю журнал (участвую в нём оттуда). И при всех этих разработках мы так и не сошлись в коренном вопросе: Аля считала, что надо на родине жить и умереть при любом обороте событий, а я, по-лагерному: нехай умирает, кто дурней, а я хочу при жизни напечататься. (Чтобы в России жить и всё напечатать – тогда ещё представлялось чересчур рискованно, невозможно.)

Как в насмешку, именно в эти дни бежал на Запад А. Кузнецов, мы на Пинеге слушали по транзистору. Перепугались на верхах, а он ликовал, думал наверно: вот сейчас всю историю повернёт. Ан ошибка бегляческая, смещение масштабов. Главное же: тут у нас, в СССР, почти поголовно не одобрил его

образованный класс, и не только за податливость гэбистам, за игру в доносы, но и за самый побег: лёгкий жребий! Человеку безвестному, досаждённому, можно простить, но писателю? Какой же, мол, тогда ты наш писатель? Нерациональные мы люди: десятилетиями бродим и хлюпаем в навозной жиже, брюзжим, что плохо. И не делаем усилий выбраться. А кто выбарахтывается и бежит прочь, кричим: «изменник! не наш!»

(А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом)

Сам он был человек рациональный и, решая (опять же – не в абстракции, а вполне конкретно, для себя) этот проклятый вопрос, руководствовался соображениями сугубо рациональными:

...

Пока я тут, в клетке, – я им полустрашен, меня всегда можно прихлопнуть. А оттуда – я ужасен для них, я успею (пока не всадят ножа мне в рёбра, не отравят, не застрелят, не выбросят из поезда), успею развернуть всё, укрытое ими за полстолетия! – и после того захлёста им уже не жить, или только доковыливать (так мне казалось).

(Там же)

Эта проблема подступила к самому его горлу, когда пришла пора решать, ехать или не ехать ему в Стокгольм – получать Нобелевскую премию.

Не могло быть, да и не было у него никаких сомнений, что если, воспользовавшись этим предлогом, Софья Власьевна откроет перед ним границу, которая у неё всегда «на замке», то уж обратно – точно не впустит. Стало быть, если решиться ехать, то уж не строя себе никаких иллюзий, точно зная, что это его расставание с Родиной будет не на время, а – НАВСЕГДА.

И тем не менее, поначалу не было тут у него никаких колебаний:

...

...В 1958-м, рязанским учителем, как же я позавидовал Пастернаку: вот с кем удался задуманный мною жребий! Вот он-то и выполнит это! – сейчас поедет, да как скажет речь, да как напечатает своё остальное, тайное, что невозможно было рискнуть, живя здесь. Ясно, что поездка его – не на три дня. Ясно, что назад его не пустят, да ведь он тем временем весь мир изменит, и нас изменит – и воротится, но триумфатором!

После лагерной выучки я, искренно, ожидать был не способен, чтобы Пастернак избрал иной образ действий, имел цель иную. Я мерил его своими целями, своими мерками – и корчился от стыда за него как за себя: как же можно было испугаться какой-то газетной брани, как же можно было ослабеть перед угрозой высылки, и униженно просить правительство, и бормотать о своих «ошибках и заблуждениях», «собственной вине», вложенной в роман, – от собственных мыслей, от своего духа отрекаться – только, чтоб не выслали! И «славное настоящее», и «гордость за то время, в которое живу», и, конечно, «светлая вера в общее будущее» – и это не в провинциальном университете профессора секут, но – на весь мир наш нобелевский лауреат! Не-ет, мы безнадёжны! Нет, если позван на бой, да ещё в таких превосходных

обстоятельствах, – иди и служи России! Жестоко-упречно я осуждал его, не находя оправданий. Перевеса привязанностей над долгом я и с юности простить и понять не мог, а тем более озверелым зэком...

Тем ясней я понимал, задумывал, вырывал у будущего: мне эту премию надо! Как ступень в позиции, в битве! И чем раньше получу, твёрже стану, тем крепче ударю! Вот уж, поступлю тогда во всём обратно Пастернаку: твёрдо приму, твёрдо поеду, произнесу твердейшую речь. Значит, обратную дорогу закроют. Зато всё напечатаю! Всё выговорю! весь заряд, накопленный от лубянских боксов через степлаговские зимние разводы, за всех удушенных, расстрелянных, изголоданных и замёрзших! Дотянуть до нобелевской трибуны и грянуть! За всё то доля изгнанника – не слишком дорогая цена...

(Там же)

Но по мере того как ближе и ближе подступала к нему необходимость этого выбора, чем реальнее становилась возможность отъезда, тем всё меньше оставалось у него твердости и неколебимости в принятии рокового решения, и тем с каждым днём всё больше и больше возникало сомнений:

...

...Крушилось моё предвидение, бесполезна оказывалась твёрдость моих намерений. Я дожил до чуда невероятного, а использовать его – не видел как...

В эти зимние месяцы ждался первенец мой, но вот премия приносила нам разлуку, и я уезжал, как было прежде между нами решено. Без надежды даже раз единый

увидеть родившегося сына.

Уезжал, чтобы грудь писательскую освободить и дышать для следующей работы. Уезжал – убедить? поколебать? сдвинуть? – Запад.

А на родине? – кто и когда это всё прочтёт? Кто и когда поймет, что для книг – так было лучше?

В 50 лет я клялся: «моя единственная мечта – оказаться достойным надежд читающей России». А представился отъезд – и убежал?..

А что, правда: остаться и биться до последнего? И будь, что будет?

Ещё эти кудряво-барашковые волоса да белая бабочка...

Как в наказательную насмешку, чтоб не поспешен был осуждать предшественников, я на гребне решений онемел и заколебался...

Наши очень ждали моего отъезда, подстерегали его! Как раз бы и был он в согласии с правилами поддавков: я как будто пересекал всю доску, бил проходом несколько шашек – но на том-то и проигрывал! Достоверно знаю: было подготовлено постановление, что я лишаюсь гражданства СССР. Только оставалось – меня через границу перекатить. Есть какие-то сроки подачи заявлений и анкет, после которых уже опаздываешь; никто тех сроков не знает, но в Отделе Виз и Регистрации, в ГБ и в ЦК думают, что все знают, и удивлялись: как же я их пропускаю? На те недели притихла, вовсе смолкла и газетная кампания против меня. Лишь на одном, другом инструктаже прорывало, не выдерживали их нервы,

секретарь московского обкома партии, за ним и шавки-«международники» (без меня давно ни одна «международная» лекция не обходилась):

– Господин Солженицын до сих пор почему-то не подаёт заявления на выезд...

...У меня на столе уже лежало отречное письмо и каждое утро правилось, где буквочкой, где запятой. Я выбирал наилучший день – ну, скажем, за две недели до нобелевской процедуры. Несмотря на внешнюю твердокаменность нашего государства, внутри инициатива не уходила из моих рук: от первого до последнего шага я вёл себя так, будто их вообще не было, я игнорировал их: сам решил, объявил, что поеду – и не вязались переубеждать; теперь сам решил, объявлял, что не поеду...

(Там же)

Ну как тут не вспомнить знаменитое ленинское: «Сегодня рано, а послезавтра поздно» и уже упоминавшуюся мною на этих страницах ленинскую тактическую изворотливость с выдвижением, снятием, и опять выдвижением лозунга: «Вся власть Советам!»

Кое-кому это сопоставление Солженицына с Лениным, наверно, покажется искусственным, нарочитым, откровенно тенденциозным. Но Александр Исаевич и сам не скрывал, что этой своей тактике учился у Ленина:

...

Сейчас я легко мог бы найти сто и двести честных писателей и отправить им письма. Но они, как правило, не занимали в СП никаких ведущих постов. Выделив их не по признаку служебному, а душевному, я

поставил бы их под удар и нисколько не способствовал бы своей цели: гласности сопротивления. Посылать же протесты многолюдным и бездарным всесоюзному и всероссийскому правлениям СП было удручающе-бесплодно. Но маячил в декабре 1966 г. писательский съезд, недавно отложенный с июня – первый съезд при моём состоянии с СП и, может быть, последний. Вот это был случай! В момент съезда старое руководство уже бесправно, новое ещё не выбрано, и я волен различить достойных делегатов по собственному пониманию. Да чем не ленинская тактика – апеллировать к съезду? Это ж он и учил так: ловить момент, пока уже не... и ещё не...

(Там же)

Такие же продуманные и взвешенные тактические расчёты двигали Солженицыным и двадцать лет спустя, когда – тоже уже вплотную – встал перед ним вопрос о ВОЗВРАЩЕНИИ НА РОДИНУ. Которого он ждал! В котором не сомневался! А когда наконец ПРОБИЛ ЧАС, открывшейся перед ним возможностью – не воспользовался.

...

Ещё в декабре 1989 горбачёвская власть милостиво процедила, что «лишённые советского гражданства могут подавать заявления на возврат» («Нью-Йорк таймс» сразу же сунулась к нам: буду ли я подавать? – то есть стану ли виновато на колени, прося советскую власть о прощении?..). – В январе 1990 вернули советское гражданство Ростроповичу и Вишневской. (Они не были расположены возвращаться, ответили: «Не вернёмся раньше

Солженицына», то есть упиралось, опять-таки, в меня.) – В апреле 1990 «Литгазета», когда-то прилепившая мне «литературного власовца», теперь с запоздалым бесстрашием (да наверно и тут по команде сверху) потребовала: «Вернуть Солженицыну гражданство!» По отношению к высланному с таким грохотом это бы имело смысл и означало бы признание режимом своей, ну хотя бы, «ошибки». Но, всегда двусмысленный и нерешительный, Горбачёв не мог отважиться на такой шаг. В июне 1990, – по заявлениям или нет, не знаю, – вернули гражданство А. Зиновьеву, В. Максимову и Ж. Медведеву. А дальше – дальше, в августе 1990, состроили так: набрали список в две дюжины эмигрантов, из которых почти все уехали собственною волей, подавши в ОВИР просьбу о визе на выезд, вставили туда и меня и Алю – и объявили: перечисленные лица могут получить снова гражданство…

(А. Солженицын. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов)

В такой унизительной форме – гуртом, вместе с двумя дюжинами эмигрантов, «из которых почти все уехали собственной волей», – принять вдруг открывшуюся возможность вернуться на Родину он, конечно, не мог.

Нет-нет! ЕГО возвращение должно быть обставлено иначе! (Как именно, он уже тогда более или менее ясно себе представлял.)

Но тут вдруг открылась перед ним другая возможность:

…

Вскоре за тем, очевидно вразрез горбачёвской нерешительности (но

уже в решительности ельцинской, да Ельцин тогда мнился самостоятельным русским голосом в советском многоголосьи), премьер РСФСР И. С. Силаев в том же августе 90-го опубликовал в «Советской России» (одной из самых злобных клеветниц за годы на меня и наш Фонд) приглашение мне приехать в Россию его личным гостем: «Теперь, когда противоречия [русской жизни] достигли высоты, чреватой новым расколом... Вы не будете связаны по приезде сюда никакими обязательствами, касающимися Вашей дальнейшей судьбы. Программа же Вашего путешествия будет названа Вами, а моя миссия заключается в оказании Вам содействия».

Сильный момент. «Программа путешествия»? – ведь как в воду смотрит: значит, по моей давней задумке, могу и через Сибирь?

Но ведь это – явная политическая игра. Ельцинская сторона играет мою карту против Горбачёва. И – мне в это сейчас ввязаться? А что изменилось в Системе? Пока ничего.

Если отдаться целиком политике – то, конечно, ехать, и немедленно!

И толкаться на московских митингах? на трибунках между Тельманом Гдляном и Гавриилом Поповым? (Стиль Семнадцатого года, так знакомый мне...) Я политическую роль сыграл в то время, когда глотки были совсем одиноки. А теперь, когда их множество?..

Я – как раз кончил «Обустройство». Это – самый

большой и глубокий вклад, какой я могу сделать в современность. На него и была моя надежда.

И ответил Силаеву: «Для меня невозможно быть гостем или туристом на родной земле... Когда я вернусь на родину, то чтобы жить и умереть там...»

(Там же)

И само решение и весь – логический, тактический – путь к принятию этого решения – совершенно те же, что в случае с приглашением испанского короля. Но разве можно сравнить судьбоносный смысл того и этого приглашения? Там речь шла всего лишь о почётном, хотя, может быть, и не лишённом смысла ритуальном светском мероприятии. А тут – о так долго жданной и наконец открывшейся возможности вернуться на Родину после восемнадцатилетней вынужденной разлуки с нею.

Но, как в том, так и в этом случае, взвесив все за и против, он решает: ОТКАЗАТЬСЯ. Как в том, так и в этом случае – в предельно тактичной, вежливой, уклончивой форме, но – твердо и безоговорочно.

...

А между тем на Западе и перестройка и Гласность советские вызывали неутихающее ликование. И осенью 87-го затревожились и в западной прессе, вослед эмигрантскому хору (начала «Вашингтон пост», за ней другие): а почему Солженицын молчит? такие грандиозные события в СССР – а он молчит? что это означает? да впрочем, что он может сказать – «монархист, реакционер и мистик».

Ну да, естественно было ждать от меня восторга от Гласности , которую я же призывал двадцать лет назад. Но если я вижу, что все остальные перемены ведутся обвально? Мне – страшно смотреть

на эти катящие события. Что я могу? С одной стороны – счастье, что хоть что-то, хоть что-то под коммунизмом начало сдвигаться. Значит: против «перестройки» говорить не время. А с другой стороны, всё делаемое (кроме раскачки Гласности) – так несущественно, или недальновидно, или уже вредно, – ясно видно, что заметались, пути не ведают. Так и хочется остеречь Горбачёва: «Не пори, коли шить не знаешь».

Но если нельзя ругать и трудно хвалить – что остаётся? Только – молчать. Вот и молчу.

(Там же)

Даже слово молвить – и то не решался. А тут уже не слово, а – поступок, действие, которое иначе как признание благодетельности того, что происходит в стране, истолковано быть не может.

И снова – расчёты, прикидки, взвешивание на каких-то своих сверхточных весах всех «за» и «против»:

...

Короткое время – год? два? – мнилось, что общественная волна, митинговая воля людей – может направить ход событий. Но нет, пока ещё нет.

В России и прежде – а в нынешней заверти особенно – влиять на события, вести их может только тот, в чьих руках поводья власти. И для всякого – и для меня, если б я сейчас нырнул туда мгновенно, – единственный путь повлиять – пробиваться к центру власти. Но это мне – и не по характеру, и не по желанию, и не по возрасту.

Так – я не поехал в момент

наивысших политических ожиданий меня на родине. И уверен, что не ошибся тогда. Это было решение писателя, а не политика. За политической популярностью я не гнался никогда ни минуты.

(Там же)

На самом деле это было, конечно, решение политика, а не писателя. (Писателю – как было пропустить такой – воистину исторический, судьбоносный миг в истории отечества!)

Я уже говорил, что по складу личности, по самому строю души он был **человеком власти** , и не раз именно так себя позиционировал.

А у **человека власти** – другие отношения с Вечностью. Не те, что у **человека искусства** – писателя, поэта, художника.

…

…правитель, дающий свое имя моменту истории, должен быть полностью поглощен этим моментом. Он должен нырнуть в волны этого момента и стать неотличимым от него сильнее, чем какой-либо другой человек. Ибо обозначение эпохи является делом именно правителя, и он появляется на марках или монетах своей страны. Правление, поскольку оно персонифицирует эпоху, всегда противоположно деяниям Вечности.

(О. Розеншток-Хюсси. Великие революции: Автобиография западного человека. (USA). Hermitage Pablishers, 1999, стр. 184.)

Правителем Александр Исаевич так и не стал, хотя многие хотели бы увидеть его в этой роли и даже всерьёз надеялись, что он согласится послужить новой, обновлённой России в должности её Президента.

Чтобы напомнить о том, как это было, приведу небольшой отрывок из одной тогдашней моей статьи. Она называлась: «Никак мы не можем без генералиссимуса».

Все читавшие роман Владимира Войновича «Москва 2042», конечно, помнят одного из самых колоритных его героев – Сим Симыча Карнавалова. В финале книги этот русский писатель-диссидент, насильственно выдворенный из родной страны, возвращается в Москву на белом коне, объявляет себя императором и начинает вершить суд и расправу над своими подданными и заново «обустраивать» отныне подвластную ему Россию.

Многочисленные читатели романа восприняли этот художественный образ как злую карикатуру на Александра Солженицына. Некоторые из них, читая про Сим Симыча, одобрительно смеялись. Другие возмущались и даже негодовали. Но ни те, ни другие, разумеется, не склонны были воспринимать эту пародийную историю как предвосхищающую реальное развитие событий. Да и сам автор ни в малейшей степени не претендовал на роль провидца: он сочинял сатирический роман, доводя, согласно традициям этого жанра, все свои идеи до абсурда, придавая им черты фантастического гротеска.

Но когда читаешь многочисленные статьи и отклики, появившиеся на страницах российских газет по случаю долгожданного возвращения Солженицына в Россию, невольно приходишь к выводу, что картина, нарисованная Войновичем, была и впрямь пророческой. И дело тут не в том, что Солженицын возвращается в Россию хоть и не на

белом коне, но с большой помпой, в сопровождении многочисленной свиты, чуть ли не в царском поезде с салон-вагоном, рестораном и личным поваром. И не в том, что многочисленные льстецы постоянно уподобляют его то Толстому, то Достоевскому, часто отдавая ему предпочтение перед ними обоими. Нечто подобное нам случалось читать о Солженицыне и раньше.

А вот такого нам раньше о нем ни читать, ни слышать, пожалуй, не приходилось:

«Именно ему и только ему я сегодня готов был бы отдать свой голос на любых президентских выборах, если бы только он, несмотря на свой возраст, согласился послужить России и на этом поприще».

Это пишет в приуроченном к приезду Солженицына номере «Московских новостей» Игорь Виноградов. Статья его так прямо и называется: «Я готов отдать ему свой голос».

В том же номере той же газеты напечатана статья Евгения Евтушенко, громогласно озаглавленная: «Есть такая партия – Солженицын...»

Но все рекорды побило появившееся в газете «Сегодня» сообщение о пресс-конференции лидеров движения «Демократическая Россия». Как говорится в этом сообщении, оргкомитет создаваемой участниками движения федеральной партии «Демократическая Россия» считает необходимым объединить все демократические силы страны в единый блок. Результатом этого объединения явится выдвижение

единого кандидата в президенты на предстоящих выборах. Кто именно будет этим кандидатом, устроители пресс-конференции ответить не смогли. Однако высказали при этом надежду на Солженицына, который, как выразилась Галина Старовойтова,

«…своим чутьем поможет определить будущего лидера, сформулировав патриотическую русскую идею в нешовинистических словах и выражениях».

Совсем как у Некрасова: «Вот приедет барин, барин нас рассудит…»

Хороши демократические силы, которые не в состоянии предложить народу своего кандидата в президенты и надеются, что им в этом поможет человек, неоднократно заявлявший о своей нелюбви к демократии, убежденный и последовательный сторонник авторитаризма.

Бедная Россия! Бедная наша российская демократия!

Как видно даже из этого короткого отрывка, жало этой тогдашней моей «художественной сатиры» было направлено не на Солженицына, а на тех, кто, «ликуя и содрогаясь», взирал на него и на весь этот балаган, в который он облёк своё возвращение на Родину, «в надежде славы и добра».

Теперь же я речь веду не о них, а именно о нем.

Стать президентом А. И., наверно, и в самом деле не хотел. Но от политического влияния и даже прямого воздействия на ход событий в стране отказываться не собирался.

…

ИЗ ПИСЬМА А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ
Б. Н. ЕЛЬЦИНУ

30 августа 1991

...Примите все меры, чтобы референдум на Украине 1 декабря был проведен полностью свободно, без всякого давления (оно очень возможно!), без искажений голосования – и чтобы результат его учитывался отдельно по каждой области: каждая область должна сама решать, куда она прилегает...

...бесчестный ленинский совнарком, в обмен за мир и признание своего режима, поспешил (2 февраля 1920 г.) отдать и Эстонии кусок древней псковской земли со святынями Печор и Изборска, и населённую многими русскими Нарву. И теперь, без оговорок принимая отделение Эстонии, мы не можем увековечить и эту нашу потерю.

...Крайне опасно сейчас поспешно принять для России какой-либо не вполне прояснённый экономический проект, который в обмен на соблазнительные быстрые внешние субсидии потребует строгого подчинения программе давателей, лишив нас самостоятельности экономических решений, а затем и скуёт многолетними неисчислимыми долгами. Опасаюсь, что такова программа Международного валютного фонда и Всемирного банка реконструкции (известная у нас как «план Явлинского»). В невылазные тиски долгов попала Латинская Америка и Польша, однако им долги невольно прощают, ибо с них нечего взять. Но России – не простят, а будут выкачивать наши многострадальные недра. А затем, попав во внешнюю экономическую зависимость, Россия неизбежно

впадёт и в политическую несамостоятельность. Я – боюсь такого будущего для нашей страны... прошу Вас: не разрешите отдаться одному упорно предлагаемому проекту, распорядитесь изучить и альтернативные.
(Александр Солженицын. Публицистика в трех томах. Том 3. Ярославль. 1997. Стр. 353–354)

...

ИЗ ПИСЬМА А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА
ПОСЛУ РОССИИ В США В. П. ЛУКИНУ
20 марта 1992

Моя поддержка Вашей позиции относится к тому, что Вы активно поставили в российском Верховном Совете вопрос о судьбе Крыма. Огромная область была вне всяких законов «подарена» капризом подгулявшего сатрапа – и это в середине XX века!

Но вопрос стоит и шире. Я уже писал в своей статье (8.10.91, газета «Труд») к референдуму 1.12.91 на территории Украинской республики в её ленинских границах, – что и все границы между республиками бывшего СССР были нарезаны ранними советскими вождями полностью произвольно, без всякого соотнесения с этническим составом областей, местностей и их историческими традициями – а лишь по политическим выгодам того момента. В частности, так была оторвана и Донецкая область от Дона – чтоб ослабить Дон за его

борьбу против большевизма. За такую же упорную борьбу были наказаны уральское и сибирское казачество и область большого Западно-Сибирского крестьянского восстания 1921 года. Так же в 1920 г. ленинское правительство без колебаний уступало целиком русские районы – тем первым государствам, которые своими договорами несли ещё слабому коммунистическому режиму первое международное признание.

И ещё. По убеждению, настойчиво выраженному мною в «Обустройстве», – я не вижу возможностей успешного развития России без равномерного, и вровень со столицами, развития провинциальных областей.

Это мое письмо к Вам не является закрытым.
(Там же. Стр. 359–360)

Это голос не писателя, а политика. И политика **власть имеющего** , о чем даже яснее, чем смысл всех этих его рекомендаций, свидетельствует их тон: указующий, чуть ли даже не директивный. При этом не чуждый, однако, и некоторой – тоже очень взвешенной и продуманной – дипломатии.

Особенно ясно это видно на примере его «Письма вождям Советского Союза». И даже не так самого этого «Письма», как тех разночтений, которые обнаружились, когда был опубликован первоначальный его вариант. Тоже адресованный **вождям,** но отправленный – в единственном экземпляре – только одному из них, главному «вождю», Л. И. Брежневу.

В этом варианте текст «Письма» предваряло личное обращение автора к «уважаемому Леониду Ильичу»:

…

ПИСЬМО А. СОЛЖЕНИЦЫНА Л. БРЕЖНЕВУ

5 сентября 1973 г.

Уважаемый Леонид Ильич!

Вопреки написанному мною множественному заголовку я раздумал посылать это письмо Вашим коллегам и посылаю письмо в ***единственном*** *экземпляре Вам одному, притом через окошко приёмной ЦК. (Сопроводительное же письмо – в двух экземплярах, одно из них – по почте).*

Я полагаю, что решения будут зависеть больше всего от Вас лично, а Вы уже сами изберёте, с кем из Ваших коллег Вы захотите посоветоваться.

Вы видите, что мое письмо написано не с публицистическим задором, не с упрёками, а только с желанием убедить Вас.

Я не теряю надежды, что Вы, как простой русский человек с большим здравым смыслом, вполне можете мои доводы принять, а уж тогда тем более будет в Вашей власти их осуществить.

Если Вы решитесь на этот благодетельный шаг, на этот спасительный путь, Россия в своей будущей истории не раз ещё вспомнит Вас с благодарностью.

А. Солженицын

Если Вы пожелаете побеседовать со мной по поводу этого письма – я готов. (Кремлевский самосуд. Секретные документы Политбюро о писателе А. Солженицыне. М. 1994. Стр. 255–256)

Главная мысль этого обращения была повторена и в самом тексте «Письма», обращённого уже не к одному Леониду Ильичу, а ко всем «вождям Советского Союза»:

…

...не подумайте, что это письмо пишется для публичного ущерба вам, для нанесения урона вашей репутации. Отнюдь нет, поверьте.

(Там же. Стр. 257)

В опубликованном (тотчас же) на Западе тексте «Письма» нет не только личного обращения автора к Брежневу, но и этой фразы.

А. И. не мог не изъять их оттуда, потому что сам факт публикации этого письма на Западе неопровержимо свидетельствовал о том, что задумывалось и писалось это «Письмо» если и не с «публицистическим задором», то уж во всяком случае с публицистическим умыслом. То есть, что на самом деле было оно адресовано не «вождям Советского Союза», а – ГОРОДУ И МИРУ.

Но – по некоторым соображениям – этот (истинный) смысл и адрес своего «Письма» Александр Исаевич от тех, кому оно было послано, до времени решил утаить.

Непонятно тут было только одно: почему же в таком случае команду печатать это «Письмо» на Западе он дал почти сразу, не дожидаясь от «вождей» никакого ответа. Если это так и задумывалось, зачем было заверять Брежнева, что «Письмо» адресовано только ему, да ещё выражать готовность встретиться с ним и побеседовать, если тот того пожелает?

Объясняется это просто.

Публиковать «Письмо» так скоро он и в самом деле не собирался. Тут вмешалась судьба.

Почти в тот же день, когда «Письмо» было им закончено, пришла весть об аресте «Архипелага». И это изменило все его планы.

...

3-го вечером я узнал, 5-го вечером посылал не только извещение о взятии «Архипелага» – но распоряжение: немедленно печатать!

И в тот же день – послал и «Письмо вождям». И это было – истинное время для посылки такого письма: когда они впервые почувствовали в нас силу. (Меня в

такие минуты заносит, я уже писал. «Письмо вождям» я намерен был делать с первой минуты громогласным, жена остановила: это бессмысленно и убивает промиль надежды, что внимут, а сразу как пропаганда, дай им подумать в тиши! Дал. «Письмо» завязло, как крючок, далеко закинутый в тину. Закинутый, но потянем же и его.)

(А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом)

Вот, стало быть, как это было.

Оказывается, делать это своё «Письмо» *громогласным* он был намерен сразу, «с первой минуты». Отговорила жена. Отсюда и эти разночтения между опубликованным и никогда прежде не публиковавшимся его текстами.

Но были между этими двумя текстами и другие разночтения, не менее, а может быть, даже и ещё более выразительные.

...

Никакой самый оголтелый патриотический предсказатель не осмелился бы ни после Крымской войны, ни, ближе того, после японской, ни в 1916-м, ни в 21-м, ни в 31-м, ни в 41-м годах даже заикнуться выстроить такую заносчивую перспективу: что вот уже близится и совсем недалеко время, когда все вместе великие европейские державы перестанут существовать как серьезная физическая сила; что их руководители будут идти на любые уступки только за одну лишь благосклонность руководителей будущей России... и что они ослабнут так, не проиграв ни единой войны, но – от ожирения, от торговли и от слабости духа... и даже величайшая

заокеанская держава, вышедшая из двух мировых войн могучим победителем, лидером человечества и кормильцем его, вдруг проиграет войну с отдалённой маленькой азиатской страной, начнет зримо рассыпаться от внутреннего несогласия, деятельность когда-то грозного её сената снизится почти до балагана, и соответственно обезьяньи мелодии потекут в эфир из этой страны, передавая её растерянность в канун её великих сотрясений.

(Кремлевский самосуд. Секретные документы Политбюро о писателе А. Солженицыне. М. 1994. Стр. 257–258)

Это – из первого, не публиковавшегося варианта «Письма вождям». В опубликованном варианте этот пассаж выглядит иначе:

...

Никакой самый оголтелый патриотический предсказатель не осмелился бы ни после Крымской войны, ни, ближе того, после японской, ни в 1916-м, ни в 21-м, ни в 31-м, ни в 41-м годах даже заикнуться выстроить такую заносчивую перспективу: что вот уже близится и совсем недалеко время, когда все вместе великие европейские державы перестанут существовать как серьезная физическая сила; что их руководители будут идти на любые уступки только за одну лишь благосклонность руководителей будущей России... и что они ослабнут так, не проиграв ни единой войны...

и даже величайшая заокеанская держава, вышедшая из двух мировых войн могучим победителем, лидером человечества и кормильцем его, вдруг проиграет войну с отдалённой маленькой азиатской страной, проявив внутреннее несогласие и духовную слабость.

(А. Солженицын. Письмо вождям Советского Союза. Париж. 1974. Стр. 8–9)

Выпала фраза о том, что великие европейские державы ослабли **«от ожирения, от торговли и от слабости духа».** А главное – начисто выпал абзац об Америке, – о том, что ещё недавно никто и предвидеть не мог, что она **«начнёт зримо рассыпаться от внутреннего несогласия, деятельность когда-то грозного её сената снизится почти до балагана, и соответственно обезьяньи мелодии потекут в эфир из этой страны, передавая её растерянность в канун её великих сотрясений».**

А оказавшись на Западе, в первом же своём большом интервью (17 июня 1974 года – корреспонденту американской компании CBS Уолтеру Кронкайту) о той же Америке он высказался в таких выражениях:

…

В чём вы видите роль Соединённых Штатов в сегодняшнем мире?

Я бы сказал так: не только сейчас, а посмотрим на весь послевоенный период, после Второй мировой войны. Что делала Америка? Даже больше того – от Первой мировой войны? Америка выиграла две мировые войны. Америка два раза подняла Европу из разрухи. И она же отстояла Европу от Сталина после Второй мировой войны, несколько раз. 25 лет непрерывно останавливала коммунистический

натиск в Азии, отстояла многие страны, какие сегодня уже были бы в рабстве. Вот что сделали Соединённые Штаты. При этом никогда не просили отдавать долгов, никогда не ставили условий. То есть проявляли исключительную щедрость, великодушие, бескорыстие. И как же отнёсся мир? что получила взамен Америка? Американское имя везде поносится. Американские культурные центры очень модно во всех местах громить и сжигать. Когда Америка терпит поражение в важном голосовании в Организации Объединённых Наций – деятели Третьего мира вскакивают на скамьи и торжествующе кричат. Самое модное, как может выделиться политический деятель в Третьем мире, а даже и в Европе, – это ругать Америку, обеспечен успех. Поносить Соединённые Штаты – самый хороший тон в прессе Восточной Европы и Третьего мира: империалисты, и какие только ни есть. То есть я бы сказал так: по крайней мере 30 послевоенных лет – это история, с одной стороны, бескорыстной щедрости Америки, с другой стороны – неблагодарности всего мира. (Александр Солженицын. Публицистика в трех томах. Том 2. Общественные заявления, письма, интервью. Ярославль. 1996. Стр. 113–114)

Конечно, писатель, общественный деятель не может, – да и не должен, – как попугай, твердить одно и то же. Да и каждый человек имеет право менять свои убеждения. Л. Н. Толстой однажды выразился по этому поводу так: «Говорят, стыдно менять свои убеждения. Напротив: стыдно их не менять!».

Да, конечно! Но не так же стремительно!

Вот, скажем, написал Александр Исаевич в своём обращении

к Брежневу:

...

Я не теряю надежды, что Вы, как простой русский человек с большим здравым смыслом, вполне можете мои доводы принять...

А спустя семь лет о том же Леониде Ильиче высказался так:

...

Один американский дипломат воскликнул недавно: «Пусть на русском сердце Брежнева работает американский стимулятор!» Ошибка, надо было сказать: «на советском». Не одним происхождением определяется национальность, но душою, но направлением преданности. Сердце Брежнева, попускающего губить свой народ в пользу международных авантюр, – не русское.

(А. Солженицын. Чем грозит Америке плохое понимание России. Александр Солженицын. Публицистика. В трех томах. Том 1. Статьи и речи. Ярославль. 1995. Стр. 338)

Но тут я не кину в него камень. Готов допустить, что в сентябре 1973-го он ещё верил, что Леонид Ильич – «простой русский человек с большим здравым смыслом», а к 1980-му в этом уже разуверился.

Иное дело – эти противоположные, взаимоисключающие его суждения о роли Америки в современном мире... Ведь и года ещё не прошло!

Да и не было в этих двух его противоположных высказываниях никакой перемены убеждений, о чем он так прямо и сказал, отвечая – в том же интервью – на один из самых первых вопросов американца:

...

Вы можете сказать, что жизнь на Западе – такая, какой вы её ожидали увидеть?

Да. В общем, мне кажется, я так и представлял себе западную жизнь. (Там же. Стр. 89)

Так что же в таком случае означает эта быстрая перемена декораций?

А – всё то же. Тактика. Всё та же ленинская тактика: в одних обстоятельствах провозглашается один лозунг. Обстоятельства переменились – и выбрасывается другой, противоположный...

* * *

В книгах современных литературоведов (биографов самых больших наших писателей) постоянно мелькает слово «стратегия». И всегда в одном и том же контексте, даже в одной и той же словесной формуле. О герое повествования говорится, что он ВЫБРАЛ СТРАТЕГИЮ. Алексей Николаевич Толстой, мол, выстраивая свою «линию жизни», выбрал одну стратегию. А Бунин – другую. Ахматова – такую. А Пастернак – этакую.

Формула эта представляется мне крайне неудачной, ложной в самой своей основе.

Разве Бунин умер на чужбине потому, что выбрал для себя такую СТРАТЕГИЮ? Так случилось потому, что ему и в голову не могло прийти, что он сможет ужиться с большевиками. И А. Н. Толстой вернулся в Россию не потому, что выбрал ТАКУЮ СТРАТЕГИЮ, а просто потому, что в эмиграции не мог обеспечить себе тот уровень жизни, какой был ему люб (у меня два автомобиля, коллекция трубок лучше, чем у английского короля, – говорил он Бунину, уговаривая его возвращаться). Ну и, конечно, потому, что не мог жить не в России. Не то что с большевиками, – с чёртом, с дьяволом, с самим сатаной готов был ужиться, только бы – дома! И Ахматова в ответ на призыв *оттуда* : «Оставь Россию навсегда!» – «равнодушно и спокойно» руками «замкнула слух» не потому, что выбрала ТАКУЮ СТРАТЕГИЮ, а потому, что была такой, какой была. И Пастернак, как был, так и остался *небожителем* , потому что такова была его природа.

А вот про Александра Исаевича Солженицына с полным основанием можно сказать, что он выстроил линию своей жизни

так, а не иначе именно потому, что выбрал такую СТРАТЕГИЮ.

Расчётливо взвешивая все «за» и «против», решал, что лучше, что выгоднее «для пользы дела», – главного дела его жизни, – уехать или остаться?

И так же взвешенно решал, КОГДА, в какой момент выгоднее ему появиться на Родине. И не только КОГДА, но и КАК. (За несколько лет до того как это возвращение наконец состоялось, решил: через Сибирь!)

Взвесив все «за» и «против», решил, что орден Андрея Первозванного от Ельцина не возьмёт: не может принять награду из рук политического деятеля, который обрёк страну на развал и обвал. Но – на всякий случай – объявил, что может быть, когда-нибудь этот орден всё-таки возьмут его дети.

Не только СТРАТЕГИЮ И ТАКТИКУ, но и СТИЛИСТИКУ своего «творческого поведения» (выражение Пришвина) он выбирал продуманно, рационально: борода, особого покроя френч – нечто среднее между толстовкой и «сталинкой», театральные жесты – когда нужно, правая рука – к сердцу, когда нужно – обе руки воздеваются к небу (это во время его выступления перед депутатами Государственной Думы), и даже – выражение лица. (По пути через Сибирь в Москву, во время одной из торжественных встреч с приветствующими его народными толпами, не рассчитав чувствительности стоявшего перед ним микрофона, вполголоса, – но все услышали, – подсказал жене: «Задумчивость»).

Но это всё относится к его творческому ПОВЕДЕНИЮ. А как в этом смысле обстоит дело с его ТВОРЧЕСТВОМ?

Апостол точного расчёта (2)

В вышедшем недавно собрании трудов зарубежных критиков и литературоведов, посвящённых творчеству Солженицына, моё внимание привлекла статья Майкла А. Николсона: «Солженицын как «социалистический реалист». Поскольку слова «социалистический реалист» в её заглавии были заключены в иронические кавычки, я сразу же усёк, что представление о Солженицыне как о социалистическом реалисте представляется автору невероятным вздором, и статья его написана для того, чтобы это – интересно, чье? – кощунственное определение не только оспорить, но и разоблачить.

Так оно и оказалось.

Но кто же – заинтересовался я – стал мишенью для этой авторской иронии? Кто он, посмевший заклеймить самого яростного и последовательного борца с коммунистической заразой этой постыдной кличкой?

Это выяснилось сразу, в самом начале статьи, в первых же её строчках:

...

В 1995 году один из наиболее авторитетных московских литературных журналов напечатал диалог Бенедикта Сарнова и Бориса Хазанова о будущем русской литературы. Во время обмена мнениями Хазанов высказал следующее мнение:

«Мы знаем очень многих писателей, живущих в эмиграции, а также писателей, живших в СССР, которые вовсе не были советскими писателями, но были тем не менее очень яркими представителями социалистического реализма.

Например?

Самый яркий пример – это Солженицын, такие его произведения, как роман «В круге первом» и повесть «Раковый корпус».

Нисколько не ошеломлённый, собеседник Хазанова с готовностью соглашается с ним и рассказывает по этому случаю анекдот.

Знающие репутацию Солженицына на Западе могут быть такой характеристикой удивлены. Разве не был этот отважный, преследуемый властями писатель символом диссидентства 1960-х годов – своего рода Давидом, противостоящим советскому Голиафу? Несомненно, к середине 1970-х годов, когда судьба забросила изгнанника из Москвы в городок Кавендиш штата Вермонт, многие клише изрядно переменились. К этому времени многие стали воспринимать Солженицына как критика, бичующего бесхребетный Запад, как неблагодарного гостя и националиста-мистика, своего рода Иеремию-затворника. И всё-таки во всех этих оценках и переоценках непременной постоянной оставалось непреклонное неприятие Солженицыным коммунизма во всех его проявлениях, включая социалистический реализм. В своих воспоминаниях о 1960-х годах, разделываясь с самовосхвалениями официальной советской литературы, пользуется уничижительным сокращением «соцреализм»:

«Едва только вступая в литературу, все они – и социальные романисты, и патетические драматурги, и поэты общественные, и уж тем более публицисты и критики, все они соглашались о всяком предмете и деле не говорить ***главной правды*** *, той, которая людям в очи лезет и без литературы. Эта клятва воздержания от правды*

называлась соцреализмом». К 1990-м годам отношение Солженицына к советскому официозу не изменилось. «С окостенением советского тоталитарного режима – и его лжекультура окостенела в омерзительно парадных формах так называемого «социалистического реализма». Главный догмат соцреализма – «партийность» – Солженицын называл «однолинейным, плоским и для писателя «гибельным». Презрение к нему находило своё отражение в тематике его художественных произведений ещё с 1950-х. В романе «В круге первом» писатель Галахов, чувствуя, как политическое подобострастие низводит до банальности самые свежие его образы, стыдится даже в мыслях считать себя наследником литературы Пушкина и Толстого... В повесть «Раковый корпус» Солженицын с редкой издёвкой вводит специальный персонаж (Авиету Русанову) для того только, чтобы вложить в её уста коллаж из ортодоксальных глупостей, с которыми выступали известные писатели и критики в 1950-е и начале 1960-х годов. Подобных примеров в художественном творчестве Солженицына немало. В самом деле, он редко упускал возможность посмеяться над официальной литературой и её «творческим методом» социалистическим реализмом. Но тогда что же имели в виду Хазанов и Сарнов?

(Майкл А. Николсон. Солженицын как «социалистический реалист». В кн.: Солженицын:

мыслитель, историк, художник. Западная критика 1974–2008. М. 2010. Стр. 476–477)

Вопрос этот – не риторический. Судя по всему, автор и в самом деле не в силах понять, что имели в виду два литератора, рассуждающие о будущем русской литературы.

Между тем понять это было совсем не трудно.

Слегка удивившись, что причисление Б. Хазановым Солженицына к сонму приверженцев и даже ярких представителей социалистического реализма собеседника его ничуть не ошеломило, он лишь коротко отмечает, что тот «с готовностью соглашается с ним и рассказывает по этому случаю анекдот».

Какой по этому случаю был рассказан анекдот, он при этом не сообщает. А зря. Анекдот этот тут многое проясняет.

Приведу тут весь мой тогдашний диалог с Борисом Хазановым.

То есть – не весь, конечно, а только ту его часть, которая вызвала недоумевающую реакцию Майкла Николсона:

…

Б. Х. *Конечно, нам надо попробовать более точно сформулировать предмет разговора. Речь идет, в сущности, о самых главных вопросах. Если можно так выразиться, о стратегии литературы. Всей русской литературы, советской литературы и постсоветской литературы…*

Первый вопрос. Можем ли мы считать, что традиция классической русской литературы пресеклась, как пресекается какой-нибудь старый дворянский род, и появились наследники, ничего общего не имеющие с этими старыми дворянами. Иначе говоря, что появилась литература, основанная на каких-то других принципах. Я этого не думаю. Мне кажется, что

советская литература, о которой сейчас можно говорить только в прошедшем времени, была в большой степени наследницей русской классической литературы... Когда мы говорим о советских писателях, полноценных советских писателях, то мы, очевидно, имеем в виду по крайней мере две особенности. Два признака. Во-первых, принадлежность к официальной советской идеологии. Идеология, как известно, менялась и сама проделала известную эволюцию. Но в каждый определенный исторический момент была достаточно четкой. И принадлежность к этой идеологии многое определяла... Второй признак, по которому мы выделяем характерных советских писателей, – это система художественных средств, поэтика... Эта поэтика в большой мере была декретирована теорией социалистического реализма, которая предписывала следовать, в сущности, старой, классической, выработанной в XIX веке, и, кстати, не только в России, прежде всего во Франции, так называемой реалистической поэтике, да и философии литературы. В 30-е годы эта поэтика и философия сформировалась, и в творчестве таких писателей, как, например, Фадеев, она стала господствующей литературной философией.

Мы хорошо знаем, что можно было принадлежать вполне к социалистическому реализму, следовать поэтике социалистического реализма и быть, например, антисоветским писателем. Более того. Выяснилось, что в рамках традиционной

реалистической поэтики можно создавать и очень крупные произведения. Лучший пример – это роман Гроссмана «Жизнь и судьба», созданный в традиционной, сугубо традиционной манере. Я бы даже сказал, что это очень консервативный по своей поэтике роман...

Б. С. *Да, но ведь это – тот самый классический реализм, который у нас принято было называть критическим. К социалистическому реализму этот роман Гроссмана, мне кажется, никакого отношения не имеет. Да и вообще, что это такое – социалистический реализм?*

Б. Х. *Сейчас как раз становится ясным, что социалистический реализм как часть культуры, созданной во времена советской власти, это достаточно четкая, поддающаяся достаточно четкому определению литературная концепция. И литературная практика, которая такой концепции более или менее отвечает. В этом смысле можно сказать, что социалистический реализм – это эпигон классического русского, а если хотите, и французского классического реализма XIX века, через голову новаций, которые совершались в первой трети XX века, когда произошла литературная революция во всей Европе. Вот и выясняется, что социалистическая идеология может быть успешно отсечена, а литературная философия, эстетика этой прозы, способы построения этой прозы, принципы этой литературы могут быть сохранены. Поэтому, как я уже*

говорил, социалистическими реалистами с этой точки зрения могут оказаться не только несоветские, но и откровенно антисоветские писатели. Мы знаем очень многих писателей, живущих в эмиграции, а также писателей, живших в СССР, которые вовсе не были советскими писателями, но были тем не менее очень яркими представителями социалистического реализма.

Б. С. *Например?*

Б. Х. *Самый яркий пример – это Солженицын, такие его романы, как «В круге первом» и «Раковый корпус». Это романы Георгия Владимова, романы Владимира Максимова. И наконец, – об этом, правда, говорить гораздо труднее, потому что это нечто выходящее из ряда, – тот же роман Гроссмана, о котором мы уже толковали.*

Б. С. *Всякий раз, когда заходит речь об «антисоветскости» Солженицына, мне вспоминается такая замечательная история. В каком-то американском городе полиция разгоняла коммунистическую демонстрацию. Наш соотечественник, русский эмигрант, каким-то образом оказавшийся в этой сваре, возмущенно крикнул полицейскому, замахнувшемуся на него дубинкой, что он тут ни при чем. Он как раз убеждённый антикоммунист. На что полицейский хладнокровно ответил: «Мне совершенно все равно, сэр, какого сорта коммунистом вы являетесь». Я вспомнил эту историю именно в связи с Солженицыным, потому что он, по-моему, самый советский из всех антисоветских*

писателей.

Б. Х. *Конечно. (Б. Сарнов, Б. Хазанов. Есть ли будущее у русской литературы? Вопросы литературы. 1995. № 3)*

Я позволил себе сделать эту длинную выписку из тогдашней нашей беседы, чтобы читатель этой книги сразу увидел, что при всем своём видимом единомыслии собеседники смотрят на обсуждаемую проблему по-разному. А при ближайшем рассмотрении окажется, что и в вынесенный ими Солженицыну, по видимости тоже как будто бы согласный приговор, они тоже вкладывают далеко не один и тот же смысл.

Самая суть дела тут в том, что природу явления, именуемого социалистическим реализмом, я и тогдашний мой оппонент понимали совершенно по-разному.

У Бориса Хазанова было своё понимание, своя концепция социалистического реализма, и чтобы понять, в чем она, эта концепция, состоит, обращусь к другому его сочинению, в котором свой взгляд на этот предмет он выразил уже совсем откровенно, без всяких дипломатических экивоков, а потому – с предельной ясностью:

…

Представим себе смеха ради Толстого, который не умер и не был зарыт в роще у оврага Старого Заказа, а, как старец Федор Кузьмич, укрылся в сибирских дебрях и дожил до светлой зари. Толстого, пересмотревшего свои ошибки, преодолевшего свои кричащие противоречия, внимательно прочитавшего работу Ленина «Лев Толстой как зеркало...»; Толстого – маршала советской литературы, Толстого – лауреата премий, Толстого – генерального секретаря Союза советских писателей. Что бы он написал? То, что в действительности написал другой генеральный секретарь: роман

«Молодая гвардия». Достаточно прочесть первый абзац: его перо, не правда ли?

Совсем не удивительно, что боец РАППа оказался эпигоном дореволюционной литературы. Призыв молодого Фадеева учиться у классиков, целая дискуссия, разгоревшаяся в конце двадцатых годов, о том, критически или некритически овладел Фадеев «творческим методом» Льва Толстого, не должны вызывать улыбку. В том-то и дело, что этот пудель, выстриженный под льва, его наследник.

(Борис Хазанов. Левиафан, или Величие советской литературы. Цит. по книге: Борис Хазанов. Ветер изгнания. М. 2003. Стр. 50)

С полным основанием он мог бы к этому добавить: ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗАКОННЫЙ НАСЛЕДНИК. Потому что никакого другого наследника в XX веке у Льва Николаевича по его глубокому убеждению быть и не могло.

Весь этот иронический, глумливый пассаж насчет Толстого, ставшего маршалом советской литературы, – не более, чем метафора, смысл которой в том, что в XX веке традиция русской реалистической прозы могла быть продолжена только вот так, как она и была продолжена. То есть – в форме социалистического реализма.

Немудрено, что при таком раскладе классическим произведением социалистического реализма у Хазанова оказывается и роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба».

Василий Семенович Гроссман духу и традициям русской литературы, её нравственным и эстетическим основам был привержен гораздо в большей степени, чем едва ли не все его современники. Это проявлялось не только в собственных его художественных установках, в избранном им (точнее, органически ему присущем) способе повествования, но и во всех его литературных пристрастиях и вкусах, художественных симпатиях и антипатиях.

Вот, например, он делится с другом первым впечатлением о только что прочитанном им романе «Доктор Живаго»:

Прочел первый том и часть второго тома романа Пастернака...

Оценка моя лежит не в сфере наших современных литературных дел и отношений. Как правильно горевали Толстой, Чехов о пришествии декадентства в самую великую из литератур, самую добрую, самую человечную... Худо нашей литературе! И не только потому, что на свете есть Софроновы, Панферовы, Грибачёвы.

И это худо предвидел Лев Толстой. Но Лев Толстой не предвидел декадентства в терновом венке, декадента в короленковской ситуации. Это не шуточное зрелище, есть над чем подумать.

(Из письма С. И. Липкину, 29 марта 1958 г.)

Приверженность эстетике и поэтике Л. Н. Толстого в творчестве Гроссмана была выражена с куда большей определённостью и настойчивостью, чем у Фадеева.

Первый том его большого романа (первоначально он назывался «Сталинград», потом – «За правое дело») был, как известно, подвергнут сокрушительному разгрому. Лучше даже сказать – погрому.

Но погром начался не сразу. Ему предшествовал короткий (увы, очень короткий!) период триумфа.

В октябре 1952 года на собрании секции прозы Союза писателей СССР только что опубликованный гроссмановский роман все дружно хвалили. И даже – по прямому указанию Фадеева – единодушно выдвинули его на Сталинскую премию. Роман готовился к выходу отдельной книгой сразу в двух издательствах – Воениздате и «Советском писателе».

И вот как раз в это время явился к Василию Семеновичу художник, которому какое-то из этих двух издательств заказало художественное оформление этой выдвинутой на Сталинскую премию, то есть уже заранее объявленной выдающимся литературным событием, книги.

Художник, выслушав разные пожелания автора, между

прочим, задал ему такой вопрос:

– Насколько мне известно, – сказал он, – этот ваш роман лишь первая книга задуманной вами эпопеи. Я от души надеюсь, что буду оформлять и следующую вашу книгу. И, разумеется, хотел бы, чтобы все её тома были выдержаны в одном стиле. Поэтому мне хотелось бы знать: как вы представляете себе всю вашу эпопею, когда она будет завершена? Как она будет выглядеть?

– Как будет выглядеть? – задумчиво спросил Гроссман.

Он подошёл к книжной полке, снял с неё четыре тома «Войны и мира», положил на стол.

– Вот так, – сказал он. – Когда я её закончу, она будет выглядеть примерно вот так.

В отличие от Фадеева, влюбленность которого в прозу Толстого ограничивалась приверженностью толстовскому синтаксису, структуре и ритму его фразы, Гроссман хотел следовать Толстому в самом построении своей прозы, её сюжетике, её композиционном строе.

С. И. Липкин рассказал мне однажды, как они с Гроссманом обсуждали только что прочитанный рассказ Хемингуэя «Снега Килиманджаро». Рассказ этот был написан в 1936 году. Но на русском языке впервые был опубликован позднее. (Эрнест Хемингуэй. «Пятая колонна и первые тридцать восемь рассказов». М., 1939). Дело, стало быть, происходило в конце 30-х, когда Гроссман был уже не новичком в литературе, а зрелым, сложившимся мастером, со своими, давно определившимися и прочно устоявшимися художественными вкусами и представлениями.

Рассказ Хемингуэя произвёл на него сильное впечатление. Он оценил его очень высоко. Однако, подумав, сказал:

– Но Толстой написал бы эту историю по-другому. Он начал бы примерно так: «Знаменитый писатель, женатый на богатой женщине, поехал с женой в Африку, поохотиться. Случайно оцарапав ногу, он забыл прижечь царапину, и у него началась гангрена...» Ну, и так далее...

У Хемингуэя рассказ начинается совершенно иначе – с раздражённого диалога, который умирающий писатель ведёт с женой. О том, что с ним произошло, почему он умирает, как попал сюда, на гору Килиманджаро, о его непростых отношениях с женой, – короче, о том, как бездарно, плохо, не так, как надо было, прожил он свою жизнь, о чем смутно догадывался и прежде, но только теперь, умирая, по-настоящему понял это, – читатель узнаёт потом, из таких же раздражённых и злых диалогов его с женой, из ретроспекций-воспоминаний, из галлюцинаций,

которые являются ему в полубреду...

Реплика Гроссмана означала, что такой тип повествования – с отступлениями и ретроспекциями – представляется ему ненужным изыском. Толстой (или Чехов), на его взгляд, написали бы такой рассказ **правильнее** .

Да, Б. Хазанов был прав, сказав, что в своей твердой приверженности эстетике и поэтике классической русской прозы Василий Семенович Гроссман был предельно *консервативен.*

Но согласившись с тем, что это действительно так, у меня никогда не повернулся бы язык назвать его, как это сделал Б. Хазанов, соцреалистом.

Почему же, в таком случае, когда он назвал соцреалистом Солженицына, я сразу, легко и без колебаний с этим согласился?

* * *

Утверждая, что соцреализм Солженицыну не только чужд, но и глубоко отвратителен, Майкл Николсон ссылается на созданные Александром Исаевичем образы писателя Галахова («В круге первом») и начинающей поэтессы Авиеты Русановой («Раковый корпус»). Но, как мы уже имели случай убедиться, оба эти солженицынских персонажа вылеплены методом самого что ни на есть кондового соцреализма. А что касается эстетических деклараций Авиеты, представляющих собой, как говорит Николсон, «коллаж из ортодоксальных глупостей, с которыми выступали известные писатели и критики в 1950-е и начале 1960-х годов», то они, эти ортодоксальные глупости, не так уж сильно отличаются от эстетических воззрений самого Солженицына.

Главными жупелами, на которые кинулись тогда спущенные с цепи защитники священных принципов соцреализма (а вслед за ними и юная Авиета), были: «искренность» и «самовыражение».

А вот как формулирует свое эстетическое кредо Александр Исаевич Солженицын:

...

> *Я не мог бы отдаться литературе, которая занимается не главными вопросами человеческой жизни... какими-нибудь необязательными пустяками, самовыражением так называемым.*

(Александр Солженицын. Публицистика в трех томах. Том третий. Ярославль. 1997. Стр. 271)

Это не было случайной обмолвкой. Не только смысл этого его высказывания, но и тот пренебрежительный тон, в каком оно было высказано, выражает самую суть его представлений о том, чем и как должна заниматься художественная литература.

Когда писатель – даже гениальный, искренне и горячо им почитаемый – отдаётся этому «так называемому самовыражению», – это вызывает у него раздражение, в лучшем случае – сожаление. И главное – неотвратимое желание открыть ему глаза, направить на истинный путь, объяснить ему, в чем состоит истинное его предназначение и призвание.

В 1972 году Александр Исаевич обратился к Шведской Академии с предложением присудить Нобелевскую премию по литературе Набокову. Копию этого письма он послал Набокову, сопроводив её коротким письмом, в котором писал:

...

Пользуюсь случаем выразить Вам и своё восхищение огромностью и тонкостью Вашего таланта, несравненного даже по масштабам русской литературы, и свое глубокое огорчение, даже укоризну, что этот великий талант Вы не поставили на служение нашей горькой несчастной судьбе, нашей затемнённой и исковерканной истории. А может быть, Вы ещё найдете в себе и склонность к этому, и силы, и время? От души хочу Вам этого пожелать. Простите но,: переходя в английскую литературу, Вы совершили языковой подвиг, однако это был не самый трудный из путей, которые лежали перед Вами в 30-е годы.

(А. Солженицын. Угодило зернышко промеж двух жерновов. Новый мир, 1998, № 9. Стр. 125)

Набоков на этот упрёк и на это предложение ничего не

ответил. Но Солженицын тему эту не оставил. Он продолжил её и даже развил. Во всяком случае, не стеснённый возможной реакцией адресата, который к тому времени уже покинул свою земную обитель, выразил свою мысль с большей прямотой и определённостью:

...

В Монтрё... предполагалась встреча с Набоковым, но, по недоразумению (он как будто ждал нас в этот день, но не прислал условленного подтвержденья, мы ещё и с дороги проверяли звонком в Цюрих), оставалось нам миновать его роскошную гостиницу. (А как странно жить постоянно в гостинице.) Я жалел, что не увиделся с Набоковым, хотя контакта между нами не предвидел. Я всегда считал его писателем гениальным, в ряду русской литературы необыкновенным, ни на кого не похожим. (Непохожим на предшественников. Но первое знакомство с его книгами ещё не предвещало, сколько возникнет у него последователей: во второй половине XX века эта линия оказалась весьма разработочной. Ещё тогда не видно было, насколько полое течение родится вослед ему.) Сетовал я ещё в СССР: зачем не пошёл он по главной дороге русской истории? вот, мол, оказался на Западе – выдающийся и свободный русский писатель, тотчас после революции, – и отчего ж он – как и Бунин, как и Бунин! – не взялся писать о гибели России? Чем другим можно было жить в те годы? Как бесценен был бы их труд, не доступный уже нам, потомкам! Но оба они предпочли дороги частные и

межвременные. Набоков покинул даже русский язык. Для тактического литературного успеха это было верно, что могла обещать ему эмиграция на 40 лет вперёд? Он изменил не эмиграции – он уклонился от самой России. Ещё из СССР в 1972 году я, «по левой», послал письмо в Шведскую Академию, выдвигая Набокова на Нобелевскую премию по литературе. И самому Набокову послал копию при письме. Я понимал, что Набоков уже в пожилом возрасте, что поздно ему себя переделывать, – но ведь и родился и рос он у ствола событий, и у такого нерядового отца, участника тех событий, – как же быть ему к ним равнодушным?

(Там же. Стр. 88–89)

Более всего тут изумляет, что Набоков – по мысли Солженицына – «уклонился от России», не стал писать о гибели её – КАК И БУНИН!

По отношению к Набокову это утверждение тоже несправедливо. Но Бунин тут совсем уж ни при чем. Как-никак он написал «Окаянные дни». Да и потом, до конца дней своих только и делал, что вспоминал Россию, жил ею.

Упрекать Набокова в равнодушии к гибели России тоже не стоило бы. Затрагивая эту тему, нельзя не вспомнить одно из самых пронзительных его стихотворений:

Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет кровать,
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.
Проснусь, и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат…
Оцепенелого сознанья
коснется тиканье часов,
благополучного изгнанья
я снова чувствую покров.
Но сердце, как бы ты хотело,

чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
и весь в черемухе овраг.

Это стихотворение Набоков написал в Берлине, в 1927 году. (Напечатано в газете «Руль» 8 января 1928).

Спустя три года то, чего так хотело, к чему так рвалось сердце поэта, осуществил герой его романа «Подвиг». То, что у автора лирического стихотворения было мгновенным душевным порывом, у героя его романа стало поступком.

Автобиографизм романного сюжета даже слегка заострён. Мартын Эдельвейс – в отличие от автора романа наполовину швейцарец. И эмигрантская судьба его гораздо благополучнее набоковской. Во всяком случае, покров «благополучного изгнанья», от которого так легко отказывается Мартын, гораздо прочнее и надежнее, чем тот, которым готов (только готов!) пожертвовать лирический герой стихотворения. Но обоими движет один и тот же душевный порыв.

Кто-то из критиков этого набоковского романа заметил, что с таким же успехом его герой мог бы отправиться и в Полинезию.

Нет, ни в какую Полинезию он не отправился бы ни при какой погоде. Ему нужна была Россия. Только она одна.

Может быть, Солженицын просто не знал этого пронзительного набоковского стихотворения? Может быть, и так. Но «Подвиг» – один из самых знаменитых (и лучших) русских его романов – не знать он не мог.

Всё это я к тому, что претензии Александра Исаевича к Бунину и Набокову были вызваны не тем, что они не писали о России, а тем, что писали они НЕ ТО, И НЕ ТАК, как – по его понятиям – им НАДО БЫЛО О НЕЙ ПИСАТЬ.

Всё дело тут именно в этом. В том, что он лучше, чем они (не только они, а все вокруг, кого ни возьми), ЗНАЕТ, КАК НАДО.

В конце 90-х в «Новом мире» Солженицын начал публиковать свои заметки о читавшихся им в свое время произведениях разных писателей. И тут выяснилось, что читал он их – не только современников, но и классиков, – с карандашом в руке. И никого из них – даже Чехова! – не пощадил этот его редакторский карандаш.

Для начала приведу самые невинные из этих его редакторских замечаний:

…

…употреблены в авторской речи слова не в фоне с персонажами, с повествованием…

А слов исконных, корневых, ярких русских – у Чехова почти не бывает (от южного детства?)…

Опять выпадение из языкового фона… И опять же – ни единого коренного русского слова, а ведь тут – как бы уместно!..

***«Кошмар»** (1885). Невольно сопоставляю этот рассказ с «Архиереем». На 16 лет раньше того написан, а насколько жизненней взята церковная проблема, в её современном положении. И еще было бы значительней, если бы весь рассказ и был посвящён ей, не вставил бы Чехов, совсем отвлекающее, этот эпизод с докторшей, полощущей белье… (Александр Солженицын. Окунаясь в Чехова. Из «Литературной коллекции». «Новый мир», 1998, № 10)*

Если первые два замечания ещё можно – с грехом пополам – счесть личными, субъективными, чисто вкусовыми, то в третьем, относящемся к чеховскому рассказу «Кошмар», уже отчётливо проступают стереотипы мышления именно *советского* редактора, твёрдо стоящего на платформе социалистического реализма («…взята церковная проблема в её современном положении…»).

Дальше – больше:

…

***«Мужики»** (1897). Чехова с годами всё больше тянуло не на короткие стройные рассказы – а на повести. Таковы и «Мужики». Даже это и не повесть – а цепь несвязанных эпизодов, сбор очерков…*

Весь этот сбор очерков

претендует на суммарное суждение о русской деревне, – и тут Чехов впадает (как и Горький, как за ними и Бунин) в ошибку слепоты: остаётся непонятным: кто же кормит Россию? и на чём изобильная Россия стоит? Чехов истрачивает талант если не в ложном (нет, не в ложном), то в искривлённом направлении. Упускается – тот глубокий смысл труда и живой интерес к труду , который и держит крестьянство духовно, и веками.

(Там же)

Но и это ещё только цветочки.

В полной мере кровное родство – даже тождество – солженицынской эстетики с эстетикой соцреализма открывается нам, когда дело доходит до его размышлений о вскользь уже упомянутом им чеховском рассказе «Архиерей». Тут он уже, как выразился бы в этом случае Зощенко, развернул свою идеологию в полном объёме:

…

«Архиерей» *(1902). Из самых поздних рассказов Чехова и считается его шедевром. Но меня – всегда это удивляло, я никак не вижу тут шедевра.*

Не понимаю – смысла выбора главного персонажа. Архиерей? – тогда всё-таки это не может не быть и рассказ о Церкви?

Есть. Церковная служба, несколько раз. С теплом – к виду службы, к звону, как уже мало принято было в русской литературе в то время. И даже – с верным ощущением её вневременности («Казалось, что это всё те же люди, что были тогда в детстве и в юности, что они всё те же будут

каждый год»). И службы особенные – Страстной недели и на фоне весёлой весны. Это – хорошо.

Но всё это можно было дать – и от священника, от дьякона, и просто от прихожанина. Зачем понадобился архиерей, да ещё развитой (ли)? Так, может, автор хочет хоть как-то коснуться изнутри – кричащих, больных (и губящих Россию) проблем русской православной Церкви? Её бюрократическая колея, так видная архиерею? господство над ней государственной власти? обер-прокурора над Синодом, без обер-прокурора невозможна даже хиротония епископа? А епископ не свободен у себя в епархии – ни в назначениях-увольнениях, ни в открытии приходов. Да епископом вертят чиновники синодальной канцелярии, да даже епархиальной. И – возможен ли сильный епископ при этой системе? И беспрерывное перемещение епископов с кафедры на кафедру, и тем большая роль чиновников консисторских? – Во всей этой недостойности – возможна ли разумная, твёрдая и спасительная для верующей массы роль епископа?

Кажется, вот эти проблемы только и были важны в жизни архиерея? Но ни о чём об этом в рассказе вовсе нет! (И о тех проблемах – хоть задумывается ли автор? Не угадать.) Единственно: «десятки тысяч входящих-исходящих бумаг», да – «благочинные ставят священникам, даже их жёнам и детям, отметки по поведению».

Только текут перед архиереем просители: грубые, скучные, глупые, иные плачут – да хоть о чём же? Неизвестно. «Он выходил из себя,

сердился, бросал на пол прошения». «Его поражала пустота, мелкость всего того, о чём просили». Да как это может быть?!

Правда, он – викарный епископ, не епархиальный, и в этой епархии как бы случайно, временно. Но тем более поражает странный выбор персонажа. «По крайней мере до 15 лет был неразвит, учился плохо, так что хотели его из духовного училища отдать в лавочку». (А сегодня его «сердила неразвитость» просителей.) Затем он каким-то неизвестным образом развился – да чуть ли не в учёного богослова, есть намёки; была и Академия, и диссертация. Потом, по совету докторов, уехал за границу – да на целых 8 лет. Занимался ли там богословием, как касался религиозной и духовной жизни Европы? – неизвестно и ни в чём не проявлено. Там служил «в белой церкви, у моря» – можно думать в Ницце? в Ментоне? и значит публика у него была самая богатая, разъездная. И вот: от той ли превосходной прихожанской публики? от общего заграничного воздуха? – он вернулся с презрением к низкой русской жизни, тяготясь ею на каждом шагу… Он сам – из коренного духовного рода, и такое образование, и сан, и независимость (от заграничного образа жизни), – кому ж другому ещё и задуматься над проблемами Церкви? Но высокой духовной мысли – тоже ни одной, ни от архиерея, ни от автора. Нет, заболел – и «захотелось вдруг за границу, нестерпимо захотелось».

Так это – и главная мысль рассказа, наряду с отвращением к русскому быту? «Кажется, жизнь бы

отдал, только бы не видеть этих жалких, дешёвых ставень, низких потолков, не чувствовать этого тяжёлого запаха»...

«Через месяц» об умершем архиерее «уже никто не вспоминал». Так – и не удивительно.

(Там же)

Тут перед нами уже – весь набор основополагающих принципов эстетики социалистического реализма.

Принцип первый.

Автору критического разбора (или редакционного заключения) лучше, чем автору разбираемого им произведения, известно, ЧТО в этом произведении должно быть, без чего оно просто не может существовать:

...

– Очень хорошо, – сказал редактор... – Но, вы знаете, мне не совсем ясна основная мысль произведения... Не чувствуется советской общественности. Где, например, местком? Руководящая роль профсоюза?..

– Откуда же местком? Ведь остров необитаемый?

– Да, совершенно верно, необитаемый. Но местком должен быть...

– Но ведь весь сюжет построен на том, что остров необита...

Тут Молдаванцев случайно посмотрел в глаза редактора и запнулся...

– А ведь вы правы, – сказал он... – Конечно. Как это я сразу не сообразил? Спасаются от кораблекрушения двое: наш Робинзон и председатель месткома.

– И еще два освобожденных члена, – холодно сказал редактор... –

Два освобожденных, ну и одна активистка, сборщица членских взносов.

– Зачем же ещё сборщица? У кого она будет собирать членские взносы?

– А у Робинзона.

– У Робинзона может собирать взносы председатель...

– Вот тут вы ошибаетесь, товарищ Молдаванцев. Это абсолютно недопустимо. Председатель месткома не должен разменяваться на мелочи и бегать собирать взносы. Мы боремся с этим. Он должен заниматься серьезной руководящей работой.

– Тогда можно и сборщицу, – покорился Молдаванцев...

– Пусть она себе собирает свои членские взносы и хранит их в несгораемом шкафу.

Молдаванцев заерзал на диване.

– Позвольте, несгораемый шкаф не может быть на необитаемом острове!.. Членские взносы можно отлично хранить в дупле баобаба. Кто их там украдет?

– Как кто? А Робинзон? А председатель месткома? освобожденные члены? А лавочная комиссия?

– Разве она тоже спаслась? – трусливо спросил Молдаванцев.

– Спаслась.

Наступило молчание.

– Может быть, и стол для заседаний выбросила волна?! – ехидно спросил автор.

– Не-пре-мен-но! Надо же создать людям условия для работы. Ну, там графин с водой, колокольчик, скатерть. Скатерть пусть волна выбросит какую угодно. Можно красную, можно зеленую. Я не

стесняю художественного творчества. Но вот, голубчик, что нужно сделать в первую очередь – это показать массу. Широкие слои трудящихся.

– Волна не может выбросить массу, – заупрямился Молдаванцев. – Это идет вразрез с сюжетом. Подумайте! Волна вдруг выбрасывает на берег несколько десятков тысяч человек! Ведь это курам на смех... Нет! Волна этого не может сделать.

– Почему волна? – удивился вдруг редактор.

– А как же иначе масса попадет на остров? Ведь остров необитаемый?!

– Кто вам сказал, что он необитаемый? Вы меня что-то путаете. Все ясно. Существует остров, лучше даже полуостров. Так оно спокойнее. И там происходит ряд занимательных, свежих, интересных приключений. Ведется профработа, иногда недостаточно ведется. Активистка вскрывает ряд неполадок, ну хоть бы в области собирания членских взносов. Ей помогают широкие слои... Под конец можно дать общее собрание. Это получится очень эффектно именно в художественном отношении.

(И. Ильф, Е. Петров. Как создавался Робинзон)

Это, конечно, пародия, сатира. Но в этом своём пародийном, сатирическом рассказе авторы не слишком далеко ушли от реальности. С самого начала ведь было оговорено, что Робинзон в заказанном автору произведении будет не какой-нибудь, а – *советский* . Стало быть, автору в этом случае нельзя было обойтись без руководящей роли профсоюза, лавочной комиссии, членских взносов, несгораемого шкафа и стола для заседаний. (Насчёт руководящей роли профсоюза – это, конечно, эвфемизм: в

реальности писателей, уклонившихся от священных принципов соцреализма, обвиняли в недооценке руководящей роли коммунистической партии).

И совершенно так же, руководствуясь той же логикой, теми же эстетическими установками, поучает Солженицын Антона Павловича Чехова.

Коли ты взялся писать про архиерея, – выговаривает он ему, – то есть про дела церковные, – так уж будь добр: раскрой и весь механизм взаимоотношений Церкви с государственной властью. И про Синод сказать не забудь, и про обер-прокурора Синода, без которого невозможна даже хиротония епископа...

Самое тут смешное, что Солженицыну в этом рассказе Чехова, – совсем как ильфипетровскому редактору в романе писателя Молдаванцева, – недостает массы. С той только – не такой уж существенной – разницей, что тому нужно, чтобы в романе про Робинзона непременно присутствовали «широкие массы трудящихся», а Солженицын требует от Чехова, чтобы деятельность изображаемого им епископа была спасительна для *массы верующих* .

Второй священный принцип социалистического реализма, который игнорировать было нельзя – и даже опасно, – состоял в том, что жизнь писатель должен был изображать *с правильных позиций* . С правильных – это значит *с патриотических* . Не впадая – Боже упаси! – в самый страшный, смертный грех низкопоклонства перед Западом.

...

– ...Есть такая тема, которая очень важна, – сказал Сталин, – которой нужно, чтобы заинтересовались писатели. Это тема нашего советского патриотизма. Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров, врачей, – сказал Сталин, строя фразы с той особенной, присущей ему интонацией, которую я так отчетливо запомнил, что, по-моему, мог бы буквально её воспроизвести, – у них недостаточно воспитано чувство советского патриотизма. У

них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. Все чувствуют себя ещё несовершеннолетними, нестопроцентными, привыкли считать себя на положении вечных учеников. Это традиция отсталая, она идет от Петра. У Петра были хорошие мысли, но вскоре налезло слишком много немцев, это был период преклонения перед немцами... Сначала немцы, потом французы, было преклонение перед иностранцами, – сказал Сталин и вдруг, лукаво прищурясь, чуть слышной скороговоркой прорифмовал: – засранцами, – усмехнулся и снова стал серьезным... – У таких людей не хватает достоинства, патриотизма, понимания той роли, которую играет Россия... В эту точку надо долбить много лет, лет десять эту тему надо вдалбливать... Надо уничтожить дух самоуничижения. – И добавил: – Надо на эту тему написать произведение. Роман.

(Константин Симонов. Истории тяжелая вода. М. 2005. Стр. 373–376)

И в этом грехе Солженицын тоже обвиняет Чехова:

...

...по совету докторов, уехал за границу – да на целых 8 лет... Там служил «в белой церкви, у моря» – можно думать в Ницце? в Ментоне? и значит публика у него была самая богатая, разъездная. И вот: от той ли превосходной прихожанской публики? от общего заграничного

воздуха? – он вернулся с презрением к низкой русской жизни, тяготясь ею на каждом шагу…

…презренны рассказы о русских чаепитиях (это – с назойливым повтором)…

…заболел – и «захотелось вдруг за границу, нестерпимо захотелось».Так это – и главная мысль рассказа, наряду с отвращением к русскому быту? «Кажется, жизнь бы отдал, только бы не видеть этих жалких, дешёвых ставень, низких потолков, не чувствовать этого тяжёлого запаха».

Ну и, наконец, третий основополагающий принцип эстетики социалистического релизма: *правильный выбор главного героя повествования* :

…

Дорогой читатель! Вы уже, конечно, обратили внимание на то, что боец последнего года службы Иван Чонкин был маленького роста, кривоногий да ещё и с красными ушами. «И что это за нелепая фигура! – скажете вы возмущённо. – Где тут пример для подрастающего поколения? И где автор увидел такого в кавычках героя?» И я, автор, прижатый к стенке и пойманный, что называется, с поличным, должен буду признаться, что нигде я его не видел, выдумал из своей головы… «Допустим, это так, – скажете вы недоверчиво, – но зачем же выдумывать? Неужели автор не мог взять из жизни настоящего воина-богатыря, высокого, стройного,

дисциплинированного, отличника учебно-боевой и политической подготовки?» Мог бы, конечно, да не успел. Всех отличников расхватали, и мне вот достался Чонкин. Я сперва огорчался, потом смирился. Ведь герой книги, он как ребенок – какой получился, такой и есть, за окошко не выбросишь. У других, может, дети и получше, и поумнее, а свой все равно всех дороже, потому что свой.

(Владимир Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина)

Войнович, выбрав на роль главного героя своей книги не «воина-богатыря, высокого, стройного, дисциплинированного, отличника учебно-боевой и политической подготовки», а низкорослого, кривоногого, да ещё с красными ушами Чонкина, знал, на что идёт. Антон Павлович о том, чем ему грозит неправильный выбор героя, надо полагать, не догадывался. Вот и получил на орехи от Александра Исаевича:

...

...Поражает странный выбор персонажа. «По крайней мере до 15 лет был неразвит, учился плохо, так что хотели его из духовного училища отдать в лавочку»...

«Он выходил из себя, сердился, бросал на пол прошения». «Его поражала пустота, мелкость всего того, о чём просили». Да как это может быть?!

...высокой духовной мысли – тоже ни одной, ни от архиерея, ни от автора.

У Ильфа и Петрова редактор тоже недоволен тем, каким у писателя Молдаванцева получился главный его герой. И предлагает автору радикальное решение этой проблемы:

...

– А Робинзон? – пролепетал Молдаванцев.

– Да. Хорошо, что вы мне напомнили. Робинзон меня смущает. Выбросьте его совсем. Нелепая, ничем не оправданная фигура нытика.

Вот такой же нелепой, ничем не оправданной фигурой нытика представляется Александру Исаевичу и герой чеховского «Архиерея»:

...

Да, и ещё ж – дежурное нытьё, переходящее из рассказа в рассказ, насквозь через десятки их: «Всё ещё казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чём смутно мечталось когда-то...»

И будь Антон Павлович жив, и случись Александру Исаевичу стать его редактором, наверняка он предложил бы ему так же круто разобраться с этим незадачливым своим героем, как редактор из фельетона Ильфа и Петрова рекомендовал писателю Молдаванцеву поступить с его Робинзоном.

Собственно, он этого даже и не скрывает. Прямо даёт об этом понять последней, заключительной репликой своего разбора:

...

«Через месяц» об умершем архиерее «уже никто не вспоминал». Так – и не удивительно.

Могло ли быть, чтобы такая солидарность с теоретическими установками социалистического реализма не сказалась и на творческой практике Солженицына?

Она и сказалась.

И не только в таких очевидных его провалах, как Галахов, Русанов и Авиета, но и в главных его художественных удачах, –

ярко и выразительно вылепленных образах Костоглотова, Нержина, Рубина, Сологдина... Да и в самой конструкции самого мощного из его художественных творений.

* * *

Когда Александр Исаевич пренебрежительно сказал мне о своём романе «В круге первом», который я тогда только что прочёл, – «Вы читали киндер-вариант», я, естественно, предположил, что «киндер» – это значит первоначальный, самый ранний, а потому и несовершенный вариант романа. Лишь годы спустя я узнал, что дело обстояло ровно наоборот. Самым ранним, первоначальным вариантом романа был как раз «взрослый», первый его вариант. А «киндер» явился на свет как некий компромисс, уступка автора обстоятельствам, с которыми он не мог тогда не считаться. Отсюда и пренебрежительный его тон по отношению к этому искажённому, оскоплённому варианту лучшего его романа.

...

Судьба современных русских книг: если и выныривают, то ущипанные. Так недавно было с булгаковским «Мастером» – перья потом доплывали. Так и с этим моим романом: чтобы дать ему хоть слабую жизнь, сметь показывать и отнести в редакцию, я сам его ужал и исказил, верней – разобрал и составил заново, и в таком-то виде он стал известен.

И хотя теперь уже не нагонишь и не исправишь – а вот он подлинный. Впрочем, восстанавливая, я кое-что и усовершил: ведь тогда мне было сорок, а теперь пятьдесят.

Написан – 1955–1958

Искажён – 1964

Восстановлен – 1968

(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 5)

Этим предисловьицем Солженицын предварил самое полное, тщательно выверенное издание своего «Круга». Вышло оно в 2006 году в академической серии «Литературные памятники». Серия эта предназначалась для произведений уже почивших корифеев мировой литературы. Но для Александра Исаевича, как живого классика (Великого Писателя Земли Русской) было сделано исключение.

В этом – восстановленном и «усовершенном» полном варианте «Круга» было 96 глав, и потому он именовался автором «Круг-96». В отличие от киндер-варианта, в котором было на девять глав меньше и за которым поэтому закрепилось наименование «Круг-87». У самого автора и близких ему людей, посвящённых в историю создания романа, были в ходу ещё и другие обозначения этих двух его вариантов. Полный вариант назывался у них «атомным», а искажённый, усечённый – «лекарственным».

...

– Мы знаем, что версия «Круга первого», которая была опубликована, – неполная. В книге «Бодался телёнок с дубом» вы пишете, что были вынуждены сократить роман на девять глав. Мы прочли одну главу в «Континенте». Когда можно будет прочесть другие, ещё не опубликованные главы?

– Я должен сказать, что версии «Круга» не просто различаются девятью главами... Истинный роман, оконченный мною много лет назад, имел настолько взрывчатое содержание, его совершенно невозможно было даже пустить в Самиздат... и тем более предложить Твардовскому и «Новому миру». Так и лежал у меня роман, и вот я увидел, что часть глав можно было бы предложить, а часть – невозможно. Тогда я должен был разбить готовое здание на кирпичи и начать перебирать по кирпичам, как бы снова

сложить другой роман. Для этого я должен был сменить основной сюжет. В основе моего романа лежит совершенно истинное и притом, я бы сказал, довольно-таки историческое происшествие. Но я не мог его дать. Мне нужно было его чем-нибудь заменить. И я открыто заменил его расхожим советским сюжетом того времени, 1949 года, времени действия романа. Как раз в 49-м году у нас, в Советском Союзе, шёл фильм, серьёзно обвинявший в измене родине врача, который дал французским врачам лекарство от рака. Шёл фильм, и все смотрели, серьёзно кивали головами. И так я подставил в замену своего истинного сюжета этот открытый сюжет, всем известный. Но из-за этого изменилась разработка многих действующих лиц, многие сцены, так что изменился и сам сюжет. И вот такой «Круг», такой роман я предложил Твардовскому, и потом он пошёл в Самиздат и оказался на Западе. Поэтому мне теперь не только надо добавить девять глав, но мне надо вернуть истинный сюжет. Ну, а кроме того, я с тех пор доработал его в художественном отношении, так что это во многом уже другой роман Я надеюсь его через несколько лет в новом виде полностью опубликовать. (Пресс-конференция в Париже. 10 апреля 1975. Александр Солженицын. Публицистика в трех томах. Том третий. Ярославль 1996. Стр. 239–240)

И в смягченном, компромиссном («лекарственном») варианте романа, и в полном, так называемом «атомном», завязка его сюжета была в сущности одна и та же: Государственный советник

второго ранга, то есть подполковник дипломатической службы Иннокентий Володин решается на поступок, который неизбежно должен его привести (и в конечном итоге приводит) к гибели. Звонком из будки телефона-автомата он предупреждает тех, кому звонит, о готовящейся государственной провокации. Разница лишь в том, что в смягчённом варианте он звонит на частную квартиру врача – профессора Доброумова и разговаривает с женой профессора, а во втором – в Американское посольство.

Сравним эти два варианта.

Из первой главы «Круга-87»:

…

Полузамкнутым двориком министерства пройдя мимо памятника Воровскому, Иннокентий поднял глаза и вздрогнул. Новый смысл представился ему в новом здании Большой Лубянки, выходящем на Фуркасовский. Эта серо-черная девятиэтажная туша была линкор, и восемнадцать пилястров как восемнадцать орудийных башен высились по правому его борту. И одинокий утлый челночок Иннокентия так и тянуло туда, через маленькую площадь, под нос тяжелого быстрого корабля…

Он ещё колебался – откуда звонить, чтоб не стучали ребром монетки в стекло. Но искать отдельную тихую будку – даже заметнее. Не лучше ли – в самом водовороте где-нибудь, только чтобы кабина была глухая, в камне? Он ещё думал, что глупо плутать и брать шофера в свидетели. Он ещё рылся в кармане, ища пятнадцать копеек.

Но все это становилось уже не главное. В истекшие минуты Иннокентий внезапно успокоился: он ясно почувствовал, что другого решения нет. Опасно или не опасно,

но если этого не сделать...

Чего-то всегда остерегаясь – остаемся ли мы людьми?

Перед светофором в Охотном ряду его пальцы нащупали и вытянули сразу две пятнадцатикопеечных монеты – знак удачи!..

Только надо стараться как можно быстрей. Как можно короче сказать – и вешать трубку. И тогда опасность минимальная...

Среди деревянных наружных кабин была пустая, но Иннокентий пренебрег ею, прошел внутрь.

Здесь четыре, углубленные в стену, были все заняты. Но в левой кончил какой-то простоватый тип, немного пьяненький, уже вешал трубку. Сменяя его, Иннокентий быстро вошел, тщательно притянул и так держал одной рукой толсто-остекленную дверь, другой же рукой, подрагивающей, не стягивая замши, опустил монету и набрал номер.

После нескольких долгих гудков трубку сняли.

– Вас слушают, – сказал женский голос как бы с одолжением или с раздражением.

– Скажите, это квартира профессора Доброумова? (Он старался изменить голос).

– Да.

– Будьте любезны, попросите, пожалуйста, профессора.

– А кто его спрашивает? – голос дамы был сыт и ленив, она наверно, сидела на диване, никуда не торопилась.

– Видите... Вы меня не знаете... Это не так важно. Мне крайне необходимо. Позовите, пожалуйста, профессора!

(Много лишних слов и все из-за проклятой вежливости!)

– Но профессор не может подходить и разговаривать со всяким неизвестным человеком, – оскорбилась дама.

Тон её был таков, что она могла сейчас повесить трубку.

За зеркальным стеклом, чуть поодаль от ряда кабин, неслись, торопились, обгоняя друг друга. Кто-то стал уже в очередь к кабине Иннокентия.

– Кто вы такой? Почему вы не можете ответить?

– Я ваш доброжелатель! У меня важное известие для профессора.

– Ну, так что? Почему вы боитесь назвать себя?

(Как раз было ему время бросить трубку. Не надо иметь бестолковых жен!)

– А кто – вы? Вы – жена его?

– Да почему это я вам первая должна отвечать? – взвилась дама. – Скажите мне вы!

И сейчас бы он нажал рычаг! Но ведь не об одном профессоре тут шло... Уже вскипая, уже не удерживаясь изменять голос или говорить тихо, Иннокентий стал возбужденно уговаривать трубку:

– Слушайте! Слушайте! Я должен предупредить его об опасности!

– Об опасности? – так и осел голос дамы. Она прервалась. Но не пошла за мужем, нет. – Так тем более я его звать не могу! А может, это ещё неправда? Как вы можете доказать, что вы скажете правду?

Под ногами Иннокентия горел пол будки, и трубка черная с тяжелой стальной цепью плавилась

в руке.

– Слушайте, слушайте! – уже отчаиваясь, вскрикнул он. – Когда профессор был в командировке в Париже, он там обещал своим французским коллегам кое-что им передать! Ну, препарат. И на днях должен передать! Иностранцам! Понимаете? Так вот этого делать не надо! Иностранцам – ничего не передавать! Вокруг этого затевается, может быть, целая провокация...

Но – щелкнуло глухо в трубке, и наступило ватное молчание, без шорохов и гудков.

Кто-то разорвал их линию.

(А. Солженицын. В круге первом. Париж. 1969. Стр. 9–11)

А вот – из той же, первой главы «Круга-96»:

...

Полузамкнутым двориком министерства пройдя мимо изогнутого Воровского, Иннокентий поднял глаза и вздрогнул. Новый смысл представился ему в новом здании Большой Лубянки, выходящем на Фуркасовский.

Серо-чёрная девятиэтажная туша была линкор, и восемнадцать пилястров как восемнадцать орудийных башен высились по правому его борту. И одинокий утлый челночок Иннокентия так и тянуло туда, под нос тяжёлого быстрого корабля.

Нет, не тянуло челноком – это он сам шёл на линкор – торпедой!

Но невозможно было выдержать! Он увернулся вправо, по

Кузнецкому Мосту. От тротуара собиралось отъехать такси, Иннокентий захватил, гнал его вниз, там велел налево, под первозажжённые фонари Петровки.

Он ещё колебался – откуда звонить, чтоб не торопили, не стояли над душой, не заглядывали в дверь. Но искать отдельную тихую будку – заметнее.

Не лучше ли в самой густоте, только чтоб кабина была глухая, в камне? И как же глупо плутать на такси и брать шофёра в свидетели. Он ещё рылся в кармане, ища пятнадцать копеек, и надеялся не найти. Тогда естественно будет отложить.

Перед светофором в Охотном ряду его пальцы нащупали и вытянули сразу две пятнадцатикопеечные монеты. Значит, быть по тому…

Высохло в горле, во рту – тем высыханьем, когда никакое питьё не поможет…

Сейчас не видел смертник своего линкора, но грудь распирало светлое отчаяние.

Только помнить: ни слова по-английски. Ни тем более по-французски. Ни перышка, ни хвостика не оставить ищейкам. Как можно короче сказать – и вешать трубку…

После нескольких долгих гудков трубку сняли.

– Это секретариат? – он старался изменить голос.

– Да.

– Прошу срочно соединить меня с послом.

– Посла вызвать нельзя, – очень чисто по-русски ответили ему. – А вы по какому вопросу?

– Тогда – поверенного в делах! Или военного атташе! Прошу не медлить!

На том конце думали. Иннокентий загадал: откажут – пусть так и будет, второй раз не пробовать.

– Хорошо, соединяю с атташе.

Переключали.

За зеркальным стеклом, чуть поодаль от ряда кабин, неслись, торопились, обгоняли. Кто-то откатился сюда и нетерпеливо стал в очередь к кабине Иннокентия.

С очень сильным акцентом, голосом сытым, ленивым в трубку сказали:

– Слушают вас. Что ви хотел?

– Господин военный атташе? – резко спросил Иннокентий.

– Йес, авиэйшн, – проронили с того конца. Что оставалось? Экраня рукою в трубку, сниженным голосом, но решительно Иннокентий внушал:

– Господин авиационный атташе! Прошу вас, запишите и срочно передайте послу...

– Ждите момент, – неторопливо отвечали ему. – Я позову переводчик.

– Я не могу ждать! – кипел Иннокентий. (Уж он не удерживался изменять голос!) – И я не буду разговаривать с советскими людьми! Не бросайте трубку! Речь идёт о судьбе вашей страны! И не только! Слушайте: на этих днях в Нью-Йорке советский агент Георгий Коваль получит в магазине радиодеталей по адресу...

– Я вас плёхо понимал, – спокойно возразил атташе. Он сидел, конечно, на мягком диване, и за ним никто не гнался. Женский оживлённый говор слышался

отдалённо в комнате. – Звоните в посольство оф Кэнеда, там хорошо понимают рюсски.

Под ногами Иннокентия горел пол будки, и трубка чёрная с тяжёлой стальной цепью плавилась в руке. Но единственное иностранное слово могло его погубить!

– Слушайте! Слушайте! – в отчаянии восклицал он. – На днях советский агент Коваль получит важные технологические детали производства атомной бомбы в радиомагазине...

– Как? Какой авеню? – удивился атташе и задумался. – А откуда я знаю, что ви говорить правду?

– А вы понимаете, чем я рискую? – хлестал Иннокентий. Кажется, стучали сзади в стекло.

Атташе молчал, может быть, затянулся сигаретой.

– Атомная бомба? – недоверчиво повторил он. – А кто такой ви? Назовите ваш фамилия.

В трубке глухо щелкнуло, и наступило ватное молчание, без шорохов и гудков.

Линию разорвали.

(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 8–11)

Что говорить! Разница, конечно, велика.

Одно дело – звонить на частную квартиру. И совсем другое – в американское посольство.

Этот второй (вернее, первый), «атомный» вариант завязки романа с точки зрения жизненного правдоподобия представляется совершенно невероятным. Как мог высокопоставленный советский чиновник решиться на такое!

Звоня на квартиру профессора и разговаривая с его женой, – при всей опасности такого разговора, – Володин все-таки мог надеяться, что этот их разговор не будет прослушан. Что же касается звонка в американское посольство, то здесь у него на этот счет не могло быть ни малейших сомнений. Дипломат такого

высокого ранга не мог не понимать, что все – все без исключения! – телефонные разговоры сотрудников американского (да и не только американского, любого) посольства, конечно же, прослушиваются.

Солженицын, однако, утверждает, что коллизия эта им не выдумана, что в её основе «лежит совершенно истинное и притом... довольно-таки историческое происшествие».

Это, уже знакомое нам его утверждение было брошено вскользь и ничем не подтверждено. Но в другой раз он высказался на этот счет более определённо:

...

> *Этот дипломат Володин звонит в американское посольство о том, что через три дня в Нью-Йорке будет украдена атомная бомба, секрет атомной бомбы, и называет человека, который возьмет этот секрет. (Называет даже имя и фамилию этого человека – Георгий Коваль. – Б. С.). Американское посольство никак это не использует, не способно воспринять даже этой информации. Так на самом деле было, это истинная история, а секрет был украден благополучно, а дипломат погиб. Но поскольку я был на этой шарашке, где обрабатывалась эта лента... я и знаю эту историю.*

Прочитав это, я подумал, что если в основе завязки «атомного» варианта и в самом деле лежит подлинное, реальное событие, так, может быть, и имя советского разведчика, которое называет Володин, тоже не выдуманное, настоящее?

Не слишком рассчитывая на успех, я все-таки – чем чёрт не шутит! – решил это проверить.

Открыл поисковую систему Интернета, написал: «Георгий Коваль. Секрет атомной бомбы», нажал кнопку «Поиск» и тотчас получил ответ:

...

Разведчик, выкравший секрет атомной бомбы, стал Героем России

Через более чем полвека награждён советский разведчик, который в 40-х передал в СССР секреты американской атомной бомбы. Это был КОВАЛЬ ЖОРЖ АБРАМОВИЧ, учёный-химик, который с 1939-го по 1949 год служил в советской военной разведке под оперативным псевдонимом Дельмар. Он был единственным разведчиком, который проник на атомные объекты США, где производили плутоний, обогащённый уран и полоний для создания атомной бомбы. Дельмару удалось добыть и передать в Москву ядерные секреты, что позволило Советскому Союзу быстро создать свое атомное оружие.

В прошлом году Коваль умер в возрасте 93 лет. За мужество и героизм он посмертно награжден званием Героя России.

Жорж Коваль разрешил себя рассекретить лишь перед смертью.

– А почему нельзя было наградить этого человека при жизни? – спросила я начальника ГРУ Корабельникова.

Он ответил, что при жизни Коваль просил не раскрывать «ни имени, ни действий».

– За несколько дней до смерти, – рассказал Валентин Корабельников, – Жорж Абрамович позвал к себе коллегу и сказал: «Теперь вы можете обо мне говорить».

Вчера президент передал медаль «Золотая Звезда», грамоту и книжку Героя России министру обороны Сердюкову – для хранения в музее ГРУ. После чего президент поздравил

разведчиков с профессиональным праздником.

Глава военной разведки Корабельников поблагодарил президента и сказал, что расценивает награду сотруднику нелегальной разведки как признание заслуг незаурядного человека, а также как уважение ко всем разведчикам.

(Лариса КАФТАН – 03.11.2007)

Похоже, что этот секрет, переставший быть секретом лишь совсем недавно, Солженицын и в самом деле узнал более чем за полвека до того, как Коваль разрешил себя рассекретить. (Совпадение фамилий ещё могло быть случайностью, – чего на свете не бывает! – но трудно, почти невозможно представить, чтобы вот так же случайно и имя советского разведчика, названное Володиным (Георгий), совпало с реальным (Жорж): ведь Жорж в русской транскрипции это и есть Георгий.

Называя подлинное имя разведчика, укравшего у американцев секрет атомной бомбы, Солженицын выдавал государственную тайну, переставшую быть тайной только полвека спустя. Но даже будь этот сюжет им выдуман, нести «атомный» вариант романа в редакцию «Нового мира», дать его прочесть хотя бы даже только одному Твардовскому, было невозможно. Тут довольно было уже того, что персонаж (пусть даже выдуманный), действия которого и в самом деле подходили под статью «измена Родине», автором не только не разоблачался, но даже героизировался.

«Лекарственный» вариант в этом смысле – по сравнению с «атомным» – был почти безобидным. Не совсем безобидным, конечно. С точки зрения властей, предупреждая профессора, что вокруг его изобретения затевается провокация, Володин тоже совершил государственное преступление. Но ни в какое сравнение с попыткой предупредить американцев о готовящейся краже секрета атомной бомбы оно, конечно, не шло.

Тут, наверно, есть смысл сделать небольшую «верояцию в сторону».

Когда Сталин сказал, что писателям надлежит включиться в борьбу с низкопоклонством перед Западом и что на эту тему надо написать роман, присутствовавший при этом К. М. Симонов заметил, что тема эта больше годится для пьесы. Эта его реплика была воспринята как готовность быстро выполнить этот

сталинский заказ, и пьесу на эту тему ему в конце концов пришлось написать.

Пьеса эта называлась «Чужая тень». (Именно из неё Солженицын заимствовал сюжетный мотив для «лекарственного» варианта своего романа).

Разрабатывая сюжет этой своей будущей пьесы, Симонов не мудрствовал лукаво. Собственно, тут и разрабатывать было нечего: заранее предполагалось, что её сюжетом станет история Клюевой и Роскина, которые предоставили созданный ими противораковый препарат американцам. Но он сразу для себя решил, что его героем будет человек субъективно честный, не понимающий, чем чревато предательство, которое он совершил. А чревато оно, как ему это представилось, было тем, что созданная им вакцина – не противораковая, а, скажем, противочумная, – могла быть использована как оружие в будущей бактериологической войне.

Придумав этот сюжетный ход, он, разумеется, консультировался с учеными, и ученые подтвердили, что да, в принципе такое возможно.

Так ли, сяк ли, пьеса была написана и, хоть и не сразу, легла на стол Сталина, который, прочитав, тотчас её одобрил, высказав при этом автору несколько замечаний.

...

...в один из январских дней сорок девятого года, когда я вечером сидел и работал в «Новом мире», неожиданно вошел помощник редактора «Известий» – «Новый мир» тогда помещался во флигеле, примыкавшем к редакции «Известий», – и сказал, что к ним в редакцию звонил Поскребышев и передал, чтоб я сейчас же позвонил товарищу Сталину. Вот номер, по которому я должен позвонить... Я снял трубку и набрал номер – не помню уже сейчас, что сказал Сталин: «Сталин слушает» или «Слушаю», что-то одно из двух. Я поздоровался и сказал, что это звонит Симонов.

Дальнейший разговор... я записал, вернувшись в редакцию «Нового мира». Записал, думаю, абсолютно точно. Вернее, это был не разговор, а просто то, что считал нужным сообщить мне Сталин, прочитавший «Чужую тень». Вот она, эта запись:

«Я прочел вашу пьесу «Чужая тень». По моему мнению, пьеса хорошая, но есть один вопрос, который освещен неправильно и который надо решить и исправить. Трубников считает, что лаборатория – это его личная собственность. Это неверная точка зрения. Работники лаборатории считают, что по праву вложенного ими труда лаборатория является их собственностью. Это тоже неверная точка зрения. Лаборатория является собственностью народа и правительства. А у вас правительство не принимает в пьесе никакого участия, действуют только научные работники. А ведь вопрос идет о секрете большой государственной важности. Я думаю, что после того, как Макеев едет в Москву, после того, как карьерист Окунев кончает самоубийством, правительство не может не вмешаться в этот вопрос, а оно у вас не вмешивается. Это неправильно. По-моему, в конце надо сделать так, чтобы Макеев, приехав из Москвы в лабораторию и разговаривая в присутствии всех с Трубниковым, сказал, что был у министра здравоохранения, что министр докладывал вопрос правительству и правительство обязало его, несмотря на все ошибки Трубникова, сохранить Трубникова в лаборатории

и обязало передать Трубникову, что правительство, несмотря на всё совершённое им, не сомневается в его порядочности и не сомневается в способности его довести до конца начатое им дело. Так, я думаю, вам нужно это исправить. Как это практически сделать, вы знаете сами. Когда исправите, то пьесу надо будет пустить».

После этого, помнится, было не записанное мною «До свидания», и разговор на этом кончился.

(К. Симонов. Истории тяжелая вода. М. 2005. Стр. 394)

Итак, Сталин, поначалу очень резко высказавшийся о низкопоклонстве советских ученых, передавших изобретенную ими вакцину своим западным коллегам и распорядившийся написать на эту тему роман, вдруг сменил гнев на милость. По каким-то своим соображениям он почему-то решил проштрафившихся профессоров-низкопоклонников не арестовывать, а простить их и даже выразить им своё доверие.

При таком развитии событий, глядишь, и Володин, пытавшийся спасти опрометчивого профессора, тоже мог бы получить прощение и уцелеть.

Вряд ли, конечно. Но на этом примере особенно ясно видно, как несопоставимо преступление Иннокентия Володина, совершённое им в «лекарственном» варианте романа, с тем, которое он совершает в «атомном» его варианте. И как велика разница между этими двумя вариантами.

* * *

Но и сходство между ними тоже большое.

Тот же страх испытывает Володин, – что в первом, что во втором варианте, – решаясь на свой отчаянный поступок.

И выражено это, – что в первом, что во втором варианте, – одними и теми же словами, одной и той же метафорой:

…

Полузамкнутым двориком министерства пройдя мимо изогнутого Воровского, Иннокентий поднял глаза и вздрогнул. Новый смысл представился ему в новом здании Большой Лубянки, выходящем на Фуркасовский.

Серо-чёрная девятиэтажная туша была линкор, и восемнадцать пилястров как восемнадцать орудийных башен высились по правому его борту. И одинокий утлый челночок Иннокентия так и тянуло туда, под нос тяжёлого быстрого корабля.

И одними и теми же словами, – и в том и в другом варианте – сказано о том, что даёт ему силу преодолеть этот страх.

В «атомном» варианте:

…

Чего-то всегда постоянно боясь – остаёмся ли мы людьми?

То же и в «лекарственном»:

…

Чего-то всегда остерегаясь – остаёмся ли мы людьми?

И в том и в другом варианте Иннокентию не верят, не хотят его выслушать (в «лекарственном» варианте – жена профессора Доброумова, в «атомном» – атташе американского посольства), и героический, смертельно для него опасный, жертвенный его поступок оказывается в конечном счёте бессмысленным. И там, и тут безумная его попытка вмешаться в события и как-то повлиять на них обречена на провал.

Но главное тут даже не это.

Главное – то, что и в первом, и во втором варианте эта глава, которой начинается роман, играет ОДНУ И ТУ ЖЕ СЮЖЕТООБРАЗУЮЩУЮ РОЛЬ.

И там, и тут крамольный разговор прослушивается органами госбезопасности, записывается на плёнку, и магнитофонная запись эта расшифровывается.

Расшифровывается там, где разворачивается основное действие романа, и при прямом участии главных его героев.

…

*…Смолосидов пристраивал на маленьком лакированном столике магнитофон, а генерал Бульбанюк, вся голова которого была **как** одна большая, непомерно разросшаяся картошка с выступами носа и ушей, говорил:*

– Вы – заключённый, Рубин. Но вы были когда-то коммунистом и, может быть , когда-нибудь будете им опять.

«Я и сейчас коммунист!» – хотелось воскликнуть Рубину, но было унизительно доказывать это Бульбанюку.

*– Так вот, советское правительство и наши Органы считают возможным оказать вам доверие. С этого магнитофона вы сейчас услышите государственную тайну мирового масштаба. Мы надеемся, **что** вы поможете нам изловить этого негодяя, который хочет, чтоб над его родиной трясли атомной бомбой. Само собой разумеется, **что** при малейшей попытке разгласить тайну вы будете уничтожены. Вам ясно?*

– Ясно, – отсек Рубин, больше всего сейчас боясь, чтоб его не отстранили от ленты. Давно растеряв всякую личную удачу, Рубин жил жизнью человечества как своей семейной. Эта лента, ещё не прослушанная, уже лично задевала

его.

Смолосидов включил на прослушивание.

И в тишине кабинета прозвучал с лёгкими примесями шорохов диалог нерасторопного американца и отчаянного русского...

Угрюмым псом сидел над магнитофоном ненавистливый Смолосидов. Чванливый Бульбанюк за просторным столом Антона с важностью подпер свою картошистую голову, и много лишней кожи его воловьей шеи выдавилось поверх ладоней. Когда и как они расплеменились, эта самодовольная, непробиваемая порода? – из лопуха комчванства, что ли? Какие были раньше живые, сообразительные товарищи! Как случилось, что именно этим достался весь аппарат, и вот они всю остальную страну толкают к гибели?

Они были отвратительны Рубину, смотреть на них не хотелось. Их рвануть бы прямо тут же, в кабинете, ручной гранатой!

Но так сложилось, что объективно на данном перекрестке истории они представляют собою её положительные силы, олицетворяют диктатуру пролетариата и его отечество.

И надо стать выше своих чувств! И им – помочь!

Именно такие же хряки, только из армейского политотдела затолкали Рубина в тюрьму, не снеся его талантливости и честности. Именно такие же хряки, только из главной военной прокуратуры, за четыре года бросили в корзину десяток жалоб-воплей Рубина о том,

что он невиновен.

И надо стать выше своей несчастной судьбы! Спасать – идею. Спасать – знамя. Служить передовому строю.

(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 204–205)

Это – из «атомного» варианта.

В «лекарственном» слова Бульбанюка о государственной тайне мирового масштаба и необходимости изловить «негодяя, который хочет, чтоб над его родиной трясли атомной бомбой», были, разумеется, неуместны. И тут их нет. Но общий смысл сцены и её словесное оформление и здесь – те же, что в «атомном»:

...

Смолосидов включил обратный перемот...

Лента кончилась. Рубин вынул лицо из ладони, посмотрел на угрюмого Смолосидова, на бессмысленного чванливого Бульбанюка. Они были ему отвратительны, смотреть на них не хотелось. Но здесь, на этом маленьком перекресточке истории, именно они объективно представляли собою её положительные силы.

И надо было стать выше своих чувств!

Именно такие же мясники, только из армейского политотдела, затолкали Рубина в тюрьму, не снеся его талантливости и честности. Именно такие же мясники, только из главной военной прокуратуры, за четыре года бросили в корзину десяток жалоб-воплей Рубина о том, что он не виновен.

И надо было стать выше своей несчастной судьбы!

И хотя эти достойны были, чтоб их прямо здесь, в комнате, рвануть противопехотной гранатой, – надо было не им служить, а – стране своей, её передовой идее, её знамени.

(А. Солженицын. В круге первом. Париж. 1969. Стр. 232–233)

В «лекарственном» варианте, – как и в «атомном», – Рубин БОЛЬШЕ ВСЕГО БОИТСЯ, ЧТОБ ЕГО НЕ ОТСТРАНИЛИ ОТ ЛЕНТЫ.

И Нержин, уже давно расставшийся с былой своей верой в коммунизм и мировую революцию, И ТАМ, И ТУТ ЕМУ В ЭТОМ ПОДЫГРЫВАЕТ:

...

...еще когда в дверях было произнесено Ройтманом слово звуковид, Рубин и Нержин встрепенулись: их работа, над которой все до сих пор большей частью смеялись, выплыла на Божий свет. За те сорок пять секунд, в которые Ройтман довел Севастьянова до Рубина, Рубин и Нержин с остротой восприятия и быстротой решений, свойственной только зэкам, уже поняли, что сейчас будет смотр – как Рубин читает звуковиды, и что произнести фразу перед микрофоном может только один из «эталонных» дикторов – а такой присутствовал в комнате лишь Нержин. И так же они отдали себе отчёт, что хотя Рубин действительно читает звуковиды, но на экзамене можно и сплошать, а сплошать нельзя – это значило бы кувырнуться с шарашки в лагерную преисподнюю.

Но обо все этом они не сказали ни слова, а только понимающе

глянули друг на друга.

И Рубин шепнул:

– Если – ты, и фраза твоя, скажи: «Звуковиды разрешают глухим говорить по телефону».

А Нержин шепнул:

– Если фраза его – угадывай по звукам. Глажу волосы – верно, поправляю галстук – неверно...

Загудел ВИР. Нержин ушел в будку (ах, как позорно выглядела сейчас обтягивающая её мешковина!.. вечная эта нехватка материалов на складе!), непроницаемо заперся там. Зашумел механизм, и двухметровая мокрая лента, испещренная множеством чернильных полосок и мазанных пятен, была подана на стол Рубину.

Вся лаборатория прекратила работу и напряженно следила... Нержин вышел из будки и издали безразлично наблюдал за Рубиным. Стояли вокруг, один Рубин сидел, посвечивая им своей просветляющейся лысиной. Щадя нетерпение наблюдателей, он не делал секрета из своей жреческой премудрости и тут же производил разметку по мокрой ленте химическим карандашом, как всегда плохо очинённым.

– Вот видите, некоторые звуки не составляют ни малейшего труда отгадать, например, ударные гласные или опорные... ...сейчас уточню, сейчас... Антонина Валерьяновна, не вы ли у меня взяли лупу? Нельзя ли попросить на минутку?

Лупа была ему абсолютно не нужна, так как ВИР давал записи самые разляпистые, но делалось это, по лагерному выражению, для понта, и Нержин внутренне хохотал,

рассеянно поглаживая и без того приглаженные волосы. Рубин мимолетно посмотрел на него и взял принесенную ему лупу. Общее напряжение возрастало, тем более, что никто не знал, верно ли отгадывает Рубин. Севастьянов пораженно шептал:

– Это удивительно... это удивительно...

(Там же. Стр. 223–224)

В «лекарственный» вариант из «атомного» сцена эта перенесена дословно.

Но это – частности, детали. Главное же состоит в том, что и в том и в другом варианте усилиями героев романа создаётся новая наука «фоноскопия» (по аналогии с «дактилоскопией»), первым «положительным» результатом которой становится опознание Иннокентия Володина.

Последним, завершающим этапом развития этого сюжета, – что в «атомном», что в «лекарственном» его варианте, – становится арест Иннокентия, подробное описание которого занимает несколько самых мощных и впечатляющих, финальных глав романа.

Получается, что замена завязки романного сюжета с «атомного» варианта на «лекарственный» не только основу этого сюжета, но даже и основные его звенья никак не затронула.

Почему же, в таком случае, «лекарственный» вариант Солженицын пренебрежительно назвал «киндер-вариантом»?

Потому что эта замена одного сюжетного мотива другим коренным образом изменила КОНЦЕПЦИЮ его романа, весь его смысловой строй, всё его, говоря школьным языком, ИДЕЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.

* * *

Такое уже случалось, и не раз.

Самый яркий и самый знаменитый пример – история ремарки, завершающей трагедию А. С. Пушкина «Борис Годунов».

...

Мосальский

Народ! Мария Годунова и сын её Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мёртвые трупы. (Народ в ужасе молчит.) Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!

***Народ** безмолвствует .*

КОНЕЦ (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах. Том пятый. М. – Л. 1949. Стр. 322)

Так это было напечатано в первопечатном тексте «Бориса Годунова» 1831 года. И так с тех пор печатается во всех изданиях.

Первым, кто обратил внимание на то, что в пушкинской рукописи трагедия кончалась иначе, был П. В. Анненков. В своём издании «Сочинений Пушкина» (1855) он воспроизвёл «Бориса Годунова» по тексту 1831 года, но в примечании к заключающей пьесу ремарке отметил:

…

В рукописи… после извещения Мосальского, что дети Годунова отравились, народ ещё кричит: «Да здравствует царь Димитрий Иванович!» , а уже при печатании это заменено словами: «народ безмолвствует», что так удивительно заключает хронику, предрекая близкий суд и заслуженную кару преступлению.

(Сочинения Пушкина. Изд. П. В. Анненкова. СПб, 1855, т. IV, стр. 457. Цит. по кн.: М. П. Алексеев. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л. 1984. Стр. 227–228)

В результате тщательного изучения всех дошедших до нас пушкинских рукописей «Бориса Годунова» выяснилось, что слов «народ безмолвствует» нет ни в одной из них. Это дало повод П. О. Морозову, опубликовавшему «Бориса Годунова» заново в сочинениях Пушкина, изданных от имени Литературного фонда, сделать к этой пушкинской ремарке такое примечание:

...

В рукописи пьеса оканчивалась иначе:

Народ *Да здравствует царь Димитрий Иванович!..*

Пушкин должен был изменить это окончание, потому что оно было найдено «предосудительным в политическом отношении». (Сочинения Пушкина. Под ред. П. О. Морозова. СПб, 1887, т. 111, стр. 76)

Основанием для такого вывода послужило следующее.

Вопрос о напечатании «Бориса Годунова» Николай Павлович предоставил решать Бенкендорфу. А тот направил пушкинскую трагедию на отзыв одному «верному лицу». (Этим «верным лицом», как полагают Б. В. Томашевский и Г. О. Винокур, был Булгарин).

В «Замечаниях» этого «верного лица», которые как раз в то время были опубликованы, говорилось, что в «Борисе Годунове» —

...

...только одно место предосудительно в политическом отношении: народ привязывается к самозванцу именно потому, что почитает его отраслью древнего царского рода.

(М. И. Сухомлинов. Император Николай Павлович – критик и цензор сочинений Пушкина. Исторический вестник, 1884, № 1, стр. 55–87. Цит. по кн.: М. П. Алексеев. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л. 1984. Стр. 229)

Большинство исследователей сочли это замечание Булгарина недостаточным основанием для того, чтобы счесть замену одной пушкинской ремарки другой – вынужденной, и версию П. О.

Морозова отвергли.

Но нашлись у Морозова и единомышленники.

...

...рецензент редактированного им издания «Сочинений Пушкина» (1887), характеризуя изменения в тексте, допущенные П. О. Морозовым после сверки его с рукописями поэта, писал: «Некоторые из этих поправок оказываются очень интересными. Таково, например, окончание «Бориса Годунова», которое было изменено Пушкиным потому, что его нашли «предосудительным» в политическом отношении... Первоначальная редакция, в которой народ, не рассуждая, приветствует самозванца, вполне согласуется с характеристикой того же народа в сцене на Девичьем поле, где он плачет, а о чем – «то ведают бояре» <...> Нам кажется, – заключал свою мысль рецензент, – что г. Морозов напрасно отнёс эту первоначальную версию в подстрочное примечание, оставив в тексте прежнюю фразу о безмолвии». Вероятно, так думал и сам П. О. Морозов, потому что в одном из своих последующих изданий сочинений Пушкина (1903) при публикации «Бориса Годунова» он так и поступил: трагедию оканчивает возглас народной толпы в честь Самозванца, а ремарка «народ безмолвствует» отнесена в примечание.

(М. П. Алексеев. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л. 1984. Стр. 229–230)

Спор шел не о пустяках.

Ведь если в финале трагедии народ кричит «Да здравствует царь Димитрий Иванович!», это значит, что народ – быдло. Что ему велят, то и кричит, а если о чем и плачет, то сам не знает, о чем – «то ведают бояре».

Ремарка «Народ безмолвствует» утверждает нечто прямо противоположное:

…

> *Когда Мосальский объявил народу о смерти детей Годунова, – народ в ужасе молчит… Отчего же он молчит? разве не сам он хотел гибели годуновского рода, разве не сам он кричал: «вязать Борисова щенка»?.. Мосальский продолжает: «Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!» – Народ безмолвствует… Это – последнее слово трагедии, заключающее в себе глубокую черту, достойную Шекспира… В этом безмолвии народа слышен страшный, трагический голос новой Немезиды, изрекающей суд свой над новою жертвою – над тем, кто погубил род Годуновых…*
>
> *(В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. Том IX. Стр. 451)*

Этим безмолвием народ выразил свое отношение к происходящему, свое мнение о нем. Мнение народа есть высший суд. Не только нравственный, но и политический, исторический. Мнение народа, только оно одно, несёт в себе легитимацию власти, даёт её носителям право на эту власть. Такова была пушкинская философия истории, впрямую выраженная в его трагедии репликой одного из её персонажей:

> ***Пушкин.***
>
> *Я сам скажу, что войско наше дрянь,*
>
> *Что казаки лишь только села*

грабят,

Что поляки лишь хвастают да пьют,

А русские... да что и говорить...

Перед тобой не стану я лукавить;

Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?

Не войском, нет, не польскою помогой,

А мнением; да! мнением народным.

(А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах. Том пятый. М.-Л. 1949. Стр. 316)

Вряд ли можно счесть простой случайностью то, что эту – очень важную для понимания смысла трагедии – реплику Пушкин вложил в уста своего однофамильца (предка).

Заключающая трагедию ремарка выразила эту пушкинскую философию истории с выразительностью и мощью необыкновенной. Недаром она вошла в тезаурус языка, стала крылатой.

Могло ли такое быть, чтобы эта счастливо найденная Пушкиным словесная формула родилась как *вынужденная уступка* поэта цензурным замечаниям – хоть Булгарина, хоть Бенкендорфа, хоть бы даже и самого царя?

Трудно в это поверить.

А с Солженицыным случилось именно это.

У него замена «атомного» варианта сюжетной завязки его романа на «лекарственный» точно была вынужденной. «Атомный» вариант, как уже было сказано, в то время не то что напечатать, даже принести в редакцию было невозможно. Ведь это значило бы – сбросить маску, выйти из подполья, открыть истинное свое отношение к большевистскому перевороту семнадцатого года, к ненавистному ему Советскому Государству, которое в этом варианте его романа предстало бы перед читателем как средоточие всего МИРОВОГО ЗЛА.

Он не сомневался, что этой вынужденной уступкой ухудшил, исказил, бесконечно обеднил свой роман.

Но вышло так, что, сам о том не подозревая, он его улучшил.

Оказалось, что этот вынужденный, отчасти даже презираемый им «киндер-вариант» на самом деле – естественнее, органичнее, человечнее, а стало быть, и *художественнее* искусственно (и, надо

сказать, искусно) сконструированного им «атомного».

* * *

В отличие от «атомного», в «лекарственном» варианте солженицынского романа в основе безумного, смертельно опасного поступка Иннокентия лежит не только «общественный», но, до некоторой степени, и личный мотив:

…

> *Если бы все это касалось какого-нибудь другого профессора-медика, ему незнакомого, Иннокентий пожалуй и не подумал бы, что надо предупредить. Но именно Доброумов!..*
>
> *(А. Солженицын. В круге первом. Париж. 1969. Стр. 8)*

Нет, конечно, не «по знакомству» решает Иннокентий предупредить профессора Доброумова о грозящей ему смертельной опасности. Да и никакого настоящего знакомства с профессором у него на самом деле и не было. Только отрывочные, смутные детские воспоминания:

…

> *Как хорошо Иннокентий запомнил с детства именно доктора Доброумова! Тогда он не был ещё таким светилом, не посылали его с делегациями за границу, не называли, кажется, и ученым, а просто доктором, и он запросто ездил с визитами. Мама часто болела и всегда старалась вызывать именно его. Она ему верила. Едва входил он и снимал в прихожей котиковую шапку – распространялись по всей квартире некое добродушие, успокоение, уверенность. Невозможно было, чтоб*

у постели он сидел меньше получаса. Он старательно должен был каждую жалобу выспросить, потом как бы с удовольствием осмотреть больного и подробнейше разъяснить лечение. Невозможно было, чтоб он прошел потом мимо мальчика и не задал ему вопроса – и не остановился бы выслушать ответа как от взрослого, будто всерьез ожидая чего-то умного. Доктор уже тогда был седоват – что же теперь на его голове...

(Там же)

Как и в «атомном» варианте, Иннокентий здесь тоже решается на свой отчаянно смелый поступок, потому что не хочет больше жить в страхе. («Чего-то всегда остерегаясь – остаёмся ли мы людьми?») Но тут им движет живое чувство, естественный, человеческий душевный порыв.

В «атомном» варианте им движет ИДЕЯ.

* * *

Идея эта осенила его не вдруг. И додумался он до неё не в одиночку. Можно даже сказать, что она была ему подсказана.

Когда появились у Иннокентия первые сомнения в правильности той жизни, какой он живёт, и стала понемногу открываться ему злокачественность той власти, которой он служит, решил он навестить своего тверского дядюшку, старшего брата покойной матери, – последнего оставшегося в живых близкого своего родственника.

Приехав в Тверь, с трудом отыскал ветхий дядин домишко, и внешний вид которого, и внутреннее убранство поразили его своей убогостью.

...

Были в коридорце низкий потолок, скудное окошко к воротам, две чуланных двери да две человеческих. Иннокентию стало

тоскливо. Он никогда так не попадал. Он досадовал, что приехал, и подыскивал, как бы соврать, чтобы здесь не ночевать, к вечеру уехать.

И дальше, в комнаты и между комнатами, все двери были косые, одни обложены войлоком, другие двустворчатые, со старинной фигурной строжкой. В дверях во всех надо было кланяться, да и мимо потолочных ламп голову обводить. В трёх небольших комнатках, все на улицу, воздух был нелёгкий, потому что вторые рамы окон навечно вставлены с ватой, стаканчиками и цветной бумагой, а открывались лишь форточки, но и в них шевелилась нарезанная газетная лапша: постоянное движение этих частых свисающих полосок пугало мух.

В такой перекошенной, придавленной старой постройке с малым светом и малым воздухом, где из мебели ни предмет не стоял ровно, в такой унылой бедности Иннокентий никогда не бывал, только в книгах читал. Не все стены были даже белёны, иные окрашены темноватой краской по дереву, а «коврами» были старые пожелтевшие пропыленные газеты, во много слоев зачем-то навешанные повсюду: ими закрывались стёкла шкафов и ниша буфета, верхи окон, запечья. Иннокентий попал как в западню. Сегодня же уехать!

(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 367–368)

Но он не уехал. Ни в тот день, ни на следующий.

И дядя оказался не так прост, как это ему сперва показалось, и эта, поразившая его своей убогостью, унылая повседневность дядюшкиного быта. Особенно так поразившие его эти старые, во

много слоев зачем-то навешанные повсюду, пожелтевшие пропыленные газеты. Оказалось, что и они тут были навешаны неспроста, а с умыслом, с неким дальним прицелом.

...

Темноватый, с неукрашенными стенами, голый и скупой дом их стал уютней, когда закрыли ставни, – успокоительное отделение от мира, потерянное нашим веком. Каждая ставня прижималась железной полосою, а от неё болт через прорезь просовывался в дом, и здесь его проушина заклинивалась костыльком. Не от воров это надобилось им, тут бы и через распахнутые окна нечем поживиться, но при запертых болтах размягчалась настороженность души...

Раиса Тимофеевна рано ушла спать, а дядя в средней комнате, тихо двигаясь и тихо говоря (слышал он тоже безущербно), открыл племяннику ещё одну свою тайну: эти жёлтые газеты, во много слоев навешанные, будто от солнца или от пыли, – это был способ некриминального хранения самых интересных старых сообщений. («А почему вы именно эту газету храните, гражданин?» – «А я её не храню, какая попалась!») Нельзя было ставить пометок, но дядя на память знал, что в каждой искать. И удобной стороной они были повешены, чтобы каждый раз не разнимать пачку.

(Там же. Стр. 372)

Этот гипотетический дядюшкин диалог с чекистами, которые, глядишь, вздумают его посетить («А почему вы именно эту газету

храните, гражданин?» – «А я её не храню, какая попалась!») вызвал у меня в памяти такую историю, которую моему другу Леониду Зорину рассказал Леонид Осипович Утесов. (Очень коротко, – буквально пятью строчками, – история эта приводится в книге Л. Зорина «Авансцена». Но я попытаюсь пересказать её так, как услышал: в устном изложении она почему-то произвела на меня более сильное впечатление).

Леонид Осипович был близок с Бабелем. И у него хранилось множество – что-то около двухсот – совершенно поразительных бабелевских писем. Когда Бабеля арестовали, в приступе отчаянного страха он все эти письма сжег.

Потом, конечно, горько раскаивался. И однажды рассказал об этом Николаю Робертовичу Эрдману.

Выслушав его, тот сказал:

– Да, вы сделали глупость, Ледя. Ведь если бы ОНИ к вам пришли, нашли бы они у вас эти бабелевские письма или не нашли, не имело бы уже никакого значения.

Далеко не глупый и кое-что повидавший на своём веку дядюшка Иннокентия тоже мог бы сообразить, что если уж чекисты к нему нагрянут, никакие объяснения и отговорки ему уже не помогут.

Что поделаешь! На всякого мудреца довольно простоты.

Но для того, чтобы установить взаимопонимание с нежданно посетившим его племянником, эти старые пожелтевшие газеты очень даже пригодились.

...

Ставши на два стула рядом, дядя в очках, они над печкой прочли в газете 1940 года у Сталина: «Я знаю, как германский народ любит своего фюрера, поэтому я поднимаю тост за его здоровье!» А в газете 1924 года на окне Сталин защищал «верных ленинцев Каменева и Зиновьева» от обвинений в саботаже октябрьского переворота.

Иннокентий увлёкся, втянулся в эту охоту, и даже при слабой сорокаваттной лампочке они бы долго ещё лазали и шелестели, разбирая выблекшие, полустёртые

строчки...

(Там же)

Ну, а когда взаимопонимание было установлено, тут дядюшка уже во всю ивановскую ринулся просвещать ещё полуслепого племянника, открывать ему глаза:

...

...спать не хотелось. И в третьей маленькой комнатке, где Иннокентию было постлано, а дядя сел к нему на постель, они шёпотом ещё часа два проговорили с захваченностью влюблённых, которым не нужно освещения для воркотни.

– Только обманом, только обманом! – настаивал дядя. В темноте его голос без дребезга ничем не выявлял старика. – Никакое правительство, ответственное за свои слова... «Мир народам, штык в землю!» – а через год уже «Губдезертир» ловил мужичков по лесам да расстреливал напоказ! Царь так не делал... «Рабочий контроль над производством» – а где ты хоть месяц видел рабочий контроль? Сразу всё зажал государственный центр. Да если б в семнадцатом году сказали, что будут нормы выработки, и каждый год увеличиваться, – кто б тогда за ними пошёл? «Конец тайной дипломатии, тайных назначений» – и сразу гриф «секретно» и «совсекретно». Да в какой стране, когда знал народ о правительстве меньше, чем у нас?..

И – ещё об этой последней, советско-германской. Как ты её понимаешь?

Легко говорилось! Иннокентий как привычное свободно формулировал такое, до чего без диалога никогда не доходила надобность:

– Я так понимаю: трагическая война. Мы родину отстояли – и мы её потеряли. Она окончательно стала вотчиной Усача.

– Мы уложили, конечно, не семь миллионов! – торопился и дядя. – И для чего? Чтобы крепче затянуть на себе петлю. Самая несчастная война в русской истории...

И опять – о Втором съезде Советов: он был от трёхсот совдепов из девятисот, он не был полномочен и никак не мог утверждать Совнарком.

– Да что ты говоришь?..

(Там же. Стр. 372–373)

И тут вдруг – казалось бы, ну никак нельзя было предвидеть такого поворота, – неожиданно ворвалась в этот дядюшкин «урок истории» совсем другая тема:

...

Уже по два раза «спокойной ночи» сказали, и дядя спрашивал, оставить ли дверь открытой, душновато, – но тут про атомную бомбу почему-то всплыло, и он вернулся, шептал яро:

– Ни за что сами не сделают!

– Могут и сделать, – чмокал Иннокентий. – Я даже слышал, что на днях будет испытание первой бомбы.

– Брехня! – уверенно говорил дядя. – Объявят, а – кто проверит?.. Такой промышленности у них нет, двадцать лет делать надо.

Уходил и ещё возвращался:

– Но если сделают – пропали мы, Инок. Никогда нам свободы не видать.

Иннокентий лежал навзничь, глотал глазами густую темноту.

– Да, это будет страшно... У них она не залежится... А без бомбы они на войну не смеют.

(Там же)

Эта тема всплывает в романе постоянно. Она проходит через все повествование, как принято говорить в таких случаях, *красной нитью* .

Посмотрим же, – попробуем проследить, – куда ведет нас эта «красная нить».

Самый близкий автору из героев романа Глеб Нержин (alter ego автора) – из всех своих товарищей по «шарашке» особо выделяет дворника Спиридона. Именно ему он отдаёт (дарит на память) перед этапом любимую свою, с трудом выдранную из лап «кума» книжечку Есенина (взять её с собой на этап ему не дадут). Спиридон для Нержина (а стало быть, и для автора) – носитель вековой народной мудрости, живого народного сознания, единственной (опять же народной) и потому единственно истинной системы нравственных понятий и ценностей. В общем, этакий современный Платон Каратаев.

И вот с этим Спиридоном происходит у Нержина такой, – может быть, самый важный для автора во всем этом его романе, – разговор:

...

– Давно хочу тебя спросить, Спиридон Данилыч, пойми меня верно. Вот слушаю, слушаю я про твои скитания. Крученая у тебя жизнь... Все чего-то ты метался, пятого угла искал – ведь неспроста?.. Вернее, как ты думаешь – с каким... – он чуть не сказал «критерием», – ... с меркой какой мы должны понимать жизнь? Ну, например, разве есть люди на земле, которые нарочно хотят злого? Так и думают: сделаю-

ка я людям зло?.. Во ты говоришь – сеяли рожь, а выросла лебеда. Так все-таки, сеяли-то – рожь или думали, что рожь? Может быть, люди-то все хотят доброго – думают, что доброго хотят?.. Убедят себя, что они хорошо делают, а на самом деле выходит худо.

Наверно, не очень ясно он выражался. Спиридон косовато, хмуро смотрел, ожидая подвоха, что ли.

– А теперь, если ты, скажем, явно ошибаешься, а я хочу тебя поправить, говорю тебе об этом словами, а ты меня не слушаешь, даже рот мне затыкаешь, в тюрьму пихаешь – так что мне делать? Палкой тебя по голове? Так хорошо, если я прав, а если мне это только кажется, если я только в голову себе вбил, что я прав? Да ведь если я тебя сшибу и на твое место сяду, да «но! Но!», а не тянет оно – так я и трупов нахлестаю? Ну, одним словом, так: если нельзя быть уверенным, что ты всегда прав, – так вмешиваться можно или нет? И в каждой войне нам кажется – мы правы, а тем кажется – они правы. Это мыслимо разве – человеку на земле разобраться: кто прав? Кто виноват? Кто это может сказать?

– Да Я тебе скажу! – с готовностью отозвался просветлевший Спиридон, с такой готовностью, будто спрашивали его, какой дежурняк заступит дежурить с утра. – Я тебе скажу: волкодав – прав, а людоед – нет!

– Как-как-как? – задохнулся Нержин от простоты и силы решения.

– Вот так, – с жестокой уверенностью повторил Спиридон, весь обернувшись к Нержину: – Волкодав прав, а людоед – нет .

И, приклонившись, горячо дохнул из-под усов в лицо Нержину:

– Если бы мне, Глеба, сказали сейчас: вот летит такой самолёт, на ём бомба атомная. Хочешь, тебя тут как собаку похоронит под лестницей, семью твою перекроет, и ещё мильён людей, но с вами – Отца Усатого и всё заведение их с корнем, чтоб не было больше, чтоб не страдал народ по лагерях, по колхозах, по лесхозах? – Спиридон напрягся, подпирая крутыми плечами уже словно падающую на него лестницу, и вместе с ней крышу, и Москву. – Я, Глеба, поверишь? нет больше терпежу! терпежу – не осталось! я бы сказал... – Он вывернул голову к самолёту. – А ну! ну! кидай! рушь!!

Лицо Спиридона было перекажено усталостью и мукой. На красные нижние веки из невидящих глаз наплыло по слезе.

(Там же. Стр. 419–420)

Не стану утверждать, что автор романа думает и чувствует так же, как этот его персонаж, – что он тоже готов обрушить на головы своих соотечественников всю мощь разрушительного ядерного удара. Но одно несомненно: у него тоже нет ни малейших сомнений насчёт того, КТО в этом раскладе «волкодав», а кто – «людоед».

Позже, оказавшись на Западе, Солженицын усомнится в верности этого своего тогдашнего взгляда:

...

...Летом 1983-го Сахаров выступил («Форин эфферс») с

письмом к стенфордскому физику Сиднею Дреллу, на редкость верно (и удивительно совпала его точка зрения с тем, что я говорил о ядерном вооружении в Лондоне только что, весной 83-го): что роковой ошибкой Запада было положиться на «ядерный зонтик», а выход – в обычных вооружениях. И, возражая Дреллу (и очень в пользу Запада): даже нельзя замораживать вооружения на нынешнем уровне, Штатам надо устанавливать новые крупные ракеты «МХ». За это тут же на Сахарова напали четыре советских академика в «Известиях»: «...ненависть к собственной стране и народу... призывает к войне против собственной страны», – но одновременно и «Вашингтон пост» выразила разочарование: «мы думали, Сахаров за остановку гонки вооружения, а его позиция приближается к Солженицыну...»

Проявить такую смелость изнутри СССР, да из ссылки! – и получить оплеухи с обеих сторон.

(А. Солженицын. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Новый мир. 2000. № 12. Стр. 143)

В 1983-м он, стало быть, ещё думал об этом, как в ту пору, когда писал «атомный» вариант своего «Круга». Но в 1994-м к этим воспоминаниям о тогдашнем своём единомыслии с Сахаровым сделал такое примечание:

...

И правда: в заблуждениях о природе Запада мы с Сахаровым были сходны, повторяли общую ошибку. С какой тревогой об американской судьбе я когда-то писал «Круг» с

истинной «атомной» историей, в каком сюжете, по иронии переводческих обстоятельств, и посегодня в Америке не напечатанный. Столько лет я был уверен в правильности: пусть атомная бомба остаётся у них, только б не у коммунистов. Но постепенно дошёл: не к добру она у них, как и преступно же воспользовались в Японии.

(Там же)

В то время, когда писался «атомный» вариант «Круга», никаких колебаний на этот счет у него вроде не было: Америка, какая бы она ни была, – *волкодав* , а «Батька Усатый» и всё его, как говорит Спиридон, «заведение», – *людоед* .

Но кое-какие сомнения – и насчёт Америки тоже – у него и тогда все-таки появлялись. Тут тоже все не до конца было ему ясно:

…

Бобынин отдельно крупно шагал по главному кругу прогулки, когда к нему наперехват, как быстрый катер к большому кораблю, сближая и изгибая курс, подошёл маленький Герасимович.

– Александр Евдокимыч!

Вот так подходить и мешать на прогулке не считалось среди шарашечных очень вежливым.

К тому ж они друг друга и знали мало.

Но Бобынин дал стоп:

– Слушаю вас.

– У меня к вам один научно-исследовательский вопрос.

– Пожалуйста.

И они пошли рядом, со средней скоростью.

Однако полкруга Герасимович

промолчал. И лишь тогда сформулировал:

– Вам не бывает стыдно?

Бобынин от удивления крутанул чугунцом головы, посмотрел на спутника (но они шли). Потом – вперёд по ходу, на липы, на сарай, на людей, на главное здание.

Добрых три четверти круга он продумал и ответил:

– И даже как!

Четверть круга.

– А – зачем тогда?

Полкруга.

– Чёрт, всё-таки жить хочется...

– Так не корите, что система плоха. Сами виноваты.

Полный круг.

– Александр Евдокимыч! Ну а если бы за скорое освобождение вам предложили бы делать атомную бомбу?

– А вы? – с интересом быстро метнул взгляд Бобынин.

– Никогда.

– Уверены?

– Никогда.

Круг. Но какой-то другой.

– Так вот задумаешься иногда: что это за люди, которые делают им атомную бомбу?! А потом к нам присмотришься – да такие же, наверно... Может, ещё на политучёбу ходят...

– Ну уж!

– А почему нет?.. Для уверенности им это очень помогает... Я думаю так, – развивал малыш. – Учёный либо должен всё знать о политике – и разведданные, и секретные замыслы, и даже быть уверенным, что возьмёт политику в руки сам! – но это невозможно... Либо вообще о ней не судить, как о

мути, как о чёрном ящике. А рассуждать чисто этически: могу ли я вот эти силы природы отдать в руки столь недостойных, даже ничтожных людей? А то делают по болоту один наивный шаг: «нам грозит Америка»... Это – детский ляпсус, а не рассуждение учёного.

– Но, – возразил великан, – а как будут рассуждать за океаном? А что там за американский президент?

– Не знаю, может быть, – тоже.

(Там же. Стр. 491–492)

Оба собеседника допускают, что и американский президент тоже может оказаться, – не таким, конечно, людоедом, как наш «Батька Усатый», – но человеком недостойным и даже ничтожным. И как он распорядится этой атомной бомбой – тоже неизвестно.

Но это всё-таки ещё под вопросом. Что же касается нашего «Отца Народов» и окружающего его сонма «тонкошеих вождей», – тут не может быть никаких сомнений. ИМ вручать такое смертоносное оружие ни в коем случае нельзя. В этом оба собеседника едины. И принять участие в создании ДЛЯ НИХ атомной бомбы они не согласятся ни за какие жизненные блага. Даже за возможность выйти из лагеря на волю.

Но затеявшему этот разговор Герасимовичу одного только *неучастия* в атомном проекте (или других, тоже для него неприемлемых) – мало. Он полагает, что учёные не должны ограничиваться одной только этой, *пассивной* ролью.

...

– Мы, учёные, лишены собраться на всемирный форум и договориться. Но превосходство нашего интеллекта над всеми политиками мира даёт возможность каждому и в тюремной одиночке найти правильное вполне общее решение и действовать по нему.

Круг.

– Да...

– На Руси были консерваторы, реформаторы, государственные деятели – их нет. На Руси были священники, проповедники, самозваные домашние богословы, еретики, раскольники – их нет. На Руси были писатели, философы, историки, социологи, экономисты – их нет. Наконец, были революционеры, конспираторы, бомбометатели, бунтари – нет и их. Были мастеровые с ремешками в волосах, сеятели с бородой по пояс, крестьяне на тройках, лихие казаки, вольные бродяги – никого, никого их нет! Мохнатая чёрная лапа сгребла их всех за первую дюжину лет. Но один родник просочился черезо всю чуму – это мы, техноэлита. Инженеров и учёных, нас арестовывали и расстреливали всё-таки меньше других. Потому что идеологию им накропают любые проходимцы, а физика подчиняется только голосу своего хозяина. Мы занимались природой, наши братья – обществом. И вот мы остались, а братьев наших нет. Кому ж наследовать неисполненный жребий гуманитарной элиты – не нам ли? Если мы не вмешаемся, то кто?.. И неужели не справимся? Не держа в руках, мы взвесили Сириус-Б и измерили перескоки электронов – неужели заплутаемся в обществе? Но что мы делаем? Мы на этих шарашках преподносим им реактивные двигатели! ракеты фау! секретную телефонию! и может быть, атомную бомбу? – лишь бы только было нам хорошо? И интересно? Какая ж мы элита, если нас так легко купить?

– Это очень серьёзно, –

кузнечным мехом дохнул Бобынин. – Продолжим завтра, ладно?

(Там же. Стр. 492–493)

Герасимович не возражает, он согласен отложить продолжение разговора на завтра.

Но это не мешает ему, не дожидаясь завтрашней встречи с Бобыниным, продолжить его прямо сейчас – уже с другим собеседником, с Нержиным.

…

Тихий ровный голос из темноты говорил сдержанно и чуть торжественно, от чего Нержин ощутил перебеги ознобца вдоль хребта.

– Увы, самопроизвольная революция в нашей стране невозможна. Даже в прежней России, где была почти невозбранная свобода разлагать народ, понадобилось три года раскачивать войной – да какой! А у нас анекдот за чайным столом стоит головы, какая ж революция?.. Но от этого многие из нас стали полагать надежды на помощь извне. Мне кажется это глубокой и вредной ошибкой. В «Интернационале» не так глупо сказано: «Никто не даст нам избавленья… добьёмся мы освобожденья своею собственной рукой!» Надо понять, что, чем состоятельней и привольней живётся на Западе, тем меньше западному человеку хочется воевать за тех дураков, которые дали сесть себе на шею. И они правы, они не открывали своих ворот бандитам. Мы заслужили свой режим и своих вождей, нам и расхлёбывать.

Нержин не отзывался и не шевелился. Герасимовичу было чуть

видимо его лицо в слабом неясном отсвете от фонарей зоны и потом, наверно, от потолка. Совсем не зная этого человека, решался Илларион выговорить ему такое, чего и друзья закадычные шёпотом на ухо не осмеливались в этой стране.

– Испортить народ – довольно было тридцати лет. Исправить его – удастся ли за триста? Поэтому надо спешить. Ввиду несбыточности всенародной революции и вредности надежд на помощь извне, выход остаётся один: обыкновеннейший дворцовый переворот. Как говорил Ленин: дайте нам организацию революционеров – и мы перевернём Россию! Они сбили организацию – и перевернули Россию!

– О, не дай Бог!

– Я думаю, нет затруднений создать подобную организацию при нашем арестантском знании людей и умении со взгляда отметать предателей – вот как мы сейчас друг другу доверяем, с первого разговора. Нужно всего от трёх до пяти тысяч отважных, инициативных и умеющих владеть оружием людей, плюс – кому-нибудь из технических интеллигентов...

– Которые атомную бомбу делают?..

Нержин запнулся. Он вспомнил вчерашнее Спиридоново «волкодав прав, а людоед нет» и как Спиридон просил у самолёта атомной бомбы на себя. Эта простота могла захватно овладеть сердцем, но Нержин отбивался, сколько мог...:

– Да, я иногда увлекаюсь. Но ваш проект слишком серьёзен, чтобы разрешить высказаться сердцу. А вы не помните той франсовской старухи

в Сиракузах? – она молилась, чтобы боги послали жизни ненавистному тирану острова, ибо долгий опыт научил её, что всякий последующий тиран бывает жесточе предыдущего? Да, мерзок наш режим, но откуда вы уверены, что у вас получится лучше? А вдруг – хуже? Оттого, что вы хорошо хотите? А может, и до вас хотели хорошо? Сеяли рожь, а выросла лебеда!..

(Там же. Стр. 548–549)

Нет, идея дворцового переворота Нержина не привлекает. Да и не сомневается он, что неосуществима она, эта идея! Но что же делать? Есть ли какой-нибудь другой выход?

...

– Не знаю, не знаю... – видно было в четверть-свете, как мучился Нержин. – Пока не было атомной бомбы, советская система, худостройная, неповоротливая, съедаемая паразитами, обречена была погибнуть в испытании временем. А теперь если у наших бомба появится – беда.

(Там же. Стр. 551)

И последнее слово все-таки остается за Герасимовичем:

...

Пенсне Герасимовича переливало как два алмаза.

– Так что же? Вывод? Отдать всю планету на разврат? Не жалко?

– Жалко, – уже ненужным шёпотом, упавшим шёпотом согласился Нержин. – Планету – жалко. Лучше умереть, чем до этого дожить.

– Лучше – не допустить, чем умереть! – с достоинством возразил Герасимович.

Вот из этого и исходил, решаясь на свой отчаянный поступок, Иннокентий Володин.

* * *

В реальности всё это было иначе…

Ничего удивительного в этом нет: литературный персонаж никогда не бывает тождествен своему прототипу. Даже Николенька Иртеньев – герой «Детства и отрочества» Л. Н. Толстого – это не совсем Толстой. А ведь во всей мировой литературе, я думаю, днем с огнём не сыщешь второго такого беспощадного самоаналитика, как Лев Николаевич.

Угол отклонения, неизбежно возникающий даже в самых правдивых автобиографических книгах, может быть не слишком велик. Но может достичь и девяноста градусов, а в иных случаях даже приблизиться и к ста восьмидесяти.

Вот, скажем, как Достоевский в своих «Записках из мёртвого дома» изображает одного из тех колоритных персонажей, с которыми судьба свела его на каторге:

…

Дня за четыре до праздника повели нас в баню. В моё время, особенно в первые мои годы, арестантов редко водили в баню. Все обрадовались и начали собираться… Всех больше радовался и суетился из нашей казармы Исай Фомич Буштейн, каторжный из евреев… Каждый раз, когда случается мне теперь, перебирая старые воспоминания, вспомнить и о нашей каторжной бане (которая стоит того, чтоб об ней не забыть), то на первый план картины тотчас же выступает передо мною лицо блаженнейшего и незабвенного Исая

Фомича, товарища моей каторги и сожителя по казарме. Господи, что за уморительный и смешной был этот человек!..

Он уморительнейшим образом прибыл в каторгу (еще до меня, но мне рассказывали). Вдруг однажды, перед вечером, в шабашное время, распространился в остроге слух, что привели жидка и бреют в кордегардии и что он сейчас войдёт. Из евреев тогда в каторге ещё ни одного не было. Арестанты ждали его с нетерпением и тотчас же обступили, как он пошёл в ворота. Острожный унтер-офицер провёл его в гражданскую казарму и указал ему место на нарах. В руках у Исая Фомича был его мешок с выданными ему казенными вещами и своими собственными. Он положил мешок, взмостился на нары и уселся, подобрав под себя ноги, не смея ни на кого поднять глаза. Кругом него раздавался смех и острожные шуточки, имевшие в виду еврейское его происхождение. Вдруг сквозь толпу протеснился молодой арестант, неся в руках самые старые, грязные и разорванные летние свои шаровары, с придачею казенных подверток. Он присел подле Исая Фомича и ударил его по плечу.

– Ну, друг любезный, я тебя здесь уже шестой год поджидаю. Вот смотри, много ли дашь?

И он разложил перед ним принесённые лохмотья.

Исай Фомич, который при входе в острог сробел до того, что даже глаз не смел поднять на эту толпу насмешливых, изуродованных и страшных лиц, плотно обступивших его кругом, и от робости ещё не

успел сказать слова, увидев заклад, вдруг встрепенулся и бойко начал перебирать пальцами лохмотья. Даже прикинул на свет. Все ждали, что он скажет.

– Что ж, рубля-то серебром небось не дашь? А ведь стоило бы! – продолжал закладчик, подмигивая Исаю Фомичу.

– Рубля серебром нельзя, а семь копеек можно.

И вот первые слова, произнесённые Исаем Фомичом в остроге. Все так и покатились со смеху.

– Семь! Ну давай хоть семь; твое счастье! Смотри ж, береги заклад; головой мне за него отвечаешь.

– Проценту три копейки, будет десять копеек, – отрывисто и дрожащим голосом продолжал жидок, опуская руку в карман за деньгами и боязливо поглядывая на арестантов. Он и трусил-то ужасно, и дело-то ему хотелось обделать.

– В год, что ли, три копейки проценту?

– Нет, не в год, а в месяц.

– Тугонек же ты, жид. А как тебя величать?

– Исай Фомиць.

– Ну, Исай Фомич, далеко ты у нас пойдёшь! Прощай.

Исай Фомич ещё раз осмотрел заклад, сложил и бережно сунул его в свой мешок при продолжавшемся хохоте арестантов.

(Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Том четвертый. Записки из мертвого дома. Л. 1972. Стр. 93–94)

И здесь, и дальше в описании колоритной фигуры Исая Фомича Бумштейна автор не устаёт подчеркивать, что Исай

Фомич – «жидок», то есть – еврей. И не просто еврей, а истово верующий иудей, свято блюдущий все обряды, заповеданные ему верой его отцов и дедов:

...

Накануне каждой субботы, в пятницу вечером, в нашу казарму нарочно ходили из других казарм посмотреть, как Исай Фомич будет справлять свой шабаш. Исай Фомич был до того невинно хвастлив и тщеславен, что это общее любопытство доставляло ему тоже удовольствие. Он с педантскою и выделанною важностью накрывал в уголку свой крошечный столик, развертывал книгу, зажигал две свечки и, бормоча какие-то сокровенные слова, начинал облачаться в свою ризу (ризу, как он выговаривал). Это была пестрая накидка из шерстяной материи, которую он тщательно хранил в своём сундуке. На обе руки он навязывал наручники, а на голове, на самом лбу, прикреплял перевязкой какой-то деревянный ящичек, так что казалось, изо лба Исая Фомича выходит какой-то смешной рог. Затем начиналась молитва. Читал он её нараспев, кричал, оплевывался, оборачивался кругом, делал дикие и смешные жесты. Конечно, всё это было предписано обрядами молитвы, и в этом ничего не было смешного и странного, но смешно было то, что Исай Фомич как бы нарочно рисовался перед нами и щеголял своими обрядами. То вдруг закроет руками голову и начинает читать навзрыд. Рыданья усиливаются, и он в изнеможении и чуть не с воем

склоняет на книгу свою голову, увенчанную ковчегом; но вдруг, среди самых сильных рыданий, он начинает хохотать и причитывать нараспев каким-то умиленно торжественным, каким-то расслабленным от избытка счастья голосом. «Ишь его разбирает!» – говорят, бывало, арестанты... Раз, во время самого разгара молитвы, в комнату вошёл плац-майор в сопровождении караульного офицера и конвойных. Все арестанты вытянулись в струнку у своих нар, один только Исай Фомич ещё более начал кричать и кривляться. Он знал, что молитва дозволена, прерывать её нельзя было, и, крича перед майором, не рисковал, разумеется, ничем. Но ему чрезвычайно приятно было поломаться перед майором и порисоваться перед нами.

(Там же. Стр. 97–98)

Дотошные комментаторы академического издания «Записок из мертвого дома» отыскали подробные сведения обо всех прототипах выведенных Достоевским его товарищей по каторге. И в каждом таком случае не преминули отметить тот «угол отклонения» от реальности, который по тем или иным соображениям позволил себе автор:

...

...татарин Газин из «особого отделения», о котором Достоевский говорит, что он «любил прежде резать маленьких детей» (стр. 40), имеет своим прототипом каторжного военного ведомства, «сосланного на срок», Фендуллу Разина, 37 лет, служившего в Сибирском линейном № 3 батальоне и осуждённого «за частовременные

отлучки из казармы, пьянство и кражи» (см.: Статейные списки… л. 17). Прототипом Нурры – «блондина с светло-голубыми глазами», всё тело которого «было изрублено, изранено штыками и пулями» (стр. 50), был Нурра Шахсурла Оглы, «сероглазый и темно-русый с проседью, на правой щеке и носу шрамы» (л. 45), осуждённый на шесть лет, но просто за воровство, а не за участие в набегах на русских, как сказано у Достоевского. Старик старообрядец, осуждённый в «Записках» за поджог церкви, на самом деле был наказан бессрочной каторгой лишь за неисполнение обещания присоединиться к единоверцам и за отказ присутствовать при закладке церкви.

(Там же. Стр. 283)

Про Исая Фомича Бумштейна из этого дотошного комментария мы узнаем следующее:

…

Писатель… довольно точно в сравнении со Статейными списками воспроизводит внешние приметы Исая Фомича. Он в списке, так же как и у Достоевского, ювелир, за убийство наказан плетьми, шестьюдесятью пятью ударами (в «Записках» – шестьюдесятью), «с постановлением штемпельных знаков» (Достоевский говорит о его «ужаснейших» клеймах – стр. 93). Но в Статейных списках сказано, что Исаи Бумштель, мещанин из евреев, был православного вероисповедания (см. Статейные списки…, л. 20); Достоевский же превращает его в

еврея иудейского вероисповедания, который ходит по субботам в свою молельню и справляет «свой шабаш»...

(Там же. Стр. 283–284)

Причину этого – немаловажного – отклонения от реальности комментатор объясняет так:

...

Это дало писателю возможность создать живую, полную юмора сцену исполнения Исаем Фомичом обряда молитвы.
(Там же. Стр. 384)

Вряд ли это объяснение можно считать исчерпывающим. Да и юмор, о котором говорит комментатор (если это можно считать юмором), по правде говоря, не самого высокого качества.

Тут можно было бы порассуждать об истинных причинах, побудивших Достоевского представить православного Исая Фомича правоверным иудеем. Но я этого делать не буду, поскольку не Достоевский тут интересует меня, а Солженицын. А Достоевского с этим его Исаем Фомичом я приплел здесь только для того, чтобы как можно нагляднее показать, что пресловутый «угол отклонения» в художественной литературе – дело обычное.

Литературоведов, стремящихся с точностью до самого малого градуса вычислить величину такого угла, часто попрекают. Говорят, что занятие это (лезть в чужие тайны, перемывать чужое бельё) не совсем приличное. А главное – совершенно зряшное. Вот, мол, перед вами текст, его и изучайте. В тексте есть всё, остальное – от лукавого.

На самом деле, однако, стремление понять, в какую сторону, как далеко, а главное, с какой целью, с каким тайным умыслом отклонился автор от реальности, создавая свое художественное полотно, далеко не бессмысленно. Вычислив этот самый угол отклонения, сплошь и рядом можно проникнуть в такие глубины художественного текста, до которых иным способом, пожалуй, и не добраться.

Вот я и подумал, что не лишней была бы и попытка установить, каков был угол отклонения от реальности в «атомном» варианте солженицынского романа.

Тем более, что такая возможность у нас имеется.

* * *

В начале 90-х годов прошлого века в Москве небольшим тиражом (1000 экз) вышла в свет книга Льва Копелева «Утоли моя печали». Это была третья, заключительная часть

автобиографической трилогии писателя, впервые явившейся на свет на Западе в издательстве «Ардис». В ней была описана та самая «шарашка», где вместе работали «зэки» – А. Солженицын, Л. Копелев, Дм. Панин, ставшие прототипами героев романа А. Солженицына «В круге первом».

Эта Марфинская шарашка зародилась, как говорит автор, «под куполом осквернённой церкви «Утоли моя печали». Отсюда и название книги.

Это, конечно, не документ. Во всяком случае, не такой строгий, как те «Статейные списки», из которых черпали свои сведения комментаторы «Записок из мертвого дома» Достоевского. Но по отношению к «вымышленному повествованию», каким – по определению – является роман Солженицына, мы вправе рассматривать свидетельство мемуариста как максимально приближённое к документальному.

История, ставшая сюжетной основой главного, «атомного» варианта солженицынского романа, у Копелева рассказана подробно.

Приводя разговоры прототипа солженицынского Иннокентия Володина с сотрудником американского посольства (на самом деле, оказывается, их было несколько, таких разговоров), Копелев замечает:

...

Эти разговоры я воспроизвожу почти буквально. Слушал их тогда снова и снова множество раз; слова, интонации прочно осели в памяти.

(Л. Копелев. Утоли моя печали)

Слушать это ему тогда приходилось «снова и снова множество раз», потому что именно ему было поручено по этим магнитофонным записям выявить, опознать преступника.

Вот, стало быть, как это было – не в романе, а в реальности:

...

Поздняя осень 1949 года. В лаборатории только начинали включать приборы, готовить инструменты. Мы с Солженицыным

раскладывали свои папки, книги, журналы; несколько человек маячили у железного шкафа, из которого дежурный офицер доставал секретные папки и гроссбухи – рабочие дневники.

Ко мне подошёл старший лейтенант Толя, один из помощников начальника лаборатории:

– Вас вызывает Антон Михайлович. Немедленно... Нет, никаких материалов брать не надо...

Антон Михайлович и Абрам Менделевич сидели у длинного стола, перед ними два магнитофона и в клубке проводов несколько пар наушников – большие, вроде танкистских или самолётных.

Антон Михайлович поглядел рассеянно, отрешённо.

– Здрасте... Здрасте... Вы, кажется, говорили, что уже как-то определяете физические параметры индивидуального голоса... Не так ли?

– Не совсем. Пока ещё приблизительно, в самом начальном приближении. И не определяю, а предполагаю... Сравнительно уверенно могу сказать только, что своеобразие голоса – это главным образом особенности тембра, которые зависят от микроструктуры гортани, носоглотки, рта... Кое-что удалось наблюдать на звуковидах...

– Так, так, все это весьма занимательно... Но пока вы ещё плаваете в чистой теории. Это плавание может привести вас и в болото и к истокам некоей новой науки... Последнее было бы похвально и прелестно. Науки юношей питают, отраду старцам подают. Но мы с вами ещё не старцы. Ergo нам

требуется наука питательная... Так вот, эти ваши исследования неожиданно приобрели новое, чрезвычайно важное значение. Настолько важное, что ещё и сверхсекретное. Здесь на магнитофонных лентах есть нечто, требующее вашего особо пристального внимания... Берите наушники и послушайте голос некоего индивидуя, пожелавшего остаться неизвестным...

В наушниках сквозь шипение и щелчки прорывались, потом внятно зазвучали голоса:

– Але! Але! Кто это говорит?

– Я говорил. Это посольство от Соединенных Штаты от Америка.

– Вы понимаете по-русски? Вы говорите по-русски?

– Я могу плохо говорит, я могу понимат...

– У меня очень срочное, очень важное сообщение. Секретное.

– Кто есть вы?

– Этого я не могу сказать. Поймите! Как вы думаете, ваш телефон подслушивается?

«Слушивает»? Кто слушивает?

– Кто, кто... Ну, советские органы... Слушают ваш телефон?

– О, ай си... Не знаю... Это ест возможно да, ест возможно нет... Что вы хотели говорит?

– Слушайте внимательно. Советский разведчик Коваль вылетает в Нью-Йорк. Вы слышите? Вылетает сегодня, а в четверг должен встретиться в каком-то радиомагазине с американским профессором, который даст ему новые данные об атомной бомбе. Коваль вылетает сегодня. Вы меня поняли?

– Не все понял. Кто ест Коваль?

– Советский разведчик… Шпион…

Шипение… Щелчки…

Из шипящих шумов возникает тот же напряжённый, тревожный голос:

– Але, але… Это я вам раньше звонил. Тут мне помешали… Я звонил час назад по очень важному делу. Я не с вами говорил? Вы кто – американец?

– О, иес, я ест американец.

– Кем вы работаете? Какая ваша должность?.. Ну, какой пост?

– Пожалуйста, говорите не быстро… Кто вы ест? Кто говорит?

– Вы понимаете по-русски?

– Да-а. Понимаю немного… Ожидайте, я буду звать человек понимает по-русски.

– Но он кто? Советский гражданин?.. Вы поймите, я не хочу говорить, если советский… Позовите военного атташе. У меня очень важная тайна, секрет. Где ваш военный атташе?

– Атташе? Он ест эбсент. Он уходил.

– Когда он вернётся? Когда будет на работе?

– О, будет завтра, мэй би сегодня… Час три-четыре.

– А ваш атташе говорит по-русски?

– Кто говорит? О, да… Но мало говорит. Я буду звать переводчик.

– А ваш переводчик кто? Советский? Русский?

– О да, ест русский. Американский русский…

– Послушайте… Послушайте, запишите…

И он снова повторял: «Срочно. Важно! Советский разведчик Коваль;

четверг; радиомагазин где-то в Нью-Йорке или, кажется, в Вашингтоне; американский профессор; атомная бомба...»

Голос не старого человека. Высокий баритон. Речь, интонации грамотного, бойкого, но не слишком интеллигентного горожанина. Не москвич, однако и не южанин; Г выговаривал звонко, Е звучало «узко». Не северянин, не «окал». Не слышалось ни характерных западных (смоленских, белорусских), ни питерских интонаций... Усреднённый обезличенный говор российского провинциала, возможно дипломированного, понаторевшего в столице...

Прослушали ещё два разговора. Новый собеседник – американец – говорил лениво-медлительно и недоверчиво-равнодушно.

– А потшему вы это знаете? А потшему вы эту информацию нам даваете? А что хотите полутшит?..

– Ничего я не прошу. Сейчас не прошу... Когда-нибудь... потом все объясню... Когда-нибудь потом...

(Там же)

Эта последняя реплика не оставляет уже никаких сомнений о том, ЧТО толкнуло этого мерзавца на предательство. Конечно, только личный, шкурный интерес. Вопрос о материальном вознаграждении за согласие работать на американскую разведку он обсудит с новыми своими хозяевами потом, при личной встрече, когда окажется на Западе. Не сейчас же, по телефону это обсуждать...

Впрочем, отношение Копелева к этому *предателю* , как он его называет, определилось сразу, ещё до того, как тот произнёс эту, окончательно его разоблачившую реплику:

...

Он был причастен к заповедным государственным тайнам и выдавал их нашим злейшим врагам. Его необходимо изобличить, и я должен участвовать в этом.

(Там же)

И не только сейчас, когда предатель ещё гуляет на свободе и его ещё только предстоит изобличить, но и потом, когда он уже арестован и начальство требует все новых и новых подтверждений его вины, Копелев, продолжая помогать следователям, стиль работы которых испытал на собственной шкуре, не испытывает по этому поводу никакого морального дискомфорта.

...

Работали мы напряжённо. В иные сутки я спал не больше четырех часов...

Вскоре Абрам Менделевич сказал, что он уже арестован и я должен составить вопросник для следователя, такой, чтобы в ответах обязательно были произнесены те же слова, которые звучали в разговорах с посольством. Нужны были все те же простые слова «звонил», «говорил», «работа»... Абрам Менделевич и Анатолий с магнитофоном пристроились по соседству от следовательского кабинета, а маленький пьезомикрофон установили неприметно на столе следователя. В тот же день они принесли записи.

Анатолий рассказывал:

– Обыкновенный пижон. И чего ему не хватало?! Должен был ехать в Канаду, работать в посольстве на ответственной должности. А полез в шпионы. Засранец! Теперь и шлепнуть могут.

Абрам Менделевич был возбуждён. И когда мы оставались наедине, говорил доверительно:

– Это просто ужасно! Ведь обыкновенный, наш советский парень. Как говорится – из хорошей семьи. Отец – член партии, на крупной работе, где-то в министерстве. И мать тоже, кажется, в партии. Сам был в школе отличником, активным комсомольцем. Приняли в дипломатическую школу, в армию не взяли. Там вступил в партию. Потом работал в МИДе. Ему доверяли. Ездил за границу. И вот теперь получил крупное назначение – второй советник посольства. Должен был ехать с семьей. Жена – комсомолка, тоже работала в МИДе, двое детей, плюс ещё тёща. И в тот же день, как получил билеты, стал звонить по автоматам в посольство. Узнал где-то случайно об этом Ковале и побежал. Продавал авансом. Рассчитывал, конечно, когда приедет, сразу перебежать, как этот гад Кравченко…

Отчёт о сличении голосов неизвестных А-1, А-2, А-3, А-4 (три разговора с посольством США и один с посольством Канады), неизвестного Б (разговор с женой) с голосом подследственного Иванова занял два больших толстых тома. В них вошли тексты разговоров, подробные описания принципов и методов сличения, были приложены осциллограммы, звуковиды, статистические таблицы, схемы и диаграммы, составленные по контрольным словам.

Подписали отчёт начальник института инженер-полковник В., начальник лаборатории инженер-

майор Т. и я – старший научный сотрудник, кандидат наук…

(Там же)

Никакого морального дискомфорта не испытывает по этому поводу и Солженицын, которого Копелев – по-дружески – сразу же подключил к выполнению этого важного государственного задания:

…

Подписка о «внесудебной ответственности» не помешала мне в первый же день рассказать обо всем Солженицыну, разумеется, так, чтобы никто не мог подслушать. Он расспрашивал, переспрашивал. Услышав о подписке, нахмурился:

– Ты понимаешь, что это не пустая условность? Не вздумай рассказывать ещё кому-нибудь. В таких делах третий – лишний.

Ни с кем другим я и не собирался говорить об опасной тайне. И ему рассказал не только потому, что абсолютно доверял. Хотя это, разумеется, было очень важно. Но мне были нужны ещё и его математические советы и непосредственная помощь. Требовалось установить, насколько возможны совпадения внешних (явственных по звуковидам) проявлений микроинтонаций и микролада речи у разных людей. Для этого я решил «просмотреть» возможно большее число голосов. Он предложил исследовать не меньше 50, чтобы легче определять процентные данные совпадений и отклонений…

Солженицын разделял мое отвращение к собеседнику

американцев. Между собой мы называли его «сука», «гад», «блядь» и т. п.

. . . . . .

Мы заканчивали оформление подробного отчёта о первом фоноскопическом опыте установления личности при звукозаписи разговора. Тогда же я составил предварительный план исследований, необходимых и для развития фоноскопии, и для возможно более точного определения конкретных условий «узнаваемости» голоса…

В разработке этого плана мне помогал только Солженицын; он снабдил меня математической аргументацией.

. . . . . .

Солженицын проводил длительные многоступенчатые артикуляционные испытания нескольких новых моделей. Работал он дотошно, безукоризненно и добросовестно.

«Диагнозы» – то есть оценки испытуемых каналов – он ставил решительно, уверенно, в иных случаях даже залихватски безапелляционно. Сказывались молодость и армейские замашки.

(Там же)

В романе всё не так. Совсем не так.
То есть поначалу как будто так же:

…

Надо будет и Глеба затянуть в эту новую группу. Как же работать, ни с кем не советуясь?.. Задача будет очень трудна. Работа над голосами только у них началась. Первая классификация. Первые термины.

Азарт исследователя загорался в нем.

(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 207)

Так же, как это рассказано в копелевских воспоминаниях, Копелев (виноват, Рубин) открывает Нержину (Солженицыну) доверенную ему (из зэков – только ему одному) государственную тайну:

...

Если бы сейчас американские империалисты выкрали его с шарашки и резали б его на кусочки – он не открыл бы им своего сверхзадания! Но быть среди зэков шарашки единственным обладателем такой гремучей тайны и не сказать даже Нержину – это было уже сверхчеловеческое требование!

Сказать Глебу – всё равно что и никому не сказать, потому что Глеб никому не скажет. И даже очень естественно было с ним поделиться, потому что он один был в курсе классификации голосов и один мог понять трудность и интерес задачи. И даже вот что – была крайняя необходимость ему сказать и договориться сейчас, пока есть время, а потом пойдёт горячка, от лент не оторвёшься, а дело расширится, надо брать помощника...

Так что простая служебная дальновидность вполне оправдывала мнимое нарушение государственной

тайны...

(Там же. Стр. 279–280)

Но на этом сходство тут же и кончается:

...

– Пойми, мужичок, – закончил Рубин, – это – новая наука, фоноскопия, свои методы, свои горизонты. Мне и скучно и трудно входить в неё одному. Как здорово будет, если мы этот воз подхватим вдвоём! Разве не лестно быть зачинателями совершенно новой науки?..

– Слушай, Лев... Все эти атомные бомбы, ракеты «фау» и новорожденная твоя фоноскопия... – он говорил рассеянно, как бы не решив, что ж ответить, – это же пасть дракона. Тех, кто слишком много знает, от роду веков замуровывали в стенку. Если о фоноскопии будут знать два члена Совета министров, конечно Сталин и Берия, да два таких дурака, как ты и я, то досрочка нам будет – из пистолета в затылок...

Рубин помолчал в затруднении. И Нержин молчал... Кажется, тысячу раз у них было вдоль и поперёк переговорено всё на свете, всё известно – а вот глаза их, тёмно-карие и тёмно-голубые, ещё изучающе смотрели друг на друга.

Переступить ли?..

– Но такой телефонный разговор – это узелок мировой истории. Обойти его – нет морального права.

Нержин оживился:

– Так ты и бери дело за жабры! А что ты мне вкручиваешь тут – новая

наука да досрочка? У тебя цель – словить этого молодчика, да?

Глаза Рубина сузились, лицо ожесточело.

– Да! Такая цель! Этот подлый московский стиляга, карьерист, стал на пути социализма – и его надо убрать.

– Почему ты думаешь, что – стиляга и карьерист?

– Потому что я слышал его голос. Потому что он спешит выслужиться перед боссами...

– Находясь, видимо, в немалом чине, не проще ли ему выслужиться перед Вышинским? Не странный ли способ выслуживаться – через границу...

– Вероятно, он рассчитывает туда попасть. Чтобы выслужиться здесь, ему нужно продолжать серенькую безупречную службёнку, через двадцать лет будет какая-нибудь медалька, какой-нибудь там лишний пальмовый лист на рукаве, я знаю? А на Западе сразу – мировой скандал и миллион в карман...

– М-да-а... Но всё-таки судить о моральных побуждениях по голосу в полосе частот от трёхсот до двух тысяч четырёхсот герц... А как ты думаешь, он – правду сообщил?

– То есть относительно радиомагазина?

– Да.

– В какой-то степени очевидно – да.

– «В этом есть рациональное зерно»? – передразнил Нержин. – Ай-ай-ай, Лёвка-Лёвка! Значит, ты становишься на сторону воров?

– Не воров, а – разведчиков!..

– Какая разница! Такие же стиляги и карьеристы, только нью-

йоркские, крадут секрет атомной бомбы, чтобы получить от Востока три миллиона в карман!..

– Дурень! Ты безнадёжно отравлен испареньями тюремной параши! Тюрьма тебе исказила все перспективы мира! Как можно сравнивать людей, вредящих социализму, и людей, служащих ему? – Лицо Рубина выражало страдание.

(Там же. Стр. 280–282)

И тут с новой силой вспыхивает между друзьями их, видимо, уже давний, вечный спор, с каждым новым витком принимая все более ожесточённые формы:

...

– Никуда ты, никуда не денешься! – грозно толковал Рубин. – Придётся тебе дать отчёт: по какую сторону баррикады ты стоишь?!

– Вот ещё, мать твою, фанатиков перегрёб, – всю землю нам баррикадами перегородили! – сердился и Нержин. – Вот в этом и ужас! Ты хочешь быть гражданином вселенной, ты хочешь быть ангелом поднебесья – так нет же, за ноги дёргают: кто не с нами, тот против нас! Оставьте мне простору! Оставьте простору! – отталкивался Нержин.

– Мы тебе оставим – так те не оставят, с той стороны!

– Вы оста-авите! Кому вы оставляли! На штыках да на танках всю дорогу...

– Дитя моё, – смягчился Рубин, – в исторической перспективе...

– Да на хрена мне перспектива! Мне жить сейчас, а не в перспективе.

Я знаю, что ты скажешь! – бюрократическое извращение, временный период, переходный строй – но он мне жить не даёт, ваш переходный строй, он душу мою топчет, ваш переходный строй, – и я его защищать не буду, я не полоумный!

(Там же. Стр. 283)

И после ещё нескольких таких же витков они вновь возвращаются к тому, с чего начали. Но если в начале у Рубина была надежда, что в конце концов, под тем или под другим соусом, ему всё-таки удастся уговорить Нержина вместе работать над созданием новой науки, то теперь от этих его надежд не остается уже и следа:

...

– Собака! Стерьва... Голоса классифицировали вместе... Что ж мне теперь – одному работать?

– Найдёшь кого-нибудь.

– Ко-го?? – нахохлился Рубин, и было странно видеть детски-обиженное выражение на его мужественном пиратском лице.

– Нет, мужик, ты не обижайся. Значит, они меня будут известной жёлто-коричневой жидкостью обливать, а я им – добывай атомную бомбу? Нет!

– Да не им – н а м, дура!

– Кому – нам? Тебе нужна атомная бомба? Мне не нужна. Я... к мировому господству не стремлюсь.

– Но шутки в сторону! – спохватился опять Рубин. – Значит, пусть этот прыщ отдаёт бомбу Западу?..

– Ты спутал, Лёвочка, – нежно коснулся отворота его шинели

Глеб. – Бомба – на Западе, её там изобрели, а вы воруете.

– Её там и кинули! – блеснул коричнево Рубин. – А ты согласен мириться? Ты потворствуешь этому прыщу?.. Ты согласен получить Хиросиму? На русской земле?

– А по-твоему воровать бомбу? Бомбу надо морально изолировать, а не воровать.

– Как изолировать?! Идеалистический бред!

– Очень просто: надо верить в ООН! Вам план Баруха предлагали – надо было подписывать! Так нет, Пахану бомба нужна!

(Там же. Стр. 284)

Да, не похож, совсем не похож этот Нержин на того, каким предстал перед нами его прототип в копелевских воспоминаниях о Марфинской шарашке. Но и солженицынский Рубин, прообразом которого был автор этих воспоминаний, тоже довольно далеко отклонился от своего прототипа. «Угол отклонения» тут не так велик, как в оппозиции «Нержин – Солженицын». Но в этом случае интерес представляет не так величина этого отклонения, как его вектор.

* * *

Нержин, как уже было сказано, – ALTER EGO автора. Но не того, каким он был в годы, проведённые им на «шарашке», а более позднего, уже давно расставшегося со своей былой верой в мировую революцию. Говоря попросту, в романе он несравненно умнее себя прежнего. Что же касается Рубина, тут дело обстоит ровно наоборот. Рубин в романе не то, чтобы каким был, таким остался, но даже сильно оглуплен в сравнении с тем, каким был его прототип в те – теперь уже давние – годы.

Вспомним, какой была первая его реакция на приобщение к новому, сверхсекретному спецзаданию:

…

К тому времени я уже законспектировал дюжину книг и кучу статей по физиологии речи, провел множество экспериментов, пытаясь возможно точнее определить конкретные признаки одного голоса. Куприянов, Солженицын и я произносили одни и те же слова с разными интонациями, нарочито изменяя голос, либо подделываясь под чужеземное произношение, либо имитируя акцент (грузинский, еврейский, немецкий, украинский...). Потом я сравнивал звуковиды... Сергей Куприянов сделал приставку к АС-3, которая позволяла «укрупненно» выделять и анализировать отдельные звуки, отдельные полосы частоты...

Иногда казалось, что уже нашел. Вот именно такой рисунок гармоники в звуковиде такой-то гласной, именно такое чередование подъемов-опусканий более темных (то есть более энергичных) и более светлых участков присуще данному голосу. Потом оказывалось, что тот же звук этот голос произносил совсем по-другому либо, напротив, обнаруживались очень сходные черты в звуковиде другого голоса.

И тогда надежды, нетерпеливое ожидание, радость сменялись разочарованием, злой досадой, недоверием к себе.

Теперь все эти искания, исследования, предположения нужно было целеустремленно сосредоточить, подчинив одной задаче – найти шпиона.

(Л. Копелев. Утоли моя печали)

Это реакция учёного, перед которым поставлена новая – сугубо научная – задача. Только одно чувство владеет им сейчас:

как удастся (ещё удастся ли?) ему её решить. И только ему одному подчинены сейчас все его эмоции: надежды, радость, нетерпеливое ожидание, рождённые предвкушением научного открытия, которое ему предстоит совершить, и – злая досада, недоверие к себе, вызванные страхом, что ничего у него не получится, что совершить это – такое уже близкое – открытие ему не удастся.

Моральная, этическая сторона этого весьма специфического сепцзадания в потоке владеющих им эмоций как бы вынесена за скобки.

Собственно, никакой моральной проблемы для него тут не существует, эта сторона дела никаких сомнений, а тем более колебаний у него не вызывает. О ней сказано вскользь, мимоходом, как о чем-то само собой разумеющемся, двумя короткими фразами:

...

> *...Все эти искания, исследования, предположения нужно было целеустремленно сосредоточить, подчинив одной задаче – найти шпиона...*
>
> *Он был причастен к заповедным государственным тайнам и выдавал их нашим злейшим врагам. Его необходимо изобличить, и я должен участвовать в этом... (Там же)*

Иное дело – в романе.

Тут эта моральная, этическая проблема выдвинута на первый план. Именно она определяет весь строй испытываемых Рубиным чувств, весь поток владеющих им эмоций.

Радость, которую испытывает Рубин, приобщённый к сверхсекретному спецзаданию высочайшей государственной важности, не имеет ничего общего с той радостью, которую испытывал его прототип.

У того это была радость предвкушаемого научного открытия («Зато это хорошая физика!» – как сказал Ферми своим коллегам, вместе с которыми работал над созданием атомной бомбы).

Радость, захлестнувшая приобщённого к тому же спецзаданию Рубина – совсем другого рода:

...

Рубин впился в пёструю драпировку, закрывающую динамик, будто ища разглядеть там лицо своего врага. Когда Рубин так устремлённо смотрел, его лицо стягивалось и становилось жестоким. Нельзя было вымолить пощады у человека с таким лицом.

После слов: «А кто такой ви? Назовите ваш фамилия» – Рубин откинулся к спинке кресла уже новым человеком. Он забыл о чинах, здесь присутствующих, и что на нём самом давно не горят майорские звёзды. Он поджёг погасшую папиросу и коротко приказал:

– Так. Ещё раз.

Смолосидов включил обратный перемот.

Все молчали. Все чувствовали на себе касание огненного колеса.

Рубин курил, жуя и сдавливая мундштук папиросы. Его переполняло, разрывало. Разжалованный, обесчещенный – вот понадобился и он! Вот и ему сейчас доведётся посильно поработать на старуху Историю. Он снова – в строю! Он снова – на защите Мировой Революции!

(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 204–205)

Это – чистейшей воды анахронизм!

В 1949 году о Мировой Революции давно уже никто не вспоминал. И Рубин выглядит тут этаким новоявленным Рип Ван Винклем, заснувшим в одной стране – с наркомами, реввоенсоветами, командармами и «Нашим ответом Чемберлену», и проснувшимся – спустя двадцать лет – совсем в другой, с министрами, золотопогонными офицерами, генералами и увенчивающим эту новую государственную пирамиду генералиссимусом.

Для Рубина, как и для его прототипа, никакой моральной проблемы тут не существует. Мотивировка его готовности принять участие в разоблачении вражеского лазутчика тут другая. Но – как там, так и тут, – решение принимается сразу, без колебаний и даже с восторгом.

Но это – в «атомном» варианте романа.

В «лекарственном» так просто не получается. Ситуация-то ведь здесь совсем другая. Одно дело – участвовать в разоблачении предателя, выдавшего врагам величайшего значения государственную тайну, и совсем другое – помочь ненавистным органам опознать человека, совершившего, хоть и наивный, может быть, опрометчивый, но безусловно благородный поступок:

…

Смолосидов включил на прослушивание.

Рубин впился в пеструю драпировку, закрывающую динамик, будто ища разглядеть там лицо своего врага. Когда Рубин так устремлённо смотрел, его лицо стягивалось и становилось жестоким. Нельзя было вымолить пощады у человека с таким лицом.

В тишине кабинета прозвучал с легкими примесями шорохов диалог взволнованного торопящегося незнакомца и нерасторопной старомодной дамы.

И лицо Рубина с каждой фразой теряло своё приготовленное жесткое выражение. Оно даже стало растерянным. Боже мой, это было совсем не то, это дикость была какая-то…

А лента кончилась.

От Рубина ждали, но он совсем не знал ещё, что сказать.

Надо было хоть немного времени и чтобы не смотрели со всех сторон на него. Он поджёг погасшую папиросу. Попросил:

– Так. Ещё раз.

Смолосидов включил обратный перемот.

Рубин с надеждой смотрел на его тёмные руки с голубыми пальцами. Ведь мог же бы он сейчас ошибиться! – включить не головку прослушивания, а головку записи! И все бы стёрлось бесследно! И Рубину нечего было бы решать.

Рубин курил, жуя и сдавливая мундштук папиросы.

Молчали.

Нет, Смолосидов не ошибся! Он включил именно ту головку, которую надо.

И опять с нервностью и почти отчаянием зазвучал голос молодого человека, и опять мычала или брюзжала недовольная дама. И надо было вообразить и представить себе преступника...

Он опустил лицо в пальцы руки. Самая главная дикость тут была в том, что не мог разумный человек с незамутнёнными мозгами посчитать любое медицинское открытие – государственной тайной. Потому что не медицина та медицина, которая спрашивает у больного национальность. И этот человек, решившийся звонить в осаждённую квартиру (а может, он и не понимал всей опасности), этот смельчак был симпатичен Рубину – Рубину тоже как простому человеку.

(А. Солженицын. В круге первом. Париж. 1969. Стр. 231–232)

Ситуация как будто безвыходная.

Но выход находится сразу.

Мгновенно влючается тот же механизм самообмана, самоуговаривания, самонакачки, что и в «атомном» варианте:

*Но **объективно** – объективно этот человек, пожелавший сделать как будто добро, на самом деле выступал против положительных сил истории. Раз приоритет науки был признан важным и нужным для укрепления нашего государства – значит, тот, кто подрывает его, становится объективно на пути прогресса. И должен быть сметён…*

Да и не так все просто в разговоре. Это испуганное повторение слова «иностранцы». Передать «кое-что». Это может быть и не препарат. А «препарат» может быть и шифровкой. История знает примеры. Как вызывали балтийцев на вооружённое восстание?

«Высылай устав!» А значило – высылай корабли и десант…

Лента кончилась. Рубин вынул лицо из ладони, посмотрел на угрюмого Смолосидова, на бессмысленного чванливого Бульбанюка. Они были ему отвратительны, смотреть на них не хотелось. Но здесь, на этом маленьком перекресточке истории, именно они объективно представляли собою её положительные силы.

И надо было стать выше своих чувств!

Именно такие же мясники, только из армейского политотдела, затолкали Рубина в тюрьму, не снеся его талантливости и честности. Именно такие же мясники, только из главной военной прокуратуры, за четыре года бросили в корзину десяток жалоб-воплей Рубина о том, что он не виновен.

И надо было стать выше своей несчастной судьбы!

И хотя эти достойны были, чтоб их прямо здесь, в комнате, рвануть противопехотной гранатой, – надо было не им служить, а – стране своей, её передовой идее, её знамени.

(Там же. Стр. 232–233)

В начале этой главки я написал, что Рубина в сравнении с его прототипом Солженицын в своём романе **оглупил** .

Но это сказано слишком слабо.

На самом деле он его не оглупил. Он его **оболванил** .

* * *

Когда Твардовский, потрясённый только что прочитанной им рукописью никому неведомого Щ-854, захотел поделиться радостью своего открытия с коллегами, первым из тех, к кому он с этим обратился, был Михаил Александрович Лифшиц.

Имя это было не таким громким, как имена Чуковского, Маршака и Эренбурга, на поддержку которых он тогда решил опереться, предвидя трудный путь прохождения этой маленькой повести в печать. Но для Твардовского мнение о ней Михаила Александровича, высказанное им хотя бы даже приватно, по гамбургскому, так сказать, счёту, значило больше, чем суждения о ней всех прочих его собратьев по перу, вместе взятые.

Михаил Александрович Лифшиц был первым и среди тех, кому Александр Трифонович дал на отзыв и только что прочитанную им рукопись солженицынского романа «В круге первом».

Этих двух – очень разных – людей связывали особые отношения.

Но об этом – чуть позже. А сперва надо всё-таки хоть несколько слов сказать об этом замечательном человеке, имя которого и тогда было, как говорится, *широко известно в узких кругах* , а ныне и вовсе уже мало кому известно.

Друзья и недруги иронически называли его *последним марксистом* . Сам он на эту кличку не обижался. От своей упорной приверженности марксизму не только не открещивался, но даже гордо на ней настаивал. Не обиделся он и на совсем уже обидную кличку, которой наградил его один из современников.

Хотя и не удержался от ответа, найдя для него местечко в предисловии к одной из своих последних книг.

...

> *Один писатель, живущий ныне за рубежом, – писал он в этом предисловии, – назвал меня «ископаемым марксистом». Конечно, ископаемым быть нехорошо, хотя бывают и полезные ископаемые. Но, принимая долю истины, заключённую в этой характеристике, скажу только, что лучше быть ископаемым марксистом, чем ископаемым проповедником реставрации Бурбонов. Остальное покажет время. «Кто будет жить, тот увидит», – говорят французы.*

Этим «живущим ныне за рубежом» писателем, который назвал его ископаемым марксистом, был А. И. Солженицын. Именно в него метил Михаил Александрович своей ответной репликой об «ископаемом проповеднике реставрации Бурбонов». И именно к нему обратил последнюю фразу этого своего иронического пассажа: «Остальное покажет время. Кто будет жить, тот увидит».

С той поры как были написаны эти слова, прошло – для истории – не так уж много времени. Но те, кто жил в эти годы, увидели многое. В том числе – крушение гигантской империи, недавно ещё казавшейся самым убедительным воплощением марксистской доктрины.

До этих ошеломляющих событий Михаил Александрович не дожил. Но и тогда, полвека тому назад, марксизм был уже весьма сильно скомпрометирован множеством гнусных, кровавых злодеяний, совершавшихся от его имени.

Будучи человеком умным, Михаил Александрович не закрывал на это глаза. Однажды случилось так, что я целый месяц сидел с ним за одним столом – в столовой переделкинского Дома Творчества. И мы вели долгие увлекательные беседы. Говорили о том, о чем тогда говорили все в нашем кругу: о Ленине, о Сталине, о том, в какой исторический тупик завели нас эти бывшие наши вожди. И тут мы с Михаилом Александровичем

оказались полными единомышленниками. Сталина он ненавидел. Никто, говорил он, так не надругался над марксизмом, как этот кровавый палач и недоучка.

В таких вот беседах и проходил наш переделкинский месяц.

А однажды пришлось нам с ним поехать в Москву – на какое-то важное собрание в Союзе писателей. Собрания эти тогда бывали весьма бурными и интересными, и мы старались их не пропускать.

Вдвоём мы поймали такси и отправились, продолжая в пути вести обычные наши разговоры. Точнее – один и тот же нескончаемый разговор на одну и ту же постоянную тему: какой гад Сталин, и какие отклонения от классического марксизма допустил Ленин. А когда подъехали к ЦДЛ, выяснилось, что тут пути наши на время должны разойтись. Для Михаила Александровича, как и для всех членов партии, собрание должно было начаться в четыре, а для нас, беспартийных, – в шесть, после того как партгруппа все обсудит и примет свои решения. Таков был всегдашний порядок, о котором я то ли не знал, то ли забыл.

Узнав об этом, я чертыхнулся, размышляя, как мне теперь быть. Ехать домой – не стоило: не успею приехать, как уже надо будет возвращаться. А болтаться два часа где-нибудь в буфете с местными завсегдатаями-алкашами тоже не больно хотелось.

– Но ведь у вас есть ещё один, третий вариант, – тонко улыбнулся Михаил Александрович. – Вы можете присоединиться к нашей фракции.

– А вот это, – не без удовольствия ответил я, – невозможно. По причинам, которые мы с вами только что обсуждали.

Чем там кончились эти мои сомнения и где провел я эти злосчастные два часа, – сейчас уже не помню.

Помню только, что когда собрание наконец началось, одним из первых ораторов на трибуне оказался мой Михаил Александрович. И перед аудиторией, сверху донизу нашпигованной стукачами, он произнёс речь, которую я – без ложной скромности – воспринял как не лишённый остроумия ответ на моё объяснение причин, по которым я не мог и не хотел присоединяться к «их фракции».

– Я, – сказал он, – как вы знаете, марксист. Сейчас это не модно, но тем не менее, я марксист. Так вот, позвольте мне объяснить вам, почему, несмотря ни на что, я продолжаю оставаться марксистом.

И далее он кратко, но выразительно пересказал знаменитую новеллу Боккаччио, в которой повествуется о том, как почтенный торговец сукнами, проживавший в городе Париже, решил обратить в христианскую веру своего друга, еврея Авраама, тоже

весьма богатого и почтенного купца. Еврей всячески этому противился, но его друг-христианин не щадил сил, чтобы добиться успеха.

Наконец еврей, побеждённый настойчивостью своего друга, сдался. «Хорошо, – сказал он, – я готов сделаться христианином. Но сперва я отправлюсь в Рим, дабы там увидать того, кого ты называешь наместником Бога на земле, увидать его нравы и образ жизни, а также его братьев кардиналов. Если, поглядев на них, я смогу окончательно убедиться в преимуществах твоей веры над моей, – приму крещение. А коли нет, как был, так и останусь евреем».

Услышав такой ответ, купец-христианин решил, что все его труды пошли прахом: кто же поверит в истинность христианской веры, увидав, как живут высшие иерархи Римской католической церкви, как глубоко погрязли они в пьянстве, обжорстве, роскоши и разврате.

Каково же было его изумление, когда его друг-еврей, вернувшись из Рима, объявил, что согласен. Да, побывав в Ватикане, он окончательно убедился, что должен принять христианство. Если, несмотря на то, что вытворяют те, кому заповедано быть главными хранителями заветов Христа, христианская вера не только не рушится, но даже с каждым днем обретает все новых и новых адептов и последователей, – значит, это действительно ИСТИННАЯ ВЕРА.

Пересказав эту замечательную историю, Михаил Александрович, весьма собою довольный, повторил:

– Теперь, я надеюсь, вы поняли, почему я остаюсь марксистом.

С Твардовским, как уже было сказано, Михаила Александровича связывали особые отношения.

Начать с того, что, несмотря на разницу в возрасте, они были «на ты». Вообще-то этому удивляться не приходится: такое порой случается. Вот, например, Алексей Иванович Пантелеев был «на ты» с С. Я. Маршаком, который был аж на двадцать лет его старше, а М. А. Лифшиц был старше А. Т. Твардовского всего лишь на пять. Но в середине 30-х, когда молодой Твардовский был студентом МИФЛИ (Московского института философии, литературы и истории), Михаил Александрович был в том же институте профессором. И не просто профессором, а одним из самых блестящих и самых почитаемых тогдашних московских профессоров.

Впрочем, когда они перешли на ты, я сказать не могу. Случилось это, надо полагать, позднее, когда Александр Трифонович уже не был студентом. Но, согласитесь, не так часто

это бывает, чтобы даже бывший студент тыкал даже и бывшему своему профессору.

...

Отношения у нас с ним, – вспоминал Михаил Александрович, – бывали разные, несмотря на нашу взаимную искреннюю любовь друг к другу. Помню, что называл он меня «кассовым автором» в том смысле, что тираж «Нового мира» после моих статей не упал. К сожалению, их было не так много – отчасти по внешним обстоятельствам, отчасти вследствие влияния «портфеленосцев», которые сами хотели быть Белинскими...

(Мих. Лифшиц. Почему я не модернист? М. 2009. Стр. 605)

Приведу ещё один небольшой отрывок из тех же его воспоминаний:

...

К моей статье «В мире эстетики» Твардовский относился с полным сочувствием, но я не помню каких-нибудь его замечаний по этому поводу, кроме того, что в Ленинграде статью читают на Невском (со слов одного писателя, который теперь ругает меня «ископаемым марксистом»). Зато прекрасно помню, как после прочтения рукописи статьи о Мариэтте в конце 1953 г. он приехал ко мне с Дементьевым и сказал: «Ты сам не знаешь, что ты написал!» Я отвечал ему, что знаю и могу представить себе даже некоторые последствия.

Очень забавны были его суждения по поводу моей ненапечатанной (по происка его же «портфеленосцев») статьи «На деревню дедушке», но это уже не для письма.

(Там же)

Упоминающаяся в этом письме «статья о Мариэтте» была блистательным его сатирическим памфлетом о дневниках Мариэтты Шагинян, появление которой на страницах «Нового мира» вызвало тогда грандиозный скандал, ставший одной из главных причин вынужденного ухода Твардовского с поста редактора этого журнала. А «портфеленосцами», которые «сами хотели быть Белинскими», Михаил Александрович именует ближайших соратников Твардовского по журналу (сперва это был А. Г. Дементьев, потом, сменивший его на посту первого зама главного редактора В. Я. Лакшин). Этих своих «портфеленосцев» Твардовский привечал, конечно, не только потому, что они таскали за ним его портфель и чуть ли не подавали ему пальто. И даже не только потому, что они бывали постоянными его собутыльниками и подпевали ему, когда, подвыпив, он заводил любимые свои песни.

Обоих этих своих «замов» он высоко ценил, и они тоже искренне любили и его самого, и его музу. Но эта их любовь не шла ни в какое сравнение с отношением к Твардовскому и его музе отнюдь не принадлежавшего к сонму «портфеленосцев» Михаила Александровича Лифшица:

...

...Маяковского я считаю значительной и до сих пор не понятой фигурой, представителем антипоэзии, доведённой до гиперболических размеров. Его несчастью я сочувствую, его программу – отвергаю. Багрицкий это мелочь. В Есенине что-то есть, но в целом – слишком мало и слишком однообразно... Больше поэзии в прежнем смысле, чем у Маяковского, и меньше

значительности. С точки зрения формы (а форма – то же содержание в его наиболее широком, всеобщем разрезе), мне кажутся серьезными поэтами Мандельштам и Заболоцкий (не говоря, конечно, о Блоке и некоторых других символистах). В самом прямом и основательном смысле мой поэт – Твардовский…

(Из писем Мих. Лифшица. В кн.: Мих. Лифшиц. Почему я не модернист? Философия. Эстетика. Художественная критика. М. 2009. Стр. 551)

Эта лифшицовская эстетическая табель о рангах, о которой Твардовский, разумеется, не мог не знать, была Александру Трифоновичу необыкновенно близка. Не столько даже потому, что в этой системе ценностей ему принадлежало весьма почётное (едва ли даже не самое почётное) место (хотя и это тоже, конечно, было для него важно). Главным в этой системе эстетических (поэтических) ценностей было отношение Михаила Александровича к его знаменитым предшественникам: Маяковскому (которого он тоже отвергал), Есенину (к которому тоже относился пренебрежительно), Багрицкому (которого тоже склонен был считать «мелочью»).

Немудрено, что при таком совпадении не только вкусов, но и эстетических программ, суждение М. А. Лифшица о Солженицыне было для Александра Трифоновича особенно важно.

Предчувствие, что и в оценке этого нового, только что открытого им «живого классика» они тоже совпадут, его не обмануло.

О рукописи повести, называвшейся тогда «Щ-854» и подписанной псевдонимом «А. Рязанский», Михаил Александрович отозвался так:

…

Мне кажется, что только человек, у которого совесть заросла диким мясом, может пройти равнодушно мимо этого произведения. В нем есть нечто

большее, чем литература. Но это не жалоба, а спокойное и глубоко взвешенное изображение трагедии народа…

Мне нравится, что автор не изображает никаких чрезвычайных ужасов. Он никому не подражал, но его Иван Денисович как будто вышел из произведений классической русской литературы, чтобы жить в наше время. На этого «работягу» можно положиться, и он многому может научить – более важному, чем то, что можно извлечь из произведений Хемингуэя и Камю. Как ни тяжело все, что описано в повести «Один день…», она вызывает не сомнение, а прилив мужества…

Много нужно было бы написать, чтобы перечислить все замечательные черты реальности, как бы врезанные ножом мастера-художника в его небольшое произведение… Автор так же умен и глубок в своей психологической живописи и в своём выборе каждого слова, как и в общем взгляде на жизнь.

Было бы преступлением оставить эту повесть ненапечатанной. Она поднимает уровень нашего сознания.

(Мих. Лифшиц. Почему я не модернист? Философия. Эстетика. Художественная критика. М. 2009. Стр. 566–567)

Роман Солженицына «В круге первом» он оценил так же высоко.

Но – не так безоговорочно, как «Один день Ивана Денисовича»:

…

Получив возможность прочесть новое произведение А. И. Солженицына, я не сделал себе жизнь легче. И это понятно – в чем же тогда значение настоящей литературы, если она не в силах потрясти нас, выбить из колеи? Роман Солженицына производит сильное впечатление прежде всего как неотразимый человеческий документ, написанный с полной достоверностью. Не знаю, когда сие будет напечатано, но когда бы то ни было, все равно – книга Солженицына имеет непреходящее значение как литературное свидетельство о самых сложных, трагических, богатых содержанием фактах современной эпохи. Эти факты должны иметь своего летописца, и они нашли его.

Читая роман «В круге первом», видишь перед собой вторую половину жизни, прожитой нами до 1953 года, её изнанку, а без того все остальное не полно, не достоверно. Спускаясь вниз по ступеням ада, мы узнаем много реальных подробностей, освещённых опытом умного и глубокого человека... Особенно характерно для А. И. Солженицына то, что связывает его с русской литературой XIX века, – неподкупная нравственная постановка вопроса о жизни человека в обществе ему подобных.

С этой именно точки зрения мне придется изложить здесь некоторые мои претензии к автору, потому что они есть. Не то чтобы я хотел учить его. Мне впору самому учиться у такого писателя, как Солженицын. Но пусть он представит себе обыкновенный разговор в стенах

описанной им шарашки, разговор свободный от каких бы то ни было внешних и принудительных аргументов. За мною таких аргументов нет, по причинам, которые нечего здесь объяснять.

(Там же. Стр. 567–568)

У Михаила Александровича были все основания надеяться, что Александр Исаевич, если не поймёт, так поверит, что это на самом деле так. Что в его претензиях к роману не содержится и тени каких-либо внешних и принудительных аргументов.

Но этого не случилось.

Никакой разницы между этим – не совсем обычным внутренним рецензентом его романа и другими его внутренними рецензентами, отнюдь не свободными от принудительных аргументов (теми, кого Михаил Александрович презрительно называл «портфеленосцами»), он не ощутил. Все они были для него на одно лицо:

...

Для Твардовского начались счастливые дни открытия: он бросился с рукописью по своим друзьям и требовал выставлять бутылку на стол в честь появления нового писателя. Надо знать Твардовского: в том он и истый редактор, не как другие, что до дрожи, до страсти золотодобытчика любит открывать новых авторов. Он кинулся по друзьям, но вот странно: в пятьдесят один год, известный поэт, редактор лучшего журнала, важная фигура в союзе писателей, немелкий и среди коммунистов, Твардовский мало имел друзей, почти их не имел: своего первого заместителя (недоброго духа) Дементьева; да собутыльника, мутного И. А. Саца; да М. А. Лифшица, ископаемого марксиста-

догматика.

(А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. М. 1996)

При таком настрое внутренняя рецензия «марксиста-догматика», какой бы она ни оказалась, не могла быть воспринята им иначе, чем выражающая официальный – ханжеский, советский, – а значит, глубоко ему враждебный взгляд на его роман.

Так оно и вышло:

…

В тех же днях ещё М. А. Лифшиц, ортодокс, имевший долгие годы сильнейшее влияние на Твардовского, дал письменную рецензию на мой роман. Она предваряла собой те тучи критики, которые стянулись бы над романом, будь он напечатан, и может быть, отчасти поколебала Твардовского. Пришлось мне письменно защищаться.

(Там же)

От чего же тут «пришлось» ему защищаться?

* * *

Прежде всего – от того, как увидел, понял и оценил рецензент фигуру одного из главных – второго по значению – героев его романа:

…

Вторая фигура романа после Нержина, вторая по тому вниманию, которое ей уделяет автор, – это фигура Рубина. В моих глазах она как бы двоится. Трудно решить, кто он – трагическое лицо, коммунист,

продолжающий верить в свою идею, несмотря на все, что обрушила на него реальность сталинской эпохи, или это смешной и претенциозный болтун.

Автор местами настаивает на трагизме Рубина, он подтвердил серьёзность этой фигуры сценой прощания с Нержиным. Между тем по содержанию своих речей и поступков, не говоря уже о манере держаться, Рубин ничтожен. Чувствуется, что реальный прототип скорее таков, а все остальное – от желания поднять его на известную высоту.

Непонятно, переживает ли Рубин серьёзный кризис и духовно растёт в тюрьме, как Нержин, или это пустышка, вчерашний сверхортодокс, завтрашний либерал... Уже находясь в заключении и пройдя школу лагеря, Рубин соглашается принять участие в аресте других людей, хотя проблематичность их вины не укрылась от него... Так легко было отговориться неразвитостью новой секретной «фонологии» или сказать, что голос преступника не обнаружен среди сделанных записей.

Конечно, такой человек, как Рубин, мог существовать, но такой человек не может быть трагическим героем. Это понятно без Аристотеля. И если Рубин действительно таков, каким он нам представляется в стенах шарашки, то как может Нержин, самая обаятельная фигура повествования, как может он видеть в нем друга и вообще разговаривать с ним всерьез?..

Мне кажется, что трагедия

идейного коммуниста в сталинскую эру заслуживает другого изображения. Ведь перед нами проблема оценки всей нашей революции, её исторического значения. Более того, здесь речь идет о вековом развитии революционных идей в России и во всем мире накануне русской революции. Нет, Рубин не та фигура, которая может выдержать такую нагрузку.

(М. А. Лифшиц. О рукописи А. И. Солженицына «В круге первом». В кн.: Мих. Лифшиц. Почему я не модернист? Философия. Эстетика. Художественная критика. М. 2009. Стр. 569–571)

В последних строчках этой инвективы чувствуется что-то личное. И это понятно: ведь Рубин тоже «ископаемый марксист» – такой же, как и он сам. Но – такой, да не такой.

Неприятно увидеть себя в таком кривом зеркале.

Вряд ли, конечно, М. А. Лифшиц способен был увидеть в фигуре Рубина себя. Но подразумеваемая автором романа трагедия Рубина («трагедия идейного коммуниста в сталинскую эру») – это и его трагедия. И он готов это признать:

…

Я принимаю постановку вопроса, данную Солженицыном в его романе. Нужно ещё раз подумать над собственной жизнью, проверить свои поступки. Я сделал это – докладывать о результатах, конечно, не буду, так как речь идет не обо мне.

(Там же. Стр. 568–569)

Михаил Александрович был человек не только самолюбивый, но и самоуверенный. Эту его черту однажды не без иронии отметил искренне любивший и почитавший его А. Т. Твардовский:

…

Удивляет М. А. Лифшиц… Он живет как бы уже в надзвездном пространстве… А. Т. как-то точно сказал: «Думаете, он с нами разговаривает, с дураками – он только с Вольтером может говорить, не меньше».

(А. Кондратович. Новомирский дневник. 1967–1970. М. 1991. Стр. 322)

Если такой человек, который «только с Вольтером может говорить», готов признать, что роман Солженицына заставил его «ещё раз подумать над собственной жизнью, проверить свои поступки», – это, согласитесь, стоит дороже многих комплиментов, которые он мог бы высказать автору этого романа.

А кое-что так даже и высказал.

Эту свою внутреннюю рецензию на солженицынский роман он закончил так:

…

Покончив с этими замечаниями, я должен ещё раз выразить искреннее удивление перед силой таланта и незаурядным умом автора этой книги.

(Там же. Стр. 580)

Но Солженицыну на все эти комплименты – что высказанные, что невысказанные – наплевать.

С ходу, не раздумывая, он кидается в бой:

…

*О **Рубине** . Рецензент отказывает ему не только в трагичности, но даже в значительности – и в речах, и в поступках (и в манере держаться, но*

простим всякому лицу его по сути физические особенности), а уж тем более – в принципиальности.

Я не принимаю и даже не понимаю этих доводов. Я не только перечёл, но выписал из разных мест рецензии все упреки, относящиеся к Рубину и, пересматривая их, нахожу, что они высказаны, пожалуй, слишком общо и всё время только негативно («пустышка», «болтун», не выдерживает положенной на него нагрузки и т. д.)...

Поставим вопрос: человек глубоко принципиальный, честный коммунист и патриот, попавший на 10 лет в лагерь, – как должен был относиться к любой (я настаиваю – к любой) порученной ему работе: от непосильных норм на лесоповале или золотых приисках – до тонкой интеллигентской разработки, даже если она служила (а почему это могло казаться дурным?) укреплению системы НКВД? Перед совестью своей такой человек не имел права на уклонение, на притворство или на обман ни в первом, ни в последнем случае, ибо понимал, что работа делается не по прихоти конкретных близких начальников, а для нужд нашего государства. В первом случае он должен был нагружать полную тачку, не хитря, и откатывать её не медленно, хотя бы и смерть застигла его над этой работой (а так и бывало...). Во втором случае он должен был честно принять порученное ему фоноскопическое задание и развивать новую науку по мере своих способностей...

М. А. Л. пишет: «Высокая (революционная) нравственность не оглядывается на опасность

(погубить свою душу)». Но именно так, именно этим и аргументирует Рубин своё поведение. В чём же так уничтожающе упрекает его рецензент?..

Восприятие мира не должно было измениться в Рубине из-за посадки – изменилось лишь место его в производственном процессе. Он должен был честно выполнять всё порученное, не хитря и не бастуя. А уж сверх этого и во внеслужебное время (Рубину, при распорядке шарашки – с 11 вечера до 9 утра) оставалось право апеллировать о своих сомнениях или возражениях...

Но куда? В партийную организацию (естественный выход на воле) – но Рубин её лишён во всех инстанциях вплоть до ЦК. Непосредственным начальникам (подполковнику Климентьеву, полковникам Осколупову и Яконову)? – но ребёнку ясно, что это не могло дать эффекта. В судебные органы? Но единственно разрешённая форма была – писать о своей личной судьбе. И Рубин пишет неустанно. Писать же об общей системе судопроизводства и лагерей? Такой шаг можно рекомендовать сейчас, но много ли было реальных коммунистов того времени, которые сочли такой шаг не фантастическим? Самое большое – это писали письма Сталину... Результат известен.

Какую же ещё форму борьбы можно порекомендовать Рубину?.. И как при этом не признать его положение трагическим?

(А. Солженицын. По поводу рецензии М. А. Лифшица на роман «В круге первом». Александр

Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 619–620)

Более всего поражает в этом ответе «вынужденного защищаться» Солженицына не слабость, не наивность и даже не фальшь всех этих его аргументов (без фальши, а лучше сказать без притворства в официальном ответе ему тогда было не обойтись), а то, что все они, эти его аргументы, **бьют мимо цели.** Все они – совсем не о том, в чем упрекает его – и его героя – рецензент.

К последней фразе процитированного мною отрывка А. И. сделал такое примечание:

…

Критики «Иван Денисовича» в прессе часто и совершенно безответственно призывают показать в лагере «борьбу». Но пусть же договаривают свой абсурд: ведь «борьба» может вызвать и стрельбу конвоя? Так борьба против кого! Против Советской власти?.. Самое непонятное, почему эти критики, в своё время находясь на воле и имея гораздо больше свободы средств для «борьбы», не вели её сами?

(Там же)

Вот она где собака-то зарыта.

Не Лифшицу отвечает тут Солженицын, а тем критикам «Ивана Денисовича», которые выражали недовольство тем, что герой этой повести, попав в лагерь, не борется там за наши коммунистические идеалы, и вообще не так автор описал лагерную жизнь, как надлежало это сделать настоящему советскому писателю:

Такого рода нападки на солженицынскую повесть поначалу были не сказать чтобы робкими, но – довольно-таки осторожными. Ведь Хрущёв, разрешивший напечатать повесть и даже назвавший её чуть ли не образцом партийности, был ещё у власти. Так что на первом этапе завязалось по этому поводу что-то вроде дискуссии, итог которой подвела «Литературная газета»:

...

Речь идёт о совершенно закономерном желании многих читателей и критиков, глубоко убеждённых в том, что вера в Коммунистическую партию, в Советскую власть никогда не покидала советских людей, прочесть книгу, герой которой даже в самых жестоких условиях бериевского террора всем своим существом активно утверждал эту веру, – желании тем более оправданном, что в жизни таких примеров было немало.

(«Литературная газета». От редакции. 14 июня 1964 года)

Образ Рубина, казалось бы, должен был полностью удовлетворить «закономерное желание» этих критиков-ортодоксов.

– Вам нужен герой, который и в условиях лагеря сохранял бы веру в Коммунистическую партию и Советскую власть? – словно бы говорит этим образом своего романа Солженицын. – Извольте! Вот вам! Пожалуйста! Мой Рубин не только сохраняет эту веру, но и, как вы того хотели, всем своим существом активно её утверждает. А вы – опять недовольны... Опять мне приходится защищаться...

В запальчивости Солженицын даже не замечает, что претензии его оппонента – совсем другого рода. Они не то что не имеют ничего общего с теми, которые критики-ортодоксы предъявляли его Ивану Денисовичу, но прямо им противоположны!

Создаётся впечатление, что рецензию М. А. Лифшица он даже и не прочёл. Не отделяя «ископаемого марксиста» от других коммунистических догматиков, обрушившихся на его «Ивана Денисовича», он и не читая заранее знал, в чем тот будет его упрекать, и все аргументы защиты были у него уже наготове.

Скорее всего так оно и было. Но тут надо ещё принять во внимание и особое отношение Александра Исаевича к критике.

Критику, вообще-то говоря, мало кто любит. Что говорить: выслушивать комплименты куда приятнее, чем прислушиваться к критическим замечаниям, а тем более соглашаться с ними.

Но настоящему художнику комплименты не нужны. То есть нужны, конечно. Но они его не греют. Во всяком случае, куда больше, чем комплименты и даже восторги, его душу греет понимание читателя. И за это понимание, – если он таковое почувствовал, – он готов простить ему любую критику, любые, даже несправедливые придирки.

Но Александру Исаевичу одного только понимания было мало. Ему нужна была победа. Выражаясь языком военных реляций, полная и безоговорочная капитуляция. И всякого своего читателя, который к такой полной капитуляции не был готов, он тут же, с ходу зачислял во враги.

Говорят, что в спорах рождается истина. Но какая истина может родиться в споре с человеком, который не сомневается, что истина уже открылась ему, что только он владеет ею, а каждый, кто хоть в какой-нибудь малости не готов с ним согласиться, должен быть не просто переубеждён, а уничтожен, разгромлен.

Не случайно у меня тут – сама собой – подвернулась на язык формула военного лексикона.

Мандельштам говорил, что поэзия – это сознание своей правоты.

Но сознание своей правоты, владеющее Солженицыным, совсем другого свойства.

Его обращения к единомышленникам – или тем, кого он рассматривает как возможных единомышленников (или хотя бы временных союзников), неизменно обретают форму распоряжения, военного приказа, а то и окрика:

...

6.1. 74

Дорогая Сарра Эммануиловна!

Хочется спросить – не Вас, но, быть может, при Вашем посредстве: до каких же пор писатели будут вести себя как куры – каждая покорно ждет, когда доедет очередь резать её, и беспечно не мешает резать других?

Чего же стоит такая «общественность» и чему же могут научить народ такие писатели, зачем они тогда и книги пишут? Неужели предстоящее, всем известное

исключение Лидии Чуковской и Владимира Войновича пройдёт беспрепятственно, без сопротивления (активного противодействия, а не пустых протестов вослед)? Если так, то, право же, достойная писательская общественность заслуживает презрения ничуть не меньшего, чем её казенное руководство. Как-никак, а большинство-то – у неё.

Если с кем будете об этом толковать – можете ссылаться и на меня и это письмо показывать.

Жму руку

А. Солженицын. (Лидия Чуковская. Сочинения в 2 томах. Том 2. М. 2000. Стр. 105)

Сарра Эммануиловна Бабенышева, которой адресовано (на самом деле – не ей, конечно), это письмо, исполняла в этом случае при Солженицыне (разумеется, не по службе, а по душе) ту же роль, какую в других подобных случаях исполнял уже упоминавшийся мною другой его «порученец по связи с писательской общественностью» – Юра Штерн.

Получив этот «Приказ Верховного Главнокомандующего», Сарра Эммануиловна, естественно, тотчас приняла его к исполнению.

Среди тех, кого она сочла нужным охватить этой акцией, оказался и Алексей Иванович Пантелеев. Ознакомившись с письмом «Сверхрадости», которое С. Э. согласно полученным указаниям, дала ему прочесть, он был глубоко им задет, даже оскорблён:

...

А. И. ПАНТЕЛЕЕВ – Л. К. ЧУКОВСКОЙ

Март 1980

Дорогая Лидочка!..

Когда я узнал, что Вас собираются исключать, я тут же – по велению сердца – составил

телеграмму. И вдруг, в тот же день, если не в тот же час, появляется милая С. и предъявляет мне письмо, читая которое я несколько раз чувствовал, как меня передергивает. Простите, но он плохой психолог. Тот, кто в душе – курёнок или кролик, не очнётся и не похрабреет от того, что ему напомнили о его куриной сущности. Наоборот, ещё больше забоится.

Мысль о том, что он или Вы или кто-нибудь ещё, подумаете, что телеграмма моя возникла под влиянием этого грубого и высокомерного письма, – эта мысль оскорбляет меня.

Я зашёл к себе в кабинет и вернулся с уже готовой, написанной раньше телеграммой.

Возможно, впрочем, что и эта моя оскорблённость тоже мелка.
(Л. Пантелеев – Л. Чуковская. Переписка. 1929–1987. М. 2011. Стр. 455)

Мелка или не мелка была эта его оскорблённость, но вот, уже шесть лет прошло (оскорбившее его письмо Солженицына он прочёл в январе 1974-го, а пишет об этом Лидии Корнеевне в марте 1980-го, прочитав парижское издание её книги «Процесс исключения»), а он помнит обиду так, словно все это случилось только вчера.

Лидия Корнеевна, получив это письмо Алексея Ивановича, не замедлила с ответом (не могла же она не защитить свою «Сверхрадость»).

...

Л. К. ЧУКОВСКАЯ – А. И. ПАНТЕЛЕЕВУ

10 мая 1980

Вы пишете, что накануне моего исключения «милая С.» привезла Вам

«грубое и высокомерное письмо А. И.». Я не нахожу это письмо ни грубым, ни высокомерным, но если бы я хоть минуту подозревала о его существовании – я бы это мероприятие категорически остановила.

Никого и никогда не следует ни на что мобилизовать. Милая С. показала мне это письмо месяца через 3 после всего совершившегося. В ответ на мои упреки она сказала: «Я обратилась только к тем, кого вовсе не собиралась агитировать, кто и сам хотел выступить. У меня была другая цель: чтобы они послали свои письма до заседания, а не после ». И хотя мне грех упрекать милую С., я и с этой целью не согласна. 1) Пусть все делают или не делают когда хотят, 2) практически же до или после никакого значения не имеет. Значение имеет только самое движение души того, кто готов по собственной потребности не молчать. И для шельмуемого то же – только вот эта потребность, испытанная его друзьями. (А иногда им самим.)
(Там же. Стр. 458)

В оценке смысла и тона солженицынского письма Лидия Корнеевна с Алексеем Ивановичем решительно разошлась: он считает его грубым и высокомерным, а она с этим категорически не согласна. Что же касается самого существа дела, то они тут выступают полными единомышленниками. И совсем не потому, что, знай Л. К. об этой акции «Серхрадости» заранее, она бы её «категорически остановила».

Для неё, как и для Алексея Ивановича, протестная телеграмма, отправленная в Секретариат Союза писателей, имеет смысл лишь как живое, искреннее движение души того, кто захочет такую телеграмму отправить. И тут не так даже важно, движет ли им потребность защитить подвергаемого травле товарища, или это для него единственный доступный ему способ

сохранить самоуважение.

Никакого другого, а тем более *практического* значения в их глазах эта акция не имеет, приди такая телеграмма хоть *до* рокового заседания Секретариата, хоть *после* него.

Что же касается Александра Исаевича, что для него весь смысл этой акции именно в *практическом* её значении, в *результате* .

Чем больше членов СП выполнят его указание и выразят протест, тем больше шансов, что начальство вынуждено будет с этим посчитаться и даст задний ход.

Он убеждён, что такой разворот событий в принципе возможен.

Лидия Корнеевна поступала так, как поступала, не потому, что надеялась изменить положение вещей. Она исходила из старого доброго принципа: делай то, что считаешь должным, и – будь, что будет.

Так же думает и чувствует её старый друг и многолетний корреспондент.

А для Александра Исаевича это чисто полководческая задача. Он хочет собрать как можно более внушительную армию. Он верит, что ему (всем им вместе, если они будут его слушаться), удастся переломить ситуацию.

Но что же в этом плохого?

Вот ведь даже Л. Н. Толстой исходил из того, что энергия заблуждения необходима художнику.

Да, необходима. Но – в процессе творчества. Без неё, без этой энергии, ничего стоящего не создашь. Но когда процесс творчества завершён, энергия эта иссякает: приходит отрезвление.

Энергия заблуждения, постоянно владеющая А. И. Солженицыным, не иссякающая, не ослабевающая и после того, как процесс творчества уже завершён, – свойство, присущее скорее полководцу, чем художнику. Наполеону, а не Л. Н. Толстому.

* * *

Вот как далеко увело меня стремление объяснить, почему Солженицын так неадекватно воспринял внутреннюю рецензию М. А. Лифшица на его роман «В круге первом».

Но и сам этот казус, да ещё в таком подробном изложении, понадобился мне не только для того, чтобы лишний раз продемонстрировать, как глух и нетерпим был Александр

Исаевич к критике, исходящей даже из стана друзей, а не врагов.

Для того, чтобы вывести на сцену фигуру «ископаемого марксиста» и уделить ей, этой фигуре, так много внимания, у меня была ещё и другая, куда более серьезная причина.

* * *

В 30-е годы был в СССР такой журнал: «Литературный критик».

Просуществовал он недолго: первый его номер вышел в свет в июне 1933-го, а в 1940-м специальным постановлением ЦК ВКП (б) он был закрыт:

...

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК ВКП (б)

«О ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ И БИБЛИОГРАФИИ».

2 декабря 1940 года

Прекратить издание обособленного от писателей и литературы журнала «Литературный критик». (КПСС в резолюциях. Том 7. М. 1985. Стр. 182)

Закрыт он был по доносу двух тогдашних партийных «литвождей» – А. А. Фадеева и В. Я. Кирпотина:

...

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ СЕКРЕТАРЕЙ ССП СССР

А. А. ФАДЕЕВА И В. Я. КИРПОТИНА СЕКРЕТАРЯМ ЦК ВКП (б)

«ОБ АНТИПАРТИЙНОЙ ГРУППИРОВКЕ В СОВЕТСКОЙ КРИТИКЕ»

10 февраля 1940 г.

В ЦК ВКП (б) – тов. Сталину

– тов. Молотову
– тов. Жданову
– тов. Андрееву
– тов. Маленкову

Условия работы советской критики нельзя считать вполне нормальными. Несколько лиц, организованных как группа, составляющих меньшинство критиков, оказались в исключительно привилегированном положении в области критики. В их руках всецело находятся «Литературный критик», единственный литературоведческий и специально критический журнал на русском языке в СССР, «Литературное обозрение», единственный библиографический литературный журнал. Группу поддерживает газета «Советское искусство». Группе покровительствует работник литературного отдела «Правды» Трегуб, что отражается на подборе лиц, приглашаемых для сотрудничества в литературном отделе «Правды» и что используется группой для муссирования слухов об оказываемой им будто бы партийной поддержке. Руководящими лицами в группе являются Г. Лукач, Мих. Лифшиц, Е. Усиевич. (Власть и художественная интеллигенция. Документы. 1917–1953. М. 2002. Стр. 439)

Будущий «ископаемый марксист», упомянутый тут в числе «руководящих лиц» разоблачаемой «антипартийной группы», был душой разгромленного журнала. А главное – он был душой дискуссии, разразившейся накануне разгрома «Литературного критика» и ставшей главной причиной его гибели.

Дискуссию эту, затронувшую самые основы официальной идеологии и в конце концов вылившуюся в громкую

идеологическую кампанию, вели критики, литературоведы, философы – специалисты по так называемой марксистско-ленинской эстетике.

В ходе этой дискуссии возникли и постоянно мелькали два теперь уже прочно забытых, реликтовых термина: «Благодаристы» и «Вопрекисты».

...

> *Образовались две партии литературоведов. Одни опирались на статью В. Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции», в которой говорилось, что, вопреки своему реакционному мировоззрению, Лев Толстой добился великих художественных успехов. Само слово и понятие «вопреки» взято из статьи Ленина «Л. Н. Толстой и его эпоха». Приверженцев этой несколько примитивно истолкованной ленинской теории называли «вопрекистами»...*
>
> *Другая партия литературоведов стояла на том, что великое художественное произведение может быть создано только благодаря прогрессивному мировоззрению художника. Этих литературоведов называли «благодаристами».*
>
> *(В. Я. Кирпотин. Ровесник железного века. Мемуарная книга. М. 2006. Стр. 420)*

На самом деле так называемые «вопрекисты», главным теоретиком которых был будущий «ископаемый марксист», утверждая, что инстинкт, творческий дар художника может оказаться – и чаще всего оказывается – более надёжным «инструментом» постижения правды жизни, чем его мировоззрение, искали опору для этих своих воззрений не только в статьях Ленина о Толстом, но и в трудах (точнее – отдельных замечаниях) Маркса и Энгельса.

Они ссылались на мысль Маркса, заметившего однажды, что

Бальзак был творцом тех прообразов-типов, которые при Луи-Филиппе находились в зародышевом состоянии, а достигли развития позже, уже при Наполеоне III. Это замечание основоположника великого учения позволяло им сделать вывод, что подметив зарождение нового социального явления, когда в жизни оно ещё не было очевидным, Бальзак именно благодаря своему художественному дару раскрыл сущность этого нового явления, заставив его обнаружиться, проявиться в развернутых, законченных характерах.

Они ссылались на известное замечание Энгельса, брошенное им в его письме к английской писательнице Маргарэт Гаркнесс:

...

Бальзак, которого я считаю гораздо более крупным художником-реалистом, чем все Золя прошлого, настоящего и будущего, в своей «Человеческой комедии» даёт нам самую замечательную реалистическую историю французского «общества»... он группирует всю историю французского общества, из которой я узнал даже в смысле экономических деталей больше... чем из книг всех профессиональных историков, экономистов, статистиков этого периода, взятых вместе. Правда, Бальзак политически был легитимистом. Его великое произведение – непрестанная элегия по поводу непоправимого развала высшего общества; его симпатии на стороне класса, осуждённого на вымирание. Но при всем этом его сатира никогда не была более острой, его ирония более горькой, чем тогда, когда он заставляет действовать аристократов, мужчин и женщин, которым он глубоко симпатизирует... То, что Бальзак был принуждён идти против своих

собственных классовых симпатий и политических предрассудков, то, что он видел неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи... я считаю одной из величайших побед реализма, одной из величайших особенностей старика Бальзака.

(Маркс и Энгельс о литературе. Новые материалы. М. 1933. Стр. 167–168)

Для теоретиков-«вопрекистов» тут важно было то, что этот «парадокс Бальзака» Энгельс рассматривал не как флуктуацию, нарушающую закономерность, а, напротив, как проявление некоего общего закона – «одну из величайших побед реализма».

Вот, например, – говорили они, – Л. Н. Толстой задумал и начал писать «Анну Каренину» с тем, чтобы осудить героиню, изменившую мужу, разрушившую семью. Не раз повторял, что именно в этом и состояла «концепция» задуманного им романа, только потому и поставил эпиграфом к нему евангельское: «Мне отмщение, и Аз воздам». Но в процессе работы над романом сюжет его постепенно стал меняться, усложняться, разветвляться. Появился Левин со своими размышлениями о том, что если русскому мужику дать английскую молотилку, он её сломает. Появились картины жизни пореформенной России, в которой «всё переворотилось и только укладывается». В результате вышел совсем другой роман, – не только, в отличие от первоначального авторского замысла, пронизанный состраданием и сочувствием несчастной героине, но и в самой своей основе – другой. О другом.

Когда какая-то знакомая Толстого упрекнула его за то, что он так жестоко поступил с Анной Карениной, заставив её броситься под поезд, Лев Николаевич в ответ рассказал ей известную историю про Пушкина.

– Представь, – сказал Александр Сергеевич одному из своих друзей, – какую штуку удрала со мной Татьяна! Она замуж вышла. Этого я никак не ожидал от неё.

Рассказав своей собеседнице эту хрестоматийную историю, Толстой заключил:

– То же самое и я могу сказать про Анну Каренину.

И добавил:

– Вообще герои и героини мои делают иногда такие штуки,

каких я не желал бы.

А вот что он написал однажды (26 апреля 1876 года) в письме Н. Н. Страхову:

…

Глава о том, как Вронский принял свою роль после свиданья с мужем, была у меня давно написана. Я стал поправлять её и совершенно для меня неожиданно, но несомненно Вронский стал стреляться.

Легче всего предположить, что, высказываясь таким образом, Лев Николаевич говорил не вполне серьезно. Может быть, даже шутил, чтобы не вдаваться в долгие объяснения насчёт того, почему он кинул свою героиню под паровоз или заставил Вронского стреляться. Такой же шуткой, быть может, были и знаменитые слова Пушкина про Татьяну, которая вопреки его авторским намерениям вдруг выскочила замуж за генерала.

На самом деле, однако, ни Пушкин, ни Толстой даже и не думали шутить. Они говорили чистую правду.

В 1930 году в Ленинграде вышла небольшая книжечка. Она называлась: «Как мы пишем». Составлена она была из рассказов самых разных писателей о своей работе. В числе её авторов были Горький, Зощенко, Алексей Толстой, Тынянов, Константин Федин, Ольга Форш, Вячеслав Шишков и многие другие из самых известных тогдашних русских прозаиков. Собственно, это были даже не рассказы, а – **ответы на анкету.**

Люди, задумавшие эту книжку, разослали разным писателям анкету, состоявшую из шестнадцати вопросов. Вопросы там были самые разные. Например, такие: «Каким материалом преимущественно пользуетесь (автобиографическим, книжным, наблюдениями и записями)?.. Когда работаете: утром, вечером, ночью? Сколько часов в день?.. Техника письма: карандаш, перо или пишущая машинка?..Много ли вычеркиваете в окончательной редакции?.. Примерная производительность – в листах в месяц?..»

Каждый из опрашиваемых на все эти вопросы отвечал, естественно, по-своему. И ответы были получены самые разные. Выяснилось, что у одних писателей производительность высокая, а у других, наоборот, крайне низкая. Одни любят работать ночью, другие, наоборот, садятся за письменный стол с утра пораньше. Одни пользуются пишущей машинкой, другие предпочитают

огрызок карандаша... Но был в этой анкете один вопрос, на который самые разные писатели ответили на удивление одинаково.

Вопрос этот был такой: **«Составляете ли предварительный план и как он меняется?»**

Вот некоторые из ответов на этот вопрос.

Ответ А. М. Горького:

...

Плана никогда не делаю, план создаётся сам собою в процессе работы, его вырабатывают сами герои. Нахожу, что действующим лицам нельзя подсказывать, как они должны вести себя. У каждого из них есть своя биологическая воля.

(Как мы пишем. Л. 1930. Стр. 26)

Ответ А. Н. Толстого:

...

Я никогда не составляю плана. Если составлю, то с первых страниц начну писать не то, что в плане. План для меня лишь руководящая идея, вехи, по которым двигаются действующие лица. План, как заранее проработанное архитектоническое сооружение, разбитый на части, главы, детали и пр., – бессмысленная затея, и я не верю тем, кто утверждает, что работает по плану...

Писать роман, повесть (крупное произведение) – значит жить вместе с вашими персонажами. Их выдумываешь, но они должны ожить, и, оживая, они часто желают поступать не так, как вам хотелось

бы.

(Там же. Стр. 147)

Ответ Евгения Замятина:

...

Нарезаны четвертушки бумаги, очинен химический карандаш, приготовлены папиросы, я сажусь за стол. Я знаю только развязку, или только одну какую-то сцену, или только одно из действующих лиц, а мне нужно их пять, десять. И вот на первом листке обычно происходит воплощение нужных мне людей, делаются эскизы к их портретам, пока мне не станет ясно, как каждый из них ходит, улыбается, ест, говорит. Как только они для меня оживут – они уже сами начнут действовать безошибочно, вернее – начнут ошибаться, но так, как может и должен ошибаться каждый из них. Я пробую перевоспитать их, я пробую построить их жизнь по плану, но если люди живые – они непременно опрокинут выдуманные для них планы. И часто до самой последней страницы я не знаю, чем у меня (у них, у моих людей) все кончится. Бывает, что я не знаю развязки даже тогда, когда я её знаю – когда с развязки начинается вся работа.

Так было, например, с повестью «Островитяне». Знакомый англичанин рассказал мне, что в Лондоне есть люди, живущие очень странной профессией: ловлей любовников в парках. Сцена такой ловли увиделась мне, как очень подходящая развязка, к ней приросла

вся сложная фабула повести, а потом – к моему удивлению – оказалось, что повесть кончается совершенно иначе, чем было по плану. Герой повести – Кембл – отказался быть негодяем, каким я хотел его сделать.

(Там же. Стр. 33–34)

Ответ Вячеслава Шишкова:

...

Писать-то начинаешь, конечно, по плану. Но когда примерно четверть работы сделана, возникают сначала недомолвки, потом и жестокие ссоры автора с героями. Автор суёт в нос героя план: «Полезай сюда, вот в это место», – а герой упирается, не лезет. Ещё один-то ничего, с одним-то героем не считаешься, упрячешь его в план, он и сидит, как за решёткой. Однако мало-помалу начинают заявлять свой протест и прочие действующие лица. Они так пристают, так с тобою спорят, утверждая своё право на независимое существование, что по ночам не спишь, теряешь аппетит, надолго запираешь рукопись в рабочий стол. А все-таки этот спор на большую пользу.`Из спора, из столкновения автора с героями летят искры, озаряющие дальнейший путь творимой жизни, родится истина.

Всем вышесказанным я в самых грубых чертах хочу установить, что в процессе работы возможны (вернее – неизбежны) конфликты между холодным математическим рассудком автора и сферой

истинного творчества. При таких конфликтах внезапно вспыхнувшее умственное озарение указывает автору иной путь, часто в корне отличающийся от преднамеренно составленного плана.

(Там же. Стр. 195)

Все эти ответы говорят – чуть ли не слово в слово – то же, что говорил про своих героев Л. Н. Толстой. То же, что сказал однажды про свою Татьяну Пушкин. Стало быть, это не было личным, индивидуальным свойством Толстого и Пушкина. Нечто похожее происходит с каждым настоящим художником. А писателей, герои которых не выходят из их авторской воли, и «концепция действительности», которую они собираются претворить в сюжет, остаётся неизменной, следовало бы именовать не художниками, а как-нибудь иначе. Например – **оформителями** . Мандельштам их называл **переводчиками готового смысла** .

Вот из каких корней выросли эстетические концепции «ископаемого марксиста». И вот что лежало в основе его претензий к роману Солженицына «В круге первом».

В сущности, это были те же претензии, которые авторы «Литературного критика» предъявляли тогдашним корифеям «соцреализма»:

…

Гнилые теоретические позиции группки «Литературного критика» приводят их естественно к выводу, что политика вредна искусству. …Всю советскую литературу «Литературный критик» считает иллюстративной (т. е. дидактической, второсортной) на том основании, что она пронизана политической тенденцией.

(Из Докладной записки Секретарей ССП СССР А. А. Фадеева и В. Я. Кирпотина Секретарям ЦК ВКП (б) «Об антипартийной группировке в советской критике»)

На самом деле, конечно, авторы «Литературного критика» совсем не то ставили в вину корифеям соцреализма, что книги их были пронизаны политической тенденцией, а то, что в основе каждой из этих книг, – даже лучших из них, – лежала заранее заданная, готовая концепция действительности, которую им предстояло отобразить.

Особенно ясно это видно на примере истории создания знаменитого романа А. Фадеева «Молодая гвардия».

Роман создавался по инициативе, – в сущности, по заказу – Центрального Комитета комсомола (специальная комиссия ЦК ВЛКСМ, занимавшаяся расследованием подпольной деятельности краснодонцев, предоставила Фадееву свои материалы ещё в 1943 году) при своём появлении в свет официальной критикой была встречена восторженно. В том же году книга была удостоена Сталинской премии первой степени. По всей стране театры ставили спектакли по инсценировкам знаменитого романа. Автор получал десятки тысяч восторженных писем читателей. И вдруг...

Как гром среди ясного неба, в газете «Культура и жизнь», а затем и в «Правде» появляются разгромные статьи. Фадеева обвиняют в том, что он не показал в своём романе руководящую роль партии. И главный писатель страны, генеральный Секретарь Союза Советских писателей, послушно переписывает свой роман («перерабатываю молодую гвардию в старую», – грустно сообщает он об этом своём занятии в письме к другу).

Конечно, переписывая роман по указанию высшей партийной инстанции, Фадеев сильно его ухудшил. Но ведь и первый вариант был написан по готовой схеме, которую автор будущего романа принял на веру. Да если бы и не принял, все равно не волен был бы её изменить.

– Ну, это диктант, – говорил о таких книгах М. М. Зощенко. И с большим или меньшим основанием это можно было сказать о любом из шедевров соцреализма.

Но при чем тут Солженицын?

Да, он тоже – и даже дважды – переписывал свой роман. Но ведь он делал это не по приказу, а по собственному желанию, исходя только из своих собственных художественных намерений, из своей собственной, никем ему не навязанной концепции действительности!

Всё так. И это, конечно, выгодно отличает его от Фадеева.

Но тут дело не в том, своя или чужая была она, эта его концепция действительности, а в том, что она была – **готовая** . Не родившаяся в процессе творчества, а заранее им самим себе **заданная** .

Когда П. Н. Демичев спросил его, всегда ли он понимает, что

пишет, и для чего, он, как, надеюсь, вы помните, ответил:

– Смотря в каких вещах. «Для пользы дела» – да: утвердить ценность веры у молодежи; напомнить, что коммунизм надо строить в людях прежде, чем в камнях. «Кречетовка» – с заведомой целью показать, что не какое-то ограниченное число закоренелых злодеев совершали злодейства, но их могут совершить самые чистые и лучшие люди, и надо бороться со злом в себе... А в «Матрёне» и «Денисовиче» я просто шёл за героями...

Если бы это было действительно так!

Но ведь это он «раскидывал чернуху», пудрил «начальничку» мозги.

А на самом деле он всегда хорошо – слишком хорошо! – знал, что хочет сказать каждой своей книгой.

* * *

Объясняя, почему такой человек, как Рубин, не может быть трагическим героем, «ископаемый марксист» мимоходом роняет такое замечание:

...

> *Специалисты, инженеры, учёные не в стороне от моральной ответственности, как наглядно доказана история атомной бомбы.*
>
> *(М. А. Лифшиц. О рукописи А. И. Солженицына «В круге первом». В кн.: Мих. Лифшиц. Почему я не модернист? Философия. Эстетика. Художественная критика. М. 2009. Стр. 571)*

Этот упрёк тут как будто бы уж совсем не по адресу. Тема моральной ответственности специалистов, инженеров, ученых, как мы уже имели случай убедиться, – одна из главных, – если не главная, – в солженицынском романе.

Но не надо забывать, что «ископаемый марксист» рецензировал не «атомный» вариант, о существовании которого он не подозревал, а «лекарственный».

Но и в «лекарственном» подробной разработке этой темы посвящена одна из центральных и едва ли не самых сильных и

впечатляющих глав этого романа:

...

– У тебя Герасимович – что делает? – спросил Фома Гурьянович и сел в кресло Антона, так и не сняв папахи.

Яконов опустился в стороне на стул.

– Герасимович?.. Да собственно, он со Спиридоновки когда? В октябре, наверно. Ну, и с тех пор телевизор для товарища Сталина делал.

Тот самый, с бронзовой накладкой «Великому Сталину».

– Вызови-ка его.

Яконов позвонил.

«Спиридоновка» была тоже одна из московских шарашек. В то время под руководством инженера Бобра на Спиридоновке было изготовлено весьма остроумное и полезное приспособление – приставка к обычному городскому телефону. Главное остроумие его состояло в том, что приспособление действовало именно тогда, когда телефон бездействовал, когда трубка покойно лежала на рычагах: всё, что говорилось в комнате, в это время прослушивалось с контрольного пункта Госбезопасности. Приспособление понравилось, было запущено в производство. Когда намечался нужный абонент, его линию нарушали, жертва сама просила прислать монтёра, монтёр приходил и под видом починки вставлял в телефон подслушивающее устройство.

Опережающая мысль начальства

(мысль начальства всегда должна опережать) была теперь о других приспособлениях. В дверь заглянул дежурный:

– Заключённый Герасимович.

– Пусть войдёт, – кивнул Яконов. Он сидел особняком от своего стола, на маленьком стуле, расслабнув и почти вываливаясь вправо и влево.

Герасимович вошёл, поправляя на носу пенсне, и споткнулся о ковровую дорожку. По сравнению с этими двумя толстыми чинами он казался очень уж узок в плечах и мал.

– По вашему вызову, – сухо сказал он, приблизясь и глядя в стенку между Осколуповым и Яконовым.

– У-гм, – ответил Осколупов. – Садитесь.

Герасимович сел. Он занимал половину сиденья.

– Вы... это... – вспоминал Фома Гурьянович. – Вы... – оптик, Герасимович? В общем, не по уху, а по глазу, так, что ли?

– Да.

– И вас это... – Фома поворочал языком, как бы протирая зубы. – Вас хвалят. Да... Вы последнюю работу Бобра знаете?

– Слышал.

– У-гм. А что мы Бобра представили к досрочному?

– Не знал.

– Вот, знайте. Вам сколько ещё сидеть?

– Три года.

– До-олго! – удивился Осколупов, будто у него все сидели с месячными сроками. – Ой, до-олго!.. Вам тоже б досрочку неплохо заработать, а?

Как это странно совпадало со вчерашней мольбой Наташи!..

Пересилив себя (ибо никакой улыбки и снисхождения он не разрешал себе в разговорах с начальством), Герасимович криво усмехнулся:

– Где ж её возьмёшь? В коридоре не валяется.

Фома Гурьянович колыхнулся:

– Хм! На телевизорах, конечно, досрочки не получите! А вот я вас на Спиридоновку на днях переведу и назначу руководителем проекта. Месяцев за шесть сделаете – и к осени будете дома.

– Какая ж работа, разрешите узнать?

– Да там много работ намечено, только хватай. Есть, например, такая идея: микрофоны вделывать в садовые скамейки, в парках – там болтают откровенно, чего не наслушаешься. Но это – не по вашей специальности?

– Нет, это не по моей.

– Но и для вас есть, пожалуйста. Две работы, и та важная, и та печёт. И обе прямо по вашей специальности, – ведь так, Антон Николаич? – (Яконов поддакнул головой.) – Одно – это ночной фотоаппарат на этих... как их... ультракрасных лучах. Чтоб, значит, ночью вот на улице сфотографировать человека, с кем он идёт, а он бы и до смерти не знал. За границей уже намётки есть, тут надо только... творчески перенять. Ну, и чтоб в обращении аппарат был попроще. Наши агенты не такие умные, как вы. А второе вот что. Второе вам, наверно, раз плюнуть, а нам – позарез нужно. Простой фотоаппаратик, только такой манёхонький, чтоб его в дверные косяки вделывать. И он бы

автоматически, как только дверь открывается, фотографировал бы, кто через дверь проходит. Хотя бы днём, ну, и при электричестве. В темноте уж не надо, ладно. Такой бы аппаратик нам тоже в серийное производство запустить. Ну, как? Возьмётесь?

Суженным худощавым лицом Герасимович был обёрнут к окнам и не смотрел на генерал-майора.

В словаре Фомы Гурьяновича не было слова «скорбный». Поэтому он не мог бы назвать, что за выражение установилось на лице Герасимовича.

Да он и не собирался называть. Он ждал ответа.

Это было исполнение мольбы Наташи!..

Её иссушенное лицо со стеклянно-застылыми слезами стояло перед Илларионом.

(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 517–520)

Что это за «странное совпадение с вчерашней мольбой Наташи»?

Чтобы пояснить это, – не только тем, кто не читал роман, но даже и тем, кто читал, но не слишком хорошо его помнит, – ненадолго вернусь в другую его главу, предшествующую этой.

Во время короткого, получасового свидания старого лагерника Герасимовича с женой происходит там между ними такая душераздирающая сцена:

...

...Наталья Павловна поняла, что в скудные полчаса ей не передать мужу своего одиночества и страдания, что катится он по каким-то своим рельсам, своей заведенной жизнью – и всё равно ничего не поймёт, и лучше даже его

не расстраивать...

– Расскажи, расскажи о себе, – говорил Илларион Павлович, держа жену через стол за руки, и в глазах его теплилась та сердечность, которая зажигалась для неё и в самые ожесточённые месяцы блокады.

– Ларик! у тебя... зачётов... не предвидится?

Она имела в виду зачёты, как в приамурском лагере, – проработанный день считался за два отбытых, и срок кончался прежде назначенного.

Илларион покачал головой:

– Откуда зачёты! Здесь их от веку не было, ты же знаешь. Здесь надо изобрести что-нибудь крупное – ну, тогда освободят досрочно. Но дело в том, что изобретения здешние... – он покосился на полуотвернувшегося надзирателя, – свойства... весьма нежелательного...

Не мог он высказаться ясней!

Он взял руки жены и щеками слегка тёрся о них.

– Наталочка! – гладил он её руки. – Если посчитать, сколько прошло за два срока, так ведь мало осталось теперь. Три года только. Только три...

– Только три?! – с негодованием перебила она и почувствовала, как голос её задрожал, и она уже не владела им. – Только три?! Для тебя только! Для тебя прямое освобождение – «свойства нежелательного»! Ты живёшь среди друзей! Ты занимаешься своей любимой работой! Тебя не водят в комнаты за чёрной кожей! А я – уволена! Мне не на что больше жить! Меня никуда не примут! Я не

могу! Я больше не в силах! Я больше не проживу одного месяца! месяца! Мне лучше – умереть! Соседи меня притесняют как хотят, мой сундук выбросили, мою полку со стены сорвали – они знают, что я слова не смею… что меня можно выселить из Москвы! Я перестала ходить к сестрам, к тёте Жене, все они надо мной издеваются, говорят, что таких дур больше нет на свете. Они все меня толкают с тобой развестись и выйти замуж. Когда это кончится? Посмотри, во что я превратилась! Мне тридцать семь лет! Через три года я буду уже старуха! Я прихожу домой – я не обедаю, я не убираю комнату, она мне опротивела, я падаю на диван и лежу так без сил. Ларик, родной мой, ну сделай как-нибудь, чтоб освободиться раньше! У тебя же гениальная голова! Ну, изобрети им что-нибудь, чтоб они отвязались! Да у тебя есть что-нибудь и сейчас! Спаси меня! Спаси ме-ня!!..

(Там же. 234–235)

И вот оно, это спасение!

И не надо никого ни о чем просить, унижаться, предлагать «изобрести им что-нибудь». Предложение исходит ОТ НИХ. Он должен только сказать: да. Или даже ничего не говорить, просто промолчать, кивнуть: ладно, мол, согласен… И – всё!

…

Впервые за много лет возврат домой своей доступностью, близостью, теплотой обнял сердце. А сделать надо было только то, что Бобёр: вместо себя посадить за решетку сотню-две доверчивых лопоухих вольняшек.

Затруднённо, с препинанием Герасимович спросил:

– А на телевидении... нельзя бы остаться?

– Вы отказываетесь?! – изумился и нахмурился Осколупов. Его лицо особенно легко переходило к выражению сердитости. – По какой же причине?

Все законы жестокой страны зэков говорили Герасимовичу, что преуспевающих, близоруких, не тёртых, не битых вольняшек жалеть было бы так же странно, как не резать на сало свиней. У вольняшек не было бессмертной души, добываемой зэками в их бесконечных сроках, вольняшки жадно и неумело пользовались отпущенной им свободой, они погрязли в маленьких замыслах, суетных поступках.

А Наташа была подруга всей жизни. Наташа ждала его второй срок. Беспомощный комочек, она была на пороге угасания, а с ней угаснет и жизнь Иллариона.

– Зачем – причины? Не могу. Не справлюсь, – очень тихо, очень слабо ответил Герасимович.

Яконов, до этого рассеянный, с любопытством и вниманием взглянул на Герасимовича. Это, кажется, был ещё один случай, претендующий на иррациональность. Но всемирный закон «своя рубаха ближе к телу» не мог не сработать и здесь.

– Вы просто отвыкли от серьёзных заданий, оттого и робеете, – убеждал Осколупов. – Кто ж, как не вы? Хорошо, я вам дам подумать.

Герасимович небольшою рукой

подпер лоб и молчал. Конечно, это не была атомная бомба. Это была по мировой жизни – крохотность незамечаемая.

– Но о чём вам думать? Это прямо по вашей специальности!

Ах, можно было смолчать! Можно было темнить. Как заведено у зэков, можно было принять задание, а потом тянуть резину, не делать. Но Герасимович встал и презрительно посмотрел на брюхастого, вислощёкого, тупорылого выродка в генеральском чине, какие, на беду, не ушли по среднерусскому большаку.

– Нет! Это не по моей специальности! – звеняще пискнул он. – Сажать людей в тюрьму – не по моей специальности! Я – не ловец человеков! Довольно, что нас посадили...

(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 519–520)

Эта глава из «атомного» перекочевала в «лекарственный», а оттуда в обновлённый «атомный», почти без изменений. Разве вот только в «лекарственном» нет такой фразы, появившейся (или она и раньше там была?) в «атомном»:

...

Конечно, это не была атомная бомба. Это была по мировой жизни – крохотность незамечаемая.

Ну, и ещё название главы переменилось: в «лекарственном» варианте она называется «Не по моей специальности», а в «атомном» – «Не ловец человеков»

А в целом текст главы не менялся. Похоже, что даже и не редактировался.

И – как в «лекарственном», так и в «атомном» варианте – сразу за ней, в стык к ней, следует глава «У истоков науки», в которой Рубин легко, и даже не без энтузиазма согласившийся

стать «ловцом человеков», приступает к исполнению этого важного государственного задания.

Тут надо сказать, что такой стыковке глав Солженицын придавал особое значение.

…

…стыки глав по вертикали, то есть в череде их следования, становятся ещё добавочным рычагом впечатления: это как бы – дополнительный, ненаписанный, без единой своей строчки кусок текста, который – контрастным сопоставлением или поточным сочленением – углубляет смысл. Стык – может дать и такое, чего не выразишь никаким текстом.

(А. Солженицын. Угодило зернышко промеж двух жерновов. Часть вторая).

Посмотрим же, как в этом случае работает, какую нагрузку несёт этот любимый его композиционный приём:

…

Это было в совсекретной тихой комнатке на третьем этаже с тяжёлыми занавесями по бокам окна и двери, с неновым диваном и плохоньким ковриком. Мягкое глушило звуки, но звуков почти и не было, потому что магнитные ленты Рубин слушал на наушники…

Надевая наушники, Рубин слушал и слушал роковой разговор с посольством, а потом – представленные ему ещё пять лент с пяти разговоров подозреваемых лиц. То он верил ушам, то отчаивался им верить и переходил к фиолетовым

извивам звуковидов, напечатанных по всем разговорам. Длинные многометровые бумажные ленты, не помещаясь даже на большом столе, ниспадали белыми скрутками на пол слева и справа. Порывисто брался Рубин за свой альбом с образцами звуковидов, классифицированных то по звукам-«фонемам», то по «основному тону» различных мужских голосов. Цветным красно-синим карандашом, уже исписанным до закруглённо-тупых оконечностей (очинить карандаш был для Рубина труд долгосборный), он размечал особо поразившие его места на лентах.

Рубин был захвачен. Его тёмно-карие глаза казались огненными. Большая нечёсаная чёрная борода была сваляна клочьями, и седой пепел непрерывно куримых трубок и папирос пересыпал бороду, рукава засаленного комбинезона с оторванной пуговицей на обшлаге, стол, ленты, кресло, альбом с образцами.

Рубин переживал сейчас тот загадочный душевный подъём, которого ещё не объяснили физиологи: забыв о печени, о гипертонических болях, освежённым взлетев из изнурительной ночи, не испытывая голода, хотя последнее, что он ел, было печенье за именинным столом вчера, Рубин находился в состоянии того духовного реянья, когда острое зрение выхватывает травинки из песка, когда память готовно отдаёт всё, что отлагалось в ней годами.

(Там же. Стр. 520–521)

Рубин тут противопоставлен Герасимовичу с точностью

прямо геометрической.

Герасимович – физик, акустик. И задача, которую ему предлагают решить, как раз по его специальности. А он – отказывается. Нет, говорит, сажать людей в тюрьму – не моя специальность..

Рубин же по специальности – филолог, германист. А задача, которую ему предстоит решить, связана не с филологией и не с германистикой, а как раз с акустикой. А он не то что даже и не заикается о том, что эта задача не по его специальности, а напротив, изо всех сил старается доказать, что именно такова его специальность. Даже новую область акустики готов изобрести – «фоноскопию», нимало не смущаясь тем, что это его изобретение, как дипломатично выражается Герасимович, «свойства весьма нежелательного».

Герасимович – плоть от плоти тех русских интеллигентов, незамысловатый моральный кодекс которых, как на трех китах, зиждился на трех заповедях:

Таких довольно было на Руси:
Семья, работа, музыки немного...
И хоть не все из них молились Богу,
Их скромный мир вращался на оси
Трех заповедей, соблюденных строго:
Трудись.
Не льсти властям.
Не доноси.
(Юлия Нейман)

Рубин, если и слышал об этих трех заповедях (совсем не слышать о них он, надо думать, не мог), то они его не затронули, как-то проскользнули мимо его сознания.

Для Солженицына далеко не последнюю роль тут играет то обстоятельство, что Илларион Павлович Герасимович – русский. А Лев Рубин – еврей.

Эту больную тему мне тоже не обойти. Но пока мы её отложим.

А сейчас я так много внимания уделил противостоянию этих двух персонажей не для того, чтобы осуждать или разоблачать идеи Солженицына, ни даже для того, чтобы полемизировать с ними (это всё – ещё впереди), а только лишь для того, чтобы показать, что именно заранее заданная идея, а не художественный инстинкт, не художественная интуиция, не

свободная воля героя, сопротивляющегося диктату автора, становится движителем его сюжета.

Солженицын – не тот автор, у которого герой может взбрыкнуть, «удрать штуку», как пушкинская Татьяна, или неожиданно для своего создателя вдруг прийти к мысли о самоубийстве, как это случилось с Вронским у Л. Н. Толстого.

У него все фигуры расставлены, все роли распределены, все персонажи действуют в строгом соответствии с заранее составленным планом, идут туда, куда их направляет автор, неукоснительно подчиняясь его воле.

Рубин в критической ситуации повел себя так, а не иначе, потому что так решил автор. И под это готовое, заранее обдуманное и принятое авторское решение подгоняется психологическая мотивировка, психологическая подоплека этого его поведения, психологическая мотивировка этого его поступка:

...

> *Рубин курил, жуя и сдавливая мундштук папиросы. Его переполняло, разрывало. Разжалованный, обесчещенный – вот понадобился и он! Вот и ему сейчас доведётся посильно поработать на старуху Историю. Он снова – в строю! Он снова – на защите Мировой Революции!*
>
> *(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 204–205)*

Мотивировка мало сказать – недостоверная, искусственно притянутая за уши, а в описываемой ситуации (особенно в «лекарственном» варианте романа) – просто комическая. Какая может быть связь между заданием разоблачить лоха, решившегося сообщить лечившему его когда-то старику-профессору, что не стоит ему передавать зарубежным коллегам созданный им противораковый препарат, – и защитой Мировой Революции? Смешно!

Из писателей, ответы которых на анкету в сборнике «Как мы пишем» я цитировал, только один сообщил, что в своей работе он неизменно придерживается заранее составленного плана и что герои создаваемого им произведения никогда не выходят из его авторской воли.

Это был К. А. Федин:

...

Перед началом работы я составляю её план. Если пишется рассказ, то на двух, трех листках бумаги я размечаю по главам или частям весь его сюжет. Отдельные эпизоды, коротко записанные, дополняют, иллюстрируют основную разметку. Финальное положение записывается точно, часто заранее устанавливается окончательная редакция последней фразы. План рассказа во время работы меняется редко, мысленно я вижу рассказ совершенно законченным, знаю его общий размер, объем каждой главы. Весь труд сводится к поискам наилучшего словесного выражения уже существующих образов.

(Как мы пишем. Л. 1930. Стр. 178)

Сейчас не вспомню, то ли в какой-то биографии Константина Александровича я это прочел, то ли от него самого услышал (на семинаре, который он вёл у нас в Литературном институте), что родители его хотели, чтоб он стал чертёжником. Вот он им и стал.

Солженицын, как мы знаем, в юности хотел стать (и стал) математиком.

...

Воскресным утром 22 июня 1941 года с поезда Ростов – Москва на перрон Казанского вокзала сошёл молодой человек. Только теперь, ступив на московскую землю, он, Александр Солженицын, 22-х лет от

роду, начал новую жизнь. Сдав последний экзамен на физико-математическом факультете Ростовского университета, он решил расстаться с точными науками и целиком посвятить себя литературе...

Теперь математика нужна ему только ради хлеба насущного. А для души, для заветной цели, нужно полноценное гуманитарное образование. С ранних лет Саня Солженицын мечтал стать писателем.

(Наталья Решетовская. В споре с временем. Воспоминания)

На самом деле математика юному Сане Солженицыну была нужна не только ради хлеба насущного. Она тоже была его, – если не первой, так второй – любовью. И эта любовь не остыла в его душе и много лет спустя, когда он был уже всемирно знаменитым писателем:

...

...Затеваю я с двумя старшими и занятия по математике... Учу сыновей – привезла Аля из России – по тем книгам, что и сам учился, и наши отцы. Есть у нас и доска, прибитая к стенке домика, мел, ежедневные тетради и контрольные работы, всё, что полагается. Вот не думал, что ещё раз в жизни, но это уж последний, придётся преподавать математику. А – сладко. Какая прелесть – и наши традиционные арифметические задачи, развивающие логику вопросов, а дальше грядёт кристальная киселёвская «Геометрия».

(А. Солженицын. Угодило зернышко промеж двух жерновов.

Очерки изгнания. Часть вторая).

Но не только эти занятия с сыновьями свидетельствуют о том, что и в зрелые годы он не расстался с этой юношеской, первой своей любовью.

Вот он старается объяснить коллегам-писателям самые основы своей эстетики и поэтики:

...

Литература никогда не может охватить всего в жизни. Я приведу математический образ и поясню его: всякое произведение может стать пучком плоскостей. Этот пучок плоскостей проходит через одну точку. Эту точку выбираешь по пристрастию, по биографии, по лучшему знанию...

(Из выступления на обсуждении первой части повести «Раковый корпус» на заседании секции прозы Московской писательской организации 17 ноября 1968 года. Александр Солженицын. Собрание сочинений. Том шестой. Frankfurt/ Main, 1970. Стр. 185)

Еще один пример такого же математического мышления:

...

Трудней того вести горизонтали по общественным сплоткам (Временное правительство, Думский комитет, Ставка, штабы фронтов, Исполнительный комитет Совета депутатов, большевицкая верхушка) – ибо их взаимовлияния сильно переплетены (математически это назвать: «пучок горизонталей») и ни одну не протянешь порознь... Приходится то и дело сочетать

протяжку по горизонталям со сверкой по вертикалям...

(А. Солженицын. Угодило зернышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания. Часть вторая)

А вот – ещё и такое, уже совсем прямое признание:

...

К 1979 я носил в себе замысел «Красного Колеса» 42 года, а непрерывно работал над ним – уже 10 лет. И все–все эти годы собирал – когда в бумаге, когда лишь в одной памяти – эпизоды, случаи, факты, хронологию, доступные материалы, соображения, оценки, мысли. Думаю: без системной методичности, природной мне по характеру, и без математического воспитания ума – работы этой мне бы не совершить.

(Там же)

Но самым ярким свидетельством того, что и став писателем он остался математиком, может служить та геометрическая точность, с какой противостоят в его романе «В круге первом» два эти образа: Лев Рубин и Илларион Герасимович.

Обыкновенный фашизм

Редактор монархической газеты «Наша страна» Николай Леонидович Казанцев, опубликовавший свою переписку с Солженицыным (несколько адресованных ему писем Александра Исаевича мелькнули на этих страницах), предварил эту свою публикацию предисловием, небольшим отрывком из которого я хочу начать эту главу:

...

Как искусный игрок, А. И. Солженицын не раскрывал все свои карты сразу.

Когда в 1962 году появился на свет «Один день Ивана Денисовича», на Западе писали: автор антисталинист, но верный ленинец (да и сам Хрущёв, разрешивший публикацию, очевидно придерживался такого же мнения).

Когда в 1974 году вышел «Архипелаг ГУЛАГ», то пришлось писателя переквалифицировать: он, дескать, антимарксист, но зато правоверный демократ.

А после его публичных выступлений в США снова поменяли ярлык: он, мол, не демократ, а русский националист.

Хитрый зэк, законченный стратег, он показывал свои карты постепенно, иначе бы его сразу же уничтожили. И каждый раз дожидался наиболее благоприятного момента.

Однако последнюю свою ипостась он так и не успел выявить urbi et orbi. А она составляла сердцевину, самое глубинное ядро его мировоззрения.

Александр Исаевич был

убеждённым монархистом.

Более того. Он собирался написать политическую программу для России, основанную на постулатах трёх китов русской монархической мысли: Ивана Солоневича, Льва Тихомирова и Ивана Ильина.

Причём свой монархизм он проявлял также и на деле.

На продолжение целого десятилетия, – вплоть до своего возвращения в Россию, – он финансировал «Нашу Страну», регулярно присылая мне для её издания тысячедолларовые чеки.

Почему же он так и не открыл публично свою монархическую карту?

Потому что духовное состояние народа и многие политические факторы этому не благоприятствовали.

(Н. Казанцев. Монархическая карта Солженицына)

Конечно, из того факта, что Солженицын с симпатией относился к редактору монархической газеты и даже посылал ему на её издание тысячедолларовые чеки, вовсе ещё не следует, что он был убеждённым монархистом, а тем более, что эта его ипостась «составляла сердцевину, самое глубинное ядро его мировоззрения».

Да и вообще вся эта выстроенная Н. Л. Казанцевым схема слишком уж примитивна. На самом деле Александр Исаевич не просто долго скрывал от мира истинное своё лицо. Он менялся. Как мы знаем, некоторое время действительно был (а не прикидывался) верным ленинцем. И даже исповедуя свою новую, антидемократическую доктрину, вовсе не был ещё убежден ни в безнадежности западной демократии, ни в том, что у России – только одно будущее: авторитаризм. Сперва говорил об этом как-то робко, в сомневающейся, предположительной форме:

...

> *…Если Россия веками привычно жила в авторитарных системах, а в демократической за 8 месяцев 1917 года потерпела такое крушение, то, может быть, – я не утверждаю это, лишь спрашиваю, может быть, следует признать, что эволюционное развитие нашей страны от одной авторитарной системы к другой будет для неё естественней, плавней, безболезненней?*
>
> *(А. Солженицын. На возврате дыхания и сознания. Александр Солженицын. Публицистика в трёх томах. Том 1. Статьи и речи. Ярославль, 1995. Стр. 47)*

Не только «городу и миру», но и ему самому не сразу открылись глубинные основы его мировоззрения. Но – что правда, то правда! – карты свои он выкладывал на стол постепенно, сообразуясь с обстоятельствами.

«Антидемократическую» свою карту, однако, он открыл не только в своих публичных выступлениях в США, а много раньше. После его «Письма вождям Советского Союза» основы его мировоззрения были более или менее ясны. И многие вчерашние его поклонники уже тогда от него отвернулись.

Но о себе я этого сказать не могу.

Да, конечно, его идеи «спасения Руси» были мне не только чужды, но и прямо враждебны. И все-таки я не позволял себе думать о нем совсем уж худо. Что бы там ни было, он всё-таки ещё оставался для меня главным символом сопротивления ненавистному мне сталинско-брежневскому режиму.

Помню, однажды, когда мы в какой-то компании обсуждали это самое солженицынское «Письмо вождям», один из самых резких его критиков, с которым я был, в общем, согласен, заключил свою речь такой фразой:

– Короче говоря, если бы у нас сейчас были свободные выборы, за Солженицына я бы голосовать не стал.

На что я тут же отреагировал:

– Ну да, вы бы голосовали за Брежнева.

Вот таким «амбивалентным» было тогда моё отношение к «Исаичу».

Природа этой «амбивалентности» в значительной мере, конечно, определялась тем, что любая – даже справедливая –

критика Солженицына неизбежно смыкалась с той государственной его травлей, которая не прекращалась чуть ли не до конца 80-х.

Ну, а уж тут, когда так называемая наша «перестройка» вошла уже в полную силу, я наконец позволил себе более или менее откровенно (хоть и не поставив все точки над i) публично высказаться на эту щекотливую тему.

Я вел тогда в «Огоньке» постоянную рубрику: «Из запасников русской прозы XX века». Публиковал там Зощенко, Бабеля, Замятина, писателей-эмигрантов – Шмелева, Ремизова, впервые в послереволюционной России напечатал отрывки из «Уединенного» и «Опавших листьев» В. Розанова. Естественно, захотелось вернуть читателю и Солженицына. Пришлось выбрать не шибко мне нравившийся «Матрёнин двор». Собственно, никаких других вариантов и не было. Я бы предпочел «Случай на станции Кречетовка», но этот рассказ не мог быть напечатан в «Огоньке» просто по объёму: не вмещался в отведённые для моей рубрики журнальные страницы.

В небольшой заметке, предваряющей рассказ (я каждую публикацию предварял таким коротеньким предисловьицем), вспомнив историю появления «Ивана Денисовича» на страницах «Нового мира», отдав дань Твардовскому и коротко сказав о том, каким огнём, упавшим с неба, было для нас явление Солженицына, я далее написал следующее:

...

Пока ещё тлела, догорая, хрущёвская оттепель, Солженицына скрепя сердце терпели. Вынуждены были терпеть. Но эпоха застоя обрекла автора «Ивана Денисовича» на открытую конфронтацию с властью.

Травля Солженицына, начавшаяся вскоре после отставки Хрущёва и завершившаяся выдворением писателя из страны, имела двоякие последствия.

С одной стороны, она привела к тому, что фигура Солженицына разрослась до гигантских размеров, заслонив собою весь горизонт. Его

стали сравнивать с Толстым, с Достоевским, с протопопом Аввакумом, с библейскими пророками... Создав ему репутацию чуть ли не самого опасного и влиятельного врага могущественной ядерной державы, эта травля – и сила его противостояния этой травле – обеспечила Солженицыну неслыханную мировую славу.

С другой стороны, эта травля велась такими гнусными средствами, о Солженицыне писали в таком чудовищном тоне, на голову его обрушили столько лжи и клеветы, что это почти совершенно исключало для многих не только возможность какой бы то ни было критики Солженицына, но даже полемики с ним, ведь такая полемика неизбежно рассматривалась бы как соучастие в травле.

Это уродливое, искусственное, ненормальное положение сохраняется до сего дня.

До тех пор, пока книги Солженицына не опубликованы в нашей стране, его деятельность художника, идеолога, публициста, по существу, остаётся у нас вне серьезной критики. А это, естественно, создаёт почву для возникновения ***культа*** *Солженицына, который ничуть не лучше всякого другого культа.*

Публикуя рассказ «Матрёнин двор», мы делаем первый шаг к тому, чтобы покончить с этой ненормальной, уродливой ситуацией. Надеемся, что вслед за этим первым шагом последуют другие.

(«Огонёк», 1989, № 23, июнь)

Предваряя публикацию «Матрёнина двора» этим

предисловием, я, конечно, не ждал, что все прочитавшие мою заметку будут с нею согласны. Предполагал даже, что наверняка найдутся и недовольные ею. Но на ту реакцию, какую она – эта заметка – вызвала, признаюсь, не рассчитывал. Во всяком случае, у тех, кого привык считать людьми, так сказать, нашего круга, а значит, единомышленниками.

Первую жесткую отповедь я получил от Вячеслава Кондратьева, к которому я относился хорошо, да и он ко мне вроде тоже.

Я знал, что Солженицын хвалил и даже как-то поддержал его «Сашку». Знал, что он истовый и преданный поклонник Александра Исаевича. Но ведь я как будто ничего худого про его кумира и не сказал. Напротив, отдал ему должное и даже – первый – озаботился тем, чтобы вернуть его прозу читателю.

Сейчас я уже не помню, что именно он мне тогда говорил. Помню только подчеркнуто сухой и даже враждебный тон, каким было сделано мне его суровое порицание. И ещё помню, что выражал он мне это порицание не от себя, и даже не от «группы товарищей», а как бы **от всех** . Я очень хорошо помню, что это слово в той его речи упоминалось чаще всех других: «всех покоробило», «все считают», «все возмущены»...

Ну, а что касается смысла той его отповеди, то его легко можно восстановить, поскольку разговором со мной он не ограничился, а вскоре высказался на эту тему печатно.

22 октября 1989 года в «Московских новостях» была напечатана беседа с ним, озаглавленная «Чужие свои: судьба эмиграции».

И вот что там говорилось:

...

> *...Солженицына принимают все. Это национальный писатель, русский не только по происхождению, но и по духу, который любит Россию так, как, возможно, никто из нас. Поэтому время для критики его произведений просто не наступило, а может, и не наступит.*

Так прямо было сказано (напечатано): «и не наступит». Для критики Шекспира, Сервантеса, Гоголя, Толстого такое время наступило. А для Солженицына даже и не наступит.

А с пламенной Люшей (Еленой Цезаревной) Чуковской я чуть было совсем не рассорился.

В статье, появившейся в «Книжном обозрении», она в запале даже сравнила меня с бывшим председателем КГБ Семичастным, какой-то мемуар которого был напечатан в том же номере «Огонька», что и «Матрёнин двор» с моим предисловием.

Не обошёл вниманием эту мою заметку и сам Александр Исаевич:

…

Тут, пронюхав всю обстановку, ловкий Коротич (столько налгавший обо мне в «Советской России» в брежневское время) из моих гонителей сметливо перекинулся в непрошеные благодетели – и без разрешения и ведома Димы Борисова в начале шюня 89-го напечатал в «Огоньке» «Матрёнин двор». (С ядовитым предисловием Бена Сарнова, что, начав печатать, открываем наконец-то, наконец-то и «дорогу критике» этого Солженицына, – как будто 15 лет чем другим на Западе занимались.) Сорвал-таки Коротич первоочерёдность «Архипелага», было у меня смурное чувство, хотя же: в трёх миллионах экземпляров потекла «Матрёна» к массовому читателю.

(Александр Солженицын. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания. Часть четвертая (1987–1994). Глава 14. Через непродёр. «Новый мир», 2003, № 11)

Было ли моё предисловие ядовитым, – о том пусть судит читатель. А вот все остальное тут требует некоторого комментария.

Сперва о Коротиче.

В тогда ещё недавние советские (брежневские) времена Виталий Алексеевич и в самом деле был деятелем вполне законопослушным и даже сервильным. Помню, однажды мы сидели с ним вдвоём в его «огоньковском» редакторском кабинете, разговаривали, и он довольно резко осуждал – сейчас уж точно не помню, кого, кажется, Володю Максимова, – за сервилизм, за шашни с Кочетовым, за ещё какие-то тёмные пятна на его общественной репутации. Помня, с кем разговариваю, я не шибко откровенничал, занимал примирительную, отчасти даже соглашательскую позицию. Сказал что-то в том смысле, что не стоит никого судить так строго, такое уж было время.

И тут он довольно резко меня оборвал:

– Бросьте! Вот мы с вами ведь этого не делали!

Ну, ты-то, положим, делал, – подумал я.

Так что насчёт того, что в брежневские времена Коротич вполне мог оказаться – и наверняка оказывался – среди гонителей главных тогдашних диссидентов – Сахарова и Солженицына, – у меня нет никаких сомнений. Тут Александр Исаевич был прав на все сто процентов. А вот то, что, «пронюхав всю обстановку, ловкий Коротич» из гонителей Солженицына «сметливо перекинулся» в непрошеные его благодетели, – на правду уже не похоже.

Во-первых, обстановка для того, чтобы начать печатать Солженицына, тогда была ещё не вполне благоприятная. Чтобы сделать это первым, нужна была всё-таки известная смелость. А во-вторых, – и это главное, – Коротич вовсе не хотел печатать Солженицына. Не скрывал, что и по человеческим своим качествам, и как идеолог он, мягко говоря, не больно ему симпатичен. В общем, сопротивлялся нашему натиску, как мог. Но в конце концов уступил (конечно, сыграло свою роль и тщеславное желание и тут быть первым). В общем, мы его уговорили. «Мы» – это отчасти я, но главным образом Олег Хлебников, заведовавший тогда в «Огоньке» отделом литературы.

Тут, наверно, есть смысл привести небольшой отрывок из опубликованных недавно его воспоминаний:

…

В 1989 году «Новый мир» объявил о своём намерении опубликовать «Архипелаг ГУЛАГ». Он анонсировался из номера в номер, но все никак не выходил. Дело в том,

что тогдашний идеолог партии Вадим Медведев, занявший пропитанное зловредными эманациями (может быть, и пахнущее серой) кресло Суслова, неосторожно и категорично высказался в том смысле, что Солженицын в СССР будет опубликован только через его, Медведева, труп. (Думаю, что политический.)

Но ведь Солженицын в СССР печатался, и его некогда публиковавшийся, а после высылки писателя изъятый из литературного оборота «Матрёнин двор», например, очень подходил для наших «Запасников русской прозы XX века». Советскую цензуру этот рассказ уже проходил – как же его можно запретить во времена демократизации? Словом, я позвонил в Вермонт спросить разрешения Солженицина на публикацию. Сам Александр Исаевич трубку не взял. Тогда я рассказал суть просьбы и оставил свои координаты, с тем, чтобы он или кто-то из его доверенных лиц дал знать, если есть возражения против публикации. Когда прошло какое-то приличное время и возражений не последовало, я понёс «Матрёнин двор» на подпись Коротичу.

«Ну зачем нам это надо? – плаксивым голосом запричитал Виталий Алексеевич. – Вот Солженицын вернётся в Россию на белом коне, и мы же с вами на конюшне должны будем ему сапога чистить». Фразе я, конечно, несказанно удивился, но не сдавался. «Ну, хорошо», – недовольно кивнул Коротич и оставил рассказ у себя. А

через некоторое время он сказал, что Солженицына сняла цензура. До сих пор не знаю, так ли это – может быть, цензор был внутренний?

Тем не менее условия игры предполагали, что «Матрёнин двор» следует считать снятым цензурой. И тут совершенно неожиданно выходит постановление ЦК, подписанное Михаилом Сергеевичем Горбачёвым, суть которого, если коротко, сводилась к тому, что можно републиковать всё в разное время печатавшееся в СССР…

Одним словом, «Матрёнин двор» вышел в «Огоньке», а следом и «Архипелаг ГУЛАГ» в «Новом мире». С имени Солженицына был снят запрет…

А вскоре после выхода номера с «Матрёниным двором» от Солженицына в «Огонёк» пришло письмо, в котором говорилось, что он не давал разрешения на републикацию своего рассказа. Думаю, недовольство писателя было вызвано предисловием Сарнова. В нем прозе Солженицына давались не только восторженные оценки… Тем не менее никакого скандала не последовало.

(Олег Хлебников. Долгий ящик с запретными плодами. «Новая газета». 23.03. 2011)

Кое-какие подробности той истории Олег, наверно, запомнил лучше, чем я. А о некоторых я и не знал, даже не догадывался. (Не знал, что Олег звонил в Вермонт. Не знал и о том, что в «Огонёк» потом пришло письмо Солженицына с запоздалым запретом публиковать «Матрёну»).

Но я хорошо помню, что юридическая сторона дела тоже немало смущала Коротича: авторские права Солженицына в СССР представлял тот самый Дима Борисов, о котором А. И. упоминает в этом своём «Непродёре» и с которым он потом вдрызг рассорился из-за каких-то финансовых то ли недоразумений, то

ли вольностей, то ли махинаций последнего. (В махинации я решительно не верю, Диму я знал, – человек он был, как мне кажется, чистый и во всяком случае, ни на какие махинации не способный.)

С Димой мы решили свои планы не согласовывать (он бы наверняка публиковать «Матрёнин двор» нам не разрешил, блюдя твердое указание Исаича не печатать ничего, пока не решится вопрос о публикации «Архипелага»).

Но, как мне помнится, обо всех этих юридических тонкостях мы тогда не слишком заботились. Нами двигал азарт: страстное желание напечатать – после двадцатилетнего запрета – Солженицына в журнале с трехмиллионным тиражом. А там – хоть трава не расти! (Как видите, и сам Исаич тоже признал – хоть и сквозь зубы, – что всё-таки был рад, узнав, что «в трёх миллионах экземпляров потекла «Матрёна» к массовому читателю». Что ж, и на том спасибо).

Ну и, наконец, последнее, о чем я хочу сказать в этом своём комментарии к процитированному мною абзацу из этого солженицынского «Непродёра». О вскользь – в скобках – брошенной им фразе: «...открываем наконец-то, наконец-то и «дорогу критике» этого Солженицына, – как будто 15 лет чем другим на Западе занимались».

На Западе критикой Солженицына действительно занимались, и начали – действительно – лет за пятнадцать до того, как я посмел робко заикнуться о том, что такая критика необходима. Так ведь это – на Западе! А наш российский читатель о тех идеях, которые высказывал Солженицын уже там, «за бугром», и о критике – не официозной советской, кагэбешной, а свободной, либеральной – этих глубоко реакционных его идей, – мало что знал.

Да и как мог он о том узнать через вой глушилок и непроницаемую ограду железного занавеса!

Знали об этом у нас, да и то в далеко не полном объёме, очень и очень немногие.

Среди этих немногих был и я.

* * *

После «выдворения» Солженицына я перестал читать советскую литературу.

Вряд ли тут была какая-то причинно-следственная связь. Просто так совпало. Накапливалось давно, постепенно. А тут вдруг – как отрезало. Я не мог взять в руки не то что «Знамя» или

«Октябрь», но даже «Новый мир». (Который, правда, уже не был «Новым миром» Твардовского).

Всё это мне теперь заменил ТАМИЗДАТ.

Ближайшие мои друзья Войнович и Корнилов, ставшие, как это тогда называлось, диссидентами, а также мой друг Борис Биргер, который диссидентом в точном смысле этого слова тогда ещё не был, постоянно общались с иностранными корреспондентами, а иногда и с дипломатами. И те щедро снабжали их этим самым «Тамиздатом». Вот так и вышло, что и ко мне тоже тёк, не иссякая, ручеёк зарубежных русскоязычных изданий, и место «Нового мира» и других советских журналов в моём ежедневном домашнем обиходе заняли «Континент», «Время и мы», «Страна и мир», «Грани».

Кроме журналов, были, конечно, и книги. Ну, а кроме Тамиздата был ещё и Самиздат, так что чтения хватало.

Благодаря друзьям-диссидентам, я тут был в безусловно привилегированном положении. Но Тамиздат и Самиздат были доступны и рядовым читателям тоже: была бы только охота.

На этот счет ходили даже разные анекдоты.

Вот один из них, выдаваемый, как это часто бывает, за реальный случай.

Какой-то человек будто бы взял у знакомых – для сына – «Остров сокровищ» Стивенсона. Сын книгу дал ещё кому-то, и она затерялась. Несчастному отцу было очень неловко перед своими знакомыми, он мучился, не зная, как выйти из этой неприятной ситуации. И знающие люди ему подсказали. Сходи, говорят, на Кузнецкий, там толкутся книжники и книжные спекулянты, они тебе что хочешь достанут. Он послушался и довольно быстро сговорился с каким-то барыгой, что тот за полтинник (пятьдесят рублей) добудет ему вожделенный «Остров сокровищ». В назначенный день они встретились, он вручил спекулянту полтинник, тот ему – тщательно упакованную книгу. Придя домой и распаковав свёрток, бедняга – с недоумением и даже легким ужасом увидал, что вместо «Острова сокровищ» ему подсунули изданный «Посевом» солженицынский «Архипелаг». Оказалось, что у них там, у книжников, которые толкутся на Кузнецком мосту, свой конспиративный код, согласно которому «Архипелаг ГУЛАГ» «завсегда» (как в знаменитом зощенковском рассказе водка – лимонадом) зовется «Островом сокровищ».

А вот другой анекдот, уже не про ТАМ, а про САМиздат.

Бабушка перепечатывает на пишущей машинке «Войну и мир». У неё спрашивают: зачем? Не сошла ли она, часом, с ума? Нет, говорит, не сошла. Просто внук читает только то, что перепечатано на машинке. А всё, что издано типографским

способом, даже в руки не берёт.

Это я к тому, что, видно, не я один так остро ощущал тогда разницу между подцензурной и неподцензурной, свободной литературой.

Однажды, помню, я столкнулся в своём подъезде – у лифта – с Борей Слуцким. Я решил было, что он идёт ко мне, но оказалось, – не ко мне, а к Фазилю. (Тот жил тогда в точно такой же квартире, как моя, но – этажом выше). В руках у Бориса был внушительных размеров свёрток. Он сказал, что это рукопись искандеровского «Сандро из Чегема», которую он только что прочёл и вот, собирается вернуть автору.

А как раз в это самое время в «Новом мире» был напечатан сильно сокращённый и сильно изувеченный журнальный вариант «Сандро», который я, конечно, читать не стал (зачем, если я читал полный?), а Борис, как оказалось, прочёл.

– Ну и как? Велика разница? – спросил я.

– Разница, – медленно начал Борис, видимо, стараясь подыскать как можно более точную формулировку, – как между живым х..м и муляжом этого органа, сделанным из папье-маше.

Слегка смутившись (не оттого, что прибег к ненормативной лексике, а потому, что, зная мои близкие отношения с Фазилем, пожалел, что высказался с чрезмерной откровенностью), он тут же добавил:

– Только вы ему, пожалуйста, этого не говорите.

Говорить об этом Фазилю я, конечно, и не собирался (зачем его огорчать?), но формулировке Бориса в душе обрадовался: вот, даже и он, «наш советский Слуцкий», тоже понимает, каким ублюдочным становится всё, что выварено в семи щелоках советской цензуры.

* * *

Итак, я зачитывался Тамиздатом, не последнее место в котором занимали тогда, конечно, и книги Солженицына. Не только «Узлы», и не только «Архипелаг», но и публицистические – или, лучше сказать, историософские его сочинения. И вот они-то как раз больше всего меня и поразили.

Поразили, по правде сказать, не столько даже махровой своей реакционностью, сколько пошлостью и убогостью мысли.

Вот прочёл, например, такое:

…

Россия перед войной 1914 года была страной с цветущим производством, в быстром росте, с гибкой децентрализованной экономикой, без стеснения жителей в выборе экономических занятий, было положено начало рабочего законодательства, а материальное положение крестьян настолько благополучно, как оно никогда не было при советской власти. Газеты были свободны от предварительной политической цензуры (даже и во время войны), существовала полная свобода культуры, интеллигенция была свободная в своей деятельности, исповедание любых взглядов и религий не было воспрещено, а высшие учебные заведения имели неприкосновенную автономность. Многонациональная Россия не знала национальных депортаций и вооружённого сепаратистского движения… Александр I был с войском в Париже, – и не присоединил к России и клочка европейской земли…

(А. Солженицын. Чем грозит Америке плохое понимание России. Александр Солженицын. Публицистика в трех томах. Том 1. Статьи и речи. Ярославль. 1995. Стр. 345)

Всё это провозглашалось, как говорится, «на голубом глазу». Словно не было в той благословенной России ни черты оседлости, ни дела Бейлиса, ни полувековой национально-освободительной войны народов Кавказа. Словно генерал-губернатор Трепов не приказал выпороть студента. Словно Александр Первый на Венском конгрессе не оторвал с кровью герцогство Варшавское и не присоединил его к России под именем Царства Польского, после долгих препирательств и угроз, чуть не кончившихся новой войной, уступив Познань Пруссии и Галицию Австрии. Словно русский император не именовался потом целое столетие Царем

Польским и Великим Князем Финляндским. И это называется – «ни клочка европейской земли»!

Но не откровенная неправда и не очевидная предвзятость этой характеристики меня поразила. В конце концов, публицист имеет право быть пристрастным. Тем более – такой горячий, страстный публицист, как Солженицын.

Более всего поразило меня тут, как я уже сказал, совсем другое.

Вышло так, что как раз в то самое время, когда я читал эту статью Солженицына, попалась мне – в том же Тамиздате – книга воспоминаний Феликса Юсупова.

И вот что я прочёл на последних, заключающих страницах этого мемуара:

...

Обрушилась в бездну великая Россия, великая не только по своим размерам и военной мощи, но и по своему государственному и культурному прошлому.

Большинство иностранцев её не знало. Они верили анекдотам о «варварской стране», управляемой «царями-деспотами при помощи кнута и нагайки». Распространению этих нелепых вымыслов мы в значительной степени обязаны рассказам и сочинениям тех прежних политических эмигрантов, большей частью инородцев по происхождению, из среды которых вышли Ленины, Троцкие и Зиновьевы...

Судьбе было угодно, после трехсотлетней великой созидательной работы, уготовить трагический конец той русской Династии, о которой Пушкин сказал: «Романовы – отечества надежда»...

Царствование Императора Николая II могло бы быть блестящей страницей в истории Русского Государства, если бы революция не

поразила Россию почти накануне победного окончания войны, стоившей русскому народу неисчислимых жертв и огромного героического напряжения.

Благополучно доведя войну до конца, Россия могла бы стать первой державой мира, а её государь – верховным арбитром Европы, каким был в своё время Император Александр I, после войны 1812–1814 гг., закончившейся триумфальным въездом в Париж русского Царя.

Но Российская Империя пала почти на пороге своего торжества, а русский государь погиб от руки гнусных преступников.

(Ф. Ф. Юсупов. Конец Распутина. Воспоминания)

Комичность этого рассуждения можно уподобить медицинскому заключению о смерти сильно одряхлевшего и насчитывающего множество неизлечимых болезней старика, в котором было бы сказано примерно следующее: «Пациент отличался редкостным здоровьем. Он чувствовал себя превосходно и наверняка с каждым днем чувствовал бы себя и выглядел всё лучше и лучше, если бы не смерть, которая настигла его на пороге ожидавшего его торжества: он как раз собирался принять участие в спортивных соревнованиях, где наверняка одержал бы блистательную победу».

Совпадение этого комического «медицинского заключения» с таким же «медицинским заключением» Солженицына – вот что меня поразило.

С Феликса Юсупова спрос невелик: как-никак прославил он своё имя не в сфере социально-исторической мысли, а совсем в другой области.

Иное дело – Солженицын!

Но при всей разности этих двух исторических фигур в их «медицинских заключениях» совпадало решительно всё. Не только диагноз, но и то, что у врачей называется эпикризом: оба свято убеждены, что вовсе не от многочисленных своих застарелых и неизлечимых болезней в одночасье отдала концы императорская Россия.

Что же в таком случае её сгубило?

Феликс Юсупов даёт понять, что виновниками постигшей Россию катастрофы были «инородцы, из среды которых вышли Ленины, Троцкие, Зиновьевы».

Солженицын утверждает то же самое, – пожалуй, даже ещё прямее:

…

> *Все первые годы революции разве не было черт как бы иностранного нашествия? Когда в продовольственном или карательном отряде, приходившем уничтожить волость, случалось – почти никто не говорил по-русски, зато бывали и финны, и австрийцы? Когда аппарат ЧК изобиловал латышами, поляками, евреями, мадьярами, китайцами? Когда большевистская власть в острые периоды гражданской войны удерживалась на перевесе именно иностранных штыков, особенно латышских?*
>
> *(А. Солженицын. Раскаяние и самоограничение как Категории национальной жизни.)*

Эту солженицынскую работу я прочёл в сборнике «Из-под глыб», дошедшем до меня в 1974 году, в том же Тамиздате.

Сборнику этому, составленному ещё в Москве, А. И. придавал исключительное по важности значение. Довольно ясно намекал, что ставит его в ряд с знаменитыми «Вехами» и их продолжением – «Из глубины», в котором – за немногими исключениями – участвовали те же авторы, что и в «Вехах».

Прочитав эту небольшую книжицу, на которую он возлагал столько надежд, я был сильно разочарован. С «Вехами» и «Из глубины» это, как говорится, рядом не лежало. И труба была пониже, и дым, соответственно, сильно пожиже.

В этом, конечно, Александр Исаевич был не виноват: где ему было в Москве 69-го или 73-го года отыскать мыслителей, если не равных Н. Бердяеву, С. Булгакову, С. Л. Франку и П. Б. Струве, так хоть сопоставимых с ними.

Ничего подобного от этих новых «Вех» я, по правде говоря, и

не ждал. Но и того уровня мысли (а лучше сказать – скудоумия), с которым мне пришлось в нем столкнуться, не ждал тоже.

Особенно поразила меня там работа Игоря Шафаревича «Социализм». Едва ли не главной движущей силой этого вероучения автор полагал – пафос гибели и безудержного разрушения. Ссылался при этом на Нечаева, Бакунина. Но в качестве одного из самых сильных и убедительных доказательств приводил такое:

...

В СССР нашему поколению ещё хорошо помнится, как мы в пионерских колоннах шагали и воодушевлённо пели (а до нас – и молодёжь гражданской войны и красногвардейцы):

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов
И как один умрём
В борьбе за это!!!

И больше всего воодушевления, взлёта общего чувства вызывало вот это КАК ОДИН УМРЁМ! (Из-под глыб. Сборник статей. YMKA-PRESS, Paris, 1974. Стр. 68)

Вот так доказательство! – подумал я.

Что ж, не знает он, что ли, что ту же самую песню пели и белогвардейцы! Слова были, правда, чуть-чуть другие:

Смело мы в бой пойдем
За Русь святую
И как один прольём
Кровь молодую!

Слова чуть-чуть другие, но идея-то – та же. Тоже – КАК ОДИН. И воодушевление, надо полагать, было такое же.

А главное – обе песни родились из одного источника: популярного перед войной романса: «Белой акации гроздья душистые...» Ещё и Остап Бендер шутил по этому поводу: «Белой акации – цветы эмиграции...»

Более всего поразило меня тогда, что к такому смехотворному доказательству одного из ключевых своих

положений прибег ученый, математик.

Ну, жалкий же ездок! – подумал я цитатой из Грибоедова. И тут же вспомнил давным-давно слышанную мною историю про отца Троцкого. В самые первые революционные годы у старика будто бы спросили, как нравится ему новая власть. И он будто бы ответил:

– А-а! Какая это власть, когда мий Лёва у них царэм...

Вот примерно так же подумал я и об этих новых солженицынских «Вехах»: какие там «Вехи», если такой вот Шафаревич ходит у них в мыслителях.

Но даже и это ещё не стало крутым переломом в моём отношении к Александру Исаевичу.

А стал таким переломом, казалось бы, уже совершеннейший пустяк. Прямо как в сказке: дед бил-бил – не разбил, баба била – не разбила; мышка пробежала, хвостиком махнула, – яичко покатилось и разбилось.

Этим «мышкиным хвостиком» оказались два факта, о которых я узнал из статьи Андрея Синявского «Солженицын как устроитель нового единомыслия».

В 1983 году, – рассказывает в этой статье Андрей Донатович, – в Париже вышла брошюра Н. Дронникова (скромного русского художника). Называется: «Статистика России 1907–1917». Статистика – такая: сравниваются низкие цены на леща в Одессе в 1913 году с высоким процентом евреев, проникавших в сердце России. Тут же – о добросердечии Гитлера, который вскоре после прихода к власти в 1933 году пожертвовал крупную денежную сумму на построение православного храма в Берлине. Тут же приводится из этой книги такая цитата:

...

> *Пора перестать считать русскими большинство писателей, художников и профессоров здешних университетов, только оттого, что они родились в России и говорят и пишут на русском языке, окормляясь вокруг русского вопроса.*
>
> *(Цит. по кн: Абрам Терц. Путешествие на Черную речку. М. 1999. Стр. 342)*

А на обложке этой «охотнорядческой», как (судя по всему,

справедливо) именует её Андрей Донатович, книги – жирным шрифтом такая рекомендация:

...

От души желаю Вам успехов в отстаивании истины о нашей заплёванной родине. Жму руку.
31. 1. 84.
А. Солженицын.
(Там же)

Но ещё более сильное впечатление произвел на меня другой факт, сообщаемый тем же А. Д. Синявским в той же его статье.

На этот раз речь идет о другой книге, другого автора – некоего Петра Орешкина. Называется она – «Вавилонский феномен» (Рим, 1984.)

Этот Петр Орешкин совершил множество чудесных открытий. Он, например, установил, что первоязыком всего человечества был древнеславянский язык и потому все языки мира, все культуры, мифы, письмена и рисунки (включая Японию, древнюю Мексику, Индию, остров Пасхи, египетские иероглифы и даже пещерные изображения) следует переиначить по-русски.

Далее в статье Синявского следует ряд цитат из книги этого Орешкина, из которых я приведу лишь самые выразительные:

...

Уже само имя «этруски» дает основание говорить, что были они древнеславянским племенем руссов – «Это-руски».

Римская Курия – это всего лишь «курилка», а философ Эпикур – переосмысленное опий куре. (Там же. Стр. 343)

А вот как объясняется происхождение слова «Прованс»:

...

«Прованяси», что, вероятно,

объясняется «пикантным» запахом продуктов, изготовленных в Провансе: прованские сыры, капуста «провансаль» и т. п.

(Там же. Стр. 344)

Все это, конечно, не заслуживало бы особого внимания (мало ли такого приходилось нам читать уже в те времена, а чем дальше – тем больше), если бы на обложке и этой книги тоже не красовалась рекомендация Александра Исаевича:

...

Многоуважаемый Петр Петрович!

Могу представить себе Ваше отчаяние от предложения Вашей работы западным «славянским» специалистам. Ещё независимо от истины – само направление Вашей трактовки им отвратительно и является одним из самых осудительных, что только можно придумать в современном мире.

Ну, во всяком случае, это очень дерзко и несомненно – талантливо.

Желаю Вам не приуныть, но преуспеть!

Александр Солженицын.

(Там же. Стр. 342–343)

Прочитав эти две «рекомендации» Александра Исаевича, я вспомнил обращённую к нему Борисом Заходером – тогда ещё скорее в шутку, чем всерьёз – знаменитую отповедь Белинского Гоголю: «Апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия – опомнитесь! Что Вы делаете!»

Теперь эти слова уже можно было обратить к нему с полным на то основанием. И не в шутку, а на полном серьёзе.

* * *

До Александра Исаевича, как видно, дошло, что с этими своими рекомендациями он, что называется, сел в лужу. И он всё-

таки решил – не то чтобы оправдаться, но – объяснить, как вышло, что он поддержал всю эту очевидную – и не такую уж безобидную – чепуху.

...

...Сколько непроизвольных фраз неоглядчиво утекает через письма. Пишут, кажется, самые честные люди и с самыми честными намерениями – как можно, стиснув зубы, промолчать? как можно не протянуть руку поддержки? Вот М. Г. Трубецкой, из тех самых Трубецких, следующее поколение, шлёт воспоминания отца, я читаю, отзываюсь – а он отрывки из моих писем помещает как «предисловие» к своим публикациям (один – спросив разрешения, другой – уже и без). – Игорь Глаголев, перебежчик 1976, надрывается в борьбе против Советов, отвечаю ему сочувственным письмом – вскоре узнаю, что я, заочно и без моего ведома, избран в «почётные председатели» их политической коалиции. – О. А. Красовский ездит по Штатам и Европе и, в утвержденье своего новообразованного журнала «Вече», читает вслух моё совершенно частное к нему письмо. – Художник Дронников издал книжечку статистики о старой России, верного и полезного направления, прислал мне, – ну как промолчать бесчувственно? Шлю ему всего две-три фразы в письме – в следующем его выпуске они уже напечатаны как реклама на обложке! – Какой-то молодой человек П. Орешкин шлёт мне альбом своего исследования об этрусском языке, я не могу вникнуть

в суть, но так ему нужна духовная поддержка, все его отвергают и смеются, – я пишу письмо с сочувственными словами, нельзя же истуканом замерзать в холодной высоте, – он выхватывает из письма благоприятное, опускает невыгодное, ещё переставляет фразы, как ему ладней, – и эту подделку печатает предисловием к своей книге!

Так что, я уже и писем никому не должен писать, так получается? Замкнуться до того, чтоб – и ни единого письма? Только так в этом эмигрантском кишении можно устоять?

(А. Солженицын. Угодило зёрнышке промеж двух жерновов)

Тон этого объяснения вроде как оправдывающийся. Но черносотенная книжечка Дронникова всё равно остаётся для него сочинением «верного и полезного направления». Может быть (хочу надеяться), и не потому, что в ней благосклонно говорится о Гитлере и неблагосклонно о евреях, проникавших в самое сердце России, а потому, что она каким-то другим образом способствует благородному делу «отстаивания истины о нашей заплёванной родине».

Кем же она заплёвана, несчастная наша родина?

На этот вопрос А. И. отвечает подробно, возвращаясь к ответу на него чуть ли не в каждом из своих эмигрантских выступлений – как устных, так и письменных:

...

В длинном ряду выступлений, искажающих облик России, характерна хотя бы книга Ричарда Пайпса «Россия при старом режиме». (Richard Pipes. Russia under the Old Regime. New York: Charlea Scribner\'s Sons, 1974, p. 361). Пайпс вовсе пренебрегает духовной жизнью русского народа и его

миропониманием – христианством, рассматривает века русской истории вне зависимости от православия и его деятелей... Этот народ и эта страна представлены как недоразвившиеся до духовной жизни, движимые одними лишь грубыми материальными расчётами, от мужика и до царя... Автор произвольно игнорирует события, лица и стороны русской жизни, которые мешали бы его концепции: что вся история России никогда не имела другого смысла, как создать полицейский строй. Он отбирает только то, что помогает ему дать пренебрежительно-насмешливое и открыто-враждебное описание русского тоталитаризма...

Все учёные и публицисты этого направления с каким-то тупоумием повторяют из книги в книгу, из статьи в статью два имени: Иоанн Грозный и Пётр I, подразумеваемо или открыто сводя к ним весь смысл русской истории. Но и по два, и по три не менее жестоких короля можно найти и в английской, и во французской, в испанской и в любой другой истории, – однако никто не сводит к ним полноту исторических объяснений. Да никакие два короля не могут определить историю 1000-летней страны. Однако рефрен продолжается. Таким приёмом одни учёные хотят показать, что коммунизм только и возможен в странах с «порочной историей», другие – очистить и сам коммунизм, переложив вину за его дурное исполнение на свойства русской нации. Подобный взгляд повторился и в серии недавних статей, посвященных столетию Сталина,

например у профессора Роберта Таккера (R. C. Tucker, New York Times, 21.12.79).

Короткая, но энергичная статья Таккера изумляет... Мы снова встречаем всё те же неувядшие идеалы революции, которые загубил гнусный Сталин, потому что уроки брал не у Маркса, а у гнусной русской истории. Профессор Таккер спешит спасти социализм тем, что Сталин, оказывается, не был настоящим социалистом! – он действовал не по теории Маркса, а по стопам всё тех же настрявших Иоанна Грозного из XVI века и Петра из XVIII. Что будто вся сталинская эпоха есть радикальный возврат в прежнюю царскую эпоху, а совсем не последовательное применение марксизма к современным реальным условиям, что Сталин разрушал большевизм (а не продолжал его)... Я, по авторской скромности, не смею просить и надеяться, чтобы профессор Таккер прочёл хотя бы 1-й том «Архипелага ГУЛАГа», а лучше бы все три. Это может быть освежило бы у него в памяти, что коммунистический полицейский аппарат, промоловший потом 60 миллионов жертв, создали Ленин, Троцкий и Дзержинский... Что Ленин собственным пером сформулировал 58-ю статью уголовного кодекса, на которой и был основан весь сталинский ГУЛАГ. И весь красный террор и миллионные подавления крестьянства сформулированы Лениным и Троцким... В СССР верно говорилось: «Сталин – это Ленин сегодня», и действительно: вся сталинская эпоха есть прямое продолжение ленинской... Никакого

«сталинизма» никогда не существовало ни в теории, ни на практике, ни такого явления, ни такой эры, – это понятие придумала после 1956 левая западная мысль для спасения «идеалов» коммунизма.

(Александр Солженицын. Публицистика в трёх томах. Том 1. Статьи и речи. Ярославль. 1995. Стр. 342–343)

В высшей степени сомнительно почти всё, что – в запале – наговорил А. И. в этих своих полемических заметках. Но то, что он нагородил тут о Сталине, – просто смехотворно.

Никакого «сталинизма», оказывается, не существовало ни в теории, ни на практике, ни такого явления, ни такой эры. Сталин все годы своего правления всего лишь честно выполнял все ленинские предписания, разве только «ограниченно по своим умственным возможностям»...

И это – не в полемическом запале было брошено. Это было искреннее и глубокое его убеждение. К этой любимой своей мысли он не уставал возвращаться:

...

Справедливо усумниться: а есть ли такой отдельный «сталинизм»? Существовал ли он когда? Сам Сталин никогда не утверждал ни своего отдельного учения (по низкому умственному уровню он и не мог бы построить такого), ни своей отдельной политической системы. Все сегодняшние поклонники, избранники и плакальщики Сталина в нашей стране, а также последователи его в Китае гранитно стоят на том, что Сталин был верный ленинец и никогда ни в чём существенном от Ленина не отступил. И автор этих строк, в свое время попавший в тюрьму именно за ненависть к Сталину и за

упрёки, что тот отступил от Ленина, сегодня должен признаться, что таких существенных отступлений не может найти, указать, доказать.

(На возврате дыхания и сознания. Александр Солженицын. Публицистика в трёх томах. Том 1. Статьи и речи. Ярославль. 1995. Стр. 33–34)

...

...Пристальное изучение нашей новейшей истории показывает, что никакого сталинизма (ни – учения, ни – направления жизни, ни – государственной системы) не было, как справедливо утверждают официальные круги нашей страны, да и руководители Китая. Сталин был хотя и очень бездарный, но очень последовательный и верный продолжатель духа ленинского учения.

(Там же. Стр. 35)

Это Сталин-то!

Да, Сталин действительно любил повторять, что он всего лишь ученик Ленина и главную цель своей жизни видит в том, чтобы быть самым верным и последовательным его учеником. Но ведь всё это было чистейшей воды лицемерие!

Государство, возникшее на развалинах рухнувшей Российской Империи, Ленин возглавлял меньше пяти лет (в 1922 году он уже практически отошёл от дел). Сталин – тридцать! И истинным создателем этой новой империи был не Ленин, а именно он, Сталин.

Тот, кто почитается создателем этого государства (Ленин) рассматривал это своё создание как очаг мировой революции, которая непременно – раньше или позже – произойдёт и взорвёт, уничтожит дряхлеющий мир капитала.

Сталин с самого начала своей государственной деятельности глядел на это иначе и о принципах устройства этого – только ещё

создающегося тогда государства – открыто, впрямую спорил с Лениным.

Ленин хотел строить создаваемое им государство на основе идеи федерализма: не унитарное государство, а – федерация, добровольный союз свободных и независимых республик.

Трудно сказать, в какой степени он был искренен, когда, замысливая эту федерацию, отстаивал право для каждой республики на выход из Союза. Но Сталин, споря с Лениным и выступая против этого права на выход, был безусловно искренен.

В первые годы своего существования Советский Союз нес в себе не только мнимые, но и реальные черты федерализма. У каждой республики были свои национальные военные формирования. Верховный орган власти Союза (ВЦИК) возглавляли одиннадцать (по числу входящих тогда в Союз республик) сопредседателей.

Все это Сталин поломал. Он не только упразднил национальные военные формирования, но даже настоял на переводе письменности тюркоязычных и иных наций, входящих в состав Союза, на кириллицу (русский алфавит). Была создана своего рода пирамида (иерархия) народов, входящих в империю. Вершиной пирамиды был, разумеется, русский народ – «старший брат», как его полагалось именовать. Процесс превращения федерации в унитарное государство был, таким образом, не только завершён, но даже и идеологически оформлен.

Сталин изначально представлял себе государство, которое хотел возглавить, как империю, а себя – как царя.

17 октября 1935 года, отдыхая в Сочи, он решил ненадолго отправиться в Тифлис, чтобы повидаться с матерью.

Мать Сталина была совсем простая, неграмотная женщина, она весьма слабо представляла себе, кем стал её сын, и вот какой на эту тему вышел у них разговор.

Она спросила:

– Иосиф, а ты сейчас кто?

Он ответил:

– Помнишь царя? Ну так вот, я что-то вроде царя.

Это отнюдь не было шуткой.

Не только политическим, но и эстетическим идеалом Сталина был фасад Российской Империи: старая русская военная форма с погонами, деньги, похожие на царские трёшки и пятерки, «царский» портрет генералиссимуса на здании Моссовета (левая нога на полшага впереди правой, в левой руке перчатки)…

Неограниченный властелин полумира, создатель государственной машины, с которой не могла сравниться ни одна империя прошлого, земной бог, официальный титул которого

(величайший гений всех времён и народов, корифей науки, гениальный полководец, основоположник, создатель, зачинатель, лучший друг физкультурников, и прочая, и прочая, и прочая) далеко превосходил количеством и пышностью определений полный титул Российских самодержцев, он до конца своих дней не мог отделаться от равнения на последнего отпрыска рухнувшей монархии. Лучшим комплиментом для Сталина, высшей оценкой созданной им империи были бы принятые всерьез полунасмешливые строки поэта: «Амуниция в порядке, как при Николае».

Ленину эта эстетика была ненавистна.

...

Надо формировать правительство. Нас несколько членов Центрального Комитета. Летучее заседание в углу комнаты.

– Как назвать? – рассуждает вслух Ленин. – Только не министрами: гнусное, истрёпанное название.

– Можно бы комиссарами, – предлагаю я, – но только теперь слишком много комиссаров. Может быть, верховные комиссары?.. Нет, «верховные» звучит плохо. Нельзя ли «народные»?

– Народные комиссары? Что ж, это, пожалуй, подойдёт, – соглашается Ленин. – А правительство в целом?

– Совет, конечно, совет... Совет народных комиссаров, а?

– Совет народных комиссаров? – подхватывает Ленин, – это превосходно: ужасно пахнет революцией!..

(Л. Троцкий. Моя жизнь. М. 1991. Стр. 326)

Сталин этот «запах революции» ненавидел и, придя к власти, последовательно его истреблял, воскресив не только

«министров», но и «офицеров», и «генералов» (вместо «комдивов» и «комкоров»).

Кое-кто такое развитие событий предвидел ещё в начале 20-х.

...

Они восстановили армию. Конечно, они думают, что они создали социалистическую армию, которая дерётся «во имя Интернационала», – но это вздор. Им только так кажется. На самом деле они восстановили русскую армию.

Дальше. Наш главный, наш действенный лозунг – Единая Россия... Знамя Единой России фактические подняли большевики. Конечно, они этого не говорят. Конечно, Ленин и Троцкий продолжают трубить Интернационал. Но... фактически Интернационал оказался орудием расширения территории для власти, сидящей в Москве. До границ, где начинается действительное сопротивление других государственных организмов, в достаточной степени крепких. Это и будут естественные границы будущей Российской Державы... Социализм смоется, но границы останутся... Будут ли границы 1914 года или несколько иные – это другой вопрос. Во всяком случае, нельзя не видеть, что русский язык во славу Интернационала опять занял шестую часть суши. Сила событий сильнее самой сильной воли... Ленин предполагает, а объективные условия, созданные Богом, как территория и душевный уклад народа, «располагают»... И теперь очевидно стало, что, кто сидит в

Москве, безразлично, кто это, будет ли это Ульянов или Романов (простите это гнусное сопоставление), принужден… делать дело Иоанна Калиты.

(В. Шульгин. «1920». София. 1921)

Это не Ричард Пайпс написал, и не Роберт Таккер, а русский националист и монархист Василий Витальевич Шульгин, – тот самый, который принял из рук последнего русского императора текст его отречения от престола.

Так оно всё потом и вышло. Но сделали это не Ленин с Троцким, а – Сталин. И он не только восстановил границы той, старой Российской империи, но вывел возглавляемую им страну далеко за пределы этих границ, осуществив вековую мечту русских славянофилов:

Москва, и град Петров, и Константинов град –

Вот царства русского заветные столицы…

Но где предел ему? и где его границы

На север, на восток, на юг и на закат?

Грядущим временам судьбы их обличат…

Семь внутренних морей и семь великих рек!..

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая –

От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная…

Вот царство русское… и не пройдет вовек,

Как то провидел Дух и Даниил предрек.

(Ф. Тютчев. Русская география)

География вышла не совсем такая, но – близкая к этой тютчевской программе, что, кстати сказать, не упустил отметить и Солженицын:

...

Никакой самый оголтелый патриотический предсказатель не осмелился бы ни после Крымской войны, ни, ближе того, после японской, ни в 1916-м, ни в 21-м, ни в 31-м, ни в 41-м годах даже заикнуться выстроить такую заносчивую перспективу: что вот уже близится и совсем недалеко время, когда все вместе великие европейские державы перестанут существовать как серьезная физическая сила; что их руководители будут идти на любые уступки за одну лишь благосклонность руководителей будущей России и даже соревноваться за эту благосклонность, лишь бы только русская пресса перестала их бранить; и что... вечная грёза о проливах, не осуществясь, станет однако и не нужна – так далеко шагнет Россия в Средиземное море и в океаны...

(А. Солженицын. Письмо к вождям Советского Союза. Париж, 1974. Стр. 8–9)

И это тоже сделали не Ленин с Троцким, а – Сталин. И сделал он это, руководствуясь не теориями Маркса (или Ленина, или Троцкого), – а продолжая дело Ивана Калиты, Ивана Грозного, Петра.

* * *

Возражая Таккеру, Солженицын говорит:

...

И какой же образец мог, по

Таккеру, увидеть для себя Сталин в прежней царской России? Лагерей – вообще не было, и понятия даже такого.

(Александр Солженицын. Публицистика в трёх томах. Том 1. Статьи и речи. Ярославль. 1995. Стр. 344)

Да, лагерей в старой России не было даже при Иване и Петре. Но было крепостное право. И Сталин, загнавший миллионы наших сограждан в колхозное и ГУЛАГовское рабство, был прямым последователем Ивана и Петра.

Когда Петру понадобилось построить Петербург, с рабочей силой никаких проблем у него не было: со всей страны свозили крепостных мужиков и они гибли, как мухи, вколачивая сваи в мёрзлую землю Финского залива. Так же поступал и Сталин, когда ему нужно было построить Беломорско-Балтийский канал, или Норильск, или Комсомольск-на-Амуре. Свозили туда не крепостных, а зэков, но это был тот же рабский труд, то же крепостное право.

Возражая западным историкам, «оплёвывающим» Россию, Солженицын говорит:

...

Все учёные и публицисты этого направления с каким-то тупоумием повторяют из книги в книгу, из статьи в статью два имени: Иоанн Грозный и Пётр I, подразумеваемо или открыто сводя к ним весь смысл русской истории. Но и по два, и по три не менее жестоких короля можно найти и в английской, и во французской, в испанской и в любой другой истории...

(Там же. Стр. 342)

Да, это правда: жестокие короли были и в Англии, и во Франции, и в Испании. Но ни в Англии, ни в Испании, ни во Франции не было *опричнины* .

Самый тонкий и проницательный аналитик созданной Сталиным системы власти – А. Авторханов в одной из своих книг

приводит такой эпизод биографии Сталина.

В семинарии, где учился юный Сосо Джугашвили, преподаватель истории задал ученикам написать сочинение о причинах падения Юлия Цезаря. Сочинение, представленное будущим вождем КПСС, поразило учителя своей обстоятельностью и глубиной. Там были даже какие-то схемы, таблицы.

– Если я вас правильно понял, – сказал автору, прочитав это его сочинение, учитель, – главная ошибка Цезаря, по-вашему, состояла в том, что он не сумел создать достаточно сильный аппарат государственной власти?

– Нет, – возразил будущий Сталин. – Главная его ошибка состояла в том, что он не смог, а вернее, не догадался создать аппарат личной власти, стоящий НАД аппаратом государственной власти.

Если даже это и апокриф, он отражает самую суть созданной Сталиным системы власти.

Ленин созданную им систему, которую он с присущей ему откровенностью именовал диктатурой, характеризовал так:

...

> *Партией руководит ЦК... Оргбюро и Политбюро... Выходит, самая настоящая «олигархия»... Ни один важный политический вопрос не решается ни одним государственным учреждением в нашей республике без руководящих указаний ЦК партии... Таков общий механизм пролетарской государственной власти, рассматриваемый «сверху» с точки зрения практики осуществления диктатуры... Вырастал этот механизм из маленьких, нелегальных подпольных кружков в течение 25 лет.*
>
> *(В. И. Ленин. Собр. соч., т. XXV, стр. 193–194).*

Что говорить, система была хороша. Но Сталин внес в неё кардинальные изменения, сильно её улучшив.

...

...Уже в 1929 году реорганизация аппарата ЦК закончилась созданием в самом ЦК, как тогда говорили, «нелегального Кабинета Сталина»... Этот нелегальный «Кабинет Сталина» впоследствии получил официально-легальное наименование: «Секретариат т. Сталина» (не смешивать с «секретариатом ЦК»!)...

Будущий биограф Сталина, которому будут доступны документы сталинского «Кабинета», с величайшим изумлением установит тот простейший факт, что не Политбюро, состоящее из старых большевиков, а технический кабинет, состоящий из молодых, внешне скромных, в партии и стране неизвестных, но способнейших исполнителей воли своего хозяина, направлял мировую и внутреннюю политику СССР...

«Кабинет» подбирал «кадры» партии, армии, государства... Но, чтобы назначать новых, надо было убирать старых... Об этом заботился «Особый сектор», руководимый Поскребышевым...

В чем же были его функции? В официальной партийной литературе вы будете тщетно искать ответа на этот вопрос. Неофициально же о нем было известно следующее. «Особый сектор» должен был быть органом надзора за верхушками партии, армии, правительства и, конечно, самого НКВД. Для этого у него была собственная агентурная сеть и специальный подсектор «персональных дел» на всех вельмож без различия ранга... «Особый сектор» освобождал места, которые

немедленно заполнял «сектор кадров» сначала Ежова, а потом Маленкова. Удивительно ли после всего этого, что наркомы дрожали перед Товстухой и Поскребышевым, а члены ЦК ползали перед Ежовым и Маленковым. А эти лица числились в списке аппарата ЦК лишь «техническими сотрудниками» ЦК.

(А. Авторханов. Технология власти)

Прообразом этого созданного Сталиным **аппарата личной власти** была придуманная Иваном **опричнина** . Недаром же высшие советские сановники – наркомы и члены Политбюро – дрожали перед Ежовым и Поскребышевым точь-в-точь так же, как при Иване Грозном отпрыски самых знатных боярских родов дрожали перед Малютой и Федькой Басмановым.

Иван Грозный был первым в ряду исторических деятелей, чей опыт представлялся Сталину наиболее ценным. Царя Ивана он ставил даже выше Петра.

...

ИЗ ЗАПИСИ БЕСЕДЫ И. В. СТАЛИНА,

А. А. ЖДАНОВА И В. М. МОЛОТОВА

С С. М. ЭЙЗЕНШТЕЙНОМ И Н. К. ЧЕРКАСОВЫМ

ПО ПОВОДУ ФИЛЬМА «ИВАН ГРОЗНЫЙ»

26 февраля 1947 г.

СТАЛИН. Царь Иван был великий и мудрый правитель и если его сравнить с Людовиком XI (вы читали о Людовике XI, который готовил абсолютизм для Людовика XIV?), то Иван Грозный по отношению к Людовику на десятом небе. Мудрость Ивана Грозного состояла в том, что он стоял на национальной точке зрения и иностранцев в свою страну

не пускал, ограждая страну от проникновения иностранного влияния… Петр I – тоже великий государь, но он слишком либерально относился к иностранцам, слишком раскрыл ворота и допустил иностранное влияние в страну, допустив онемечивание России. Ещё больше допустила его Екатерина. И дальше. Разве двор Александра I был русским двором? Разве двор Николая I был русским двором? Нет. Это были немецкие дворы.

Замечательным мероприятием Ивана Грозного было то, что он первый ввел государственную монополию внешней торговли. Иван Грозный был первый, кто её ввел, Ленин второй…

Иван Грозный был очень жестоким. Показывать, что он был жестоким, можно, но нужно показать, почему необходимо быть жестоким.

(Власть и художественная интеллигенция. Документы. 1917–1953. М. 2002. Стр. 612–613)

Отдав должное государственной мудрости царя Ивана, Сталин (в той же беседе) особо отметил и прогрессивную роль опричнины:

…

СТАЛИН. У вас неправильно показана опричнина. Опричнина – это королевское войско. В отличие от феодальной армии, которая могла в любой момент сворачивать свои знамёна и уходить с войны, – образовалась регулярная армия, прогрессивная армия. У вас опричники показаны, как ку-клукс-клан…

(Там же)

Чем особенно мила была ему опричнина, он тут не открыл. Надо думать, понимал, что из всех «прогрессивных» начинаний царя Ивана это было – самое одиозное. Но от высокой оценки этого его гениального изобретения не отказался.

* * *

25 сентября 1975 года в заявлении о суде над арестованным в Москве русским националистом Владимиром Осиповым Солженицын писал:

…

> *На Западе до сегодняшнего дня безграмотно и беспечно взаимозаменяются слова «советский» и «русский». На самом деле эти слова прямо противоположны по смыслу.*
>
> *(Александр Солженицын. Публицистика в трёх томах. Том 2. Общественные заявления, письма, интервью. Ярославль, 1995. Стр. 306)*

Это была главная его боль, главная тема всех его политических выступлений и заявлений. Он возвращался к ней постоянно, при всяком удобном и неудобном случае.

…

> *Прежде всего легкомысленно и неправильно применяют слово «Россия»: его используют вместо слова «СССР», и слово «русские» вместо «советские», – и даже с постоянным эмоциональным преимуществом в пользу второго («русские танки вошли в Прагу», «русский империализм», «русским нельзя верить», но – «советские*

космические достижения», «успехи советского балета»). А следует твёрдо различать, что понятия эти не только противоположны, но враждебны. Соотношение между ними такое, как между человеком и его болезнью. Но мы же не смешиваем человека с его болезнью, не называем его именем болезни и не клянём за неё. Государство как действующее целое, страна с её правительством, политикой и армией – с 1917 уже не могут более называться Россией. Слово «русский» неправомерно применять ни к сегодняшней власти в СССР, ни к армии его, ни к будущим военным успехам и оккупационным властям в разных местах мира...

(А. Солженицын. Чем грозит Америке плохое понимание России. Александр Солженицын. Публицистика. В трех томах. Том 1. Статьи и речи. Ярославль. 1995. Стр. 337)

Это сравнение («мы же не смешиваем человека с его болезнью, не называем его именем болезни и не клянём за неё») ему особенно полюбилось, и он не устаёт постоянно к нему возвращаться:

...

ИЗ «СЛОВА НА ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ ЖИТЕЛЕЙ КАВЕНДИША»

28 февраля 1977

Пользуясь сегодняшней нашей встречей, я хотел бы сказать и ещё два слова: просить вас никогда не поддаваться неправильному истолкованию, этой путанице слов «русский» и «советский». Вам сообщают, что в Прагу вошли

русские танки и что русские ракеты с угрозой наставлены на Соединённые Штаты. На самом деле, это советские танки вошли в Прагу и советские ракеты угрожают Соединённым Штатам. Слова «русский» и «советский» сопоставлены так, как сопоставлены человек и его болезнь. Мы человека, больного раком, не называем «рак», и человека, больного чумой, не называем «чума», – мы понимаем, что болезнь – не вина, что это тяжёлое испытание для них. Коммунистическая система есть болезнь, зараза, которая уже много лет распространяется по земле... Мой народ, русский, страдает этим уже 60 лет и мечтает излечиться. (А. Солженицын. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов)

В декабре 1980 года он с ужасом ожидает, что вот-вот советские танки войдут в Польшу, – как в 1968-м вошли в Чехословакию, а в 1956-м в Венгрию. И тут тоже больше всего его заботит не сам факт этого как будто уже неизбежного вторжения, а – как бы кто не подумал (и не высказал вслух, не написал), что это будут *русские* , а не *советские* танки.

...

...Как тут промолчать? не в надежде их остановить, это не в наших силах, – но в нашем долге крикнуть, отделить: что это коммунисты, а не русские, не мы несём позор! Когда танки пойдут – уже некому будет слушать русский голос, и не оправдаешься. Я поспешил с новым заявлением. А «Голос Америки», это ещё при Картере, струсил и смягчил меня. Не могли они такой дерзости выговорить в ухо

советским коммунистам: вместо «кровавые последователи Ленина» передали «Советский Союз»; вместо «сколько народов, чужих и своих, будет перемолото и опозорено в той мясорубке» – «сколько людей погибнет при вторжении». Подменили меня, дипломаты нанюханные... И ещё целый год потом мы с замиранием ждали этого позора и этой новой непоправимости в русско-польских отношениях. Но рвение польских коммунистов спасло русский народ от нового пятна и новых проклятий.

(Там же)

Он не устаёт повторять, что коммунизм – это болезнь, и что Россия и её народ – не источник и даже не главный распространитель этой злокачественной болезни, а её *жертва:*

...

Да если бы я знал! если бы кто-нибудь мне тогда показал позорный закон 86–90 (1959 года) американского Конгресса, где русские не были названы в числе угнетённых коммунизмом наций, а всемирным угнетателем (и Китая, и Тибета, и «Казакии», и «Ивдель-Урала») назван не коммунизм, а Россия, – и на основе того-то закона каждый июль и отмечается «неделя порабощённых наций» (а мы-то, из советской глубинки, как наивно сочувствовали этой неделе! радовались, что нас, порабощённых, не забыли!) – так вот и было лучшее время мне ударить по лицемерию того закона! – Увы, тогда не знал я о нём, и ещё несколько лет ничего о том не знал.

(Там же)

И едва ли не всякий раз, когда случается ему заговорить на эту тему, он считает нужным ещё добавить, что русские в его стране угнетены даже больше, чем все другие народы, входящие в состав этой – на самом деле не Российской, а советской, коммунистической империи.

По видимости это было действительно так.

Превращая Советский Союз в унитарное государство, Сталин платил за это созданием разного рода мнимых суверенитетов. Создавал как бы независимые республики со всем полагающимся декорумом. (У каждой был свой Верховный совет, свой ЦК, своя Академия наук, свой Союз писателей и проч.). Национальные (культурные, отчасти даже религиозные) претензии республик поощрялись. Национальные же претензии имперской нации (культурные тоже, а уж религиозные тем более) всячески ущемлялись. Кроме того, республики получали и кое-какие экономические поблажки. Но всё это для того, чтобы при каждом Первом секретаре ЦК каждой национальной республики сидел Второй (а фактически именно он и был Первым), и этот Второй неизменно был русским.

Нет, русский народ в сталинской империи не зря именовался «старшим братом».

И еще один неизбежно тут возникает вопрос.

Ну, хорошо. Коммунизм – это болезнь. Но почему именно Россия первой заразилась этой злокачественной болезнью? Почему именно русские более, чем другие народы, оказались восприимчивы к этой мировой заразе?

Любая попытка не то что найти ответ, но даже просто задаться этим вопросом Солженицыным отметается с порога:

…

> *В последние годы в американской науке заметно господство легчайшего однолинейного пути: неповторимые события XX века – сперва в России, затем и в других странах – объяснить не особенностью нового коммунистического феномена в человеческой истории, – но свести к исконным свойствам русской нации от X и XVI веков (взгляд – прямо расистский). События XX века*

объясняются неосновательными поверхностными аналогиями из прошлых веков...

Соответственно в трактовке прежней русской истории учёные этого направления поступают бесцеремонно. Они допускают весьма произвольный отбор явлений, фактов и лиц, поддаются недостоверным, а то и просто ложным версиям событий, но ещё разительней: почти полностью пренебрегают духовной историей тысячелетней страны, как будто она (приём марксизма) и не имела влияния на течение материальной истории.

(А. Солженицын. Чем грозит Америке плохое понимание России. Александр Солженицын. Публицистика. В трех томах. Том 1. Статьи и речи. Ярославль. 1995. Стр. 340)

Пренебрегать «духовной историей тысячелетней страны», конечно, не следовало бы. Но не все и пренебрегали. И тут надо сказать, что наиболее проницательные мыслители XX века (правда, не западные, а наши, отечественные) именно в духовной истории России видели «истоки и смысл русского коммунизма»:

...

После падения Византийской империи, второго Рима, самого большого в мире православного царства, в русском народе пробудилось сознание, что русское, московское царство остаётся единственным православным царством в мире и что русский народ единственный носитель православной веры. Инок Филофей был выразителем учения о Москве, как Третьем Риме. Он писал царю Ивану

III: «Третьего нового Рима – державного твоего царствования – святая соборная апостольская церковь – во всей поднебесной паче солнца светится. И да ведает твоя держава, благочестивый царь, что все царства православной христианской веры сошлись в твоё царство: один ты во всей поднебесной христианский царь. Блюди же, внемли, благочестивый царь, что все христианские царства сошлись в твоё единое, что два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть; твоё христианское царство уже иным не достанется». Доктрина о Москве, как Третьем Риме, стала идеологическим базисом образования московского царства. Царство собиралось и оформлялось под символикой мессианской идеи. Искание царства, истинного царства, характерно для русского народа на протяжении всей его истории. Принадлежность к русскому царству определилась исповеданием истинной, православной веры. Совершенно так же и принадлежность к советской России, к русскому коммунистическому царству будет определяться исповеданием ортодоксально-коммунистической веры.

. . . . . .

Русский народ не осуществил своей мессианской идеи о Москве, как Третьем Риме. Религиозный раскол XVII века обнаружил, что московское царство не есть Третий Рим... И вот произошло изумительное в судьбе русского народа событие. Вместо Третьего Рима в России удалось

осуществить Третий Интернационал и на Третий Интернационал перешли многие черты Третьего Рима. Третий Интернационал есть тоже священное царство, и оно тоже основано на ортодоксальной вере. На Западе очень плохо понимают, что Третий Интернационал есть не Интернационал, а русская национальная идея.

. . . . . .

...Либеральные идеи, идеи права, как и идеи социального реформизма, оказались в России утопическими. Большевизм же оказался наименее утопическим и наиболее реалистическим, наиболее соответствующим всей ситуции, как она сложилась в России в 1917 году, и наиболее верным некоторым исконным русским традициям, и русским исканиям универсальной социальной правды, понятой максималистически, и русским методам управления и властвования насилием. Это было определено всем ходом русской истории... Коммунизм оказался неотвратимой судьбой России, внутренним моментом в судьбе русского народа.

(Николай Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж. 1955)

Идею Бердяева о кровном родстве, чуть ли даже не тождестве этих двух доктрин – Третьего Рима и Третьего Интернационала – нетрудно оспорить. (Многие её и оспаривали). Но трудно, даже невозможно оспорить его утверждение, что приход к власти в России большевиков был определён всем ходом русской истории. Такой поворот событий был неизбежен просто потому, что способ решения коренных проблем Российской государственности, предложенный и осуществлённый большевиками, более, чем

какой-либо иной, соответствовал исконным – и неизменным – «русским методам управления и властвования насилием»:

Расплясались, разгулялись бесы
По России вдоль и поперек —
Рвет и крутит снежные завесы
Выстуженный Северовосток.
Ветер обнаженных плоскогорий,
Ветер тундр, полесий и поморий,
Черный ветер ледяных равнин,
Ветер смут, побоищ и погромов,
Медных зорь, багровых окоемов,
Красных туч и пламенных годин.
Этот ветер был нам верным другом
На распутье всех лихих дорог –
Сотни лет мы шли навстречу вьюгам
С юга вдаль на северовосток.
Войте, вейте, снежные стихии,
Заметая древние гроба.
В этом ветре – вся судьба России —
Страшная, безумная судьба.
В этом ветре – гнет веков свинцовых,
Русь Малют, Иванов, Годуновых –
Хищников, опричников, стрельцов,
Свежевателей живого мяса –
Чертогона, вихря, свистопляса –
Был царей и явь большевиков.
(Максимилиан Волошин. Стихотворения. Том первый. Париж, 1982. Стр. 310–311)

Поэма Волошина, начало (пока только начало) которой я тут процитировал, называется «Северовосток».

Так же называлась центральная, ключевая глава солженицынского «Письма к вождям Советского Союза». Русский Северо-Восток, – говорил он там, – «наша надежда и отстойник наш».

Тему эту он более подробно развернул тогда же (в ноябре 1973 года) в большой, программной своей статье «Раскаяние и

самоограничение как категории национальной жизни»:

...

СЕВЕРО-ВОСТОК – это Север Европейской России – Пинега, Мезень, Печора, это и – Лена и вся средняя полоса Сибири, выше магистрали, по сегодня пустующая, местами нетронутая и незнаемая, каких почти не осталось пространств на цивилизованной Земле...

Северо-Восток – тот ветер, к нам, описанный Волошиным:

В этом ветре – вся судьба России...

Северо-Восток – тот вектор, от нас, который давно указан России для её естественного движения и развития...

Северо-Восток – это напоминание, что мы, Россия – северо-восток планеты, и наш океан – Ледовитый, а не Индийский, мы – не Средиземное море, не Африка, и делать нам там нечего! Наших рук, наших жертв, нашего усердия, нашей любви ждут эти неохватные пространства, безрассудно покинутые на четыре века в бесплодном вызябании. Но лишь два-трн десятилетия еше, может быть, оставлены нам для этой работы: иначе близкий взрыв мирового населения отнимет эти пространства у нас.

Северо-Восток – ключ к решению многих якобы запутанных русских проблем. Не жадничать на земли, не свойственные нам, русским, или где не мы составляем большинство, но обратить наши силы, но воодушевить нашу молодость – к

Северо-Востоку, вот дальновидное решение. Его пространства дают нам выход из мирового технологического кризиса. Его пространства дают нам место исправить все нелепости в построении городов, промышленности, электростанций, дорог.
(Из-под глыб. Сборник статей. Париж, 1974. Стр. 148–149)

Упомянув и даже процитировав тут (одной строкой) Волошина, Солженицын изображает его своим единомышленником. Но какой он на самом деле ему единомышленник, ясно видно даже из начальных строк этой волошинской поэмы, – тех, что я только что цитировал.

А чем дальше – тем больше:

Что менялось? Знаки и возглавья?
Тот же ураган на всех путях:
В комиссарах – дурь самодержавья,
Взрывы Революции – в царях...
Ныне ль, даве ль – все одно и то же:
Волчьи морды, машкеры и рожи,
Спертый дух и одичалый мозг,
Сыск и кухня Тайных Канцелярий,
Пьяный гик осатанелых тварей,
Жгучий свист шпицрутенов и розг,
Дикий сон военных поселений,
Фаланстер, парадов и равнений,
Павлов, Аракчеевых, Петров,
Жутких Гатчин, страшных Петербургов,
Замыслы неистовых хирургов,
И размах заплечных мастеров,
Сотни лет тупых и зверских пыток,
И еще не весь развернут свиток,
И не замкнут список палачей...
(Максимилиан Волошин. Стихотворения. Том первый. Париж,

1982. Стр. 310–311)

Рассуждая о том, что коммунизм оказался неотвратимой судьбой России, «внутренним моментом в судьбе русского народа», Бердяев мимоходом замечает:

...

В статье, написанной в 1907 г. и вошедшей в мою книгу «Духовный кризис интеллигенции», СПБ, 1910 г., я определённо предсказал, что если в России будет настоящая большая революция, то в ней неизбежно победят большевики.

(Н. Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж, 1955. Стр. 93)

Оснований для такого предсказания, как мы теперь знаем, у него было немало. Но то и дело возвращаясь к этой любимой своей мысли, главным предтечей русского коммунизма (большевизма) он – и, как мы сейчас увидим, не он один – называет Петра:

...

Приемы Петра были совершенно большевистские. Он хотел уничтожить старую московскую Россию, вырвать с корнем те чувства, которые лежали в основе её жизни. И для этой цели он не остановился перед казнью собственного сына, приверженца старины. Приемы Петра относительно церкви и старой религиозности очень напоминают приемы большевизма. Он не любил старого московского благочестия и был особенно жесток в отношении к старообрядчеству и староверию. Петр высмеивал религиозные чувства старины, устраивал всешутейший собор с шутовским патриархом. Это очень напоминает антирелигиозные манифестации

безбожников в советской России... Можно было бы сделать сравнение между Петром и Лениным, между переворотом петровским и переворотом большевистским. Та же грубость, насилие, навязанность сверху народу известных принципов, та же прерывность органического развития, тот же этатизм, гипертрофия государства, то же создание привилегированного бюрократического слоя, тот же централизм, то же желание резко и радикально изменить тип цивилизации.

(Там же. Стр. 12)

О том же – слово в слово, но с ещё большей страстью – твердили тогда поэты.

Тот же Волошин:

Великий Петр был первый большевик, —
Замысливший Россию перебросить,
Склонениям и нравам вопреки,
За сотни лет к её грядущим далям.
Он, как и мы, не знал иных путей
Опричь указа, казни и застенка
К осуществленью правды на земле.
Не то мясник, а может быть ваятель,
Не в мраморе, а в мясе высекал
Он топором живую Галатею,
Кромсал ножом и шваркал лоскуты...
Дворянство было первым РКП,
Опричниною, гвардией, жандармом...

(Максимилиан Волошин. Стихотворения. Париж, 1982. Стр. 344–345)

Цветаева:

Не на своих сынов работал –
Бесам на торжество! –
Царь-Плотник, не стирая пота
С обличья своего.
Не ты б – всё по сугробам санки
Тащил бы мужичок.
Не гнил бы там на полустанке
Последний твой внучок..
Ты под котел кипящий этот
Сам подложил углей!
Родоначальник – ты – Советов,
Ревнитель Ассамблей!
Родоначальник – ты – развалин,
Тобой – скиты горят,
Твоею же рукой провален
Твой баснословный град...
Соль высолил, измылил мыльце –
Ты, Государь-кустарь!
Державного однофамильца
Кровь на тебе, бунтарь!

Не все поэты, которым привиделась та же параллель, поняли и истолковали её так же яростно-однозначно, как Цветаева, но разглядели и прочертили они её с той же ясностью и определённостью:

Нахмурив брови, Всадник Медный
На вздыбленном своём коне
Внимал, как рвется мат победный
К дворцовой рухнувшей стене.
Его лицо не потемнело,
Лишь под копытами коня
Змея свивалась и шипела, —
Рука державная, звеня,
Над мертвым городом широко
Зловещий очертила круг,
И смехом пламенное око,
Как солнце вспыхивало вдруг.
На зов его уже бежали
Мальчишки с ближнего двора,
И с криком радостным – ура!
Салазки быстрые съезжали

С подножий ледяных Петра.
Шумит гражданская гроза,
Гигант стоит неколебимо,
И только узкие глаза
Следят за ним неутомимо.
На загнанном броневике
Ладонь широкая разжата, —
Есть сходство грозное в руке
С той, устремившейся куда-то.

Автор этих строк – Владимир Корвин-Пиотровский, отпрыск одной из стариннейших русских дворянских фамилий, в гражданскую войну сражавшийся на стороне белых и закончивший свои дни в эмиграции.

Что говорить! Пётр (а до него – Иван Грозный) определил многое в историческом будущем России. Но – не только они. В конечном счёте дело тут было не в Иване и Петре. Во всяком случае, не только в них.

…

В истории каждого народа существует нечто вроде «социальной генетики» – то, что… закладывается веками, тысячелетиями и менее подвержено переменам (хотя, разумеется, подвержено), нежели техническая, внешняя сторона жизни. Общаясь, например, с современными англичанами, мы легко отыщем в их ***сегодняшнем*** *многие элементы длительного прошлого – Великую хартию вольностей, революцию XVII века и т. п. Итальянцы, независимо от того, сознают они это или нет, – наследники Древнего Рима, средневековой Италии; в каждом из них «спрессованы» и века Возрождения, и время фашизма, и десятилетия послевоенного подъёма…*

(Натан Эйдельман. «Революция

сверху» в России. М. 1989. Стр. 24)

В историческом прошлом России не было ни Великой хартии вольностей, ни веков Возрождения. Её «социальная генетика» – другая:

…

…Русская история, экономика, общественная борьба опрокинули крепостное право, ослабили, ограничили самодержавие, затем – победоносно отбросили его…

Но как не заметить в 1930-х годах зловещего «повторения»: освобожденное революцией крестьянство попадает в положение, близкое к худшим образцам крепостной зависимости; единоличная власть Сталина – в духе худших самодержавных традиций.

(Там же)

Всё дело в том, что у нашей страны ДУРНАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ. И об этом в своё время было сказано немало горьких и обидных слов:

Вдруг гремят тулумбасы; идет караул,
Гонят палками встречных с дороги;
Едет царь на коне, в зипуне из парчи,
А кругом с топорами идут палачи, —
Его милость сбираются тешить,
Там кого-то рубить или вешать.
И во гневе за меч ухватился Поток:
«Что за хан на Руси своеволит?»
Но вдруг слышит слова: «То земной едет бог,
То отец наш казнить нас изволит!»

И на улице, сколько там было толпы,

Воеводы, бояре, монахи, попы,

Мужики, старики и старухи –

Все пред ним повалились на брюхи.

Удивляется притче Поток молодой:

«Если князь он, иль царь напоследок,

Что ж метут они землю пред ним бородой?

Мы честили князей, да не эдак!»

И пытает у встречного он молодца:

«Где здесь, дядя, сбирается вече?»

Но на том от испугу не видно лица:

«Чур меня, – говорит, – человече!»

И пустился бежать от Потока бегом;

У того ж голова заходила кругом,

Он на землю как сноп упадает,

Лет на триста ещё засыпает.

Пробудился Поток на другой на реке.

На какой? Не припомнит преданье,

Погуляв себе взад и вперед в холодке,

Входит он во просторное зданье…

Там какой-то аптекарь, не то патриот,

Пред толпою ученье проводит:

Что, мол, нету души, и одна только плоть

И что если и впрямь существует господь,

То он только есть вид кислорода.

Вся же суть в безначалье народа.

И, увидя Потока, к нему свысока

Патриот обратился сурово:
«Говори, уважаешь ли ты мужика?»
Но Поток вопрошает: «Какого?»
«Мужика вообще, что смиреньем велик!»
Но Поток говорит: «Есть мужик и мужик!
Если он не пропьет урожаю,
Я тогда мужика уважаю».
«Феодал! – закричал на него патриот. —
Знай, что только в народе спасенье!»
Но Поток говорит: «Я ведь тоже народ,
Так за что ж для меня исключенье?»
Но к нему патриот: «Ты народ, да не тот!
Править Русью призван только черный народ!
То по старой системе всяк равен,
А по нашей лишь он полноправен!»
И подумал Поток: «Уж, Господь бороди,
Не проснулся ли я слишком рано?
Ведь вчера ещё, лежа на брюхе, они
Обожали московского хана,
А сегодня велят мужика обожать!
Мне сдается, такая потребность лежать
То пред тем, то пред этим на брюхе
На вчерашнем основана духе.
(А. К. Толстой. Собрание сочинений в четырех томах. Том первый. Стихотворения. М. 1963. Стр. 310–312)

Это, знаете ли, тоже не Пайпс сочинил, и не Роберт Таккер, а

русский граф и камергер, друг детства самого государя императора.

Эта так метко подмеченная и обозначенная им потребность «лежать то пред тем, то пред этим на брюхе», вошедшая в плоть и кровь, в *генотип* российского человека, она и определила (не она одна, конечно, но и она тоже) то, что случилось с нами, с нашим отечеством в XX веке.

* * *

Второй президент новой России (В. Путин) однажды, когда в очередной раз встал вопрос о преступлениях сталинского режима, обронил – и не в частной беседе, а с высокой государственной трибуны:

– Нам нечего стыдиться своей истории!

Солженицын ни при какой погоде выговорить такое, конечно, не мог.

Как это – нечего стыдиться? А ГУЛАГ?

Нам, его читателям, естественно было предполагать, что, случись ему заговорить на эту тему, он высказался бы прямо противоположным образом.

Так оно, как будто, и случилось. Одну из самых громких, программных своих статей, написанных ещё в Союзе, он назвал так: «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни». Если есть в чем раскаиваться, значит, есть и чего стыдиться.

Надеясь и даже предвкушая, что именно об этом и пойдёт в ней речь, приступил я тогда (в 1973 году) к чтению этой его работы. И поначалу вроде не обманулся.

«Без *раскаяния* мы вряд ли сможем уцелеть», – так прямо он начинает. И сразу даёт понять, что имеет при это в виду не индивидуальное, а именно *национальное раскаяние* . То есть – признание некоей общей нашей вины, общей ответственности за всё, что мы натворили.

…

В XX веке благодатные дожди раскаяния уже не смягчали закалевшей русской почвы, выжженной учениями ненависти. За последние 60 лет мы не только

теряли дар раскаяния в общественной жизни, но и осмеяли его. Опрометчиво было обронено и подвергнуто презрению это чувство, опустошено и то место в душе, где раскаяние, покаяние жило. Вот уже полвека мы движимы уверенностью, что виноваты царизм, патриоты, буржуи, социал-демократы, белогвардейцы, попы, эмигранты, диверсанты, кулаки, подкулачники, инженеры, вредители, оппозиционеры, враги народа, националисты, сионисты, империалисты, милитаристы, модернисты, – только не мы с тобой! Стало быть, и исправляться не нам, а им…

(Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни. Александр Солжницын. Публицистика. Том 1. Статьи и речи. Ярославль, 1995. Стр. 60–61)

На самом деле, значит, нам, *всем нам* надлежит исправляться и каяться.

…

Но тут наша попытка, как и всякая попытка национального раскаяния, сразу напарывается на возражение из собственной среды: Россия слишком много выстрадала, чтобы ещё каяться, её надо жалеть, а не растравлять напоминанием о грехах.

И правда: как наша страна пострадала в этом веке, сверх мировых войн уничтожив сама в себе до 70 миллионов человек, – так никто не истреблялся в современной истории. И правда: больно упрекать,

когда надо жалеть. Но раскаяние и всегда больно, без того б ему не было нравственной цены. Те жертвы были – не от наводнений, не от землетрясений. Жертвы были и невинные, и винные, но их страшная сумма не могла бы накопиться от рук только чужих: для того нужно было соучастие наше, всех нас, России.

(Там же. Стр. 63)

Золотые слова! Вот с этого бы и начать! Но начинает он почему-то с другого:

...

Сейчас никто не будет оспаривать, что английский, французский или голландский народ целиком несёт на себе вину (и в душе своей – след) колониальной деятельности своих государств. Их государственная система допускала значительные помехи колонизации со стороны общества. Но помех таких было мало, нация втягивалась в это завлекательное мероприятие кто участием, кто сочувствием, кто признанием.

А вот случай гораздо ближе, из середины XX века, когда общественное мнение западных стран почти господствует над деятельностью своих правительств. После окончания 2-й мировой войны британская и американская военные администрации по сговору с советской систематически выдавали ей на юге Европы (Австрия, Италия) – и не только там! но и со своих территорий – сотни тысяч гражданских беженцев из СССР (это

– помимо военных контингентов), не желавших возвращаться на родину, – выдавали обманом, не предупреждая, против ведома и желания, выдавали по сути на смерть, – вероятно, половина их убита лагерями. Соответствующие документы до сих пор тщательно скрываются… Судьбы восточноевропейцев для сегодняшнего Запада – отдалённые тени. Однако равнодушие – никогда не снимало вины. Именно через равнодушное молчание это гнусное предательство военной администрации расползлось и запятнало национальную совесть тех стран. И раскаяния – не выразил никто доныне.

(Там же. Стр. 55–56)

Сообразив (скорее – почувствовав), что читателя может слегка удивить, а может быть, даже и раздражить такая неожиданная «вероятия в сторону», он спешит нас успокоить:

…

Пусть не упрекнёт меня нетерпеливый читатель, что я не сразу начинаю с России, – конечно, вот-вот будет Россия, как можно иначе у русских?)

(Там же. Стр. 55)

И вот – наконец-то! наконец-то! – дело доходит и до России. (А то всё – Жомини да Жомини, а об водке – ни полслова).

…

Однако пристойно автору русскому и пишущему для России обратиться и к раскаянию – русскому. Эта статья и пишется с верой в природную наклонность русских к раскаянию и покаянию, а

потому и нашу способность даже и в нынешнем состоянии найти импульс к нему и явить всемирный пример.
(Там же. Стр. 59)

Поразительно, как авторский текст ничего не может утаить. Человек хочет сказать одно, а получается – совсем другое. Он – *проговаривается* .

У нас, русских, – хочет сказать (и говорит) Солженицын – природная наклонность к раскаянию и покаянию выше, чем у других народов, поэтому именно нам дано явить в этом деле всемирный пример. И тут же – эта невольная проговорка, эта разрушающая, опрокидывающая всю его словесную конструкцию буква «И».

Пристойно, оказывается русскому автору обратиться « **И** к раскаянию русскому».

Да не « **И** к раскаянию русскому», а *прежде всего* , *в первую очередь именно к нему* пристойно обратиться русскому автору. О голландских грехах и винах пусть скажут голландцы, об английских – англичане, о французских – французы. А ты – о своей, нашей, русской вине скажи!

Но так ли, сяк ли, всё-таки добирается он наконец и до этой – вроде как главной (во всяком случае, обозначенной им как главная) своей темы.

Однако и тут картина сразу вырисовывается какая-то странная.

Казалось бы: ну вот, ты высказался, что сейчас для нас важнее всего национальное покаяние. Так давай же! Покажи пример!

Нет, гораздо важнее тут для него, оказывается, сперва поговорить о тех, кто уже начал этот процесс покаяния, но начал его НЕ ТАК, КАК НАДО, да к тому же ещё, не имея на то никакого МОРАЛЬНОГО ПРАВА:

…

Писал С. Булгаков, что «только страждущая любовь даёт право на национальное самозаушение». Кажется: нельзя «раскаиваться», ощущая себя сторонним или даже враждебным тому народу, «за» который взялся раскаиваться? Однако именно такие охотники уже

проявились… Вероятно, много ждёт нас таких попыток, и вот первая же из них – достаточно настойчивая, претендующая быть не меньше как «национальным раскаянием».

Не миновать её тут разобрать.

(Там же. Стр. 65)

Злокачественная и даже, как тут же выясняется, вредительская попытка этого лжераскаяния была предпринята двумя авторами, опубликовавшими свои тексты в № 97 «Вестника Русского Христианского Студенческого Движения». Оба автора, – это ими не скрывалось, – жили тогда в СССР и, решившись опубликовать свои тексты в Тамиздате, естественно, подписали их псевдонимами. Обстоятельство, которое Солженицыным неоднократно – и с осуждением – подчеркивается:

…

…особенно – «Metanoia» (самоосуждение, самопроверка, от Булгакова же и взято, из 1911 года) анонимного автора NN и «Русский мессианизм» такого же анонима Горского.

В самом смелом Самиздате всё равно будет оглядка на условия. Здесь – в зарубежном издании и анонимы авторы решительно не опасаются ни за себя, ни за читателей и пользуются случаем однажды в жизни излить душу – чувство, очень понятное советскому человеку. Резкость – предельная, слог становится развязен, даже и с заносом, авторы не боятся не только властей, но уже и читательской критики: они невидимки, их не найти, с ними не поспорить. Ещё и от этого урезчены их судейские позиции по отношению к России. Нет и тени совиновности авторов со своими соотечественниками», с нами,

остальными, а только: обличение безнадёжно порочного русского народа, тон презрения к совращённым. Нигде не ощущается «мы» с читателями. Авторы, живущие среди нас, требуют покаяния от нас, сами оставаясь неуязвимы и невиновны». (Эта их чужеродность наказывает их и в языке, вовсе не русском, но в традиции поспешно-переводной западной философии, как торопились весь XIX век.)

Статьи совершают похороны России со штыковым проколом на всякий случай – как хоронят зэков: лень проверять, умер ли, не умер, прокалывай штыком и сбрасывай в могильник.

(Там же. Стр. 55–56)

Естественная и даже почти неизбежная в советских условиях анонимность (псевдонимность) авторов этих статей для Солженицына становится ещё одним – как будто даже самым весомым – знаком их чужеродности.

Особенно красноречива тут такая его обмолвка: «...живущие среди нас, требуют покаяния от нас».

Говоря о соплеменниках, соотечественниках, компатриотах, так не скажешь. Кто же они, эти «живущие среди нас»?

Видимо, инородцы.

Уж не евреи ли?

Как выяснится впоследствии, такое предположение не безосновательно. Но сейчас (пока) втягиваться в эту тему мы не будем.

Посмотрим сперва, чем так возмутили Александра Исаевича (возмутили – не то слово, довели до белого каления) эти две или три статьи.

Главная идея, к которой, в сущности, сводится весь их пафос, состоит в том, что большевизм не случайно возник на русской почве, что вырос он из русского мессианизма: исконный русский мессианизм преобразился в нем в коммунистический, советский, и первоочередная задача современной России состоит в «преодолении национального мессианского соблазна».

Мысль, прямо скажем, не ошеломляет своей новизной. Всё

это – не что иное, как повторение уже знакомой нам идеи Бердяева, углядевшего в старой, несбывшейся русской мечте о Третьем Риме прообраз Третьего Интернационала.

С той только разницей, что Бердяев высказал эту свою догадку в тот период истории Советского государства, который Ахматова называла *вегетарианским,* чем отчасти объяснялся сравнительно мягкий, примирительный тон тогдашних его высказываний на эту тему. (Чтобы понять ложь большевизма, говорил он, надо прежде понять и увидеть правду большевизма).

Авторам статей, возмутивших Солженицына, хорошо знаком уже не только вегетарианский, но и *людоедский* период истории русского коммунизма, и тон их разоблачений, естественно, иной – более категорический и более злобный, чем у Бердяева.

Но Солженицына возмущает не тон этих разоблачений, а сама их направленность, самая их суть:

…

Такое лукавое извращение нашей истории даже не сразу понимается, настолько не ожидаешь его. Сперва с дутым академизмом прослеживается «история» злосчастного бессмертного мессианизма, который… в революцию прикинулся «пролетарским мессианизмом», а в последние десятилетия совлёк маску и снова открылся как русский мессианизм. Так на пунктире, в натяжках и перескоках, идея Третьего Рима вдруг выныривает в виде… Третьего Интернационала! (Ученическое повторение заносов Бердяева.) С ненавидящим настоянием по произволу извращается вся русская история для какой-то всё неулавливаемой цели – и это под соблазнительным видом раскаяния. Удары будто направлены всё по Третьему Риму да по мессианизму, – и вдруг мы обнаруживаем, что лом долбит не дряхлые стены, а добивает в лоб и в

глаз – давно опрокинутое, еле живое русское национальное самосознание...

Россия долгое время жила православием, известно. А главное содержание большевизма – неуёмный, воинственный атеизм и классовая ненависть. Так вот, по неохристианскому автору, это всё едина суть. Традиция бешеного атеизма принята в традицию древнего православия. «Русская идея» – «главное содержание» интернационального учения, пришедшего к нам с Запада? А когда Марат требовал «миллион голов» и утверждал, что голодный имеет право съесть сытого (какие знакомые ситуации!), – это тоже было «русское мессианское сознание»? Коммунистическими движениями кишела Германия XVI века, – отчего же в России в XVII веке, в Смутное Время, при такой «русской идее», ничего подобного не было?..

А «марксизм – одна из форм народнического мессианского сознания» – во Франции? В Латинской Америке? В Танзании? И всё это – от немытого старца Филофея?

(Там же. Стр. 68–71)

Это сильный полемический ход. Но дело тут даже не в том, чей ход сильнее. Важно, что пока это – ещё полемика. Горячая, страстная, запальчивая, с перечнем всех припомнившихся взаимных «болей, бед и обид», но – полемика.

Вот тут бы ему и удержаться.

Но этот тон пусть не спокойной, излишне возбуждённой, пристрастной, но всё же полемики сразу срывается на совсем другой. И вот перед нами уже не полемика, не спор, даже не отповедь, а разоблачение злостной **вражеской вылазки** , хорошо спланированной **идеологической диверсии** .

...

Вот как, под видом раскаяния, нас выворачивают и топчут...

(Там же. Стр. 68)

...

Группа статей в № 97 – не случайность. Это, может быть, замысел: нашей беспомощностью воспользоваться и выворотить новейшую русскую историю – нас же, русских, одних обвинить и в собственных бедах, и в бедах тех, кто поначалу нас мучил, и в бедах едва ли не всей планеты сегодня. Эти обвинения – характерны, проворно вытащены, беззастенчиво подкинуты и уже предвидится, как нам будут их прижигать и прижигать.

(Там же. Стр. 71)

Нет, Солженицын не говорит (как Путин), что нам нечего стыдиться своей истории. Но получается у него именно это. И оказывается, что если нам даже и надо чего стыдиться, так во всяком случае не больше, а может быть, даже и меньше, чем другим народам, странам и государствам.

...

...Моя статья написана не для того, чтобы применьшить вину русского народа. Но и не соскребать же на себя все вины со всей матушки Земли. Не имели защитной прививки – да, растерялись – да, поддались – да, потом и отдались – да! Но – не изобрели первые и единственные мы, ещё с XV века!

Не мы одни – и многие так, едва ли не все: подкатывает пора – поддаются, отдаются, и даже при меньшем давлении, чем отдались мы,

и при лучших традициях, нежели у нас, и даже – «с большой охотой»... Так уже при начале раскаяния получаем мы предупреждения, какими обидами и клеветами будет утыкан этот путь.

(Там же. Стр. 71)

О том, что стыдиться своей истории нам приходится даже меньше, чем другим, Солженицын говорит прямо. И в доказательство приводит такое соображение:

...

Одна из особенностей русской истории, что в ней всегда, и до нынешнего времени, поддерживалась такая направленность злодеяний: в массовом виде и преимущественно мы причиняли их не вовне, а внутрь, не другим, а – своим же, себе самим. От наших бед больше всех и пострадали русские, украинцы да белорусы. Оттого, и пробуждаясь к раскаянию, нам много вспоминать придётся внутреннего, в чём не укорят нас извне.

(Там же. Стр. 61)

Это загадочное утверждение прямо-таки ошеломляет.

То есть как это – «внутрь, а не вовне». А как же – «Смирись, Кавказ, идёт Ермолов!»? Как же Польша?

Проблему сложных российско-польских счётов и расчётов он потом рассматривает подробно. А что касается завоевания Кавказа, то это, наверно, надо понимать так, что война – есть война. На войне стреляют – и убивают – что с той, что с другой стороны. А у него речь о направленности **злодеяний.** Злодеяний же по отношению к кавказцам, завоевывая (покоряя) их в честных боях, мы никаких не совершали.

Но об этом надо бы спросить кавказцев.

У них – не в исторических документах или литературе, так в фольклоре, в народных песнях и сказаниях – сохранилось, наверно, на этот счет немало свидетельств. Надо бы поискать.

Но никакой нужды в таких поисках нет, поскольку тут вполне

достаточно будет свидетельства только одного – притом русского – писателя:

...

Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провёл ночь перед выходом своим к русским.

Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьёй в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашёл свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезён мёртвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей её старые, обвисшие груди, с распущенными волосами стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла... Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены ещё два тела. Малые дети ревели вместе с матерями...

Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал её.

Старики-хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали своё положение. О ненависти к русским никто и не

говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы, от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.

(Лев Толстой. Хаджи-Мурат. Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений. Том 35. М. 1950. Стр. 80–81)

Тут перед нами то самое «национальное самозаушение», на которое – по слову С. Булгакова, на которого ссылался Солженицын, – «даёт право только страждущая любовь».

В отличие от Льва Николаевича, Александр Исаевич к такому «национальному самозаушению» не готов, на такое беспощадное национальное раскаяние не способен.

* * *

О винах России перед Польшей он не умалчивает. Не так, чтобы очень подробно, но упоминает и о трех её разделах, и о подавлении восстаний 1830 и 1863 годов, и о насильственной русификации.

А вот о винах Польши перед Россией, напротив, говорит долго, стараясь не упустить ни одной подробности. Список этих многочисленных польских вин занимает у него несколько страниц, и я не стану утомлять читателя полным их перечнем. Но кое-что – для наглядности – всё-таки процитирую:

…

В предыдущие века расцветная, сильная, самоуверенная Польша не короче по времени и не слабее

завоёвывала и угнетала нас. (XIV – XVI века – Галицкую Русь, Подолию. В 1569 по Люблинской унии присоединение Подлясья, Волыни, Украины. В XVI– поход на Русь Стефана Батория, осада Пскова. В конце XVI века подавлено казачье восстание Наливайко. В начале XVII – войны Сигизмунда III, два самозванца на русский престол, захват Смоленска, временный захват Москвы; поход Владислава IV. В тот миг поляки едва не лишили нас национальной независимости, глубина той опасности была для нас не слабей татарского нашествия, ибо поляки посягали и на православие. И у себя внутри систематически подавляли его, вгоняли в унию. В середине XVII – подавление Богдана Хмельницкого, и даже в середине XVIII – подавление крестьянского восстания под Уманью.) И что ж, прокатилась ли волна сожаления в польском образованном обществе, волна раскаяния в польской литературе? Никогда никакой. Даже ариане, настроенные против всяких войн вообще, ничего особо не высказали о покорении Украины и Белоруссии. В наше Смутное Время восточная экспансия Польши воспринималась польским обществом как нормальная и даже похвальная политика. Поляки представлялись сами себе – избранным божьим народом, бастионом христианства, с задачею распространить подлинное христианство на «полуязычников»-православных, на дикую Московию, и быть носителями университетской ренессансной культуры... Больше столетия испытав горечь

разделённого состояния, вот Польша получает по Версальскому миру независимость и немалую территорию (опять за счёт Украины и Белоруссии). Каковы ж первые внешние действия её? Пилсудский (кстати – социалист и одноделец Александра Ульянова по процессу) ловит момент создать «Великую Польшу от моря до моря». Но для этого он не только не выступает против большевиков, а выжидает ослабления России от гражданской войны. Осенью 1919 в момент наибольших успехов Деникина, Пилсудский ведёт тайные переговоры с большевиками через Мархлевского, гарантирует им своё невмешательство и тем разрешает снять крупные красные силы с белорусского направления на битву под Орлом. Весной 1920, когда Деникин разбит и ждать не остаётся, – Польша энергично нападает на Советскую Россию, берёт Киев, с целью затем выйти к Чёрному морю. У нас в школах учат (чтобы было страшней), что это был «Третий поход Антанты» и что Польша координировалась с белыми генералами, дабы восстановить царизм. Вздор, это было самостоятельное действие Польши, переждавшей разгром всех главных белых сил, чтобы не быть с ними в невольном (и обязывающем) союзе, а самостоятельно грабить и кромсать Россию в её наиболее истерзанный момент. Эта цель Польше не вполне удалась. В августе 1920, при начавшемся крупном наступлении Врангеля, Польша, напротив, вступает в мирные переговоры с большевиками (и берёт с Советов

контрибуцию). Следующее внешнее действие её, 1921 года: беззаконное отобрание Вильнюса со всею областью от слабой Литвы. И никакая Лига Наций, никакие призывы и усовещания не подействовали: так и продержала Польша захваченный кусок до самых дней своего падения. Кто помнит её национальное раскаяние в связи с этим? На украинских и белорусских землях, захваченных по договору 1921 года, велась неуклонная полонизация, по-польски звучали даже православные церковные проповеди и преподавание закона Божьего. И в пресловутом 1937 году в Польше рушили православные церкви (более ста, средь них – и варшавский собор), арестовывали священников и прихожан.

И как же над этим всем подняться нам, если не взаимным раскаянием?..

(Там же. Стр. 74–76)

Сейчас, однако, на взаимное раскаяние рассчитывать пока не приходится:

...

Сегодня, когда и поляки и мы раздавлены насилием, может показаться неуместным такое историческое разбирательство. Но я пишу – впрок.

(Там же. Стр. 73)

Писалось это в 1973 году. Чьим насилием была в то время раздавлена Польша, напоминать не надо: нашим. А вот мы-то чьим насилием были тогда раздавлены? Не китайцы же, и не немцы сидели тогда в нашем Политбюро! Возглавлял его тот самый «простой русский человек с большим здравым смыслом», которому (в то самое время!) Солженицын направил свое «Письмо

вождям», и те самые его соратники, обращаясь к которым он тоже выражал надежду, что и они – простые русские люди, «не чуждые своему происхождению, отцам, дедам, прадедам и родным просторам», что они – «не безнациональны».

Из-за этой якобы общей нашей раздавленности Солженицын не считал пока возможным ожидать общественного раскаяния в России и «по событиям новейшим»:

...

> *Если же по событиям новейшим, в советское время, такого общественного раскаяния в России не прозвучало, то лишь по обстановке нашей подавленности, а помнят все, ещё будут поводы назвать громко: высоко-благородный удар в спину гибнущей Польше 17 сентября 1939 года; и уничтожение цвета Польши в наших лагерях; и отдельно Катынь; и злорадное холодное наше стояние на берегу Вислы в августе 1944 года, наблюдение в бинокли, как на том берегу Гитлер давит варшавское восстание национальных сил, – чтоб им не воспрять, а мы-то найдем, кого поставить в правительство. (Я был там рядом и говорю уверенно: при динамике нашего тогдашнего движения форсировка Вислы не была для нас затруднительна, а изменила бы судьбу Варшавы.)*
>
> *(Там же. Стр. 74)*

Покаяние за все эти наши вины перед поляками (в том числе и за Катынь) откладывается на потом. («Ещё будут поводы назвать громко...»)

А когда настало время и появилась у него возможность сказать наконец громко обо всех этих наших злодеяниях (направленных отнюдь не внутрь, не на нас самих, а – **вовне**), он стал твердить, что русские тут ни при чем, что это не наша, не российская вина, что всё это творили не русские, а – **советские** .

Кое-кто, может быть, в это и поверил.

Но попробуйте убедить в этом поляков.

* * *

Предсказание В. Шульгина, что границы новой России будут расширяться лишь до тех пределов, где «начнётся действительное сопротивление других государственных организмов, в достаточной степени крепких», оказалось пророческим.

Украину Москве захватить удалось. И Грузию тоже. А вот с Польшей – не вышло.

Ленин санкционировал поход на Польшу, руководствуясь отнюдь не имперскими, а совсем иными целями. Он полагал, что если Красная Армия, пройдя Польшу, подойдёт к границам Германии, дело германской, – а значит, и мировой – революции будет выиграно. И польский пролетариат, разделяя его, ленинскую веру в торжество мировой революции, должен был, разумеется, выступить на стороне Красной Армии.

Но польские пролетарии, едва только Красная Армия подошла к границам Польши, сразу же забыли о том, что они пролетарии, не забыв при этом, что они поляки. И Красную Армию они встретили не как Красную, пролетарскую, рабоче-крестьянскую, а как Русскую Армию, вторгшуюся (уже не в первый раз!) на территорию их Родины. И произошло так называемое «Чудо на Висле»: Красная Армия потерпела сокрушительное поражение.

Не ошиблись ли тогда поляки, решив, что и в этот раз, как это уже бывло, их хотят завоевать русские?

История показала, что не ошиблись.

И если бы шестьдесят лет спустя – в 1980-м – в Польшу вошли советские войска, они с полным основанием могли бы считать, что их опять – уже в который раз! – хотят завоевать русские.

Ровно такие же основания считать, что их оккупировали русские, были в 1956 году у венгров. И в 1968-м у чехов и словаков.

Чехам и словакам мы, правда, могли бы на это возразить, что на территорию их страны были введены войска всех стран так называемого социалистического содружества, а стало быть, в оккупации их страны участвовали и немцы, и венгры, и болгары, и румыны, и те же поляки.

Но ведь и в той войне, которую мы называем Великой Отечественной, на стороне гитлеровской Германии воевали и итальянцы, и румыны, и какая-то там испанская «голубая

дивизия», не говоря уже о русских (казачьих) частях бывших белых генералов Шкуро и Краснова. Но мы все – от мала до велика – тех, кто вторгся тогда на нашу землю и от кого нам пришлось её защищать, называли немцами.

Не фашистами, не нацистами, не гитлеровцами, а только вот так: *немцами.*

Это сознание, это чувство, которое владело миллионами русских людей, выразил тогда Константин Симонов в одном из самых знаменитых своих военных стихотворений:

Если дорог тебе твой дом
Где ты русским выкормлен был,
Под бревенчатым потолком
Где ты, в люльке качаясь, плыл...
Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоем доме немец топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал...
Если мать тебе дорога —
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уже нет молока,
Только можно щекой прильнуть,
Если вынести нету сил,
Чтобы немец, её застав,
По щекам морщинистым бил,
Косы на руку намотав;
Чтобы те же руки её,
Что несли тебя в колыбель,
Мыли немцу его белье
И стелили ему постель...
Если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоем ходил,
Ту, что долго поцеловать
Ты не смел – так её любил, —
Чтобы немцы её живьем
Взяли силой, зажав в углу,
И распяли её втроем,
Обнаженную, на полу...
Знай: никто её не спасет,
Если ты её не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь...
Если немца убил твой брат,
Если немца убил сосед. –

Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят,
Если немца убил твой брат, —
Это он, а не ты, солдат.
Так убей же немца, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял...
(Константин Симонов. Стихи – Пьесы – Рассказы. М. 1949. Стр. 137–139)

В однотомнике Большой серии «Библиотеки поэта», собравшем главные стихи К. Симонова, стихотворение это называется: «Если дорог тебе твой дом...». Но тогда, в тот год, когда явилось на свет, оно называлось иначе: «Убей его!»

И звучало иначе. Совсем не так, как в этом, вышедшем полвека спустя его однотомнике. (И не только в нем: в однотомнике «Библиотеки поэта» стихотворение было перепечатано из издания 1948 года, стало быть, изменения, которые внес в его текст автор, были сделаны ещё вон когда!)

Редакторская правка, которой после войны подверг это стихотворение автор, была, как будто, не так уж велика. Она свелась к замене только одного слова. Всюду, где в тексте 42-го года упоминалось слово «немец», теперь стояло – «фашист». В 1942 году, где бы ни печаталось это стихотворение (а печаталось оно в разных изданиях), никаких «фашистов» не было и быть не могло. И не только потому, что так тогда не говорили, а потому, что именно слово «немец» отвечало самой сути, самому духу этого стихотворения. Гадливое чувство, брезгливость, которую испытывает лирический герой при мысли, что руки его матери будут мыть немцу его бельё и стелить ему постель, вызывает у него не «фашист», а именно немец.

Это чувство было реальным, подлинным. И владело оно тогда многими.

Поменял Симонов «немца» на «фашиста», потому что такая в то время была – новая – политическая установка: в 1948-м никакой редактор «немца» ему бы уже не пропустил. Но замена эта не была насильственной. Во всяком случае, она не противоречила политическим взглядам поэта, основам его мировоззрения. Ведь он был искренним, убежденным интернационалистом, и «не по службе, а по душе» написал в

другом своём стихотворении:

Мы двое были белы цветом кожи,
А женщина была черна,
И всё же с нами цветом схожа
Среди всех них
была одна она.
Мы шли втроем навстречу глаз свинцу,
Шли взявшись под руки, через расстрел их,
Шли трое красных
через сотни белых,
Шли как пощечина по их лицу.
Я шкурой знал, когда сквозь строй прошел там,
Знал кожей сжатых кулаков своих:
Мир неделим на черных, смуглых, желтых,
А лишь на красных – нас,
и белых – их.
На белых – тех, что, если приглядеться,
Их вид на всех материках знаком.
На белых – тех, как мы их помним с детства,
В том самом смысле, больше ни в каком.

Слово «фашист», которым он заменил слово «немец» в своём стихотворении 42-го года, наверно, даже больше соответствовало этим истинным, интернационалистским взглядам и убеждениям поэта. И тем не менее эта замена прозвучала тогда – да и сейчас звучит – чудовищной фальшью. Не только старики, пережившие ту войну, но и совсем молодые, родившиеся на свет деятилетия спустя, знают, что их деды в ту войну воевали не с «фашистами», а – с *немцами* . Только так, и не иначе, называли мы тогда вторгшихся на нашу землю врагов. И были правы.

И так же были правы поляки в 1939-м, и венгры в 1956-м, и чехи в 1968-м, и афганцы в 1980-м, называя вступившие на их землю наши войска не *советскими* , а – *русскими* .

* * *

Об американских «русофобах», как он их называет, будь то историки, политологи или государственные деятели, дипломаты, Солженицын говорит в тоне неприязненном и даже враждебном. Но всё-таки – не выходя за рамки более или менее корректной полемики. Чаще прибегает к таким определениям, как «ошибка», а не – «ложь», «клевета», «злобные измышления».

Но градус этой его неприязни и враждебности резко повышается, как только объектом его критики становятся не иностранцы, а – бывшие его соотечественники, новые эмигранты:

...

> *...Фальшивым «объяснением» СССР и России занялась активная группа новейших эмигрантов оттуда. Среди них нет крупных имён, но они быстро признаются тут профессорами и специалистами по России, оттого что быстро ориентируются, какое направление свидетельства желательно. Они настойчивы, громки, повторительны в прессе разных стран, статьями, интервью, уже и книгами – все вместе довольно дружно проводят сходную линию, которую суммарно можно бы обрисовать так: «сотрудничество с коммунистическим правительством СССР – и война русскому национальному самосознанию». Как правило, они, будучи в СССР, служили коммунизму в советских институтах и даже активно и многолетне участвовали в лживой коммунистической печати и никогда не высказывались оппозиционно. Затем они выехали из СССР по израильской визе, но не поехали в Израиль (drop-outs, по израильской терминологии), а в странах Запада*

объявили себя тотчас истолкователями России, её исторического духа и нынешней жизни русского народа (которой они и не наблюдали по своему привилегированному положению в Москве)... Смысл духовных течений у нас на родине передаётся Западу превратно. Пытаются вселить в западное общественное мнение – страх и даже ненависть к возрождению почти насмерть подавленного коммунистической властью за 60 лет русского национального самосознания, – искусственно и недобросовестно связывая его с правительственным манёвром антисемитизма.

(Чем грозит Америке плохое понимание России. Александр Солженицын. Публицистика в трёх томах. Том 1. Статьи и речи. Ярославль. 1995. Стр. 349–350)

К этим «облыгателям» возрождающегося русского национального самосознания он причисляет и А. Д. Сахарова, хотя по отношению к нему и старается сохранить тон уважительного и даже почтительного недоумения:

...

...Существенное непонимание возникает между нами тогда, когда Сахаров, к моему удивлению, обвиняет меня в «великорусском национализме», и даже слово «патриотизм» относит к «арсеналу официозной пропаганды» (как и «православие» «настораживает его» оттого, что «Сталин допускал приручённое православие» – то есть угнетал его по своей программе). Меня, когда я предлагаю никого не

угнетать, всех освободить, сосредоточиться на внутреннем лечении народных ран, – назвать националистом?.. Можно было бы искать разгадку во всеобщей путанице терминов: империализм, нетерпимый шовинизм, надменный национализм и скромный патриотизм (любовь-служение своей нации и стране с откровенным раскаянием в её грехах, под это определение подходит и сам Сахаров). Но кто хорошо знает нынешнюю обстановку в советской общественной среде, тот согласится, что дело – не в путанице терминов, а в исключительной накалённости чувств. Когда в нобелевской лекции я сказал в самом общем виде:

«Нации – это богатство человечества, это – обобщённые личности его, самая малая из них несёт свои особые краски, таит в себе особую грань Божьего замысла», – это было воспринято всеобще-одобрительно: всем приятный общий реверанс. Но едва я сделал вывод, что это относится также и к русскому народу, что также и он имеет право на национальное самосознание, на национальное возрождение после жесточайшей духовной болезни, – это было с яростью объявлено великодержавным национализмом. Такова горячность – не лично Сахарова, но широкого слоя в образованном классе, чьим выразителем он невольно стал. За русскими не предполагается возможности любить свой народ, не ненавидя других. Нам, русским, запрещено заикаться не только о национальном возрождении, но даже

– и о «национальном самосознании», даже оно объявляется опасной гидрой.

(Сахаров и критика «Письма вождям». Там же. Стр. 219–220)

Свои расхождения с Сахаровым Солженицын готов (разумеется, из тактических соображений) объявить недоразумением: его, мол, не так поняли, приписывают ему то, чего у него никогда и в мыслях не было.

На самом деле разногласия его с Сахаровым – не мнимые, а реальные, и даже весьма глубокие. И настороженность, даже неприязнь Сахарова к тому, что Солженицын называет национальным возрождением и «русским национальным самосознанием», возникла не на пустом месте.

Вся штука тут в том, что это самое русское национальное возрождение с первых же своих шагов приняло формы не только пошлые и прямо анекдотические (как в случае с Петром Орешкиным, открывшим, что «этруски – это русские»), но и довольно-таки зловещие. А Александр Исаевич, принявший на себя роль полководца этой пестрой армии, видимо, считал своим долгом поддерживать это «национальное возрождение» во всех его формах, включая и полуфашистские.

Не могу тут не вспомнить реплику Эренбурга, заметившего однажды, что всякий раз, когда ему приходится слышать этот речевой оборот («полуфашист»), он вспоминает знаменитую пушкинскую эпиграмму: «Полумилорд, полуневежда, к тому ж ещё полуподлец, но тут однако ж есть надежда, что будет полным наконец».

Но о том, с какой неизбежностью «полуфашист» становится полным фашистом, – чуть позже.

А сейчас обращусь к одной из самых первых (если не первой) попытке от *разговоров* о «русском национальном возрождении» перейти *к делу* . Подпольная группа (лучше сказать – организация), поставившая себе такую цель, называлась ВСХСОН. Расшифровывалось это так: «Всероссийский Социал-Христианский Союз Освобождения Народа».

...

ВСХСОН имеет точную дату своего образования. 2 февраля 1964 г. выпускник восточного факультета

ЛГУ И. В. Огурцов (1937 г. р.) прочел на квартире лингвиста М. Ю. Садо (1934 г. р.) хозяину и своим давним друзьям филологу Е. А. Вагину и студенту-юристу Б. А. Аверичкину (1938 г. р.) программу военно-политической организации «Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа». В этот же день союз был учреждён…

Через два месяца четверо учредителей распределили между собой обязанности по организации: И. Огурцов стал её руководителем – главой, Е. Вагин занялся идеологией, М. Садо (бывший чемпион Ленинграда по классической борьбе, отслуживший в десантных войсках) – работой с личным составом и контрразведкой, Б. Аверичкин стал хранителем архива и списков организации. Был разработан текст присяги, которую принимал каждый вступающий.

Открытым остаётся вопрос, доминировали ли среди членов организации ксенофобия и этнонационализм, или участники были теми самыми «возрожденцами» солженицынского типа, которые стремились к построению христианского корпоративного государства и были идейно близки послевоенным «солидаристам» зарубежной организации НТС…

В заключении многие члены ВСХСОНа общались с русскими националистами из внутрилагерных группировок. Антисемитские пассажи Е. Вагина и некоторых других членов организации в лагере оказались зафиксированы и впоследствии опубликованы…

Внутренняя структура ВСХСОНа

менялась – сначала он был разделен на тройки, которые потом административно стали объединяться во взводы. В каждом подразделении имелась своя библиотека, насчитывающая тридцать обязательных для самообразования работ. Существовало как минимум три «боевые группы»...

В повседневной деятельности, кроме «Программы», члены ВСХСОНА руководствовались «Наставлением № 1», в котором определялись тактические аспекты их работы. Каждый член ВСХСОНа должен был завербовать в организацию как минимум одного человека... Для отступников и предателей предполагался «Суд чести»...

Члены организации имели четкое представление, что одним из методов их деятельности станет террор – ещё при вступлении во ВСХСОН им недвусмысленно давалось понять, что за предательство интересов организации их ждет смерть.

(Николай Митрохин. Русская партия. Движение русских националистов в СССР 1963–1985 годы. М. 2003. Стр. 221–230)

Такая вот причудливая была эта смесь идей Бердяева и Нечаева.

Идеологическое обеспечение программы от Бердяева, а структура организации – чисто Нечаевская.

А вот как представляли себе руководители и идеологи ВСХСОНа государственное устройство будущей России, которое они собирались учредить после насильственного свержения коммунистического режима власти:

...

Важное место не только в общественной, но и в государственной жизни отводилось церкви, которая трактовалась как «свободная община верующих».

По программе, христианский характер государства воплощался в Верховном Соборе, который должен был состоять на треть из лиц высшей православной иерархии и на две трети – из пожизненно выбираемых «выдающихся представителей нации». Верховный Собор не имел бы административных функций, не обладал бы правом законодательной инициативы, но имел бы право вето на любой закон или действие правительства, не соответствующие принципам социал-христианства. Глава государства должен был избираться Верховным Собором и утверждаться голосованием населения, он был бы подотчётен Народному собранию.

Основой экономики в этом будущем государстве должны были стать самоуправляющиеся национальные корпорации и индивидуальные сельские хозяйства, но земля принадлежала бы государству и лишь выделялась в индивидуальное пользование. Главные отрасли промышленности – электроника, транспорт и другие – тоже были бы государственной собственностью.

(Людмила Алексеева. История инакомыслия)

Такая вот смесь теократии и сталинского социализма.

Но это всё – в программных документах. А в откровенных задушевных разговорах картина будущей России, какой её представляли себе руководители ВСХСОНа, обретала уже более отчетливые черты:

Заедая очередную рюмку водки изжаренным антрекотом, Коносов не без гордости рассказывал о знаках почтения, оказывавшихся им в процессе дознания.

– Оружия у нас серьёзного не нашли – так, охотничье ружьё, кинжал какой-то. Но они понимали, что главное – решимость применить оружие. А она у нас была. И в уставе записано: «Каждый член организации не только пропагандист, но и солдат». И если бы что-то заварилось, народ пошёл бы за нами, а не за Сахаровым...

Листая лежавший у меня на столе журнал Newsweek (завезён знакомыми американцами), Коносов дошёл до страницы, где в рецензии на новую книгу о Третьем рейхе была вставлена фотография: Германия, 1938 год, ряды гитлерюгенда замерли на стадионе, подняв руку в нацистском салюте. Глаза его увлажнились, и он воскликнул с восторгом и нежностью:

– Боже, какая была эпоха! Какой энтузиазм!

От изумления я поперхнулся водкой и мог только с трудом просипеть:

– Постой, постой... Как это?.. Ты куда?.. Ты что несёшь?..

Он понял, что раскрылся раньше времени, и попытался отгрести назад.

– Ну, не надо, не надо... Устали мы уже от этих обвинений в антисемитизме... Не забывай, что наш вождь, Игорь Огурцов, за свои убеждения отправлен в каторжные работы на пятнадцать лет. Мы не

антисемиты – мы а-семиты. Лично против евреев мы ничего не имеем. Но они вредны России исторически.

– Нет, ты мне по-простому скажи: вот вы захватили власть – и что будет с евреями? С Эдей Александровной, например?

– Ну, мы попросим их уехать.

– Всех-всех? А тех, кто не захочет?

– Ну, мы очень попросим их уехать.

(Игорь Ефимов. Связь времен. Записки благодарного. М. 2011. Стр. 300–301)

М. Коносов (один из руководителей и идеологов ВСХСОНа), в отличие от гитлеровцев, бравый вид которых вызывает у него слёзы умиления, предпочитает мягкое решение еврейского вопроса – не газовые камеры, а всего лишь депортацию. Он, стало быть, не фашист, а всего только «полуфашист». Но тут, однако ж, есть надежда...

О том, превратились ли всхсоновцы в полных фашистов, ничего сказать не могу: точными сведениями на этот счет не располагаю. Но другие, более ревностные адепты «русского самосознания» прошли этот путь до конца.

...

ИЗ ЖУРНАЛА «РУССКОЕ САМОСОЗНАНИЕ»

НЬЮ-ЙОРК, 1982

Семиты погубили нашу родину, и только антисемитизм спасёт её. Отвращение к жидам заложено в нас самим Господом-Богом. Антисемитизм – это святое чувство, тот, кто заглушает его в себе, не только грешит, но и губит как себя, так и свою страну. (Цит. по кн.: Александр Янов. Русская идея и 2000-й год. New York. 1988. Стр. 312)

Автор книги, из которой я извлек эту пахучую сентенцию,

удостоился особого внимания Солженицына. Из всех «облыгателей», о которых в «Наших плюралистах» он выразился так: «А забегливые спешат забежать перед Западом и многобрызно», Янова он выделяет особо:

...

Янов юркими ножницами настригал уже как бы не четвёртую-пятую набатную книгу... Какое напряжённое желание выпятить обвинение меня – именно в антисемитизме. Своих ли сил и разума им не хватает – всё рвутся натравить на меня евреев, всё время кличут евреев разобраться наконец со мной.

(Угодило зёрнышко промеж двух жерновов)

...

Высказывал я Максимову, что затея – в русской теме не удалась. Можно было бы «Континенту» не печатать безграмотные упражнения в русской истории Янова.

(Там же)

...

...Прислали мне две книги Янова по-английски, уже густо, агрессивно антирусские. Они-то и толкнули меня к... высказыванию по Би-би-си о Третьей эмиграции.

(Там же)

Вообще-то Александр Исаевич обо всех, кто имел несчастье в чём-то с ним не согласиться и высказать это своё несогласие

вслух, отзывался в таком же пренебрежительно-разоблачительном тоне. Но Янов, судя даже по этим нескольким откликам (а их было много больше), чем-то задел его больнее других. Я думаю тем, что, в отличие от всех, кто осмеливался оспорить хотя бы некоторые из его любимых мыслей, Янов не просто спорил с ним, возражал ему, опровергал его. Внимательно рассмотрев и изучив эволюцию его политических и исторических взглядов, он показал – и неопровержимо доказал, – что весь этот «сложный» путь его напряжённых духовных исканий и откровений был не более, чем банальностью. Что все те истины, к которым Александр Исаевич пробивался через «непродёр» ложных идей и взглядов и каждую из которых почитал собственным своим открытием – даже и откровением – осеняли его по давно и хорошо известному **шаблону** .

О книгах Янова А. И. говорит, что они «густо, агрессивно антирусские». На это не стоит даже и возражать. Конечно же, книги Янова вовсе не были антирусскими, хотя все они были посвящены изучению вот этого самого «русского национального самосознания». Но не русское национальное самосознание как таковое было предметом его исследований, а одна, из века в век повторяющаяся тенденция, динамика этого самосознания.

Опирался он в этих своих размышлениях на пророческую, как он её называет, формулу Владимира Соловьёва:

...

> *Национальное самосознание есть великое дело, но когда самосознание народа переходит в самодовольство, а самодовольство доходит до самообожания, тогда естественный конец для него есть самоуничтожение.*
>
> *(В. С. Соловьёв. Сочинения в двух томах. М. 1989. Т. 1, стр. 282)*

Эту ясную, лаконичную и ёмкую соловьёвскую формулу Янов рассматривает не как гениальное интуитивное провидение великого философа, а как математически точное научное открытие. Как ключ к пониманию самых печальных, горьких и трагических страниц российской истории:

...

Я назвал эту формулу пророческой потому, что ещё за четверть века до 1917-го она точно описала судьбу тогдашней российской элиты, так до конца и не сумевшей освободиться из плена развитого национализма. Начав с национального самодовольства, она и впрямь, как мы знаем, кончила самоуничтожением.

Я назвал это удивительное пророчество лестницей Соловьёва . Именно по её ступеням и сходила в свой ад постниколаевская Россия... Процитирую свой комментарий к соловьёвской «лестнице». Сведённый к одному абзацу, звучит он так: «Содержится здесь нечто и впрямь неслыханное. А именно, что в России национальное самосознание, т. е. естественный, как дыхание, патриотизм, любовь к отечеству может оказаться смертельно опасной... Неосмотрительное обращение с нею неминуемо развязывает... цепную реакцию, при которой культурная элита страны и сама не замечает происходящих с нею роковых метаморфоз... Опасность в том, что граница между патриотизмом и второй ступенью страшной соловьёвской лестницы, национальным самодовольством (или, говоря современным языком, умеренным национализмом) неочевидна, аморфна, размыта. И соскользнуть на неё легче легкого. Но стоит культурной элите страны на ней оказаться, как дальнейшее скольжение к национализму жесткому... «бешеному» становится необратимым. И тогда национальное самоуничтожение... оказывается неминуемым».

(Александр Янов. Россия и Европа. В трех книгах. 1462–1921. Книга вторая. Загадка Николаевской России. 1825–1955. М. 2007. Стр. 455–456)

Размышляя о «культурной элите страны», которая «сама не замечает происходящих с нею роковых метаморфоз», Янов, естественно, не мог обойти Солженицына. И не только не мог обойти: по понятным причинам фигура Солженицына не могла не занять в этих его размышлениях центральное место.

…

Я отчетливо осознаю, что, прикасаясь к теме Солженицына – в контексте драмы «русской правой», – я затрагиваю область тончайшую, интимную и в то же время гигантскую… Он – феномен политической реальности Запада. Здесь есть люди, прочитавшие о нем сотни статей и десятки книг. Более того, Солженицына не только знают здесь, у многих связаны с ним личные чувства: его жалели, им восхищались, его любили, от него ждали последней правды о России, в нем разочаровывались, у него учились. У меня нет ни возможности, ни намерения исчерпать здесь «феномен Солженицына» или создать его политический портрет. Это – даже не эскиз к такому портрету. Моя задача бесконечно скромнее: рассмотреть вклад Солженицына и его адептов в формирование идеологии возродившейся «русской правой».

Но и эта задача неимоверно сложна – и страшна – для меня, родившегося и выросшего в России, воспитанного русской культурой,

разделившего с нею все доброе и дурное, что дала она миру. Ведь для людей в России (и для меня в том числе) Солженицын был (а для многих ещё остается) совестью страны, символом того, на что мы сами не оказались способны. И дело здесь не только в художественном даре или легендарном мужестве, дело ещё и в той роли, которую сыграл Солженицын в духовном раскрепощении страны, а значит, и меня самого. И трагедия заключается в том, что этот человек оказался в рядах «новой русской правой». Я не говорю уже, что сам по себе этот факт является индикатором громадной мощи, которую имеет правая традиция в русской культуре.

Я спрашиваю лишь: почему? Я хочу, чтобы читатель ясно понял моё отношение к Солженицыну. Оно заключается в этом вопросе: почему человек, который так много для меня сделал, потом предал меня? И не только предал, но и проклял вместе с проклятой им русской интеллигенцией?

Вот почему солженицынские главы этой книги написаны, как спор, как исповедь, как поиск ответа на роковой для меня вопрос. Как критика солженицынской критики. Роль эта тяжела мне. Но и отказаться от неё я не могу, кроме всего прочего, ещё и потому, что этой неуступчивости научил меня он сам.

(Александр Янов. Русская идея и 2000-й год. New York. 1988. Стр. 213–214)

Проследив эволюцию политических взглядов Солженицына –

от неуверенного и мягкого авторитаризма к тотальному отрицанию демократического «феврализма» и от умеренного национализма к оголтелому, «бешеному», Янов увидел, а отчасти и предсказал неизбежность его нисхождения – со ступеньки на ступеньку – по «лестнице Соловьёва». Предсказание это не обязательно преполагало, что Солженицын во что бы то ни стало проделает весь этот путь. Речь шла о том, что если бы он и удержался – не на второй, так на третьей ступени соловьёвской «лестницы» (на самом деле ступеней у неё было больше, чем те четыре, которые назвал Соловьёв), весь этот путь неизбежно проделали бы идущие за ним следом.

Но вышло так, что он сам прошёл этот путь до конца, сойдя по «лестнице Соловьёва» до самой нижней, последней её ступени.

* * *

В последней части своей книги «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов», рассказывая о новой волне травли, обрушившейся на него уже в новые, перестроечные времена, Александр Исаевич ещё раз упоминает моё имя:

…

> *А уж радио «Свобода» – там-то никогда против меня не дремали. Теперь надрывались тот же Сарнов, «получивший право критики», и Б. Хазанов, и иже, и иже – о несомненном антисемитизме «Красного Колеса», – вот она, главная опасность, сейчас покатится на страну.*
>
> *(«Новый мир», 2003, № 11.)*

Не могу сказать, чтобы я так-таки уж надрывался, разоблачая антисемитизм «Красного Колеса». Да и вовсе не антисемитизм был главным поводом для тогдашних моих нападок на Солженицына.

Несколько антисолженицынских текстов из тех моих выступлений по «Свободе» у меня сохранились. Самый резкий из них назывался: «С кем вы, Александр Исаевич?»

Начинался он так:

На многотысячных митингах и демонстрациях, проходивших в этом году в Москве, появились сперва одинокие, редкие, а потом все более многочисленные плакаты: «С КЕМ ВЫ, МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ?»

Вопрос, конечно, интересный. И меня, не скрою, он тоже волновал. Но гораздо больше волновал меня другой вопрос. Вернее, тот же самый. Но обращённый к другому человеку. И если бы каким-то чудом меня занесло в Вермонт, и если бы удалось там организовать – пусть не многотысячный, а совсем даже малочисленный митинг, – я, несмотря на радикулит и другие старческие хвори, шел бы в первых рядах и нес плакат с этим волновавшим меня вопросом: «С КЕМ ВЫ, АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ?»

Вопрос этот возник у меня в связи с тем, что имя Солженицына, моральный авторитет Солженицына взяли на вооружение самые реакционные политические силы нашей страны. Они объявили – и продолжают объявлять – его своим союзником. Мало сказать – союзником. Своим вождём, своим знаменем. Своей священной хоругвью.

Быть знаменем в таких руках, мне казалось, ему как-то не к лицу. Но он не возражал. Никак этому не препятствовал. Молчал.

Далее я – для наглядности – привел несколько цитат из сочинений тех, кто пытались сделать Солженицына своим знаменем.

Один из них (Владимир Бондаренко) писал:

...

Публицистики Солженицына боятся не только враги России. Её боятся восторженные эстеты и либеральствующие интеллигенты, боятся нынешние прорабы перестроек, выступающие в роли самозванных учителей «тёмного народа». Наряду с «Русофобией» И. Шафаревича статья А. Солженицына «Наши плюралисты» ещё из того 1982 года, когда она была написана, несёт в наше «раскалённое время» свой пророческий смысл.

Другой яростный противник ещё даже не начавшихся, а только обсуждаемых политических и экономических преобразований (Михаил Лобанов) высказался на эту тему уже с большей определённостью. И тоже поставил Солженицына рядом с Шафаревичем:

...

Сказал же Шафаревич, что нельзя немедленно ломать существующую систему, это может привести к хаосу... Кстати, с ним солидарен и Солженицын, который тоже выступал против немедленной ломки сложившихся форм...

В том, что такие известные активисты так называемой «русской партии» прикрывались именем Солженицына, ничего удивительного, конечно, не было. А. И. ведь тогда уже не скрывал, что он по своим воззрениям – русский националист. Удивляло, что именем и авторитетом Солженицына они пытались защитить рушившуюся советскую политическую и экономическую систему, – ведь он – как-никак – был одним из самых горячих ненавистников и разоблачителей этой системы.

Но ещё удивительнее было то, что апеллировать к Солженицыну, прибегать к нему как к своему естественному союзнику и защитнику в то время стали и самые откровенные

коммунистические ортодоксы.

Вот, например, как высказался на эту тему некий Юрий Макарцев, политический обозреватель ортодоксально-партийной газеты «Рабочая трибуна»:

…

Значительная часть нашего народа не простила бы лидера перестройки, если бы он остановил свой выбор на модели рыночной экономики… Солженицын единодушен с Горбачевым, когда заходит речь о земельной реформе и введении частной собственности в деревне. Тут писатель советует нам поступать с осторожностью – не проглядеть спекулянтов, которые под маркой акционерных обществ, организаций, кооперативов могли бы скупать латифундии, тем более не продавать наделы иностранцам. Как хочешь тут Солженицына называй: консерватором, реакционером, патриархальщиком, – он в своём естестве, русский до слез. Любовь Солженицына к России «не приобретенная», как у иных парламентариев и демократов «новой волны», а «врожденная»… Сильное нравственное чувство и забота о духовном здоровье народа подсказывают ему рецепты, прямо противоположные рекомендациям радикальных экономистов.

Приведя все эти (и ещё многие другие подобные им) цитаты, я обращался к радиослушателям с таким – слегка лукавым, отчасти даже лицемерным – вопросом: неужели Александр Исаевич думает так же? А если нет, почему же он тогда молчит? Почему не отмежевывается от этих незваных союзников?

И тут же сообщал, что совсем недавно этот наш великий молчальник все-таки наконец отверз уста. Высказался.

И далее – опять же для наглядности – привёл некоторые из самых ярких его высказываний на эту тему:

…

…Токвиль считал понятия демократии и свободы противоположными. Он был пламенный сторонник свободы, но отнюдь не демократии… Милль видел в неограниченной демократии опасность «тирании большинства»… Австрийский государственный деятель нашего века Иозеф Шумпетер называл демократию – суррогатом веры для интеллектуала, лишённого религии… Как принцип это давно предвидели и С. Л. Франк: «И при демократии властвует меньшинство». И В. В. Розанов: «Демократия – это способ, с помощью которого хорошо организованное меньшинство управляет неорганизованным большинством».

Оборвав на этом перечень цитат, приведённых Александром Исаевичем, я – далее – ограничился тем, что перечислил лишь некоторых из упоминаемых им авторов:

…

Русский философ Левицкий… Папа Иоанн-Павел II… Рональд Рейган… «Наш видный кадетский лидер Маклаков»… Кажется, никого из тех, кто клеймил демократию, опасался демократии, предупреждал об изъянах демократии, не забыл вспомнить и процитировать Александр Исаевич. И самых авторитетных назвал, и не слишком авторитетных, – все ему пригодились. И неважно, что одно

высказывание противоречит другому, что Милль видит в демократии опасность «тирании большинства», а Франк и Розанов утверждают, что при демократии меньшинство властвует над одураченным большинством. Важно, что и тем и другим демократия нехороша…

А заканчивалось это моё радиовыступление так:

…

…И Андрею Дмитриевичу Сахарову досталось от Александра Исаевича. За чрезмерное увлечение борьбой за гражданские права, а также за то, что «скороспешно» стал сочинять параграфы новой конституции.

И в самом деле: зачем сочинять, когда не так плоха, оказывается, была и старая, сталинская конституция. «Справедлива, – объявляет Александр Исаевич, – нынешняя иерархия – союзных республик – автономных республик – автономных областей – и национальных округов. Численный вес народа не должен быть в пренебрежении…»

Эта солидарность главного ненавистника сталинщины с законодательным волеизъявлением «отца народов» просто трогательна.

Что можно к этому добавить? Разве только признать, что лозунг, с которым я мечтал выйти на воображаемый мною митинг в Вермонте, пожалуй, уже потерял актуальность. Вопрос – «С кем вы, Александр Исаевич?» – это теперь уже вопрос чисто риторический.

Теперь мы знаем, с кем Александр Исаевич.

Как видите, в тогдашних моих атаках на Солженицына вовсе не антисемитизм его был моей главной мишенью. Но – что правда, то правда, – раза два, выступая по «Свободе», затронул я и эту щекотливую тему.

* * *

Когда был напечатан «Иван Денисович», у меня был любопытный разговор о нем с Марьей Павловной Прилежаевой – известной тогда детской писательницей вполне ортодоксального направления. Меня она знала ещё с тех времен, когда я работал в «Пионере», где она постоянно печаталась.

Увидав меня в ЦДЛ, она вдруг кинулась ко мне, как к родному, и жадно стала расспрашивать: что я думаю об этом литературном событии. Я восторгался. Возражать она не смела (как возражать, если все присяжные борзописцы – и в «Правде», и в «Известиях» – хвалят взахлёб, да и ни для кого не секрет, что приказ хвалить спущен с самого верха). Но по тону её я чувствовал, что сочинение это ей сильно не по душе.

В смысле литературной одарённости Марья Павловна была, что называется, на нуле. (Кормилась ленинской темой). Но умом Бог её не обидел, и она мгновенно поняла (а может быть, почувствовала – классовым, номенклатурным, верхним собачьим чутьём почуяла), что рядом с Солженицыным таким, как она, – не жить, что этот упавший с неба огонь, если вовремя его не погасить, сожжёт их всех дотла.

Ещё по прежним нашим случайным встречам и разговорам я заметил, что она не шибко уверена в прочности своего (не лично своего, а своего класса) социального положения. Однажды пожаловалась, что лифтёрша в высотном доме на Котельнической, где она жила, посмела грубо с ней разговаривать. И говорила об этом с тревогой: куда, дескать, идем, если у простого народа – никакого уважения к власти (частью которой она себя ощущала). Я тогда её успокаивал: бросьте, мол, Марья Павловна, не огорчайтесь, отнесите это на счет дурного настроения девушки.

Вот и сейчас, в том разговоре, который она завела со мной об «Иване Денисовиче», я почувствовал ту же тревогу. И – то ли это в самом деле её заботило, то ли, чтобы слегка охладить мои восторги, – она вдруг спросила, не почувствовал ли я в так горячо

расхваливаемой мною повести явный антисемитский душок?

Я удивился:

– Это где же?

Внимательно глядя на меня (не притворяюсь ли?), она объяснила:

– А в Цезаре Марковиче.

Я искренне ответил, что нет, не почувствовал.

И в самом деле, ничего такого я там не ощутил. Да и сейчас, по правде сказать, не ощущаю. В «Одном дне...» Солженицын на всё и на всех смотрит глазами Ивана Денисовича. А Иван Денисович с пониманием и сочувствием относится не только к Цезарю Марковичу, но даже и к вертухаю – «попке на вышке».

Но антисемитский душок в солженицынском «Иване Денисовиче» почуялся тогда не одной Марье Павловне.

...

> *...После «Ивана Денисовича» поползли по Москве разговоры, что всё-таки там есть антисемитский душок. Мне очень не хотелось в это верить. Мы ведь так его любили. И так к нему относились, что мне было больно об этом думать. Я как-то сказал об этом Юре Штейну. Он отмахнулся: «Ну, ты что! Если разрешишь, я скажу Александру Исаевичу». Я ответил: «Скажи». И после этого он мне передал большое письмо, на нескольких страницах, не мне адресованное. Какой-то читатель с русской фамилией написал ему об этом, обвиняя Солженицына в антисемитизме. И тот отвечал ему, яростно отрицая обвинение.*
>
> *(Игорь Кваша. Точка возврата. М. 2007. Стр. 237)*

Вот, значит, как рано уже пришлось ему отбрехиваться от обвинений в антисемитизме.

Я об этом его письме тогда ничего не знал. И с Марьей Павловной мы на том и расстались: переубеждать меня она не

стала. Но этот наш разговор потом вспоминался мне часто.

Первый раз я припомнил его, читая роман «В круге первом». Романом этим я тогда восхищался. Но сразу бросившаяся мне в глаза геометрически ясная оппозиция «Рубин – Герасимович» уже тогда больно меня задела. Разбирая её, я мельком упомянул, что не последнюю роль для автора в этой оппозиции играло то, что Рубин, в отличие от Герасимовича сразу и охотно согласившийся помогать чекистам, – еврей. И уже тогда отметил, что для Солженицына это обстоятельство играло далеко не последнюю роль в его отношении к этому своему персонажу.

Но, пожалуй, даже ещё больше, чем эта оппозиция, зацепила меня в том романе другая, такая же отчетливая, геометрически точная, наглядная оппозиция двух изображенных Солженицыным тюремных надзирателей – Наделашина и Шустермана:

...

Луноподобный младший лейтенант Наделашин ещё недавно был старшиной. После производства его в офицеры зэки шарашки, тепло к нему относясь, перекрестили его в младшину

...

Наделашин занимал особое место среди своих коллег, офицеров МГБ, начальников надзирательских смен. Его много и часто ругали. Его природная доброта долго мешала ему служить в Органах. Если б он не приспособился, давно был бы он отсюда изгнан или даже осуждён. Уступая своей естественной склонности, Наделашин никогда не был с заключёнными груб, с искренним добродушием улыбался им и во всякой мелочи, в какой только мог послабить, – послаблял. За это заключённые его любили, никогда на него не жаловались, наперекор ему не делали и даже не стеснялись при нём в разговорах. А он был доглядчив и дослышан, и хорошо грамотен, для памяти записывал всё в особую записную книжечку – и материалы из этой книжечки докладывал начальству, покрывая тем свои другие упущения по службе...

Лет Наделашину уже было много за тридцать, хотя выглядел

он моложе благодаря свежести безусого, безбородого лица.

Дед Наделашина и отец его были портные – не роскошные, но мастеровитые, обслуживали средний люд, не брезговали и заказами перелицевать, перешить со старшего на малого или подчинить, кому надо побыстрей. К тому ж предназначали и мальчика. Ему с детства эта обходительная, мягкая работа понравилась, и он готовился к ней, присматриваясь и помогая. Но был конец нэпа. Отцу принесли годовой налог – он его заплатил. Через два дня принесли ещё годовой – отец заплатил и его. С совершенным бесстыдством через два дня принесли ещё один годовой – уже утроенный. Отец порвал патент, снял вывеску и поступил в артель. Сына же вскоре мобилизовали в армию, откуда попал он в войска МВД, а позже переведен был в надзиратели.

Служил он бледно. За четырнадцать лет его службы другие надзиратели в три или в четыре волны обгоняли и обгоняли его, иные стали уже теперь капитанами, ему же лишь месяц назад со скрипом присвоили первую звёздочку.

Наделашин понимал гораздо больше, чем говорил вслух. Он понимал так, что эти заключённые, не имеющие прав людей, на самом деле часто бывали высшие, чем он сам. И ещё, по свойству каждого человека представлять других подобными себе, Наделашин не мог вообразить арестантов теми кровавыми злодеями, которыми их поголовно раскрашивали во время политзанятий...

Портняжество оставалось его тайной страстью. После дежурств в накалённых безумием коридорах главной политической тюрьмы его успокаивал шорох ткани, податливость складок, беззлобность работы.

Он обшивал ребятишек, шил платья жене и костюмы себе. Только скрывал это.

Военнослужащему – считалось стыдно...

Заступающий сегодня дежурный по тюрьме старший лейтенант Шустерман был высокий, черноволосый и не то чтобы мрачный, но никогда не выражающий никакого человеческого чувства, как и положено надзирателям лубянской выучки. Вместе с Наделашиным он тоже был прислан в Марфину с Лубянки для укрепления тюремной дисциплины здесь. Несколько зэков шарашки помнили их обоих по Лубянке: в звании старшин они оба служили одно время выводными, то есть, приняв арестанта, поставленного лицом к стене, проводили его по знаменитым стёртым ступенькам в междуэтажьи четвёртого и пятого этажа (там был прорублен ход из тюрьмы в следственный корпус, и этим ходом вот уж треть столетия водили всех заключённых

центральной тюрьмы: монархистов, анархистов, октябристов, кадетов, эсеров, меньшевиков, большевиков, Савинкова, Кутепова, Местоблюстителя Петра, Шульгина, Бухарина, Рыкова, Тухачевского, профессора Плетнёва, академика Вавилова, фельдмаршала Паулюса, генерала Краснова, всемирно известных учёных и едва вылезающих из скорлупы поэтов, сперва самих преступников, потом их жён, потом их дочерей); подводили к женщине в мундире с Красной Звездой на груди, и у неё в толстой книге Регистрируемых Судеб каждый проходящий арестант расписывался сквозь прорезь в жестяном листе, не видя фамилий ни до, ни после своей; взводили по лестнице, где против арестантского прыжка были натянуты частые сетки, как при воздушном полёте в цирке; вели долгими-долгими коридорами лубянского министерства, где было душно от электричества и холодно от золота полковничьих погонов.

Но, как подследственные ни были тогда погружены в бездну первого отчаяния, они быстро замечали разницу: Шустерман (его фамилии тогда, конечно, не знали) угрюмой молнией взглядывал из-под сросшихся густых бровей, он как когтями впивался в локоть арестанта и с грубой силой влёк его, в задышке, вверх по лестнице. Лунообразный Наделашин, немного похожий на скопца, шёл всегда поодаль, не прикасаясь, и вежливо говорил, куда поворачивать.

Зато теперь Шустерман, хотя моложе, носил уже три звёздочки на погонах.

Наделашин объявил: едущим на свидание явиться в штаб к десяти утра. На вопрос, будет ли сегодня кино, ответил, что не будет. Раздался лёгкий гул недовольства, но отозвался из угла Хоробров:

– И совсем не возите, чем такое говно, как «Кубанские казаки». Шустерман резко обернулся, засекая говорящего, из-за этого сбился и начал считать снова.

В тишине кто-то незаметно, но слышно сказал:

– Всё, в личное дело записано.

Хоробров с подёргиванием верхней губы ответил:

– Да драть их вперегрёб, пусть пишут. На меня там уже столько написано, что в папку не помещается.

С верхней койки свесив ещё голые волосатые длинные ноги, непричёсанный и в белье, крикнул Двоетёсов с хулиганским хрипом:

– Младший лейтенант! А что с ёлкой? Будет ёлка или нет?

– Будет ёлка! – ответил младшина, и видно было, что ему самому приятно объявить приятную новость. – Вот здесь, в полукруглой, поставим.

(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 154–174)

Как и подследственные, впервые столкнувшиеся с Наделашиным и Шустерманом, мы тоже «быстро замечаем разницу», настолько разительно несхожи эти два характера. Перед нами – «загадочная славянская душа и загадочная еврейская душа», как иронически замечено в воспоминаниях Евгения Петрова о его друге Ильфе.

Наделашин, как и Шустерман, старательно доносит начальству всё, что подмечает его «доглядчивость и дослышанность». Но это – его способ загладить, хоть чем-то компенсировать свою человеческую непригодность к бесчеловечной палаческой службе. Что же касается Шустермана, то он, похоже, в этой своей палаческой должности *обрёл себя* . Во всяком случае, она пришлась ему точно впору.

Всё это так очевидно, так подчеркнуто густой, жирной чертой, что никакие комментарии тут даже и не нужны.

Еще резче выразился, проявился у Солженицына этот «антисемитский душок» в тогда же дошедшей до меня его книжке «Ленин в Цюрихе». Но в особенности, когда мне случилось прочесть новую, не сразу вошедшую в «Август четырнадцатого» гигантскую главу (в сущности, – книгу в книге) об убийстве Столыпина.

Тут уж никаких сомнений быть не могло: антисемитизм безусловно входил в систему взглядов писателя Солженицына как весьма важная её составляющая.

Особенно, помню, меня поразил такой факт.

Узнал я о нем от давнего моего приятеля Марлена Кораллова. Тюремная и лагерная биография Марлена заслуживает отдельного рассказа, но тут достаточно упомянуть, что случилось ему побывать и в Кенгире – том самом Кенгире, которому в солженицынском «Архипелаге» посвящена специальная глава: «Сорок дней Кенгира». Сорок дней (с 16 мая по 26 июня 1954 года) – это срок события знаменательного, едва ли не уникального в истории «ГУЛАГа» – вооруженного восстания зэков Степлага в лагпункте Кенгир под Джезказганом. В восстании этом принимало участие восемь тысяч заключенных. Подавлено оно было военной силой, в том числе и танками.

По версии Солженицына возглавил восстание

...

...бывший полковник Красной

Армии Капитон Кузнецов (выпускник Фрунзенской академии, уже немолодой; после войны он командовал полком в Германии, и кто-то у него сбежал в Западную – за это и получил он срок; а в лагерной тюрьме сидел «за очернение лагерной действительности» в письмах, отосланных через вольняшек)...

(А. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. Том третий. М. 1989. Стр. 301)

У Марлена версия была другая.

Он знал (а позже рассказал об этом печатно), что Капитон Иванович Кузнецов был осведомителем (по-лагерному – стукачом). Теперь уже опубликовано его «Сообщение» членам комиссии МВД и Прокуратуры СССР, в котором он (уже после танкового разгрома восстания) на сорока трех листах дал обстоятельный анализ готовящегося мятежа. Сообщение разбито на параграфы: «Переход конспиративного центра Келлера и Слученкова к открытой деятельности», «Организация оперативного отдела Глебом Слученковым и военного отдела Келлером Михаилом»...

Из всех предводителей восстания Капитон Кузнецов был единственным, кто не был расстрелян.

Что же касается двух других, упомянутых в его «Сообщении», то одного из них (Слученкова) Солженицын в своей «кенгировской» главе называет, а другого (Келлера) даже и не упоминает.

Об их роли Марлен (его изложение событий теперь тоже уже опубликовано) рассказывает так:

...

...одним из руководителей восстания был Келлер. Не Михаил, как утвердилось в Кенгире, а Герш Иосифович, родившийся в Славском районе Дрогобычской области, в селе Анненберг. В 1924 году Келлер – еврей, партизанивший в отрядах

ОУН… Начальный срок получил 8 октября 1944-го… Келлер по кличке Жид возглавлял оборону Кенгира… Именно он вместе с уроженцем села Борки Шацкого района Рязанской области Энгельсом Ивановичем Слученковым – лагерное имя Глеб – был истинным руководителем восстания.

(Марлен Кораллов. Восставшие в аду. Московские новости. 25 июня – 1 июля 2004 года. Стр. 22)

Знал ли об этом Александр Исаевич?

Да, знал.

Во всяком случае, узнал, когда ещё не поздно было внести необходимые исправления в текст уже написанного (но ещё не опубликованного) «Архипелага»:

…

Через дюжину с лишним лет после Кенгира мне довелось участвовать в примечательной встрече, связанной с темой восстания.

Она произошла на Садовом кольце, недалеко от Курского вокзала, над кинотеатром «Встреча», в квартире сплошь арестантской семьи Улановских. Глава семьи Александр Петрович в местах отдалённых близко сошёлся с Михаилом Петровичем Якубовичем. Отбывать свой первый срок Якубович начал в тридцатом… Он был на воле знаком с Троцким, с Каменевым, Зиновьевым, потом много размышлял об отечественной истории в Александровском централе…

Мог ли Александр Солженицын, завершая «Архипелаг», упустить

возможность встречи с таким собеседником?

Разговаривал он с Якубовичем в маленькой комнате. Хозяйка дома Надежда Марковна, Володя Гершуни и я сидели в большой, передавая из рук в руки листы доверенной рукописи. Когда беспощадный допрос завершился, пришёл черед толковать с нами…

Узнав, что вернулся я в Москву из Кенгира, что о восстании, о роли в нем Капитона Ивановича Кузнецова, которого автор считает руководителем восстания, я наслышан, Солженицын вздрогнул. Помолчав, отрезал:

– Нет, не могу!

Видимо, раздел о восстании тогда уже был написан, исправлен и приниматься за переделки, за переустройку снова – «Нет, не могу». Впоследствии не я один убеждался, что Александр Исаевич верует: «Прошлое было таким, каким ему будет велено. Быть по сему. Аминь».

(Там же)

Не только сейчас, прочитав этот рассказ Марлена в «Московских новостях», но и давным-давно, услышав от него эту историю впервые, я ни на секунду не усомнился, что «не мог» Александр Исаевич изменить свою версию совсем не потому, что глава о восстании в Кенгире уже была им написана и приниматься за новые исправления и переделки ему было не с руки. На самом деле причина этого его «не могу» была совсем другая: не мог, никак не мог он принять версию, согласно которой одним из главных руководителей восстания зэков в Кенгире был еврей. Вся душа его, всё его существо противилось этой версии.

Странно, что, понимая это, настоящим – то есть зоологическим – антисемитом я Солженицына тогда всё-таки ещё не считал. Хотя и ясно видел, что антисемитизм **как некая идея** составляет неотъемлемую часть всей выстроенной им идеологической конструкции.

Вот, например, на последних страницах «Ленина в Цюрихе» он даёт краткую биографическую справку: «Революционеры и смежные лица». Из «Справки» этой мы узнаём, что настоящая фамилия Сокольникова была «Бриллиант», а Ганецкого – «Фюрстенберг». Что Григорий Евсеевич Зиновьев на самом деле был «Апфельбаум» (кстати, на самом деле настоящая фамилия Зиновьева была «Радомысльский»), а Лев Борисович Каменев – «Розенфельд». Юлий Осипович Мартов во девичестве был «Цедербаум», а Парвус (Гельфанд), именовавший себя Александром, на самом деле звался «Израилем Лазаревичем». Что Радек был – «Зобельзон», а Рязанов – «Гольденбах», да к тому же ещё и Давид Борисович.

Кроме этих – хорошо всем известных имён, мелькают в этом списке и другие, гораздо менее, а то и совсем не известные. Вот, например, – Равич Сарра Наумовна, или Герман Грейлих, или Моисей Бронский. Зачем тут эти «смежные лица»? Не для того ли, чтобы увеличить процент «лиц еврейской национальности?»

Такая мысль мне в голову, конечно, приходила. Да и как она могла не прийти, если вся моя молодость прошла под знаком этих «раскрытых скобок», которыми пестрели страницы тогдашних советских газет. Но я гнал прочь эти постыдные подозрения, успокаивая себя тем, что не евреи как таковые, во всяком случае, не только евреи волнуют и раздражают Александра Исаевича, что главная его мысль состоит в том, что революционеры и «смежные лица» были – люди **денационализированные,** которым подавай мировую революцию, а на Россию им наплевать. Такими денационализированными были не только евреи, но и втянутые в эту революционную воронку поляки, эстонцы, латыши, да и русские, которых в том списке тоже было немало (Пятаков, Шляпников, Луначарский). Но основной корпус «революционеров и смежных лиц» в том солженицынском списке составляли все-таки «инородцы».

Ну, а уж читая главу об убийстве Столыпина, несколько искусственно вставленную Солженицыным в его «Узел первый» (книга называлась «Август четырнадцатого», а Столыпин был убит в 1911-м), сомневаться в безусловно антисемитской её направленности было уже совсем невозможно. И дело тут было даже не в том, что убийцу Столыпина Дмитрия Богрова, которого с детства – в семье – звали «Митя» (и последнее, прощальное своё письмо родителям, написанное перед казнью, он подписал: «Целую вас много, много раз. Целую и всех дорогих и близких и у всех, у всех прошу прощения. Ваш сын Митя»), автор упорно – на протяжении всей главы – называет «Мордко».

От этой солженицынской «книги в книге» я не мог оторваться. Но совсем не потому, что она так уж пленила меня своими высокими художественными достоинствами. Объяснялось это тем, что к её герою – Петру Аркадьевичу Столыпину – у меня был свой, особый, давний интерес.

* * *

Началось это с того, что, читая письма Л. Н. Толстого в огромном, 90-томном собрании его сочинений, которое я долго, любовно собирал, отдавая за какой-нибудь недостающий том куда более редкую и ценную книгу, и обладанием которым очень гордился, я однажды наткнулся на большое письмо Льва Николаевича Петру Аркадьевичу, написанное и отосланное им 26 июля 1907 года.

В самом этом факте ничего такого уж особеннно удивительного не было. Лев Николаевич и Петр Аркадьевич были людьми, как принято было говорить в то время, одного круга. Мало того, отец Петра Аркадьевича – Аркадий Дмитриевич Столыпин был давним приятелем Льва Николаевича, товарищем его по Севастопольской кампании. Дружеские их отношения сохранялись на протяжении нескольких десятилетий, в чем я мог убедиться, читая – в одном из томов того же собрания – такую, например, записочку:

...

> *Дорогой Аркадий Дмитриевич! У нас нынче от двух с половиной часов до пяти играют чехи (квартет знаменитый), не приедете ли вы и Мария Аркадьевна. Это доставило бы удовольствие и вам и нам.*

Но поразившее меня письмо Л. Н. Толстого сыну своего давнего товарища носило отнюдь не частный характер. Речь в нем шла о предмете, который Льву Николаевичу представлялся делом первостепенной важности: об упразднении частной собственности на землю.

Вот что он там писал:

...

Петр Аркадьевич!

Пишу Вам не как министру, не как сыну моего друга, пишу Вам, как брату, как человеку, назначение которого, хочет он этого или не хочет, есть только одно: прожить свою жизнь согласно той воле, которая послала его в жизнь.

Дело, о котором я пишу Вам, вот в чем:

Причины тех революционных ужасов, которые происходят теперь в России, имеют очень глубокие основы, но одна, ближайшая из них, – это недовольство народа несправедливым распределением земли...

Нужны теперь для успокоения народа не такие меры, которые увеличили бы количество земли тех или других русских людей, называющихся крестьянами (как смотрят обыкновенно на это дело), а нужно уничтожить вековую, древнюю несправедливость...

Несправедливость состоит в том, что как не может существовать ***права*** *одного человека владеть другим (рабство), так не может существовать* ***права*** *одного, какого бы то ни было человека, богатого или бедного, царя или крестьянина, владеть землею как собственностью.*

Земля есть достояние всех, и все люди имеют одинаковое право пользоваться ею.

Письмо было длинное, страстное, убеждающее.
Кончалось оно так:

...

Пишу Вам, Петр Аркадьевич, под влиянием самого доброго, любовного чувства к стоящему на ложной дороге сыну моего друга.

Вам предстоят две дороги: или продолжать ту, начатую Вами деятельность, не только участия, но и руководства в ссылках, каторгах, казнях, и не достигнув цели, оставить по себе недобрую память, а, главное, повредить своей душе, или, став при этом впереди европейских народов, содействовать уничтожению давней, великой, общей всем народам жестокой несправедливости земельной собственности…

Помогай Вам Бог, и я уверен, что он поможет Вам, если Вы за это возьмётесь.

Пожалуйста, простите меня, если Вам покажутся резкими выражения этого письма. Я писал его от души, руководствуясь самым хорошим, любовным чувством к Вам.

Лев Толстой.

P. S. Письмо это я показал только одному близкому человеку, и никому не буду говорить о нем.

Л. Т.

Столыпин на это письмо не откликнулся.

В октябре того же года Лев Николаевич вновь обратился к сыну своего друга, на сей раз с короткой записочкой по более частному поводу (речь шла о судьбе одного человека). Записочка эта заключалась фразой: «Очень сожалею, что вы не обратили внимания на моё письмо».

На сей раз Столыпин Толстому ответил.

Но даже в моём девяностотомном собрании сочинений Л. Н. Толстого этот его ответ напечатан не был. В примечаниях, где такие ответы – хоть не полностью, в выдержках – обычно приводились, на сей раз лишь скупо сообщалось, что опубликован он был только однажды в посвящённом Толстому так называемом «Юбилейном сборнике», вышедшем крошечным тиражом в 1928

году.

Достать этот «Юбилейный сборник» было не просто. Но я его достал. И ответ Столыпина Толстому все-таки прочёл. А прочитав, не пожалел об усилиях, затраченных на добывание этого труднодоступного сборника: усилия эти окупились полностью, и даже с лихвой.

Не могу не привести здесь это столыпинское письмо, – без этого трудно будет понять, почему оно тогда произвело на меня такое сильное впечатление.

…

Лев Николаевич… Не думайте, что я не обратил внимания на Ваше первое письмо. Я не мог на него ответить, потому что оно меня слишком задело. Вы считаете злом то, что я считаю для России благом. Мне кажется, что отсутствие «собственности» на землю у крестьян создаёт всё наше неустройство.

Природа вложила в человека некоторые врожденные инстинкты, как-то: чувство голода, половое чувство и т. п. и одно из самых сильных чувств этого порядка – чувство собственности. Нельзя любить чужое наравне со своим и нельзя обхаживать, улучшать землю, находящуюся во временном пользовании, наравне со своею землею.

Искусственное в этом отношении оскопление нашего крестьянина, уничтожение в нем врождённого чувства собственности, ведёт ко многому дурному и, главное, к бедности.

А бедность, по мне, худшее из рабств…

Смешно говорить этим людям о свободе или о свободах. Сначала

доведите уровень их благосостояния до той по крайней мере наименьшей грани, где минимальное довольство делает человека свободным.

А это достижимо только при свободном приложении труда к земле, то есть при наличии права собственности на землю… Теперь я не вижу цели у нас в России сгонять с земли более развитой элемент землевладельцев и, наоборот, вижу несомненную необходимость облегчить крестьянину законную возможность приобрести нужный ему участок земли в полную собственность…

Впрочем, не мне Вас убеждать, но я теперь случайно пытаюсь объяснить Вам, почему мне казалось даже бесполезным писать Вам о том, что Вы меня не убедили. Вы мне всегда казались великим человеком, я про себя скромного мнения. Меня вынесла наверх волна событий – вероятно, на один миг! Я хочу все же этот миг использовать по мере моих сил, пониманий и чувств на благо людей и моей родины, которую люблю, как любили её в старину. Как же я буду делать не то, что думаю и сознаю добром? А Вы мне пишете, что я иду по дороге злых дел, дурной славы и главного греха. Поверьте, что, ощущая часто возможность близкой смерти, нельзя не задумываться над этими вопросами, и путь мой мне кажется прямым путём. Сознаю, что всё это пишу Вам напрасно – это и было причиною того, что я Вам не отвечал…

Простите.

Ваш П. Столыпин.

Прочитав это письмо, я был потрясён.

Что я знал о Столыпине до того, как прочёл этот его ответ Толстому? Знал, что такое столыпинский вагон. Слышал о том, что такое «столыпинский галстук». Вертелись в голове куплеты, которые распевал в годы так называемой столыпинской реакции товарищ юности моего отца знаменитый одесский куплетист Зингерталь:

У нашего премьера
Ужасная манера
На шею людям галстуки цеплять...

Но прочитав ответ Столыпина Толстому, я был поражён не только тем, что фигура Столыпина предстала предо мной совершенно в новом свете.

Что Столыпин был человек незаурядный – это я понимал и раньше: не зря же так хотел добыть его письмо и потратил на это столько усилий. Но при всем при том, приступая к чтению этого наконец-то попавшего в мои руки исторического документа, я изначально исходил из того, что Толстой в споре с царским министром должен быть – не может не быть! – прав.

И вдруг оказалось, что на самом деле прав-то был не он, а Столыпин!

В свете – именно **в свете** – этого столыпинского письма совершенно по-новому открылись мне многие последующие события нашей истории. Словно мощный луч прожектора осветил их и открыл мне истинное их значение. Я вдруг вспомнил, что Сталин, обосновывая необходимость и правильность политики коллективизации, ссылался на психологию русского крестьянина, в сознании которого – прочное, веками въевшееся убеждение, что земля – ничья, что она – Божья.

Коротко говоря, в трагической фигуре Столыпина я вдруг увидел последний, может быть, шанс России стать нормальной страной.

Особенно, помню, поразила меня в ответе Столыпина Толстому его фраза:

...

Поверьте, что, ощущая часто возможность близкой смерти, нельзя не задумываться над этими вопросами...

Петр Аркадьевич родился в 1862 году, а свой ответ Толстому писал в октябре 1907-го. Было ему тогда, стало быть, всего навсего сорок пять лет. Не такой вроде возраст, чтобы ощущать возможность близкой смерти. Но за год до этого уже был взрыв на Аптекарском острове, во время которого он чудом уцелел. (От взрыва жестоко пострадала его дочь.)

Но и не только в предчувствии близкой смерти было тут дело. В другой фразе того же письма – о том, что его вынесла наверх волна событий, «вероятно, на один миг», и этот миг он хочет по мере сил использовать на благо людей, – ясно прочитывается понимание, что довести начатые им реформы до конца ему ВСЁ РАВНО НЕ ДАДУТ.

Так ясно понял я всё это позже, когда узнал про Столыпина больше, чем знал, когда впервые читал поразивший меня его ответ Толстому.

Прочитав его, я стал жадно искать всё, что можно было тогда найти и прочесть про Столыпина: про его реформы, про его жизнь, про то, как и при каких обстоятельствах эта его жизнь так трагически оборвалась. Ну и, естественно, особый интерес вызвала у меня фигура его убийцы. Не потому, что она (эта фигура) так уж меня интересовала сама по себе, а потому, что я хотел понять: КТО остановил столыпинские реформы, перечеркнул этот последний шанс России стать нормальной страной? Менее всего меня интересовало, что за человек был этот Дмитрий Богров, – храбрецом он был или трусом, героем или предателем. Мне было важно понять, КТО СТОЯЛ за этим Богровым, ОТКУДА направлен был этот, сразивший Столыпина, его выстрел.

В поисках ответа на этот вопрос мне помог случай.

Мой друг Иосиф Шкловский однажды познакомил меня со своим приятелем, довольно известным историком Ароном Яковлевичем Аврехом. С легкой руки Иосифа я довольно скоро стал запросто звать его Ароном, хоть был он (как, впрочем, и сам Иосиф) существенно – лет на десять – меня старше.

Жил Арон в доме напротив нашего. После перенесенного тяжелого инфаркта завел собаку (таково было предписание лечащего врача: с собакой – хочешь, не хочешь, – надо гулять), а поскольку мне тоже надо было три раза в день выгуливать моего Бульку, мы стали выходить на эти собачьи прогулки вместе. Псы наши то и дело вгрызались друг в друга, растаскивать их было не просто, и вскоре мы стали встречаться и гулять без собак. Ну и, естественно, разговаривать – обсуждать все литературные и политические новости. И вот тут-то и выяснилось, что темой докторской диссертации Арона и даже – более того! – главным,

чуть ли не единственным предметом всех его исторических изысканий был – Столыпин.

Беседы с Ароном об исторической роли Столыпина особого интереса у меня не вызывали: его точка зрения, как мне показалось, мало чем отличалась от ортодоксальной советской. Он утверждал, что из столыпинских реформ все равно ничего бы не вышло. И не только потому, что его – так или иначе – все равно бы ОСТАНОВИЛИ, а прежде всего потому, что сама идея этих реформ была ущербна.

Когда он заводил эту обычную свою шарманку, я слушал его вполуха. Меня в этих наших беседах интересовало только одно: Богров. Кем он был? Что подвигло его на убийство премьера? Кто за ним стоял?

И вот тут, – надо отдать Арону должное, – я узнал много для себя нового и интересного. Какими бы ортодоксальными ни были концепции моего ученого собеседника, историк он все-таки был настоящий: всё, что так или иначе было связано с темой его докторской, знал досконально.

Об убийце Столыпина, – объяснил он мне, – существует огромная литература. И вся она довольно отчетливо делится на два периода: дореволюционный, начавшийся на другой день после его рокового выстрела, и – советский. Советский период освещения этой темы практически завершился в конце 20-х годов.

В литературе о каждом из этих периодов тоже можно проследить две версии в объяснении мотивов покушения.

Все, как он выражался в своейственной ему ортодоксально советской манере, буржуазные историки, от либералов до крайних черносотенцев, были уверены, что Столыпина убил агент охранки. В революционной печати – в основном эсеровской и анархистской – такого единодушия не было. Напротив, тут мнения резко разошлись. Одни склонялись к тому, что да, действительно, Богров был агентом охранки. Другие же (таких было большинство) с упорством доказывали, что убийцей премьера был идейный революционер, пожертвовавший собой для блага народа. Поскольку в свете выявившихся фактов отрицать связь Богрова с охранкой было невозможно, они уверяли, что вступил он в эти свои рискованные отношения с жандармами именно для того, чтобы, обманув их доверие, осуществить свой революционный акт.

Через несколько дней после убийства премьера в Государственной Думе – по настоянию нескольких фракций – был сделан запрос, в котором виновными в совершении этого преступления, во всяком случае причастными к нему, прямо назывались весьма высокие должностные лица: генерал-

лейтенант Курлов, полковник Спиридович, подполковник Кулябко и камер-юнкер Веригин. По этому запросу была создана специальная комиссия под председательством тайного советника, сенатора Максимилиана Ивановича Трусевича. Доклад Трусевича был заслушан в первом департаменте Государственного Совета. Вывод комиссии был однозначен: все названные лица были признаны виновными – по меньшей мере в преступной небрежности. Однако никто из них не был предан суду. Дело было прекращено, и для Курлова, Спиридовича и Веригина было оставлено без всякий последствий. Кулябко, вина которого была доказана совершенно, отделался тем, что был отстранен от службы.

Царь, как известно, Столыпина не любил, даже на похороны его не пришёл, а В. Н. Коковцеву, объявляя ему о назначении на освободившийся пост премьера, сказал: «Надеюсь, вы не будете заслонять меня, как это делал ваш предшественник».

П. Н. Милюков – как-никак, профессиональный историк – сказал (не в кулуарах, а публично, в печати) о Столыпине, что, «призванный спасти Россию от революции, он кончил ролью русского Фомы Бекета». Фома (Томас) Бекет – канцлер английского королевства и архиепископ Кентерберийский, друг и приближённый короля Генриха Второго, сильно раздражал монарха крайней независимостью своих суждений, а иногда и поступков. Это своё раздражение король не мог скрыть, и однажды оно выплеснулось в такой – неосторожной – его фразе: «Почему никто из моих трусливых придворных не хочет избавить меня от этого беспокойного попа!» Четыре рыцаря приняли эту королевскую реплику как руководство к действию, и Бекет был убит ими на ступенях алтаря.

Сравнив убийство Столыпина с убийством Бекета, Милюков, по существу, прямо обвинил царствующего монарха в том, что не кто иной, как он инспирировал (во всяком случае, спровоцировал) убийство своего премьер-министра.

Но были и другие факты, говорящие о том, что Богров действительно обманул, использовал охранку. И действовал – как одиночка-революционер, одержимый маниакальной идеей: убить Столыпина. Он дважды встречался с видным деятелем партии эсеров Егором Лазаревым. Объявил ему, что принял твердое решение «устранить» ненавидимого всей демократической Россией премьера. Сказал, что ни в какой помощи не нуждается, всю подготовку и само совершение «акта» целиком берёт на себя. Просит же только об одном: о моральной поддержке. То есть, чтобы партия объявила, что акт был совершён с её одобрения и по её воле. Лазарев решительно в этом ему отказал, мотивируя это

тем, что такой серьезный акт партия, – ежели бы даже она на него решилась, – могла бы доверить только своему, надежному человеку, о котором было бы твёрдо известно, как он себя поведёт потом, в ходе суда и следствия. В ответ на это Богров предложил, чтобы партия объявила о том, что берёт на себя ответственность за покушение только после того, как о его поведении в суде и во время казни станет известно. Посовещавшись с товарищами, Лазарев и в этом Богрову решительно отказал.

Кроме этих двух версий (агент охранки, действовавший по её заданию и – революционер-одиночка, обманувший охранку и использовавший её в своих целях) была ещё и третья, состоявшая в том, что предательство Богрова было выявлено его товарищами по партии, состоялся партийный суд, по решению которого Богров должен был покончить с собой, чтобы избежать казни. По этой версии покушение на премьера стало для него как бы формой самоубийства (решение партийного суда было выполнено), а с другой – попыткой реабилитировать себя в глазах товарищей.

* * *

Для полноты картины тут надо сказать, что была высказана ещё одна, четвертая версия, о существовании которой я узнал совсем недавно:

...

Известный украинский политолог Юрий Левенец, по совместительству – один из успешных в стране политконсультантов, не раз приводивший к победам на общенациональных выборах политиков первой величины, в одном из наших разговоров вдруг повернулся неожиданной стороной. «А вы знаете, – сказал он, – что я когда-то целую книгу написал об убийстве Столыпина – «Жизнь и смерть реформатора»? В ней, кстати, была изложена совершенно новая версия

случившегося. Меня даже покойный Солженицын потом специально в Москву пригласил, так его заинтересовала эта версия. Мы ездили к нему в гости на дачу в Троице-Лыково...»

(Евгений Киселев. Новое покушение. The New times, № 49, 28 ноября 2011. Стр. 40)

Книгу «Жизнь и смерть реформатора» Ю. Левенец написал в соавторстве со своим коллегой (соучеником по истфаку Киевского университета) Валерием Волковинским.

Соавторы обратили внимание на некоторые несообразности в поведении Богрова, которые ни одна из известных им версий объяснить не могла.

По официальной версии Богров метил Столыпину в сердце, но пуля попала в орден Святого Владимира на его груди и срикошетила. Так оно, возможно, и было. Но звезда этого ордена носилась на правой нижней стороне груди, и Богров (он был очень хороший стрелок), если он действительно целил в сердце своей жертвы, не мог бы так промахнуться. А главное, совершенно непонятно, что помешало ему разрядить в Столыпина, если он действительно хотел его убить, всю обойму.

...

Мы долго думали, – рассказывает Левенец, – и наконец поняли, что же тут не так. Все версии не давали ответа на вопрос: что за человек был Богров, что подвигло его на выстрел и, собственно говоря, на виселицу? По сей день я с интересом читаю все, что пишут об убийстве Столыпина, но, скажу без ложной скромности, ни разу не встречал более детального исследования этого уголовного дела с точки зрения личности убийцы. Мы впервые изучили не только протоколы допросов Богрова, но и все показания челяди, которая

обслуживала его семью, свидетельства тюремщиков, другие показания очевидцев. В итоге предложили нашу версию: Богров не собирался убивать Столыпина. Он хотел лишь инсценировать неудачное покушение.

(Там же)

К такому выводу соавторы пришли именно потому, что Богров, каким он представился им по ходу их дотошного расследования, оказался совсем не похож на идейного борца с режимом, тем более на человека, готового к самопожертвованию. Он был бонвиван, устраивал кутежи с девицами легкого поведения, сорил деньгами, любил ездить за границу. По словам очевидцев, подражал модному тогда литературному герою Дориану Грею.

Став революционером-подпольщиком – не столько по убеждениям, сколько по склонности ко всякого рода острым ощущениям и авантюрам (любил ходить по лезвию ножа), он растратил партийную кассу. И тут ему пришла в голову дерзкая мысль: сказать товарищам, что деньги он потратил на подготовку покушения. А для себя решил, что выстрелит, но – промахнётся. За неудачное покушение к смертной казни приговорить не могли, он отделается тюремным сроком и выйдет на свободу героем, а заодно и разрубит тяготившую его связь с охранкой.

...

В крепости, по словам тюремщиков, – рассказывает Левенец, – Богров, не знавший, что рана Столыпина оказалась смертельной, был странно бодр и весел, пока не узнал, что дело повернулось совершенно иначе: судить его будут за убийство, и ему грозит виселица. Впрочем, самообладание Богров сохранял до самого конца. Несмотря на многочисленные разговоры, что суд якобы был необычайно поспешным, мы не нашли в материалах процесса

никаких существенных нарушений российского законодательства. Вплоть до того, что по решению суда семье приговорённого к смерти вернули тот самый браунинг и неизрасходованные патроны – частная собственность...

(Там же. Стр. 43)

Судьба авторов этой книги сложилась по-разному. Юрий Левенец стал академиком Национальной академии наук Украины, директором Института политических и этнонациональных исследований – крупнейшего в стране академического НИИ такого профиля, советником нескольких президентов и премьер-министров. Валерий Волковинский получил известность своими работами по истории Украины в годы Гражданской войны, в частности, написал биографию батьки Махно, но, к сожалению, рано ушёл из жизни. А сама книга давно стала библиографической редкостью, даже у авторов не сохранилось ни одного экземпляра.

В заключение – несколько слов об итоге их встречи с Солженицыным.

Он любезно принял их, вежливо выслушал, но остался при своём мнении. Не только переубедить его, но даже заинтересовать своей версией они не смогли.

* * *

Солженицына не могла заинтересовать не только эта, по правде сказать, довольно экстравагантная версия, но и вообще никакая другая, кроме его собственной.

Он и обратился к этому судьбоносному, как теперь принято говорить, событию в истории России только для того, чтобы высказать – не просто высказать, а подробно развернуть – эту свою версию.

У него Богров убивает Столыпина **как еврей** . И не по каким-нибудь конкретным, обусловленным тогдашними событиями еврейским побуждениям (скажем, мстя за дело Бейлиса или погромы), а потому, что толкает его на это убийство «трехтысячелетний зов» еврейской истории. И выбирает он в качестве жертвы именно Столыпина, потому что главная, сокровенная его цель состоит в том, чтобы **выстрелить в самое сердце России** . Столыпин выбран им как самый крупный

человек тогдашней России, единственная, последняя её надежда. Роковым своим выстрелом именно он, Богров, обрек страну на все будущие её несчастья. Пуля выпущенная из его пистолета в 1911 году, изменила ход истории, предопределила и февраль, и октябрь 17-го, и гражданскую войну, и сталинский ГУЛАГ – всё, всё было заложено и предопределено уже тогда, этим богровским выстрелом.

...

Повинуясь традиционным образцам поведения проповедников «русской идеи» – и не останавливаясь даже перед разрушением художественной целостности романа Солженицын вводит в новую редакцию еврейскую тему.

В центре её оказывается не имеющая никакого отношения к августовской катастрофе история Петра Столыпина, прозрачно символизирующего Россию, и еврея Мордки Богрова, убивающего Россию, повинуясь «трехтысячелетнему, тонкому, уверенному зову» своей расы. В художественном смысле история эта губительна для «Августа Четырнадцатого», в партийно-политическом – она предназначена его спасти. Ибо никак иначе нельзя доказать, что, несмотря на предсмертный старческий маразм православной монархии, так откровенно продемонстрированный самим Солженицыным, умерла она все-таки не сама по себе, но была сокрушена «бесами».

Солженицын не оставляет у читателя ни малейшего сомнения в том, что только Столыпин способен был обеспечить православной монархии счастливое будущее, что в

нем заключалась единственная надежда России противостоять «бесам». «В оправданье фамилии, он был действительно столпом государства. Он стал центром русской жизни, как ни один из царей. (И вправду, качества его были царские.) Это опять был Петр над Россией»... Под водительством нового Петра «Россия выздоравливала непоправимо»... Что Богров, стреляя в Столыпина, стрелял тем самым в «сердце государства», сомнений опять-таки быть не может. Он убил «не только премьер-министра, но целую государственную программу», повернув таким образом «ход истории 170-миллионного народа»...

С другой стороны, читатель не должен оставаться в неведении, что ход этой истории был повернут именно евреем... Даже критик, вполне сочувствующий Солженицыну, вынужден отметить: «С самого начала имя Богрова в повести окружено почти исключительно еврейскими именами... Нееврейских имен вокруг Богрова почти нет, тогда как в документах их больше половины... Для Солженицына не так важно, что Богров пошляк, как то, что он еврей». «Я боролся за благо и счастье еврейского народа», – скажет в день повешения Богров. И Солженицын подтвердит: «Это было – единственное несмененное из его показаний»...

(Александр Янов. Русская идея и 2000-й год. New York. 1988. Стр. 261–263)

Тут я хочу задержать внимание читателя на одной реплике, мимоходом брошенной автором этого текста: «Даже критик,

вполне сочувствующий Солженицыну, вынужден отметить...»

Имеется в виду Лев Лосев, незадолго до того опубликовавший об «Августе Четырнадцатого» весьма примечательную статью. А в относящейся к нему реплике Янова особенно примечательно слово «даже». Литераторов либерального направления, сочувствующих Солженицыну, на Западе в то время уже почти не осталось. И это их изменившееся отношение к недавнему своему кумиру было вызвано не только резким неприятием вдруг открывшихся им его политических взглядов, но и глубоким разочарованием в художественных качествах его новой прозы:

...

Редактор авторитетнейшего американского неолиберального журнала «Комментари» Норман Подгорец... читал «Август Четырнадцатого» (в первой редакции), он сравнил его не только с «Одним днем Ивана Денисовича», но и с «Войной и миром» – и его заключение убийственно: «Война и мир», один из величайших романов, живет в каждой детали, тогда как «Август Четырнадцатого», говоря откровенно, мертв от начала до конца. И выдуманные, и исторические персонажи безжизненны. Батальные сцены, тщательно выписанные, оставляют читателя равнодушным. Что до линии повествования, она движется мрачной волей автора, но не внутренней необходимостью, посредством которой разворачивается истинное художественное произведение. Короче говоря, судя по «Августу Четырнадцатого», претензии солженицынской эпопеи о революции стоять рядом с «Войной и миром» полностью проваливаются (fails utterly). Сверх того провал этот

знаменует крушение надежды, что Солженицын мог бы спасти и оживить великую традицию русского романа XIX века». (Norman Podhoretz. «The Tercible Question of Alexander Solzhenitsyn» – Commentary, Febr. 1985, p. 20)

(Там же. Стр. 249–250)

Что же касается Льва Лосева, о статье которого у нас сейчас пойдёт речь, то он художественный дар Солженицына по-прежнему ценит чрезвычайно высоко. И это признание художественной мощи его творений относится не только к «Ивану Денисовичу» или «Раковому корпусу», но и к «Августу Четырнадцатого», о чем с несомненностью свидетельствует завершающий эту статью такой её финальный аккорд:

…

Утопия – великий двигатель литературы. Утопия – также великое средство воздействия автора на читателя: в сознании восприимчивого читателя она перестраивает систему нравственных и политических ориентиров, укореняет новые стимулы поведения.

В центре «Августа Четырнадцатого» рассказана историческая попытка осуществления русской утопии. Столыпин пытался поставить на практические рельсы то, что веками было утопической мечтой мужика о Руси обетованной – о Беловодье, Мамур-реке, Китеже.

В истории всё пошло неверно, неправильно. Выродки допустили убить Столыпина, а с ним и великие реформы. Армию доверили не тем генералам. Глупый царь досиделся под башмаком у вздорной царицы до

потери трона.

Но в искусстве художественное изображение неправильности выступает как своего рода матрица, отпечатывающая в сознании читателя картину правильного мира.

Останься Столыпин жив или имей он достойных преемников, он осуществил бы свои пятилетние планы, так позорно окарикатуренные большевиками (большевики подрядились осуществить утопию, а осуществили кошмарную антиутопию – Архипелаг ГУЛАГ). Столыпин превратил бы страну в здоровую конституционную монархию. Он удержал бы её от вступления в мировую войну. Он переместил бы экономическое, а также культурное – национальное, одним словом, – ядро на безопасные и щедрые просторы Сибири. При самодостаточной экономии Россия развивалась бы как могучее и мирное государство в заботах об охране своей природы, физического и духовного здоровья народа. Она поддерживала бы мирные экономические и культурные отношения с соседями без притязаний на их территорию (своей хватает!) и с дальними державами... Судя по его могучему началу, «Красное Колесо» – это письмо всему русскому народу. Докатится письмо до Москвы, будет письмо прочитано и принято к сердцу – тогда можно и не сомневаться, что будущее России будет великолепно.

(Лев Лосев. Великолепное будущее России. Заметки при чтении «Августа Четырнадцатого» А. Солженицына – «Континент», № 42, 1985, стр. 319–320)

Этот финальный аккорд так очевидно противоречил всему смыслу статьи, что, дойдя до него, я, грешным делом, подумал, что это – такой вежливый реверанс. Не выражающая истинного отношения автора к предмету его критического разбора виньетка, едва ли даже не ироническая.

Но оказалось, что это не так.

Совсем недавно случилось мне убедиться, что Лосев не переставал восхищаться художественной мощью Солженицына и даже рассорился с некоторыми близкими своими друзьями, которые этого искреннего его восхищения не захотели – а лучше сказать, не смогли – разделить.

...

> *...Лосев (с которым я давно в разладе из-за моей недооценки Солженицына – здесь это бывает)...*
>
> *(Сергей Довлатов. Из письма Андрею Арьеву. 6 янв. 1989. Сергей Довлатов. Жизнь и мнения. Избранная переписка. СПб. 2011. Стр. 337)*

Впрочем, полной ясности насчёт того, в какой степени разбираемая им книга является произведением искусства, у автора этой статьи всё-таки нет:

...

> *...Только дочитав до конца и справившись с наплывом впечатлений, начинаешь задавать себе вопросы, которые, в конце концов, сводятся к трем основным: в какой степени прочитанное является историей? как квалифицировать развиваемую автором политическую доктрину? и – то, что мы прочитали, в какой степени произведение искусства?..*
>
> *Дать ответ на последний вопрос затруднительно именно по той*

причине, что законченного произведения мы не знаем, а то, что знаем, несмотря на уже колоссальный объем, слишком ещё фрагментарно, незаконченно. Впечатление грандиозной и неравномерно идущей стройки: мы видим несколько гениально спланированных и с редкой добротностью выстроенных этажей, а также – столбы, перекрытия подвалов, каркасы, блоки, какие можно видеть хоть на строительстве дворца, хоть склада. Кто знает, что получится: может – небывалый ещё храм, а может – беспорядочное нагромождение разного рода помещений.

(Лев Лосев. Великолепное будущее России. Заметки при чтении «Августа Четырнадцатого» А. Солженицына – «Континент», № 42, 1985, стр. 291–292)

Но всё это не отменяет его высокой оценки качества самой ткани этой новой солженицынской прозы:

…

Что бесспорно – это виртуозное писательское мастерство Солженицына, как оно проявляется внутри отдельных фрагментов.

(Там же. Стр. 293)

Вдаваться по этому поводу в полемику с автором (к тому же, к сожалению, ныне уже покойным) я не хочу и не буду. Тем более, что это его восхищение «виртуозным писательским мастерством Солженицына» не только не мешает, но даже помогает ему вскрыть глубинную суть развиваемой Солженицыным в этом его романе политической доктрины.

И особенно важно и ценно тут то, что эта самая доктрина открывается нам автором статьи не в перечне гневных публицистических деклараций Солженицына (как у меня и у

Янова), а в результате тонкого и глубокого, поистине блистательного критического анализа самой художественной ткани этого солженицынского романа:

...

Что же это такое таится в самой глубине личности Богрова, в такой глубине, где личность уже и перестает быть личностью, превращается в явление родовое?

А вот что. Не только бесстрашно-гибким акробатом представляется себе Богров. Вот он любуется собственной изворотливостью:

«...как это удалось: проползти бесшумно, невидимо, между революцией и полицией, разыскать там щель и точно в неё уложиться» (II, 124).

Еще один портрет – каким увидел Богрова старый эсер Егор Лазарев:

«...полуболезненный, утомленный безусый юноша в пенсне, с передлиненными верхними двумя резцами, они выдвигались вперед, когда при разговоре поднималась верхняя губа...» (II, 131).

И не связано ли с этими резцами – «нанести смертельный укол» (II, 138)? И дальше, ещё точнее:

«В душной заперти Богров сидел, сворачивался, лежал, ходил, сидел, раскачивался – обдумывал. Те несколько нужных капель для рокового мига должны были накопиться, насочиться – в мозгу? в зобу? в зубу?»...

Змея. Слово ни разу не названо, но, по тонко отмеченному Герценом закону литературы,

«подразумеваемые слова увеличивают силу речи»...

Вкравшись в читательское сознание, слившись с образом нездорового молодого еврея, образ змеи реализуется в новых и новых деталях...

То, что в читательском сознании накапливается постепенно, постепенно проясняется как змеиная ипостась Богрова, – сотней страниц дальше мгновенно, с первого взгляда распознаёт его жертва, Столыпин.

Это второе описание момента убийства в романе. В первый раз оно дано через сознание убийцы, второй раз – жертвы. В антракте спектакля Столыпин стоит, облокотившись на барьер оркестровой ямы лицом к проходу.

«...проход пуст до самого конца. По нему шел, как извивался, узкий, длинный, во фраке, чёрный...»

И только после роковых выстрелов вплетается в повествование наконец и само слово:

«Террорист, змеясь чёрной спиной, убегал»...

«Эко дело, – скажет иной читатель, – змея – расхожий нарицательный образ, ругательство. Только что у Солженицына эта метафора протянута через большой кусок текста».

Это неверно. Солженицын возвращает заштампованной употреблением метафоре первоначальную силу. Он подкрепляет её целым рядом приёмов, которые полностью проявляются только в рамках противопоставления: Богров – Столыпин. На этом противопоставлении, как на каркасе,

и держится сюжет повести о Богрове.

(Там же. Стр. 304–305)

Этот «целый ряд приёмов, которые полностью проявляются только в рамках противопоставления: «Богров – Столыпин», автор статьи рассматривает с той же пристальной внимательностью. И так же опирает эту свою мысль на множество тонко подмеченных и отмеченных им художественных подробностей:

…

Столыпин – столп отчизны, воплощение лучших национальных черт, вершина органического развития русской истории.

Богров – космополит, русского у него ни в крови, ни в характере ничего нет, он выродок беспочвенного радикализма.

Мы помним, каким бестелесным, противоприродным изображён Богров, «полуболезненный», «с голосом надтреснутым».

Впервые он сталкивается с премьером в Петербурге случайно:

«Крупной фигурой, густым голосом и как он твёрдо ступал и как уверенно принимал решения – Столыпин ещё усилил то впечатление крепости, несбиваемости, здоровья, какое улавливалось и через газеты»…

Это противопоставление актуализируется в сознании читателя по мере чтения входящих одно в другое повествований о Богрове и Столыпине и достигает апогея в повторной сцене убийства.

Твердый крупный Столыпин стоит, опершись на барьер, в белом сюртуке.

Тонкий узкий убийца извивается

по направлению к нему весь в чёрном.

«Столыпин стоял, беседовал…», «Столыпин стоял…», «Столыпин стоял всё один…», «Столыпин поднял левую руку – и ею мерно, истово, не торопясь, перекрестил Государя»…

Во всей сцене убийства Столыпин описывается простыми личными предложениями: подлежащее – сказуемое, имя–глагол.

Приближающийся убийца лишён существительного имени: «По нем шел, как извивался, узкий» и т. д.

Взглянем ещё раз на эти четко прочерченные оппозиции:

Столыпин	*Богров*
крепко стоит	движется, извиваясь
плотный	бестелесный
сильный	слабый
мужественный	бесполый
патетичен	ироничен
светлый	чёрный
под знаком креста	

…

Отчётливо прорисовывается мифологема противоборства Добра и Зла (причём последнее по христианской традиции характеризуется признаком бестелесности, бесхребетности), Света и Тьмы, Креста и Змия… (Там же. Стр. 306–307)

И вот – итог. Казалось бы, сам собой напрашивающийся, единственно возможный, а на самом деле хорошо подготовленный автором, тонко им срежиссированный вывод:

…

...В самом образе змеи, смертельно ужалившей сотворяющего крестное знамение славянского рыцаря, антисемит без труда может усмотреть параллель со своей любимой книгой, «Протоколами сионских мудрецов»:

«Эти мудрецы решили мирно завоевать мир для Сиона хитростью Символического Змия, главу которого должно было составлять посвящённое в планы мудрецов правительство евреев (всегда замаскированное даже от своего народа), а туловище – народ Иудейский. Проникая в недра встречаемых им на пути государств, Змий этот подтачивал и пожирал (свергая их) все государственные, не-еврейские, силы по мере их роста».

Я совершенно уверен, что такие читатели у Солженицына есть.

(Там же. Стр. 315)

В этом-то уж можно не сомневаться. И на этой последней фразе автору бы и поставить точку. Но он не может этого себе позволить. Ведь в этом случае сразу развалилось бы всё его – и без того хрупкое – построение, согласно которому, при всей своей очевидной антисемитской составляющей, Богровско-Столыпинская линия «Августа Четырнадцатого» является несомненным художественным достижением большого писателя, каким, несмотря ни на что, остаётся для него Солженицын.

И вот, там, где надо бы поставить точку, он ставит запятую и продолжает:

...

Я совершенно уверен, что такие читатели у Солженицына есть, как найдутся и такие, кто станет утверждать, что еврейство Богрова – случайный фактор, не имеющий отношения к гибели Столыпина.

За антисемитское прочтение его книги Солженицын несёт не больше ответственности, чем Шекспир за подобную трактовку «Венецианского купца». Пьеса правдива, потому что еврейское ростовщичество было фактом жизни, и гуманистична, потому что в ней с большой поэтической силой сказано: «И еврей – человек», – революционно смелое утверждение по тем временам, от которых мы не так уж далеко ушли.

У Солженицына «и Богров – человек». Как ни отвратителен Богров своему автору, но даже этот пошляк и убийца с вывихнутыми представлениями о морали являет собой какой-то человеческий тип, полярный Солженицыну, но принадлежащий человечеству.

(Там же. Стр. 315–316)

Вот уж – чего нет, того нет!

А что касается шекспировского Шейлока, то он тут и вовсе ни при чем.

...

Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние характеры. У Мольера Скупой – скуп – и только; у Шекспира Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен.

(А. С. Пушкин. Table-talk)

Солженицыну с его Мордкой Богровым не то что до шекспировского Шейлока, но и до мольеровского Гарпагона – как до неба.

В Богрове его интересует только одно: то, что тот – еврей. Он нужен ему только в этом своём качестве, и больше ни в каком. И Лосев это прекрасно знает. Мало того – убедительно и неопровержимо это доказывает, обнаруживая при том доскональное знание предмета:

...

С самого начала имя Богрова в повести окружено почти исключительно еврейскими именами. Наум Тыш, бр. Городецкие, Саул Ашкинази, Янкель Штейнер, Роза 1-ая Михельсон, Иуда Гроссман, Хана Будянская, Берта Скловская, Шейна Гутнер, Ровка Бергер, Эндель Шмельте – щедрой рукой набросаны на первые страницы рассказа о Богрове. Нееврейских имен вокруг Богрова почти нет, тогда как в документах их больше половины: Сальный Емельян Емельянов, Макаренко Лука Гаврилов, Ипатов Евстафий Михайлов, Базаркин Степан Алексеев, Просов Афанасий...

В документальных своих источниках Солженицын пренебрегает кое-каким красочным материалом, за который ухватился бы любой писатель. Например, удручающе пошлыми стихотворениями Богрова: «Твой ласкающий, нежно-чарующий взгляд, Твои дорогие черты Воскресили давно позабытые сны... Мне не зажечь холодные сердца, Ах, как прожорливый паук, Из сердца кровь сосет гнетущая тоска...»... Для Солженицына не так важно, что Богров пошляк, как то, что он еврей.

(Там же. Стр. 314–315)

«Что бесспорно – это виртуозное писательское мастерство», –

говорит Лосев, рассуждая о художественных достоинствах солженицынского «Августа».

Прочитав это, я – уже в который раз! – вспомнил любимую мысль Л. Н. Толстого, которую он приписал одному из самых любимых своих персонажей:

…

> *– Да, удивительное мастерство! – сказал Вронский. – Как эти фигуры на заднем плане выделяются! Вот техника, – сказал он, обращаясь к Голенищеву…*
>
> *Несмотря на возбужденное состояние, в котором он находился, замечание о технике больно заскребло на сердце Михайлова… Он знал, что под этим словом разумели механическую способность писать и рисовать, совершенно независимую от содержания. Часто он замечал, как и в настоящей похвале, что технику противополагали внутреннему достоинству, **как будто можно было написать хорошо то, что было дурно** .*
>
> *(Л. Н. Толстой. Анна Каренина)*

Лосев попытался показать (и даже доказать), что Солженицыну в его «Августе» это удалось.

Нетрудно было предположить, что эта его попытка вызовет множество недоумений, несогласий, возражений. Можно было даже предвидеть, что реакция на неё будет весьма бурная. Но ни автору статьи, ни его герою в самом страшном сне не могло привидеться, какой грандиозный вызовет она скандал.

* * *

Скандал разразился ещё до того как статья Лосева появилась на страницах «Континента». И скорее всего, если бы дело ограничилось только этой публикацией, может быть, никакого скандала бы даже и не было. Так, маленькая буря в стакане воды,

обычная внутриэмигрантская склока...

Примерно так представлял себе это и сам Александр Исаевич:

...

Может быть, какой-нибудь отзвук в эмигрантской прессе эта статья бы и вызвала, но уж конечно не составила бы этапа в событиях, если бы Лосев, будучи на летних каникулах в Европе, не спрессовал бы статью (ещё и неопубликованную!) в радиопередачу и не прочитал бы по «Свободе» своим голосом вот это всё... – подсоветским слушателям. И получилось? – что радиостанция «Свобода» (на деньги американских налогоплательщиков), дескать, передаёт в СССР – «сочувствие к «Протоколам сионских мудрецов»?..

На первый взгляд, это последнее действие, передача по радио, не более крупный шаг, чем в увлечении шагнул Лосев от простой расхожей змеи – к библейскому «Змию» и к «Протоколам». Но не тут-то было, – и надо бы скорей удивиться, если б искажающий гнев не возгорелся тут же.

Он всплеснулся за несколько дней в двух докладных на имя президента соединённых американских радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа» Джеймса Бакли – одна («Откровенно антисемитская передача») подписана была Львом Ройтманом из Русской Службы «Свободы», вторая (куда длиннее) – Белоцерковским, из той же Службы.

У первого: «Независимо от книги Солженицына, изображение террориста и его жертвы в этой передаче радио «Свобода» выходит за

рамки «интеллектуального» антисемитизма и представляет собой разновидность расистского, биологического отношения к евреям... является оскорблением слушателей и служащих [радиостанции]». И предлагал докладист: послать запись этой передачи сенаторам и конгрессменам США, «чтобы уточнить, предназначены ли ассигнования, получаемые Радиостанцией, для передач такого рода»... Второй сигналист, по обычной своей надрывности, катал так: «Эта передача представляет собой пропаганду крайнего антисемитизма и является дополнением к антисемитской пропаганде КПСС и КГБ, которая ещё не решается цитировать «Протоколы сионских мудрецов», любимую книгу Гитлера». Вот так, всех в один мешок. И вот, мол, «упоминание, что «Протоколы» – гнусная антисемитская фальшивка» – это просто «циничная уловка», поскольку цитата «согласуется с главной мыслью передачи, что Богров олицетворяет «иудейского Змия».

(А. Солженицын. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов)

Скандал, как уже было сказано, вышел грандиозный. Волна публичных обвинений Солженицына в антисемитизме прокатилась по всей Америке. Об этом заговорили все влиятельные американские газеты. В разоблачении солженицынского антисемитизма приняли участие не только журналисты, но и сенаторы. Требовали разбирательства, создания специальной комиссии, и не где-нибудь, а – в Сенате.

...

И вот, 29 марта 1985

созываются Слушания – не какой-нибудь малой комиссии, не подкомитета, нет – но Комитета по иностранным делам Сената Соединённых Штатов! Душа тех Слушаний – из ведущих демократов Соединённых Штатов достопочтенный Клейборн Пелл, джентльмен из штата Род-Айленд. Это высокое заседание должно, наконец, расследовать Загадку, каким образом проверенная – и сугубо подконтрольная – американская радиостанция могла так необузданно вкинуться в пучину антисемитизма – и как этот наглый Солженицын умудрился использовать американские деньги на пропаганду, враждебную Америке?..

(Там же)

Поначалу он решил на все эти обвинения не отвечать:

...

Хотел я замкнуться в работе – нет, не дадут? нет, вытягивают на бой? Как они провоцируют и ждут, чтобы я «ответил на критику в прессе» (ну точно как в СССР!), как они жаждут, чтобы я принял согбенную позу обвиняемого. Но – не пошевельнусь, пусть выговорятся. (В те дни у Али записано: я вполне готов, что травля будет возрастать и до самой моей смерти, заложит всё небо.) Брань в боку не болит, очей не выест. Сдюжаем. Не рассчитали противники, как остойчив мой характер, я – гнаный зверь. Этот шквал я перестаивал спокойно...

Но Аля переживала эту безотбойную атаку на нас – остро. В

отличие от меня – она чувствовала себя реальной жительницей этой страны, где ей приходилось общаться, сноситься, делать дела общественные и личные, организовывать разные виды защиты распорядителей нашего Фонда в СССР. И ещё больнее: наши дети жили в этой стране как в своей реальной, пока единственной – и сколько лет ещё им тут предстояло, и вся эта брань не могла не стеснить их, озадачить. И Аля хотела, чтобы я теперь стал активно обороняться. Мои доводы, что надо перестоять, перемочься, доброе молчание чем не ответ? – не убеждали её…

И вот в середине июля 1985 получаю письмо от Ричарда Гренье: что сейчас некая «специальная ситуация», по которой не решил бы ли я преодолеть своё отвращение к интервью и высказаться? В связи с конфликтом вокруг обвинений в антисемитизме он уполномочен самим издателем «Нью-Йорк таймс» А. М. Розенталем – написать о том статью, и будет писать её под прямым наблюдением издателя… Он опросит около двадцати «экспертов», чтобы составить балансный отчёт. Но: я могу овладеть этим процессом раньше других, если решу высказаться сам, и тем могу прекратить все дебаты… Заверяет, что во всей Америке я не найду более пылкого доброжелателя… Просит дать ему интервью.

Аля склоняла меня дать. Она считала: «Так можно выиграть! самим перейти в атаку!» Я отклонял начисто: я должен перемолчать их на большом отрезке времени и так приучить к сдержанности, отучить

от визга. Она спорила: «Нельзя ко всем нападкам относиться как блаженненьким». Потом стала смиряться, записала: «Пожили в славе, поживём и в поношении».

А я твёрдо уверен: моя правда теперь – в молчаливом выстаивании нескольких лет. Медведю зима заобычай.

И всё-таки – «Нью-Йорк таймс», не иголка в стогу. Интервью – нет. Но вместо того решили: напишу ему письмо, обозначу всё ясно. Форма частного письма к понимающему человеку – она сама располагает высказаться глубже.

(Там же)

Но «высказаться глубже» у него не получилось. Высказывание вышло не больно внятное. Я бы даже сказал – уклончивое:

17 июля 1985

Дорогой г-н Гренье!..

…Что касается ярлыка «антисемитизма», то это слово, как и другие ярлыки, от необдуманного употребления потеряло точный смысл, и отдельные публицисты и в разные десятилетия понимают под ним разное. Если под этим понимается пристрастное и несправедливое отношение к еврейской нации в целом – то уверенно скажу: «антисемитизма» не только нет и не может быть в моих произведениях, но и ни в какой книге, достойной звания художественной. Подходить к художественному произведению с меркой «антисемитизм» или «не-антисемитизм» есть пошлость, недоразвитие до понимания природы художественного произведения. С такой меркой можно объявить

«антисемитом» Шекспира и зачеркнуть его творчество.

Однако, кажется, «антисемитизмом» начинают произвольно обозначать даже упоминание, что в дореволюционной России существовал и остро стоял еврейский вопрос. Но об этом в то время писали сотни авторов, в том числе и евреев... – и недостойно было бы сейчас историку того времени делать вид, что этого вопроса не было... Надо изучать историю, как она была, подчиняясь лишь требованию исторической истины, а не оглядываясь на возможную сегодняшнюю цензуру, «что скажут» или «как это будет принято» сегодня...

Если хотите, Вы можете использовать это моё письмо в любой форме для Вашей статьи.

(А. Солженицын. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов)

При таком раскладе получается, что в его, солженицынском понимании антисемит – тот, кто сознательно «облыгает» еврейский народ. А кто говорит о евреях то, что сам считает правдой, антисемитом отнюдь не является, какой бы неприятной эта правда ни была.

Из этих его рассуждений вполне можно было сделать вывод, что какая-нибудь расхожая антисемитская формула, – скажем, что всем евреям свойствен, как выразился в одной из своих статей Карл Маркс, «гнусный еврейский торгашеский дух» – на самом деле ничего антисемитского в себе не несёт. Точно так же обстоит дело и с другими антисемитскими стереотипами, скажем: «евреи не воевали».

Кое-кому, наверно, покажется, что я тут взвожу на А. И. напраслину, что ничего похожего из этого его текста вовсе не вытекает.

Чтобы показать, что это не так, приведу другое его объяснение на эту тему, из сочинения, написанного им ещё в России и не предназначавшегося для печати ни на родине, ни за границей, а потому более откровенного:

...Что такое антисемитизм?.. Обратим внимание: насколько широко употребляется это слово, настолько почти невозможно услышать или прочесть «антианглицизм», «антигерманизм» (хотя после Гитлера такое чувство довольно широко распространено), «антирусизм-антисоветизм» (хотя вполне понимаю и оправдываю это чувство во всех народах, кто испытал на себе нашу лапу за последние десятилетия), «антиармянизм» и т. д. Не заключить ли отсюда, что слово это пущено в оборот самими евреями? По их впечатлительности? Отчасти – да. Отчасти же антисемитизм – реальное явление и намного выдаётся из ряда своих аналогов.

Словарь иностранных слов – 1950 г., под ред. Лехина и Петрова – даёт нам: «антисемитизм – искусственно создаваемая национальная ненависть к евреям». Ещё не поглядев туда, мы сами для себя записали такие рабочие определения: «несправедливое недоброжелательство к евреям», «безосновательная ненависть к евреям или наклонность ложно обвинять их». Думаю, что эти определения ложатся почти рядом...

Однако, слово это у нас потеряло ясные рамки, использование этого слова далеко вышло за пределы его смысла – и, думаю, что опять-таки по еврейской впечатлительности... Объявляется антисемитской всякая попытка безвосторженного, беспристрастного, обоестороннего

рассуждения о евреях... Евреи по отношению к себе не признают никакого спектра оценок: либо безоговорочное одобрение и восхваление, либо антисемитизм. А как быть, если отношение трезво-критическое? Или юмористическое? Это всё попадает в антисемитизм. Казалось бы: ничто и никто на свете не существует без недостатков, значит, есть недостатки и у евреев? Но говорить о них – запретно, всякий заговоривший об общееврейских недостатках будет выставлен и ославлен антисемитом.

А если некто относится к евреям явно недоброжелательно – просто по душевному ощущению, по настроению, но не делает никаких общественных шагов, не будет ни ложно их обвинять, ни искусственно подогревать к ним ненависть – ведь он уже бесповоротный и неспасаемый «антисемит»

Секретарь Толстого записал такую его фразу: «Видали ли вы какого-нибудь человека, которому бы евреи нравились непосредственно?» (Т. е., как я понимаю, не из убеждения, что надо быть прогрессивным, а по душевному чувству, и не отдельные евреи, знакомые, друзья, а вся нация в совокупности). Так по нашим меркам этот вопрос уличает во Льве Толстом явного антисемита!

Да даже и просто густой русский национализм, ещё и слова против евреев не вымолвя, – уже предохранительно объявлен у нас антисемитизмом.

И вот мы у себя в стране напуганы: разговаривая с передовыми образованными людьми, а тем более

берясь за перо, мы прежде всего остерегаемся, оглядываемся – как бы евреев не обидеть...

Но правду надо уметь выслушивать.

Всем на земле.

И евреям тоже.

(Александр Солженицын. Евреи в СССР и в будущей России. Рождество-на-Истье. 1968. Стр. 13–14)

Идея, как видим, совершенно та же, что в его ответе Ричарду Гренье. С той только разницей, что там она укутана в вату «политкорректности», а тут высказана прямо, со всей, так сказать, большевистской откровенностью.

* * *

Вот об этом я и говорил в той передаче на радио «Свобода», которую отметил в своём «Непродёре» задетый ею за живое Солженицын.

Но и тогда ещё отношение моё к Александру Исаевичу оставалось двойственным.

Я уже рассказывал, как после одной такой моей передачи сотрудник радио «Свобода» Матусевич в разговоре со мной назвал Солженицына мелким человеком, и как горячо я тогда этому воспротивился.

Да, он демонизирует убийцу Столыпина Богрова, изображая его чуть ли не главным виновником всех бед, обрушившихся на Россию в XX веке. Да, он написал в своём «Архипелаге», что истинным создателем системы сталинских лагерей был не «лучший друг чекистов», а Нафталий Аронович Френкель, турецкий еврей, родившийся в Константинополе и некоторое время наслаждавшийся там «сладко-тревожной жизнью коммерсанта». Но «какая-то роковая сила влекла его к красной державе». Свой портрет этого мрачного демона «ГУЛАГа» Солженицын заключает такой фразой: «Мне представляется, что он ненавидел эту страну». Вот, значит, какова была природа той «роковой силы»: тайная ненависть к России, сладострастное желание как можно лучше послужить делу её гибели.

Чушь, конечно! Фантастический антисемитский бред!

Но мало ли и ещё более крупных людей были фанатичными антисемитами? Разве не написал Достоевский, что –

Бисмарки, Биконсфильды, Французская республика и Гамбетта и т. д. все это, как сила, один только мираж. Господин и им, и всему, и Европе один только жид и его банк... А когда погибнет все богатство Европы, останется банк жида, Антихрист придёт и станет на безначалии.

Как мог я считать Солженицына мелким человеком? Ведь при мне, на моих глазах он в одиночку сражался с могущественной ядерной державой. Он прошёл войну, лагерь, одолел смертельную болезнь и сумел открыть миру правду о кошмаре сталинского ГУЛАГа. А какой это великий труженик! Даже не найдя в себе силы прочесть все эти его «Узлы», я не мог не изумляться одному только количеству написанных им страниц.

И вот этот титан, этот гигант, этот новый Давид, победивший Голиафа, – мелкий человек?

Нет, я не мог это принять. Не мог с этим согласиться. Не мог в это поверить.

* * *

А вот какую историю вспомнил однажды в разговоре со мной Ефим Григорьевич Эткинд.

В начале 70-х шел он вдвоём с Александром Исаевичем (с которым его тогда связывала тесная и, как ему казалось, прочная дружба) мимо Таврического дворца, в котором некогда заседала Государственная Дума, а теперь размещалась ВПШ – Высшая партийная школа.

– Эх! – вырвалось у Александра Исаевича, уже писавшего тогда свои «Узлы». – Как бы надо было мне побывать там, внутри! Походить по залам дворца, по его коридорам. Мыслимое ли это дело – писать о том, чего не видал собственными глазами!

И Ефим Григорьевич сказал, что хоть в здание ВПШ посторонних, конечно, не пускают, он постарается ему это устроить.

И устроил.

В той Высшей партийной школе тогда работал (заведовал кафедрой) близкий его друг – Давид Прицкер. Он-то и организовал Александру Исаевичу посещение дворца.

Посещение прошло не вполне гладко. То ли Эткинд с Прицкером были плохими конспираторами и легкомысленно сговаривались о предстоящем мероприятии по телефону, то ли гэбэшные ищейки пронюхали о визите Солженицына в Таврический дворец по каким-то другим, своим каналам, но так или иначе визит был прерван чуть ли не в самом его начале, и Александру Исаевичу пришлось покинуть дворец, не повидав и малой доли того, что ему хотелось бы увидеть.

Тем не менее он был очень доволен, благодарил, говорил, как необходимо было ему там побывать. И поглядеть, и потрогать. (Кое-что он с присущей ему дотошностью успел там даже и замерить).

Прицкера потом вызывали в обком, что-то там выясняли, расспрашивали, но особых неприятностей у него не было. Так что всё обошлось сравнительно благополучно.

А спустя пятнадцать лет Александр Исаевич опубликовал (в «Новом мире») новую главу, дополняющую его книгу «Бодался телёнок с дубом». Она называлась «Невидимки» и рассказывалось в ней обо всех людях, которые тайно помогали ему в пору его полуподпольного существования. Упоминались там и Эткинд с Прицкером – как раз в связи вот с этой самой историей его нелегального посещения Таврического дворца.

Даже в Таврический дворец, посмотреть зал заседаний думы и места февральского бурления – категорически отказано было мне пройти. И если всё-таки попал я туда весной 1972 – русский писатель в русское памятное место при «русских вождях»! – то с риском и находчивостью двух евреев – Ефима Эткинда и Давида Петровича Прицкера...

Этой репликой Александра Исаевича Ефим был ранен в самое сердце.

– Ты представляешь? – говорил он мне, заключая свой рассказ. – Я считал себя его другом. Да и он, как будто, меня тоже. Дружба наша к моменту его высылки насчитывала уже десять лет. Он доверялся мне во всем, мы были, – так я думал, – очень близки друг другу. И вот оказывается, что мы – и я, и Давид, – воспринимались им тогда как **два еврея** , два **чужака** , помогшие ему, коренному русаку, **русскому по крови** , проникнуть в заповедное место российской истории.

– Но ведь он же не хотел этим сказать ничего плохого, – пытался я защитить Александра Исаевича. – Жало этой его сатиры направлено ведь не в тебя с Давидом, а вот в этих самых «русских вождей», которые на самом деле никакие не русские. А «два еврея» – это у него просто вырвалось ненароком. Он даже и сам, верно, толком не понял, **что** сказал.

– Так ведь это даже ещё хуже! – сказал Ефим.

И тут я вынужден был согласиться, что, как это ни грустно, он прав.

Дело было не только в том, что Ефим, который на протяжении целых десяти лет считал себя другом Александра Исаевича, на самом деле все эти годы был для него **другим, чужим, не своим** .

В действительности дело обстояло ещё хуже.

Этой своей репликой Александр Исаевич **открылся** . Он – **проговорился** .

Ведь в сущности он сказал вот что:

– Вы только вдумайтесь, сограждане, какая ненормальная, уродливая ситуация сложилась в нашем с вами отечестве! Я, русский писатель и коренной русский человек, здесь – изгой. И

чтобы проникнуть в святое место русской истории, вынужден обратиться к **чужакам** . Выходит, что эти чужаки здесь, **в моей стране** по-прежнему – как и в первые советские годы – **у власти** ! Ну, если даже и не у власти, так во всяком случае – **при власти** . Они по-прежнему – как и в ранние годы коммунистического режима – олицетворяют собой эту чужую нам, русским, не национальную, не нашу власть. И то, что для торжества нашего русского дела мне пришлось обратиться к помощи двух евреев, – вот это как раз и является самым ярким подтверждением **нерусскости** этой поработившей нас, ненавистной нам с вами большевистской, коммунистической власти.

Таков первый, самый очевидный смысл этого солженицынского высказывания. Но под ним – ещё один пласт смысла, более, так сказать, глубокого залегания, но тоже достаточно отчётливый, легко прочитываемый:

– В чем же тут всё-таки дело? Почему ОНИ, эти чужаки, даже и сейчас – при власти? Да ясно, почему: благодаря своей угодливости, неистребимой своей приспособляемости, готовности и умению прислониться, пристроиться к любой власти, какой бы чужой и даже ненавистной им она ни была. Им, в сущности, все равно, какая здесь, в этой стране, власть. Потому что эта страна им – чужая.

Это был антисемитизм уже не идеологический, не «концептуальный», а самый что ни на есть обыкновенный. Тут он уже не только ТАК ДУМАЛ, но – ТАК ЧУВСТВОВАЛ.

* * *

В 90-м году мы с женой оказались в Нью-Йорке. Встречались там с разными своими знакомыми, с которыми уже и не чаяли встретиться на этом свете (когда они уезжали, и мы, и они были уверены, что расставание наше – навсегда).

Одной из таких нечаянных встреч была встреча с Вероникой Туркиной, которая вместе со своим Юркой последовала за Солженицыным в Америку.

Веронику мы посетили в учреждении, где она работала. Учреждение же это (туда её пристроил, конечно, Исаич) занималось распространением русского Тамиздата, может быть даже и пересылкой этих изданных на Западе русских книг в Россию. Так или иначе, мы узнали, что в этой Вероникиной конторе можно поживиться (разумеется, на халяву) разными интересными книгами, которые в нашем, уже начавшем перестраиваться отечестве, были для нас все ещё недоступны.

Книги Вероника нам выдала. Но в мою сторону она при этом старалась не глядеть, издали даже показала мне кулак.

Объясняя своё поведение моей жене, она дала понять, что предельно возмущена моими нападками на Исаича, которые она слышала по «Свободе». Сказала, что никак не ожидала, что я – именно я! – окажусь в числе его врагов.

Жена, не очень ловко стараясь меня защитить, сказала:

– Он не любит антисемитов.

И тут Вероника очень горячо и очень искренне воскликнула:

– Так ведь он как раз НЕ!

В безусловной искренности её убеждения, что Александр Исаевич никакой не антисемит, я не усомнился.

И уже нимало не сомневаясь, что на самом деле он, конечно же, самый что ни на есть настоящий антисемит, уже не пытаясь даже определить границу, отделяющую его «идеологический» антисемитизм от «нутряного», – над искренней репликой, вырвавшейся у Вероники, я все-таки задумался.

Если она, перед которой Исаич вряд ли стал бы таиться, искренне не считает его антисемитом, если даже сама мысль, что кто-то может так скверно о нем думать, приводит её в негодование, так, может, и он сам, Александр Исаевич, тоже не лукавит? Может быть, он искренне верит, что в душе никакой он не антисемит?

Но неужели человек – и неглупый, как будто, человек, – может так искренне заблуждаться на собственный счет?

Ответ на это моё недоумение пришёл неожиданно. И исходил он от человека бесконечно от меня далёкого, не больно мне симпатичного и даже, по правде сказать, откровенно мною презираемого.

Это был довольно известный в то время поэт – Василий Федоров.

Когда-то, сто лет назад, мы с ним вместе учились в Литературном институте, так что в лицо друг друга знали (институт у нас был крошечный, и в лицо все знали всех). Но отношений никаких не было. Даже не здоровались.

Я знал про него, что он автор «лирико-философской», как именовали её критики, поэмы «Проданная Венера», в которой довольно убогим стихом доказывалось, что «Венера» Тициана, проданная Сталиным и Кагановичем за цену двух паровозов, была продана не зря, а во имя народного счастья.

Не вызывала сомнений и принадлежность его к «патриотическому», то есть черносотенному крылу отечественной словесности.

И вот однажды этот самый Вася Федоров в Малеевке, войдя в

столовую – сейчас уже не помню, то ли к обеду, то ли к ужину, – как обычно, пьяный в драбадан, прямо с порога громогласно провозгласил свое жизненное кредо.

Без всякого повода, – видимо, мысленно продолжая какой-то разговор, а потому, как всем нам показалось, совершенно невпопад, но для него самого, наверно, очень логично, – он объявил:

– Если ты уехал в Израиль, – ты мой лучший друг! Но если ты остаёшься здесь, – он погрозил кому-то пальцем, – ты мой злейший враг!

При том, что высказано это было сильно заплетающимся языком и вроде как даже вполне бессвязно, это его кредо по проклятому еврейскому вопросу было им сформулировано с предельной, кристальной ясностью.

А для меня это был, как говорится, момент истины.

Вот так же, наверно, – подумал я, – мыслит и чувствует Александр Исаевич.

Езжайте себе в свой Израиль и живите там счастливо! От души желаю вам всего самого лучшего. Но не суйтесь в наши русские дела! Не лезьте, как сказал Блок Чуковскому, своими грязными одесскими лапами в нашу петербургскую боль!

Вот поэтому-то, – подумал я, – он и не считает себя антисемитом. Он ведь искренне желает добра всем евреям, считающим себя евреями. Ну, а что касается тех из них, кто полагает себя русскими, – тут уж извините, подвиньтесь...

Эта моя догадка подтвердилась, когда – однажды – я наткнулся на такое его высказывание:

...

> *Израиль сейчас наш союзник. Насколько нужно бороться с «еврейским» духом нашей интеллигенции, настолько же важно поддержать Израиль.*
>
> *(Прот. Александр Шмеман. Дневники1973–1983. М. 2007. Стр. 185)*

Попалось мне, правда, как-то на глаза и другое его высказывание, по смыслу прямо противоположное этому:

...

27 октября 1973 года СОЛЖЕНИЦЫН встретился с известным своими антиобщественными взглядами литератором ИВАНОВЫМ В. В., которому заявил:

«Я считаю выступить своим долгом в защиту САХАРОВА, но так, чтобы это заявление было не только в защиту САХАРОВА, но... поддержать так, чтобы это не носило характер поддержки Израиля».

(Из донесения Председателя Комитета Госбезопасности Ю. В. Андропова Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу. Кремлевский самосуд. Секретные документы политбюро о писателе А. Солженицыне. М. 1994)

Но это его высказывание, как я понял, было тактическим. Не хотел он в тот момент по каким-то своим соображениям высказываться в поддержку политики «израильских агрессоров». Что же касается первого, то оно было отнюдь не тактическим, а глубоко продуманным, выношенным, *стратегическим* . Я бы даже сказал *мировоззренческим* .

В другой раз он высказался на эту тему ещё яснее, ещё определённее:

...

...Нам ещё придётся воевать за Россию и не исключено, что с оружием в руках... Вы понимаете наше положение при возможной войне? Мы не можем стать ни на одну, ни на другую сторону. Потому что коммунисты – безнадёжны. Ничего с их стороны нельзя ожидать. А с другой стороны – мировое еврейство. Представьте себе хребет. Мы идём по хребту, справа –

коммунисты, слева – мировое еврейство. Ни одно, ни другое нам не подходит. Я говорю «мировое еврейство» не в расовом смысле, потому что есть такие евреи, как, например, Наум Коржавин, которые очень любят Россию. И есть такие дворяне, как Андрей Синявский, которые являются ненавистниками России и последними мерзавцами. Я говорю о мировом еврействе как о мировоззрении. Мировое еврейство или, если хотите, феврализм. Это то же самое. Так что в случае войны мы не можем быть ни на одной стороне, ни на другой.

(Николай Казанцев. Монархическая карта Солженицына)

Эта его оговорка насчёт того, что о мировом еврействе он говорит «не в расовом смысле», подтвержденная ссылкой на коренного русака, но «мерзавца» Синявского и любящего Россию еврея Коржавина, как мне тогда показалось, с исчерпывающей ясностью объясняла, почему он искренне не считает себя антисемитом.

Мне даже тогда показалось, что у него и впрямь есть для этого кое-какие основания.

Придя к такому заключению, я был уверен, что теперь он мне открылся **весь,** что после этого **«момента истины»** вряд ли уже откроется мне в Александре Исаевиче ещё что-то новое, чего я о нем не знаю.

И как же я был наивен!

* * *

В то, что его отношение к «мировому еврейству» не имеет ничего общего с расизмом, с вульгарным, «зоологическим» антисемитизмом, я ещё готов был поверить. Непонятно мне тут было только одно: почему евреи занимают в его сознании такое непомерно огромное место?

Что-то всё-таки в этом было ненормальное.

И вот – «Двести лет вместе».

Прочитав сперва первый, а потом и второй том этого

сочинения, я подумал, что участвовать в его обсуждении ни за что не стану. Что тут обсуждать? Всё ясно. Охотников поучаствовать наверняка и без меня найдётся немало. Ну, а как только я представил себе, сколько пошлостей будет высказано в неизбежной дискуссии, – что с той, что с другой стороны, – тут меня и вовсе затошнило. (Теперь, задним числом, могу сказать, что тошнило не зря).

В общем, я твердо решил на этот раз промолчать.

Но – не удержался.

А не удержался по причине, которая многим наверняка покажется не самой серьёзной. Отчасти даже странной.

Главным толчком, заставившим меня всё-таки откликнуться на этот двухтомный солженицынский труд, были те несколько страниц, которые А. И. уделил в этом своём «исследовании» Александру Галичу.

Но тут нужна некоторая предыстория.

Лет сорок тому назад Саша Галич был Александром Исаевичем смертельно обижен. Он всей душой рвался с ним познакомиться. И были общие знакомые, которые готовы были его с Солженицыным свести. И был даже случай: Саша тогда жил в Жуковке (снимал там дачу) неподалёку от дачи Ростроповича, где обитал Солженицын.

Но Александр Исаевич знакомиться с Сашей решительно отказался. И выразил свой отказ в присущей ему, отнюдь не дипломатической форме.

Отказом этим Саша был уязвлён до глубины души. В разговорах со мной (наверняка не только со мной) он постоянно возвращался к этой больной теме, всякий раз страдальчески повторяя: «Но почему?! Почему?!»

Вопрос был законный: оба они были тогда по одну сторону баррикад. По мнению Галича им было что обсудить друг с другом. Ну и, конечно, хотелось ему непосредственно от самого Александра Исаевича услышать, что тот думает о его песнях.

Я на эти Сашины вопросы обычно отвечал в том духе, что ладно, мол, не переживай: он такой особенный человек, у него вся жизнь по секундам рассчитана. Но на самом деле (Саше я об этом не говорил), мне казалось, что я понимаю главную причину этого нежелания А. И. знакомиться, а тем более сближаться с Галичем.

Саша был пижон. Он обожал нарядно одеваться, любил хорошо жить, у него была красивая квартира, забитая антикварной мебелью. Александру Исаевичу все это было не то что противопоказано, а прямо-таки ненавистно. Он, например (об этом с упоением рассказывал мне наш «связной» Юрка), очень

любил яичницу, но не позволял себе покупать диетические яйца по рубль тридцать, старался всякий раз, когда попадались, закупить дешевые – по 90 копеек.

Саша Галич в его глазах, наверно, был человеком преуспевающим, хорошо вписанным в ненавистную ему официозную советскую литературу.

Конечно, это был ещё не достаточный повод для того, чтобы так бесцеремонно оттолкнуть протянутую ему дружескую руку. Тем более, что А. И. – я это знал – встречался и обменивался письмами с людьми, куда менее достойными, чем Саша Галич. И даже – с совсем недостойными. (Например, с бывшим моим сокурсником Володей Бушиным).

Но была для его антипатии к Саше ещё одна, как я думал тогда, главная – и гораздо более серьезная причина.

В своих песнях Саша пел от имени людей воевавших, а сам он – не воевал. Пел от лица сидевших, а сам – не сидел. Написал: «…уезжайте, а я останусь, кто-то ж должен, презрев усталость, наших мертвых хранить покой», и, – написав это, – все-таки уехал.

Александру Исаевичу такой человек вполне мог представляться **самозванцем** .

В общем, тогда мне казалось, что причину нежелания Александра Исаевича знакомиться с Сашей я понимал. И только сейчас – сорок лет спустя – я узнал, что главная причина той резкой, непримиримой его антипатии к Галичу была совсем другая.

* * *

Галичу во втором томе «Двухсот лет вместе» Солженицын посвятил целый очерк, этакое маленькое эссе. Семь страниц текста.

Вроде – немного. Но на самом деле не просто много, а прямо-таки колоссально много, если учесть, что ни одному из других русских писателей и поэтов еврейского происхождения – даже самым крупным – он не уделил и абзаца. Несколько скупых похвал Пастернаку (в основном за то, то тот тяготился своим еврейством), несколько презрительных фраз об Эренбурге («Эренбург свою советскую службу знал и исполнял как надо»). Мимоходом, вскользь упомянул в какой-то связи Мандельштама и Багрицкого. О Бабеле сказал только, что был он «сильно прохвастанный своей близостью к ЧК». О Василии Гроссмане и Ильфе – вообще ни слова.

А о Галиче – целых семь страниц!

Сильно, видать, чем-то зацепил его Александр Аркадьевич.

Помимо всего прочего, наверно, ещё и своей популярностью. Ну и, конечно, своей судьбой – диссидента, инакомыслящего, а потом и эмигранта, изгнанника.

Но ещё больше поразило меня **содержание** этого – ни с того, ни с сего вставленного в текст его исторического, «исследовательского» труда – критико-биографического очерка.

Всё относящееся к биографии, бытовому, житейскому облику Галича я тут опускаю, чтобы не погружаться во все эти намеки и мелкие дрязги. Остановлюсь только – по возможности коротко – на том, как видится Солженицыну творчество Галича – лучшее, что от него осталось, его песни:

…

…по-настоящему в нем болело и сквозно пронизывало его песни – чувство еврейского сродства и еврейской боли: «Наш поезд уходит в Освенцим сегодня и ежедневно». «На реках вавилонских» – вот это цельно, вот это с драматической полнотой. Или поэма «Кадиш». Или: «Моя шестиконечная звезда, гори на рукаве и на груди». Или: «Воспоминание об Одессе…» Тут – и лирические, и пламенные тона. «Ваш сородич и ваш изгой. Ваш последний певец исхода», – обращается Галич к уезжающим евреям.

Память еврейская настолько его пронизывала, что и в стихах не-еврейской темы он то и дело вставлял походя: «не носатый», «не татарин и не жид», «ты ещё не в Израиле, старый хрен?!», и даже Арина Родионовна баюкает его по-еврейски. – Но ни одного еврея преуспевающего, незатеснённого, с хорошего поста, из НИИ, из редакции или из торговой сети – у него не промелькнуло даже. Еврей всегда: или унижен, страдает, или сидит и

гибнет в лагере. И тоже ставшее знаменитым:

Не ходить вам в камергерах, евреи…

Не сидеть вам ни в Синоде, ни в Сенате.

А сидеть вам в Соловках да в Бутырках.

И как же коротка память – да не у одного Галича, но у всех слушателей, искренно, сердечно принимающих эти сентиментальные строки: да где же те 20 лет, когда не в Соловках сидело советское еврейство – а во множестве щеголяло «в камергерах и в Сенате»!

Забыли. Честно – совсем забыли. О себе – плохое так трудно помнить. (А. И. Солженицын. Двести лет вместе. Том 2, стр. 451–452.)

Рассуждение это просто изумило меня. Изумила – не то чтобы предвзятость, а непридуманная, самая что ни на есть доподлинная, искренняя слепота и глухота Солженицына, не сумевшего просто **прочитать** те Галичевские строки, о которых он говорит, просто-напросто **услышать** , о чем там в них идёт речь.

Взять хоть вот это, как он говорит, ставшее знаменитым «Предостережение»:

Ой, не шейте вы, евреи, ливреи,

Не ходить вам в камергерах, евреи!

Не горюйте вы, зазря не стенайте,

Не сидеть вам ни в Синоде, ни в Сенате.

Да ведь это же стихи сатирические, издевательские!

«И как же коротка память!» – говорит об этой песне Александр Исаевич. Но ведь Галич обращается к соплеменникам с этим ёрническим предостережением как раз потому, что всё помнит, и потому, что знает, как коротка память **у них** . У таких, как какой-нибудь Борис Абрамович Березовский, которому мало было быть сверхбогатым серым кардиналом, так нет же – ему ещё

понадобилось лезть в камергеры, в сенаторы, в заместители секретаря Совета Безопасности.

Именно к таким, как он, впрямую обращена не процитированная – и понятно, почему не процитированная, – Солженицыным, откровенно глумливая строфа:

Если ж будешь торговать ты елеем,
Если станешь ты полезным евреем,
Называться разрешат Росинантом
И украсят лапсердак аксельбантом.
Но и ставши в ремесле этом первым,
Всё равно тебе не быть камергером…
И т. д.

Или вот – про Арину Родионовну.

Эта строка – из песни, весь смысл, весь, как говорится, пафос которой – в неразрывности русского и еврейского в нем, в его душе: «Я надену чистое исподнее, семь свечей расставлю на столе…» Как еврей – он расставит семь свечей. Как русский – наденет чистое исподнее: так по стародавнему русскому обычаю полагается перед смертью, перед смертным сражением, где, быть может, придется погибнуть.

«Даже Арина Родионовна баюкает его по-еврейски», – попрекает Галича Солженицын.

Но ведь можно было сказать об этом и по-другому, не выворачивая эту галичевскую строчку наизнанку, а прочитав её так, как она написана, – услышав в ней то, что в ней сказано. Скажем, так: «И даже утешает его в его еврейском горе, в его еврейской беде не кто-нибудь, а старая пушкинская няня – Арина Родионовна. Пушкин, Арина Родионовна – вот оно, его единственное прибежище, его единственная родина».

Да и эти еврейские слова, это еврейское напутствие, которым убаюкивает его няня Александра Сергеевича:

А потом из прошлого бездонного
Выплывет озябший голосок –
Это мне Арина Родионовна
Скажет: «Нит гедайге», спи сынок.

К непонятным русскому читателю словам у Галича сделано такое подстрочное примечания: «Нит гедайге» – не расстраивайся, не огорчайся». И Александр Исаевич, конечно, вполне мог обмануться, поверив автору, что слова эти и впрямь «выплыли» у автора из его далёкого, «бездонного» прошлого – может быть, из самого его младенчества.

Но, хорошо зная Сашу и довольно точно представляя себе уровень его познаний в «идише», я-то сразу догадался, откуда на самом деле они у него выплыли:

Запретить совсем бы
ночи-негодяйке
выпускать из пасти
столько звездных жал:
я лежу, —
палатка
в Кемпе «Нит гедайге»,
Не по мне всё это.
Не к чему...
И жаль...

К этим знаменитым строчкам Маяковского – во всех изданиях «лучшего, талантливейшего» – неизменно прилагалось (и по сей день прилагается) такое авторское примечание: «Кемп – лагерь (англ.); «Нит гедайге» – «Не унывай» (еврейск.)».

Вот он – источник Сашиной еврейской образованности.

Так что – промахнулся тут Александр Исаевич. Прямёхонько угодил пальцем в небо. И не в частностях промахнулся, не в мелочах, не в подробностях, а в самой сути своего прочтения галичевских песен.

Суть же дела тут в том, что те песни Галича, которые Солженицыну представляются самыми пронзительными, поскольку их «сквозно пронизывает чувство еврейского сродства и еврейской боли», – те самые, которые он называет («Кадиш», «На реках вавилонских» и др.) – что они-то как раз, за исключением очень, очень немногих, – наименее яркие у Галича. В большинстве – совсем неяркие. Сила Галича – в сатире, в его чутье к современной, сегодняшней русской речи, к «новоязу». Не пафосные, не патетические и даже не лирические его песни, а именно сатирические пошли в народ, легли на душу многотысячной, может быть, даже многомиллионной его аудитории.

Так вот об этих, – лучших Сашиных песнях, – тех, с которыми как раз и сопрягается в нашем сознании самое это имя «Галич», – Солженицын высказался так:

> *А поелику среди преуспевающих и доящих в свою пользу режим – евреев будто бы уже ни одного, но одни русские, – то и сатира Галича, бессознательно или сознательно, обрушивалась на русских, на всяких Климов Петровичей и Парамоновых, и вся социальная злость доставалась им в подчёркнутом «русопятском» звучании, образах и подробностях, – вереница стукачей, вертухаев, развратников, дураков или пьяниц – больше карикатурно, иногда с презрительным сожалением... – всех этих вечно пьяных, не отличающих керосин от водки, ничем, кроме пьянства не занятых, либо просто потерянных, либо дураковатых. А сочтён, как сказано, народным поэтом... Ни одного героя-солдата, ни одного мастерового, ни единого русского интеллигента и даже зэка порядочного ни одного (главное зэческое он забрал на себя), – ведь русское всё «вертухаево семя» да в начальниках.*
>
> *(А. И. Солженицын. Двести лет вместе. Том 2, стр. 452.)*

Прочитав это, я просто оторопел: ну какая же это злая неправда!

Ну да, все эти песни, которые он тут упоминает, – сатирические, издевательские, глумливые. Но куда направлено жало этой сатиры?

А. И. уверен, что на русских людей, на русский народ, на русский национальный характер.

Да, конечно, и Клим Петрович, и товарищ Парамонова – не китайцы, не французы и не евреи. Но разве **национальные** их черты и свойства рисует в этих своих песнях Галич? Да нет же! Советские. Над советским образом жизни глумится он. Над советской системой. Над советскими нравами.

А люди – что ж: люди как люди.

Взгляд у него на них тот же, что в знаменитом рассказе Яшина «Рычаги». Разница лишь в том, что Галич, в отличие от Яшина, – сатирик. Поэтому и краски у него другие, более пригодные для сатирического взгляда на ту же коллизию. Но коллизия – совершенно та же. Взять хоть тот же «Красный треугольник»: до того как началось собрание, они – нормальные люди. Когда «про Гану», про скуку эту международную – все в буфет, за сардельками. Но вот начинается собрание. И партийная эта разборка сразу пробуждает в них самые тёмные чувства. Кричат: «Давай подробности!» А как только собрание кончается, – они опять: люди как люди. «Ну, поздравили меня с воскресением. Залепили строгача с занесением».

И даже эта партийная мымра «товарищ Грошева», едва закончился ритуал партийной проработки, – даже она становится человеком. Ну, не совсем, конечно, человеком, но – просыпается всё-таки и в ней что-то человеческое: «Схлопотал он строгача – ну и ладушки. Помиритесь вы теперь по-хорошему».

Люди обыкновенные, в основе своей, может быть, и неплохие люди, но чудовищно искажённые бесчеловечной советской системой.

А уж насчёт того, что нет у Галича в этих его песнях ни одного солдата, ни одного мастерового, ни одного «зэка порядочного», то это уже – прямая неправда. Не какая-нибудь там художественная неправда, которую можно понимать и трактовать так или этак, а – **чисто фактическая** .

Тема солдата-победителя, который вынес на своих плечах всю тяжесть той страшной нашей войны и не получил за это никаких наград, а только кары – эта тема едва ли не главная у Галича.

Да и с начальниками тоже не так все просто в этих его песнях. Даже их, этих оторвавшихся от народа, чуждых и враждебных народу начальничков он тоже не склонен вот так вот огулом осуждать и разоблачать. Даже для них у него находится – при всем его жёстком сатирическом взгляде – теплая, лирическая нота:

Я возил его, падлу, на «чаечке»,
И к Маргошке возил, и в Фили,
Ой, вы добрые люди, начальнички!
Соль и гордость родимой земли!
. . . . . .
. . . . . .
Да, конечно, гражданка гражданочкой,

Но когда воевали, братва,
Мы ж с ним вместе под этой кожаночкой
Ночевали не раз и не два,
И тянули спиртягу из чайника,
Под обстрел загорали в пути...
Нет, ребята, такого начальника
Мне, наверно, уже не найти!

Ну, а уж к простому человеку из народа у него – только сочувствие. Сочувствие и боль за него:

И где-нибудь, среди досок,
Блаженный, приляжет он.
Поскольку – культурный досуг
Включает здоровый сон.
Он спит. А над ним планеты –
Немеркнущий звездный тир.
Он спит. А его полпреды
Варганят войну и мир.
По всем уголкам планеты,
По миру, что сном объят,
Развозят Его газеты,
Где славу Ему трубят!
И грозную славу эту
Признали со всех сторон!
Он всех призовет к ответу,
Как только проспится Он!
Куется Ему награда.
Готовит харчи Нарпит.
Не трожьте его! Не надо!
Пускай человек поспит!..

Я, кажется, слегка увлекся и стал ломиться в открытую дверь. Но ломлюсь я в неё с одной-единственной целью: чтобы объяснить, почему я не смог удержаться и в конце концов, вопреки твердому своему первоначальному намерению, все-таки втянулся в неприятный мне разговор о книге Солженицына «Двести лет вместе».

Толкнули меня на это, как я уже сказал, вот эти семь солженицынских страниц о Галиче. Но толкнули – не стремлением защитить любимые мною песни от напраслины, от прямой лжи и клеветы. Да и не нуждался Саша Галич в такой моей защите!

Больше всего в этих его семи страничках поразило меня то,

что, высказывая про Галича всё, что у него накипело, А. И. был **безусловно искренен** .

И, будучи искренен, на этот раз (в отличие от многих других случаев, о которых я, наверно, ещё скажу) не притворяясь, не лицемеря, он оказался так глух к художественному звучанию, к смыслу, к содержанию этих – пусть не любимых им, но талантливых же! – песен. Слепота и глухота его тут просто поражают. Поражает полное, ну полнейшее отсутствие элементарного художественного чутья, живого, непосредственного восприятия художественного текста.

Вообще-то я мог бы этому и не удивляться. Я ведь давно уже знал, что А. И. – человек невысокой культуры. И совсем уже невысокой культуры эстетической. Это сразу бросалось в глаза, как только он начинал делиться с нами своими мыслями о Пушкине или о Толстом: тут изливался на нас такой поток глупостей и пошлостей, что даже как-то неловко становилось за новоиспеченного классика. Но особенно обнажился он, когда стал печатать в «Новом мире» свои домашние, ученические рассуждения о «насвежо» прочитанном им каком-нибудь произведении – классическом и современном.

Да, особенно удивляться тому, что А. И. написал о Галиче, вроде не приходится. Мало разве слышали мы таких осуждающих речей (и не только о Галиче) на разных секретариатах и писательских собраниях. Бывало даже и так, что накануне автору кто-нибудь из самых близких его друзей говорил: «Ты – гений!», а назавтра клеймил этого гения с трибуны за несоответствие его сочинения канонам соцреализма.

Но ведь это делалось под нажимом. Ведь это всё говорили не люди, а – те самые яшинские «рычаги». И в том и ужас той нашей советской жизни, что в рычаги она нередко превращала и людей незаурядных, выдающихся.

Но Солженицын-то свободен в своих высказываниях. И совершенно очевидно, что во всех обвинениях, предъявленных им Галичу, он говорит то, что на самом деле думает. Говорит о том, что глубоко его задевает, искренне – до глубины души – волнует!

Вот это и толкнуло меня на разговор, от которого я сперва твердо решил уклониться.

* * *

Найти «трибуну» для этого откровенного разговора мне было несложно.

На протяжении десяти лет я вёл тогда на «Радио России»

рубрику, для которой – не сразу – подыскал название: «Новости прошлого». Два раза в месяц в этих своих, уже ставших постоянными, радиобеседах я рассказывал о книгах, в которых открыл для себя нечто новое о нашем советском прошлом. Это – либо новые, тщательно скрываемые и лишь недавно ставшие известными факты. Либо – новое, только в наши дни ставшее возможным осмысление давно и хорошо известных фактов и обстоятельств.

Разговор о книге Солженицына «Двести лет вместе» в такой рубрике, вообще-то говоря, был неизбежен, и мое стремление такого разговора избежать сильно смахивало на поведение страуса.

Ну, а уж коль я все-таки решился этот разговор начать, не мог же я его свести к одному Галичу! Хоть коротко, но надо было все-таки сказать о главном: о том, про что эта книга, и как я к этому – главному в ней – отношусь.

Начал я с признания, что по мере того как я терпеливо листал страницы этой книги, обещавшей стать сенсацией, интерес мой к этому новому сочинению классика угасал, а на смену ему приходили совсем другие чувства: грусть, горечь, стыд. Главным образом стыд. Стыдно было от сознания, что так низко уронил себя человек, которого вот уже сколько лет называют совестью нации, совестью России.

А потом я напомнил своим слушателям знаменитое стихотворение Бориса Слуцкого – «Про евреев»:

Евреи хлеба не сеют.
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.
Евреи – люди лихие,
Они – солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.
Я всё это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но всё никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»

Дочитав это стихотворение до конца, я сказал, что горькая ирония этих стихотворных строк, к сожалению, нисколько не устарела. А теперь вот – даже обрела новое звучание, новую силу. Потому что всё это, звучавшее раньше из подворотен, шепотком, сквозь зубы, теперь сказано громко, вслух, и не кем-нибудь, а человеком, к голосу которого – по инерции – привыкли

прислушиваться ещё многие.

Из главы солженицынской книги о сталинских лагерях мы узнаем, что евреям и там было лучше, чем другим. А из военной главы, – что евреи если и воевали, то не так, как надо было бы им воевать. И не в первом эшелоне – больше военврачами, да замполитами, – не на передовой. И вообще – не своя, не кровная для них была эта война.

Ссылаясь на свой личный опыт, Солженицын мимоходом даже роняет такую фразу:

...

> *Я видел евреев на фронте. Знал среди них бесстрашных. Не хоронил ни одного.*

Процитировав её, я сказал, что готов поверить: может, так оно и было. Ну не случилось ему хоронить евреев. Что поделаешь?.. Но не спроста ведь тут эта фразочка. Получается – точь-в-точь как у Слуцкого:

> *И пуля меня миновала,*
> *чтоб знали: молва не лжива.*
> *Евреев не убивало.*
> *Все воротились живы.*

Высказать всё это прямо Солженицын, разумеется, не мог. Помимо всего прочего, существует ведь статистика, согласно которой процент воевавших евреев (по отношению к численности еврейского населения в стране) не меньше, а то и больше, чем у русских, украинцев и других народов Советского Союза.

Но он находит способ высказать это свое убеждение не только в прикровенной форме вполне прозрачных намеков, но даже и впрямую, открытым текстом:

...

> *Хотя я участник той войны, мне меньше всего в жизни пришлось заниматься ею по книгам, собирать о ней материалы или писать о ней что-либо. Но я – видел евреев на фронте. Знал среди них смельчаков. Не могу*

не выделить двух бесстрашных противотанкистов: моего университетского друга лейтенанта Эммануила Мазина и взятого из студентов молодого солдатика Борю Гаммерова (оба ранены). В моей батарее (60 человек) было двое евреев: сержант Илья Соломин, воевал отлично всю войну насквозь, и рядовой Пугач (вскорости утёк в Политотдел). Среди офицеров нашего дивизиона (20 человек) тоже был еврей – майор Арзон, начальник снабжения. – Более чем реально воевал поэт Борис Слуцкий, передают его выражение: «Я весь прошит пулями». – Майор Лев Копелев хотя служил в Политотделе армии (по разложению войск противника) – но бесстрашно лез во всякую заваруху. – Вот читаем воспоминания бывшего мифлийца Семёна Фрейлиха, отважного офицера: «Началась война… сразу в военкомат, записываться в армию», не окончив институт, – «нам стыдно было не разделять тяготы миллионов и миллионов»… – Или Лазарь Лазарев, потом известный литературовед, юношей пошёл на войну, воевал на передовой два года подряд, пока не искалечило обе руки: «Это был наш долг, от которого стыдно было увиливать… наша жизнь, в тех обстоятельствах единственно возможная, единственно достойная для людей моего возраста и воспитания»… – А вот в 1989-м, откликаясь в «Книжное обозрение», написал Борис Израилевич Файнерман: в 17 лет, в июле 1941, он пошёл добровольцем в стрелковый полк, в октябре ранен в обе ноги,

попал в плен, бежал, на костылях вышел из окружения; у нас, конечно, посажен за «измену родине», но в 1943 добился из лагеря замены на штрафную роту, и отвоевал там, потом стал автоматчик танкового десанта, и ещё дважды ранен.

(Александр Солженицын. Двести лет вместе. Часть вторая. М. 2002. Глава 21. В войну с Германией)

Были, были среди евреев и смельчаки, и герои. Это он признает. Но всё это были – «белые вороны». А в целом, как тут же выясняется, картина вырисовывается совсем другая:

Всё-таки не зря, оказывается, бытовало «широко распространённое и в армии, и в тылу представление об уклонении евреев от участия в боевых частях».

…

Это – точка болевая, больная. Но если обходить больные точки – нечего и браться за книгу о совместно пройденных испытаниях.

В истории важно и что народы друг о друге думали. – «Во время последней войны антисемитизм в России значительно усилился. Евреев несправедливо упрекали в уклонении от военной службы, и особенно от службы на фронте»... – «О евреях говорили, что, вместо того чтобы воевать, они «штурмом овладели городами Алма-Ата и Ташкент»... – Свидетельство воевавшего в Красной армии польского еврея: «В армии стар и млад старались убедить меня, что... на фронте нет ни одного еврея. «Мы должны воевать за них». В «дружеской» форме мне говорили: «Вы сумасшедший. Все ваши сидят дома, в безопасности, как же это вы оказались на фронте?»... – И. Арад:

«Выражения типа «мы на фронте, а евреи в Ташкенте», «на фронте не видно евреев» – можно было услышать как среди солдат, так и среди гражданских лиц»... – Свидетельствую: да, среди солдат на фронте можно было такое услышать. И после войны – кто с этим не сталкивался? – осталось в массе славян тягостное ощущение, что наши евреи могли провести ту войну самоотверженней: что на передовой, в нижних чинах, евреи могли бы состоять гуще.

Проще всего сказать (так и говорится), что это – русский антисемитизм и нет для того ощущения никаких оснований...

А попытаться бы разобраться; ведь полвека прошло.

(Там же)

И вот он начинает разбираться:

...

...Во время Первой Мировой, вплоть до Февральской революции, ещё действовал александровский закон, по которому евреи не могли получить чин выше унтер-офицерского (закон не распространялся на военных врачей). При большевиках положение изменилось кардинально, и ко Второй Мировой, обобщает израильская Энциклопедия, «по сравнению с другими национальностями СССР, евреи составляли непропорционально большую часть старших офицеров, главным образом потому, что среди них был гораздо более высокий процент людей с высшим

образованием»... – Вот оценивает И. Арад: «количество евреев – комиссаров и политруков в различных подразделениях во время войны было относительно большим, чем на других армейских должностях»: «по крайней мере, процент евреев в политическом руководстве армии» был «в три раза больше, чем процент евреев среди населения СССР в тот период»... – Кроме того, само собой, евреи были «среди главных специалистов военной медицины... среди начальников санитарных управлений ряда фронтов... среди генералов Красной Армии было 26 евреев-генералов медицинской службы и 9 – генералов ветеринарной службы»; 33 генерала-еврея служили в инженерных войсках... Конечно, евреи-врачи и военные инженеры занимали не только высокие посты: «среди военных медиков... было множество евреев (врачей, медсестёр, санитаров)»... напомним, что в 1926 среди военных врачей было 18,6% евреев при доле в мужском населении – 1,7%..., а во время войны этот процент мог только увеличиться за счёт большого числа еврейских женщин-военврачей; «традиционно высокий процент евреев в советской медицине и в инженерных специальностях естественным образом способствовал их многочисленности в армейских подразделениях»...

Но как бы неоспоримо важны и необходимы ни были все эти службы для общей конечной победы, а доживёт до неё не всякий. Пока же рядовой фронтовик, оглядываясь с передовой себе за спину, видел, всем

понятно, что участниками войны считались и 2-й и 3-й эшелоны фронта: глубокие штабы, интендантства, вся медицина от медсанбатов и выше, многие тыловые технические части, и во всех них, конечно, обслуживающий персонал, и писари, и ещё вся машина армейской пропаганды, включая и переездные эстрадные ансамбли, фронтовые артистические бригады, – и всякому было наглядно: да, там евреев значительно гуще, чем на передовой. – Вот пишут: «среди «ленинградских писателей-фронтовиков» евреев о «по самой осторожной и скорее заниженной оценке... 31%... а то, значит, и выше. Но из этого неясно: а сколькие из них были – при редакциях? а это как правило – 10–15 километров от передовой, а если приехал на передовую и попал в переделку, так никто тебя не заставляет «держать рубеж», можно тут же и уехать, это совсем другая психология. Под слово «фронтовик» кто только не самоподгонялся, и среди писателей и журналистов – более всего. О видных – пристало писать в разборах специально литературных. А не видных и не поименованных – сколько таких фронтовиков осело в многотиражках – фронтовых, армейских, корпусных, дивизионных. – Вот эпизод. По окончании пулемётного училища младший лейтенант Александр Гершкович послан на фронт. Но после госпиталя, «догоняя свою часть, на каком-то полустанке услышал знакомый запах типографской краски, пошёл на него – и пришёл в редакцию дивизионной газеты,

которая как раз нуждалась в корреспонденте на передовой». И судьба его – перерешилась. (И как же – его догоняемая пехотная часть?) «В этой должности он прошёл по дорогам войны тысячи километров»... Ну, разумеется, доставалось погибнуть и военным журналистам. – А вот музыкант Михаил Гольдштейн, белобилетник по зрению, пишет о себе: «...стремился быть на фронте, где я дал тысячи концертов, где написал ряд армейских песен и где приходилось мне часто рыть окопы, помогая в этом солдатам»... – часто? приезжий музыкант – и лопату в руки? Глазом фронтовика уверенно отмечу: совсем невероятная картинка. – Или встречаем такую поразительную биографию: Евгений Гершуни «летом 1941 г. добровольцем вступил в народное ополчение, где вскоре организовал небольшой эстрадный ансамбль», – озноб по спине у того, кто знает об этих невооружённых, даже необмундированных, обречённо гонимых на смерть колоннах, – какой там ансамбль?? С сентября 1941 «Гершуни с группой артистов-ополченцев прикомандирован к Ленинградскому Дому Красной Армии, на базе которого организовал фронтовой цирк и стал его начальником». А кончилось тем, что «9.5.1945 цирк под управлением Гершуни выступал на лестничных маршах рейхстага в Берлине»...

(Там же)

Вот, стало быть, где воевали евреи в ту войну. В госпиталях, медсанбатах, военных канцеляриях, редакциях газет, эстрадных и цирковых ансамблях... Где угодно, только не на передовой.

Велик соблазн тут напомнить, где и как, – на каком

расстоянии от передовой – воевал в ту войну сам Александр Исаевич. Но у меня нет на то морального права, поскольку сам я фронта и вовсе не нюхал (в сорок первом году мне было четырнадцать лет). Но умолчать об этом тоже не могу, поэтому предоставляю слово человеку, у которого есть на то моральное право:

...

Рядовой фронтовик, оглядываясь с передовой себе за спину, не разглядел бы, где там, в обозе, а потом во втором эшелоне обретался Солженицын. Тем не менее пишет с обидой в статье «Потёмщики света не ищут», кто-то из журналистов упрекнул его в том, что в добровольцы он не задался. «А я, – пишет он, – как раз-то и ходил в военкомат, и не раз добивался, – но мне как «ограниченно годному в военное время по здоровью велели ждать мобилизации». Свежо предание, да верится с трудом. Хватило здоровья лагеря одолеть, до восьмидесяти пяти лет дожить, и только идти на войну, где могут убить, здоровья не хватало.

После позорной финской войны по приказу министра обороны Тимошенко гребли в армию всех, окончивших десятилетку. Мой старший брат Юра Фридман как раз окончил десятый класс, а в армию его не взяли: он почти не видел левым глазом. Но началась Отечественная война, и он, студент исторического факультета МГУ, пошёл в ополчение, в 8-ю московскую дивизию народного ополчения, был на фронте командиром орудия и погиб на подступах к Москве. Да разве он один. Тысячи, тысячи шли. Мой дядя,

Макс Григорьевич Кантор, коммерческий директор одного из московских заводов (ему подавали машину, мало кому подавали машину до войны), уж он-то мог пересидеть войну в тылу, да и был уже в годах. Но он же пошёл в ополчение, служил санитаром в полку и погиб под Москвой, вот думаю: был ли от него на фронте какой-нибудь толк? Вряд ли. Но он поступил так, как повелевала совесть. Кто хотел идти на фронт, шёл. Но и дальше в этой статье Солженицын продолжает творить миф о себе: «Из тылового же конского обоза, куда меня тогда определили, я сверхусильным напором добился перевода в артиллерию». И всё-то – сверх применительно к себе: здесь – «сверхусильным напором», дальше увидим – «сверхчеловеческим решением». А что это была за артиллерия и на каком отдалении от передовой она располагалась, разговор впереди. Но для того, чтобы попасть на фронт, никакого сверхусильного напора не требовалось, могу свидетельствовать. После тяжёлого ранения, после полугода, проведенного в госпиталях – армейском, фронтовом, тыловом, – после многих хирургических операций, я был признан на комиссии негодным к строевой службе, инвалидом, или, как говорили тогда, комиссован. Но я вернулся в свой полк, в свою батарею, в свой взвод и воевал в нем до конца войны. А вот находиться там, где находился Солженицын, для этого, действительно, требовались определённые качества и сверхусильный напор. Ведь он за всю войну ни разу не выстрелил по

немцам, туда, где он был, пули не залетали. Так ты хоть других не попрекай. Нет, попрекает. В одной из своих статей стыдит покойного поэта Давида Самойлова (на фронте Давид Самойлов – пулемётчик второй номер), что тот недолго пробыл в пехоте, а после ранения – писарь и кто-то ещё при штабе. Но сам-то Солженицын и дня в пехоте не был, ни разу не ранен, хоть бы сопоставил, взглянул на себя со стороны, как он при этом выглядит. А выглядел он так: в книге Решетовской напечатана его «фронтовая» фотография: палатка, стол, стул и сам Солженицын стоит около палатки в длинной до щиколоток кавалерийской шинели с разрезом до хлястика, в каких обычно щеголяло высокое начальство. Можно верить и не верить тому, что первая, брошенная, жена пишет про него в этой книге, но фотография – это документ. Мог пехотный офицер или артиллерист (не говорю уж про солдата) стоять вот так в полный рост средь бела дня? В землянке или в окопе – до темноты. И оправлялся пехотинец в окопе, а потом подденет малой сапёрной лопаткой, да и выкинет наружу, рассчитав, чтоб ветром дуло не в его сторону. Да и что пехотинцу или артиллеристу делать в такой показушной шинели, когда он месит грязь по дорогам и бездорожью? Он полы короткой своей шинели и те подтыкал за пояс. А что подстелит под себя в окопе? Шинель. А под голову? Шинель. А укроется? Шинелью. А у этой, сквозь разрез, звезды видать.

(Григорий Бакланов. Кумир. Nota Bene, № 5, октябрь 2004. Иерусалим.

Стр. 293–294)

Насчёт того, что Александр Исаевич не шибко рвался на фронт и не спешил подставлять грудь под вражеские пули, сохранились и документальные свидетельства:

…

ИЗ ПИСЬМА СОЛЖЕНИЦЫНА ВИТКЕВИЧУ

25 ДЕКАБРЯ 1944 ГОДА

Я всегда стараюсь избегать боя – главным образом потому, что надо беречь силы, не растрачивать резервов – и не тебя мне пропагандировать в этом… К. А. Столяров. Палачи и жертвы. М. 1997, Стр. 333–335.

…

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н. А. РЕШЕТОВСКОЙ

Отметив, что факт «ограниченной годности» её мужа к военной службе удостоверяла имевшаяся у него на руках справка, Н. А. Решетовская сказала: «Он даже ***немного постарался*** *получить эту справку». (Александр Островский. Солженицын. Прощание с мифом. М. 2004. Стр. 29)*

…

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СОЛЖЕНИЦЫНА О ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ

Постоянно в училище мы были голодны, высматривали, где бы

тяпнуть лишний кусок, ревниво друг за другом следили – кто словчил. Больше всего боялись не доучиться до кубиков (слали недоучившихся под Сталинград). (А. И. Солженицын. Малое собрание сочинений Т. 5. Стр. 120)

Под Сталинград, значит, ему не больно-то хотелось.

А о том, как Солженицын воевал, где располагалась его воинская часть и что она собой представляла, сохранились воспоминания одного его однополчанина, весьма, надо сказать, к Александру Исаевичу расположенного.

Сам я, прочитав их, не смог бы досконально в них разобраться. Тут нужен глаз фронтовика, да и не всякого, а по собственному военному опыту знающего, чего стоит каждый километр фронтовой полосы, удалённый от передовой. Поэтому опять передаю слово Григорию Бакланову:

...

...В «Известиях», на двух полосах со многими фотографиями, появилась статья: «Сержант Соломин и капитан Солженицын». Спустя почти шесть десятков лет разыскали в Америке еврея, сержанта Соломина, он во время войны служил в звукобатарее, которой командовал Солженицын... Солженицын благоволил к нему, посылал его в Ростов за своей женой, за Натальей Решетовской, по подложным документам привезти её на фронт, и он, Илюша, всё выполнил...

О чём же свидетельствует сержант Соломин? Призванный в армию до войны, воевавший с 41-го года, он после ранения попал в начале 43-го года в звукобатарею, которой командовал Солженицын. Но надо разъяснить, что такое была эта звукобатарея и где она находилась.

По понятиям фронтовиков, находилась она в глубоком тылу. Соломин указывает 1,5–2 километра от передовой. Нет, значительно дальше, сам Солженицын признаёт: 3 километра. Вот туда-то «сверхусильным напором» и переместился он из конского обоза. Обычно находилась она при штабе.

«Это действительно тогда был очень несовершенный род войск. Координаты, которые мы давали, иногда совпадали, иногда нет, многое зависело от метеорологии, других вещей… Помню, мы ходили в штаб соседней пушечной бригады… Солженицын договаривался, что будет давать наши данные и по собственной инициативе». Словом, безвредный, но и совершенно бесполезный, сохранившийся с довоенных времён род войск, который как-то надо было приставить к делу, вот и ходили предлагать свои услуги командиру бригады пешком, т. е. пули тут не свистали… А вот на прямой вопрос, где располагалась солженицынская звукобатарея: ***«Это был ближний тыл или фронт?»*** *– Соломин отвечает:*

«– В боях батарея участия не принимала, у нас была другая задача.

– Солженицыну выпадало в боях участвовать?

– Я же сказал – у нас были другие задачи. Я не помню, чтобы он непосредственно в боях участвовал, в бою пехота участвовала. А мы – только когда обстоятельства складывались. В окружении, например».

Об этом окружении, из которого Солженицын якобы вывел батарею, и сам он писал, и в прессе писали

неоднократно. Послушаем рассказ Соломина, непосредственного участника события:

«В январе 45-го Второй Белорусский фронт сделал стремительный марш-бросок и у Балтийского моря отрезал крупную немецкую группировку, очень крупную. Эсэсовцы там оказались, бронетанковые части... Они перегруппировались и начали пробиваться. А цельная линия фронта ещё не успела сложиться, в результате звукобатарея попала в клещи. Александр Исаевич связался со штабом, просил разрешения отступить. Ответили – стоять насмерть. Тогда он принял решение: пока есть возможность – вывезти батарейную аппаратуру (это поручил мне), а самому остаться с людьми. Дал мне несколько человек, мы всё оборудование погрузили в грузовик. Прорывались среди глубоких, по пояс, снегов, помню, как лопатами разгребали проходы, как машину толкали... Добрались до деревни Гроссгер-манафт, там был штаб дивизиона».

Здесь важна каждая подробность, а подробности точны. «Прорывались» сквозь глубокий снег, разгребали его лопатами. Но не из окружения прорывались: ни одного немца по дороге не встретили, никто в них не стрелял, ни в кого они не стреляли. В дальнейшем их построили в колонну (видимо, вместе с кем-то ещё) и отправили в штаб корпуса, то есть ещё дальше в тыл. И опять же никаких немцев на пути. Так было ли окружение? Но – дальше: «Добрались мы до штаба корпуса. И там у машины меня вдруг

обнял человек высокого роста – я и не понял сразу, что это Александр Исаевич: «Илюша, я тебе по гроб жизни благодарен!» Это каким же макаром? Солженицыну приказали «стоять насмерть», а он раньше других оказался в глубоком, по фронтовым понятиям, тылу, в штабе корпуса. Естественен вопрос интервьюера:

« – А он где был в это время?

– С личным составом. Мы расстались, когда они занимали круговую оборону. Но потом пришел приказ из штаба дивизиона – выходить из окружения. Как выпутались – не знаю, сам с ними не был. Но Солженицын ни одного человека не потерял, всех вывел»...

Пробиться с боем из окружения, если это – окружение, не потеряв из батареи ни одного человека, практически невозможно. Целые армии наши оставались в плену, а сколько погибло, прорываясь, – не счесть. Так было ли окружение, повторю свой вопрос?

И что означал этот внезапный эмоциональный порыв, это объятие: «Илюша, я тебе по гроб жизни благодарен!»...

Этот порыв у не склонного к эмоциям человека был не случаен. И тут я опять сошлюсь на собственный опыт. Город Секешфехервар в Венгрии мы брали и отдавали и снова брали, бои были очень тяжёлые. И вот по приказу наша батарея, понеся потери, выходила из города ночью, снарядов уже не было. И встретились нам артиллеристы, которых отправили обратно в город. Они оставили свои пушки, будто бы сняв с них замки,

они спрашивали нас, где немцы, где немецкие танки?.. Командир полка приказал их комбату: идти обратно и без пушек не возвращаться. По фронтовым законам командир полка мог отдать его под трибунал, но он отправил их туда, где остались их пушки. Они шли почти на верную смерть.

*Если бы Соломин не вывез батарейную аппаратуру, то командира батареи, Солженицына, могли отправить под трибунал: сам вышел, а матчасть бросил. Вот отсюда – **«по гроб жизни благодарен»** .*

(Григорий Бакланов. Кумир. Nota Bene, № 5, октябрь 2004. Иерусалим. Стр. 302–304)

Дружеские отношения с Соломиным у Солженицына и впрямь сохранились «по гроб жизни». Но когда А. И. опубликовал свой двухтомник «Двести лет вместе», потрясённый содержанием этого его труда, Соломин сказал ему:

– Саня! Зачем ты это сделал?

– Я хотел помирить два народа, – ответил тот.

* * *

В тех своих радиобеседах об этом солженицынском труде я мог бы привести тьму неопровержимых доказательств очевидного – и самого тёмного – солженицынского антисемитизма. Но не стал этого делать, потому что и до и после меня обо всем этом – и с ещё большей неопровержимостью, чем мог бы я, – сказали тогда уже многие. Но главным для меня тут было даже не это соображение, а – другое, более простое: я ведь во всех этих своих радиопередачах говорил не столько про Солженицына, сколько про себя, – про то, кем он **был** для меня и кем **стал** . Поэтому сразу перейду к выводу, к итогу тех нескольких моих радиобесед.

Заключая их, я привел слова Войновича из только что вышедшего тогда его антисолженицынского «Портрета на фоне мифа».

О книге Солженицына «Двести лет вместе» он в этом своём

«портрете» подробно говорить не стал. Сказал только, что с избранной им темой – действительно очень больной и сложной – автор не справился, потому что ему для этого не хватило совести, ума, логики и таланта.

Сочувственно процитировав этот вывод и даже дав понять, что полностью к нему присоединяюсь, я сказал, что сам все-таки выразился бы несколько иначе.

На мой взгляд, – сказал я, – причина краха, постигшего автора этого двухтомного труда, в идеологии. В той самой национальной идее, которая владеет душой Александра Исаевича. Именно она, эта национальная идея, эта националистическая идеология подмяла под себя, подчинила себе, с потрохами съела и совесть его, и ум, и логику, и талант.

На этом как будто можно было бы поставить точку.

Но уже после того как все выводы были сделаны и все слова – самые нелицеприятные и даже жестокие – были сказаны, неожиданно явилось на свет до времени припрятанное, а тут вдруг всплывшее на поверхность ещё одно солженицынское сочинение, прочитав которое я увидел, что в действительности дело обстояло даже ещё хуже, чем я думал и чем об этом сказал.

Казалось бы, уж куда хуже? Хуже того, что уже было сказано, вроде и быть не может.

Но оказалось, что может.

* * *

Незадолго до выхода в свет первого тома «Двухсот лет вместе» некий Анатолий Сидорченко обнародовал раннюю работу Солженицына «Евреи в СССР и в будущей России». Опубликовал он её в своей собственной – откровенно черносотенной – книге, как труд союзника и единомышленника. Сделал он это, разумеется, для того, чтобы укрепить свои антисемитские позиции авторитетом громкого солженицынского имени.

Когда первый том двухтомного солженицынского исследования появился в печати, Виктор Лошак – тогдашний главный редактор еженедельника «Московские новости» – взял у Солженицына интервью, в котором, между прочим, задал ему вопрос и об этой загадочной публикации. И задал его так, словно ответ на него был ему уже заранее известен. «Ваше авторство, – скорее в утвердительной, нежели вопросительной форме сказал он, – просто фальсифицируют!»

А. И., как и следовало ожидать, с этим утверждением согласился, но в какой-то неясной, я бы даже сказал, уклончивой

форме:

...

Это хулиганская выходка психически больного человека. В свою пакостную желтую книжицу он рядом с собственными «окололитературными» упражнениями влепил опус под моим именем. Ситуация настолько вываливается за пределы цивилизованного поля, что исключает какой бы то ни было комментарий, а от судебной ответственности этого субъекта спасает только инвалидность.

Понимать это можно было по-разному. «Влепил опус под моим именем», – значит вроде не его, а чей-то чужой опус? С другой стороны – «ситуация настолько вываливается за пределы цивилизованного поля», что он не считает для себя возможным даже входить в обсуждения этого вопроса. То есть, что означенный «опус» сочинил не он, а кто-то другой, впрямую так и не сказал.

Джинн, однако, уже был выпущен из бутылки. Многочисленные оппоненты и критики «Двухсот лет вместе» напропалую стали его цитировать. А тут ещё первая жена Солженицына Наталья Решетовская сообщила, что работа такая Александром Исаевичем действительно была написана. И один её экземпляр, оказавшийся у неё, она отдала на хранение в отдел секретных рукописей Пушкинского Дома.

Оттуда ли он попал в руки Сидорченко и каким путем – дело совсем уже неясное. Но после этого заявления бывшей жены настаивать на прежней своей формулировке Александру Исаевичу было уже трудно. И в ответе своим оппонентам (Александр Солженицын. «Потёмщики света не ищут». «Комсомольская правда», 22 октября 2003 г.) обвинил одного из них в том, что тот

...

...смеет обсуждать воровскую

публикацию – с её сквозным хулиганским изгаженьем и грязной фальсификацией – выкраденных моих черновиков 40-летней давности.

Сквозь зубы, но все-таки, значит, признал, что «опус» – не чужой, а его собственный. «Черновой», так сказать, вариант нынешнего капитального труда.

Что касается меня, то я, прочитав этот «опус», ни на секунду не усомнился в авторстве Александра Исаевича. Начать с того, что я сразу же обнаружил, что большие куски из этого своего «черновика», даже не редактируя, не меняя в них ни словечка, он, не мудрствуя лукаво, включил в «беловик».

Вот – начало главы 20-й «беловика»:

...

В ЛАГЕРЯХ ГУЛАГА

Если б я там не побывал – не написать бы мне этой главы.

До лагерей и я так думал: «наций не надо замечать», никаких наций вообще нет, есть человечество.

А в лагерь присылаешься и узнаёшь: если у тебя удачная нация – ты счастливчик, ты обеспечен, ты выжил! Если общая нация – не обижайся.

Ибо национальность – едва ли не главный признак, по которому зэки отбираются в спасительный корпус придурков. Всякий лагерник, достаточно повидавший лагерей, подтвердит, что национальные соотношения среди придурков далеко не соответствовали национальным соотношениям в лагерном населении. Именно, прибалтийцев в придурках почти совсем не найдёшь, сколько бы ни было их в лагере (а их было много); русские были, конечно, всегда, но по пропорции несравненно меньше, чем их в лагере (а нередко – лишь по

отбору из партийных ортодоксов): зато отметно сгущены евреи, грузины, армяне; с повышенной плотностью устраиваются и азербайджанцы, и отчасти кавказские горцы.

И, собственно, – никого из них нельзя в этом винить. Каждая нация в ГУЛАГе ползла спасаться, как может, и чем она меньше и чем поворотливей – тем легче ей это удавалось. А русские в «своих собственных русских» лагерях – опять последняя нация, как были у немцев в Kriegsgefangenenlagers.

Впрочем, не мы их, а они нас вправе были обвинить, армяне, грузины, горцы: а зачем вы устроили эти лагеря? а зачем вы держите нас силой в вашем государстве? Не держите! – и мы не станем сюда попадать и захватывать такие привлекательные придурочные места. А пока мы у вас в плену – на войне как на войне.

А как с евреями? Ведь переплёл русских с евреями рок, может быть, и навсегда, из-за чего эта книга и пишется.

Но ещё прежде того, прежде вот этой строчки, найдутся читатели, бывшие в лагерях и не бывшие, кто с живостью оспорит, что я высказал тут правду. Они скажут, что многие евреи были на общих работах. Они отрекутся, что были такие лагеря, где евреи составляли большинство среди придурков. Тем более отвергнут они, что будто бы нации в лагерях помогали друг другу избирательно и, значит, за счёт остальных. А кто вообще не считают себя какими-то отдельными евреями, а ощущают

такими же во всём русскими. Если же где получался перевес евреев на ключевых лагерных постах, то совсем не преднамеренно, выбор шёл по личным признакам, по таланту, по деловым свойствам. Кто ж виноват русским, что у них нет деловых свойств?.. Будут и такие, кто горячо утвердит прямо противоположное: что никому в лагере не жилось так тяжело, как евреям, да это и на Западе так понято: в советских лагерях тяжче всего страдали евреи.
(А. И. Солженицын. Двести лет вместе. Часть вторая. М. 2002. Стр. 330–331)

А вот – начало той же главы из «черновика»: тут она идет под номером одиннадцатым и называется просто:

...

В ЛАГЕРЯХ

Если б там я не побывал – не написать бы мне и этой работы (как и всех моих книг). До лагерей и я так думал: «наций не надо замечать», никаких наций вообще нет, есть человечество. До лагерей я был интернационалистом – энергично наивным, неистовым.

А в лагерь присылаешься и узнаешь: ***если у тебя удачная нация*** *– ты счастливчик, ты обеспечен, ты выжил! Если* ***общая нация – не обижайся.***

Ибо национальность – едва ли не главный признак, по которому зэки отбираются ***в спасительный корпус придурков.*** *Всякий беспристрастный лагерник, достаточно повидавший лагерей, подтвердит, что*

национальные соотношения среди придурков далеко не соответствуют национальным соотношениям в лагерном населении. Именно, прибалтийцев там почти совсем не найдешь, сколь бы ни было их в лагере (а их – много); русские есть всегда, но по пропорции несравненно меньше, чем их в лагере; непомерно сгущены армяне, грузины и евреи (чаще бывает так, что все армяне, грузины и евреи, сколько их есть в лагере – все и придурки, на общих работах их нет); с повышенной плотностью устраиваются азербайджанцы и отчасти кавказские горцы. И собственно – никого из них нельзя в этом винить. Каждая нация ползет спасаться как может, и чем она меньше, и чем поворотливей – тем легче ей это удастся. А русские в своих собственных «русских» лагерях – опять последняя нация, как были и у немцев в их лагерях.

Не мы – их, а они – нас в полном праве обвинить, армяне, грузины или горцы: ***а зачем вы устроили эти лагеря*** *? А зачем вы держите нас силой в вашем государстве? Не держите! – и мы не станем сюда попадать и захватывать такие привлекательные места. А пока мы у вас в плену – на войне, как на воине.*

И они правы. Зачем мы держим их? Мы давно должны были дать им свободу.

Это относится и к евреям, с той только разницей, что отпустить их мы не в силах и сами они уехать не в силах, хотя б завтра и пали преграды, установленные твердолобым правительством. Перепутал нас рок, может быть, навсегда, из-за чего эта работа и

пишется.

Но ещё прежде того, прежде этой строчки, именно евреи с живостью оспорят, что я высказал правду. Они скажут, что многие евреи были на общих работах и даже принципиально на них. Они отрекутся, что были такие лагеря, где ***евреи составляли большинство среди придурков*** *. Тем более отвергнут они, что будто бы помогают друг другу избирательно как еврей еврею и, значит, за счет остальных. Одни неискренне, а другие и вполне искренне скажут, что они и не считают себя какими-то отдельными от нас евреями, а считают такими же русскими, и если где получился перевес евреев на ключевых лагерных постах, то совсем непреднамеренно, выбор шел по личным признакам, по таланту. Будут и такие, кто горячо утвердит прямо противоположное: что никому в лагере не жилось так тяжело, как евреям…*

(Александр Солженицын. Евреи в СССР и в будущей России. 1968. Стр. 45–46)

* * *

Я не собирался (и не собираюсь) входить в обсуждение *содержания* этого отрывка. Но один небольшой комментарий к нему всё же приведу.

Для начала сперва чуть-чуть продолжу цитату:

…

Экибастузский мой солагерник Семён Бадаш в своих воспоминаниях

рассказывает, как он устроился – позже, в норильском лагере – в санчасть: Макс Минц просил за него рентгенолога Ласло Нусбаума просить вольного начальника санчасти. Взяли. Но Бадаш, по крайней мере, кончил на воле три курса медицинского института. А рядом с ним младший медперсонал: Генкин, Горелик (как и мой приятель Л. Копелев, Унжлаг) – и не касались той медицины никогда прежде.

(А. И. Солженицын. Двести лет вместе. Часть вторая. М. 2002. Стр. 331)

Семён Бадаш, на воспоминания которого ссылается тут Александр Исаевич, прочитав относящиеся к нему эти (и не только эти) строки, обратился к их автору с «Открытым письмом», в котором писал:

...

В январе 2003 года из Иерусалима мне в Германию позвонил мой друг, тоже бывший сталинский зэк Михаил Маргулис (автор книги «Еврейская камера Лубянки», изд. «Гешарим» 1996 г.) и сообщил, что во втором томе Вашей последней работы «200 лет вместе» Вы упомянули меня. Заказав и получив эту книгу, я действительно нашёл упоминание своего имени, но в каком контексте! Использовав цитату из моей книги «Колыма ты моя, Колыма», большинству Ваших читателей недоступную в виду того, что она была издана только один раз мизерным тиражом, почти 20 лет назад (Нью-Йорк, «Эффект» 1986), Вы придали моим словам смысл, противоположный истинному,

оболгав меня и народ, к которому я имею честь принадлежать...

Я был арестован московским МГБ не после 3-го курса мединститута, как Вами указано, а во время сдачи экзаменов за 4-ый курс в апреле 1949 года, т. е. пройдя уже несколько клинических кафедр, о чем подробно рассказано в моей книге...

В книге, написанной ещё в России и нелегально из неё высланной, я не рискнул по понятным причинам назвать фамилии всех организаторов и руководителей нашего нелегального лагерного Совета, решавшего судьбы стукачей и наиболее лютых к рядовым зэкам бригадиров, но ныне я могу их назвать. Организаторами Совета были братья Ткачуки, Николай и Петр, оба из Черновиц. В Совет входили ещё три бандеровца: Сергей Кравчук с Ровенщины, Степан Процив и Владимир Матьяс со Львовщины. От русских в Совете были Анатолий Гусев и армейский офицер, бывший Герой Советского Союза, Иван Кузнецов. От прибалтов – латыш Рудзитис и литовец Виктор Цурлонис, от кавказцев – армянин Арутюнян и от среднеазиатов – узбек Ахмед Башкетов.

По прибытии в Норильск нашего двухтысячного этапа, собранного на центральной пересылке в Караганде из неугодных Степлагу зэков, нашим руководителям из бандеровцев нужен был свой, проверенный по Экибастузу человек в больнице. Они просили весьма авторитетного зэка, главного врача, блестящего хирурга, украинца Омельчука помочь мне – при моем незаконченном, но все-таки медицинском образовании – получить место в больнице. Благодаря

ходатайству Омельчука вольная начальница санчасти Горлага Евгения Александровна Яровая – тоже украинка – приняла меня на работу в туберкулезное отделение больницы. Так было написано в моей книге, но Вы это опустили, зато процитировали написанное несколькими строчками ниже, что параллельно меня рекомендовал начальнице санчасти (ее имя Вы не называете) зэк-рентгенолог Нусбаум, которого просил об этом Макс Григорьевич Минц. Ампутацию моего текста Вы проделали для того, чтобы подтвердить конкретным примером Вашу главную мысль: будто в ГУЛАГе евреи захватывали придурочные должности и туда же пристраивали «своих». Более того, перечислив упоминавшиеся мною фамилии работавших в Больнице зэков, Вы, ничего не зная об этих людях и их долагерных профессиях, всех их тоже записали прилипалами-евреями. Все это ложь. Главврачом и хирургом был, как я уже упоминал, украинец Омельчук, зав. туберкулезным отделением был эстонец Реймасте, получивший диплом врача в Тартуском университете. Дипломированный врач-гинеколог еврей Генкин, за отсутствием женщин, работал, чередуясь со мной, на амбулаторных приемах. Пожилой и опытный рентгенолог Нусбаум, венгерский еврей из Будапешта, попал в Горлаг Норильска по спецнаряду, ибо таких специалистов с большим стажем на «Архипелаге» было не густо. Горелик имел фельдшерский диплом и не был евреем, а чехом из города Простеев. Рентгенотехник Саша Гуревич –

еврей из Киева – и на воле был рентгенотехником. Незадолго до нашего восстания был принят на работу в больницу врач-чех Борис Янда, окончивший Карловский университет в Праге. Таким образом, все работавшие в больнице зэки имели прямое отношение к медицинской профессии, и из восьми четверо не были евреями. Вы оболгали всех этих порядочных и честных людей, при том, что сами все Ваши лагерные годы были постоянным «придурком»...

Придётся мне напомнить, что из пяти тысячи зэков в Экибастузе евреев было очень немного, и все они вкалывали на тяжёлых общих работах: Семён Бадаш, Семён Немировский, Владимир Шер, Александр Гуревич, Борис Корнфельд, Лев Гросман, американский еврей Бендер, Матвей Адаскин и другие... Ни одного еврея на должностях бригадиров не было... Зато русских бригадиров было густо: Саша Солженицын, Саша Золотун, Дмитрий Панин, Михаил Генерадав, Черногоров, Белоусов...

(Семён Бадаш. Открытое письмо Солженицыну. Журнал «Вестник» (Балтимор, США) № 15 (326) от 23 июля 2003)

Автор этого «Открытого письма» вспоминает все это, чтобы *уличить Солженицына во лжи.*

Я же счел нужным обратиться к его «Открытому письму» с несколько иной целью: чтобы продемонстрировать *технологию этой лжи* .

* * *

А теперь вернусь к сравнению отрывка из солженицынского

текста 1968 года с отрывком из второго тома «Двухсот лет вместе» (2002).

Как вы могли убедиться, разночтений там почти нет.

Да если бы даже и не было там таких прямых совпадений, сама стилистика этого «опуса» 1968 года, все индивидуальные особенности мышления и слога его автора с несомненностью свидетельствовали, что автором этим мог быть только Солженицын, – никто, кроме него.

Но если это так, если концепция «черновика» и концепция «беловика» полностью совпадают, почему же тогда этот семидесятистраничный солженицынский «опус» задел меня не в пример сильнее, чем двухтомник? Чем-то, значит, он от «беловика» все-таки отличается?

Отличается только одним: откровенностью. Почти полным отсутствием того, что нынче зовут «политкорректностью», с требованиями которой в нынешних обстоятельствах А. И. не мог не считаться. Ну, а если называть вещи своими именами, – отсутствием того лицемерия, которым насквозь пронизаны оба тома «Двухсот лет вместе».

Вот как откровенно высказывает он в «черновике» свой взгляд на участие евреев в нашей большой войне:

…

Вопрос: если евреев в нашей стране процента полтора (по переписи 1959 г. – 1,1%, но вероятно многие записались русскими) – то эти полтора процента были ли выдержаны в Действующей армии? На тысячу фронтовиков приходилось ли 15 евреев? Сомневаюсь. И если даже да, то ***как распределялись они*** *между боевыми частями – и штабами, и вторыми эшелонами?..*

А среди забронированных от мобилизации? А в тыловых учреждениях? Там полтора процента были выдержаны? Думаю, что ой-ой-ой, с какой лихвой! Но статистикой этой (как и всякой другой) никто у нас не занимался и не займется. Вот рассказ рязанской парикмахерши:

«В 1-ю школу приехал к нам госпиталь из винницких врачей, ***все до одного евреи, и сестры тоже*** *. Наняли только русских: коменданта, сестру-хозяйку да меня. Но и нас выжили. Среди раненых был еврей-парикмахер, его вместо меня поставили».*

Этот рассказ – ***не доказательство*** *. Но –* ***народное чувство наверняка*** *.*

А вся паническая многоэшелонная эвакуация 1941 года? Из евреев – наполовину или больше? Скажут: понятно, русским не угрожало уничтожение, а евреям угрожало; и те западные области особенно евреями и были населены. А все-таки: сколько там было евреев-мужчин с медицинскими справками или броней? И это ***бесстыдное*** *безоглядное, опережая запрос,* ***швыряние денег, которые вдруг у стольких евреев оказались пачками, пачками?***

Народному чувству не прикажешь: осталось у русских, у украинцев, у белорусов ***тягостное ощущение, что евреи прятались за их спину…***

(Здесь и далее все выделения жирным шрифтом принадлежат Солженицыну)

У меня этот рассказ рязанской парикмахерши вызвал особое недоверие, потому что моё военное детство (эвакуация) прошло рядом с Полоцким эвакогоспиталем, среди врачей и медсестёр которого была одна-единственная еврейка – моя мама. Впрочем, я не исключаю, что «народное чувство» какой-нибудь местной парикмахерши всех «выковырянных», приехавших в уральский город Серов вместе с Полоцким госпиталем, – и русских, и поляков, и украинцев, и белорусов, и мало ли кого ещё, – воспринимало как евреев.

Что же до причин массового уклонения евреев от фронта, то

здесь концепция Александра Исаевича как раз не совпадает с «народным чувством», – во всяком случае, с тем, которое отразил в своём стихотворении «Про евреев» Борис Слуцкий. («Они солдаты плохие...»)

Вопреки этому расхожему мнению, А. И. считает, что евреи как раз солдаты очень хорошие. (Ведь доказали же они это у себя в Израиле). Но – не расчёт им был воевать за Россию:

...

Но отклоняю свое сомнение! – пусть 1,5% были выдержаны безупречно. Однако эта война должна была быть для евреев особой, «газаватом»: не Россию предлагалось им защищать, но – скрестить оружие с самым, может быть, страшным врагом всей еврейской истории. Не мобилизации следовало ждать, но ***толпами добровольцев ломиться*** *в военкоматы! Не освобожденным по болезни – «зайцами» цепляться к фронтовым эшелонам. (И одновременно – какая возможность возвыситься во мнении русских, укрепить свое положение в России!)*

Но – не видели мы такой картины. Того массового львиного порыва, как при защите Израиля от арабов – не было. Наверняка.

Но враг – безусловный и страшнейший! Но выдающееся военное мужество евреев доказано шестидневной войной! Что же помешало?

Какая причина?..

Расслабляющий расчёт: страна здесь – не наша *, кроме нас – много Иванов, им все равно воевать, они и за нас повоюют с Фрицами, а нам* ***лучше сохранить*** *свою выдающуюся по талантам нацию, и без того уже вырезанную Гитлером.*

Это до такой степени противоречит всему моему опыту, что заведомую и очевидную чушь такого объяснения у меня даже и не возникла потребность опровергать. Тем более, что картину, которую А. И. почему-то не случилось наблюдать (толпы еврейских мальчиков, добровольцами ломившихся в военкоматы) я видел и на примере своих старших братьев (двоюродных – родных у меня не было), и на многочисленных примерах близких друзей.

Может быть, это и не глубокое и даже не искреннее убеждение Александра Исаевича, а чисто умозрительная «рабочая гипотеза»? Не знаю, не берусь судить. Но в чем он безусловно искренен, так это – в реплике о «выдающейся по талантам нации».

В этой иронической фразочке у него **прорвалось чувство** .

Миф о пресловутой еврейской талантливости почему-то особенно его волнует. А в том, что это – именно миф, у него нет и тени сомнений:

…

> *В литературе – **повально талантливы** – а где **великие писатели** ? В музыке сплошь талантливы – а где **великие композиторы** ? Для такого несравненного народа – достаточно ли в философии – одного Спинозы? В физике – Эйнштейна? В математике – Кантора? В психоанализе – Фрейда?*

Пассаж этот совершенно замечателен. Но – не тем, что для подтверждения пресловутой еврейской талантливости ему недостаточно в музыке – Бизе, а в физике – Эйнштейна. (Таких как Эйнштейн, кстати сказать, во всей мировой физической науке было – раз, два и обчёлся: он да Ньютон. Только эти двое изменили наше представление о Вселенной). Не мыслью – неважно, верна она или абсурдна – поразил меня этот солженицынский абзац, а – опять! – **бурным выплеском чувства** , с необычайной силой искренности вырвавшимся в нем **личным отношением** к раздражающему его мифу о несравненной талантливости иудейского племени.

Многие историки сомневаются в том, что Сталин был антисемитом: предполагают, что антисемитизм для него был – не более, чем орудием в его сложной политической игре.

Даже про Гитлера рассказывают, что он будто бы однажды – то ли сказал, то ли написал, – что настоящим антисемитом он никогда не был: просто политическим гением своим понял, что зло должно быть персонифицировано, и лучшей персонификации мирового зла, чем евреи, ему не найти.

Не знаю, может, оно и так.

Но насчёт Александра Исаевича у меня сомнений нет. Теперь я уже точно знаю, что его антисемитизм – самый что ни на есть настоящий, искренний, «нутряной».

Даже физический облик еврея вызывает у него омерзение. И, будучи натурой – как-никак – все-таки артистичной, художественной, он не может этого утаить:

...

В лагерной баньке стояла ванна, украденная зэками со строительства, в ней мылось вольное начальство, теперь разрешили и единственному из заключенных – Бершадеру. Шумная бригада зэков, неожиданно запущенная, застала его там. Не помню более неприятной мужской наготы. Бершадер лежал в ванне, поджав ноги, и казался круглым жирным комом пудов на шесть. Как свисали у него жирные щеки со скул, так свисали дальше волосатые мешки грудей, и жирные мешки на ребрах, и волосатый огромный живот.

Наверно, этот лагерный кладовщик Бершадер и в самом деле был омерзителен. Но в самой этой его омерзительности Солженицын видит – и подчеркивает – именно еврейские черты:

...

...низенький, неприятно-жирный, с хищным носом и взглядом, толстыми похотливыми губами...

А с какой нескрываемой, почти детской радостью вываливает на нас Александр Исаевич целую коллекцию собранных им высказываний о еврейской ущербности, духовной и творческой еврейской неодаренности. И уж совсем особенное удовольствие, особый, так сказать, кайф он получает, когда удается ему сыскать такие суждения, исходящие от самих евреев:

…

Аполлоний Мелон, например, ещё 2 тысячи лет назад упрекнул евреев, что ***они неспособны к самостоятельному творчеству, а всегда – подражатели*** *. Отто Вейнингер, которого уж не обвинишь ни в личной, ни в национальной зависти, пишет: «Еврей беден тем внутренним бытием, из которого только и может вытекать высшая творческая сила». «У еврея нет глубокого чувства природы. И потому он не понимает земельной собственности». «Еврей не хочет оставить трансцендентного, он не чувствует, что непостижимое придает цену существованию. Он хочет представить мир возможно плоским и обыкновенным». «Евреи с жаром ухватились за дарвинизм, за смехотворную теорию происхождения человека от обезьяны. Они обнаружили* ***почти творческую*** *способность в качестве основателей того экономического понимания человеческой истории, которая вовсе устраняет из неё – Дух». Он отмечает «подвижность» еврейского духа, великий талант к журнализму, расположение к сатире и лишённость юмора, высокую степень в образовании понятий (отсюда – юриспруденция). И – отсутствие* ***благочестия*** *, «лишающее его*

возможности воспламениться высшим восторгом». Нет чувства демиурга.

*И другой еврейский автор, С. Лурье – в тон ему: недостаток евреев – «неумение воспламеняться стройной связью явлений и красотой форм в природе и искусстве... **Эстетическая ограниченность... Отсутствие сердечного жара**».*

(Может быть, это отчасти объяснит нам черты современного беспредметного искусства?)

Последнюю догадку А. И. высказывает уже от себя. И тут, вишь, евреи виноваты.

Высказав тьму таких вот догадок и соображений, Солженицын ставит наконец главный вопрос: как нам (то есть – русским) с ними (то есть – с евреями) быть?

Не сейчас, разумеется, а – завтра. Когда Россия станет свободной.

...

*Трудность в том, что **ни в ту, ни в другую** сторону до конца сдвинуть этого вопроса нельзя: **большинство евреев и не уедет в Израиль** (когда отпадут нелепые, глупые нынешние ограничения) и не ассимилируются до конца (это для них – национальное самоубийство!) – они **желают** остаться непременно среди нас, но постоянно помня о своём двойном подданстве, двойной лояльности.*

Говорят иногда: «да мы хотели бы забыть считать себя евреями, перестать отличать себя от русских». Это неискренне, это неправда. Они хотят считаться русскими, да, но главная боль и главная любовь у них будет всё-таки

– Израиль и «мировой еврейский народ ».

Это желание евреев «остаться непременно среди нас» представляет – по Солженицыну – для России, для русских, смертельную опасность. Не потому, что евреи сознательно хотят ей (России) зла, а потому что такова их природа. Иначе они не могут, – даже если бы хотели.

…

Ведь и без мирового центра, и не сговариваясь нисколько, они отлично всегда понимали друг друга, действовали слаженно и однонаправленно. Замкнутое множество со своей отдельной сердечной болью, со своим ощущением ***рода*** *выше, чем индивидуальности, общееврейского возвышения выше, чем своего собственного – ведь они не по дурному умыслу, не по заговору против нас, они просто* ***механически и физиологически*** *никогда не смогут отказаться от предпочтительной тайной взаимовыручки, которая* ***делает евреев как бы тайным обществом, подпольной партией*** *.*

Выходит, хрен редьки не слаще. Есть ли мировой еврейский заговор и мировой еврейский центр, как сообщалось нам в «Протоколах сионских мудрецов», или нету такого центра и такого заговора, – всё это не имеет никакого значения.

Нет, если вдуматься в эту солженицынскую мысль, дело обстоит даже ещё хуже, чем если бы такой заговор существовал. Хрен, оказывается, не только не слаще, а горше редьки. Если бы дело шло о сознательном заговоре, я, или, скажем, другой какой-нибудь русский еврей, мог бы из этого тайного общества, из этой подпольной партии выйти, заявив о своём несогласии с ними. А тут у меня – по определению – такого выхода нет и быть не может, поскольку предполагается, что я не сознательно примкнул к заговорщикам, а – механически и физиологически, то есть сам того не желая, к ним принадлежу.

При таком понимании существа дела Солженицын уже не мог

не предложить новой, будущей России свой план «окончательного решения еврейского вопроса». Не в мировом, правда, а только в российском масштабе.

В общих чертах план этот («на второй день будущей России») выглядит так:

…

1) свободный выезд в Израиль всем желающим;

2) для всех остающихся и заявляющих себя ***русскими евреями*** *– полная религиозная свобода, культурная автономия (школы, газеты, журналы, театры).* ***Ни в чем не мешать им ощущать себя нацией!*** *Но в занятии высших государственных должностей – примерно те ограничения, что и сегодня;*

3) а для тех, кто остаётся и заявляет себя ***не евреем*** *, и не двоеподданным, а искренне, без оглядки,* ***по душе – русским*** *?*

Вот такому человеку простая проверка: если наше русское внутреннее (и особенно – деревенское) разорение, бревна прогнившие, дороги искалеченные, и наша неучёность, и запущенное воспитание, и развращённый дух ему ***больней*** *, чем отсутствие еврейских имен в государственном руководстве; если он испытывает истинное тяготение к русскому быту, к русским пространствам и русской боли – что ж тут возразишь? Исполать! Но этого всего не докажешь на московском паркете и на невских набережных – надо нырять самому в тот наш внутренний вакуум, может быть, и на северную глушь, и* ***практической***

> ***работой скольких-то лет доказать** , что верно, ты именно чувствуешь так. И тогда ты – **полный** гражданин этой новой России.*

Слов нет, программа хороша. Но многое в ней все-таки остаётся неясным. Сколько все-таки лет должен будет промыкаться в северной глуши этот бедолага еврей, искренне считающий себя русским, чтобы стать полноправным российским гражданином? И кто это будет решать? Наверно, совет старейшин какой-нибудь?

И потом: а как быть с полукровками? С ними ведь тоже всё ох как не просто!

…

> *Тут сразу вопрос: а дети от смешанных браков? (А смешанных браков все больше сейчас). Очевидно и перед ними, перед каждым ляжет один из трех перебранных путей. Надо заметить, что дети от смешанных браков чаще бывают и **по наружности больше евреи и по настроениям** . Я не раз наблюдал. Такая молодёжь очень обижается на угнетение евреев и **совершенно спокойна к попранию русского духа** . (Да что там! – русские жены целиком перенимают еврейскую точку зрения, и даже особенно ревностно)… К. И-в, наполовину мусульманин (и от очень знатного отца), наполовину еврей – в момент ближневосточной войны безоговорочно был на стороне Израиля, а не мусульман.*

«К. И-в» – это явно Камил Икрамов, «знатный» отец которого (расстрелянный по бухаринскому процессу первый секретарь ЦК Узбекской ССР Акмаль Икрамов) был, кстати сказать, не мусульманин, а – коммунист. Но для А. И. он – мусульманин, а сам Камил – наполовину мусульманин, наполовину еврей.

Никакой идейный отход от веры отцов не смоет, не соскребет с мусульманина его мусульманства, и уж тем более – с еврея его еврейства.

И даже в голову не пришла Александру Исаевичу простая мысль, что, может быть, во время той арабо-израильской войны толкнула Камила «болеть» за Израиль не еврейская его «половинка», а естественное чувство справедливости: весь стомиллионный арабский мир обрушился тогда на только что созданное после двухтысячелетнего еврейского рассеяния крохотное еврейское государство, и оно – устояло.

После победоносной израильской антиарабской, так называемой шестидневной войны ходил по Москве такой анекдот. (Выдаваемый, конечно, за действительный случай.)

Входит в автобус здоровенный, сильно поддатый мужик, медленно обводит глазами всех пассажиров. Наконец мутный взгляд его останавливается на маленьком щуплом еврее.

Подойдя к нему вплотную и, дыша прямо ему в лицо перегаром, алкаш грозно спрашивает:

– Еврей?

Еврей, вжав голову в плечи, испуганно молчит.

– Я т-тебя спрашиваю: еврей? – ещё более грозно вопрошает алкаш.

– Ну, еврей, – в конце концов признается тот.

И тогда «старший брат», схватив руку бедолаги-еврея и радостно пожимая её и тряся, возглашает:

– М-молодец!

Может быть, у этого русского парня из анекдота тоже была какая-то еврейская «половинка»? Или четвертинка? Или восьмушка?

* * *

Не стану врать: все эти, раньше тщательно Александром Исаевичем скрываемые и теперь вдруг открывшиеся мысли и чувства, сильно меня задели. И они, конечно, тоже немало способствовали тому, чтобы я снова – не в первый раз, но теперь уже навсегда – круто изменил своё к нему отношение.

Но главным толчком для этой перемены были всё-таки не они, – не сами по себе эти тёмные его мысли и чувства, о которых я узнал из этого его сочинения, а – как ни странно! – короткий, совсем крохотный, заключающий это сочинение абзац:

…

Эта работа по своему языковому строю да и по окончательности формулировок и сейчас, конечно, ***ещё не вполне завершена*** *. Я положу её на долгие годы. Надеюсь перед выпуском в свет ещё поработать. Если же не судьба мне к ней прикоснуться до той минуты, когда приспеет ей пора –* ***я прошу её напечатать в этом виде и считать мои взгляды на вопрос именно такими*** *.*

Когда эта работа увидит свет – может быть, очень нескоро, может быть, после моей смерти, – ***я надеюсь, что русские не усмотрят в ней гибели нашей нации*** *.*

(1-я редакция – декабрь 1965 г. 2-я редакция – декабрь-сентябрь 1968 г. Рождество-на-Истье. Стр. 74)

Приводившиеся мною многочисленные цитаты из этой его «работы», а также многие другие его высказывания, процитировать которые у меня не было возможности (пришлось бы переписать всю «работу» от первой до последней страницы), кое-что в Солженицыне, прежде нам не известное, конечно, прояснили. Но строго говоря, всё, что всплыло в этом «черновике», есть и в главном, двухтомном, действительно капитальном его труде. Разве только там он все это обложил ватой, припудрил, причесал, переложил дипломатическими реверансами из репертуара кота Леопольда, уговаривавшего мышей жить дружно.

Так что, если что по-настоящему новое и выявилось после появления на свет Божий «черновика», так разве только – ложь и лицемерие всех этих его дипломатических реверансов: сам ведь – чёрным по белому, да ещё нарочно выделив чёрным, чтобы заметнее было, – написал: **«Прошу считать мои взгляды на вопрос именно такими»** .

По-настоящему же новым, действительно потрясшим меня, во всем этом его «черновике» для меня стал вот этот самый заключающий его абзац.

Ведь этот абзац – он что, собственно, значит?

Ведь это же – **его духовное завещание** ! Главное из того, что хочет он сказать соотечественникам – пусть даже после своей

смерти.

И особенно красноречивы тут – даты: 1965–1968. Это ведь те самые годы, когда он вступил на тропу войны с могущественной ядерной державой. Когда всерьёз опасался, что его могут убить (и могли!). Когда закрадывалась даже мысль, что «они» могут выкрасть, взять в заложники его детей (и к этому он тоже был готов!). И вот в это самое время одну из самых неотложных, главных своих жизненных задач – может быть, даже наиглавнейшую – он видит в том, чтобы написать и на годы вперёд запрятать – для будущего, для новой, свободной России – этот МАНИФЕСТ РУССКОГО ФАШИЗМА!

Вот, оказывается, для чего Господь закалял этот свой меч! И вот зачем в те незапамятные времена автор «Телёнка» молил своего Отца небесного, чтобы Тот не дал ему переломиться при ударах или выпасть из руки Его.

Последняя ступень

Глава «Обыкновенный фашизм» задумывалась мною как последняя. И завершив её, я облегчённо вздохнул: книга закончена.

Но тут же возникло такое чувство (даже не чувство, уверенность), что – нет, это ещё не конец.

Необходимо некое **подведение итогов** . Что-то вроде эпилога.

Сперва я подумал, что роль такого эпилога могло бы выполнить письмо Л. Копелева, отрывки из которого я уже не раз приводил на этих страницах. Но самую суть письма до времени придерживал, оставлял напоследок.

А суть его состояла в объявлении о полном разрыве отношений.

Как подобает двум великим державам, о разрыве дипломатических отношений они объявили друг другу нотами. Лев, понимая историческое значение этого документа, сохранил у себя его копию. И сопроводил таким постскриптумом:

...

P. S.

Копию этого письма, а также копии трех твоих писем: 10.12.81 г. и 11.1.85 г., и моего 4.11.82 г. я посылаю С. Бабенышевой, Т. Литвиновой, П. Литвинову, В. Некрасову, Ж. Нива, Е. Эткинду, В. Трубецкому и пошлю, если будет надёжная оказия, некоторым друзьям в Москву. Посылаю с однозначным требованием: прочесть и хранить, не выпуская из рук, не распространять и не показывать никаким журналистам.

(«Синтаксис», № 37. Париж, 2001. Стр. 102)

В редакцию «Синтаксиса» это письмо передал в 1990 году Е. Г. Эткинд с просьбой не печатать до его разрешения. В 1993 году он это табу снял. М. Копелева и П. Литвинов также настаивали на

публикации этого письма. В результате полный его текст появился на страницах «Синтаксиса», что даёт мне возможность (и право) его цитировать и на него ссылаться.

...

Л. КОПЕЛЕВ – А. СОЛЖЕНИЦЫНУ.

Кёльн. 30.1–5.11. 1985

Саня!..

На твоё письмо от 11 января 1985 года попытаюсь отвечать в той же последовательности, в какой построено твоё «обвинительное заключение»...

В твоих сочинениях, которые я прочитал уже после твоей высылки («Жить не по лжи», «Архипелаг ГУЛАГ II», статьи в сборнике «Из-под глыб», «Письмо вождям», «Бодался телёнок с дубом»), иные страницы вызывали у меня боль, горечь, гнев, стыд за тебя и жалость к тебе. В течение десятилетия ты представлял нашу литературу с таким замечательным достоинством, с такой безоговорочной правдивостью, и вот это достоинство, эта правдивость стали колебаться, давать трещины, обваливаться, потому что ты вообразил себя единственным носителем единственной истины...

Особую, личную боль причинило мне признание о «Ветрове». В лагерях и на шарашке я привык, что друзья, которых вербовал кум, немедленно рассказывали мне об этом. Мой такой рассказ ты даже использовал в «Круге». А ты скрывал от Мити и от меня, скрывал ещё годы спустя. Разумеется, я возражал тем, кто вслед за Якубовичем утверждал, что,

значит, ты и впрямь выполнял «ветровские» функции, иначе не попал бы из лагеря на шарашку. Но я с болью осознал, что наша дружба всегда была односторонней, что ты вообще никому не был другом, ни Мите, ни мне.

И ты подтвердил это как художник в написанном тобой автопортрете. Твой Ленин не только мной был воспринят как талантливый автопортрет: в его отношении к работе, к себе, к женщинам, к дружбам отчётливо проступаешь ты.

Это, пожалуй, самый удачный из твоих автопортретов, он и художественно куда значительнее Нержина, Костоглотова и самовлюбленного «бодливого Телёнка»...

Не доверяя своим современным и будущим биографам, ты решил сам сотворить свой миф, по-своему написать своё житие. И тебе мешали свидетели. Именно поэтому ты по-ленински отталкивал всех бывших друзей. Именно поэтому так опасался мемуаров Натальи Алексеевны. Вот и я мешаю тебе.

Но больше всего мешаешь себе ты сам, из-за своей беспредельной самоуверенности, ты часто совершенно неправильно оцениваешь людей. Ты как художник создаёшь иногда прекрасные, пластические образы, живописуешь отдельные, характерные черты. Но даже о самых близких тебе людях ты знаешь только то, что хочешь знать, то, что тебе полезно...

Но ещё мучительнее было читать в «Архипелаге» заведомо неправдивые страницы в главах о

блатных, о коммунистах в лагерях, о лагерной медицине, о Горьком, о Френкеле (очередной образ сатанинского иудея, главного виновника всех бед, который в иных воплощениях повторяется в Израиле Парвусе и в Богрове).

Острую боль причиняли такие вскользь оброненные замечания, как «расстреливали главным образом грузины», «в лагерях ни одного грузина не встретил» или «комически погиб». (Само это словосочетание так же, как упоенное описание «рубиловки», поразительно для писателя, который называет себя христианином.)

Озираясь назад, на десятилетия, перечитывая письма, и дневники, и твои новейшие публикации, припоминая и заново осмысливая все, что перечувствовал и передумал раньше, я снова убеждаюсь, что больше всего мучит меня, вызывая не только боль, но и стыд, горькое сознание, что я в эти годы повторял ту же ошибку, которая была источником самых тяжких грехов моей молодости.

Тогда, во имя «великой правды социализма и коммунизма», я считал необходимым поддерживать и распространять «малые неправды» о советской демократии, о процветании колхозов и т. п. Веря в гениальность и незаменимость Сталина, я, даже зная правду, подтверждал враки о его подвигах, о его дружбе с Лениным, о его гуманизме и любви к народу.

И по сути так же поступал я, когда, зная или постепенно узнавая «малые правды» о тебе, во имя великой общей правды об империи

ГУЛАГ, которую ты заставил услышать во всем мире, я ещё долго доказывал всем, что, мол, нет, он не мракобес, он безупречно честен и правдив. Ведь все мы в десятки тысяч голосов объявили тебя «совестью России». И я уверял, что ты никак не шовинист, не антисемит, что недобрые замечания о грузинах, армянах, «ошметках орды», латышах, мадьярах – это случайные оговорки.

«Послесвечение» твоей заслуженной доброй славы действовало ещё и после твоей высылки. Однако после «Глыб» ты стал обыкновенным черносотенцем, хотя и с необыкновенными претензиями. И все же я продолжал защищать тебя, либо отрицая то, что становилось очевидным, либо стыдливо молчал – и все ради великого «общего дела».

Сейчас уже видно, что те, кто задумал твою высылку, добились в конечном счете идеологического, политического выигрыша.

Пока ты был в Москве, твой миф, созданный естественно, всем ходом событий предшествующих лет, объединял и оплодотворял силы духовного сопротивления в стране и вдохновлял всех зарубежных противников сталинщины. Но, оказавшись на Западе, ты стал силой разъединяющей. Ты сам теперь создаешь свой миф, а искусственные, самодельные мифы бесплодны.

Ты оказался не объединителем, как надеялись мы, а главой одной секты фанатично преданных приверженцев или расчётливо услужливых раболепных порученцев.

Ты постоянно жалуешься на

непонимание, на преследования.

Но сам зло и спесиво напускаешься на Шрагина, на Тарковского, на Эткинда, на Синявского... И во всех твоих окриках нет ни доказательств, ни серьезных возражений – где уж там говорить о терпимости к инакомыслию, – а только брань и прокурорские обвинения в ненависти к России.

Любое несогласие или, упаси боже, критическое замечание ты воспринимаешь как святотатство, как посягательство на абсолютную истину, которой владеешь ты, и, разумеется, как оскорбление России, которую только ты достойно представляешь, только ты любишь...

Ты и твои единомышленники утверждаете, что исповедуете религию добра, любви, смирения и справедливости. Однако в том, что ты пишешь в последние годы, преобладают ненависть, высокомерие и несправедливость. Ты ненавидишь всех, мыслящих не по-твоему, живых и мёртвых (будь то Радищев, будь то Милюков или Бердяев). Ты постоянно говоришь и пишешь о своей любви к России и честишь «русофобами» всех, кто не по-твоему рассуждает о русской истории. Но неужели ты не чувствуешь, какое глубочайшее презрение к русскому народу и к русской интеллигенции заключено в той черносотенной сказке о жидо-масонском завоевании России силами мадьярских, латышских и др. «инородческих» штыков? Именно эта сказка теперь стала основой твоего «метафизического» национализма, осью твоего «Красного Колеса». Увы, гнилая ось.

Тебя – художника я

действительно недооценивал. Но твою душу и твой разум я чрезвычайно переоценивал. Помнишь, как Толстой объяснял, что каждый человек – это дробь: числитель – то, что о нем думают другие, а знаменатель – то, что он сам о себе думает. Я долго не замечал, как все нарастал, как «медленно взрывался» твой знаменатель.

За эти дни Рая прочитала мне все твои письма, начиная с 1956 года, и наши дневниковые записи и письма некоторых общих друзей. Печальное было чтение. Сегодня становятся приметны корешки и завязи тех недобрых сил, которые раздувал твой «знаменатель». Но все же ты был раньше куда лучше, чем ты сам себя изобразил в «Телёнке».

Нет, я не хочу с тобой больше спорить, ни публично, ни вот так. Не хочу потому, что мне опостылело снова и снова думать о тебе, бередить в душе мешанину из горя, гнева, стыда, жалости, которая возникает каждый раз, как начинаю думать...
(«Синтаксис», № 37. Париж, 2001. Стр. 87–102)

Да, многое из того, что было высказано Львом в этом письме, могло бы заменить то, что я хотел сказать в эпилоге этой моей книги. Но выполнить ту роль, какую я предназначал этому эпилогу, оно не могло.

Ведь я хотел в нем внятно и определенно сказать, каким в конечном счете все-таки представляется мне этот удивительный человек. Попытаться объяснить этот поразительный феномен, кажется, не имеющий никаких аналогий в мировой литературе: мир не знал такого разрыва между высотой стремительного взлёта и глубиной падения, такой силой обольщения и такой горечью разочарования.

Хотелось в заключение этой книги написать что-то вроде портрета её героя, в котором, может быть, мне удалось бы

запечатлеть всю необыкновенность этого характера, хотя бы главные свойства его личности и причуд его миросозерцания.

Но тут я столкнулся с препятствием, сразу же показавшимся мне непреодолимым

Мешала мне осуществить этот замысел не столько неимоверная трудность самой задачи (хотя и это, конечно, тоже), сколько сознание, что ведь об этом, в сущности, написана вся моя книга. И поневоле придется повторяться. То есть – толочь ту же воду в той же ступе.

Менее всего я бы хотел, чтобы это мое заключение выглядело чем-то вроде конспекта или тезисов, суммирующих то, что в книге уже сказано. А ничего другого из этой моей затеи, как мне казалось, выйти не могло. И я уже подумывал, не лучше ли мне от неё отказаться и закончить книгу на том, на чём она закончилась.

Но тут случилось так, что в поисках одной нужной мне цитаты я стал перелистывать уже не раз читанную мною книгу – «Дневники» прот. Александра Шмемана.

О том, что представляет собой эта книга и кем был её автор, трудно сказать лучше, чем это сделал в предисловии к ней сын о. Александра Сергей:

...

После кончины протопресвитера Александра Шмемана в столе его кабинета в Свято-Владимирской семинарии, где он был деканом, были найдены восемь тетрадок, исписанных его рукой. Этот дневник отец Александр вел с 1973 года с небольшими перерывами вплоть до начала последней болезни. Писал он по-русски, на языке, который был ему родным с детства, проведённого в «русском» Париже.

Всякий дневник, особенно такой последовательный, как у отца Александра, вызван не внешними побуждениями, а внутренней необходимостью. Перед нами – часто сугубо личные, сокровенные записи. Декан Свято-Владимирской семинарии, под его руководством

превратившейся в одну из наиболее крупных богословских школ православного мира, почти бессменный секретарь Совета епископов Американской Митрополии (ставшей, опять же под его воздействием, в сотрудничестве с отцом Иоанном Мейендорфом, автокефальной Православной Церковью в Америке), проповедник и богослов, отец троих детей с многочисленными внуками, отец Александр к тому же находился в беспрестанных разъездах для чтения проповедей и лекций, еженедельно вел ряд программ на радио «Свобода» для России. Трудно себе представить более наполненную жизнь, и дневник в первую очередь был для него возможностью оставаться хоть на краткое время наедине с самим собой. Сам отец Александр так написал об этом: «Touch base (соприкоснуться с самим собой) – вот в моей суетной жизни назначение этой тетради. Не столько желание все записать, а своего рода посещение самого себя, «визит», хотя бы и самый короткий. Ты тут? Тут. Ну, слава Богу. И становится легче не раствориться без остатка в суете». И ещё: «…записать хочется не для «рассказа», а, как всегда, – для души, то есть только то, что она, душа, ощутила, как дар, и что годно, следовательно, для «тела духовного».

(Прот. Александр Шмеман. Дневники 1973–1983. М. 2007. Стр. 5)

Фигура Солженицына в этих Дневниках занимает огромное место. Многочисленные записи отца Александра об Александре Исаевиче и раньше, когда я читал эту книгу впервые, сильно впечатлили меня. (Некоторые из них я уже приводил на этих

страницах). Но на этот раз, когда я читал эту книгу не подряд, а останавливаясь именно на этих, особенно интересовавших меня записях, я вдруг увидел, что если выписать их все подряд, получится тот самый портрет моего героя, тот самый краткий, но выразительный очерк его пути, каким я хотел бы завершить эту свою книгу.

Сам я написать ничего подобного, разумеется, никогда бы не смог. Да и не знаю, кто ещё смог бы.

Начать тут надо с того, что они были единомышленниками. Не абсолютными, конечно: люди *мыслящие* абсолютными единомышленниками быть не могут, всегда найдутся поводы для разногласий, порою весьма существенных. Сказав, что они были единомышленниками, я имел в виду, что у их взглядов, при всей их разности, была общая, единая *мировоззренческая основа* .

Солженицын очень много значил для отца Александра. Так же, как отец Александр для Александра Исаевича:

...

Среда, 20 февраля 1974

Вчера бесконечно для меня радостный, пасхальный день. Около четырех дня телефон из Парижа от Никиты, только что проведшего два дня с Солженицыным в Цюрихе. Слова Солженицына обо мне: «Он родной мне человек». (Прот. Александр Шмеман. Дневники 1973–1983. М. 2007. Стр. 74)

...

Суббота, 23 февраля 1974

Вчера письмо от Никиты, на бумаге Hotel International Zürich. Переписываю его:

«...Всего несколько слов, чтобы поделиться с Вами первым (после жены, по телефону) той фантастикой, которую сейчас переживаю в трехдневном общении с

А [лександром]. И [саевичем]... Много говорил о Вас, он уже слышал Вашу радиопередачу о Гулаге и выделил пункт, где Вы говорите о «художественном исследовании». Вообще сказал: «Удивительно, выросли врозь, а вот как мы с о. А. и Вами единомышленники». А прощаясь: «О. Александр – он мне родной...»
(Там же. Стр. 77)

При всей своей скрытности (эту черту солженицынского характера автор «Дневников» отмечает особо) с отцом Александром Александр Исаевич был на редкость откровенен. И именно эта столь редкая для него откровенность, помноженная на такую же абсолютную откровенность отца Александра, эти дневниковые записи представляют для нас особую ценность.

Едва ли не в каждой из них А. И. открывается отцу Александру (а заодно и нам) какой-то новой гранью своего характера и своих воззрений, приводящих автора «Дневников» поначалу в восторг, а потом – всё чаще и чаще – в ужас.

Вот одна из первых таких записей:

...

Вчера отослал Никите статью об «Архипелаге», родившуюся, неожиданно для меня, быстро – в ответ на эту «сказочную книгу»... Всё ещё под её впечатлением, вернее – в удивлении, радостном и благодарном, перед самим «феноменом» Солженицына. Мне кажется, что такой внутренней широты – ума, сердца, подхода к жизни – у нас не было с Пушкина (даже у Достоевского и Толстого её нет, в чем-то, где-то – проглядывает костяк идеологии).
(Там же. Стр. 60)

В первой главе этой книги («Огонь с неба») я говорил подробно о том, какой взрыв восторга вызвало в нашем отечестве

явление Солженицына.

Но это были восторги совсем другого рода.

...

Я спросила, читала ли она «Один день з/к» и что о нем думает?

– Думаю? Эту повесть о-бя-зан прочитать и выучить наизусть – каждый гражданин Советского Союза.

Она выговорила свою резолюцию медленно, внятно, чуть ли не по складам, словно объявляла приговор.

(Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том второй. М. 1997. Стр. 512)

Ещё восторженнее была реакция Анны Андреевны на встречу с самим автором «Одного дня...»:

...

Вчера целый вечер я провела у Анны Андреевны. Она возбужденная, в ударе. Вышла мне навстречу в переднюю и сразу увела в комнату Марии Сергеевны, где она теперь живет, и сразу заговорила о Солженицыне, с которым познакомилась накануне...

– Све-то-но-сец! – сказала она торжественно и по складам. – Свежий, подтянутый, молодой, счастливый. Мы и забыли, что такие люди бывают. Глаза, как драгоценные каменья.

(Там же. Стр. 532)

Но при всех этих своих восторгах ставить имя Солженицына рядом с именами Толстого и Достоевского, а тем более Пушкина, она не стала. А о стихах его и вовсе высказалась довольно кисло, во всяком случае – уклончиво:

...

– Я еще не разобралась в них, он очень странно читает.

– Но всё-таки? – настаивала я.

– Уязвимые во многих отношениях, – уклонилась Анна Андреевна.

(Там же. Стр. 533)

Но разница между этими двумя восторженными откликами (Шмемана и Ахматовой) не в разной степени (градусе) восторга, а в том, что для отца Александра «феномен Солженицына» значил совсем не то, что для Анны Андреевны.

Это видно уже из первой его записи. Но ещё явственнее выразилось во второй, сделанной две недели спустя:

...

Понедельник, 4 марта 1974

...новая солженицынская «бомба»: его сентябрьское письмо правительству с программой – отказа от коммунизма, «расчленения» Советского Союза, отказа от индустриализации и т. д. Текст сам в N. Y. Times не напечатан, комментарии в правильных категориях (национализм, мессианизм, славянофил и т. д.). Нужно подождать русского текста. Но чувствую, что снова – не уложить этого удивительного человека в эти устаревшие категории, что здесь опять что-то новое, требующее для того, чтобы быть понятым и услышанным, отказа от этого привычного «редукционизма». И это в то время как раз, когда газеты полны статьями о кризисе демократии, о развале Европы, о неслыханном malaise (недомогании) западного

сознания. Мне чудится (хотя, повторяю, нужно подождать текста), что и тут Солженицын окажется пророком, а не ретроградом... Не зовет ли Солженицын к концу «гигантизма», к отречению от него, то есть к чему-то совершенно новому, к подлинному перевороту в сознании? (Прот. Александр Шмеман. Дневники 1973–1983. М. 2007. Стр. 81)

И еще очевиднее, ещё нагляднее – в третьей:

...

Светлый Вторник, 16 апреля...

Вчера в New York Times ответ Сахарова Солженицыну. Растущее кругом раздражение на Солженицына. И, как всегда, не знаю, что ответить «рационально». Умом я понимаю это раздражение, понимаю все возражения Сахарова – умеренные, обоснованные, разумные. Но сердцем и интуицией – на стороне Солженицына. Он пробивает стену, он бьет по голове, он взрывает сознание. Вечный конфликт «пророчества» и «левитства». Но пророк всегда беззащитен, потому что против него весь арсенал готовых, проверенных идей. Трагедия пророчества в том, что оно не укладывается в готовые рамки и их сокрушает. Только этого и не прощают пророку. Борясь с ним, его идеи излагают в тех категориях, которые они – эти идеи – и ставят под вопрос. И он выходит каким-то дураком. Вот почему нужно «истолкование пророчества» – в этом, может быть, и состоит

назначение культуры. (Там же. Стр. 89–90)

И – неделю спустя, опять о том же:

…

Вторник, 23 апреля 1974

Текст сахаровского заявления по поводу «Письма вождям». Замечательный по тону, по убедительности. И все, конечно, рукоплещут (вчера на радио «Свобода») и готовы обрушиться на Солженицына (давно хотелось!). Но вот не видят того, что именно вся «правда» Сахарова – весь этот рациональный, умеренный, проверенный подход – что все это как раз и обанкротилось в два страшных «века разума». Что это тупик. Что Солженицын с медвежьей неуклюжестью и своеобразной «слепотой» ломает стену, призывает нас взглянуть не туда, по-другому, по-новому. (Там же. Стр. 91–92)

Чуть больше месяца спустя. Восторженность тона не умаляется. Но уже звучит в этой восторженности, хоть и приглушенно, другая нота:

…

Четверг, 30 мая 1974

Дал мне прочитать – в рукописи – главы второго узла: пятую, шестую, седьмую, восьмую… Пятая глава мне сначала не понравилась: как-то отвлечённо, неживо, книжно… Но шестая, седьмая, восьмая – чем дальше, тем больше захватывают. Он все чувствует нутром, все вопросы ставит

«напробой», в основном, без мелочей. Потом последняя глава – шестьдесят четвертая. Исповедь. «Это все, Вы увидите, Ваши идеи...» (Насчёт моих идей – не знаю, но глава прекрасная.)

Страстное сопротивление тому, что он называет «еврейской идеологией»... Попервоначалу можно принять за антисемитизм. Потом начинаешь чувствовать, что и тут – все тот же порыв к правде , затуманенной, осложнённой, запутанной «словесами лукавствия». (Там же. Стр. 100)

Даже в уже проявившемся антисемитизме Солженицына (нет, не антисемитизм это, Боже избави, а всего лишь – то, что «попервоначалу можно принять за антисемитизм»), ему видится «всё тот же порыв к *правде*»).

Но прошло чуть менее полугода, и – вот:

...

Четверг, 14 ноября 1974

...С некоторых пор что-то как будто чуть-чуть «надломилось» между нами... Словно все очевиднее разница в «длине волны»... Мне кажется, вернее – я убежден, что если исходным целительным у Солженицына был его «антиидеологизм»... то теперь он постепенно сам начинает опутывать себя «идеологией», и в этом я вижу огромную опасность. Для меня зло – прежде всего в самой идеологии, в её неизбежном редукционизме и в неизбежности для неё всякую другую идеологию отождествлять со злом, а себя с добром и истиной, тогда как Истина и Добро всегда «трансцендентны». Идеология – это всегда идолопоклонство, и потому

всякая идеология есть зло и родит злодеев... Я воспринял Солженицына как освобождение от идеологизма, отравившего и русское сознание, и мир. Но вот мне начинает казаться, что его самого неудержимо клонит и тянет к кристаллизации собственной идеологии (как анти , так и про). Судьба русских писателей? (Гоголь, Достоевский, Толстой...) Вечный разлад у них между творческой интуицией, сердцем – и разумом, сознанием? Соблазн учительства, а не только пророчества, которое тем и сильно, что не «дидактично»? Метеор, охлаждающийся и каменеющий при спуске в атмосферу, на «низины»? Не знаю, но на сердце скребёт, и страшно за этот несомненный, потрясающий дар... (Там же. Стр. 125)

Нельзя сказать, что это открытие заставило отца Александра разочароваться в Солженицыне. Но оно его огорчило. Ведь он совсем было уже поверил, что злокачественная язва идеологии, затронувшая и Достоевского, и Толстого, Солженицына не коснётся. Но оказалось, что и его тоже не минул этот роковой для всех русских гениев «соблазн учительства». Ну, что ж! В конце концов, ни Толстому, ни Достоевскому, ни даже Гоголю этот страшный соблазн не помешал остаться великими художниками. Значит, можно надеяться, что и ему тоже не помешает.

...

Пятница, 15 ноября 1974

Вчера длинное письмо Никите в связи с письмом ко мне Солженицына. Поделился с Никитой моими волнениями о скольжении С. в сторону «идеологизма» и «доктринерства», непонимания им церковной ситуации и т. д. Кончаю

письмо так: «Пишу Вам все это, как думаю и чувствую. Может быть, целиком ошибаюсь и в мыслях, и в чувствах, чему первый буду очень рад. Люблю его так же, даже больше – ибо теперь с какой-то болью за него. Все данное и подаренное им воспринимаю и переживаю так же – как одно из самых радостных, больших, решающих событий даже личной жизни. Ни от одного слова, написанного о нем, не отрекаюсь. (Там же. Стр. 127)

И когда противники этой самой солженицынской идеологии начинают на него нападать, он тотчас же готов кинуться на его защиту:

...

Четверг, 12 декабря 1974

...Они не понимают, не хотят понять, что А. И. – явление мировое, первый русский человек после смерти Толстого, дошедший до сознания десятков миллионов. Что рядом с этим фактом реплика или ещё какие-нибудь писульки, в которых А. И. не сумел обуздать силу?.. А они об этом всерьёз... Смешно думать, что реплика имеет хоть какой-либо вес против величия всего его творчества! Мы все ещё не раз будем страдать от несоответствия эмпирического облика А. И. с его историческим значением, его относительной (неизбежно) публицистики с почти безошибочным художественным творчеством... (Там же. Стр. 138)

Но это – наедине с собой.

А публично влезать в эти внутриэмигрантские споры ему не по душе. И если его к этому вынуждают, делает он это крайне

неохотно:

...

Понедельник, 27 января 1975

Совсем поздно вечером – истерический звонок Юры Штейна и о. Кирилла Фотиева: появилась якобы неслыханно гнусная статья С. Рафальского в НРС против А. И. «Он оголённый, его нужно защитить, это ужас, это восстание всех против него, его добьют... нужно... немедленно...» Я «поддаюсь», соглашаюсь... Утром, однако, все это мне кажется крайне преувеличенным. Сам А. И. только и делает, что наносит оскорбления направо и налево... Надо, мне кажется, не столько «защищать» его, сколько ему сказать и говорить правду... Думаю о своём месте или «роли» во всем этом. Нежелание вмешиваться в эмигрантские споры: это раз. Стремление отстаивать только «трансцендентное»: это два. Отвращение от «лагерей», какие бы они ни были: три. Отстаивать то, что я услышал в Солженицыне, в его художественном творчестве. Быть совершенно свободным в отношении его идеологии, которая – это очень важно – мне, прежде всего, несозвучна. (Там же. Стр. 147)

И чем дальше, тем острее ощущает он это несозвучие, тем больнее и мучительнее оно для него:

...

Воскресенье, 16 февраля 1975

Вчера весь день, не отрываясь,

читал – и прочёл – «Телёнка». Впечатление очень сильное, ошеломляющее, и даже с оттенком испуга. С одной стороны – эта стихийная сила, целеустремлённость, полнейшая самоотдача, совпадение жизни и мысли, напор – восхищают... Чувствуешь себя ничтожеством, неспособным к тысячной доле такого подвига... С другой же – пугает этот постоянный расчёт, тактика, присутствие очень холодного и – в первый раз так ощущаю – жестокого ума, рассудка, какой-то гениальной «смекалки», какого-то, готов сказать, большевизма наизнанку... Начинаю понимать то, что он мне сказал в последний вечер в Цюрихе, вернее – в горах: «Я – Ленин...» Такие люди действительно побеждают в истории, но незаметно начинает знобить от такого рода победы. Все люди, попадающие в его орбиту, воспринимаются, как пешки одного, страшно напряжённого напора. И это в книге нарастает... Когда на стр. 376 читаю (в связи с самоубийством Воронянской, открывшим шлюзы Архипелага): «...ни часа, ни даже минуты уныния я не успел испытать в этот раз. Жаль было бедную опрометчивую женщину... Но, достаточно учёный на таких изломах, я в шевелении волос теменных провижу – Божий перст! Это ты! Благодарю за науку!» (что-де приспело время пускать Архипелаг), мне страшно делается... Чем дальше – тем сильнее это «кто не со мной, тот против меня», нет – не гордыня, не самолюбование, а какое-то упоение «тотальной войной». Кто не наделен таким же

волюнтаризмом – того вон с пути, чтобы не болтался под ногами. С презрением. С гневом. С нетерпимостью. Все это – по ту сторону таланта, все это изумительно, гениально, но – как снаряд, после пролета которого лежат и воют от боли жертвы, даже свои... А почему не поступили, как я, как нужно? Вот и весь вопрос, ответ, объяснение. Ещё по отношению к Твардовскому что-то от «милость к падшим призывал». А больше – нет, нет самой этой тональности, для христианства – центральной, основной, ибо без неё борьба со Злом понемногу впитывает в себя зло (с маленькой буквы) и злобу, для души столь же гибельные. Только расчёт, прицел и пали! Книга эта, конечно, будет иметь огромный успех, прежде всего – своей потрясающей интересностью. Мне же после неё ещё страшнее за него: где же подлинный С.: в «первичной» литературе или вот в этой – «вторичной», и какая к какой ключ? Или же все это от непомерности Зла, с которым он борется и которое действительно захлестывает мир? Но и тогда – оправдывает ли она, эта непомерность, хоть малейшую сдачу ей в тональности? Что нужно, чтобы убить Ленина? Неужели же «ленинство»? Сегодня за Литургией, но ещё весь набитый этим двенадцатичасовым чтением, проверял все это. И вот чувствую: какая-то часть души говорит «да», а другая, ещё более глубокая, некое «нет». Слишком и сама эта книга – расчёт, шахматный ход, удар и даже – сведение счетов, чтобы быть до конца великой... (Там же. Стр. 151)

Он мечется между неослабевающим своим восхищением «феноменом Солженицына» и органическим неприятием его идеологии. Неприятием, поневоле заставляющим его – в глубине души, наедине с собой – соглашаться с теми, кто нападает на его кумира:

...

Пятница, 28 февраля 1975

Сегодня после утрени разговор с Мишей Аксеновым о Солженицыне. «Он нас воспитал и вдохновил, – говорит Миша, – и потому мне так страшно обидно видеть, как он «ридикулизирует» себя, разменивается на мелочи... Его чуждость культуре, страшное непонимание того, что нужнее всего России – Европа, Запад. Вот оторвались от них на пятьдесят лет, и что вышло? Упрощённость, стремление к упрощёнству...» Увы, в этом много верного. (Там же. Стр. 161)

Чем дальше, тем всё труднее ему в этих спорах соглашаться с вчерашними своими единомышленниками:

...

Вторник, 11 марта 1975

Письмо от Никиты – в защиту «Телёнка». Я сразу готов согласиться – так мне хочется, чтобы Солженицын был «прав» и «велик». Мое мучительное свойство: видеть (может быть, хотеть видеть) правду каждого подхода, каждой «установки», невозможность быть ни в одном лагере. Испуг, отталкивание – когда вижу даже у Солженицына психологию «партии»,

«лагеря», «стратегии». (Там же. Стр. 167)

Но рано или поздно это его «двоемыслие» должно было всё-таки как-то разрешиться. И оно разрешилось после одного многодневного их свидания, в продолжение которого общение их было практически непрерывным:

...

Понедельник, 12 мая 1975

...Четыре дня с Солженицыным, вдвоём, в отрыве от людей... Постепенно мысли и впечатления приходят в порядок... Спрашиваю себя – если бы все выразить формулой, то как?..

Какой же все-таки остаётся «образ» от этих четырех дней, в которые мы расставались только на несколько часов сна?..

Великий человек? В одержимости своим призванием, в полной с ним слитности – несомненно. Из него действительно исходит сила («мана»). Когда вспоминаешь, что и сколько он написал и в каких условиях, снова и снова поражаешься. Но (вот начинается «но») – за эти дни меня поразили:

1) Некий примитивизм сознания. Это касается одинаково людей, событий, вида на природу и т. д. В сущности он не чувствует никаких оттенков, никакой ни в чем сложности.

2) Непонимание людей и, может быть, даже нежелание вдумываться, вживаться в них. Распределение их по готовым категориям, утилитаризм в подходе к ним.

3) Отсутствие мягкости, жалости, терпения. Напротив,

первый подход: недоверие, подозрительность, истолкование in malem partem (с дурной стороны).

4) Невероятная самоуверенность, непогрешимость.

5) Невероятная скрытность…

Образ, согласитесь, возникает не больно привлекательный. Но даже очевидная непривлекательность этого открывшегося ему во всей своей некрасоте человеческого характера не изменила отношения отца Александра к величию Солженицына, к его харизме:

В тот же день.

Я мог бы продолжать, но не буду. Для меня несомненно, что ни один из этих – для меня очень чувствительных – недостатков не противоречит обязательно «величию», литературному гению, что «качества» (даже чисто человеческие) могут быть в художественном творчестве, что писатель в жизни совсем не обязательно соответствует писателю в творчестве. Что напротив – одной из причин, одним из двигателей творчества и бывает как раз напряженное противоречие между жизнью и тем, что писатель творит.

(Там же. Стр. 183)

Нет, не свойства личности Солженицына, вдруг открывшиеся ему, какими бы непривлкекательными и даже отталкивающими они ни были, поколебали, чуть было даже не разрушили былую их близость:

…

В тот же день.

Меня волнует, тревожит,

страшит не трудность его в жизни, не особенности его личности, а тот «последний замысел», на который он весь, целиком направлен и которому он действительно служит «без остатка»...

Думаю, что на этот раз сильнее, острее ощутил коренное различие между нами, различие между «сокровищами», владеющими сердцем... Его сокровище – Россия и только Россия, мое – Церковь . Конечно, он отдан своему сокровищу так, как никто из нас не отдан своему. Его вера, пожалуй, сдвинет горы, наша, моя во всяком случае, – нет. И все же остается эта «отчужденность ценностей».

Его мировоззрение, идеология сводятся, в сущности, к двум-трем до ужаса простым убеждениям, в центре которых как самоочевидное средоточие стоит Россия. Россия есть некая соборная личность, некое живое целое («весь герой моих романов – Россия...»). У нее было свое «выражение», с которого её сбил Петр Великий. Существует некий «русский дух», неизменный и лучше всего воплощенный в старообрядчестве. Насколько можно понять, дух этот определен в равной мере неким постоянным, прямым общением с природой (в отличие от западного, технического овладевания ею) и христианством. Тут больше толстовства, чем славянофильства, ибо никакой «миссии», никакого особого «призвания» у России нет – кроме того разве, чтобы быть собой (это может быть уроком Западу, стремящемуся к «росту», развитию и технике). Есть, следовательно, идеальная Россия, которой все русские

призваны служить... «Да тихое и безмолвное житие поживем». По отношению к этой идеальной России уже сам интерес к «другому» – к Западу, например, – является соблазном. Это не нужно, это «роскошь». Каждый народ («нация») живет в себе, не вмешиваясь в дела и «призвания» других народов. Таким образом, Запад России дать ничего не может, к тому же сам глубоко болен. Но, главное, чужд , чужд безнадежно, онтологически. Россия, далее, смертельно ранена марксизмом-большевизмом. Это её расплата за интерес к Западу и утерю «русского духа». Её исцеление в возвращении к двум китам «русского духа» – к природе как «среде» и к христианству, понимаемому как основа личной и общественной нравственности («раскаяние и самоограничение»). На пути этого исцеления главное препятствие – «образованщина», то есть интеллигенция антиприродная и антирусская по самой своей природе, ибо порабощенная Западу и, что ещё хуже, «еврейству».
(Там же. Стр. 183–185).

И чем дальше, тем глубже, тем непреодолимее становится это коренное различие между ними:

...

Понедельник, 19 мая 1975

Длинный разговор с Л. о Солженицыне,.. об его мечте «русской общины». Как ни переворачиваю все это в своём сознании, вся эта мечта продолжает казаться мне «ложной», ненужной.

Это подчинение творчества «русской жизни», искусственно насаждаемой, я ощущаю как какой-то порок в солженицынском мироощущении. Рассказ об его ответе кому-то в Монреале: «Вам нравится наша Канада?» – «Мне нравится только Россия...» Вот это «только» и есть ограниченность, «червоточина» солженицынского величия, его отрицание, пожалуй, лучшего в России – её «всемирности», её – «нам внятно все...». А теперь на страницах «Вестника» ему вторит Вейдле (по поводу «Глыб») – « только в Россию можно верить...». Мое внутреннее отталкивание от всех этих только . Противоречие: если каждому свойственно жить только своим, то не за что бранить Запад в его равнодушии к русской трагедии... Говорят (Никита): «Да, но он – С. – почвенен, народен ...» Что же, тем хуже для него, ибо от «почвы» и от «народа» как таковых – свету не воссиять... (Там же. Стр. 187–188)

Еще недавно, размышляя о несоответствии «эмпирического облика» Солженицына с его историческим значением и «почти безошибочным художественным творчеством», отец Александр выражал надежду и даже уверенность, что те свойства личности Александра Исаевича, которые его страшат и даже ужасают, не несут в себе никакой угрозы для осуществления главного дела его жизни – писательства.

Теперь он уже сомневается даже и в этом.

...

Суббота, 31 мая 1975

Ясно, что человек-Солженицын и Солженицын-творец не только не в ладу друг с другом, но второй просто опасен для первого. Мне кажется,

что до сего времени «человек» смирялся перед «творцом», находил в себе силы для этого смирения, которое одно и делает возможным «пророчество». Но мне также кажется, что сейчас творчество С. на перепутье, и именно потому, что в нем все очевиднее проступает «человек» со своими соблазнами. Я так воспринял уже «Теленка» и многое в «Из-под глыб». Что-то здесь уже не «перегорает», не претворяется, не отделяется от творца и потому не становится «ценностью в себе».

Поэтому так важно, я убежден, разобраться в «соблазнах», определить опухоли.

Первая и, наверное, самая важная из них – это его отношение к России, качество его «национализма». Это не «мессианизм» Достоевского («призвание России»), увенчивающий всю русскую диалектику XIX-го века. Это не народничество Толстого, хотя «толстовство» Солженицыну ближе, чем Достоевский с его метафизикой. И у Достоевского, и у Толстого их «национализм» имеет какое-то религиозное и, следовательно, «универсальное» значение, они его так или иначе оправдывают по отношению к тому, что считают высшей истиной или правдой: мессианское призвание России в истории у Достоевского, «правда жизни» у Толстого и т. д. У Солженицына все эти «ценности» заменяются одной: русскостью . Эта русскость не есть синтез, сочетание, сложный сплав всех аспектов и всех «ценностей», созданных, выношенных в России и, даже при своём противоречии, составляющих

«Россию». Напротив, сами все эти ценности оцениваются по отношению к «русскости». Так отвергаются во имя её – Пастернак, Тургенев, Чехов, Мандельштам, Петербург, не говоря уже о всей современности: Платонов, например, и т. д. Цель, задача Солженицына, по его словам, – восстановить историческую память русского народа. Но, парадоксальным образом, эта историческая задача («Хочу, – говорит он мне в Париже, – написать русскую революцию так, как описал 12-й год Толстой, чтоб моя правда о ней была окончательной...») исходит из какого-то радикального антиисторизма и также упирается в него. Символ здесь: влюбленность – иначе не назовешь – в старообрядчество ... Старообрядчество есть одновременно и символ, и воплощение «русскости» в её, как раз, неизменности . Пафос старообрядчества в отрицании перемены, то есть «истории», и именно этот пафос и пленяет Солженицына. Нравственное содержание, ценность, критерий этой «русскости» Солженицына не интересует. Для него важным и решающим оказывается то, что, начиная с Петра, нарастает в России измена русскости – достигающая своего апогея в большевизме. Спасение России – в возврате к русскости, ради чего нужно и отгородиться от Запада, и отречься от «имперскости» русской истории и русской культуры, от «нам внятно все...».

Вторая «опухоль» – все возрастающий, как мне кажется,

идеологизм Солженицына. Для меня – потрясающей и глубочайшей правдой «Архипелага» было (и остается) обличение и изобличение идеологизма как основного, дьявольского зла современного мира... «Пророк» в С. показал, явил это с окончательной силой. Человек в нем все больше и больше «идеологизируется». Идеология – это отрицание настоящего во имя будущего, это «инструментализация» человека (какова польза его для моего или нашего дела). Это переход с «соборования» на полемику. Это – определение от обратного, от отталкивания. Это решетка отвлеченных истин, наброшенная на мир и на жизнь и делающая невозможным общение , ибо все становится тактикой и стратегией. «Идеологизм» Солженицына – это торжество в нем «борца», каковым он является как «человек» (в отличие от творца). Это ленинское начало в нем: разрыв, окрик, использование людей. Это – «средство», отделенное от «цели»... Солженицыну, как Ленину, нужна в сущности партия , то есть коллектив, безоговорочно подчиненный его руководству и лично ему лояльный... Ленин всю жизнь «рвет связи», лишь бы не быть отождествленным с чем-либо чуждым его цели и его средствам. Лояльность достигается устрашением, опасностью быть отлученным от «дела» и его вождя. И это не «личное», не для себя, только для дела, только для абсолютной истины цели...
(Там же. Стр. 191–193)

Всё это уже похоже на то, что в психиатрии принято называть

сверхценной идеей .

…

Сверхценная идея ; Идефикс *– психологический термин, обозначающий явление, выделенное в 1892 году как отдельное психическое расстройство германским психиатром Карлом Вернике. Это суждение, которое возникает в результате реальных обстоятельств, но сопровождается чрезмерным эмоциональным напряжением и преобладает в сознании над всеми остальными суждениями.*

Человека охватывает чрезмерная одержимость в достижении какой-либо цели… Сверхценности переживаются как нечто глубоко личностное (а значит, психическая самозащита от них невозможна).

Сверхценные идеи занимают в сознании доминирующее положение, рассматриваются больными как вполне обоснованные, что побуждает человека активно бороться за реализацию этих идей. Такие идеи принимают форму гипертрофированной, болезненной убеждённости в том, чего на самом деле нет. В отличие от бреда эта убеждённость всегда имеет под собой реальные факты, которые переоцениваются, сверхоцениваются (ревность, любовь, изобретательство и др.).

Сверхценные идеи формируются как психопатии (чаще параноидального и шизоидного типа), а также при приобретенных

психопатических состояниях у лиц гипертимического склада...

В неблагоприятных ситуациях возможен последовательный переход от сверхценных идей к бреду.

Часто человек, стремясь осуществить некоторые «сверхценные идеи», сильно рискует как своей, так и жизнью других.

(Википедия)

Это описание совпадает с психологическим портретом Солженицына, нарисованным отцом Александром, почти буквально:

...

Четверг, 16 октября 1975

...В старообрядчестве или, вернее, в странной одержимости Солженицына старообрядчеством нужно искать ключ если не ко всему его творчеству, то во всяком случае ко многому в нем – и прежде всего к интуиции и восприятию его главного «героя», то есть России.

Но это не просто увлечение «стариной», не романтическое притяжение к «древности». Тут все гораздо глубже и, может быть, даже духовно страшнее. Солженицын, мне кажется, предельно одинокий человек. Каждая связь, каждое сближение его очень быстро начинает тяготить, раздражать, он рвет их с какой-то злой радостью. Он один – с Россией, но потому и Россия, с которой он наедине, не может быть ничьей . Он выбирает ту, которой в буквальном смысле нет , которая, как и он, была изгнана из России, отчуждена от неё, но которая, поэтому, может быть

всецело его , солженицынской Россией, которую он один – без никого – может и должен воскресить . Россия оборвалась в крови и «гарях» старообрядчества и Россия начинается снова с него, Солженицына. Это предельное, небывалое сочетание радикального «антиисторизма» со столь же радикальной верой в собственную «историчность»... Толстой переписывал Евангелие, Солженицын «переписывает» Россию.
(Там же. Стр. 214)

К этой мысли отец Александр теперь возвращается постоянно. Она даже представляется ему главным его открытием в его раздумьях об Александре Исаевиче, в открывшемся ему вдруг новом, истинном понимании этого характера:

...

Понедельник, 5 ноября 1979
Вчера вечером... сделал «открытие». Пожалуй, как и все мои «открытия», оно показалось бы всем «наивным». Мне вдруг стало ясно, что той России, которой служит, которую от «хулителей» защищает и к которой обращается Солженицын, – что России этой нет и никогда не было. Он её выдумывает, в сущности, именно творит . И творит «по своему образу и подобию», сопряжением своего огромного творческого дара и... гордыни. Сейчас начался «толстовский» период или, лучше сказать, кризис его писательского пути. Толстой выдумывал евангелие, Солженицын выдумывает Россию. Биографию Солженицына нужно будет разгадывать и воссоздавать по

этому принципу, начинать с вопроса: когда, где, в какой момент жажда пророчества и учительства восторжествовала в нем над «просто» писателем, «гордыня» над «творчеством»? Когда, иными словами, вошло в него убеждение, что он призван спасти Россию , и спасти её, при этом, своим писательством? Характерно, что в своём «искании спасительной правды» Толстой дошёл до самого плоского рационализма (его евангелие) и морализма. Но ведь это чувствуется и у Солженицына: его «фактичность», «архивность», желание, чтобы какой-то штаб «разрабатывал» научно защищаемую им Россию, подводил под неё объективное основание. (Там же. Стр. 488)

Именно вот это, вдруг открывшееся ему свойство личности Солженицына и сближает его в глазах отца Александра с человеком, одержимость которого другой, своей *сверхценной идеей* принесла столько бед человечеству в XX веке:

…

Пятница, 17 октября 1975

Читаю с захватывающим интересом солженицынского «Ленина в Цюрихе». Напор, ритм, бесконечный, какой-то торжествующий талант в каждой строчке, действительно нельзя оторваться. Но тут же почти с каким-то мистическим ужасом вспоминаю слова Солженицына – мне, в прошлом году, в Цюрихе – о том, что он, Солженицын, в романе – не только Саня, не только Воротынцев, но прежде всего – сам

Ленин. Это описание изнутри потому так потрясающе живо, что это «изнутри» – самого Солженицына. Читая, отмечаю карандашом места – об отношении к людям (и как они должны выпадать из жизни, когда исполнили свою функцию), о времени, о целеустремлённости и буквально ахаю... Эта книга написана «близнецом», и написана с каким-то трагическим восхищением. Одиночество и «ярость» Ленина. Одиночество и «ярость» Солженицына. Борьба как содержание – единственное! – всей жизни. Безостановочное обращение к врагу. Безбытность. Порабощённость своей судьбой, своим делом. Подчинённость тактики – стратегии. Тональность души... Повторяю – страшно... (Там же. Стр. 215)

Все эти записи отца Александра о его сложном, меняющемся отношении к Александру Исаевичу складываются в отчетливый психологический сюжет. Перед нами встаёт вся история их отношений – от полной гармонии, единодушия и безмерной духовной близости до столь же глубокого отчуждения и взаимного непонимания. Но это – одна, так сказать, субъективная линия этого сюжета. А есть и другая, не менее, а может быть, даже и более важная. Сам того не сознавая, во всяком случае, отнюдь не ставя перед собой такую задачу, автор этого дневника отразил нисхождение Сожницына – со ступени на ступень – по «Лестнице Соловьёва»: от национального самосознания – к национальному самодовольству, а от национального самодовольства – к национальному самообожанию. Причем проследлил он этот путь с такой психологической конкретностью, какая, я думаю, мало кому, а может быть, даже и вовсе никому, кроме него, была доступна.

...

Вторник, 31 октября 1978
Поездка в прошлый четверг (26-

го) к Солженицыну в Вермонт. Три часа разговора, очень дружеского: чувствую с его стороны и интерес, и любовь и т. д. И все же не могу отделаться и от другого чувства – отчужденности. Мне чуждо то, чем он так страстно занят, во что так целиком погружен, – эта «защита» России от её хулителей, это сведение счетов с Февралем – Керенским, Милюковым, эсерами, евреями, интеллигенцией… Со многим, да, пожалуй со всем этим, я, в сущности, согласен – и умом, и размышлением и т. д. Но страсти этой во мне нет, и нет потому, должно быть, что я действительно не люблю Россию «больше всего на свете», не в ней мое «сокровище сердца», как у него – так очевидно, так безраздельно. (Там же. Стр. 438)

И – сам того, может быть, не желая, – он зафиксировал в этих своих записях ту *деформацию личности* Солженицына, которая стала – не могла не стать – неизбежным результатом этого его спуска вниз, со ступени на ступень.

…

Пятница, 25 мая 1979

…Вежливое равнодушие к другим мнениям, отсутствие интереса, любопытства. Он отвел мне время для личного – с глазу на глаз – разговора. Но разговор был «ни о чем». Дружелюбный, но ему, очевидно, ненужный. Он уже нашел свою линию («наша линия»), свои – и вопрос (о революции, о России), и ответ. Этот ответ он разрабатывает в романе, а другие должны «подтверждать» его

«исследованиями»... (ИНРИ [4]). Элементы этого ответа, как я вижу: Россия не приняла большевизма и сопротивлялась ему (пересмотр всех объяснений Гражданской войны). Она была им «завоёвана» извне, но осталась в «ядре» своём здоровой (ср. крестьянские писатели, их «подъём» сейчас). Победе большевизма помогли отошедшие от «сути» России – власть (Петр Великий, Петербург, Империя) и интеллигенция: «милюковы» и «керенские», главная вина которых тоже в их «западничестве». Большевизм был заговором против русского народа. Никакие западные идеи и «ценности» («права», «свобода», «демократия» и т. д.) к России не подходят и неприменимы. Западное «добро» – не русское добро: в непонимании этого преступление безродных «диссидентов». (Там же. Стр. 463)

...

Понедельник, 27 августа 1979

Вчера вечером приехали с Л. из Вермонта, где провели сутки у Солженицыных... А. И. больше чем когда-либо – отсутствующий... Всё время: «наше направление», «наши люди»... Насколько я могу понять, враги – это все те, кто сомневается в стихийном «возрождении» России. Солженицыну нужна «партия» ленинского типа. Поразительно упрощённые осуждения все того же злосчастного Запада.

(Там же. Стр. 467)

Как мы теперь уже знаем, в этом своём спуске по «лестнице Соловьёва» со ступени на ступень Солженицын не миновал и ту,

что всегда была непременным атрибутом «национального самообожания»: я имею в виду антисемитизм, который кто-то (не могу сейчас вспомнить, кто – то ли Юлиан Тувим, то ли Эренбург) – назвал международным языком фашизма.

Но и это была ещё не последняя ступень.

Последнюю ступень этого нисхождения отцу Александру отразить было уже не дано.

Но он её предвидел. Во всяком случае – предчувствовал.

...

Великий понедельник, 16 апреля 1979

...Задаю себе мучительный вопрос: будут ли ещё Солженицына читать? Для меня несомненно, что он трудный писатель, и это значит – не для современного читателя, особенно русского. Не окажется ли он, не оказался ли уже в некоей пустыне? О нем всегда говорят в прошлом, словно «дело» его уже сделано, а многотомный роман из истории России – вроде как блажь...

...

Среда, 31 октября 1979

Мой вопрос, то есть для меня интересный и бесконечно важный: неужели мы ошиблись в Солженицыне, неужели моё «чтение» его... – просто ошибка?.. Сейчас начнётся гвалт. Но он не снимает вопроса и не разрешает его. (Там же. Стр. 487)

Теперь этот проклятый вопрос, кажется, уже разрешился.

* * *

Оскудением и даже полным вырождением художественного дара, даже выдающегося, нас не удивишь. Достаточно вспомнить «Хлеб» и «Рассказы Ивана Сударева» А. Н. Толстого. Трудно поверить, что эти книги написала та же рука, что «Ибикус», «Детство Никиты» и «Петр Первый». А ведь художественный дар Алексея Николаевича был поярче солженицынского.

Можно вспомнить в этой связи имена и других советских классиков (классиков не только по официальной советской табели о рангах, но, – в пору их славы – и по гамбургскому счёту): Константина Федина, Леонида Леонова, Леонида Соболева.

Особенно тут впечатляет писательская судьба К. Федина, широко известная история, приключившаяся с его последним романом – «Костёр». Кому-то понадобилась (очевидно, для документа о выдвижении этого романа на Госпремию, может быть, даже Ленинскую) какая-то из него цитата. Но никто из тех, к кому с этим обращались, найти нужный текст не мог. По той простой причине, что этот роман не читал. Тогда решили с этим обратиться в редакцию «Нового мира», где этот роман печатался. И тут выяснилось, что и в редакции этот роман тоже никто не читал – ни члены редколлегии, ни заведующий отделом прозы, ни редакторы, которые обязаны были его читать по долгу службы. Причина была понятна. Читательской потребности ознакомиться с этим выдающимся произведением классика, за которым уже прочно закрепились тогда две клички: «Чучело орла» и «Комиссар собственной безопасности», ни у кого не возникло. А читать его по долгу службы ни у кого из них никакой надобности не было, поскольку редактировать (править) текст классика им все равно никто бы не позволил. В общем, вышло так, что даже и тут, в журнале, где этот роман печатался, его прочли ТОЛЬКО КОРРЕКТОРЫ.

Боюсь, что нечто подобное произошло и с солженицынским «Красным Колесом». Во всяком случае, даже среди самых горячих и ревностных поклонников Александра Исаевича я не встретил ни одного, который пытался бы меня уверить, что прочёл все двадцать (или сколько их там было написано и издано?) томов этого его сочинения.

Впрочем, один, кажется, все-таки прочел. И не только прочел, но даже посвятил ему специальное исследование, объясняющее смысл, художественное, историческое и всякое иное значение этой грандиозной солженицынской эпопеи.

...

В книге известного критика и историка литературы, профессора кафедры словесности Государственного университета – Высшей школы экономики Андрея Немзера подробно анализируется и интерпретируется заветный труд Александра Солженицына – эпопея «Красное Колесо». Медленно читая все четыре Узла, обращая внимание на особенности поэтики каждого из них, автор стремится не упустить из виду целое завершенного и совершенного солженицынского эпоса. Пристальное внимание уделено композиции, сюжетостроению, системе символических лейтмотивов. Для А. Немзера равно важны «исторический» и «личностный» планы солженицынского повествования, постоянное сложное соотношение которых организует смысловое пространство «Красного Колеса».

Книга адресована всем читателям, которым хотелось бы войти в поэтический мир «Красного Колеса», почувствовать его многомерность и стройность, проследить движение мысли Солженицына – художника и историка, обдумать те грозные исторические, этические, философские вопросы, что сопутствовали великому писателю в долгие десятилетия непрестанной и вдохновенной работы над «повествованьем в отмеренных сроках», историей о трагическом противоборстве России и революции.

(Андрей Немзер. «Красное Колесо» Александра Солженицына. Опыт прочтения. М. 2010. Аннотация)

Что говорить, написано красиво. Но сути дела это, к сожалению не меняет. Совершенно очевидно, что, вопреки надеждам Льва Лосева, до Москвы солженицынское «Красное Колесо» не доехало и будущего России не изменило.

А с точки зрения читателя это был полный провал.

Но это было ещё не самое скверное из того, что случилось с Александром Исаевичем после его возвращения на родину.

* * *

5 июня 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Александра Солженицына Государственной премией РФ «За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности». И сразу начались споры, догадки, предположения: как поступит Александр Исаевич? Примет эту награду или откажется от неё, так же как девять лет назад отказался принять от Первого президента России Б. Н. Ельцина орден Андрея Первозванного.

Все, в чьих глазах моральный авторитет Солженицына был ещё довольно высок, полагали, что не примет. И даже подробно объясняли, почему он ни в коем случае не должен эту премию принимать.

…

Что делать Солженицыну: принять награду или отказаться?

Не знаю, как вам, а мне этот путинский жест совсем не нравится. Не верю я, что Путин действительно высоко почитает Александра Исаевича и вообще понимает, кто такой Солженицын. Не может он понимать, что значил Солженицын для тех людей в Советском Союзе, которые в 70–80-е годы находились по другую сторону баррикад от чекиста Владимира Путина. Я говорю о тех, кого сажали в лагеря за хранение и распространение самиздатских и тамиздатских книг Солженицына, о тех, кто получал

сроки и за подписание писем в его защиту. Арестовывали этих людей и допрашивали коллеги Владимира Путина. И вот поэтому мне совсем не хочется, чтобы он вручал Госпремию Солженицыну.

Кажется, худшей «подставы» для Александра Исаевича трудно было бы придумать. И происходит это в самый разгар скандала, связанного с убийством Александра Литвиненко, в тот самый момент, когда отношения России с Западом обострены до предела, когда в России приняты позорные поправки в закон «Об экстремистской деятельности», которые позволяют любого оппозиционера окрестить экстремистом, найти в его деятельности «призывы к экстремистской деятельности» и посадить в тюрьму…

В 1998 году Александр Солженицын отказался от ордена Андрея Первозванного, которым его наградил президент Борис Ельцин. Тогда свой отказ он объяснил нежеланием принимать награду «от верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния». Но неужели Россия Ельцина хуже России Путина?

И разве нынешняя верховная власть не ведет Россию к гибельному состоянию?

Александр Исаевич давно не появляется на публике и не дает интервью. Он болеет. Да и возраст уже преклонный. Но он не может не знать от своих близких и друзей, что происходит в столь любимой им стране. Как бы мы ни относились ко времени Ельцина, но при нем не взрывали дома, не было «Норд-Оста»,

Беслана, не было политических заключенных. Журналистов, жестко критикующих президента, не расстреливали в подъездах, политических оппонентов не сажали в тюрьму, как Ходорковского, методично уничтожая его бизнес, возбуждая уголовные дела против его сотрудников и коллег только потому, что они имели отношение к ЮКОСу.

Тогда почему Путин нравится Александру Исаевичу больше Ельцина?

Солженицын, прежде всего, фигура символическая. Он самый известный в России и на Западе борец с коммунистической идеологией и советским режимом. И только в страшном сне можно было представить, как этот обличитель советского строя получает награду из рук Путина, последовательно восстанавливающего черты этого самого ненавистного Солженицыну советского режима. Путина, который явно использует награждение писателя в своих собственных интересах...

Мне бы не хотелось, чтобы кто-то подумал, будто я осуждаю Александра Исаевича. Вовсе нет. Да и вряд ли найдётся в России человек, который его осудит. Я всего лишь мечтаю, как было бы здорово, если бы великий Солженицын отказался от премии, присуждённой ему бывшим чекистом, которые, как известно, бывшими не бывают. И не говорите мне, что премия даётся от имени всего народа и отказываться от неё – значит обижать народ. Бывают такие времена, когда жест значит очень много. Тем более жест

Солженицына.

Зоя Светова
07.06.2007
(Ежедневный Журнал)

Александр Исаевич не сделал этого жеста. Премию принял. И – хочешь, не хочешь, – пришлось ему отвечать на сразу обрушившиеся на него вопросы, объяснять, почему он счел возможным так поступить.

…

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН.
ИЗ ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «ШПИГЕЛЬ»

***Шпигель** : Александр Исаевич, когда вы 13 лет назад вернулись из изгнания, происходившее в новой России вас разочаровало. Вы отклонили Государственную премию, которую Горбачёв предложил вам. Вы отказались принять орден, которым хотел наградить вас Ельцин. А сейчас вы приняли Государственную премию России, которую вам присудил Путин, некогда глава той спецслужбы, предшественница которой так жестоко преследовала и травила вас. Как всё это рифмуется?*

***Солженицын** : В 1990 году мне была предложена – отнюдь не Горбачёвым, а Советом министров РСФСР, входившей в состав СССР, – премия за книгу «Архипелаг ГУЛАГ». Я отказался потому, что не мог принять лично себе почёт за книгу, написанную кровью миллионов.*

В 1998 году, в нижайшей точке бедственного народного положения, в год, когда я выпустил книгу «Россия в обвале», – Ельцин лично распорядился наградить меня высшим

государственным орденом. Я ответил, что от Верховной Власти, доведшей Россию до гибельного состояния, награды принять не могу.

Нынешняя Государственная премия присуждается не лично президентом, а высоким экспертным сообществом... Будучи первым лицом государства, президент вручает эту премию в день национального праздника... Владимир Путин – да, был офицером спецслужб, но он не был ни следователем КГБ, ни начальником лагеря в ГУЛАГе. Международные же, «внешние» службы – и ни в какой стране не порицаемы, а то и хвалимы. Не ставилась же в укор Джорджу Бушу-старшему его прошлая позиция главы ЦРУ.

***Шпигель** : Нынешний президент России называет распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой XX века. Он говорит, что пора заканчивать самоедское копание в прошлом, тем более что извне предпринимаются попытки пробудить у россиян необоснованное чувство вины. Разве это не пособничество тем, кто и без того хочет, чтобы забылось всё, что происходило во времена Советов внутри страны?..*

Как вы оцениваете время, в течение которого у власти находится президент В. В. Путин, – в сравнении с его предшественниками, президентами Б. Н. Ельциным и М. С. Горбачёвым?

***Солженицын** : Горбачёвское правление поражает своей политической наивностью, неопытностью и безответственностью перед*

страной. Это была не власть, а бездумная капитуляция её. Ответные восторги с Запада только подкрепили картину… Ельцинская власть характеризовалась безответственностью перед народной жизнью не меньшей, только в других направлениях. В безоглядной поспешности скорей, скорей установить частную собственность вместо государственной – Ельцин разнуздал в России массовое, многомиллиардное ограбление национальных достояний. Стремясь получить поддержку региональных лидеров – он прямыми призывами и действиями подкреплял, подталкивал сепаратизм, развал российского государства. Одновременно лишая Россию и заслуженной ею исторической роли, её международного положения. Что вызывало не меньшие аплодисменты со стороны Запада.

Путину досталась по наследству страна разграбленная и сшибленная с ног, с деморализованным и обнищавшим большинством народа. И он принялся за возможное – заметим, постепенное, медленное, – восстановление её. Эти усилия не сразу были замечены и, тем более, оценены. И можете ли вы указать примеры в истории, когда меры по восстановлению крепости государственного управления встречались благожелательно извне?

***Шпигель** : …Одно обстоятельство нас удивляет более всего. Всякий раз, когда речь заходила о правильном для России государственном устройстве, вы выступали за гражданское самоуправление, противопоставляя*

эту модель западной демократии. После семи лет правления Путина мы наблюдаем движение в совершенно противоположном направлении: власть сосредоточена в руках президента, всё ориентировано на него; оппозиции почти не осталось.

***Солженицын** : ...Я и сегодня весьма удручен той медленностью и неумелостью, с какой происходит у нас выстраивание местного самоуправления. Но оно всё-таки происходит, и если в ельцинские времена возможности местного самоуправления фактически блокировались на законодательном уровне, то сейчас государственная власть, по всей её вертикали, делегирует всё большее число решений – на усмотрение местного населения...*

(Июль 2007)

Как видно из этого интервью, на первых порах на высказывавшиеся ему по этому поводу недоумения он отвечал уклончиво. И даже не всегда впопад. Ему говорят, что президент призывает не копаться в прошлом, то есть не вспоминать о сталинщине и ГУЛАГе, а он отвечает, что всегда объяснял, что ответственность за это должны нести коммунисты, а Россия и её история тут ни при чем. Его спрашивают, как он мог принять премию из рук бывшего главы ненавистного ему ведомства, а он, как бы даже оправдываясь, отвечает, что вот, мол, не ставят же в вину американскому президенту Бушу его прежнюю должность главы ЦРУ: как будто неведома ему разница между ЦРУ, как и любой другой западной спецслужбой – и нашей, им же самим многократно описываемой «конторой».

Но чем дальше, тем всё решительнее и определённее высказывался он на эту тему. Да, он поддерживает режим, установившийся в стране с приходом нового президента, и не видит в этом ничего постыдного.

...

ИЗ ГАЗЕТНОГО СООБЩЕНИЯ ОБ ИНТЕРВЬЮ

А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА ТЕЛЕКАНАЛУ РТР

О ЕГО ВСТРЕЧЕ С В. В. ПУТИНЫМ

Известный русский писатель, лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын считает, что президент России Владимир Путин прекрасно осознаёт стоящие перед страной проблемы. «Президент отлично понимает все неимоверные трудности, и внутренние, и внешние, которые достались ему в наследство и которые сегодня надо разрешать», – заявил он, комментируя итоги своей вчерашней встречи с В. Путиным. А. Солженицын отметил взвешенность всех суждений главы российского государства и его осмотрительность. По мнению писателя, у В. Путина «нет никакой личной жажды власти». «Он занят действительно интересами дела напряжённо», – добавил Солженицын.

С еще большей определённостью ответил Александр Исаевич на все обращённые к нему на эту тему вопросы в развёрнутом интервью газете «Московские новости». Вызвавшее немалый резонанс в мире, оно, по вполне понятной любому россиянину ассоциации, сразу было тогда окрещено «апрельскими тезисами».

...

– При Горбачёве было отброшено само понятие и сознание государственности. (Отсюда его многочисленные капитуляции и безоглядные уступки во внешней политике, принесшие ему столь шумные похвалы на Западе.) При Ельцине, по сути, та же линия была

продолжена, но ещё и отягощена безмерным имущественным ограблением России, её национального достояния, а также беспрепятствием и потакательством государственному хаосу.

При Путине, не сразу, стали предприниматься обратные усилия спасения проваленной государственности. Правда, некоторые из этих попыток сначала носили характер скорее косметический, затем стали проявляться чётче. Внешняя политика, при учёте нашего состояния и возможностей, ведётся разумно и все более дальновидно…

Предшественники Путина развалили государство, а он восстанавливает его, преодолевая тяжёлое наследие прошлого, воплощая мечту о сильной России…

Митрополит Кирилл на X Народном соборе справедливо указал, что «реализация свобод не должна угрожать существованию Отечества и оскорблять религиозные и национальные чувства». Что святыни – это ценности никак не ниже «прав человека»… Безграничные «права человека» – это как раз то, что уже было у нашего пещерного предка: ничто ему не запрещало отнять мясную добычу у соседа или прикончить его дубиной. Оттого и понадобились каждому обществу власти и правящий слой. В ходе веков именно за ними и сохранялись «права», а у основной массы – ограничивались. От века Просвещения мы многотысячно слышим о «правах человека», и в ряде стран они широко осуществлены, но

не везде в рамках нравственности. Однако что-то не призывают нас защищать «обязанности человека». Да даже призывать к самоограничению считается нелепым и смешным. А между тем только самоограничение, самостеснение даёт нравственный и надёжный выход из любых конфликтов.

– Ну, а когда патриотизм вырождается в национализм, и далее, идучи по пути нравственной дезориентации, – в ксенофобию, – спрашивают его, – когда на улицах российских городов осатаневшие от националистической, чтобы не сказать нацистской пропаганды своих безымянных наставников, убивают людей за цвет волос, цвет кожи? И правоохранительные органы невнятно цедят сквозь зубы что-то о хулиганстве отвязанных подростков. Как укладывается всё это в политические реалии современного российского шовинизма?

Он отвечает:

– Ксенофобия исторически не была свойством русских, иначе не устояла бы империя из 120 наций. А словом «фашизм» у нас кидаются безответственно, как удобным бранным словом, чтобы не дать встать русскому самосознанию. Но германский национал-социализм основывался на самопревознесении германской нации (вскормленном задолго до Гитлера) – такого упрека не бросишь нынешнему униженному и вымирающему русскому народу…

В целостном державном миросозерцании, образцом которого являются размышления Солженицына, почетное место занимает антиамериканизм, в

котором современное российское националистическое сознание видит главного врага России и автора всевозможных злокозненных акций. И Солженицын в полной мере разделяет такое видение глобальной ситуации…

Надо сказать, что писателю нельзя отказать в последовательности и твердости убеждений. Ещё находясь в США, он считал, что Россия, которая должна прийти на смену советскому государству, должна быть не либерально-капиталистической, какой её хочет видеть Запад, а обществом христианским, национально-консервативным. Отсюда его восприятие прошлого своего отечества и отношение к западной демократии.

(Из интервью газете «Московские новости». Вопросы писателю задавал и ответы его комментировал тогдашний главный редактор этой газеты Виталий Третьяков)

Что правда, то правда. Ничего нового о политических взглядах Солженицына и его видении будущего России из этого его интервью мы не узнали. И активное неприятие для России либерально-демократического пути, и антиамериканизм… Обо всём этом почти в тех же выражениях он говорил всегда.

Новым в этих нынешних его высказываниях было только одно: готовность поддержать своим моральным авторитетом выходца из ненавистной ему системы госбезопасности.

В конце концов даже и это можно было понять, ведь Путин и в самом деле никогда не был ни следователем, ни начальником лагеря. А полковники в КГБ бывали всякие.

Но дело было тут не в том, каков был Путин, а в том, какое государственное устройство он стал сооружать, едва только стал президентом.

В одном из первых своих выступлений перед чекистами он изволил пошутить: считаю, мол, нужным доложить коллегам, что в моем лице в Правительство высажен первый десант сотрудников

нашего ведомства.

Шутка была не слишком удачная, но никто тогда не сомневался, что это всего только шутка.

Оказалось, однако, что, высказавшись таким образом, он и не думал шутить.

Выяснилось это не сразу, но к тому времени, когда Солженицын выступил со своими «апрельскими тезисами», ясность на этот счет была уже полная.

...

После десяти с лишним лет правления Владимира Путина Россия превратилась в «государство КГБ»... Россией заправляют бывшие руководители из КГБ... Они контролируют промышленность, торговлю, средства массовой информации и банки, проводят тайные операции дома и за рубежом, а также имеют свои собственные тюрьмы. Они отдают приказы в рамках телефонного права (говоря судьям свои вердикты) и собирают компромат на оппонентов с целью их запугивания. Если они напрямую и не заказывают убийства, то несомненно делают так, чтобы их заказчики не попали за решетку. Люди посторонние не знают, как работает государство КГБ. Свои люди также могут быть сбиты с толку.

Государство КГБ не терпит политическую оппозицию. Оно лишает гражданских прав оппозиционные партии, за исключением потасканных коммунистов, которые составляют весьма удобную и незадачливую оппозицию. Оно избивает и бросает за решетку видных оппозиционных деятелей, действуя в нарушение

конституционного права на собрание. Россия постоянно находится в ряду стран, наиболее опасных для деятельности журналистов...

Путинская Россия – это сталинский кошмар, в котором ничем не ограниченный КГБ творит «правосудие» и распределяет экономические прибыли. Над ним нет вышестоящей власти, способной обуздать его.

Государство КГБ создало бандитскую экономику. Его директора используют компании как машины для личного обогащения. Они уничтожают потенциальных конкурентов и захватывают законно действующие компании, когда те становятся достаточно крупными, чтобы вызвать у них интерес. Эти директора кагэбешной экономики накопили невероятные состояния... В списке журнала Forbes больше российских, чем американских миллиардеров, хотя частное состояние в России составляет лишь малую долю в сравнении с американским.

Государство КГБ занимает командные высоты (ленинское выражение) в энергетике, коммерции, добыче полезных ископаемых, в средствах массовой информации и на транспорте. Малые и средние предприятия могут работать лишь в том случае, если они действуют так, чтобы комар носа не подточил; если они склоняют головы и откупаются от нижних эшелонов государственной мафии.

Бывший владелец компании ЮКОС Ходорковский самым роковым для себя образом недооценил жестокость государства КГБ, и

государство сожрало его компанию в ходе подстроенного дела о банкротстве. Ходорковский сидит в тюрьме, получив второй срок по надуманным обвинениям. Остальные ельцинские олигархи бежали из России, сохранив часть своих активов. А те, кто остались, выполняют приказы, поступающие из Кремля.

(Пол Грегори – научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете, а также преподаватель Экономики в Хьюстонском университете)

Не все, для кого поддержка Солженицыным этого «Государства КГБ» стала шоком, определяли природу этого государства с такой четкостью. Но общее представление о том, что являет собой эта путинская «суверенная демократия» и «вертикаль власти», было именно такое.

Немудрено, что у тех, кто – по инерции, или недомыслию, или недостаточной информированности – ещё продолжал считать Солженицына своим единомышленником, эта его позиция вызвала шок.

Ну, и реакция была соответственная:

…

…Известная диссидентка и политик Валерия Новодворская заявила, что считает интервью Солженицына предательством. «Просто не верится, – пишет она, – что этот человек мог написать «Архипелаг ГУЛАГ» или «Один день Ивана Денисовича». Его позиция ничем не отличается от позиции Рагозина или Жириновского. Это позиция советского ретрограда».

(«Московские новости». Июль 2007)

Самой сути того, что случилось с Александром Исаевичем на

последнем этапе его жизненного пути, эти жалкие слова ни в малой степени не выражают.

Ведь слово «предательство» предполагает, что у неё (Новодворской) были с Александром Исаевичем какие-то общие, если не взгляды, так идеалы, которые он теперь предал.

Ну что ж, вольно ей было так думать.

На самом же деле никаких общих идеалов у Солженицына ни с Новодворской, ни с другими советскими диссидентами-демократами никогда не было. И для того, чтобы определить, что случилось с ним на этом последнем этапе его творческого и общественно-политического бытия, нужно совсем другое слово. То самое, каким Владимир Соловьёв определил последнюю ступень своей «лестницы».

Сделавший шаг с первой её ступени («национальное самосознание») на вторую («национальное самодовольство»), а с неё – на третью («национальное самообожание»), непременно спустится и на последнюю, четвертую. И тогда, как говорит Соловьёв, неизбежно наступает естественный для него конец – *самоуничтожение* .

Примечания

1

Сорок веков смотрят на меня с вершин этих пирамид. Фраза, сказанная Наполеоном в речи к солдатам во время Египетского похода.

2

Александр Аполлонович Мануйлов был министром народного просвещения Временного правительства, и именно он подписал майское (1917 года) Постановление о введении новой орфографии.

3

Знаменитый генетик Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский с 1926 до 1945 года работал в Германии, и именно в это время его исследования приобрели всемирную известность. Летом 1945 года Тимофеев-Ресовский был арестован и доставлен в Москву. В начале 1946 года он и Солженицын оказались в одной общей камере Бутырской тюрьмы. Там и завязалась их дружба.

4

«Исследования новейшей русской истории» – серия исторических трудов, основанная А. И. Солженицыным.